



ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ
МИНУВШИХ ВРЕМЕН

Борис
ХАЗАНОВ

БОРИС ХАЗАНОВ

ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ МИНУВШИХ ВРЕМЕН

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

ИСТИННАЯ
ИСТОРИЯ
МИНУВШИХ
ВРЕМЕН

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2009

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Х15

Хазанов Б.

Х15 Истинная история минувших времен / Борис Хазанов. — СПб. : Алетейя, 2009. — 448 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-278-2

Книга Бориса Хазанова — собрание повестей и рассказов, написанных в разные годы, но по большей части не публиковавшихся. Она состоит из трех тематически однородных разделов. Книгу открывает программное предисловие автора и завершает небольшой роман «Аквариум».

Реальность обыденной жизни и действительность сна, любовь и секс, родина и зарубежье, прошлое и настоящее страны — таковы темы и лейтмотивы прозы Б. Хазанова.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-91419-278-2



© Борис Хазанов, 2009
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2009
© «Алетейя. Историческая книга», 2009

Памяти Лоры

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Реквием по ненаписанному роману</i>	8
--	---

Откуда ты, прекрасное дитя

Апостол.....	13
Избранник	32
Лигурия.....	48
Дороги моря	58
Трудный час, или Музыка бдения.....	65
Другой; другая.....	75
Путешествие в Зеданг	84
Откуда ты, прекрасное дитя	93

Русский путь

Плюсквамперфект и другие времена.....	105
Saeculum. <i>Повесть не для здравомыслящих</i>	143
Нина Кушцова.....	160
Преодоление литературы	173
Праматерь.....	186
Прочее — одежда	205
Пардес	211
Французский рассказ.....	216
Она и он.....	223
Русский путь	225

Запах звёзд

Сталь и плоть.....	241
Четырнадцатое нисана, или Вполне тривиальный сюжет	246
Где ты была, киска.....	256
Взгляни в глаза мои суровые	266
Запах звёзд	280
Дорога на станцию.....	306
Marche funèbre.....	311
Слушай шаги ночи.....	314
Гости	319
Veritas	326
Тристан.....	328
Чтение	330
Чайка	334
Коллекция.....	337
Диалоги.....	345
Аквариум. Хроника пригородных поездов	354

РЕКВИЕМ ПО НЕНАПИСАННОМУ РОМАНУ

Ars longa... Искусство дело долгое, а жизнь коротка. Кончился век, мы, его свидетели, слишком близоруки, чтобы суметь окинуть его единым взглядом. Никто так плохо не разбирается в своём времени, как тот, кто в нём очутился. Над нашими суждениями будут посмеиваться. Нужно, чтобы пришли другие поколения; нужна дистанция.

Но мы последние, кто прожил жизнь в этом веке, видел то, чего никто больше не увидит. Мы — те, кто выжил, кого не убила война, кто не погиб под руинами городов, кого не сожгли в печах, не вывезла на поля захоронения бригада лагерных труповозов. Век ушёл, — не время ли подвести итог? Я никогда не понимал людей, которые восторгались величием нашего времени, гордились, что живут «в истории»; я не понимаю, как можно жить в **такой** истории. Литература противостоит истории, литература дискредитирует историю своим существованием. Но этот злой демиург, *le mauvais démiurge* Чорана, разоблачил сам себя. Хотел бы я, как герой Джойса, очнуться от кошмара истории. Легко сказать...

Учит ли она чему-нибудь? Что такое прошлое? Мы жили в царстве абсурда. Это была чудовищная эпоха. Явились концентрационные лагеря. Явилось человекоядное государство. Народились «массы», для которых вездесущая пропаганда, оснащённая новейшей техникой дезинформации и технологией всеобщего оглушения, заменила религиозную веру. Расцвёл культ ублюдочных вождей. Мало было одной мировой войны, разразилась вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Можно в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, плоды труда и гения поколений. Можно дать умереть от голода, замёрзнуть в нетоплёных жилищах чуть ли не трети населения трёхмиллионного Ленинграда; можно задушить в дыму пожаров и раздавить под развалинами дворцов 20 000 или 200 000 — никто в точности не знает — обитателей Дрездена. Можно истребить планомерно, в газовых камерах шесть миллионов мужчин, женщин, детей, стариков и старух. Во имя чего? О Хиросиме и Нагасаки промолчим, довольно одной Европы. Это был век окончательного посрамления исторического разума.

Не так-то просто сбросить это мистифицирующей историософии. Вам внушали: за внешним хаосом событий кроется некая логика. Величие промысла, железный закон истории. Иудейская стрела — вдалеке, вперёд, к Царству Божию на земле. Гегелевская спираль, кругами, всё выше. Исторический материализм и прыжок из царства необходимости в царство свободы. Чушь собачья. Но писателя интересует человек.

Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от производства, двадцатый принёс отчуждение от истории. Замечательной чертой этой эпохи было абсолютное несоответствие того, что совершалось в высших сферах, с реальной жизнью людей. Как если бы маленькие люди копошились, устраивая свою жизнь на вершине вулкана. Перед лицом истории ты ничто. Ты абсолютно бессилен. Мы уподобились муравьям. Мы оказались в щелях и трещинах живой, притязательной на статус национального достояния, размалёванной, как труп в палисандровом гробу, истории.

Век миновал — не пора ли с ним рассчитаться? Собрать по кусочкам эпоху, как скелет ископаемого ящера, скрепить проволокой осколки черепных костей, кусочки рёбер, позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Но это всё ещё муляж; вдохнуть в него живую жизнь могла бы только литература. Это должен быть синтетический роман — не от слова «синтетика», а от слова «синтез».

Вам твердят, что великие повествования ушли в прошлое. Современный романист, с его фасеточным зрением, не в силах окинуть былое единым всевидящим взором. Эпоха похожа на отбивную, по которой так долго колотили молотком, что она превратилась в дырявый лоскут. Эпос — достояние ушедшей поры, когда герой романа был субъектом истории; сейчас он только её «объект». Крушение веры в историю влечёт за собою крах полномочного автора. Таков он, этот писатель — апатрид классической прозы.

Он слишком хорошо сознаёт безнадёжность своих усилий. В грохоте времени, среди инфляции текстов такой роман потонул бы в потоке избыточной информации, — никто бы тебя не услышал. И всё-таки его нужно было бы написать. Роман, который расправился бы с ушедшим столетием и восстановил в правах униженную человеческую личность перед лицом злоеющих фантомов — Нации, Державы, Истории.

Что делать литературе под натиском этих фикций, отменивших действительность, чтобы учредить на её месте другую, ложную, но всеильную; фикций, обесценивших личность, обессмысливших культуру и мораль, сделавших смешным и ненужным всё, чем жива человеческая душа, — чтобы навязать ей свои призрачные

идеалы и каннибальские ценности; что делать литературе в мире, где древо фашизма срублено, но осталась его корневая система, где труп в мундире генералиссимуса, с огромной звездой на шее, разгуживает по ночам, высасывает кровь спящих и они сами превращаются в упырей?

Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только личной, неповторимой внутренней жизнью человека, куда деваться этой литературе, для которой нет великих и малых и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря о том, что и счастье-то оказалось мнимым? Я знаю только один рецепт — ответ чеховской героини. Нести свой крест и верить.

Литература существует ради самой себя, другими словами — ради человека. Литература абсолютна: небеса пусты; личность — её абсолют. О, эта риторика свободы... Человек не как представитель среды, общества или народа. Но сам по себе, просто человек, хоть он и живёт в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и прикован цепями и цепями к государству.

Если художественная словесность несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (почти всегда — не хочет). Но потому, что он так устроен. Человек заключён в своей свободе, — пусть же литература напомнит ему об этом. Литература есть воплощение человеческого достоинства. В этом её скрытый пафос, в этом, может быть, и её последнее оправдание.

Мюнхен, декабрь 2008

ОТКУДА ТЫ, ПРЕКРАСНОЕ ДИТЯ

АПОСТОЛ

«Идите и возвещайте благую весть
всякому созданию».

*Старик лет семидесяти, с бородой цвета плесени,
С вытекшим глазом,
Дурно пахнувший, облачённый
В полуистлевшие галифе
И почти не существующую телогрейку,
За две сигареты, за доньшко гранёной стопки
Наговорит вам тьму небылц.*

*Все к нему привыкли. Все его знают.
Председатель не гоняет его на работу,
Мальчишки его не трогают.
Участковый делает вид, что его не видит.
В сельской чайной официантка,
Женщина лет под сорок
Не слишком строгого поведения,
Следуя примеру Марфы,
По молчаливому уговору с поваром
Приносит ему тарелку супа,
Когда он приходит и садится в угол
За деревянной колонной с портретом Вездесущего.*

*В чайной всегда много народу.
Сидят, пригнувшись друг к другу,
В мглистом тумане,
Заказывают иницель, пахнувший трупом,
И опрокидывают в рот стаканы, не перекрестившись.
Благочестие не свойственно русскому человеку.*

*Однажды в село прибыла экспедиция.
Кандидат наук, человек серьёзный,
Зазвал деда в избу,
Усадил за стол и налил стакан гнилушки.
Старик не стал ломаться,
Поскольку всякое даяние есть благо,
Выпил, утёрся чёрной ладонью
И вилкой долго гонялся по тарелке
За маринованным помидором,*

Повествуя о небывалых днях,
О чуде рождения Младенца
И крещении в реке Иордани.
Вдруг заметил в углу крутящиеся диски
И, прервав свой рассказ,
Ударил кулаком об стол,
В гневе затрясся, грязно выругался
И упомянул Иуду.

Впрочем, старца тоже надо понять.
Тот, кому приходилось ходить под конвоем,
Кто сидел в одиночке, выносил по утрам парашу
И судим был тайным судом Синедриона,
Тому всюду снятся доносы.
Может быть, он и прав.
(Одна из теорий,
Объясняющих случай с Искаримом, —
Склонность наших земляков к предательству,
Наследство Орды.)

Однако он вскоре забылся.
Вспышка пьяного гнева погасла,
Уступив место пьяной нежности.
Он жевал помидор, утирая слёзы,
Сочившиеся из его одинокого глаза.
Кандидат наук меж тем поглядывал, морщась,
На руины его штанов, следил, как старец
Карябает ногтями хилую грудь
Под трухлявой своей телогрейкой,
И думал о том, почему так бывает:
Как случилось, что этот люмпен
Хранил в своей памяти легенды,
Созданные народом, когда он, народ,
Ещё находился под властью эксплуататоров
И мечтал о светлом будущем.
Вот откуда взялась эта сказка
Об Учителе угнетённых, о том,
Как сидел он на горе и ему внимала
Толпа, как он поднял из гроба Лазаря
И как пяти буханок хлеба хватило
Накормить всех голодных.

Кандидат сидел, терпеливо слушал.
Но старик не оправдывал ожиданий:
Стал сбиваться, коснеющим языком
Бормотал что-то
И под конец, хныча, понёс такую
Ахинею, что пришлось встать

*И выключить магнитофон.
Благовеститель
Сам, по правде говоря, давно уж не верил
В свои басни. Всё, что он видел,
Для него самого превратилась в сказку.
Уж он не помнил конец этой притчи,
Забыл, где и когда умер Учитель,
Понёсший общее с ним наказание,
Отбывавший срок на одном лагпункте
Со стариком. Одно он запомнил,
Одна картина
По-прежнему, как живая,
Стояла перед его взором:
Море, и в море лодка,
И плывут они в ней, все двенадцать,
А навстречу им, от заката,
По воде, как по суше, идёт Учитель,
И в глазах его вечная радость,
И в улыбке его вечная тайна.*

1965

I

Посвящаю эти записки памяти Косьмы Кирилловича Тереножкина, много лет отдавшего изучению религиозного фольклора Северо-Западной России. Пользуясь случаем, хочу напомнить об одной из главнейших идей моего учителя. Особый аспект исследований К. К. Тереножкина состоял в том, чтобы попытаться отыскать в духовных песнях, легендах, местных преданиях и поверьях то, что он называл реальной основой. Он был убеждён, что источником самых причудливых повествований всегда служат истинные происшествия. Другое дело, что действительность преобразена фантазией сказителя и традициями народного творчества. Задача исследователя — снять эти наслоения, подобно тому как реставратор снимает одну за другой позднейшие записи со старинной фрески.

Добавлю, что Косьма Кириллович решительно отвергал модные в его время представления так называемой аналитической психологии о коллективном бессознательном, которое якобы не только разоблачает себя в фольклоре разных народов как некое вместилище утраченных воспоминаний, но и диктует ему свои вневременные образы. Можно ли каким-нибудь образом всё это проверить на практике, в эксперименте? — спрашивал Тереножкин. Нет, конечно. Для него это была фикция, метафизическая мечта, типичный пример псевдонаучной мифологии, которую хотят навязать действительности.

Случай заставил меня задуматься о том, что, собственно, мы называем действительностью. В моих руках оказался материал, где реальная подоплёка, на первый взгляд, угадывается без труда. Но эта реальность вступает в

неожиданное и необъяснимое противоречие с реальностью мира, в котором мы живём. Легко могу себе представить, как удивился бы мой учитель, узнав о том, что я подвергаю сомнению то, что не подлежит сомнению. Сказал бы, что я сам превращаюсь из учёного в сказителя-мифотворца. Как если бы врач, исследуя пациента, заболел сам.

Фольклористу приходится забираться в медвежьи углы, но не надо думать, что это требует особо трудных и дальних путешествий. В одну из моих поездок по Калининской области, бывшей Тверской губернии, я свёл знакомство в городе N с человеком, который отрекомендовался делопроизводителем районного совета. Он сказал, что уже двадцать пять лет занимает эту должность, начальство меняется, а он по-прежнему на своём месте. Мы сидели в привокзальном ресторане; было нетрудно опознать во мне приезжего; разговорились.

Ресторан представлял собой довольно убогое заведение с пальмами в кадках, с обязательной копией «Трёх богатырей» кисти местного живописца, с грязноватыми скатертями на столах. Несмотря на приличные цены, учреждение не пустовало. Чуть ли не о каждом из сидящих мой собеседник мог рассказать всю подноготную. «Можете мне поверить. В нашем городе треть, а то и половина трудоспособного населения нигде не работает». — «Всё же, наверное, где-нибудь числится?» — «И не числится, в том-то и дело». — «А как же борьба с тунеядством, и вообще». — «А вот так: никак, — отвечал делопроизводитель. — Да они и не тунеядцы, это как посмотреть». — «На что же они живут?» — «А по-разному. Промышляют кто чем. В Москву ездят, в Ленинград, скупают продукты, здесь продают». Я спросил, откуда берутся деньги у тех, кто покупает. Перепродают, сказал он, деревенским. Мы ещё немного поговорили на эту тему. Был рабочий день, но делопроизводитель никуда не спешил. Я заказал ещё четыреста грамм водки и по второй порции дурнопахнущего рубленого шницеля.

У него был свой взгляд на положение дел в районе. Население уменьшается, молодёжь бежит из деревни — и пусть бежит, тем лучше. Почему же лучше, спросил я. «Воздух чище будет, — сказал он презрительно. — Народ-то у нас какой? Ему дай волю, он всё перепортил. Если бы не этот народ, какой бы у нас рай тут был! Всякой дряни нанесут, всё загадят. Работать не работают, а только ломают. И колбасу жрут». — «По-вашему, было бы лучше, если бы вовсе никого не было?» — «Безусловно. От них всё равно никакой пользы. И природа будет целей. А места у нас красивые. Я не говорю о городе, тут смотреть нечего, а вот вы поезжайте-ка в глубинку».

«Собственно говоря, я за этим и приехал», — возразил я и объяснил, чем я занимаюсь, вполне готовый к тому, что он поднимет меня насмех; решился упомянуть, куда и к кому я держу путь. Делопроизводитель искоса поглядел на меня, подняв бровь. «Уж не к этому ли, как его». — «Вы его знаете?» — «Как не знать; его все знают. Старик со стаканчиком. Ошивался тут одно время. Да он тронутый. Его и в больницу забирали».

Я спросил: что это значит, со стаканчиком?

«Профессия такая. Обслуживание алкоголиков. Положим, вы встретились с приятелем, то есть, конечно, не вы, извините. Короче говоря, собира-

ются мужики выпить, в горсаду на скамеечке устроились, тут он и подходит: с портфельчиком, пиджачок на нём, гаврила на шее, — ну, то есть галстук, — культурно, скромно, предлагает свои услуги. У него с собой и закуска, хвостик селёдки, помидорчик-огурчик. стакан, чтоб не пили из горла. Слово за слово, ему тоже наливают. Пустую бутылку себе, за день целую сумку наберёт. Что ж, — вздохнул делопроизводитель, — всё лучше чем побираться. — И зевнул сладко: — Уа-ах!.. Давно его не вижу».

«Уехал в свою деревню?»

«Надо полагать. Только трудненько вам будет туда добраться, кругом сплошные болота».

Делопроизводитель вернулся к больной теме.

«Я район знаю, как свои пять пальцев. Ничего там не осталось. Одни печные трубы; избы, какие были, разобрали и увезли. У нас тут целые улицы из таких домов. Скоро весь город превратят в деревню. Эва, — и он кивнул на людей за столами, — это, как вы думаете, кто такие? Поселяне, туды их в калошу».

II

Ночевал я в Доме крестьянина — род ночлежки. Ехать надо было километров сорок автобусом по большаку, а там как придётся. Отправление на рассвете. Лишний раз я испытал на себе таинственное свойство нашей отечественной географии: близость расстояний обманчива; вы словно опускаетесь в воронку — чем дальше, тем глубже. Имея некоторый опыт, я вёз с собой водку, копчёную колбасу, ещё кое-какие припасы; на конечной остановке, это было довольно большое село, удалось найти подводу. Сколько-то времени ехали, потом мужик свернул в сторону, и последний отрезок пути, километров десять, я нёс поклажу вкупе со скромной аппаратурой на себе. Светило жёлтое солнце. Я брёл где по лесной тропе, где мимо пустошей, блестящих там и сям болотной влагой, слушал пение птиц, отдыхал на пригорках. Но нельзя сказать, чтобы сюда не ступала человеческая нога; дорога, то со следами колёс, то едва различимая в густой траве, в конце концов привела меня к цели.

Это была, в самом деле, глухая, тайная, топкая, вся в некошеных травах, в камышах и осоке, посвистывающая и пощёлкивающая птичьими голосами, старинная наша матушка-Русь — срединная Россия, какой она была, наверное, во времена Ильи Муромца и славного князя Гостомысла, да так и осталась; выйдя к речушке, я увидел на другом берегу селение — полдюжины серых изб и сараев.

Мне повезло, под зелёными прядями ивы покачивалась почерневшая лодка. Орудия лопатообразным веслом, я перебрался через поток. Мало что осталось от бывшей деревни, и всё же делопроизводитель был не совсем прав, здесь существовал кто-то, лаяла собака, глухая старуха, выйдя на крыльцо своей хибары, трясла головой в ответ на мои расспросы. Явилась и стала рядом с бабусей девочка лет семи, она довела меня до избы, к удивлению моему довольно хорошо сохранившейся: окна в наличниках, сарай,

огород. Общие сенцы — направо вход в сарай, налево в избу. Позже я узнал, что к хозяину приезжает изредка дочь из Великих Лук, хочет забрать его к себе, а он ни в какую. Сам он являл собой весьма плачевное зрелище.

Нагнувшись, чтобы не расшибить лоб о притолоку, я переступил высокий порог и не сразу разглядел в полутьме чёрные голые ступни и порты сидевшего на печи хозяина.

Лохматый, отчего голова казалась очень большой, тощий и малорослый старец, сильно за семьдесят, в рубище, сивобородый, с вытекшим глазом и большими мохнатыми ушами, сполз с лежанки, стоял, почёсываясь, моргая единственным оком, шевеля заскорузлыми большими пальцами ног с ногтями, похожими на когти. Я подал ему огромные разношенные валенки, он зашаркал по избе, уселся на лавку и спросил:

«А ты кто такой будешь?»

Он делал вид, что страшно недоволен моим вторжением, но на самом деле был польщён тем, что гость проделал ради него такой долгий путь. Было нетрудно заметить, что его подозрительность объяснялась не только обычным недоверием крестьянина ко всякому постороннему.

«А ты часом не из энтих?» Конечно, я понимал, кого он имел в виду.

Я попробовал объяснить, зачем я здесь. Хозяин проворчал: «А чего рассказывать-то. Уже всё рассказано». — «Кому?» — «Ты святую книгу читал?» — спросил он. В доме не было никаких книг. Я спросил, читал ли он её сам. Он махнул рукой. «А зачем мне читать. Я и так всё знаю». Таково было наше знакомство и первое впечатление некоторого смещения времён.

В этот вечер долго разговаривать не пришлось, я был измучен, для приличия посидел немного за дощатым столом перед пузатой керосиновой лампой. В углу блеснул чёрный образ в жестяном окладе, за окошками стояла тьма. Старик выпил водки, подобрел; я улёгся на железной кровати, он всё ещё сидел, прикрутив фитиль, и больше я ничего не видел и не слышал. Открыв глаза, я увидел, что в горнице светло. Древние ходики показывали немислимое время. С настенного календаря много лет никто не срывал листки. Я вышел. Дед сидел, босой и лохматый, на крыльчке. Солнце блесло за лесом.

В огороде находилось дощатое отхожее место, тут же на столбе висел цинковый умывальник. Я услышал голоса, старик разговаривал с девочкой, я догадался, что её прислала старуха разузнать, что и кто. Старик охотно отвечал, словно хвастал моим визитом; выходило, что я прибыл к нему с важным и таинственным заданием. Нёс обо мне фантастическую дичь. Вот вам, кстати сказать, пример того, как действительность превращается в сказку. Я был обрадован: это обещало богатый улов. В сарае удалось отыскать старый продавленный самовар, которым обитатель избы, очевидно, никогда не пользовался. Мы позавтракали втроём, и девочка побежала домой.

Очистили стол, старик следил недобрым оком за приготовлениями. Это ещё что, спросил он.

Магнитофон, сказал я, будешь говорить, а я буду слушать.

Я придвинул к нему чашечку микрофона, нажал на клавишу, остановил, нажал на другую, послышался шорох, проскрипел на всю избу голос чревоушателя: «...будешь говорить, а я...»

«Не пойдёт».

Я остановил ленту.

«Почему?»

«Сказал не пойдёт, и всё!»

Помолчав, он снова спросил:

«А ты вообще-то. Ты кто такой?»

Я показал ему паспорт, штамп трудоустройства, вот, сказал я, видишь: научный институт. Какой такой институт, возразил он, мало ли чего напишут. Они всюду!

«Кто?»

«Кто, кто. Сам знаешь, кто. У него, может, и крест на груди, а посмотришь — чёрт с рогами».

Я спросил:

«Где ты видишь у меня рога?»

III

Как я уже говорил — и охотно поделился бы своими мыслями, будь он жив, с незабвенным Косьмой Кирилловичем, — мне всё больше внушает сомнения то, что мы принимаем за действительность, о чём обычно говорят: а вот на самом деле... А что было на самом деле?

Старик сказал:

«Я когда мальчонкой был, мы рыбу бреднем ловили, вон в той речке. А нынче не то что рыбу — как река называется, позабыли. Тогда она была широкая. И в озеро впадала. А теперь и озера нет».

«Куда же оно делось?»

«А Бог его знает, под землю ушло. Болото одно осталось. Может, когда и опять появится. Или удочкой. Я страсть как любил удить рыбу. Бывало, придёшь, ещё солнце не встало. Сядешь на бережку, такая кругом благодать! — Он подпёр щеку ладонью, поглядывал на крутящиеся катушки, мигал единственным глазом. — А как лента кончится, что будешь делать?»

«Другую поставлю».

Мы выпили, закусили; я ждал продолжения.

«Колбасу где брал, в городе, что ль? — Под городом подразумевался районный центр. — Давай ещё по одной, мать её в калошу...»

«Давно было дело, — продолжал он. — Как сейчас помню. Было мне тогда годков этак восемнадцать. Уже усы пробивались. Красивый был, девки на меня заглядывались. Сижу я, значит, жду, когда клевать начнёт. День только ещё занимается. И ни души кругом, ни ветка шелохнёт. Вдруг поворачиваюсь, гляжу — он рядом стоит».

«Кто?»

«Чего?.. — переспросил дед, словно очнулся. — Кто стоит-то? Он и стоит, как сейчас вижу. В белой рубахе, в лаптях, у нас и лаптей-то никто не но-

сит. Забыли давно, как лапти плести. Я говорю: это откуда у тебя? И показываю; а лапти-то новенькие. Он смеётся, сам, говорит, сплёл. А ты, говорит, вот что, парень. Ты эту ловлю брось, иди за мной, будешь человека ловить. Так и сказал».

Пауза; он покосился на неслышно струящуюся ленту.

«Я говорю: куда ж я пойду? Я тут родился, у меня тут и мать, и отец. Оставь, говорит, родителей своих, иди со мной. Я тебя кой-чему научу. Ну, я и пошёл. Шли, шли, места вроде знакомые, каждый кустик меня знает, а тут попали незнамо куда. Пришли в деревню, он стучится, хозяин открывает; как увидал его, поклонился до земли, заходи, говорит, милости просим, учитель дорогой. Видно, знал его али молва уже досюда дошла. Переночевали, а наутро и он пошёл с нами».

«Хозяин?»

«Ну да».

Я остановил аппарат, поблагодарил старика и вышел на крыльцо. Начало припекать. По-прежнему вся деревня была как вымершая. Я спустился к топкому берегу: за стеной осоки темнела и блестела чистая вода. С наслаждением окунулся, подождал, пока высохнет голое тело.

Когда я вернулся, хозяин сидел на печи, свесив босые ноги с лежанки.

«Здорово, дедушка, отдохнул маленько?»

Он мрачно отозвался:

«Здорово...»

«Узнаёшь меня?»

Он ничего не ответил, вздохнул, слез с печи. Мы снова уселись друг против друга.

«Говорят, — сказал я, наливая, — ты со стаканчиком ходил».

«Кто это говорит?»

«Да так, слышал...»

«А ты их больше слушай, они те наговорят. Со стаканчиком... Ты меня лучше слушай».

«Молчу, молчу...»

Главное в таких случаях — дать разговориться сказителю. Довольно скоро бросилась в глаза непоследовательность его рассказа; неясно было прежде всего, когда всё это происходило. Меня не это смущало. То, что хранилось в его памяти, на ходу превращалось в импровизацию, и наоборот, выдумка становилась воспоминанием. Я напомнил ему, на чём мы остановились, но связность повествования его не заботила.

Теперь уже говорилось о целой компании. Он называл её «артель».

Сколько же вас было, спросил я, не удержавшись.

«А кто его знает, я не считал».

Может быть, двенадцать?

«Не, — сказал он, — куда такая орава. Иногда разные. Походит, походит, и уйдёт. Ну и ступай, никто тебя не держит. А один...»

Он сурово воззрился на меня.

«Что один?»

«Вот то-то и оно, туды его и туды!»

Я дал ему знак помолчать минутку, проверил запись; голос из магнитофона послушно повторил грязное ругательство.

Отлично; едем дальше. Верил ли старик в чудеса? К этому, кажется, шло. Похоже, что верил; во всяком случае, верил в правдивость своего рассказа. Вскоре я услышал от него историю о нищем; где это было, я так и не смог понять, но в конце концов это не так важно. Нищий сидел на крыльце сельсовета, ходить он не мог, каждое утро его приносили и сажали, вечером уносили домой. Однажды он исчез, и явился некто, рассказавший о том, что встретил паралитика в поле, тот спокойно шёл, а на вопрос, кто его исцелил, ответил: Божий сын, учитель. После этого слава о чудотворце разнеслась по всей округе. Народ выбегал ему навстречу, как-то раз подъехала машина из участковой больницы, старая колымага довоенных времён с красными крестами, оттуда вынесли девочку, утонувшую в реке.

Был и такой случай: учитель сидел на пне, на пригорке. Люди собрались вокруг, матери принесли детей, и он держал речь, — о чём, рассказчик уже не помнил.

«А всё-таки?».

«Память-то как решето. О любви говорил... Любите, говорит, все друг дружку, и больше ни о чём не заботьтесь. Что вам начальство поёт, не слушайте, начальство начальством, а вы, говорит, живите своей жизнью. Врагов любите... Ежели кто даст по уху, не давайте сдачи, простите ему: дурак, он и есть дурак. Сам не знает, что делает. Тут одна тётка вылезла, молодая, вся накрашенная. Из района приехала. Подходит и говорит: что ж, по-твоему, и врагов народа надо любить?»

«Что же он ответил?»

«А ничего не ответил».

Я спросил, были ли женщины среди учеников.

«А как же. Женщины-то всё больше за ним и бегали. А одна так и вовсе осталась».

IV

Прошло два или три дня, дед был готов повествовать ещё и ещё. Материал превзошёл все мои ожидания, я даже стал опасаться, что не хватит кассет. То и дело оказывалось, что его рассказы представляют собой вариации на хорошо известные темы, чему, конечно, не следует удивляться. Как уже сказано, в доме не было никаких книг, вообще ничего, что могло бы напомнить о религии, кроме образа в красном углу; я не видел, чтобы хозяин, входя в избу, когда-нибудь перекрестился. Всё же я спросил, приходилось ли ему читать Писание.

«Чего?»

«Ты, дедушка, читать-то вообще умеешь?»

«А как же. Совсем, что ль, меня за тёмного считаешь?»

«Ну, и...?»

Я хотел сказать: ты ведь мне попросту пересказываешь эту книгу.

Следовательно, думал я, мы имеем дело с так называемым народным православием, и можно будет соответственно интерпретировать мой материал, опираясь на классические работы К.К. Тереножкина, с той лишь оговоркой, что реальной подоплёкой служили не события действительной жизни, а чтение или чей-то пересказ прочитанного.

Дед зевнул, промолвил:

«Всё враньё».

«Что враньё?»

«Да всё враньё, что там написано».

«Значит, ты это читал?»

«А чего читать-то...»

Я заметил, что, конечно, дело было давно, две тысячи лет тому назад, в Палестине, но те, кто об этом сообщил, хоть и не были очевидцами, но всё же таки учениками учеников.

«Мало ли что написано, написать всё можно. А вот я, вот-те крест, — и он стукнул себя в грудь, — своими глазами видел, ходил с ним, уж мне-то не знать!»

Он добавил:

«Писать они все горазды...»

Кто — они?

«Писаря! Всё пишут да пишут».

Две тысячи лет назад, повторил я.

«Ну и что? За яйца бы их всех повесить».

Я спросил старика: верующий ли он?

«Сказки всё это...»

«А это что?» — и я показал на угол.

«Икона, что ль? А кому она мешает; висит и пуцай висит».

Он пробормотал:

«Если бы Бог был, разве бы он всё это допустил?»

«Что допустил?»

«Да всё! Вся эта безобразия... Вот наш старшой, вот он был как бог. Поэтому и сгинул».

Как уже говорилось, добиться, где происходили события, было невозможно. Получалось, что компания бродила где-то поблизости, может быть, в пределах одного района. Но, с другой стороны, всё словно совершалось в каком-то дальнем, глухом и неведомом краю. Что это было: знакомая этнологам, так называемая мифическая география, раздвинувшая пределы реального мира? Сакральное время, вторгшееся в наши тусклые дни? Приведу ещё один эпизод из того, что я услышал.

Кто-то приехал на мотоцикле за учителем: звали в соседнюю деревню. Расстояние, по здешним понятиям, небольшое, километров семь; двинулись туда. Застали старуху-мать, ещё каких-то женщин, у всех красные от слёз глаза. Была там и дочка, подросток лет пятнадцати. Оказалось, что отец ездил в город по своим делам, вернувшись, слёг, посылали за фельдшерницей из медпункта, она дала таблетки, ничего не помогло. Подсев к женщинам, учитель начал их утешать, девочка вспыхнула и закричала: «Не нужны нам

твой уговоры, иди откуль пришёл». И кулачком этак перед его носом. «Где покойник?» — спросил учитель (старик, как всегда, называл его «старшой»). «В погребке; завтра поп придет, будем хоронить». — «Ну, пошли, поглядим». События развивались по известному сценарию: кругом зрители, учитель велит отворить погреб и громко зовёт мёртвого. Молчание, учитель прочистив горло, снова: «Эй, Лазарь! Выходи».

Старик утверждал, будто сам слышал, как старшой прибавил шопотом: выходи, а то меня убьют.

И точно, толпа заволновалась, раздались возмущённые возгласы, угрозы, чудотворец молчал, стоял, задумавшись, окружённый учениками, готовыми, если надо, его защитить. «Помогите ему», — сказал учитель. Его не поняли. «Вылезти помогите». — «Да ведь он помер, чего людей мутить, мозги засираешь». Кто-то сказал: «Ишь повадились... ходят тут». — «Милицию надо вызвать», — сказал другой. — «Пуцай неповадно будет». Ещё кто-то сказал: «Сами справимся. Ну-ка, папаша, подойди сюда. Ты вот всё людей учишь. А теперь мы тебя маленько поучим». Толпа снова зашумела, кто-то из учеников, кто похрабрее, ответил: «А вы не суетитесь. Делайте, что он говорит».

Когда уже собрались уходить, девочка встретила у околицы и попросилась уйти вместе с ними. Учитель спросил: «Как тебя зовут?» — «Марья меня зовут, Маша». — «Вот что, Маша, — сказал учитель, — ступай домой, отец твой ещё не выздоровел, будешь за ним ухаживать». — «Есть кому за ним ухаживать; а я хочу с вами... с тобой». — «Куды ж ты пойдёшь, наша жизнь походная. Мы мужики, нам и дождь, и холод не страшны». — «Нет, пойду с вами. Будь мне заместо отца».

«И её с собой взяли?» — спросил я.

«А куды ж денешься».

V

Время учителя, баснословное время, о котором я только что упомянул, имело собственные будни; мало-помалу прояснился образ жизни странствующей «артели»: кормились чем придётся, ночевали в заброшенных сараях, в избах, в сельских клубах, на сеновалах. Маша не отходила от учителя ни на шаг; в первую же ночь объявила, что ляжет подле него. И в баню, и везде с ним.

«Где ж это вы мылись?»

«Где придётся. По субботам; он особо следил, чтобы разные насекомые не заводились. Люблю баньку! — сказал старик. — Старые кости погреть. Только нынче уж не попарись».

Я опять спросил: известно ли ему, что в Евангелии есть рассказ о воскресении Лазаря? Старик махнул рукой. Наступила пауза.

«Хорошо тут у вас, — заметил я. — А как ты зимой управляешься?»

«Да так и управляюсь. Мы привычные. А то ещё был такой случай... Вышли к озеру. Большое, берегов не видно».

«Селигер?» — спросил я.

«А шут его знает, не помню. Да какой там Селигер, — подальше будет, теперь уж не найти. Там такие места, никто и не доберётся».

«Где — там?»

«Там, далече...»

С хитрым видом, ухмыльнувшись:

«Если б и знал, всё равно бы не сказал!»

«Это почему же?»

«А потому — тайна! Вот, значит; пришли. А солнце уж садится. Велел нам искать переправу, сам остался, хочу, говорит, один побыть, переночую у лесника, а завтра встретимся на том берегу. Ну, искать не пришлось, выпросили у лесника баркас, сели и поехали. Четверо на вёслах, один на руле, другие так сидят, плывём этак не спеша. И ведь надо же, не расспросили как следует, думали, чего там, берег недалёко, засветло поспеём. Видим, солнце садится в тучах, ветерок поднялся, волны всё выше. И берег пропал. Совсем темно стало. Лодку нашу так и бросает, вверх-вниз, этак и перевернуться недолго. Братцы! что делать? Вдруг один говорит: а это кто там? Смотрю, фигура вдали. И вроде бы приближается. Привидение какое, или что? А это он там, хочешь верь, хочешь нет, стоит, и вода через босые ноги переплёскивается. Лица не разобрать, а только видно, что улыбается. Не пужайтесь, говорит, я с вами. Н-да, вот так».

Помолчали; старец развёл руками.

«Ну, сам понимаешь, как это может быть? Чтобы человек стоял на воде. Вот ты, положим: ты можешь стоять? И я не могу. Это надо помешаться в уме, чтоб такое увидеть. Спятить, по-простому говоря. А на самом-то деле... на самом деле, провалиться мне на этом месте!»

«Что на самом деле?»

«А вот ты угадай! — Он хихикнул, с хитрой сумасшедшинкой потряс корявым пальцем перед моим лицом. — То-то и оно, что человек-то был не простой! Сказал, и буря затихла. И все доплыли, вот так».

Вновь умолк, наслаждаясь эффектом.

«А Маша, где она была?»

«Чего?»

«Ты говорил — всегда была с ним».

«Какая Маша; не было никакой Маши».

«Она тоже с вами сидела?»

«Где?»

«В лодке!» — сказал я, теряя терпение.

Колючий взгляд. «Ты чего плетёшь-то. Какая такая Маша?»

«Девчонка — ты же сам рассказывал».

«Чего я рассказывал, ничего я не рассказывал».

Безумен — или притворяется. Я забарабанил пальцами по столу. Тема эта, однако, меня живо интересовала; кто знает, думал я, может, удастся разыскать ещё одну свидетельницу.

«Слушай, отец, — проговорил я и взял его за бороду, — если ты будешь крутить, я с тобой по-другому заговорю...»

Выпучив от страха свой единственный глаз, он залепетал:

«Провалиться мне... вот-те крест...»

«То-то же, — сказал я. — Смотри у меня. Сколько ему было лет?»

«Сколько лет было? Годков тридцать. А может, пятьдесят».

«Как он выглядел?»

«Красивый был, с кудрями».

«Выходит, она жила с ним как с мужем, я правильно понял?»

«Ну, жила, ну и что?»

«И он был не против?»

«А чего — не мужик он, что ли».

«Ты сказал, она была несовершеннолетняя».

«Ну и что».

«Ничего. А с другими?»

«Чего с другими?»

«С другими тоже спала?»

«Ну, бывало. А чего тут такого? Коммуной жили. Твоё, моё — не было этого. Всё делили».

Я сказал:

«Хочу тебя спросить: а Маша эта. Она часом не забеременела?»

«А чего это, — проворчал старик, — тебя так интересует. Тебе-то какое дело?»

Помолчав, посопев волосатыми ноздрями:

«Не было промеж нас никакого стыда. В баню ходили, и она ходила. Спину тёрла. А насчёт этого, я тебе так скажу. Она хоть и жила с нами как баба, а всё оставалась невинной. Целкой, по-простому говоря. Хочешь верь, хочешь не верь».

Очевидно, хождение по водам имело место до воскресения Лазаря. Другого объяснения я не могу предложить, если вообще необходимо объяснение. Если не считать, что всё совершалось в особом времени, где хронологии в обычном смысле не существует.

«Вот что, — сказал я. — Где у тебя припасы? Щи будем варить».

VI

Десять месяцев спустя, приехав повидаться с дедом-сказителем, я на всякий случай заглянул в райисполком к моему приятелю — делопроизводителю, и тот сообщил, что старик укатил в Великие Луки. Мне удалось связаться с дочерью; так я узнал, что на самом деле дед никуда не уезжал, а умер в своей избе довольно скоро после того, как мы виделись. Дочь увезла его хоронить в свой город, а кто сейчас живёт в его доме, неизвестно. Слышимость была плохая, разговор прервался.

Я не уверен, что, застань я его в живых, я услышал бы во второй раз то же самое. Хорошо известно, что записанный однажды рассказ в дальнейшем не повторяется, сказитель переставляет эпизоды, прибавляет новые, опускает старые. Мне уже приходилось упоминать о народном православии, которое никакая власть не могла истребить. Но и с официальной церковью оно находилось в довольно странных отношениях. В дни, когда я гостил у

старика, передо мной разворачивался эпос, возможно, существующий в других изводах, в памяти и воображении других рапсодов, если они ещё живы. Вернувшись домой, я уселся за работу, заново сверил отпечатанный материал с магнитофонной записью — в двух-трёх местах лента оказалась испорченной, — набросал тезисы для доклада. Но что-то происходило со мной: я чувствовал, что теряю охоту заниматься анализом текста.

Не то чтобы я утратил к нему интерес. Но как материал для научной обработки он перестал меня интересовать.

Не стану вдаваться в подробности моих тогдашних планов. О том, чтобы опубликовать свою запись, конечно, не могло быть и речи. Я собирался выступить на конференции о латентных феноменах культуры. Представлялось весьма перспективным интерпретировать мой материал как часть специфического пространства фольклорных текстов, выполняющих параллельные идеологические функции помимо официальных — газетных, школьных и др.

Стоило мне, однако, вспомнить моё путешествие в озёрный и болотистый край, глухую деревню, рассвет на берегу сонной речки, искры света на воде, росу, которой осыпала меня ива, услышать кашель кривого старца и его силстый голос, — стоило лишь всё это вспомнить, как мои академические проекты стали опадать, словно высыхающая листва. Чуть ли вся моя наука рассыпалась в прах. Или, по крайней мере, требовала коренного пересмотра. Представляю себе, что сказал бы, узнав об этом, незабвенный Косьма Кириллович.

Причуды пространства — здесь, на дне воронки — соединились с зигзагом времени. Я не философ и, вероятно, выражаюсь неуклюже. Я действительно заболел. Можете считать и так. Я заболел недоверием. Недоверием к чему? К действительности, иначе не скажешь. Но ведь то новое и неожиданное, что завладело мною, на самом деле старо, как вся наша цивилизация. Да и не только наша: таково было мироощущение древнейших народов, такова мудрость индийцев.

Доскажу, чем всё это кончилось.

Мой отъезд из деревни, точнее, обратный поход с рюкзаком и магнитофоном, в надежде встретить по пути какой-нибудь транспорт, я наметил на завтра. Хотелось узнать, что стало с учителем, — если дед ещё был в состоянии прибавить что-нибудь к своим рассказам.

Может быть, следовало сказать: к своим рассказам?

Дед говорил, что ему в то время было не больше двадцати. Теперь ему под восемьдесят. Следовательно, дело происходило до революции, самое позднее — в первые годы советской власти. У старика же, судя по мелким подробностям, получалось, что учитель явился и странствовал с маленькой общиной учеников совсем недавно.

Нельзя, конечно, сбрасывать со счётов простое предположение, что это была секта, каких немало появлялось в этих краях. Секта со своим предводителем, который объявил себя новым Христом, со своей мифологией, повторяющей в искажённом виде каноническое предание. Но как бы то ни было, вопрос, когда же это всё-таки было, остаётся без ответа.

Взглянём на дело с другой точки зрения: явление Мессии? Второе пришествие, которого ожидают верующие — и окончившееся неудачей? Не зачем говорить о том, что подобная версия могла иметь для меня смысл и значение лишь как часть всё того же эпоса.

Но и в этой — назовём её так — гипотезе брезжило нечто выходявшее за пределы всевозможных теорий. Вспомним поэму, которую рассказывает Иван Карамазов. В XVI столетии, через пятнадцать веков после Голгофы, Иисус Христос вновь появляется посреди народа, но церковь видит в нём своего врага, и Великий инквизитор решает сжечь его как еретика — казнить вторично. «Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты».

История, рассказанная одноглазым старцем, могла бы выглядеть легендой наподобие легенды о Великом инквизиторе, если бы она не напоминала нечто другое — нашу российскую действительность.

VII

«Куды делся. Никуды не делся. Пропал».

«Как это, пропал».

«А вот так. Куды все люди пропадают?»

Тут он окончательно умолк, и казалось, клещами не вытянешь из него больше ни слова. Над столом кругами носилась муха. Крутились катушки, спохватившись, я остановил запись. Дед собрался лезть на печку.

«Ну, хорошо, — сказал я, — завтра простимся. Посиди со мной напоследок».

Дед вернулся к столу, с тряпкой в руке следил хищным оком за мухой. Хлоп! — едва только она уселась.

Выждав немного, я спросил: помнят ли его всё-таки?

«Помнят, как не помнить».

«Ну, и что говорят?»

«Что говорят... Язык без костей — вот и болтают что взбрентится».

Оказалось, что прошёл слух, будто учитель подался на север. Поселился в скиту. По другим сведениям, вознёсся.

«Вознёсся?»

«Ну да. — Старик ткнул пальцем в почерневшие стропила потолка. — На крыльях али как там. Тут и до потолка-то не допрыгнешь. Говорю тебе, язык без костей. Что хочет, то лопочет».

Я вздохнул. «Папаша. Или ты мне скажешь правду, или...»

«Чего говорить-то, сам, что ль, не понимаешь?»

«Не понимаю. Объясни».

«Чего объяснять. Сгинул! Сгинул, и всё», — сказал дед и неожиданно всхлипнул.

Взглянул на медленно вращающиеся бобины, покачал головой.

«Я тебе так скажу: у каждого бывают такие минуты, что хоть вешайся. Вдруг затосковал наш старшой, всё, говорит, ни к чему. Вот я с вами хожу, учу народ уму-разуму, я ведь русский народ люблю. Хочу, чтоб жили по совести, по человечеству, друг дружку уважали, чтобы один другому помогал.

А что получается? Вот помру — они, как были, такими и останутся. И даже ещё хуже. Всё напрасно, и жизнь моя, говорит, прошла без толку. Что это я себе вообразил? Ничего тут не поделаешь и не переделаешь. Как сидели в говне, так и будут сидеть. Потом подумал и говорит: ступайте вы, дорогие мои, любимые, своею дорогой, возвращайтесь к родным, а я пойду моим путём, моей судьбе покорюсь».

«Так и сказал».

«Так и сказал; сам слышал, своими ушами. Мы, конечно, переполошились, дескать, как мы тут без тебя. Тогда уж и нас возьми с собой, веди куда хочешь. Нет, говорит. Вот петух пропоёт, я с вами и распрощаюсь. Только не получилось по-евоному. А может, он и об этом думал. Может, предполагал. В общем, что там говорить, арестовали его».

«Кто арестовал?»

«Ну что, ну что, — сказал дед, раздражаясь, — непонятно, что ль? Как людей арестовывают? Приедут ночью — и ау, поминай как звали».

Так, подумал я. Этим должно было кончиться. Значит, это была правда!

«...Ведь никто слова не скажет, никто не заступится. Да ещё потом пойдут разговоры, всё шепотком, дескать, нет дыма без огня, коли взяли, значит, за дело».

«Ты говорил — рассказывали, будто он вознёсся на небо?»

«Может, кто и рассказывал, а больше помалкивали. Словно и не было такого человека. Какой-такой учитель — не было никаких учителей. Нет, чтобы сказать: братцы, милые мои... это что ж такое деецца! Людей хватают ни за что ни про что, а мы тут сидим и молчим. Человек добра хотел... У! — прощипел старик. — Я бы этих сук поганых, мандовошек!..»

«А ты. Ты тоже молчал?»

«Я-то? Меня тоже забрали».

«Вместе с ним?»

«Не, попозже чуток. А вот я тебе так скажу: прав был наш старшой. Таким людям, как он, здесь делать нечего».

«Где — здесь?»

«В России, чтоб ей...»

Россия большая, заметил я.

«Большая-то она большая, а всё равно найдут. Они всюду. И стукачей везде как собак нерезаных. Такому человеку всё равно жить не дадут».

«Ну, хорошо; а остальные?»

«Какие остальные?»

«Ты говорил — вы жили коммуной».

«Верно. Только на одном месте не жили. То в одну деревню, то в другую. Ну и само собой, нашёлся иуда. Деньги за это получал».

«Откуда ты знаешь?»

«Откуда знаю... Меня ведь тоже за жопу взяли. Что ни ночь, то на допрос. Зачали обо всех расспрашивать: кто да что — что этот говорил, что тот ему ответил. А про иуду ни слова. Будто его и не было. Ясное дело: ихний человек».

Я попросил рассказать всё по порядку.

«А ты меня не путай. А то всё перебиваешь да перебиваешь. Чего сказать-то хотел... да. Пришли в одно село, хотели в сарае переночевать. А уж там все знают, мальчишка прибежал, говорит, председатель к себе зовёт. Пошли к председателю, изба большая, под железной кровлей, сразу видно — начальство живёт. Сам стоит на крыльце, руками разводит, милости прошу, гости дорогие. А там стол накрыт, хозяйка бегаёт туда-сюда. Учитель говорит: спасибо, только ведь мы не пьём...»

Я подлил старику, он бодро опрокинул в рот четверть гранёного стакана, отдуваясь, понюхал хлеб, хрустнул головкой зелёного лука.

«Председатель колхоза?»

«Ну да. Колхоз у него — три бабы с половиной, чего-то там ковыряют, а сам небось богатый. Сидим, кушаем. Хозяйка потчует, сам с бутылкой нацелился, ради такого дела, говорит, со свиданьцем. Ну, куда деваться, выпили. И спать, говорит, для вас приготовлено, вас в горнице положим, а друзья ваши, если хотят, можно на сеновале. Учитель поблагодарил, извините, говорит, столько хлопот вам доставили. — Что вы, что вы, это для нас большая честь, великая радость. — И вот видим, лицо у нашего старшого грустное-грустное. Посмотрел он на нас на всех и говорит: тоскует моя душа, что придётся вас покинуть. Не станет пастуха, и разбредётся стадо. А мы сидим, дурачье, ничего не понимаем. Выпимши, конечно, чего уж тут говорить... Он опять обвёл всех глазами, опустил голову и промолвил: один из вас меня предаст. Ложитесь, говорит, спать, небось устали, и хозяевам отдыхать пора. А я выйду, посижу на воле».

«Не знаю, — сказал старик, — ничего-то я больше не знаю... Что было, как было, всё забыл. А может, проспал. Молодой был. И другие — прохрапели всю ночь. Утречком выходим, председатель сидит, и лица на нём нет. Что такое? А то, говорит, что нет больше вашего учителя. Приехала машина, вывели его и затолкали в машину. И увезли — может, в район, а может, ещё куда».

Кагушки вертелись. Старик мигал своим глазом.

«Говори, отец...»

«Приехали, говорит, втихаря, фары потушены, собака забрехала. Спрашивают: здесь живёт такой-то? Председатель напугался, нет, говорит: не живёт он у нас, попросились переночевать, мы и пустили. — Где он? — Председатель опять: попросились-де на ночь, а кто такие, знать не знаю. — Как же это вы пустили к себе людей и не знаете, кто это. — Да пожалел, говорит, погода была плохая. И тут вдруг выходит этот. Сейчас, говорит, я его разбужу. А его и будить не надо, сам вышел из горницы. Иуда этот говорит: здравствуй, учитель! Как спалось? Подошёл и в щёчку его».

«Поцеловал?»

«Да, чмокнул в щёчку, и вдруг слышат — я-то, конечно, ничего не слышал, председатель рассказывал, — слышат, в сарае петух закукарекал. На дворе темень, а он волнуется, хлопает крыльями. Видно, почуял неладное».

«А что же председатель?»

«Что председатель — забрали, говорит, вашего учителя. Девчонка выбежала, уцепилась за него, не дам, кричит, не дам! Царапается, кусается, как бешеная. Пока её не огрели так, что она ничком повалилась».

VIII

Сказитель храпел на печи. Было ещё темно. Пожитки мои лежали наголове. Государство у нас обширное, — повторю то, что уже сказал, — однако вовсе не обязательно отправляться в далёкое путешествие, ехать надо не вдаль, а вглубь. Почти весь день ушёл у меня на то, чтобы добратся до райцентра.

Я понимаю, что от меня ждут если не «морали», то хотя бы сколько-нибудь внятного объяснения. Что я могу сказать? Предположить, что вне нашего, для всех одинаково текущего времени существует другое, циклическое, и рано или поздно всё возвращается на круги своя? Или что за гранью реальности есть какая-то иная реальность? Оставим эти (и подобным) вопросы без ответа.

Мною были предприняты дополнительные розыски. Я заказал разговор с Великими Луками. Домашнего телефона у дочери не было; она работала в бухгалтерии льнокомбината. Долго искали, наконец, она подошла к телефону. Я напомнил ей о себе.

Город Великие Луки считается чуть ли не ровесником Москвы. В войну он был стёрт с лица земли. Кое-что восстановлено, я успел лишь пройтись по набережной Ловати. Дочь моего знакомого жила в полудеревенском доме на окраине. Это была пожилая располневшая женщина, круглолицая, с пробором в жидких русых волосах и косичками на затылке, в темно-синей вязаной кофте и просторной юбке. На распухших ногах матерчатые тапочки. Она встретила меня с отчуждённой вежливостью.

К моему приезду был приготовлен пирог с черникой. За чаем я узнал от старике то, что мне было уже известно: жил бобылём, виделись редко; ни за что не хотел съезжаться с дочерью. Был ли он здоров? Вроде бы да. «Я имею в виду... — уточнил я, — психически». — «Да как вам сказать», — возразила она.

Тут дверь отворилась, появилась ещё одна женщина, с которой дочь сказителя жила в одном доме. Она показалась мне нестарой, может быть, оттого, что была небольшого роста.

«А у нас гость, — сказала хозяйка. — Из Москвы».

Я встал.

Смуглая, шупленькая, острый носик, острый взгляд слегка косящих чёрных глаз. Видимо, она уже знала, кто я такой. Я сказал, что я здесь впервые, и похвалил город. Она ответила, что город очень украсился за последние годы, в центре новые дома, много зелени, есть даже цветные фонтаны. Давно ли она живёт в Луках? Да как сказать — порядком уже.

«Вы ведь, кажется, из тех мест. С дедушкой, наверное, были знакомы?»

«Была».

«Я слышал, он был арестован?»

«Арестован?»

«Мне говорили».

«А, ну да. Так это уж давно».

«Не знаете, за что?»

Она стрельнула в меня глазами и отвела взгляд. Дочь старика поджала губы, приняла чопорный вид. Чай остывал в чашках.

«Простите, что надоедаю вам вопросами, — сказал я. — Как долго он пробыл в заключении?»

«Его обратно привезли».

«Обратно, откуда?»

«Из лагеря, откуда же ещё».

«Его в институт Сербского перевели, — сказала дочь. — На экспертизу».

Имелся в виду Институт судебной психиатрии. Значит, всё-таки?..

«И что же?»

«А ничего. Списали, и всё».

«Скажите, Маша... можно вас так называть?»

«Отчего ж нельзя, пожалуйста».

«Скажите, Маша, вы ведь, кажется, не замужем?»

«Нет; а что?»

«А дети у вас есть?»

Она посмотрела на меня.

«Один ребёнок есть. Почему вы спрашиваете?»

«Мальчик или девочка?»

«Девочка».

«Ещё один вопрос... простите, ради Бога, за назойливость. Там был один, как бы это сказать... Бродячий проповедник. Ходил по деревням, у него и ученики появились. Вы с ним случайно не были знакомы?»

«Какой проповедник?» — спросила Маша, и я так и не мог понять, притворилась ли она, что не знала учителя, или, в самом деле, ничего не помнит.

Вернувшись в Москву, я отправился в известное учреждение. После памятных всем перемен появилась возможность «ознакомиться с делами»: на короткое время тайная полиция приоткрыла свои архивы. Конечно, не для всех, а лишь для близких — детей и вдов. Мне удалось обойти эту трудность. Я сидел в зале для посетителей, видел людей, листавших пухлые папки. Последовал новый вызов к окошечку: мне сообщили, что никакого дела о странствующем учителе и его спутниках не существует. Уничтожено? Нет, оно не могло быть уничтожено.

Расхрабрившись, я спросил: следственного дела нет, а как насчёт оперативного? Оперативные дела не выдаются, сказал человек в погонах, но и этих документов нет.

«Я думаю, — добавил он, глядя на меня открытым, честным взором бывшего палача, — что такого человека попросту не существовало».

ИЗБРАННИК

Невиданное буйство малины

Возможно, мне следовало придумать другой заголовок. Но так началась эта дикая история: выйдя из леса, я остановился; право же, ничего подобного я никогда не видел. На всём пространстве вокруг, вперемежку с высокой, по грудь, крапивой, буйно разросшийся кустарник был весь осыпан спелыми, синюшно-алыми ягодами, ветки, отягчённые гроздьями, касались земли, покачивались высоко над головой, незаметно для самого себя я погрузился в эту чашу, рвал обеими руками, ел пригоршнями, жадно глотал сладкий сок, и уж не знаю, сколько времени прошло, прежде чем понял, что не в силах больше взять в рот ни одной ягодки. Кое-как выбрался, почёсывая обожжённые руки, побрёл по сухой, усыпанной иглами тропе между соснами домой, в деревню. Но прошло полчаса и, должно быть, ещё столько же, я шёл и шёл, и не видно было просвета. Давно уже сосняк уступил место тёмным разлапистым елям; всё угрюмей становился лес, кое-где под ногами хлопала вода, временами я терял тропинку, возвращался, шёл дальше, небеса между верхушками деревьев начали тускнеть, я вышел на поляну, заросшую высокой жёсткой травой, и уселся на обомшелый пенёк. И тут послышались голоса. Вернее, говорил один голос, с характерными для здешних краёв певучими интонациями. Показались две женщины с бидонами и лукошками, старая и молодая.

«Давайте, помогу», — сказал я, беря у старухи бидон, полный ягод.

Она спросила: «А как твоя деревня-то называется?»

«Большие Олени».

«Эва! куда ж ты забрёл».

Я старался приноровиться к её спорному шагу, девушка попевала следом. Всю дорогу она не проронила ни слова, но её молчание влетало в разговор; хотя, быть может, так мне кажется теперь, задним числом.

«В гостях, что ль? Али дела какие?»

Я отвечал, что никаких дел у меня нет, хочу побыть недельки две-три.

«А у кого стоишь?»

«Друзья пригласили, у них тут дом».

«Пригласили, а самих нет?» Стало ясно, что она и так всё знает, расспросы предписывал ритуал сельской учтивости. Изба была куплена за ничтожную плату несколько лет назад, до этого пустовала. На мой вопрос, кому дом принадлежал раньше, старуха коротко ответила: «А никому».

Я спросил: «Это ваша внучка?»

Собственно, она не была старухой, а находилась в том неопределённом возрасте, в который женщины в северных деревнях вступают лет с тридцати, тридцати пяти, чтобы потом уже не меняться многие десятилетия.

«Какая внучка, сирота. Живёт у меня».

Вышли на просёлок, следы колёс превратились в наезженные колеи. Лес расступился. Огромное сине-серебряное сияние раскрылось над полем, стало зябко, высоко в пустыне неба виднелся маленький белёсый серп. Впереди Большие Олени горели оранжевым огнём, и так же, думал я, пожар заката заливал окна хижин — должно быть, это были не стёкла, а бычьи пузыри, — во времена, когда косматые узкоглазые всадники налетели на деревню и запыхал настоящий пожар, и мужики с бабами и детьми укрылись в тайге, и навстречу им вышли из чащи три златорогих оленя, и во времена, когда здешние пустынножители не признали никоновых реформ, исправления древних книг и не велели креститься тремя перстами, и тогда, когда солдаты в петровских треуголках явились и приказали под страхом смерти выдать беглопоповских скитян.

Сёстры

Кто-то ходил под окнами моего дома, стукнул в окошко раз и ещё раз. Я вскочил с моего ложа, вышел на крыльцо, шурясь от яркого солнца, — никого кругом. Шлёпая босыми ногами, я прошёл через сени в огород, где у меня была устроена умывальня, голый, дрожа и фыркая, облился водой из ведра. Вернулся — на крыльце стояла крынка, прикрытая чистым серым полотенцем. Закусив чем Бог послал, напившись парного молока, я отправился прогуляться.

Дом стоял на отшибе. Некогда поселение было, наверное, многолюдным, соответственно своему названию; теперь полтора десятка изб на высоких, по-северному, подклетьях, стояло вдоль единственной улицы. Солнце поблескивало в маленьких окошках. По-прежнему не видно было ни души. Не слышно ни пения петухов, ни поскрипыванья валика на колодце. За деревней на угорье находился погост, семейство ветхих крестов, плоских замшелых камней. Я успел потерять счёт дням недели, кажется, было воскресенье. Как-то так получилось, что ноги сами подвели меня к дому Манёфы.

Окна были закрыты ставнями. Я вошёл, не стучась, в сени, дёрнул за ручку, тяжёлая дверь подалась. Держа в руках свою обувь, переступил через высокий порог. Это была просторная, чисто прибранная, устланная половиками горница в три окна. Свет бил сквозь щели ставень. Стол под скатертью из серого холста с красной вышивкой по краям уставлен графинами с красной наливкой, тарелками со снедью, вдоль стола — лавки и табуретки, в красном углу большой тёмный образ, висячая лампадка и маленький аналой с иконками поменьше. Хозяйка хлопотала за перегородкой.

Изба стала заполняться народом. Женщины в белых платочках входили, оставив в сенях обувь, в толстых вязаных носках, длинных сборчатых юбках и парадных кофтах, молча кланялись и крестились на иконы, чинно рассаживались. Все казались одного возраста, не молодые и не старые, с

мягкими лицами, с поджатыми губами. Никто не смотрел на меня. Похоже было, что я единственный мужчина в этой компании. Но под конец ввели под руки ветхого старца, лысого, с бородёнкой, в белой рубахе и полосатых портах. Наступила тишина. Все сидели, чинно глядя перед собой.

В комнату вступила Манефа, неся в обеих руках большой медный трёхсвечник, и следом за ней та самая девушка по имени Феня, которую я принял в лесу за манефину внучку. Шандал был водружён посреди стола. Старушонка в чёрном платке зажгла свечи. Феня с подносом приблизилась к старцу. Он держал дрожащей рукой рюмку, выпил сидя, соседка, чёрная старушка, утёрла ему рот. После чего Феня обошла сидящих, а те, кто сидел у стены, передавали поднос друг дружке. Каждая вставала, дважды крестилась двумя пальцами, истово осушала рюмку, опускала, стараясь не греметь, монеты на тарелку. Всё совершалось в молчании. Дошла очередь до меня. Я смотрел на Феню. Она стояла, прямая и неподвижная, опустив глаза, мерно дышала её грудь. Густой белёсый напиток отдавал чем-то. Я положил на тарелку десятирублёвую бумажку. Видимо, это было не в обычае — слишком много; женщины опустили глаза. В комнате было сумрачно, лепестки огня на столе едва шевелились, слабые отсветы играли в графинах, в гранёных рюмках толстого стекла, на жестяном окладе и нимбе выступившей из тьмы Богородицы. Местный иконописец представил её без младенца, с поднятой ладонью, как бы предостерегающе.

Манефа сидела рядом со старцем и услужавшей старухой, во главе стола. Нацепив железные очки, читала вслух из толстой, поеденной временем книги. Питъё, которым Феня обносила женщин, видимо, действовало на меня: я плохо понимал, где я нахожусь, мерный голос Манефы доносился до меня, я различал отдельные слова, но не мог уловить связи; впрочем, и сама чтица, возможно, не вполне понимала смысл прочитанного, загадочный текст должен был оставаться тёмным по принятому здесь уставу или обряду. Язык был архаический, на таком языке мог бы изъясняться протопоп Аввакум.

Мне стало дурно, сколько-то времени я провёл на воле, сидя на ступеньках крыльца, — как я думал, совсем недолго, — но, вернувшись, увидел, что радение окончилось. Остатки кушаний лежали на тарелках, в графинах поубавилось; разрумянившиеся крестьянки, иные со сбитыми на затылок платочками, пели, подперев щёки ладонями, полузакрыв глаза, и казалось, что пиршественный стол раскачивался, словно корабль. Я старался подпевать, хоть и не знал слов.

Одна за другой выходили из-за стола, расправляли юбки, озабоченно крестились, торопливо причёсывались гнутыми гребешками, встряхивали и повязывали платки, подтягивали кончики под подбородком, прятали выбившееся пряди. Осторожно подняли старца, лежавшего в стороне на лавке. Хозяйка задула оплывшие свечи. Опустевшая, сумрачная комната казалась меньше, потолок ниже. Посуда была убрана со стола. Я всё ещё сидел на своём месте.

Почему, спросил я, показывая на икону, Богородица одна без младенца.

Манефа вышла из кухни, села против меня.

«Так надо».

Я вспомнил, где-то читал, что в некоторых культах центральное божество может быть женского рода, хотел было снова о чём-то спросить. Манефа позвала:

«Аграфена! Граня!.. Ну да, — сказала она, заметив мой удивлённый взгляд. — Её то Граней, то Феней кличут».

Девушка выглянула из-за перегородки.

«Ты бы пошла, отворила».

Феня удалилась, мы услышали шаги под окнами, ставни распахнулись, в горницу пролился солнечный свет.

Я продолжал расспрашивать.

«А где же ваш священник?»

«Поп, что ль? Нет у нас никаких попов, мы беспоповцы. — Она поглядела на меня. — И чего это я тебе всё рассказываю. Небось, уедешь, донесёшь на нас».

«Кому же это я донесу?»

«Слугам дьяволовым».

«Кто-нибудь сюда приезжал?»

«Были двое, вынюхивали. Напоила их, они и уехали. Я сперва подумала, что и ты тоже».

«Что — тоже?»

«Из ихних!»

«Разве я похож?»

«Кто тебя знает. Они как оборотни. Кем хочешь прикинешся. Нет, — сказала она, — не похож».

«Послушай, Манефа, — проговорил я, — а что это было в рюмках... на подносе?»

Она усмехнулась: «Понравилось?»

«Да как тебе сказать».

«То-то я вижу, ты даже не заметил, что пьёшь. Всё на Граню глядел...»

Я пожал плечами. Она вздохнула.

«Лучше я тебе сразу скажу. Вот что, друг милый. Ходить к нам ходи, всегда тебе рады. Может, и поучишься кой-чему. А на неё нечего заглядываться. Ничего у тебя не получится. Понял?»

«Да с чего ты это взяла?»

Я был удивлён или сделал вид, что удивлён.

«Ты мне зубы не заговаривай, что ж я, слепая, что ли... А я тебе прямо говорю. Выбрось из головы. Она затворённая».

«Как это?»

«А вот так».

Я почувствовал, что мне пора идти, поднялся было, она усадила меня.

«Дьявол, он ведь не дремлет. Мужиков, сам видел, у нас совсем нет; а ты ещё молодой. Хочешь пожить у нас, живи, может, и польза какая будет. А если уж совсем невтерпёж, я тебе бабу подыщу. По соседству... На наших

чтобы ни-ни! Да они и сами тебе не дадут... Мы тут все сёстры. Сёстры Марии, слышал про таких? Вот ты спрашивал, — продолжала она, — что тебе испить поднесли. Что другим поднесли, то и тебе. Пречистой Девы молоко».

«Что?»

«Молоко. Из её груди».

Я понял (так поступают психиатры), что продолжать беседу можно, лишь следуя логике собеседницы. Выходит, сказал я, у неё всё-таки был ребёнок.

«Вестимо. Кабы не родила, и молока бы не было».

А как, осторожно спросил я, насчёт непорочного зачатия?

«Какое там непорочное... сказки всё это. Как это может быть, чтобы без мужика. Без семени его... Случился грех, что ж она, не баба, что ли. И зачала, и родила. И разверзлись ложесна, и затворились. И вновь стала девичьей».

«Почему же тогда... без младенца».

«Ты про икону, что ль?.. Почему, почему. Потому! Иисус — он не наш Бог. Он для мужиков».

Она наклонилась ко мне и прошептала:

«Он с дьяволом в сговоре. Пошёл, пошёл!» — и замахала руками. Я вышел.

Феврония

Я только что проснулся, лежал на кровати, когда она постучалась ко мне; дело происходило неделю спустя.

«Что-то не видно тебя. Приболел, что ль? Вот, молочка тебе принесла, хлебца свежего. Только испекла...»

Мы поговорили о том, о сём; я сказал:

«А ты, Манефа, как в воду глядела. Они к тебе не заходили?»

Она уселась на табуретку и распустила платок.

«Фу, упарилась. Лето жаркое, уж и не помню, когда такое было. Может, и заходили. Мы в лес ушли. По малину».

Она добавила:

«Ты смотри, сам туда не ходи. Неровен час, уйдёшь и не вернёшься».

Что же такого опасного в этих местах, хотел я спросить. Но мне не терпелось задать другой вопрос.

«Ты что же, заранее знала, что они явятся?»

«Знать не знала, а чуяла. Ты смотри! — подняв палец. — Ты чего им сказал?»

Ничего не сказал. Накануне остановился перед домом «газик», вроде тех, в которых ездят председатели колхозов. Здесь, в лесах, никакого колхоза не было, разве только числилось что-то для успокоения начальства. Здесь вообще был другой век.

«Да кто приехал-то?» — спросила Манефа, хотя, скорее всего, ей и так всё было известно. Вылезли двое в штатском, так называемые со-

трудники, с характерными невыразительными лицами. Спрашивали, откуда я, зачем приехал, проверили документы. Потом спросили, где живёт Савелий.

«А ты что?»

«Сказал, что понятия не имею, кто такой Савелий».

Один из них оглядывал моё жильё, другой вперился в окошко. Немного погоды заурчал мотор; укатили.

«Ну и пусть ищут, — сказала Манефа. — Он давно помер».

Я не нашёлся ей возразить, не решаюсь и сейчас сопроводить какими-либо комментариями её слова. Скажу только то, что услышал от моей вожатой.

Старец Савелий пришёл в челне лет тридцать тому назад и построил себе дом на острове, а был он в то время рослый, чёрнокудрявый и чернобородый мужчина; никто не знал, откуда он родом. Слух о нём разошёлся во круг, женщины, старые и молодые, зачастили к нему, шли разговоры о магической силе, исходившей от него, для многих он был мужем. Дьявол возликовал и послал слуг своих унести его в своё царство. Двадцать лет провёл там старец Савелий, претерпел муки, и выжил, и одолел дьявола. Лагерный хирург вырезал ему мошонку. И вышел на волю очищенный. После чего проповедовал в селениях за Мезенью и Белым Лухом, жил в лесу и умер здесь, в Больших Оленях, окружённый Фаворским светом.

Я выслушал эту галиматью, не моргнув глазом. Сказывали, продолжала Манефа, что дьявол прилетал ночами и садился на могилу в образе молодой полногрудой бабёнки. И так продолжалось до тех пор, пока старец однажды не восстал из гроба и прогнал нечистого. С той поры он приходит время от времени наставлять сестёр. Вот как и давеча, добавила она.

Сколько-то дней я не видел Манефу, никого не встречал, пока однажды под вечер, возвращаясь с прогулки, не заметил издали её, сидящую на ступеньках моего дома. К удивлению моему, оказалось, что это не она. Был ли, однако, этот визит такой уж неожиданностью? И, хотя Манефа говорила что-то насчёт того, что подыщет какую-нибудь не из «наших», мне показалось, что гостя была тогда среди сестёр, беспрекословно подчинявшихся хозяйке. Следом за мной она вступила в дом.

Простоволосая, с подоткнутым подолом, шлёпая босыми ногами с крепкими белыми икрами, она мыла пол в избе, выжимала тряпку, выливая грязное ведро в огороде, развесила выстиранное бельё, перетряхнула постель, перемыла грязную посуду. Я сидел за столом, делая вид, что читаю, а на самом деле исподтишка следил за ней. Это была рослая, румяная и черноволосая баба на вид лет тридцати пяти, но, как я уже сказал, внешность деревенских женщин обманчива.

Стемнело, она привела себя в порядок. Поглядывая в исцарапанное зеркало, скрутила волосы узлом, повязала чистый платочек, почистила и наполнила керосином тяжёлую, зелёного стекла лампу. Мы поужинали. Как положено, я расспрашивал её о том, о сём. Она была родом издалека, с

Верхней Пижмы, семнадцать лет вышла замуж в Большие Олени, муж вскоре исчез, оставив её на сносях, ребёнок умер. Несколько лет работала на лесозаготовках в низовье, вязалась там с бесконвойными; потом вернулась.

Удивительные у вас всех имена, сказал я, древнерусские какие-то. Она возразила: а мы и есть древние русские. Мне хотелось спросить, известно ли ей сказание о деве Февронии.

Ужин был окончен, Февронья собирала со стола. И было совершенно ясно, зачем она пожаловала ко мне.

«Ведь это Манефа прислала тебя?» — сказал я.

Она остановилась.

«Ты, милоч, вот что. Ты не думай, что вот, дескать, баба изголодалась по мужику. У нас, сам знаешь, порядок строгий».

«Что ты, — забормотал я. Думаю, по лицу моему было видно, что я говорю неправду. — Что ты, Феня... я и не думал...»

Опять Феня. Это имя меня преследовало.

«Вишь, — она оглядела избу, — живёшь тут, а нет чтобы как люди. Грязью по уши зарос. Где у тебя образа-то, небось, выкинул?»

Она отправилась в кладовку.

«Эта нам не подходит... этого тоже не надо», — говорила она, сидя на лавке, вытирая закопченные, словно выступившие из мрака лики икон. Выбрав, наконец, подвесила в углу.

Я заметил: «Богородица-то у тебя с младенцем».

«Ну и что».

«Вроде бы у вас не положено».

«Чего болтаешь», — сказала она строго.

Наступило молчание, она разбирала постель.

«Что ж, по-твоему, не женщина она, что ли? И в книгах так написано: родила непорочная Дева от Духа Святого».

«Манефа мне по-другому говорила».

«Манефа, Манефа... чего заладил. Ладно, — сказала она, — время позднее, а мне завтра рано корову выгонять. Чего стоишь, разоблачайся. Дай взгляну на тебя. Какой ты есть».

Она сидела на кровати, закинув руки с голыми локтями, вынимала шпильки из волос. Её груди стояли под рубашкой, отороченной грубыми кружевами. Она усмехнулась.

«Может, и ты мне ребёночка сделаешь».

«Феня, — сказал я. — Но я ведь не Святой Дух».

«Вот именно что не святой. Экая мошна у тебя, сосуд дьявольский. Вот он, нечистый-то где сидит. Ф-фу, ффу!»

Она склонилась почти вплотную ко мне и дула изо всех сил, надув щеки.

«Нуко-сь, просыпайся, соколик...»

Низким голосом, почти басом:

«Просыпайся... поднимайся...»

Это напоминало какое-то волхование. Её глаза расширились, из тёмно-карих стали чёрными.

«Ступай в гнездо! Ступай в гнездо!..»

«Ты сама дьявол», — пробормотал я. Несколько раз она вскрикнула. Огонёк едва теплился на столе. Где-то далеко ухала вышь. Засыпая, я слышал, как она прошептала:

«Коли нравится, зови меня Феней. А на нашу Феню глаза не разевай. Дьявол нашепчет, а ты не слушай. Я твой огонь затушу, и позабудешь. Как почнёт тебя донимать, так и затушу...»

Савелий. За чифирём

Птицы перекликались, давно уже рассвело, я старался расшевелить мою гостью, спавшую мёртвым сном, но никакой гостью уже не было, свежий и умытый, я брёл по лесной тропинке и ничему больше не удивлялся. Избушка, едва ли не на курьих ножках, под двускатной крышей, откуда торчала железная труба, с единственным, мертвенно отсвечивающим оконцем, стояла над оврагом. На кольях висели крынки, от крыльца была протянута верёвка и сушились порты и рубахи, внизу блестел ручей. Никто не отзывался на мой стук.

В полутьме старец Савелий лежал на лавке под бараньим тулупом, кверху торчала его бородёнка. Стоял грубо сколоченный стол на двух крестовинах, в углу помещалась железная печка с коленчатой трубой на проводочных подвесках.

«Папаша! — сказал я. — Жив?»

После некоторого молчания дребезжащий голос откликнулся:

«Живём».

«Слава Богу, а я уж было подумал...»

«Чего подумал?»

«Да ведь говорят, тебя давно уж нет».

Я сидел на табуретке и как будто разговаривал сам с собой.

«Может, это наваждение? Может быть, и ты — фантом, призрак, игра воображения?»

«Может, и так, — сказал голос из-под тулупа. — Помогите-ка мне, парень, сесть».

Я подхватил старика под мышки, и мы уселись рядом на скамье. Я покрыл ему ноги тулупом.

«Долго искал меня?»

Я подумал, что он говорит о лесной избушке.

«Ищешь, говорю. Небось, не один год?».

«Почему ты так думаешь, отец?»

«Я не думаю, я знаю».

Он показал бородой на печурку, я вышел и вернулся с охапкой коротких, мелко наколотых дров. Щепы и газеты лежали за печкой.

Старик сбросил тулуп, сидел в подштанниках на своём ложе, ноги в коротких, с обрезанными голенищами валенках.

«Должно быть, скоро, в самом деле, помру», — сказал он.

За дверцей билось пламя. Там, где из ящика выходила труба, железо начало краснеть. Но тепла, как известно, эти печки не держат: вдруг становится жарко, и так же быстро, едва успеет прогореть, всё выстывает.

«Помру, говорю, а замены нет. Вот, может, ты?»

«Я? тебе замена?».

«Мне видение было. Будто приехал некто, вот вроде тебя, молодой, неженатый. Я у него спрашиваю: ты кто такой? Сам, говорит, не знаю. Зачем пожаловал? А он отвечает: взыскую истины. Указание, стало быть, мне дано».

«Это интересно, — сказал я. — Но ведь ты меня совсем не знаешь. Вот Манефа даже решила, что я подослан — вынюхивать, что у вас тут творится».

«Чего с неё взять. Баба, она и есть баба. А ты вот мне скажи: ты вообще-то зачем сюда приехал?»

«Да так... ни за чем. Решил побыть одному, отдохнуть».

«От чего же это решил отдохнуть?»

«От суеты, от шума. От друзей, ну там, от женщин...»

«Баб небось любишь!»

«Да не так чтобы... Как все, в общем. Одним словом, — сказал я, улыбаясь, — отдохнуть от жизни!»

«Вот! — возразил старец, подняв корявый палец с желто-серым ногтем, похожим на клюв. — Оно самое».

«Не понимаю».

«Чего тут понимать. Избран ты, голубь. И не противься».

Я сказал, что думаю пробыть ещё недельку, а там и двинусь.

«Куда это?»

«Домой. Хорошего понемножку!»

«Ну это мы ещё посмотрим. Подбрось-ка дровишек».

«Скажи, дедушка... не знаю, как тебя величать...»

«Величать не надо, а называй, как хочешь. У меня много имён... Милок, ты самовар ставить умеешь?».

Я извлёк из-под лавки старый продавленный самовар, должно быть, сработанный при царе Горохе, яйцевидной формы, на львиных лапах. Старик давал указания. Самовар был вынесен на двор, наполнен водой, я запалил пучок лучинок, сунул в отверстие, насыпал сосновых шишек, насадил трубу. Несколько времени погода мы сидели за дощатым столом перед почернелыми кружками и початой банкой с малиновым вареньем, нашлась и заварка, и пузатый фаянсовый чайник с отбитым носиком.

«Кто же это тебя снабжает?» — спросил я.

«Ты побольше, побольше, — сказал Савелий, следя за тем, как я накладываю чёрный, перепутанный, как дёрн, чай в заварной чайник. — А сёстры, слава Богу, не забывают. Вот так и живём. Господи благослови, — бормотал он, — Богородица святая, спаси и охрани от злого духа, от нечистого помышления...»

В другой раз я пришёл с кульком сахара, с пачкой индийского чая, мы снова сидели за столом в его хижине; меня тянуло поговорить со старцем.

Обжигаясь, он дул на кружку, грыз сахар, пил маленькими глотками чёрный напиток.

«Только вот им и держусь. Да ещё молитвой».

«Вот ты учишь женщин безбрачию, — начал я. — А ведь природа предназначила женщину для материнства».

«Угу. Да... Кхе, кхе!»

Я снова нацедил ему из чайника заварку, подлил кипятку.

«Бывало, в лагере по целой кружке выпивали, теперь не могу. Да... Природа природой, а Бог создал Адама и Еву без брака. Удержись они от греха, нашёлся бы и другой способ размножить род человеческий. Не девство уменьшает человеческий род, а грех и распутство».

«Но ведь род человеческий прекратится, если перестанут рожать».

«Слыхали мы эту песню. Прекратится там или не прекратится — об этом пускай Господь заботится. А надо укрощать в себе зверя».

«В Библии сказано, Бог создал человека по своему образу и подобию. Выходит, всё наше естество — от Бога?»

«Верно. Всё от Бога. Только не один Господь сотворил людей. Дьявол тоже приложил руку».

Сидя на корточках перед открытой дверцей, я швырял чурбаки в квадратную пасть, захопнул, опустил задвижку. Наш теологический спор продолжался. Я спросил, как же это надо понимать — приложил руку. Выходил, дьявол — вроде человека?

«А вот так и понимай. Бог дал человеку тело, и сердце, и внутренности, и всё что положено. Как у всякой твари».

«И половые органы?»

«Само собой: мужчине уд и яйца, женщине гнездо. Говорю тебе — как у всякого животного. Только человек-то ведь не животная тварь. Для того дал, чтобы искушаться и чтобы бороться. В самом себе дьявола побеждать. Однако не зря сказано: многие званы, да немногие призваны. Мало кому удастся одолеть».

Я снова спросил: «По-твоему, дьявол — это живое существо?»

«Дьявольская сила разлита по всему миру. Дьявол, он везде. И в человеке, и в каждой твари, и в тебе, и во мне... А кто он есть, зверь человекоподобный, дух бесплотный али эманация какая, никто этого не знает. А ещё есть и такие, которые толкуют, что это-де особые лучи».

Я воззрился на старца.

«Оттуда, — сказал он и показал на потолок. — От чёрных планет. Тут ещё много тайн. Не нашего ума дело; как хочешь, так себе и воображай. А я тебе скажу так: приблизились сроки. Сбывается речённое. Дьявольская сила обступила, вот-вот победит, и настанет тьма. И начнётся всё это у нас в России. Да чего там говорить, началось уже!»

«Почему же в России?»

«Падёт Вавилон, великая блудница, станет жилищем бесов и пристанищем всякой нечисти, это о ком сказано? Это о нас сказано! — загремел он. — Ты что же, разве не видишь? А? Что кругом творится! А всё почему? Да потому что они там, начальство ё...ное, Хос-споди прости! — он взмахнул

двоперстием, — в самих себе дьявола не одолели. Вот где корень! Кабы Уса-тому вовремя яйца отрезали, он бы, может, и добра много сделал... Да и все они, кто там у них сейчас... во-от с такими елдами! — Савелий изобразил двумя руками, какими должны быть детородные органы у наших руководителей. — Вот она где, сердцевина зловонная! Упадёт небесный огонь и спалит Москву и Кремль ихний, богомерзкий!..»

«Ты полегче, папаша, — я усмехнулся, — если кто услышит...»

«Кто нас тут услышит, ты, что ль, побежишь доносить?»

Печка погасла, что-то потухло и в старце, гнев его улётся, он погрузился в думу.

«Выходит, по-твоему...» — начал я было, старец прервал меня.

«Все, все погибает, — проговорил он, — весь народ катится в бездну. Помяни моё слово: ничего от нашей России-матушки не останется. Да уж и мало что осталось... Надо спасаться... Вся надежда на праведных. А насчёт того-этого, то я тебе так скажу. От меня ничего не скроется. И что баба к тебе ходила, знаю. И правильно. Пуцай ходит. Так уж у нас повелось, что всё на бабах держится. Женщина может погубить, может так тебя разжечь, что света белого не увидишь, только о ней и будешь думать, пропади она пропадом, и с грудями её, и с жопой толстой, белой, и с гнездом грешным, пещью огненной, — и соришь на ней весь, и останется от тебя огарочек сальный, — сгинь, сгинь, дьявольская сила! А может и спасти. И вознесёшься с нею в сферы небесные, хрустальные. Готовься, голубь! Придёт твой час. Сказано: не будет пастуха, и разбежится стадо. Потому и нужен овцам пастырь. Пожидёшь у нас, пообвыкнешь. А там и очистишься... Пошёл, пошёл! — забормотал он вдруг. — Поговорили, и ступай... Устал я. Помоги лечь. И покрой... Покрой меня, голубь... Кхе, кхе!»

Я стоял над ним с тулупом.

Феня

Странные мысли меня одолевали по дороге, да и все эти дни; я думал... о чём же я думал? Я чувствовал их неслаженность, нелогичность, но они не мешали друг другу, совершенно так же, как разительные противоречия в словах старца Савелия не только друг друга не опровергали, но каким-то образом подкреплялись взаимно — чем же? — верой, которая не нуждалась ни в доказательствах, ни в последовательном изложении; я думал о том, что эта корявая вера, в сущности, и есть подлинная вера народа, которому некогда навязана была чуждая и непонятная, привезённая из дальних стран религия и который по видимости усвоил её в угоду начальству, на самом же деле глухо, тайно сопротивлялся. И вот теперь я увидел, до какой степени чуждой осталась эта религия русскому человеку. Тогда как древняя, внецерковная и веками преследуемая вера несла в себе то, что так близко его душе: жестокость и сострадание, презрение к человеку и жалость к нему, и юродство, и злую насмешку, и глубокое, растворившееся в крови сознание безрадостного существования на земле. Эта вера есть одновременно и неверие.

Попробуйте-ка объяснить этому человеку, Христос пострадал за всех и за него в том числе, — он только презрительно усмехнётся; а если всё же вы заставите его разговаривать, он спросит: как же так? коли Христос — это Бог, а Богу всё известно заранее, то, стало быть, он знает, что распятие на кресте для него ничего не значит, потому что муки его мнимые; или попытайтесь объяснить, что всё, что творится вокруг, вся эта бездна незаслуженных страданий, вся страшная жизнь, которая его окружает, на которую он и сам неизвестно за что осуждён, — что всё это устроено и совершается по воле Божьей и благому Божьему разумению. Он усмехнётся ещё злей, ещё горше, да пожалуй, ещё матерком пустит: на кой, дескать, хер мне такой бог? Уж лучше я поклонюсь дьяволу: он, по крайней мере, честнее.

Как и в тот, первый раз, явился я слишком рано. Манефа готовила трапезу. Феня отсутствовала. Сёстры входили одна за другой, крестились на лик бездетной Богородицы, молча рассаживались. Старца Савелия не было, оказалось, что он заболел. Меня усадили на его место. Я заметил, что ко мне уже не относятся как к постороннему. Иные даже кланялись. Феня так и не появилась, но когда, вернувшись домой, я прилёг отдохнуть, всё ещё под действием беловатого напитка (подозреваю, что это был самогон, настоянный на травах), кто-то прошёл под окнами. Я вскопчил, почему-то уверенный, что это Феня, выбежал на крыльцо, — но её уже след простыл.

Если это была она. Но за этим последовало нечто; может быть, она бродила вокруг. Я лежал без сна, была глубокая ночь, кто-то вступил на крыльцо, медлил. Я сказал себе, что я разумный человек. Ещё не вполне прошло действие наркотического питья, но я уже понимал, что мне нужно любой ценой закончить свои каникулы в деревне. Я чувствовал, что погрязну в какую-то трясицу. Выбраться было непросто, но я надеялся, что Манефа поможет мне найти подводу. Мне даже подумалось, что лошадь уже стоит перед моим домом, а я ещё даже не собрал вещи. В эту минуту дверь со слабым скрипом, как бы сама собой, приоткрылась. В сенях стояла она. Мне стало стыдно, что посторонние мысли отвлекли меня. В длинной белой рубахе, босая, с распущенными волосами, с тёмными кругами глаз, она перешагнула через порог. Феня! — вскричал я. Она приложила палец к губам. Феня, не бойся, продолжал я, никто нас не услышит. Иди ко мне, я с тобой. Это бывает, это даже довольно частое явление, когда ходят во сне. Она молчала. Это меня не удивило, ведь она и наяву была молчаливой.

Сейчас я тебя уложу, сказал я, ты уснёшь, а утром пойдёшь домой. Она покачала головой. — Ты желаешь мне что-то сказать? — Люди увидят, промолвила она так тихо, что я скорее догадался, чем услышал. Я хотел возразить, дескать, не беспокойся, если что, я объясню; вообще мне нужно было многое ей сказать. Но тут оказалось, что в комнате никого нет.

Я встал с головной болью, с предчувствием, что сегодня её увижу и всё объяснится. Между тем погода испортилась, дождь то усиливался, то моросил, ветер гнал низкие серые облака. После обеда показались голубые прогалины, проглянуло робкое солнышко. Я шагал по лесу среди птичьего гомона, пробирался через колючий кустарник, каждый лист, каждая травинка

переливалась синими, алыми, серебряными огнями, брызги сыпались на меня с ветвей, весь мокрый, пряча за пазухой приношение, я блуждал по неведомым тропинкам, проклинал свою забывчивость, почти уже потерял надежду.

Я вздохнул. Я как будто пробудился. Хижина виднелась в чаще на краю оврага.

Но больного там не оказалось. За столом сидела Феня и чистила мелкую картошку.

Уж не отвезли ли старца в медпункт, спросил я. Ближайший фельдшерско-акушерский пункт находился, если не ошибаюсь, вёрст за сорок, в селе Ушакове, ехать туда надо было в обход, к местам, где можно перебраться вброд.

Она возразила: «Да он и не больной вовсе».

«А мне сказали...»

«Дьяволы слуги рыщут».

«Но они уже были. По-моему, — сказал я, — им даже могилу показывали».

«Стало быть, умер, коли есть могила. Ничего, — она улыбнулась, — как уйдут, он и воскреснет».

Я не стал спрашивать, где было новое тайное убежище Савелия, развернул мокрую бумагу, Феня выложила гостинцы на тарелку; я сел напротив, на табуретку старца.

«Феня, — проговорил я. — Граня...»

«Дождь будет», — сказала она.

«Опять? — Мы помолчали. Я заговорил: — Ты мне...», она прервала меня:

«Не надо».

«Что не надо?»

«Не надо говорить».

«Но ты послушай. Ты мне сегодня ночью приснилась. Будто отворилась дверь, и ты... в белой рубахе...»

Она ничего не ответила, поджав губы, смотрела перед собой.

«Или ты в самом деле приходила?»

«Скажете тоже...»

«Вошла в избу, а я говорю: не бойся, это бывает, что люди ходят во сне. Ты тоже ходишь во сне?»

Ответа не было, она взялась было снова за картошку, но тотчас отложила нож.

«Феня, — сказал я, — у тебя ведь никакой родни не осталось, верно?»

Её родители (кое-что я уже знал) были арестованы во время большой облавы, с тех пор о них ничего не слыхали. Ей было тогда семь лет.

«Феня. Что я хочу тебе сказать. Поедем со мной».

Всё то же непроницаемое молчание, лицо её как будто окаменело.

«Поедем!»

Едва заметно она повела бровью.

«Куда?»

Я объяснил, что в городе у меня квартира, я живу один. Я прошу её стать моей женой. Ей ведь уже исполнилось восемнадцать?

«Двадцать один», — сказала она.

Я говорил ей о том, что сама судьба привела меня сюда, судьба хотела, чтобы мы встретились. И что я всё обдумал. Мы не будем долго собираться, возьмём самое необходимое. Мы даже можем никому вообще ничего не говорить. Дойдём пешком до пристани, а там...

Тут она переменила позу, по-крестьянски сложила руки под грудью, вздохнула.

«Тебя Савелий не отпустит».

«А мы ему не будем докладывать».

«Он всё равно узнает».

«Откуда?»

«Он всё знает».

Всё так же упрям, неколебим, сосредоточен был её взгляд в пространство.

«Феня, — сказал я мягко. — Почему ты так думаешь? Почему ты решила, что он меня не отпустит? Чтó мне Савелий, что я ему?»

Она быстро взглянула на меня.

«Ты его не знаешь».

«Мы поженимся, Феня. Никакой старец нам не указ. Да и что он может сделать, он же совсем немощный».

«Немощный, да...»

Мы оба умолкли. Наконец, я спросил:

«Ты согласна? Я не могу уехать один. Я не могу без тебя жить!»

Она повторила:

«Ты его не знаешь. Ты вообще ничего не знаешь».

«Да причём тут старец!»

«Притом. Не может стадо остаться без пастуха. И без быка не может. Сёстры к нему ходят, он никого не обижает. Каждую от дьявольской силы освобождает».

«Феня... — я был совершенно сбит с толку, — ты хочешь сказать... Но ведь он скопец!»

«Ну и что».

«Этого не может быть. Он кастрирован. Мне Манефа сказала».

«Сказала, да не всё. Это малая печать».

Я спросил, что это значит.

«А то значит, что вырезаны удесные близнята. А ключ бездны остался».

«Да, но без... разве он может?»

«Ещё как может. Вот когда и уд отрубят, тогда он очистится совсем».

«Что же, — спросил я, — он к этому готовится?»

«Да, — сказала она твёрдо. — Пока не найдёт себе замену».

Я не решался задать главный вопрос, она угадала мою мысль.

«Ты, может, думаешь, что я невинная девушка. Я не девушка».

«Значит, — прошептал я, — и ты с ним тоже?»

Излучение чёрных планет

«Как это ты не поймёшь, — сказала Аграфена, — он наш грех бабий на себя берёт. Нужен бык стаду, нужен и пастух. Я ничего не знала, ничего не понимала. Позвал меня к себе в лес. Говорит, девушка. В тебе дьявол проснулся. Я из тебя дьявола изгоню, приму на себя грех. А я всё не пойму, чего он от меня хочет. Вот он где, дьявол, — и положил мне руку на это место. Что, говорит, щекотно? Я напугалась. Глаза сверкают, весь словно помолодел... Ну, я и легла с ним».

«Сколько ж тебе лет было?»

«Пятнадцатый год пошёл. Только это было всего один раз».

«Феня, — сказал я. — Мы сегодня ночью уйдём. Дождёмся темноты, ты потихоньку соберёшь самое необходимое. Я тебя буду ждать. Как-нибудь доберёмся. А там сразу поженимся. Как приедем в город, так и поженимся. Ты всё забудешь».

Она слушала, задумчиво кивала головой.

Наконец, она сказала.

«Я его не брошу. Я дочь его».

«Дочь?»

«Духовная... А вот тебе надо уехать».

«Без тебя, одному?»

«Да. Бежать тебе надо, вот что».

«Но почему?»

«Коли Савелий что решил, то так и будет».

Станным образом я всё ещё терялся в догадках.

Она продолжала:

«Бестолковый ты. Чего тут не понимать... Ты избран. Старик умрёт, ты будешь заместо него. Ему указание было».

«Какое ещё указание...»

«Почём я знаю. Свыше указание. Голос или что. Вот он тебя и готовит. Ты его ещё не знаешь, он всё может. Всё равно как дьявол, а дьявол-то посильнее Бога будет. Сёстры все у него под сапогом. Они тебя примут... У него есть знакомый врач. Который его в лагере... Врач приедет, наложит малую печать, ты и моргнуть не успеешь».

Я расхохотался. Смех и... и ужас охватили меня.

Она пробормотала:

«Может, и не надо было рассказывать... А может, и к лучшему. Говорю тебе, если он что задумал, так и будет. Здесь останешься. Совсем останешься, с нами со всеми... Со мной... Только уж по-другому».

«По-другому — это значит без... как ты их назвала? Без близнят?»

Дождь лил за окошком — мы даже не заметили. В избушке стало холодно. Я сказал: не будем терять времени. А то ещё он вернётся.

«Не вернётся. Он в землянке прячется».

Где же это, спросил я.

«А... далеко. Ты иди. Иди, милый. Нет, стой...».

«Феня, нам надо поторопиться. Ночью уйдём».

«Постой. Я тебе скажу кое-что... Ты говоришь, поженимся. Может, ты и вправду так меня любишь...»

«Феня!»

«Может, и жениться хочешь, — продолжала она, не слушая. — Только ведь сказано тебе: я затворена».

«Ты начнёшь новую жизнь...»

«Погоди... Я тебе покажу. Дай-ка мне...»

Неожиданно она улеглась, прикрыв своим пиджаком живот и ноги. Что-то делала там, вероятно, снимала то, что было на ней. Я растерялся.

Совершенно нехстати я подумал, что она сейчас, немедленно хочет скрепить наши отношения.

«Феня, — забормотал я, — мы лучше сейчас не будем... мы лучше потом... Вот приедем на место, тогда...»

«Нет, — и она закусила губу, зло впилась в меня. — Сперва погляди».

Я медлил.

«Гляди, гляди!» — вскричала она

Я взглянул. Пиджак валялся на полу. Она лежала, широко расставив нагие колени. Я смотрел ошеломлённо туда, где должна была находиться женская щель, и видел гладкое место, пересечённое неровным бледным рубцом.

Я судорожно проглотил воздух, что-то пролепетал, ненужный вопрос замер на моих губах.

«Я затворена», — был ответ.

Осталось только крохотное отверстие в верхнем углу для мочеиспускания и месячных.

И, глядя на это несчастье, я заплакал. Плачу и сейчас, вспоминая Феню, смоляной дух и шелест тайги, кусты малины, дом Манефы, молоко Богородицы, деревню Большие Олени.

ЛИГУРИЯ

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Иосиф Бродский

Так получилось, что поездку пришлось совершить в самое жаркое время года; запомнилось сизое и сверкающее, как сталь, море, белая от зноя дорога, белая пыль, покрывшая сиденье автомобиля, меня и моего спутника. Тот, кому знакомо лигурийское побережье, знает, что можно ехать часами вдоль каменных стен, за которыми прячутся виллы, мимо отвесных скал и пологих склонов, поросших зеленовато-серым кустарником, мимо террас с виноградниками, и никого не встретить. Шофёр нетвёрдо знал дорогу, мы достигли местности, называемой Cinque Terre (что, по-видимому, следует переводить «пять селений»), время от времени тормозили в каком-нибудь объётом летаргическим сном городке. Нигде не удавалось толком узнать, далеко ли осталось ехать. Я знал, что дорожные указатели могут увести в другую сторону, но и указателей не было. Стало ясно, что мы пронесли мимо цели, пришлось возвращаться, наконец, показалась бухта. Подъехали к плотам. «Здесь?» — спросил шофёр и, не дожидаясь ответа, развернулся и укатил в клубах пыли.

Несколько лодок и моторный баркас с мачтой для паруса и флагом на корме, скрипя бортами, покачивались на воде. Поодаль в море кто-то в лодке удил рыбу. Мальчик подплыл и, видимо, с трудом мог понять мой ужасный итальянский язык. Я дал ему что-то, он подтянул штаны и поплёлся в деревню. Сидя в тени под навесом, я дремал, передо мной проплывали оранжевые круги, искры моря, белая от зноя дорога. Автомобиль остановился над обрывом, внизу брызги и пена прилива, водитель повернул ко мне лицо, искажённое ужасом. Водитель тряс меня за плечо с беззвучным криком. Это был лодочник, смуглый парень в плоской соломенной шляпе с лентой. Я поднялся.

Где-то очень далеко, за горизонтом лежал корсиканский берег, островок должен был находиться на середине пути. Под баюкающее постукивание мотора, рассекая изумрудную гладь, мы шли вперёд, в сверкающую даль моря, я поднял голову, корабельщик величественно сидел на корме, прочь от нас уходил серебряный пенный след, вокруг — бесконечная тускло-блестящая пустыня. Я вопросительно взглянул на кормчего, хвостики ленты порхали на его шляпе, мне показалось, что он пожал плечами. Мои часы остановились. Мой итальянский подвёл меня, матрос решил, что я еду на Корсику. Я стал мысленно перебирать всех, кто снабдил меня сведениями об островке, и вспомнил, что никто не показал мне его на карте, — означало ли это, что острова не существовало? Что же ты раньше мне не сказал, пробор-

мотал я по-русски. В ответ рулевой медленно, важно кивнул, не меняя курса. Сонливость снова одолела меня. Разлепив веки, я увидел, что горизонт прянулись: это была полоска земли.

Обнесённый стеной, остров медленно поворачивался, пока не показались ворота, сваи причала, мотор был выключен, судёнышко развернулось и мягко стукнулось о мостки. Солнце палило с небес; не видно было никого кругом. Матрос протянул мне руку, я спрыгнул с кормы на пристань. Я рылся в портмоне. Он возразил, помогая себе знаками, что завтра вернётся за мной, тогда и расплатимся. Стук мотора затих вдаль. Я подошёл к воротам. Наверху красовалось латинское изречение, два ангела, знавшие лучшие времена, держали крест. Сбоку от входа висела мраморная табличка.

Стоя перед воротами, я разглядывал вывеску, выбрал самое длинное слово и составил из его букв десять коротких слов. По-прежнему никого не было. В отчаянии я озирался, наконец, вдалеке показались двое, человек и собака. Огромный чёрный пёс едва удостоил меня взглядом, моргая, сел на задние лапы и уставился на море. Мужик в войлочной шляпе, в рубище, с вытекшим глазом, похожий на пастуха или нищего, спросил, есть ли у меня ремессо. Последовал разговор (подкрепляемый жестами) на смеси итальянского с вульгарной латынью, — вероятно, так говорили в этих местах тысячу лет назад.

«Какое разрешение?»

«Обыкновенное»

«Нет, конечно», — сказал я.

«А ты кто такой будешь?»

Я попытался объяснить.

«Закрето», — сказал одноглазый.

«Как это, закрыто?»

«А вот так. Никого не пускаем».

Возможно, подразумевался весь остров, а не только то, что находилось за воротами.

«Ну, хорошо, — сказал я и вытащил кошелёк, — надеюсь, мы поговоримся...»

«Чего ты мне суёшь».

Фраза на диалекте, которая за этим последовала, скорее всего означала: вали откуда прибыл.

Некоторое время мы стояли друг против друга, признаюсь, у меня было сильное желание съездить ему по небритой физиономии. Он оглядел меня своим единственным оком и произнёс:

«Сиятельство отдыхает».

По-видимому, всё ещё продолжалась съеста; день казался бесконечным.

Зверь нехотя поднялся и побрёл по каменистой тропе, мы следом. Обогнули стену, там оказался дом, каменный, по виду очень старый; низкая дверь без крыльца, тёмные оконца под буро-рыжей черепичной крышей и солнечными часами. Провожатый исчез. В прохладном сумраке я сидел за

огромным дубовым столом, из-под которого выглядывала желтоглазая морда. Прошло сколько-то времени, наверху заскрипела дверь. Её сиятельство, осанистая, полнотелая старуха в чёрном шёлковом одеянии до лодыжек, в крошечных домашних туфлях, держась за перила, другой рукой придерживая платё, сошла по лестнице. Я встал.

Я представлял себе её иначе. Вернее, вовсе не имел представления, кого я тут встречу. Увижу ли кого-нибудь? Крутлое моложавое лицо, какое бывает у очень старых и дородных женщин. Прямые белые волосы, усики над углами рта, двойной подбородок. Никаких украшений, кроме цепочки с медальоном на груди.

Пёс выбрался из-под стола, лизнул руку старой даме.

«Вот что значит хорошее воспитание. — Должно быть, мне следовало поцеловать её руку. — Он старше меня, — добавила она. — Если не ошибаюсь, ему за восемьдесят. Не правда ли, Чёрберо?..»

Пёс выразил согласие, опустив голову, и пошёл под стол.

Хозяйка хлопнула в ладоши. Появился субъект в войлочной шляпе, мой знакомец.

«Я предполагаю, что наш гость проголодался».

Она коротко, вполголоса отдавала приказания одноглазому.

«Вы должны извинить его, — сказала она по-французски, — за столько лет я так и не смогла научить его быть вежливым...»

«Мне говорили, что разрешение не нужно».

«Разрешение?»

Я объяснил, что от меня потребовали предъявить пропуск.

«Ах, эти формальности... Ничего не нужно. Вам, во всяком случае».

Должен ли я что-то уплатить, спросил я.

«Ах, оставьте. Я рада вашему прибытию».

Разве она меня знает?

Она развела руками: «Кто же вас не знает».

Холодок пробежал у меня по спине. Мне не следовало приезжать. Из вежливости я поинтересовался, часто ли... э?..

«Часто ли приезжают к нам? Да, туристы иногда; всё-таки есть на что поглядеть... Что касается посетителей вроде вас, то, как вам сказать. Могло быть и больше».

Она зорко взглянула на меня — чёрные, мертвенные глаза без зрачков. Мне стало не по себе; я возразил:

«Прошу прощения, *princesse*¹, я тоже в некотором роде турист».

Владелица острова подняла брови.

«В самом деле? Мне кажется, вы ошибаетесь. Что же вас привело сюда?»

«Вы только что сами сказали. Поглядеть».

«Так, так. Поглядеть, — сказала она, кивая. — Между прочим, здесь много ваших коллег. Я хочу сказать — которым, как и вам, только здесь и место...»

¹ Княгиня (*ит.*).

В эту минуту из коридора выступило шествие.

Всё тот же циклоп шагал впереди, теперь он был в белом, в белых перчатках, на голове накрахмаленный колпак, из чего следовало, что он исполнял одновременно обязанности шеф-повара. Сразу же скажу, исполнял их отменно. На вытянутых руках шеф нёс на подносе овальное блюдо под серебряной крышкой. Следом худенький, бледный, очень красивый мальчик, в опрятном чёрном костюмчике, в коротких штанишках и чёрных чулках, нёс второй поднос. За мальчиком двигался некто высокого роста, тощий, без всякого выражения на лице; я говорю, на лице, но у него и лица не было: так, что-то неясное. Этот персонаж катил перед собой столик-тележку.

Компания расставляла бокалы, тарелки с вензелами, соусники, раскладывала приборы и салфетки, в центре был водружён огромный, как баобаб, канделябр. С некоторым ошеломлением взирал я на пиршественный стол; хозяйка гостеприимно обвела трапезу пухлой рукой в кольцах.

«Надеюсь, вы отдадите должное... Наша кухня унаследовала секреты этрусков».

Спрашивается, какая может быть особенная кухня на островке величистой с воробьиный нос. И причём тут этруски? Я поблагодарил, для начала выпили по рюмке чего-то зелёного и жгучего. Была предложена лёгкая закуска: пикантный пирог, омлет с трюфелями и торт из овощей. После чего шеф, он же домоправитель, разлил по бокалам вино цвета грозового заката. Поднял серебряную крышку, и оттуда вырвалась волна волшебного запаха.

Он провозгласил:

«*Coniglio arrastato alla ligure!*» Это был жареный кролик по-лигурийски. Мы подняли бокалы.

Княгиня поздравила гостя с прибытием. В своём углу доберман по имени Черберо, которому повязали вокруг шеи белый фартук, с увлечением хлебал что-то из глиняной миски.

«Ну как?» — несколько свысока осведомилась хозяйка.

Я объявил, что давно уже не ел такого вкусного *coniglio* по-лигурийски.

«А вы уверены, что вам вообще когда-нибудь приходилось пробовать это блюдо?»

Мальчик бегал вокруг стола, убирал тарелки, ставил чистые. Явилось вино цвета северного сияния.

«Вы, конечно, думали, что никто здесь не интересуется литературой. С одной стороны, вы правы...»

«*Abbachio alla romana!*» (Римский молочный барашек под соусом).

Теперь перемены объявлял зычным голосом человек с лицом без лица, занявший пост перед аркой, обращаясь скорее к кому-то в коридоре, чем к сотрапезникам.

«Сильвио, не так громко... — попросила госпожа. — Да, вы правы. Для быдла, которое именует себя цивилизованным обществом, больше не существует ни Вергилия, ни Данте, ни Шекспира. Для него и вы не существуете... Ничего не поделаешь. Нужно выбирать: или демократия — или культура».

«*Cima alla genovese!*» (Фаршированный ягнёнок по-генуэзски).

Вспомнилось, что я с утра ничего не ел. Утро казалось очень далёким. Проглотив первый кусок, я счёл уместным заявить, что давно не отвеживал такого чудного молочного барашка и такого восхитительного фаршированного ягнёнка.

Старуха вытерла увядший рот салфеткой.

«Не могу утверждать, что чтение ваших произведений доставило мне безусловное удовольствие. Но, — она подняла палец, — возбудило интерес. А это уже кое-что значит, не так ли? Давайте поговорим о вас».

«Обо мне?»

«Боже мой, о ком же ещё. Мне известна ваша биография... в общих чертах».

«*Saltimbocca alla romana!*» — вскричал сухопарый герольд. (Рулёт по-римски с ветчиной и шалфеем).

«О! — сказал я. — Обожаю рулёт».

«Подытожим в двух словах... Мне известно, что вам не было пятнадцати лет, когда вы сбежали от домашних. Вас нашли в южном городе, в гавани, где вы пытались уговорить какого-то капитана дальнего плавания по-мочь вам бежать за границу. Он оказался порядочным человеком... Верно?»

С полным ртом я кивнул, не имея возможности что-либо сказать.

«Через год вы снова ушли от родителей. На этот раз окончательно... Путешествовали с геологоразведочными партиями — род легального бродяжничества в вашей стране. Далее, я располагаю некоторыми сведениями о вашей сексуальной жизни. За то, что вы были неразборчивы, вам, простите за откровенность, приходилось расплачиваться, и не раз. Позвольте спросить: сколько у вас было женщин?»

«Я не считал».

«Напрасно. Ваш соотечественник Пушкин составил свой донжуанский список. Там были знатные дамы и крестьянские девушки».

Я пробормотал:

«*Друзья! не всё ль одно и то же: забыться праздною душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой?*»

«Что это?»

«Вы только что упомянули это имя».

«Пушкин? К сожалению, я не знаю языка... И о чём же он говорит?»

«Он говорит, что когда дело доходит до дела, все женщины одинаковы».

«Ваш великий поэт — циник. Ваше здоровье».

«*Arrosto di vitello al latte!*» (Обжаренная телятина в молоке).

Внесли нечто источавшее упоительный аромат. Разлили коралловое вино. В своём углу Черберо аппетитно хрустел чем-то.

«Так как вы писали стихи, не будучи официальным поэтом, следовательно, не имея соответствующего разрешения, вас сослали, может быть, вы напомните мне — куда. Полагаю, Вам бы следовало поклониться тирану в ножки, ведь благодаря ему вы сделали знаменитостью... Кончилось тем, что вас заставили покинуть родину. Вы были счастливы. Вы были безутешны. Вы давали интервью направо и налево. Помните, на вопрос, что такое

отечество, вы ответили: место, где вы не будете похоронены. Надо признать — как в воду глядели... А когда кто-то пожелал узнать, как вы чувствуете себя за границей, вы сказали: чужбина не стала родиной, зато родина стала чужбиной. Где вы вычитали это изречение?»

С орудиями еды в обеих руках, я оглядывал стол, словно боец, отыскивая достойного противника.

«Я вам отвечу: оно принадлежит одному немцу-изгнаннику. Кто-то перевёл вам эти слова, вы ведь не знаете немецкого языка. Вы не знаете толком ни одного языка. Неудивительно: вы, милейший, никогда ничему не учились. Вы полагаете, что говорите со мной по-французски, но я единственный человек, который способен вынести ваше ужасное произношение... Само собой, вы не в состоянии были прочесть и эту латынь. Ту самую, над воротами...»

Она продекламировала:

«*Ex omnibus bonis, quae homini natura tribuit, nullum melius esse tempestiva morte!* Знаете ли вы, что это означает? Из всех благ, какими природа одарила человека, нет лучшего, чем своевременная кончина».

«Вот как? А я думал...»

«Плиний Старший, — сказала она. — Древние были не глупее нас. Не имеет значения, что вы думали».

Я крикнул от удовольствия, телятина была роскошной — перезревшая дева, наконец-то дождавшаяся брачной ночи.

«Спросите себя: кто вы такой? У вас не только нет родины, у вас, в сущности, не было и родителей. Вы облысели, ваше лицо приобрело пергаментную гладкость, подозреваю, что и с вашей легендарной мужской мощью давно уже не всё в порядке... Жизнь-то прожита — чего ждать? Скажу больше: жизнь изжита. Лучшее из написанного вами позади. Вы перешли на прозу, — по общему мнению, она не выдерживает сравнения с вашей поэзией. Вы презираете критиков, — теперь они отвечают вам тем же. Бульварная пресса уже не интересуется вашими похождениями, вас перестали осаждать корреспонденты. Вы и сами не перечитываете свои сочинения, потому что боитесь собственного суда. Встаёт вопрос о долговечности ваших писаний. Спросите самого себя: разве всего этого недостаточно?»

Вслушав эту галиматью, я расхохотался.

«Недостаточно для чего? Для того, чтобы приехать к тебе в гости?»

Она не обратила внимания на моё «ты».

«Для того, чтобы просить у меня убежища», — сказала она строго.

«У меня впечатление...»

«Сначала проглотите еду».

«У меня впечатление, — сказал я, — что ты меня ждала».

«*Pourquoi pas?*¹ Что ещё остаётся делать человеку в вашем положении?»

¹ Почему бы и нет? (*фр.*).

«Много ты понимаешь. Тебе сто лет».

«Вы забыли, что разговариваете с дамой».

«Ну, пусть девяносто... Что мне ещё остаётся, ха-ха. Это у тебя ничего не осталось! Это ты забыла, — воскликнул я, потрясая вилкой, — да, забыла, что такое жизнь! Сидишь здесь со своим кобелём... Жизнь — это нечто необъятное, невероятное, неопишемое. Моя жизнь!»

Даже удивительно: с чего я так разошёлся?

«*Crostini di cavolo nero! Sauté di vongole!*» (Поджаренные хлебцы. Печёные венерины ракушки под лимонным соусом).

«О да. Ещё бы. Известность, слава. Кажется, вы даже отхватили... простите за вульгарное выражение и простите мою забывчивость: как называется ваша премия? Впрочем, где она. Вы всё раздали жадным друзьям и случайным собутыльникам».

«*Tortelli di patate*».

«Пельмени с картошкой!» — вскричал я. И вновь почувствовал зверский аппетит.

«Но, Боже мой, разве так уж трудно понять, какова цена всему этому...»

«*Cinghiale in salmi!*» (Рагу из дикого кабанчика).

«Нет, это просто удивительно. Я как будто вас уговариваю. А между тем мы не дошли ещё до самого главного...»

«Должен сказать, что я давно уже...»

«Не пробовали такого рагу из кабанчика?» — съязвила она.

«Вот именно, *ma princesse*».

«Можете звать меня: *ma chère*».

«Вот именно, дорогая!»

Шеф, с которого ручьями лился пот, сорвал с головы колпак, утирал лицо и затылок. Мальчик в черном стоял, тяжело дыша от беготни. Человек без лица покачивался, как под ветром, хрипло возглашал названия яств. Тьма упала, как это бывает на юге, внезапно. На столе пылал канделябр. Внесли фазана. Внесли утку под пеласгийским соусом и фаршированные сардины из Сицилии. Подъехали на тележке пироги, торты и кексы. Огни свечей двоились. Полное лицо хозяйки всходило и растекалось, как опара, — несомненное следствие съеденного и выпитого мною. Нашему вниманию было предложено вино цвета вечернего моря. Это о ней, сказала старая синьора, о морской глади, залитой заходящим солнцем, как скатерть вином, говорит Гомер: *οἴνοπς*, виннолика.

Пёс в замаранном нагруднике, протянув лапы, густо храпел на полу возле кастрюли с недоеденным лигурийским супом из бычьих яиц и хвостов.

Моя хлебосольная хозяйка деликатно осведомилась, не испытываю ли я потребности освободить желудок. Знаем, как же, проворчал я. Метод, к которому прибегали римляне. За каким-нибудь пиром Лукулла. Пощекотать пёрышком нёбо, и поехало. А после продолжать пир. Но жалко, чёрт возьми.

Она оставила бокал. Я почувствовал на себе её непроницаемый взгляд.

«Знаю, — сказала она, — о чём ты думаешь. (Наконец, и она перешла на ты.) Ты думаешь: будь она на шестьдесят лет моложе, уж я бы её не пропустил... У тебя грязное воображение. Признайся, я тебе нравлюсь!»

Я идиотски осклабился.

«Что же ты медлишь?»

Я сделал вид, что хочу подняться, это, в самом деле, было непросто.

«Сиди... — она презрительно махнула рукой. — Не о том речь».

Явились сыры, фрукты и кувшины с мальвазией.

«Ты сказала, мы не дошли до главного... Что же главное?»

«Главное... Главное — вопрос о смысле. Высший смысл — это бессмыслица. Высший ответ... Ты разглагольствовал о том, что пожертвовал родиной ради литературы... Тебе не приходила в голову простая мысль: для чего ты пишешь? Для кого... Посмотри вокруг».

Я обернулся. Под сводами было темно.

«Цивилизация переродилась. Плебс объелся хлебом и зрелищами. Литература ему не нужна».

Свечи уменьшились на две трети, воск капал на скатерть. Мы лениво лакомились миндальным тортом, фрустингольским пирогом с финиками, миланской шарлоткой, занялись засахаренными потрохами сабинского единорога и запивали их граппой, бенедиктином и густым смолистым вином цвета звёздной ночи.

«Есть много всяких теорий, и медицинских, и каких угодно. Всё это не основание. Всё это только повод. Поводы всегда найдутся. Причина, подлинная, глубокая причина, всегда одна. Открытие, которое делают рано или поздно, которое, без сомнения, сделал и ты, *raison*: вы... Даже если вы не отдавали себе в этом отчёта... Ну, ну, не делайте вид, будто вы не понимаете, о чём речь».

«Какое же открытие, *ma chère*?» — спросил я, осушив бокал и, пожалуй, чересчур твёрдо поставил его на стол. Из мрака выскочил мальчик и вновь наполнил чашу.

«Будто вы не знаете. Великое чувство пустоты. Вот что это такое».

И, отколупнув крышечку медальона, она показала мне. Я взглянул — там что-то лежало. Там ничего не было.

«И вот...» — продолжала хозяйка, устремив, словно в транс, чёрнослепой взор поверх стола, поверх безбрежной жизни, гнусной действительности.

«И вот человек начинает вести себя по-особому. Чувствовать себя по-особому. Всё, что он видит вокруг, становится знаком и приглашением. Он часами стоит на Бруклинском мосту. Взбирается на смотровую площадку Эйфелевой башни, чтобы, склонившись над барьером, вперяться в пропасть, на дне которой бродят крошечные люди и стоят игрушечные автомобили... Он коллекционирует снотворные таблетки. Садится в машину и несётся к месту, где достаточно слегка повернуть руль, и врежешься в ска-

лу. Пробует прочность верёвки, привязав её к крюку, на котором висит люстра, в номере деревянной гостиницы, и редактирует текст, который должен остаться на столе. Он необыкновенно спокоен, как никогда не был спокоен и умиротворён в своей безалаберной жизни. Ибо он знает: его ждёт освобождение...»

У меня не было ни малейшей охоты поддерживать эту тему. Время было позднее; слуги деликатно удалились; на всякий случай я осведомился о ночлеге.

«Разумеется, что за вопрос. Чувствуйте себя как дома. В сущности, у вас нет никакого дома, ведь правда?»

«Завтра за мной приедут».

«Если приедут».

Я пропустил эти слова мимо ушей.

Наступило молчание. Старая дама вздохнула, хлопнула в ладоши. Одноглазый домоправитель предстал, явившись ниоткуда.

Она показала глазами в угол, слуга растолкал пса. Чёрберо поднялся, шатаясь, приковылял к хозяйке.

«Ключ», — сказала она кратко.

Зверь зацокал когтями по каменному полу и скрылся под тёмной аркой коридора. Немного погодя он показался наверху, в нерешительности стоял на площадке.

«Ничего, ничего, — проговорила она. — Coraggio...¹ тебе полезно».

Чёрберо сполз кое-как с лестницы и остановился передо мной, держа в зубах длинный заржавленный ключ.

Княгиня сказала:

«Вы, кажется, хотели, э... осмотреть... Я встаю поздно. Выберите время сами».

Ключ хлябал в замочной скважине. Со скрежетом разошлись створы ворот. Я вступил на заповедную территорию, мучительно зевая от недосыпа. Голова трещала, у меня было странное чувство, что я — не совсем я, и даже вовсе не я, а кто-то меня изображающий, — очевидное следствие перепоя. Было бы недурно опохмелиться, да уж где там — я рассчитывал быстро покончить с осмотром и отчалить, не прощаясь. Сразу при входе, слева, находилось приземистое каменное строение без окон, снаружи к стене прислонены мётлы, лопаты, перевёрнутая тачка, тут же было устроено что-то вроде очага из обгорелых кирпичей с остатками мусора.

Было раннее утро. Лохматый огненный шар сверкал между кипарисами. Слышался неумолчный плеск моря. Со вздохом моё изображение — я всё ещё не мог отделаться от ощущения, что я — это не я, — двинулось по аллее, более или менее расчищенной, усыпанной толчёным кирпичом. Видно было, однако, что место мало посещается; серые плоские камни потерялись в густой, жёсткой и высохшей от зноя траве, кое-где торчали убогие памятники, дорожки к ним заросли. Старая карга обозвала меня не-

¹ Смелее (ит.).

учем. Но кое-что — кое-кого — я всё-таки знал. Тот, кто отважился ступить в гущу чертополоха, продрагаться сквозь заросли остролиста и растения, похожего на крапиву, мог обнаружить немало знакомцев.

Например, посчастливилось сразу же натолкнуться на поэтессу, которую я больше чту, чем люблю: я говорю о несчастной, удавившейся Марине. *Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз...* Паломник выбрался, весь облепленный колочками; аллея, сужаясь и постепенно теряя цивилизованный вид, упёрлась в стену, одетую диким плющом. Мне захотелось узнать, что там снаружи, я подтащил то, что подвернулось под руку, вскарабкался и увидал зелёную морскую тину у самого подножья стены. Остров был в самом деле крохотный, бесполезно искать на карте. Когда-нибудь море поглотит его.

Я пробирался вдоль стены, сперва попадались одни женщины. Наткнулся на полустёртый профиль, это была Вирджиния Вульф. Говорят, она набила карманы пальто камнями перед тем, как броситься в поток.

Со смутным, хаотическим чувством, словно меня коснулся разор её души, я уставился на причудливый, похожий на окаменелый гриб памятник Ингеборг Бахман. Человек, с которым она провела последние годы, знаменитый швейцарец, довольно противный тип, — я сидел как-то раз с ним рядом на банке, — уверял меня, что это был несчастный случай, она заснула с сигаретой и сторела во сне. Но теперь-то я знал... Джек Лондон будто бы отравился полусырым мясом. Хемингуэй якобы чистил охотничье ружьё... Все оказались здесь.

Азарт, похожий на азарт кладоискателя. Томительное любопытство... Отыскался замшелый валун с именем Сергея Есенина. Найти другого соотечественника, того, кто оставил на столе стихи о любовной лодке, не удалось. Между тем солнце успело подняться уже довольно высоко; по привычке я взглянул на часы. Они стояли.

Клейст был виден издалека. Он был офицером и стрелял без промаха. Я предполагал, что найду рядом ту, которую он избавил от жизни, прежде чем прицелиться в собственное сердце, её не оказалось. Я постоял возле Пауля Целана, найденного в водах Сены за пределами города. Стела уже покосилась. Пора было отправляться в путь; мне казалось, я слышу стук приближающегося баркаса. Я был без сил и снова видел перед собой белую дорогу, сверкающую гладь Генуэзского залива, снова высаживаюсь на острове самоубийц. Шатаясь, путешественник приблизился к выходу, но, не дойдя до ворот, опустился на траву перед нагретым, грубо стесанным камнем и прочёл на нём своё имя.

ДОРОГИ МОРЯ

Звук, похожий на бульканье, словно без конца переливали воду кружкой из ведра в другое ведро, слышался всю ночь, и когда, пошатываясь, я спускался с обрыва, этот звук стоял в ушах. Солнце ещё не успело вылезти из-за лесистых холмов, холодные камни казались отсыревшими за ночь. Кто подумал бы, что накануне бушевал шторм! О нём, правда, напоминали ключья бурой травы, очёски от бороды Нептуна, и зализы сырого песка со следами полусохшей пены. Но море было зеркально, пустынно и как будто дымилось паром. Об этом стоит поговорить — я никогда не видел такой воды. Перед восходом солнца море было белым, как молоко, только у самого берега большие камни отражались в воде зелёными разводами, и вдали огромная бесцветная гладь сливалась с бледнофисташковым небом.

Странная мысль являлась на ум при виде этой равнины: шагнёшь — и не потонешь, и зыбким пятном отразишься в воде. Это ощущение плотной, холодной и колышущейся воды было так живо, что я принялся сочинять что-то на эту тему; вдали я заметил мерцающую полосу, смутную трассу, ко-со идущую вдоль горизонта. Так вот что такое были *д о р о г и м о р я*, les Chemins de la mer, как назвал свою книжку один француз, — слова эти обрели предметность. И вообще я заметил, что смысл многих речений, давно утраченный, оживает, когда окажешься вот так, с глазу на глаз, с морем, землёй и небесами.

В кустах над обрывом уже сверкало нечто подобное огромной улыбке. Апельсиновый луч брызнул с высоты. Из зарослей дубняка выбралось косматое солнце, свет бежал по песку, и вокруг протянулись сизые тени. Тотчас вслед за этим событием послышались озобоченные шаги. Учительница средней школы хрустела по песку в босоножках. Утро уже сияло вовсю. Учительница проспала солнце.

Мы встречались раза два по утрам, она угощала меня здешними мелкими грушами, которые считались витаминными. Так говорят о некрасивой женщине: но зато она умна.

Разговор зашёл о плавании. Морская вода держит, сказала она, в ней много солей.

«Вы преподаёте химию?»

«Нет. Но это известно. Можно лежать, и не утонешь».

«А ходить по воде можно?» — спросил я. Мы жевали груши и держали объедки в ладонях, чтобы не загрязнять пляж. У моей собеседницы не смыкались бёдра, факт прискорбный, ибо степень упитанности влияет на мировоззрение. Никакие иллюзии невозможны для женщины, у которой торчат ключицы.

«Видите ли, — пробормотал я, — есть такой рассказ».

Подумав, учительница сказала, что подобное событие могло произойти — в очень давние времена. Тот, кто шагал по водам, был пришельцем с другой планеты. Это были обломки чего-то прочитанного.

Зачем же, спросил я, надо было прилетать с другой планеты.

Она не поняла — впрочем, и возражение было довольно несуразное.

«Какой смысл было прилетать, — повторил я, — ради того, чтобы заниматься моральной проповедью?»

«Моральная проповедь — это выдумки. Вот это действительно выдумки».

Прищурившись, античным жестом я метнул огрызок груши по поверхности вод.

«Знаете что? Попробуйте вы совсем отказаться от объяснений. Мало ли в жизни невероятного. Может, лучше искупаемся?»

Ответа не последовало — да и какой мог быть ответ? Учительница пошла в море, она смеялась и вскрикивала, говоря, что вода чудо и обжигает, словно огонь. Несколько времени погода она вышла на берег, надела босоножки, и худые ноги её захрустели по песку. Пора было завтракать. Я полез вверх по обрыву. Я вёл восхитительный образ жизни. Воспоминание об Идущем не выходило у меня из головы, я вспомнил слова одного мудреца, кажется, Ясперса, о том, что тот, кто не может уверовать, создаёт себе веру в своём воображении.

Раввин устал, преследуемый толпой, отовсюду сбежавшейся поглазеть на него, и когда на исходе дня они подошли к берегу, сказал, что не поедет и хотел бы провести ночь в горах, один.

Компания спустилась в ложбину по следу высохшего ручья, где давали немного тени полузасохшие кусты, которым не суждено было превратиться в деревья оттого, что их обгладывал скот. Был конец десятого часа, по нашему шесть часов вечера, и солнце стояло ещё довольно высоко. Один из них отправился к рыбакам, подошёл к крайней лачуге, видневшейся на пригорке, и сейчас же оттуда с лаем выскочила дворняжка. Старик в портках, бо-сой, со слепым полузакрытым глазом, вышел, и они стали разговаривать.

«Всё в порядке, — сказал Андрей, спустившись с холма. — Еле уговорил».

На земле были разложены остатки еды. Симон, который заведывал хозяйством, быстро собрал куски хлеба в мешок, все встали и пошли гусяком по засохшему руслу вниз. И чем ниже они спускались, тем ярче сверкало внизу между зарослями. Следом ступал старик с веслом и верёвкой, за стариком — мальчик лет десяти, волочивший под мышкой второе весло. Наконец, ложбина кончилась, и открылась широкая и гладкая равнина. Она блестела, как медь.

Симон догнал Андрея.

«Сколько ты ему обещал?»

«Тридцать».

Симон вздохнул; в кошеле, висевшем у него под рубахой, оставалось двести динариев.

«Ну и сам бы торговался», — сказал Андрей.

Лодки лежали далеко от воды и для верности были привязаны к кольям, вбитым в песок. Старик указал на бокастый баркас, в котором с трудом могли уместиться тринадцать человек. Андрей почесал затылок.

«Одной пары маловато будет», — сказал он.

Хозяин стоял, подняв к небесам свой глаз. Солнце висело над дальней пеленой сизых облаков, лёгкий бриз шевелил рубаху старика.

«Папаша!»

«Ну чего тебе?»

«Нам бы ещё парочку вёсел».

«И куды спешить на ночь глядя? Ночевали бы, а уж там... Тише едешь, дальше будешь», — проворчал хозяин баркаса, уселся на корточки отвязывать судёнышко; раввин, до сих пор молчавший, подошёл к Симону и Андрею, езжайте, сказал он, ещё успеете. Они вопросительно глядели на него. Подошёл брат Андрея Пётр.

«Не хочет ехать, — сказал Симон вполголоса. — Может, вправду отложить до утра?»

«Пожалуй, — согласился Пётр. — Переночуем в деревне. Извини, ба-тя, — обратился он к хозяину, — мы, того, передумали».

Учитель порывисто повернулся к ним. «Здесь оставаться больше нельзя. Встретимся в Капернауме».

Они поняли, что он имеет в виду драку в трактире. Вернулся мальчик, весь потный и запыхавшийся, он волочил по земле вторую пару выдавших виды вёсел. Ученики — раз-два, взяли! — столкнули баркас на воду. Андрей первым взошёл на лодку и сел на корме.

Кормой вперёд баркас отчалил. Передний гребец, оглядываясь, разворачивал, сидевший рядом табанил; позади вторая пара гребцов сидела наготове, подняв вёсла. Круглый, похожий на скорлупу ореха, баркас качался на воде. Потом все двенадцать стали медленно удаляться по медной, лоснящейся глади, судно равномерно взмахивало вёслами, а с берега вослед ему, заслонясь от солнца, смотрели провожатые. Мальчик махал рукой.

Они повернулись и пошли, дед и мальчик впереди, за ними шагал высокий понурый учитель. Вот уж их и не видно. Широкой дугой раздалась бухта. Открылись прибрежные холмы, позади них выступили скалистые серые горы. Вода сильно блестела. Плыли молча. Баркас бойко шёл вперёд. Сидевший на носу Пётр видел сомлевшие лица товарищей, раскачивающиеся потные спины гребцов и над всеми, на корме широкое лицо Андрея, озарённое точно пламенем пожара. Берег растворился в фиолетовом мареве.

Понять, из-за чего разгорелся сыр-бор в харчевне, куда они завернули, истомлённые зноем и жаждой, сейчас было невозможно, но не в этом дело, думал Пётр. Ясно было, что явление девочки-бродяжки придавало всему какой-то особенный тон, но опять же дело не в этом. Загадочное поведение учителя. В других случаях раввин пояснял свои мысли рассказами, притчами. Сейчас он ничего не сказал; надо было соображать самим.

Они вошли. С порога в нос шибануло кислой вонью, две-три осовелых физиономии повернулись к вошедшим, больше никто не обратил внимания. Должно быть, сюда ещё не докатилась молва о Царе иудейском. Трактирщик молча сгрёб обеды с длинного стола, растолкал спящих, чтобы освободили место, принёс блюдо оливок, хлеб, кувшин кислого вина и четыре глиняных кружки на всех.

Бряк! Лоснящаяся от жира монета с головою кайсара Тиберия ударилась об стол. «Ставлю бутылку, — сказал кто-то. — Я их уже видел». Перед ними воздвигся могучего вида оборванец в серьгах, с амулетом на голой груди, грязным пальцем показывал на рабби.

«Иди, Варавва, чего привязался к людям», — бросил ему мимоходом хозяин.

«Сыграем? Кайсар твой, королева моя». Монета взлетела вверх и покатилась по полу. «Абрашка! — закричал Варавва. — Кончай ночевать. Полежай под стол». И Пётр вспомнил, как среди нищих один, по имени Авраам, подхватив полы лохматого рубища, бросился под стол за монетой, а Варавва с криком: «Зубами, зубами!» поддал ему ногой под зад.

Хо-хо. Пьяный сириец покачнулся, ища глазами учителя, и, очевидно, намеревался что-то добавить, но тут приподнялся полог, заменявший дверь, кто-то вошёл в ярком свете дня: девушка лет тринадцати, смуглая, с жёлтой лентой в волосах. В это время Авраам, воздев руки и держа в зубах золотой, тряся лохмотьями, исполнял какой-то сложный и похабный танец. Варавва заливался счастливым смехом, а хозяин, скрестив волосатые руки, стоял перед занавеской у входа в другую комнату и без всякого выражения смотрел на них. Гостья с презрением оглядела плясуна. Она шла, приплясывая, виляя бёдрами под цветастой юбкой, трактирщик хотел остановить её, она отмахнулась. Тоненький голосок прозвенел нагло и нежно.

«Ай-яй. Какие гости, — пропела она по-арамейски. — Глаза мои не видели, уши не слышали. Где я была? — Свесила голову на плечо, не сводя с учителя лиловых глаз. — Адони (господин), погадаю. Всю правду скажу, где счастье найдёшь, где голову потеряешь».

Пришлось потесниться, гадалка, цепляясь юбкой, пролезла между ними. Рядом с раввином она оказалась, точно ребёнок, ниже на две головы, свесила босые ступни. Сорвала с головы жёлтую ленту, знак её ремесла, тряхнула чёрными жирными волосами. Сириец засопел, развесил ручищи.

«Сука! Иди на место».

Она испуганно хихикнула, сказала быстро:

«Жене своей можешь приказывать, я тебе не жена».

Пётр скосил глаза; девчонка крутилась, как вьюн, между ним и учителем, повернулась к нему, в полуоткрытой одежде видны были её маленькие груди.

Подняв голову, Пётр увидел звериные глаза Варравы.

«Кому сказал!» — лязгнул Варавва. Из всех углов были устремлены на них любопытные лица. «Слушай, друг...» — начал было Пётр. Гигант смотрел мимо него. Варавва ввинтил жёлтые глаза в раввина. Медленно задвигалась его челюсть, на груди закачался амулет, Варавва изрыгнул

чудовищно-внятный мат. Женщина, взвизгнув исчезла под столом. Верзила выбросил над столом цепкую, как щупальце, ладонь и схватил за бороду раввина.

Кровь бросилась в голову Петру, он вылетел из-за стола. Все повскакали с мест, стукнула, падая, скамейка. Нищие толпились вокруг. Варавва, сцепив ручищи, ударил Петра раз и другой. Кто-то хотел вступить; Пётр раскинул руки, отстраняя всех, отступил к столу, рука его шарила по столу, нашла кружку. Варавва расставил ноги носками внутрь, покачивался, что-то пел и доставал не спеша из-за пазухи короткий, вроде охотничьего, нож.

Пётр смотрел врагу в живот, у него был свой план — броситься под ноги и, когда тот рухнет, навалиться сзади и разбить голову тяжёлой кружкой.

Вдруг сильная рука остановила его, тонкие пальцы сжали локоть. Учитель отодвинул Петра.

Варавва проглотил слюну. «Отойди, пахан, — сказал он мрачно, — без тебя разберёмся...»

Раввин не двигался и смотрел на Варавву, который держал нож перед животом.

«Что ж, — сказал раввин. — Бей».

Варавва воззрился на него в недоумении. Все молчали.

«Ну бей же, если тебе так хочется. Убей меня, и тебе ничего не будет. Они, — раввин кивнул на учеников, — тебя не тронут, это я тебе обещаю».

Варавва исподлобья следил за ним. Раввин продолжал:

«Если ты ударишь его, то станешь убийцей, и люди будут преследовать тебя. А меня ты можешь убить без всякой опаски. Ведь я — Сын Божий».

Кто-то засмеялся.

«Убей, если не веришь», — сказал раввин и, неожиданно улыбнувшись доброй, жалкой своей улыбкой, раскрыл двумя руками одежду на груди.

Сириец покосился на лица, с жадным испугом ожидающие, смерил взглядом Петра. По-видимому, гнев прошёл так же быстро, как и вспыхнул. Варавва усмехнулся. Все зашевелились, раздалось восклицания. Маленький Симон Кананит, по-другому Зилот, нервно жестикулируя, что-то втолковывал непроницаемому хозяину.

Мигнув тусклыми очами, Варавва цыкнул слюной через плечо. «Ладно, — сказал он, — валите отсюда...»

Двенадцать вслед за учителем пошли прочь меж расступившихся людей; перед тем, как переступить порог, раввин обернулся, пропуская вперёд учеников, и что-то сказал толпе. Ибо скопилось много всякого люда.

Учителя провожали молча, то ли благоговей, то ли насторожась и насмехаясь исподтишка. Кто он был для них: артист-охмурыла, дешёвый проповедник, каких было и будет сотни? Или тот, чьим именем он назвал себя? Что они бормотали, когда смотрели с порога вслед удалявшимся в пыли по белой дороге? Нужно подставить себя под нож, чтобы доказать им, что ты бессмертен, размышлял Пётр, раскачиваясь в баркасе под крепнущим ветром, нужно умереть, чтобы стать Богом. Мысль не очень-то понятная. Но рабби никогда ничего не объяснял до конца. Рабби умолкал, когда дело до-

ходило до самого важного, окончательного. Молчание было последним словом веры. Был ли он в самом деле сын Предвечного или только называл себя Божьим дитищем, как все мы себя называем? — думал Пётр. Он смотрел на своих товарищей, на всех лицах было одинаковое выражение терпения, усталости, долга. Гребцы успели смениться, скоро и его очередь.

На корме по-прежнему виднелось лицо Андрея, но золото предзакатного света уже померкло на нём. Обернувшись, Пётр увидел, что солнце исчезло в фиолетово-сизых тучах. Вода потемнела, ветер с заката рябил и серебрил её. Баркас тяжело шёл против ветра. Чайки время от времени шныряли с криком над самой водой. Уже давно исчезло из виду восточное побережье, должна была показаться по правому борту песчаная отмель, но море — так его здесь называли, и, как видно, не зря, — по-прежнему было пустынно.

Ученики вполголоса переговаривались, поглядывали на небо. Гребцы усердно работали вёслами. Банка справа должна была находиться недалеко, в таких местах всегда кружится много чаек. А там и берег галилейский покажется, озеро в самом широком месте не превышало шестидесяти стадий. Ничего не показывалось. Птицы покричали и улетели. Впереди чёрно-пепельное море понемногу пошло белыми барашками. Дул ветер; вдруг стало совсем темно.

Судно раскачивалось, поворачиваясь на волнах. «Табаньте! — командовал Андрей. — Выходите на волну». Большой вал, приподняв нос лодки, прокатился под ними, и передние чуть не упали на гребцов. «Ты-то куда смотришь?» — крикнул Симон, хватаясь за что попало. Кормчий, держась за руль, величественно качался на корме вверх-вниз. Всё море колыхалось, словно кто раскачивал его. Ветер трепал волосы. «Держись!» — крикнул кормчий, и новый вал окатил их брызгами. Эх, не послушали старика... Тупой нос баркаса нырял в волнах. Тучи совсем заволокли небо; теперь, если даже недалеко берег, его не увидеть. Вцепившись в борта, вперялись во мглу, всё ещё надеясь различить огоньки Капернаума. Вдруг кто-то из сидящих сказал: «Боже, кто это?» Шагах в тридцати от лодки на воде стояла человеческая фигура. «Что, что такое?..» — заговорили сидевшие против гребцов, и все стали поворачивать головы. Все увидели привидение, которое медленно подвигалось, словно ехало по воде, и сбоку догоняло лодку.

Теперь можно было различить одежду призрака, посох. Лицо тонуло во мгле. Учитель неподвижно стоял, как живой, перед ними и в то же время приближался и, казалось, всматривался в их оцепенелые лица. Онемев, они смотрели на эти мелко ступающие ноги. Он шёл! Ветер отдувал край его хитона. Но стало как будто потише. Баркас, потеряв управление, медленно поворачивался на воде. Идущий поднял руку. Голос донёсся до них.

«Что он говорит?» — спросил Пётр. Все молчали. Донеслось покашливание.

«Не бойтесь, — громко и внятно сказал призрак. — Это я».

«Вот так здорово», — пробормотал Пётр, у которого не оставалось сомнений в том, что он повредился в уме. — Нет, не хочу, не хочу...»

Голос повторил:

«Это я».

«Рабби... ты?» — пролепетал Пётр или кто-то из них,

«Я», — ответил учитель, и лицо как будто нахмурилось, затем разглядилось. Они не различали его черты, но видели улыбку.

«Успокойтесь, говорю вам, я не привидение», — сказал он сердито. В самом деле, это был он, живой и стоявший, как на плоту; вода перекатывалась через его босые ступни.

Что-то происходило с Петром, он засуетился, встал в лодке. «И я, и я, — бормотал он, волнуясь. — И я к тебе, можно?..» Поднялся сердитый ропот; Пётр не слушал. Дрожа от волнения и отдирая руки, которые пытались его удержать, упёршись в чьё-то плечо, перешагнул через борт сначала одной ногой, потом другой. Вода была ледяная. Он был уверен, что вера не даст ему утонуть. Ему даже показалось, что он сделал шаг, учитель ласково манил его, опираясь на посох.

Мокрого, стучащего зубами Петра вытащили из воды. Гребцы взяли за вёсла. Раввин уже стоял в лодке.

«Эх, ты...» — сказал он Петру.

1969

ТРУДНЫЙ ЧАС, ИЛИ МУЗЫКА БДЕНИЯ

Er stand vom Schreibtisch auf...¹
Th. Mann. Schwere Stunde.

1. Интродукция. *Allegro sostenuto*

Он встал из-за стола и прошёлся из угла в угол. Бывает, что изо всех сил напрягаешь память, чтобы вспомнить собственные размышления. Кажется, что думал о чём-то важном. Двенадцать часов, ложиться ещё не время, не заснёшь. Потянутся неотвязные мысли, привяжется мелодия, как заевшая пластинка, устанешь ворочаться, и опять из угла в угол, опять оцепенелое сидение перед звёздным небом на экране, под наркотическую *space music*.

Одно утешение: завтра утром замысел оживёт. Что-то засветится в конце тупика. Написанное потребует продолжения. Оживёт уверенность. Но пройдет день. Ночь протрёт запотевшие стёкла. Что делать? Человек с дыбом стоящими остатками полуседых волос, полуодетый, в домашних полустлевших тапочках, с тоской взирает на недописанный, исчерканный лист бумаги. Что отличает писателя от дилеганта? Отвращение к своему детищу. Писатель — это несостоявшийся графоман. Вот, полюбуйтесь: первая фраза.

Там десять первых фраз. Когда накапливаются зачёркнутые строки, он обводит их рамкой и рисует клетку. Его мысли в тюремной камере. В конце концов мы выбрались из неё; что-то более или менее приличное; едем дальше. Увы, это напоминает неумелого велосипедиста: пять-шесть метров отчаянного вилянья рулём, велосипед валится набок.

Он поднимается и отряхивает одежду. Если ничего не выходит, будем писать о том, что ничего не выходит; невозможность письма — сама по себе достойная тема; напишем о том, что *хотелось бы* написать, и не этим ли он занят в данный момент. Главное, набрать скорость — велосипед покатится сам. Вдруг стало холодно, он вдевает руки в рукава халата, запахивается поверх одежды. Что происходит со временем? На ручных часах столько же, сколько было целую вечность тому назад. Он подносит к уху запястье: идут.

2. *Andante con moto*

Замысел... попробуйте-ка его изложить. Когда радужную, переливчатую медузу вылавливают из воды, остаётся ком слизи. Произведение, сказал Беньямин, это посмертная маска замысла. Нет. Произведение — это выблюдок замысла.

¹ Он встал из-за письменного стола... (Т.Манн, Трудный час).

Он видит перед собой гладь моря. Пусть это будет эпизод из жизни человека, который сравнивает себя с моряком, потерпевшим кораблекрушение. Вот вам портрет современного человека. Судно дало течь, но еще держится на плаву. Корабль плывёт, а между тем вода понемногу наполняет трюмы. Самоубийство стало приготовлением к самоубийству, и проходят годы. Прав был тот, кто сказал, что написать о самоубийстве — значит его избежать! Это как кульминация амурного приключения: все ресурсы фантазии, опыта и таланта уходят на раздевание героини; сам по себе «акт» не интересует литературу, событие либо вот-вот наступит, либо уже совершилось.

На минуту сочинителя увлекла эта метафора, он подумал, что можно написать рассказ, где ритуал любви будет притчей о творчестве, которое так и не увенчалось успехом; исписываются десятки страниц, а до дела так и не дошло. Он подумал: то, что он напишет, будет лишь предисловием к роману, который никогда не будет написан.

Конечно, он не намерен писать о себе. Считается, что собственная персона — самый увлекательный предмет; ничуть не бывало. По крайней мере, для этого нужно быть «персоной», быть личностью, — а где она? (Взад, вперёд, из угла в угол.) Литература пожирает своего создателя. Жуткое зрелище: всё готово, великолепная узорная паутина поблескивает на солнце, а паука нет. Всё израсходовался.

Он вспомнил слова, сказанные о Шекспире: *everything and nothing*. «Сам по себе он был никто».

Сосчитал шаги по диагонали от угла до угла и опустился в кресло. Разумеется, это не автобиографическая проза, невозможно писать о том, кого, собственно говоря, нет. Он не заметил, как рука принялась чертить завиточки, снова встал, халат распахнут, пояс волочится по полу, в таком виде сочинитель предстал перед синклитом.

Горы следственных папок на столах, на подоконниках, на полу — заседают комиссия по пересмотру дел. Вы реабилитированы! Вы даже можете вернуться на родину. В порядке компенсации — выдвижение на Нобелевскую премию. Вы даже в выгодном положении, вы всё ещё живы. Подумайте, сколько славных отправилось к праотцам, не дождавшись награды. Заседает комитет по восстановлению справедливости. В прошлом году лауреатом стал Гораций. Судьи выезжают на место поздравить усопшего. Но где гробница?

Были рассмотрены кандидатуры Толстого, Джойса и Кафки, все трое забаллотированы. Джойс за безнравственность, Толстой за то, что обкакал православную церковь, Кафка ещё за что-то. Пусть полежат в своих могилах до следующего раза.

Скрипнула дверь — сейчас выйдет улыбающийся, благостный, с рыбьим ртом, в жёлтых плавниках погон. Вам разрешено вернуться на родину, мы теперь добренькие. Мы больше не питаемся человеческим мясом, акульки зубы — на полку. Скрипнула дверь, сейчас покажутся серебряные пряжки тужель, атласные чулки, голова в сардельках парика. Вызывают тебя — почему бы и нет? Ведь и ты, хоть ты и жив, покинул в некотором смысле мир живых.

Секретарь вываливает на стол ворох бумаг, творческое наследие. Лысые головы склонились над исчерканными листами. Головы качают головами. Сочинитель считает шаги: вперёд-назад. Мелко прыгает секундная стрелка. Всё ещё первый час ночи.

3. *Tempo di menuetto*

Предположим, что это была девушка в магазине. До закрытия полчаса; успеть что-нибудь купить на ужин. Он ошибся, решив, что ей не больше двадцати лет. Подойдя ближе, брякнул: «Вас зовут Бэрбара». Ответа не было, оказалось — угадал. Он стоит в нерешительности перед стеклянным прилавком, продавщица выжидательно смотрит на него. По дороге домой он воображает, как он явится снова, потом ещё раз, и так до тех пор, пока она не станет отвечать на его взгляды.

Он караулит у служебного выхода, предлагает подвезти домой, «моя машина за углом». Немолодой господин, сдержанный, учтивый, немногословный, с нездешним акцентом, вероятно, хорошо обеспеченный, шляпа и галстук, в меру модное пальто, поколебавшись, она соглашается. Не желает ли она вместе провести вечер. Куда бы нам пойти?

То-то и оно: мы в состоянии изобретать лишь пошлые, избитые истории, не надо быть писателем, любой стареющий холостяк придумал бы что-нибудь похожее. Но ведь всё дело в том, чтобы рассказывать о тривиальном нетривиально. Пусть это будет самая обыденная, незамысловатая история, *повесть ни о чём*. Флобер мечтал написать роман, где ничего не происходит.

Жизнь всегда выбирает избитые сюжеты. Если мы хотим писать «о жизни». Был ли он увлечён, — нет, конечно, таких девиц окидывают взглядом, чтобы потом забыть. Что-то, однако, притягивало к ней. Произошёл пробой изолятора, и между ними проскочила искра. Пожалуй, барышня была заинтригована: иностранец, а потом ещё оказалось — писатель. Ей никогда не приходилось знакомиться с писателем. Она и книг-то почти не читала. Она была уверена, что он узнал её имя от кого-то. Очувтившись в первый раз — мимоходом — в его квартирке, она решила, что он снимает эту берлогу для таких дел. В её представлении он оставался богачом.

Не вытерпев, он подошёл к двери, приоткрыл, ожидая увидеть в полумраке чёрные волосы на подушке. Но её нет. Потирая лоб, зашлёпал прочь. Столик, две табуретки, полка, плита, холодильник — тесная кухонька, которая служит столовой.

Глядя на маленькую женщину у окна, в халатике до колен, голые ноги в тёплых домашних туфлях, левая рука подпирает локоть правой, сигарета на отлёте, чёрное пламя глаз, отрешённый взгляд, — глядя на Бербель, он удивился не тому, что они сошлись, а тому, что связь продолжается. Я свободен, чувственность ничего не значит. Я свободен: знаешь, милая, у тебя своя жизнь, у меня своя; расстанемся.

«Ты не спишь?»

Она ничего не ответила, стояла, прислонясь к подоконнику, по-женски держа сигарету на отлёте между двух пальцев.

«Представь себе, а я только что набрёл на сюжет».

Молчание.

«Тебя это не интересует?»

Она пожала плечами.

Завтра на работу, ей дали повышение, теперь она заведует отделом. Девушка в магазине: да, это была девушка в магазине, невзрачная особа в красном форменном берете, тщедушная, болезненная, прямые черные волосы спускаются из-под берета на щеки, как раздвинутый занавес, между ними бледное личико. Что-то насторожённое в манере поворачиваться к покупателю, тёмно-мерцающий взгляд. Будь она хорошенькой, не обратил бы на неё внимания.

Всякий раз, как я заходил, она стояла за прилавком, смотрела в пространство, куда-то выходила, говорила с кем-то. И, конечно, заметила, что я ищу её глазами. Выбирая что-нибудь на ужин, я советовался с ней, из чего она могла заключить, что я живу один. У женщин особый нюх на всех, кто живёт один.

На циферблате, над дверью, половина второго; положительно стрелки движутся ночью медленнее, чем днём.

4. *Presto*

Девушка приготовилась к первой ночи, как боксёр перед схваткой; надела кружевное бельё; на другой день спали до полудня. Всё ещё полусонная, она вырвалась, заперлась в ванной, плеск затих, никакого ответа, вдруг щёлкнула задвижка. Бербель стояла на резиновом коврикe, её ягодицы сверкали, в запотевшем зеркале смутно отражались её мокрые волосы, ямка между ключицами, кружки сосков, чёрная дельта внизу живота. Рука мужчины потянулась к её серебряному телу. Снова бегом в постель. Завтракали со зверским аппетитом. Она всё предусмотрела, отпросилась в отпуск до конца недели. Бродили, болтали, косились по сторонам, как заговорщики, сидя в игрушечном гроте китайского ресторанчика, где, кроме них и расплывшегося в улыбке пузатого мандарина из раскрашенного фаянса, с глиняным блюдом в руках, никого не было. Им хотелось говорить друг о друге, он сказал, что представлял себе её по-другому, «чем оказалось». Что же оказалось, спросила она и вперила в него антрацитовый взгляд. Сам по себе, подумал он, я для неё не существую, я зеркало, куда ей хочется без конца глядеться, поворачиваясь боком, задом, наклоняясь, чтобы груди стали заметней. Она влюблена не в меня, а в себя.

Он заговорил о её коже, стал описывать её тело — всё-таки писатель; а ещё что? — спрашивала она, — а дальше? а что внизу? — с жадным любопытством, словно ребёнок, ожидающий продолжения волшебной сказки. И рассказ его расцветал подробностями, становился нестерпимо откровенным, и желание вновь разожглось с такой силой, что, бросив деньги на блю-

до пузатому мандарину, смеясь и дрожа от нетерпения, они бросились к выходу, нужно было что-то найти поблизости, дневную гостиницу, скамейку в пустынном парке.

Пожилая чета показалась из-за поворота аллеи, едва лишь они успели привести себя в относительный порядок. Чинно сидели рядом. Девушка расправила юбку на коленях. Отчего вдруг юбка? Писателю-графоману представилось, как она примеряет наряд перед зеркалом. Пожилому нужна молоденькая, надевай джинсы. Зато в юбке становишься более женственной. Она оглаживает бёдра, обтянутые юбчонкой.

Он спросил, не страшно ли ей. Она подняла брови. «Ты меня не поняла, — не боишься ли ты последствий?» Маленькая продавщица сузила глаза, на ресницах повисли крупинцы краски: «Ты что, положительный?» Теперь не понял он. «У тебя вирус?» — «Откуда ты взяла. Я не об этом». — «А!» — и она рассмеялась дребезжащим смехом, ей показалась забавной неуверенность, с которой был задан вопрос. А чего бояться-то; само собой, она приняла пилюлю. «Когда?» — «Вчера утром». Похвальная предусмотрительность. Он почувствовал, что рассказ катится, как по рельсам. Это плохо, когда проза катится, как по рельсам.

«Хотя ещё было неясно?»

«Что неясно?» — спросила она. Неясно, чем кончится вечер, объяснил он. Она передёрнула плечами, ей-то с самого начала было ясно.

Ему было мало этого ответа, хотелось знать, когда именно, в какой момент она решила лечь с ним в постель.

«Когда тебя увидела, тогда и поняла». Сразу, при первой встрече? Она возразила: «А куда было деваться». Непонятно, что она хочет этим сказать. Что её предназначение — вобрать, восать в себя мужчину? Что желание предшествует любви, а не наоборот? Желание непререкаемо, а любовь — это уж как получится.

Разница поколений — в нём ещё живы остатки прежнего воспитания. Он добивается, она уступает. Что касается Бербель, то тут была какая-то мешанина: ей хотелось быть сразу и современной, и благонаправленной. В сущности, она была сбита с толку, как большинство молодых женщин в наши дни, не умеющих как следует одеться, правильно говорить, найти достойную линию поведения: найти *стиль*. И результат был, как и у большинства, прискорбный, получалось ни то ни сё. Она металась между крайностями. Нравственность отзывала ханжеством, современность оборачивалась бесстыдством. Недотрога и шлюха в одном лице. Мешанина, собственно, и была её стилем. То и дело она нервно натягивала юбку на колени. А её реплики... Боже, какой она могла быть подчас циничной — и едва ли отдавала себе в этом отчёт.

5. *Largo appassionato*

Он отдёрнул шторы. Там июньская ночь, цветут каштаны. Тёмные силуэты машин вдоль неразличимого тротуара, ни единого огонька. Город дворцов и кладбищ. Под зелёными холмами погребено бывшее население.

Город, где можно ходить с закрытыми глазами, где всё исхожено и знакомо. И где каждую ночь старухам снятся скрещённые лучи прожекторов, рёв сирен и уханье зенитных орудий. Вдруг стало холодно, он вдевает руки в рукава халата, запахивается поверх одежды, отводит рукав: без четверти два.

Прочь от окна. Он думает о том, стоит ли игра свеч. Вопрос повисает в воздухе, ибо нет того, кому можно его задать. Не с кого спросить, *voilà tout*.

Уехал без ничего, не уехал, а бежал; жена, дом, друзья, книги, жизнь в родном языке, жизнь в стенах, где замурованы всеслышащие уши, жизнь под немигающим взглядом тайной полиции — всё брошено, бежал. Ради чего? Господа! разберёмся. Если творчество, не желающее пресмыкаться, есть государственное преступление. Если родина, а не чужбина, ставит тебя перед выбором: изменить себе или «изменить родине». Если это *такая* родина. Гордись, что тебя вышибли. Не-е-ет, бормочет он, не мы изменили родине, а она нам. Это *она* нас предала. И в конце концов... вашу мать, — где создавалась наша литература? В Риме, в Дрездене, в Париже.

Но — маленькая разница. Тех никто не изгонял. Уезжали и возвращались, и снова уезжали — когда хотели. А к нам злодейская страна повернулась крупом, упёрлась передними копытами и лягнула задними, так, что мы отлетели на тысячу вёрст.

В сумерках он сидит с девушкой из магазина, в укромной аллее позади замка принцессы. Прошёл служитель, протарахтел агрегат для собирания мусора. Близится время закрытия. Литературные ассоциации неизбежны, как восход луны. Барышня из магазина бумажных цветов, круглолицая, черноглазая, с пышными локонами, какой нарисовал её сам тайный советник, показалась в конце аллеи. В июльский день Гёте встретил Кристиану Вульпиус в парке над Ильмом. Ночью они стали любовниками. То, что сперва казалось интрижкой, стало долгой жизнью вдвоём. Писатель усмехнулся: он, чужеземец, знает эту историю. А она, должно быть, никогда о ней не слыхала.

Их разговор: писателю поведали страшную тайну. Оказывается, у неё есть ребёнок. Было что-то неприятное, липкое в этой новости, он почувствовал безгливость. Впрочем, это её дело. Но почему тайна, да ещё страшная? Потому, сказала она и устремила загадочный взгляд туда, где угадывалась кровля дворца.

Это был мальчик; живёт с бабушкой в другом городе. В каком, спросил он. «Не скажу». Сколько ему лет? «Угадай. Ни за что не угадаешь». Липкая неразбериха женского мира. О том, что случилось («доченька, да ведь ты беременна»), она узнала, когда ей не было пятнадцати.

«У меня даже ещё не было».

«Так не бывает».

«Он тоже так говорил, ничего не будет, раз у тебя ещё не началось».

«И кто же это?»

Она хмыкнула, смотрела в землю. Служитель в синей фуражке приблизился. Они поднялись.

Что здесь правда, что — выдумка? Сочинитель подумал, что лживость, и вдобавок бескорыстная, должна быть её характерной чертой.

Шуплый вид, слабая грудь, чёрные глаза, уклончивость, похотливость — всё как-то соответствует, всё одно к одному. По дороге к нему домой она сказала:

«Сама не понимаю. До этого вроде всё обходилось».

Что значит, до этого? Выходит, она уже давно с ним жила?

«Я девчонка была, что ты от меня хочешь. Любопытно было, вот и сошлись».

Получала ли она от этого удовольствие? Она помотала головой. В самом деле?

«Ну, может, потом».

А кто он такой?

«Ему теперь уже, наверно... Ему в дом инвалидов пора. А он всё хорорится».

Разве она с ним встречается?

Презрительная ухмылка. «Ещё не хватало. Письма пишет».

Знает ли этот человек о ребёнке? «Ясное дело, знает».

Ну, и?..

«Ну и ничего. — Она добавила: — Да куда ему, он разорился, у него долгов одних тыщ пятьдесят».

Оказывается, у этого человека был магазин, в том же доме, где жили её родители, она была у него сначала на побегушках, потом стояла за прилавком. Однажды он сказал, что когда умрёт, оставит ей много денег.

«Поэтому ты и согласилась?»

«Причём тут я. Мама согласилась». Отец бушевал, а мамаша рассудила иначе.

Два часа ночи на циферблате над кухонной дверью. Она стоит с папирсой влоборота к окну. Равнодушно:

«Ну что, много насочинял?»

«Бербель».

«Что?»

«Я думаю, тебе давно пора спать».

Тусклый взгляд, как недобрая весть. Папирса на отлёте.

«Бербель...»

«Чего Бербель? Чего Бербель!.. Надоело мне всё это. Вот так! — прове- ла пальцем, словно бритвой, по шее. И с ненавистью, как давят гнусное на- секомое, раздавила в пепельнице окурков. — Я лежу, жду, а он там всё сидит! Хоть бы зарабатывал, а то ни денег, ни... Чего он там высиживает?»

«Я работаю».

«Хороша работа. Хоть бы зарабатывал...»

Это говорится только для того, чтобы лишний раз его уколоть. Его деньги её не интересуют. Но надо ответить ударом на удар.

«Я тебя не держу. Можешь уходить».

«И уйду!»

Пошлятина, думает он, так и потонешь с этой бабой в пошлятине.

Как-то раз, уже после того, как она перебралась к нему, она спросила, не скучно ли ему здесь. Он пустился объяснять, что литератор — это от-

шельник, кустарь-одиночка, вовсе не обязательно, чтобы... Она поморщилась: «Да я не об этом. Все нормальные люди скучают по родине». — «Я не знаю, о чём ты говоришь». — «Господи, неужели непонятно. Вот я, например, встаю утром, всё знакомое. Все говорят на родном языке, а ты...» — «Что — я?» — «Ты, конечно, очень хорошо говоришь, — поспешила она добавить, — лучше многих. Но ведь каждый сразу поймёт, что ты иностранец». — «Ну и что?» — «А тебя не тянет?» — «Куда?» — «Домой, куда!»

Писатель хотел ответить, что у него нет дома, и почувствовал кокетливость этого ответа. Разговор прервался, — или она ждала, что он скажет: *ты заменила мне родину?*

6. Scherzo

Впрочем, нет, разговор продолжается. Разговор, можно сказать, на этом только начался.

Похоже (о, наивность!), что регулярная половая жизнь пошла ей на пользу: она начала расцветать. В движениях, в повороте головы появилась уверенность женщины в себе.

Но это ещё не было сознание власти. Не удержавшись, она выпалила: «Я тебе нужна только для постели».

Он чуть было не съязвил в ответ: как и я тебе, — но она успела его перебить, мысли её, очевидно, шли другой дорожкой, она размяла в пепельнице недокуренную сигарету (не так агрессивно, как раньше) и проговорила:

«Давно хочу тебя спросить...»

«Не надо», — сказал он быстро.

«Но ты же не знаешь, о чём».

«Знаю».

Она думала о жене, оставшейся *там*.

«Нет у меня никаких жён».

«Ничего у тебя нет!» Это было сказано с раздражением.

«Ты права», — сказал писатель. Ты права, хотел он ответить, ничего у меня нет. Кроме... Он загадал, что она спросит: кроме литературы? И тогда он ответит: кроме тебя.

Она сказала:

«Но ведь ты с ней не в разводе. Или как?»

«Никак. Она сама со мной развелась».

«Когда?»

«Когда я уехал».

«Без твоего согласия?»

«Да, без моего согласия».

«Это невозможно».

«Там всё возможно».

Подумав, она спросила:

«Ты хотел её взять с собой?»

«Хотел. Она не хотела».

«Почему?»

Она задавала вопросы, как ребёнок.

«Там холодно?»

«Где?»

«В России!»

«Там так холодно, что у детей замерзают сопки, — сказал он. — Там по улицам ходят медведи. В домах стоят ёлки, и пахнет хвоей и мандаринами. Там князя в барашковых шапках несут на тройках и обнимают огненно-глазых цыганок. Там наливают водку в тарелки, крошат хлеб и едят ложкой, как суп. Там очень много земли, очень много народу. Там количество не хочет переходить в качество, там...». Она уже не слушала.

Четвёртый час, пора ложиться, но сразу не заснёшь. Начнёшь ворочаться. И снова музыка бдения, опять — из угла в угол.

7. *Rondo — Finale*

«У меня не пришло».

«Придёт».

«Уже две недели».

«Надо было вовремя побеспокоиться».

«А ты почему не беспокоился?»

«Бárбара... опять?»

«Имей в виду: я аборт делать не собираюсь».

«По-моему, об этом ещё рано говорить».

«Чтобы ты знал».

«Твоё дело», — он пожал плечами: на самом деле её слова обвесли его холодным ужасом.

Он смотрит на её голые ноги в тапочках, отороченных мехом, на перетянутую пояском халата щуплую фигурку. Она повернулась к окну, в тёмном стекле отражается груша света под потолком, отражается её лицо, провалы глаз.

И в это же время он думал: что ты можешь знать о моей жизни? Что ты знаешь о моей работе, она никогда тебя не интересовала, ты даже ни разу не спросила, над чем я тружусь. Чем я живу, чем дышу. Ты не можешь прочесть ни одной моей строчки, мой язык, моя страна — всё это для тебя книга за семью печатями. Да если бы и могла прочесть. У тебя не хватило бы терпения одолеть хотя бы одну страницу. Он задыхался от злобы и чувствовал, что наслаждается этой злобой. Моя работа... она для тебя вообще не работа. У тебя нет ни малейшего представления о том, что значит вот так, изо дня в день...

А я?... — думал он или, вернее, мысленно произносил, потому что всё, что рождалось в голове, тотчас принимало форму законченных фраз. Проклятие литературы. Всё становится сырьём для писания, всё валится в мясорубку. А результат? Ворох бумаги, где нет ни одной незачёркнутой фразы.

Он чуть было не выкрикнул: можешь катиться!..

Необъяснимым чутьём она поняла, что хотели произнести — нет, не произнести, а выплюнуть — его губы; её глаза округлились от страха.

«Я думала, — пролепетала она, повернув к писателю заплаканное лицо, — что ты меня любишь...»

Он почувствовал, как что-то вздрагивает, стучит в висках, барабан бессонницы. Музыка понеслась кругами. Он быстро вышел из кухни и вернулся.

«Ты включил радио? — спросила она растерянно. — Разбудишь соседей».

Он поставил на стол старомодный приёмник.

«Это концерт для полуночников... Бербель, — сказал он, — давай потанцуем!»

Полчаса часа спустя она спала глубоким сном. Сочинитель поднялся из-за стола. Рассказ был закончен.

ДРУГОЙ; ДРУГАЯ

Ты должен меня выслушать — я обращаюсь к тебе, не к кому-нибудь. Пожалуй, мне стоит сразу предупредить тебя: вряд ли ты обрадуешься, узнав, что разоблачить тебя оказалось не таким уж сложным делом. Ты ведёшь совершенно другой образ жизни, возвращаясь в чуждой мне среде — мы разные люди. И если я отважился на этот шаг, то лишь для того, чтобы ты, наконец, понял: у нас нет ничего общего.

Буду краток. Потратив полчаса на раздумье, перелистывание телефонного справочника, я остановился на конторе «ХУ. Розыск и наблюдение». Мне нравятся скромные названия. Договорился о визите. Вылезаю из машины: обыкновенный жилой дом. У входа, на щите с кнопками звонков нахожу нужную табличку. Признаться, меня охватили сомнения, даже страх; было очевидно, что я ввязываюсь в сомнительную авантюру. Потоптавшись перед дверью (и чуть было не повернув назад), нажимаю на звонок, вхожу, еду в лифте на пятый этаж.

Ты усмехнёшься. Ошибаешься, приятель: это была боязнь изобличить себя, а не тебя. Секретарша, тусклая особа, ввела меня в кабинет, где сидел человек с не запоминающейся внешностью, что отвечало его профессии, — видимо, тот самый Икс Игрек. Над его головой, как принято, висел портрет основателя фирмы: уважаемый господин с трубкой в зубах, в клетчатом кепи. Уж не сам ли великий Шерлок Холмс?

Я объяснил, чего я хочу, протянул фотографию, человек с засекреченным именем взглянул на карточку, взглянул на меня, не выказал удивления, лишь слегка приподнял бровь. Выслушав с заученной благожелательностью моё поручение, задал несколько деловых вопросов и попросил заполнить анкету. Я спросил, обязательно ли сообщать моё имя и прочее. Он развёл руками. Мне захотелось встать и уйти. Владелец конторы вздохнул. «В крайнем случае, вы можете проставить вымышленное имя, в порядке исключения... Ведь ваш случай, если я правильно понял, сам по себе представляет исключение».

«Нет, — возразил я, — если вы думаете, что это я, вы ошибаетесь. Это другой человек».

«Угу; вот как. Ну что ж».

С этими словами он принялся составлять смету — предварительную, сказал он. Возможны дополнительные расходы. Естественно, я не стал любопытствовать, как они примутся за дело, кто будет этим заниматься. Такая работа требует конспирации. (Позже выяснилось, что единственный сотрудник фирмы, не считая секретарши, — сам заведующий.)

«Итак...» Хозяин постукивал пальцами по столу, поглядывал на меня, словно ждал, что заказчик передумает.

Я подписал договор, и мы обменялись рукопожатием.

Теперь пора сказать несколько слов о себе. Кстати, это и тебе будет полезно. Почему я набрёл на странную мысль поручить частному детективному бюро следить за мной? Ответ прост: потому что сам я не могу за собой уследить. Итак, кто я такой: я человек вполне заурядный. Живу тихо, незаметно, мало с кем вижусь, с женщинами дела не имею. Старые друзья всё реже дают о себе знать, да и я звоню им нечасто. Это можно объяснить возрастом. В конце концов, все мы понемногу стареем, а что такое старость, как не стремление уйти в свою раковину.

Мне 59 лет. Во времена экономической депрессии, лет двадцать тому назад, когда с моим дипломом некуда было сунуться, я набрёл на малооплачиваемое местечко в окружной библиотеке, временное, как я думал; да так и остался там. Некоторое время спустя получил ставку заведующего. Работа меня вполне удовлетворяет. Я выхожу из дому в девять часов, возвращаюсь всегда в одно и то же время. Я уже сказал, что живу один. После нескольких лет брака моя жена меня бросила, объяснив с завидной откровенностью (за что я ей благодарен), что дело даже не в том, что я мало зарабатываю, не стараюсь продвинуться по службе (а какое может быть продвижение в библиотеке?), что я вялый, пассивный, неинтересный человек. А в чём же дело? Оказывается, я не удовлетворяю её «как мужчина». Вот так. Вероятно, она приготовилась к бурному объяснению, ожидала, что я осыплю её встречными упреками. Но я как-то не нашёлся, что сказать; по своей наивности я ничего такого не подозревал. Да и что можно возразить, коли она приняла окончательное решение. Я даже не нашёл в себе силы спросить, кто же этот счастливчик, который увёл её от меня. Мы постарались не доводить дело до бракоразводного процесса. Детей у нас нет. Две беременности были прерваны, уходя от меня, как бы между прочим она сообщила, что оба раза забеременела не от меня. Говорила ли она правду? Дело было не вчера, вся эта история подёрнулась пеплом. Задним числом я думаю, что даже к лучшему. Я поступил с моей бывшей женой так, как она этого заслуживает: вычеркнул её из своей жизни.

Вечерами я сижу в моей берлоге: у меня уютная, хоть и несколько запущенная квартира. Слушаю музыку или читаю детективные романы. Читаю я обыкновенно так: прочту две-три страницы, а потом заглядываю в конец, чтобы узнать, кто убил. И после этого возвращаюсь к началу, читаю подряд, внутренне посмеиваясь над полицейским комиссаром: дескать, ты тут тычешься туда-сюда, ходишь вокруг да около, а мне уже всё известно. Но скоро это надоедает, я слоняюсь из угла в угол, идти некуда. Вообще я по своему характеру домосед. Пойми это, наконец: мой образ жизни меня вполне устраивает. Я домосед, отшельник, поздние прогулки, сомнительные кафе, амурные приключения и всё такое меня нисколько не привлекают, я человек брезгливый и, признаюсь, боязливый. Ещё схватишь венерическую болезнь... Одиночество? Я не страдаю от одиночества! И даю тебе честное слово, если бы не бессонница, я был бы вполне доволен своим существованием.

Можно страдать нарушениями сна, а можно, как я, испытывать страх перед бессонницей. Может, я и уснул бы. Но я боюсь лечь, боюсь не заснуть: начнутся разные мысли, ночью вообще всё кажется хуже, чем оно есть на

самом деле. И вот я сижу в кресле до тех пор, пока не почувствую, что у меня уже просто нет сил подняться, идти в постель. Читать я не могу, музыку не воспринимаю, в квартире цепенеет тишина, горит свет в люстре, странный, колочий, раздражающий, словно зуд. Наконец, я встаю, вспоминаю, что забыл выключить электричество в прихожей, возвращаюсь с твёрдым намерением отправиться на покой, но кресло вновь притягивает меня. Я чувствую, что у меня отвисла челюсть, глаза потускнели, я вперяюсь в экран, там текут, сменяясь, картины Земли, какой она предстаёт из космоса: огромный спящий мозг. Плывут океаны и материки, словно туманные мысли. Мурлыкает электронная музыка. А иногда появляются люди: на прошлой неделе, например, я неожиданно увидел до странности похожее лицо женщины. Похожее на кого? На мою бывшую супругу, разумеется.

С великим трудом я поднялся и отыскал в записной книжке её номер. Звоню, никто не подходит.

Сонный голос из телефонных недр. Вероятно, она подняла голову с подушки, там, в бывшей нашей спальне; спит, конечно, не одна. Или вышла в другую комнату, стоит с голыми ногами, в кружевной рубашке, тёплая, источающая аромат сна.

«Алло...»

Извиняюсь за то, что её потревожил.

«А, это ты».

Объясняю, что видел её только что по телевидению. Она ничего не понимает. Какое телевидение?

«Извини. Я только что...»

В самом деле, нелепость. Зачем надо было звонить, напоминать о себе? Я вычеркнул её из памяти.

Вернувшись, я сгоняю тебя с моего места (какая наглость), плюхаюсь в кресло, экран дрожит, снизу вверх пробегает серебряная зыбь, шорохи, шестелсы, передачи закончены. Что делать?

Вероятно, я всё-таки успеваю соснуть. На рассвете мне снятся сны. Однажды приснилось, что я иду по переулку. Что-то знакомое, но где именно, не могу понять. В домах темно, едва тлеют лиловые луны фонарей — упало напряжение тока. Постукивают чьи-то шаги. Я догадываюсь, что это я сам иду по пустынному переулку, куда-то направляюсь, но куда? Между тем светлеет, небо над мёртвым городом разгорается оловянным огнём, в окнах отразилось сияние, и я вижу, подойдя к окну моей спальни, что, действительно, наступило утро.

В понедельник, как было договорено, меня известили о том, что материал готов.

Я вступил в кабинет. Это был мой второй и, надеюсь, последний визит в контору «Розыск и наблюдение». Икс Игрек поднялся навстречу и пожал мне руку. Мы немного поговорили. Затем заказчику было предложено занять место за круглым столиком в углу кабинета. Директор вынул из пакета и разложил фотографии. Я разглядывал снимки, выполненные с большим искусством, в различных ракурсах, издалека, вблизи, даже сверху.

«Не торопитесь, сравните, — сказал он, возвращая мне фотокарточку, которую я представил при первом посещении. — Если, — добавил он, — вас не удовлетворяет качество, можно продолжить расследование».

Я ответил, что качество фотографий меня вполне устраивает, сложил всё в пакет и попросил продемонстрировать фильм.

Владелец бюро достал из сейфа кассету. Секретарша, о которой я уже упоминал, особа неопределённых лет и, я бы сказал, неопределённого пола, немая, как рыба, задёрнула шторы на окнах. В темноте я с трудом различал лицо человека, чьё настоящее имя оставалось неизвестным. Было ли у него имя вообще? Наступила пауза; детектив медлил. В чём дело? Он осторожно спросил, не предпочитаю ли я просмотреть фильм у себя дома. Если нужно, фирма предоставит в моё распоряжение необходимое оборудование.

«Почему не сразу же, не здесь?»

«Если окажется, что качество вас не удовлетворяет, или если информация недостаточна, можно продолжить наблюдение»

«Да, но я не понимаю...»

«Дома гораздо спокойней, вы сможете не торопясь, без свидетелей...»

«Я вас задерживаю?»

«О,нисколько. Наше время принадлежит нашим заказчикам».

«Тогда в чём же дело?»

«Видите ли, — сказал он, — вы всё-таки необычный клиент...»

«Какая разница, я готов заплатить за всё», — сказал я, теряя терпение.

«Конечно, конечно. Прошу понять меня правильно, речь вовсе не идёт о гонораре. Но расследование потребовало, если можно так выразиться, применения необычных методов...»

«Ваши методы меня не интересуют. Мне важен результат».

«Вот именно. Вот именно! — подхватил Икс. — Речь идёт о результате. Об информации, которую, как я надеюсь, нам удалось получить с исчерпывающей полнотой».

«Прекрасно, я сгораю от любопытства».

«Я бы хотел всё-таки вас предостеречь. В нашей практике бывают случаи, когда клиенты оказываются настолько потрясены разоблачениями, что... Короче говоря, я полагал, что ознакомиться с информацией — не говоря уже о выводах, которые вы сделаете из неё, — лучше в домашней, привычной обстановке. В условиях, так сказать, шадящих психику...»

«Благодарю за заботу, — сказал я холодно. — Включайте».

Короткий вздох, после чего рулон неслышно развернулся — белое полотно закрыло портрет мистера Холмса. Директор конторы «Розыск и наблюдение» стоял за моей спиной. Я заметил, что он нажал ещё одну кнопку своего прибора и там зажглась синяя индикаторная лампочка.

«У вас ещё один экран в приёмной?»

«О, нет, как вы могли подумать...»

Я увидел подъезд моего дома и уходящий вдаль переулок. Собственно, это и был переулок, который я видел во сне. Видимость не очень хорошая, так как съёмка происходила ночью.

Икс Игрек навис надо мной. «Мы пользуемся высокочувствительной плёнкой», — сказал он.

Из подъезда вышел человек и остановился, озираясь. Человек, по первому впечатлению, похожий на меня. Но ведь мы не можем объективно судить о собственной внешности.

«Это он!» — сказал я с торжеством.

«Кто?» — спросил Икс, хотя, даю голову на отсечение, догадался.

Невозможно было не догадаться. Ты притворился мною, но костюм тебя выдал. На тебе был... словом, неважно, как ты был одет, главное, я-то никогда так не одеваюсь. Я уселся поудобнее. Секретарша (интересно, откуда она взялась? Хорошо помню, что она вышла из кабинета) молча поставила передо мной стакан: виски со льдом и содой. Я сделал хороший глоток. Я потирал руки от удовольствия. Подкатило такси, ты уселся рядом с шофёром. Детектив, как можно было догадываться, ехал поодаль за тобою в другой машине. В этот час улицы были безлюдны. Кажется, ты заметил, что тебя преследуют, таксист прибавил скорость, автомобиль пронёсся под красным окном светофора, резко затормозил, чуть не столкнувшись с другой машиной, шедшей наперерез, помчался дальше. Икс сказал, что кусок плёнки пришлось вырезать, «мы упустили объект». Удалось нагнать тебя где-то на окраине; тусклые улочки, тёмные дома снова напомнили мне мёртвый город моего сна. Я поднёс к губам стакан. Такси остановилось перед ярко тлеющей в полутьме неоновой вывеской. Вокруг входа бежали цветные огоньки. Поблескивали лужи. Накрапывал дождь. Вылезая, ты снова поглядел по сторонам.

Экран померк, и вспыхнула настольная лампа.

«Что-нибудь случилось?» — спросил я, загораясь ладонью от света.

«Мне показалось, — директор кашлянул, — что вы хотите остановиться». Опять! Я был вне себя.

«Позволю себе заметить, тут есть кое-какие неожиданности. Я не имею права давать советы, но, может быть, имело бы смысл предварительно проконсультироваться...»

«С кем?»

Я отхлебнул из стакана. Сеанс возобновился.

Нужно отдать должное его квалификации. Вернее сказать, его проприетности. Он таки постарался. Ну и, конечно, вся эта техника, миниатюрные камеры, инфракрасная съёмка, уж не знаю, что там ещё применяется. Меня ожидал немалый счёт. Может быть, ты заплатишь?.. Было хорошо видно, как ты спускаешься по лестнице в подвал,ходишь, швейцар в галухах суетится перед тобой, опускает в карман сунутую небрежно купюру. Догадываюсь, что и от соглядастая он поимел щедрую мзду.

Вслед за гостем камера миновала переднюю, вошли в полутёмный зал, вдоль стен были расставлены столики со свечами, почти все пустовали.

Я спросил: озвучена ли плёнка?

«Да, конечно. Но до сих пор, я думаю, звук был не нужен. Пожалуйста». И тотчас донеслись аккорды гитары, рулады саксофона, музыканты на эстраде настраивали инструменты. Всё смолкло, были слышны приглушённые

ные реплики, блудливо-кокетливый женский смех. Зал ожил. Вдруг грянуло, завывло, забряцало, пары качались и извивались перед эстрадой. Камера подъехала ближе, персонал заведения — полунагие дамы — танцовал с посетителями. Тебя нигде не было.

«Мы его снова потеряли... на короткое время», — сказал владелец конторы, по-прежнему называя себя во множественном числе, словно хотел устранить от личной ответственности.

Ответственности — за что? Меня так и подмывало сказать ему: да брось ты. Я ведь прекрасно понимаю, что ты обо мне думаешь. Ты считаешь меня ненормальным. А сам-то ты — нормальный?

Камера двигалась по коридору. На дверях висели картинки: цветочки, рыбки, детские физиономии. Остановились перед девочкой, прикрывавшей голую попку. Дверь поехала, кто-то показался из комнаты, поспешно заслонил лицо ладонью.

«Остановите», — сказал я.

«Это не вы».

«Перестаньте, причём тут я?.. Остановите плёнку. Нет, — сказал я, — не он. Вы, действительно, его потеряли».

Неизвестный трусой бежал по коридору, пропал за поворотом.

«Ну что ж, — проговорил я, потягиваясь. — Всё ясно».

«Я вижу, что вы устали. Но фильм не кончен».

«Достаточно, — сказал я и хотел встать. — Вы старались меня отговорить, а теперь хотите, чтобы я досматривал до конца. Включите свет. Заказ выполнен, я вполне доволен».

«Что вы делали вечером?»

«Вечером? — спросил я, сбитый с толку. — Причём тут...»

«Да. Что вы делали поздно вечером в воскресенье?»

Я пожал плечами. Что я делал... Ничего: то же, что всегда. Сидел дома. Сражался с бессонницей.

«Вы уверены, что не уснули?»

«Если бы!»

«И вы никуда не выходили?»

«Почему вас это интересует?»

«Мне кажется, — сказал он, — это и вас должно интересовать. Итак, вы утверждаете, что провели всё ночь у себя, никуда не выходили из дома?»

«Вы что, ведёте следствие?» Я усмехнулся.

«Можно считать и так. Вы не ответили на мой вопрос».

«Да, да, да. Абсолютно уверен».

«И никто к вам не заходил?»

Владелец бюро полусидел на столике передо мной, ждал ответа. Я всё еще держал в руках стакан с остатками виски. Допив, я сказал:

«Приходится экономить электричество. Я увидел, что горит свет в прихожей. Пошёл и погасил. А когда вернулся в комнату, вот этот (я показал на потухший экран) сидел в моём кресле. Мне, конечно, пришлось его вытурить...»

«Так, — сказал Икс. — Значит, он приходил к вам. А кто он, собственно?»

«Но ведь я уже вам говорил. Другой человек».

«Позвольте задать вам ещё один вопрос. Не кажется ли вам... то есть, не приходило ли вам когда-нибудь в голову, что другой — это вы?»

«Послушайте...» — проговорил я.

«Сейчас объясню. Тот, кого вы считаете другим, на самом деле вы, а вы, в свою очередь, — тот другой. Вам такая мысль не приходила в голову?»

Я ничего не мог ответить, что-то сбилось в моей голове. Хозяин бюро продолжал:

«Я не посягаю на вашу гипотезу. Хотя это всего лишь гипотеза, не так ли? Я просто выдвигаю — конечно, тоже сугубо предположительно — другое объяснение. Но прежде хочу предложить вам, раз уж вы настояли на том, чтобы просмотреть плёнку здесь, а не у себя дома... предложить ознакомиться с информацией до конца. Собственно говоря, вам всё это должно быть известно, может быть, полузабыто, в таком случае наши сведения могут вам освежить вашу память».

Он потушил настольную лампу. Голос раздавался в темноте.

«Вам как неспециалисту я должен пояснить, что в некоторых особых случаях, и, разумеется, с большой осторожностью, без какого-либо риска для клиента, мы пользуемся техникой внутреннего расследования, поэтому не удивляйтесь, если...»

Я спросил, что значит «внутреннего».

«Это долго объяснять. Впрочем, в тексте договора это оговорено, вы, очевидно, не обратили внимания... Боюсь, что подвергну ваше терпение опасному испытанию... Речь идёт, ну что ли, о проникновении — разумеется, очень ограниченном — куда бы вы думали?»

«В психику?»

«Вот именно».

«Вы имеете в виду?..»

«Совершенно верно. Объективация сознания, в данном случае — вашего».

«Но позвольте, — сказал я. — Это же нонсенс, прочесть чужие мысли невозможно».

«Мы с вами торглись в область философии. Это не по моей части. Но, коли зашла об этом речь, разрешите вам напомнить, что в конце концов у всех нас есть средство приобщиться так или иначе к чужой психике».

«Какое же это средство?»

«Язык. Мысль не существует вне языка. Нам приходится облекать наши мысли и чувства в слова, а слова принадлежат всем. Когда вы говорите: у меня болит голова, все понимают, что это значит. Когда человек рассказывает о том, что происходит у него в душе, он опять-таки пользуется общепонятным языком. Иначе говоря, даёт возможность другим подсмотреть, что у него внутри... Но, я думаю, нам пора вернуться к демонстрации. Сейчас вы всё увидите».

Коридор опустел. Дверь со скабрёзной картинкой осталась приоткрытой. Камера проникла в комнату. И что же можно было увидеть? Широкую кровать, где хватало бы места для троих, плафон над изголовьем в виде чудовищного красного цветка, и в багровой полутьме

женщину с распущенными волосами и голыми руками, под розовым одеялом, едва прикрывавшем грудь.

Плётка остановилась, я мог рассмотреть эту даму получше.

Икс Игрек кашлянул. «Если исходить из того, что это другой человек, то нужно допустить, что и окружающий мир воспринимается им по-другому. Это, разумеется, моя гипотеза...»

«Прошу оставить свои гипотезы при себе!»

«Да, но... нельзя не принять во внимание, что если допустить, что это не вы... или, скажем точнее, что это ваше другое “я”, то, окажись на его месте ваше настоящее “я”, что бы вы увидели? Возможно, и этот дом, и эта женщина выглядели бы иначе. Быть может, вы вовсе не застали бы её здесь... Не знаю, впрочем, — сказал он, — понятна ли вам моя мысль.»

«Что, язык отнялся? Закрой дверь. Так и знала, что ты придёшь...»

«Поздравляю, — сказал я. — Вот ты где приземлилась.»

«Да, — она передёрнула голыми плечами, — а ты думал, где?»

Я было хотел возразить, она перебила меня.

«Это я у тебя хочу спросить, как это ты, друг милый, очутился в борделе! А впрочем, почему бы и нет.»

Я молчал.

«Ты зачем пришёл, — если по делу, то давай, снимай штаны. А если хочешь опять выяснять отношения, то извини, у меня свободного времени нет. Ну?» — и она сбросила одеяло, бесстыдно развела ноги. Стиснув зубы, чувствуя, как всё во мне закипает, я оглядывал мою жену с головы до ног, с ног до головы. Кстати — она прекрасно сохранилась.

«Не хочешь, как хочешь. Брезгуешь, что ли? — Повела бровью и натянула одеяло на живот. — Небось, денег жалко. Я тебя знаю. Ты всегда был суперядем.»

Я стоял и смотрел на неё.

«Наверно, полным импотентом стал, чего ж тогда притащился... А, понимаю: поэтому и пришёл. Ну давай, я тебе помогу. Снимай тряпьё, живо. У-у, беденький, — запела она. — Миленький. Такой одинокий. Иди ко мне, иди к маме.»

«Ах ты, сука». Я произнёс это почти вполголоса.

Она прищурилась. «Что я слышу? Такой воспитанный, тихоня, и вдруг такие выражения, айяйяй...»

«Дрянь, подстилка! — закричал я. — Я тебя проучу! А ну, поднимайся!» Я подбежал к постели и схватил её за руку.

По-видимому, она испугалась, что-то залепетала.

Я подобрал что там лежало на кривоногом пуфике и швырнул ей.

«Одевайся, блядища...»

«Куда, куда?» — лепетала она.

«Домой, — сказал я зловеще. — Там поговорим...»

«Послушайте, — пробормотал я, — ведь этого не может быть.»

«Почему же, — возразил владелец бюро. — Такие случаи известны.»

«Вы хотите сказать: это болезнь?»

«Я не медик. Но иногда трудно провести границу между заболеванием и... и обогащением, если хотите.»

«Что вы имеете в виду?»

«Две индивидуальности. Разные судьбы. Вместо того, чтобы вести тусклое существование обыкновенного, заурядного человека, жить монотонной жизнью в своём единственном “я”, словно в клетке, надоест самому себе...».

«Вы хотите сказать...»

«Да. Именно это я и хочу сказать. — Мы вышли из кабинета. Со стула поднялась деревянная секретарша, уступая место шефу. — Сидите, — сказал он, — я провожу г-на N до машины.»

«Прошлый раз мне повезло, я нашёл местечко для парковки перед самым домом», — сказал я.

«Я провожу вас».

Он продолжал:

«Вы можете гордиться. Жить двумя жизнями, носить в своём теле двух разных людей — это доступно лишь особым, избранным натурам. Вы скажете, что они не знают друг о друге, какое же тут преимущество. Я отвечу: огромное. Человек принимает своё второе „я“ за постороннего. И, может быть, к лучшему. Так удобнее. Своего рода приспособительный механизм психики. Впрочем, я не специалист».

Мы вышли из подъезда и зашагали к площади, где мне пришлось оставить машину.

«Я думаю, вы сами ещё не осознали, что всё это значит. Оба ваших „я“ видят мир по-разному. Оба живут в неодинаковом времени. Сколько у вас комнат?»

«Две, — сказал я, — гостиная и спальня».

«Прекрасно. Так вот, представьте себе, что в обеих комнатах вашей квартиры висят часы, которые показывают разное время, но при этом и те, и другие идут правильно».

«В какой же из двух мы с вами находимся? С кем вы сейчас разговариваете?» — спросил я, стараясь выдержать шутливый тон.

«Вам лучше знать. Но, думаю, с тем, кто проводит вечера у себя дома, а не с тем, кто пустился на поиски своей бывшей жены и так невежливо обошёлся с ней, найдя её в публичном доме».

Странная мысль мелькнула у меня в голове, и я спросил:

«А что если наоборот?»

«То есть, это вы, измучившись одиночеством и бессонницей, отправились её искать, а он, другой, так и сидит в своей берлоге? Что ж, получается история со счастливым концом».

«Послушайте... — проговорил я, глядя по сторонам. — А где же она?»

«Супруга?»

«Да нет же. Моя машина! Она стояла на этом месте».

«Гм, — пожал плечами директор, — вероятно, на ней уехал тот, другой».

«Но ведь логически рассуждая, у него должна быть и другая машина!»

«Не думаю. Вы живёте в одном теле и в одной и той же квартире. У вас общая машина и общая жена. Логично, не правда ли? Всего доброго, — сказал Икс Игрек. — Вы получите счёт в ближайшие дни».

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЕДАНГ

Там, за далью непогоды...
Н.М. Языков

I. Доклад

Господа!

Выступая перед столь серьёзной аудиторией, я сознаю, что моя первейшая обязанность — изложить факты.

Но мне трудно обойтись без личных интонаций.

Надеюсь, вы меня поймёте.

Я всегда считал себя кабинетным отшельником, l'homme sédentaire¹, — да и был им, — и вот пришлось совершить это путешествие. Напомню вам место из одной книги Элиаса Канетти — был такой писатель. Он говорит о национальных символах; так он их называет. У немцев это лес, у французов революция, у англичан палуба корабля, у испанцев бой тореро с быком и так далее. Наше отечество, если не ошибаюсь, в этой книжке не упоминается, но и у нас есть наш исконный, неизменный национальный символ: это — дорога. Путь-дороженька, по которой бредут калики перехожие, по которой бежит почтовая тройка, по которой можно ехать целыми днями, забыв обо всём на свете, ехать, ехать — и всё это будет Россия.

Но оставим поэзию; всякий, кому случалось отправиться в глубинку, поймёт, что я имею в виду, говоря о долгих часах в пути, о чувстве какой-то роковой неизбежности, о невыразимой дорожной тоске. Сменив тройку с колокольцами на автомобиль, мы мало что выиграли, если не проиграли. Хорошо ещё, что я догадался запастись брезентовым армяком и сапогами. Едва только мы свернули на грунтовую дорогу, как машина заскользила в колеях, запрыгала на ухабах. Полил дождь. Переживал ли кто-нибудь из вас дождь на разбитых дорогах Срединной России? Приходилось ли вам трястись в кузове грузовика, прислонясь к заднику заляпанной грязью кабины, где водитель, рядом с другим попутчиком, отчаянно крутит баранку, вперяется в смотровое стекло, по которому, в потоках дождя, словно маятник, мотается дворник-стеклоочиститель? В конце концов мы застряли всерьёз, мотор ревел, задние колёса крутились, разбрызгивая грязь, и с каждым рывком всё глубже уходили в трясины. Пришлось топтать пешком, искать трактор в соседних деревнях.

Так протащились мы ещё километров пятьдесят, может быть, больше, впереди были сотни вёрст. Вот ещё одно удивительное свойство нашего об-

¹ Букв.: сидячим человеком (*фр.*).

ширного государства: чем дальше вы продвигаетесь вглубь, — словно опускаясь в воронку, — тем всё вокруг становится глуше, всё меньше встречаемых, все реже и скудней человеческое жильё. Сердцевина страны безлюдна.

Дождь кончился. Под вечер выглянуло медно-оранжевое солнце. На пригорках тусклым золотом отливали стволы сосен. Надо было подумать о ночёвке.

Я помахал рукой шофёру и двинулся с рюкзаком за плечами вдоль единственной деревенской улицы, имея крайне приблизительное представление о том, в какой части света я нахожусь. Стучался в ворота, поднимался на крылечки, заглядывал в окошки, залитые закатным огнём, — никого не видно, никто не откликается. Дойдя до околицы, повернул назад. Старая женщина в лохмотьях шла навстречу, вела упирающуюся козу на верёвке, привязанной к рогам. Две живых души, может быть, единственные во всей округе. Она одиноко жила в доме на краю деревни.

Я с наслаждением растянулся на большой кровати (хозяйка улеглась на печке), завернулся в тряпье, и сон, подобный смерти, накрыл меня чёрным саваном. Сколько-то времени спустя постояльца разбудил стук ходиков, скрип половиц; в темноте старуха бродила по избе; я спросил, который час, и услышал в ответ её бормотанье. «Почему вы не спите?» Она ответила, что никогда не спит. Что же она делает ночью? А ничего.

Я встал и вышел за нуждой; ночь была ясная и холодная. Снова натянул на себя ветхое одеяло и уже не мог понять, сплю я или не сплю, ночь казалась очень длинной, стучали ходики, время двигалось толчками; внезапно я услышал шаги — старая хозяйка опять принялась бродить. Белое привидение остановилось посреди горницы, но это была не хозяйка. Вот так новость, подумал я. Девочка или девушка, с чёрными провалами глаз, с тенью внизу живота. Я не успел её поманить, как она сама приблизилась и присела на кровать у меня в ногах.

Утром я сидел за дощатым столом, пил козье молоко и беседовал с хозяйкой, которая на все вопросы отвечала односложно, словно разучилась говорить. Я пытался выяснить, как мне двигаться дальше. Тут раздался шаг в сенях, застонали дверные петли, в избу вступил, нагнув голову под притолокой, парень в сапогах и замасленной телогрейке. Самое замечательное в наших краях то, что при общем развале всё как-то устраивается, ничего нет, и всё есть, откуда-то всё берётся: и провиант, и нужные вам люди, и средства передвижения. Тракторист оказался весьма кстати, и вообще всё сложилось как нельзя лучше. Стояла прекрасная погода. Дошли до машинотракторной станции, там нашёлся попутный грузовик. Я уселся наверху среди мешков с льяным семенем. Одному Богу известно, кто здесь возделывал лён.

Отмечу кстати, что, с кем бы ни приходилось встретиться по пути, никто не спрашивал меня о цели моей поездки: должно быть, люди считали, раз я сам помалкиваю, значит, нечего и выпытывать. Но что я мог бы ответить? Мне никто бы не поверил, если бы я сказал; пожалуй, приняли бы за сумасшедшего.

Пошла уже вторая неделя моего путешествия, накануне мне повезло: я остановился в большом, некогда богатом селе — избы из массивных почернелых брёвен, на высоких подклетьях, где прежде помещались амбары; на

главной улице почта, клуб, всё ещё сохранившийся сельсовет и Дом крестьянина, где за скромную плату удалось получить койку. Было уже довольно поздно, я ждал, когда придёт дежурная; последовало разглядыванье моего паспорта, заполнение анкеты; наконец, меня провели в тускло освещённый, сплошь уставленный койками зал, всё это громко храпело, чмокало, постанывало во сне, — что снилось людям? Я думаю, им снилось всё то же самое.

Расплатившись, я попытался навести справки; по моим предположениям, оставалось уже недалеко; и, хотя конкретно ничего узнать не удалось, — дежурная в Доме крестьянина была новым человеком в округе, другие сообщали разные, отчасти фантастические и противоречащие друг другу сведения, — я, по крайней мере, понял, в какую сторону мне надо направиться. Должно быть, оставалось каких-нибудь десять-двенадцать километров. Я шагал с палкой и отощавшим рюкзаком по лесной дороге в самом лучшем настроении, пели птицы, сиреневое небо между верхушками сосен постепенно теплело, голубело, во мхах и травах на полянах сверкали цветные искры росы. Откуда-то издалека донёсся звук, похожий на зов охотничьего рога, какие тут могут быть охотники, подумал я, всё это принадлежало далёким романтическим временам. Пронёсся ветер. Никто не попался мне навстречу, сперва на дороге были видны следы колёс и копыт, кто-то куда-то ехал на телеге, потом верхом, не доехал и повернул назад. Узкая тропа медленно спускалась в ложину. На дне лежал мёртвый лось, полурастерзанный, с пустыми глазницами, с лопатообразными рогами, белыми от птичьего помёта, тучи пернатых взвились над ним. Вокруг стояли вековые тёмные ели, местами густой колючий подлесок мешал пройти.

...Я объяснил, кто я такой. Но прежде надо всё-таки досказать в двух словах, как я добрался до места. Да, господа, невероятно, но факт: я всё-таки побывал там, — я, тот, кто стоит сейчас перед вами. Теперь я спрашиваю себя, почему я там не остался. Лес поредел, солнце стояло уже совсем высоко, я брёл вверх и наискось по склону, и вот впереди на открывшейся равнине завиднелось что-то, блестели стёкла, обозначились стены, на башне под слабым ветром веял и трепыхался флаг. Не скажу, чтобы я был разочарован, но всё-таки представлял себе здание выше и помпезней. Внутри, как это часто бывает, оно оказалось обширней.

Дорога изнурила меня, коснеющим языком я пролепетал несколько слов — объяснил, как уже сказано, кто я и зачем прибыл. Девушка за стойкой сняла телефонную трубку, поглядывала на меня, на мой одичалый вид; я не слышал, что она говорила, упал в кресло и тут же в вестибюле уснул, словно мореплаватель с затонувшего корабля, добравшись вплавь до берега.

Несколько времени спустя я был препровождён в помещение для приезжих, смог, наконец, побриться, принять душ, выспаться. В пустынном зале я сидел за завтраком, подошёл человек и скромно отрекомендовался: это был экскурсовод. Собственно, прежде чем отправиться по залам (я был единственным гостем), мне хотелось прозондировать почву касательно некоторых экземпляров, которые я надеялся здесь приобрести. Гид заверил меня, что у нас ещё будет возможность об этом поговорить, ведь я никуда не тороплюсь, не так ли, — и предложил начать с осмотра музейных коллекций.

Из его объяснений было видно, что он хорошо знает своё дело; я едва удержался от желания спросить, не является ли он сам коллекционером. Думаю, что и у него вертелся на языке тот же вопрос. Во всяком случае, он довольно скоро понял, что имеет дело не с торговцем.

Мы остановились перед знаменитой двадцатипятифунтовой Северной Нигерией с портретом короля Эдуарда VII. Экскурсовод сообщил, что ныне известно восемь негашёных экземпляров (о некоторых владельцах я знал), здесь я увидел девятый. Лет пятнадцать тому назад один такой экземпляр был продан — если не ошибаюсь, на аукционе в Нью-Джерси — за 23 тысячи долларов; ныне марка оценивается вдвое, а то и втрое дороже. Вообще здесь можно было увидеть сокровища, ради которых стоило проделать такой долгий и трудный путь. Упомяну, к примеру, полную серию траурных марок СССР 1924 года с зубцами, весьма редких, в отличие от марок с Лениным без зубцов. Упомяну неплохо сохранившиеся Маршалльские острова кануна Первой мировой войны; серию крупноформатных марок Баварского королевства с профилем принца-регента — не слишком дороую, но я её очень люблю.

Мы углубились в интереснейшую беседу о календарных и специальных штемпелях, клеях и сортах бумаги, способах гашения, водяных знаках и надпечатках. «А что вы скажете об этой серии», — говорил время от времени мой вожатый. «А как вам нравится вот это?» — и он подвёл меня к невзрачной на вид марке с гербом Стеллаленда, мало кто помнит, где находилась эта колония, выпуск 1885 года, с надпечаткой «twee» ручным штампом. Никаких дефектов, отличные зубцы, одним словом, одна из лучших дошедших до наших дней. Я отнёсся к ней довольно прохладно. Весьма незаурядный экземпляр, но ведь не Бог весть что, — марка была выпущена большим тиражом, считать её редкой, извините... «А вы приглядитесь». Он опустил над витриной большую круглую линзу, прибавил подсветку. Я взглянул и ахнул...

Господа, я напому вам случай, обошедший всю филателистическую печать; о нём сообщали крупные газеты, не говоря уже о специальных изданиях. «L'Echo de la Timbrologie» поместило подробный отчёт о судебных заседаниях. Не буду называть имя подсудимого, возможно, он ещё жив. Это был высокоталантливый художник-копиист.

Вы согласитесь со мной, что коллекционирование фальсификатов есть занятие столь же традиционное, столь же достойное и заслуживающее такого же уважения, а в иных случаях и восхищения, как и собирание подлинников. В некотором высшем смысле поддельный раритет равноправен подлинному, — если не оказывается ещё выше. Ибо в данном случае имитация превзошла подлинник. Роли переменялись: настоящим, редчайшим и поистине драгоценным образцом оказалась подделка.

Как я уже сказал, марка известна во многих экземплярах, ценность её относительно невелика. Во много раз дороже подделка — довольно небрежная, почему она и была тотчас разоблачена, но выполненная в единственном экземпляре. И вот этот экземпляр находился передо мной. Нет, не этот;

в том-то и дело, что не этот. То, что показал мне экскурсовод, было искуснейшим подлогом — изумительной по степени сходства имитацией. Но не малоценного подлинника, нет, а подделкой поддельного экземпляра. Мастер продал её за огромную сумму.

Мне остаётся добавить, что и этот подлог был в конце концов разоблачён, художник привлечён к суду. Но что было делать? Закон преследует фальсификацию государственных знаков почтовой оплаты, но не фальсификатов. Судья вынес оправдательный приговор.

Перехожу к главному, — вы поймёте, почему я заговорил об идеальном мире имитаций. Я думал, что экскурсия закончена. Однако дворец был вместительней, чем казался снаружи. Гид вёл меня дальше, по коридорам, коротким лестницам, мимо дверей неизвестного назначения, в другое крыло. Там находился отдельный зал почтовых марок и марок гербового сбора, открыток с напечатанными марками, наклейки и ярлычков, франкированных телеграмм, конвертов, конволют и прочего, украшенный геральдическими орлами, под сенью свисающих с потолка трёхцветных знамён. Зал Объединённого Западно-Восточного Королевства Зеданг.

Допускаю, что те из вас, кто специально коллекционирует Зеданг, информированы лучше меня. Но и мне кое-что известно об этой стране, куда никто ещё не мог добраться. Мы двигались вдоль витрин. Изумительная по красоте художественного и литографического исполнения серия «Гиббоны и облака», естественно, занимала здесь одно из почётных мест. Полностью всю серию — 12 марок — мне приходилось видеть только в каталоге Гизевиуса, в V томе. Я остановился, ошеломлённый, зачарованный, как останавливаются перед Джокондой, как застывают перед Афродитой Книдской. Экскурсовод скромно ждал. От гиббонов мы перешли к портретным сериям монархов. Моё внимание привлёк последний выпуск, с этой серией я ещё не был знаком, — после чего перешли в соседний демонстрационный зал.

В мягком сумраке я опустился в кресло, испытывая блаженную усталость. Опустились и мои веки. Я вздрогнул и очнулся. В глубине большого стереоскопического экрана, в рамке с зубцами, неприметно меняя цвета, появились, приблизились, осветились номиналы, название государства, поясной, влоборота портрет Его Величества. За этой серией последовала пейзажная, тоже недавнего выпуска и мне ещё неизвестная; и вот, вынужден признаться, она-то и повергла меня в особое и немалое недоумение.

Дело в том, что Зеданг расположен, как вы знаете, в субтропиках, к северу от тропика Рака и южнее 37 параллели. Так, по крайней мере, считалось до сих пор. Между тем ландшафт на экране напоминал что-то совсем другое. Что же именно? Вы не поверите. Чем дольше я вглядывался, тем яснее видел перед собой всё ту же Тверскую область, а может, Владимирскую или, пожалуй, Калужскую. Подожмите, сказал я, не переключайте... Никто не собирался переключать. Да, я увидел всё то же и вместе с тем, как бы это сказать, не совсем то. Это была таинственная, затягивающая красота. Косо из левого нижнего угла почтовую марку — пожелтые поля — пересекала дорога. Клянусь, эта была та же самая дорога, по которой я ехал две недели тому назад. Я даже старался разглядеть грузовик, ныряющий в колеях; но

никакого грузовика не нашёл. Вдали виднелась деревня. Кромка леса на горизонте, и над всем спокойное, голубовато-серое, жемчужное небо. Тихая музыка в зале, где мы были только вдвоём, тоже кого-то напомнила: Римского-Корсакова, немножко Танеева. А может быть, давнишнюю, из времён детства, Первую симфонию Василия Сергеевича Калинникова.

«Послушайте, вы... — пробормотал я, — вы что, меня морочите?»

Он, наконец, переключил: снова, во весь экран, марка с портретом монарха. Я повернул голову, экскурсовод сидел с непроницаемым выражением. Будьте добры, повернитесь, сказал я.

«Почему вас это удивляет? — спросил король. — Да, конечно. Но не могу же я, — он кивнул на экран, — надевать всё это каждый день...»

«Кстати, — промолвил он после паузы, — известна ли вам этимология слова “Зеданг”? Филателисту следовало бы это знать... Загляните как-нибудь в словарь. Самый обычный русский этимологический словарь».

«Ваше Величество, — лепетал я, — мне... я... Мне так неловко».

«Ничего, ничего. Я ведь не представился. Точнее, вы не были нам представлены. Мы хотели поближе познакомиться вас с моей страной».

«Да, но ведь её не существует!»

«М-м, как вам сказать... Это ведь и ваша страна в известном смысле. Но дело в том, что... Одним словом, я обязан вас предупредить».

Я уставился на него с видом полной покорности. Венценосец сказал:

«Вопрос о реальности нерелевантен. Аппаратура позволяет посетить Зеданг. Демонстрация далеко не окончена, но вы, собственно, уже вступили туда, экран больше не нужен. Однако путешествие в королевство должно быть ограничено весьма коротким сроком. Рассматривайте себя как эмигранта, посетившего родные места. Вам не захочется возвращаться. Вы не первый, кто приехал погостить и остался навсегда. Эта страна затягивает. Вы почувствуете себя на родине, вас подстерегает та же опасность».

Господа! мне удалось вернуться. Хоть и с трудом.

II. Гиббоны и облака

Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной дороги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всём участке вплоть до Голутвина никто отродясь не видел контролёров. Тем не менее однажды вечером, в десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного государства.

Произошло это так: в ответ на вопрос контролёра пассажир, улыбаясь, помотал головой и развёл руками. Подошёл второй контролёр, женщина. Поезд нёсся мимо тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы вагона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролёр показывал пассажиру сложенные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного формата в дерматиновой обложке с гербом и короной. Контролёр развернул диковинный

паспорт, как ребёнок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядывала через плечо. Контролёр попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.

Иностранный гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где был встречен местным милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица побежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и чесал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей стране. С некоторым остолением присутствующие разглядывали фотографию владельца, который был представлен во весь рост, в лазоревом мундире с золотым шитьём и орденами, на фоне пальм.

Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, оттуда последовали неопределённые указания, видимо, там тоже не слышали о новом государстве, освободившемся от ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, было в газетах: советско-zedангские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы поставить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с органами. Пускай уж там, выше, сами разбираются, наше дело, сказал начальник станции, доложить.

Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, невзирая на поздний час, посольство. По указанию начальника старшина ввёл иностранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе был внесён скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаровательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил глоток и стал крутить телефонный диск.

Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провёл на кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник сидел в своём кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он рассказывает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задребезжал телефон, голос с иностранным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.

Зелёная луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, послышалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только одно ответственное лицо, но зато какое! Военный атташе собственной персоной, с бахромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напоминал швейцара в каком-нибудь шикарном

отеле. Ко всеобщей радости оказалось, что атташе превосходно владеет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.

Дрезина, как только высокий гость сошёл на платформу, сама собой тронулась и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зелёный сигнал на красный.

В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трёхзвёздный армянский коньяк, лимон, нарезанный ломтиками, явилась селёдочка, проплыла мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на жидких волосах уборщица Степанида или Аглаида, история не сохранила её точного имени, — с огромной сковородой, на которой журчала глазунья с салом. Под звон стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и их вождей: Генерального секретаря КПСС и Его Величества революционного короля Али-Баба Зеданга Мудрого, а также Его Высочества революционного наследного принца Али-Баба Мухамеда Зеданга, Ещё Более Мудрого. Как это, ещё более? А вот так: каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет Ещё Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» — вскричал военный атташе. Начальник рассыпался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошёл в кабинет. Пир продолжался втроём и оставил по себе самые лучшие воспоминания.

Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанского вокзала, причём атташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся коробке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин королевства Зеданг мурлыкал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину, словно бадью из колодца, будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомкнул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме коммунальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь на защёлку, задвинул задвижку и — уф! — плюхнулся на диван.

Мундир с регалиями висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, что он не нов. На старом костяном роге — возможно, это был рог единорога — раскачивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», — зевая проговорил экс-атташе. — «Успеется; работа не волк». — «А ты, — сказал атташе, — когда-нибудь доиграешься». В ответ коллекционер махнул рукой. — «Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Думаешь, они не догадались?» — «Зачем им догадываться?» — возразил хозяин.

Он был прав: в самом деле, зачем? И ещё много лет спустя начальник станции рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.

В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пузырился желудёвый кофе. Над продавленным диванным ложем штабеля альбомов в массивных переплётах грозили обрушиться вместе с

полкой. На почернелом от городской копоти подоконнике стоял аппарат для рассматривания водяных знаков. Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, выполненной в точном соответствии с изображениями на марках. Она обошлась ему в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филателист был нищ, как всякий обладатель сокровищ.

«Ну, я пошёл», — пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер за ним дверь.

Он рассматривал через увеличительное стекло добычу, ради которой было предпринято путешествие в Голутвин, к собрату, доживающему там свои дни. Три недостающих экземпляра. Теперь у филателиста были все двенадцать марок — полная серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Голубошерстные гиббоны, которым была посвящена серия, принадлежали к виду, не известному за пределами сказочных нагорий Зеданга.

Нелишне будет заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то мнимые грамоты, имитации редких монет, знаков военной доблести или знаков почтовой оплаты, есть занятие столь же легитимное, как и собирание подлинников. Существуют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с которыми оригинал выглядит беспомощным подражанием. Вышедшая из рук высокоодарённого мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама превращается в оригинал и, в свою очередь, может быть подделана. Но своей вершины искусство изготовления фальсификатов достигает в подделывании *несуществующих подлинников*.

Большая, во всю стену карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье филателиста, убеждала в том, что эпоха великих географических открытий не закончилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в нагорьях Юго-Восточной Азии и на островах тёплых морей, страна, где не существует смены времён, где царит вечное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии, там были отпечатаны карты и прочее; особый успех выпал на долю почтовых знаков: за короткое время цена их удвоилась. Уже в начале века известный каталог Гизевюса поместил их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и эта история со временем превратилась в легенду или, лучше сказать, стала малозначительным эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы многое рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске и коварстве его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию кухне.

Магия крошечного цветного квадратика завладела собирателем, словно он выглянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубоватой шерстью животных на разогретой солнцем каменистой тропе.

ОТКУДА ТЫ, ПРЕКРАСНОЕ ДИТЯ

Это было в те времена, когда я ещё не оставил свою профессию в угоду сомнительному ремеслу сочинителя и мог бы рассказать эту историю без художественных красот, проще и ближе к действительности. Но с годами представления наши о действительности меняются, и, может быть, следует согласиться с Прустом, что наша жизнь остаётся малопонятной до тех пор, пока её не высветлит литература.

Будем всё же держаться фактов и для начала уточним географию. В двухстах шестидесяти километрах от Москвы, в бывшей Калининской, а ныне снова Тверской области находился старинный город Торжок; я говорю: находился, хотя, разумеется, он существует по сей день. Торжок был резиденцией моего начальства. Отсюда на запад по Кувшиновскому тракту надо проехать километров тридцать, свернуть влево на просёлок, и часа через полтора вы доберётесь до села с красивым названием Спасское-Девичье. Легенда о том, что однажды здесь, под вековым дубом объявилась икона Нерукотворного Спаса, прочно забыта. От монастыря ничего не осталось.

Во времена эпидемий сельские больницы строились в стороне от населённых пунктов. Моя участковая лечебница была основана местной земской управой в чеховские времена и находилась в полутора километрах от села.

Русский человек, как известно, не шадит родную природу, и всё же многовековые усилия истребить леса и обезобразить ландшафты не смогли уничтожить красоту наших мест: это был тихий, лесной, ягодный и грибной край, где водились кабаны и лоси, где на повороте узкой дороги, мощённой бульжником, поздними вечерами, когда я возвращался из города, меня встречала замороженная светом фар лиса. Меньше чем в получасе езды от больницы расположено безымянное озеро, глубокое, чистое до прозрачности; несколько ручьёв питают его. В хорошую погоду я приезжал сюда ловить раков. В этот раз, однако, пришлось ехать по другому поводу.

Дни мои проходили довольно однообразно. До обеда я был занят в отделениях — общем, родильном и так называемом заразном бараке, который чаще служил приютом для бездомных слабоумных старух; в послеобеденные часы принимал больных в амбулатории, вечером читал, слушал радио или сидел над листом бумаги — первые симптомы литературной болезни уже тогда давали о себе знать; впрочем, ничего серьёзного.

Иногда меня поднимали ночью; я вставал, стараясь не разбудить мою подругу, шёл осматривать больного, привезённого издалека, потом возвращался и спал до утра. Приходилось мне ездить и по деревням. Помню, од-

нажды я вёз к себе в больницу четырёхлетнего мальчика, больного астмой, и застрял в снегу, прошло несколько часов, покада к нам не добрался тягач с тракторной станцией, и всё это время малыш проспал у меня на коленях. Но мы отвлеклись.

Итак, часа в три пополудни мне позвонили по телефону. Я находился в амбулатории. Несколько неотложных случаев поручил старшей сестре, остальным было сказано, что на сегодня приём окончен. Старый военный фургон с красными крестами на стёклах выехал на опушку леса, я подбежал со своим чемоданчиком к берегу, где стояла кучка деревенских жителей. Утопленница лежала на траве у самой воды.

На вид ей было лет семнадцать. Платье облепило её тело. Люди смотрели на меня в ожидании чуда. Стоя на коленях, я делал то, что полагается, ввёл сердечные препараты, разрезал платье, сжимал толчками грудную клетку, дышал из рта в рот, сводил и разводил бессильные руки. Было ясно, что время для оживления упущено. Пульса не было, губы посинели, она была бледна и холодна. Я велел отнести труп в машину.

На другой день приехал из города милицейский «газик». Я уже знал, что случилось: довольно обычная история. Самоубийца была дочерью учительницы. Парень из той же деревни, жених, вернулся из армии, пьянствовал, пробыл недолго и уехал, не взяв её с собой.

Морг стоял на задворках больницы — домик-избушка на курьих ножках, с железной печкой, с окном, смотревшим в лес. Здесь я производил патологоанатомические вскрытия. Но случай подлежал экспертизе в центральной районной больнице. Я отомкнул висячий замок, мы вошли внутрь. Я откинул простыню. Девушка лежала на каменном столе с выражением спокойного довольства на лице. На этом следователь посчитал свою задачу выполненной; мы направились в мой кабинет, обычно пустующий, к нам присоединился сержант милиции; выпили, закусили на помин души. После чего сержант сел за руль, машина выпустила клуб газа и заколыхалась, увозя следователя и мёртвое тело. А ночью полил дождь.

И назавтра весь день шёл дождь, и всю следующую ночь журчало и шелестело за окнами. Под вечер выглянуло из-под туч жёлтое слепящее солнце. Дорога раскисла, я был вынужден отложить ещё на один день поездку в деревню, где проживала молодая женщина с запущенным раком яичника; я посещал её раз в неделю, чтобы выпустить жидкость из живота. Каждый раз, встречая меня, она говорила, что ей стало лучше. Больную усадили на стул и подставили таз. Закончив процедуру, я побыл с ней ещё немного, поговорил с матерью. Мне хотелось, пользуясь случаем, повидать учительницу средней школы. Её дом находился в этой же деревне, школа — в Спасском.

Молча, в чёрном платке, как у монахини, отведя взгляд, хозяйка впустила меня в дом. В чистой горнице за столом сидел осанистый мужчина лет пятидесяти, полный, лысоватый, в пиджаке и галстук, — школьный завуч по имени Андрей Макарович. Узнав о том, что я врач, он отвернулся и стал смотреть в окно. Меня знала вся округа. Он сделал вид, что мы незнакомы.

Было воскресенье. Похороны назначены на вторник. За телом нужно ехать в город; я предложил мою машину. Учительница кивнула, наступило молчание. Очевидно, мой визит был понят как желание загладить свою вину. Я не сумел спасти девочку. Они понимали, что ничего сделать было невозможно, но кто-то должен был отвечать, им хотелось взвалить вину на врача. Но и меня не вполне понятным образом тревожила совесть.

Я почувствовал себя нежеланным гостем, кое-как выразил моё соболезнование и хотел уйти, учительница остановила меня. Из вежливости что-то пробормотал и её гость. Явилось угощение. За столом обменивались вялыми репликами, мужчины выпили по стопке, хозяйка примостилась сбоку, не притрагиваясь к еде. Завуч тяжело поднялся. Проводив его, она вернулась и села на его место.

Мы задумались, а может быть, прислушивались. Мне показалось, что кто-то взойшёл на крыльцо, вытирает ноги в сенях. К вам идут, сказал я. Хозяйка не откликнулась. И тут в комнату вошла дочь и присела на место, где прежде сидела мать.

Мы притворились, что ничего не заметили.

Надо было сказать что-нибудь, нарушить молчание, и я заговорил, довольно бестактно, — опять же это могло быть истолковано как попытка оправдаться, — о том, что нужно было сразу, не дожидаясь врача, приступить к искусственному дыханию. Учительница молчала. Слишком поздно, сказал я. Она вяло возразила: кое-что пытались сделать, пока кто-то бегал звонить в больницу.

Я не стал спрашивать, как узнали о том, что девочка бросилась в озеро, кто её вытащил. Меня интересовало, кто такой этот парень.

«Мой ученик. Года на два старше Людмилы. Она ждала его».

Поколебавшись, я спросил: известны ли ей результаты вскрытия?

«Какие могут быть результаты». Она пожалала плечами.

«Марья Фёдоровна, — сказал я, — простите, что я вам досаждаю... Вы можете быть уверены, что этот разговор останется между нами».

Она слегка повела бровью. Дочь не сводила с неё глаз.

«Солдатам, — продолжал я, — разрешают приезжать домой на побывку».

«Разрешают, ну и что».

«А то, что... видите ли. Ваша дочь была беременна».

«Вот как», — промолвила она спокойно и провела пальцем по краю стола, где всё ещё стояли тарелки и рюмки.

«На четырнадцатой-пятнадцатой неделе. Вы об этом знали?»

Учительница подтянула концы чёрного платка, поджав губы, выжидательно — что я ещё скажу? — поглядывала на меня.

«Я хотел спросить. Он к вам приезжал? Я имею в виду — раньше, до истечения срока службы».

«Год назад приезжал, а так только письма друг другу писали».

«Выходит, у неё был другой?»

Марья Фёдоровна усмехнулась.

«Вы, доктор, я вижу, очень догадливы».

«И... вам известно, кто был этот другой?»

«Мне? Ещё как известно».

Я ждал продолжения, она поднялась, чтобы убрать посуду, подошла к стенным часам-ходикам и подтянула гирьку.

«Вас, наверно, ждут в больнице», — сказала она.

Рядом с часами висел отрывной календарь, висела фотография.

«Это мой муж. А ей здесь годик. Он нас бросил».

Стол освободился, учительница села, спустила платок на плечи, встряхнула короткими волосами, взглянула на меня — спокойно и ясно. Дочь сидела между нами, мы оба чувствовали её присутствие.

«Так вы, стало быть, хотите узнать, кто это был? Андрей Макарыч, вот кто».

Я поднял брови.

«Вам небось уже успели доложить, что у нас с Андреем Макарычем... ну, что я с ним живу. (Я помотал головой.) Ну, не доложили, так доложат. А вот о том, что было между ними, думаю, никто не знает, вы первый».

И она покосилась на гостью, — неподвижный взгляд дочери блестел, как рыба чешуя, — и стало ясно, что всё, что тут говорится, говорится не для меня. Не со мной она разговаривала, а с той, которую привезут хорошо завтра.

«Я Андрея Макарыча не виню. Он меня любит. Но ведь, знаете, не в обиду вам будь сказано, мужчина остаётся мужчиной. Мне сорок пять. Она молодая. Она мне сама рассказала. Не постыдилась. За спиной у матери. Что он будто бы ей признался, и что жить без неё не может, и всё такое. А я вам скажу, как на духу: это она сама. Она его завлекла! Мужика сманить, вы меня извините, проще простого, да ещё когда ты молоденькая да такая смазливая. А потом ещё стала выхваляться передо мной, да, выхваляться, гордиться, вот я, дескать, какая. И доигралась».

Значит, всё-таки мать об этом узнала. Между двумя женщинами произошло объяснение. Должно быть, начались тяжёлые сцены. Чего доброго, после одной из таких сцен она и побежала топиться.

Я спросил, знал ли Андрей Макарович.

«Что она в положении? Знал, а как же. Сам мне повинился. Я говорю: ну раз такое дело, разводишься с женой, женись на Люське. А у самой сердце кровью обливается. Как же, думаю, я останусь одна. Слава Богу, — сказала Марья Фёдоровна, остро взглянула на соперницу и снова набросила на волосы чёрный плат. — Слава Богу, он не захотел, нет, говорит, я тебя не брошу».

«Рад был, что я на него зла не держу. С женой я всё равно не живу, разведусь, и поженимся, так и сказал. И Людмиле, говорит, скажу. У неё жених есть, пускай за него и выходит».

Но ведь парень уехал, хотел я возразить, наверно, узнал. Теперь мы были одни в комнате, словно она во второй раз побежала к озеру. А как же собирались поступить с ребёнком? Аборт? Вопрос застыл у меня на губах. Несколько минут спустя я попрощался и вышел.

Вопросов было много. Я думал о том, что означало это слово: доигра-лась. Что связь с завучем, мужчиной втрое старше её, не обошлась без последствий? Или то, что дочь решила покончить с собой, и, дескать, так ей и надо? Испытывала ли мать укоры совести? Мне почудилось с трудом скрываемое злорадство. Молодая соперница перебежала дорогу. За это и поплатилась.

День померк, задумавшись, я ненароком свернул в сторону. Или... не совсем ненароком? Тут-то всё и началось: надо бы вернуться, а я всё еду и еду, светя фарами во тьме, пока лес не расступился и открылась чёрно-блестящая гладь. Но что, собственно, началось? Озеро было спокойно. На другой день, как было обещано, я послал свою машину в город. На похоро-нах не присутствовал.

И жизнь вернулась на свои колени. Я погрузился в рутину. Думаю, что спустя годы подробности выветрились бы из памяти, вряд ли я смог бы припомнить этот разговор с учительницей, если бы — да, если бы не события, которые последовали за этим. Само собой, в предположении, что они случились на самом деле, а не смешались каким-то образом с фантазией сочинителя. А главное — если бы не грызущее беспокойство, которое погнало меня к озеру тогда, после разговора с Марьей Фёдоровной, и с тех пор меня не отпускало. Что-то ворвалось в мою жизнь. Я смутно чуял угрозу. Таким бывает предчувствие смерти или крутой перемены.

Осень уже наступила, стояли тихие, ясные дни. Как-то раз ко мне постучались: обычное дело, кого-то привезли. Я жил в доме, где полвека назад обитал с семьёй земский врач, только теперь вместо жены и детей со мной коротала дни спутница тех лет, бывшая моя пациентка из местных, — женщина старше меня, строгая и работящая. Я прикрыл за собой дверь, вышел на крыльцо — была глубокая ночь — и направился в общий корпус. В приёмной на топчане лежал старик в валенках и тулупе, несмотря на тёплую погоду. Молодая баба, дочь или внучка, сидела рядом на табуретке. Больной был в сознании, но в ответ на вопросы мычал, лицо было слегка перекошено; я велел его раздеть, заранее зная, что правая рука и нога парализованы. Его перенесли в палату, я поставил капельницу. Внучка осталась возле него. Я стоял на крыльце. Над моей головой, как ртуть, сверкали звёзды. Мне расхотелось возвращаться к себе.

Я рулил по лесной дороге, фары освещали мой путь, выхватывая из темноты кусты и стволы деревьев, вдали за поворотом, в лучах света стояла моя красавица, с острой тёмно-блестящей мордочкой и пышным хвостом. Подъехав ближе, я затормозил, зверь неподвижно смотрел на меня искрами глаз. Затем взревел старый мотор, она прыгнула вбок и пропала.

Я вылез. Моя машина стояла на опушке, как в тот день, когда, выскочив из кабины, я бежал со своим чемоданчиком к берегу и люди молча расступились, пропуская меня к утопленнице. Неподвижно растилалась чёрная гладь, была такая тишина, что если бы за километр отсюда треснула ветка под ночной птицей, я бы, наверное, услышал. И точно, из чащи донёсся слабый шум. Чёрные крылья пронеслись низко над землёй, над тусклой поверхностью озера. В ответ заволновалась вода, побежали сереб-

ряные блики, и мёртвая женская голова показалась над поверхностью. Остолбенеv, я смотрел на неё и вместе с тем, как ни странно, догадывался, что я этого ждал.

Она отвела ладонью слипшиеся пряди волос от лунно-бледного лица с тёмными кругами глаз. Как на некоторых иконах, глаза были закрыты и в то же время открыты. Вода всё ещё колыхалась, утопленница не то плыла, не то стояла в воде.

Хриплым голосом я продекламировал:

«Невольно к этим грустным берегам...»

Она поднялась, очевидно, нащупав дно, стояла по пояс в воде, и как будто вслушивалась. Я прочистил горло.

«Меня влечёт неведомая сила. Вы в школе проходили, узнаёшь?»

Медленно, едва заметно она покачала головой.

«Не знать такие вещи. Ведь у тебя мать учительница!»

Она как будто кивнула и тотчас снова помотала головой.

«Имей в виду, — сказал я. — Мы, то есть я, тут абсолютно ни при чём».

Густой туман спускался над озером, близился рассвет, мотор рокотал, туман застлал фары, в пяти метрах от машины уже ничего не было видно.

Татьяна (моя сожительница) застала меня сидящим на ступеньках нашего дома, солнце только что показалось в сияющей мгле над кровлями больницы.

«Ты что же, не ложишься?»

Я пожал плечами.

«Привезли кого ночью?»

«Инсульт. Мозговой удар».

Больше ничего особенного не произошло, но за обедом, не удержавшись, она спросила:

«Ты куда это ездил ночью? Тебя снова вызывали?»

Я кивнул.

«Неправда. Мне Марьяша сказала». (Дежурная сестра.)

«Что она тебе сказала?»

«Сказала, что ты пошёл домой».

«Ну и что?»

«Ты от меня скрываешь».

Я надул щёки и выдохнул воздух в знак того, что я сыт. После чего, перед тем как идти на приём в амбулаторию, прилёг отдохнуть и тотчас увидел сон. Хотя и сознавал, что лежу полуодетый на нашей широкой кровати. Но вот это — что я лежу и слышу, как Таня ходит в соседней комнате, моет посуду, — это-то как раз и показалось мне сном, а может быть, приснилось на самом деле, потому что была ночь и за мной пришли, и я стоял в палате, пациент, переодетый в больничное бельё, дремал, левая щека отдувалась, правая рука и нога были недвижимы, и я знал, что нарушение кровообращения произошло в бассейне левой средней мозговой артерии. Сестра следила за капельницей, я вышел на крыльцо, ртутные звёзды сверкали в чёрной синеве, ковш Большой Медведицы стоял над лесом, всё ещё была глубокая ночь — спать и спать. И я поплёлся домой.

«Таня, — сказал я, чувствуя сильную тревогу, — Таня, просыпайся...» Она пробормотала: «Ложись». Я всё ещё стоял перед кроватью, излучавшей покой и тепло. Она, наконец, открыла глаза, спросила, что случилось. Почему я не ложусь? «Случилось», — ответил я, крутя баранку, вглядываясь в темноту сквозь стекло моего колыхающегося экипажа, фары выхватывали из мрака низко свисающие лапы столетних елей, дорога пошла вверх, теперь вокруг был редкий, чистый сосняк, и я уже различал в просветах леса оловянную гладь озера. Как же оно называлось?

Думая об этом, я сошёл с пригорка к кромке берега, тускло-серебряные круги пошли по воде, и бледная, вся в неверных тенях, утопленница поднялась из вод, тёмные орбиты глаз были обращены ко мне, темнели её соски. «Никак не могу вспомнить, — сказал я. — Как называется это озеро?» Мне показалось, что её губы зашевелились, но ответа я не расслышал, сел на траву, расшнуровал ботинки, снял носки, засучил брюки и вошёл в холодную воду, едва не поскользнувшись. Илистое дно уже через два-три шага круто шло вниз. «Не понял, — сказал я, — повтори», — и скорее догадался, чем услышал голос из воды: «Пора».

«Что?.. Куда?..»

«Тебе пора, — сказала Татьяна. — Чаю выпьешь?»

Входя в амбулаторию (не спеша, с важным видом, как положено врачу), я слышал плач детей, кашель стариков, народ терпеливо ждал. В кабинете меня ожидала сестра. Я уселся за стол, всё ещё плохо соображая, что было сновидением, что стало явью, провёл рукой по лицу и произнёс: «Приглашайте».

Вошла молодка с малышом на руках. Красное личико, свиный взгляд. Что же ты, мамаша, так запустила? «Парили, думали, пройдёт...»

Ubi pus, ibi incisio, учили древние, где гной, там сделай разрез. Сестричка стояла с лотком и скальпелем. Малыш лежал на плече у матери, я обрызгал хлорэтилом багровое вздувшееся пятно на попке, отчего кожа покрылась инеем, вскрыл флегмону и подставил лоток. Полился серо-жёлтый гной. Ребёнок орал благим матом. Работа пошла своим чередом.

Повторяю, всё это забылось бы, подёрнулось ряской, как всё в жизни, и кто знает, не сложилась бы моя жизнь совсем иначе, удержишься я тогда от соблазна. Легко сказать: удержишься! В конце концов, я трезвый человек, я получил естественнонаучное образование. В то же время я никак не мог допустить мысли (да и сейчас не могу), что в действительности всё могло быть наоборот, что не она, воскресшая утопленница, каким-то образом оставшись в своей стихии, стала причиной моего смятённого состояния, но тоска и бессонница породили призрак вод. Что такое, в конце концов, действительность? Нам кажется, что необъяснимое отступило от нас, как отступают под натиском цивилизации леса и воды, а между тем легенда нет-нет да и вторгается в наше существование. Вдруг является откуда ни возьмись икона Спаса и творит чудеса. Вдруг встаёт над водой голова русалки. Вдруг...

Упомяну ещё о некоторых происшествиях. Мои поездки в деревню к больной с асцитом — жидкостью в брюшной полости — продолжались, информация, можно сказать, была получена мною из первых рук. Завуч оста-

вил семью, переселился к учительнице — новая пища для толков и сплетен, для насмешек в школе. Любовникам пришлось уехать, поселиться временно в Торжке у родственников Андрея Макаровича.

В те времена считалось, что в нашей стране не может быть никаких катастроф: ни аварий, ни пожаров, ни землетрясений. Газеты ни о чём таком не сообщали, радио помалкивало. Всё обстояло наилучшим образом. О взрыве я узнал случайно, на совещании в Торжке.

Собрания эти, в сущности, совершенно ненужные, созывало время от времени начальство райздраотдела, чтобы показать высшим инстанциям, что оно руководит медициной в районе. Исчезни все эти учреждения, ничего бы не изменилось. В перерыве знакомый врач рассказывал о том, что случилось в областном центре. Один из больших жилых домов, построенных после войны немцами-военнопленными на проспекте Чайковского, взлетел на воздух из-за взрыва цистерны с газом в подвале. Был поздний час. Сбежалась толпа. Милицейские фары освещали огромную грудку щебня и кирпичей. Пожарные ковырялись в развалинах, искали пострадавших, улица была забита машинами скорой помощи, но спасать было некого. Погибло несколько прохожих, и погибли все жильцы. На другой день «Калининская правда» сообщила о новых успехах передовиков производства и тружеников полей; о взрыве ни слова. Вернувшись домой, я узнал, что среди обитателей дома на проспекте Чайковского были мать Люси и Андрей Макарович.

Оказывается, они успели покинуть Торжок. У завуча была калининская прописка.

По-прежнему стояли погожие дни. Сверх всякой меры затянулось бабье лето. В темноте я рулил по извилистой лесной дороге. За окном показались кустарник, внизу светлело мёртвое озеро в слабом отблеске звёзд; ни ветерка, ни звука. Никакого движения на поверхности вод.

Постояв у воды, я направился было назад к машине, обернулся — по-прежнему никого. Двинулся снова и опять остановился. Получалась какая-то чепуха: озеро не отпусало меня.

Нет, не только озеро. Она плыла, на ходу отводя ладонью от лица мокрые пряди. Она поднялась из воды шагах в двадцати от меня, обнажилась её девическая грудь, впалый живот, она уставилась на меня тёмными орбитами глаз, и, казалось, смотрела сквозь опущенные веки, как на моргающих иконах. «Если ты думаешь, — бормотал я, — что...». И протягивал к ней руки.

«Если думаешь, что твоя мама... и он... то ведь они уже наказаны, а если ты считаешь, что это моя вина, что ж! — я горько усмехнулся, — пусть будет так, я не спорю, в некотором смысле я действительно виноват...»

Как уже сказано, стояло бабье лето, однако ночи были холодные, вода казалась ледяной.

«Чем же я могу перед тобой оправдаться?» — спросил я, стоя в воде по щиколотку, перебирая босыми ступнями. Ответа не было.

«Чем? — повторил я. — Разве только тем, что всё это бред, морок и тебя не существует. А раз так, то и нечего ездить сюда, и... и катись ты подальше...»

«Конечно, нет ничего проще, — продолжал я, стуча зубами от холода, и осторожно сделал шаг вперёд, но тут же отпрянул, там был обрыв дна. — Ничего проще нет, чем уговорить себя — и тебя тоже, да, да, — что всё это мне привиделось, плод расстроенного воображения, как говорили в старинных романах, последнее время я плохо сплю, маленько свихнулся, это бывает...»

Мне показалось, что она вот-вот опустится в воду, пропадёт и уже никогда не вернётся, я спешил договорить.

«Не правда ли, самое простое объяснение! Вот сейчас обуюсь, сяду в машину и поеду домой. Там, наверное, Таня уже беспокоится... Высплюсь, и всё пройдёт, и... и снова буду ловить раков! Будет у меня снова спокойная жизнь... Надо же, какая чертовщина придёт в голову. Так не бывает!» — крикнул я, и слабое эхо отозвалось в лесу.

Успокоившись, я сказал:

«Так я сейчас пойду, ты не против?»

Вместо ответа она подняла руку, согнув в локте, и поманила меня пальцем — я испугался, ведь я этого ждал.

Э, нет, пробормотал я, шагнул было вперёд, но пошатнулся, и поскорее назад.

«Трус!» — громыхнул голос в моём мозгу, но это мог быть и её голос.

Всё ж я постарался совладать с собой, спокойно, трезво описать ситуацию.

«Люся, — сказал я, — тут есть одно обстоятельство. Не то чтобы смягчающее, хотя... если вернуться к вопросу о вине, я всё-таки не совсем понимаю... клянусь тебе, я сделал всё от меня зависящее, не в моих силах было тебя оживить! Так вот, одно такое, как бы сказать, деликатное обстоятельство. Говорят, ты была красоткой, я представляю себе, что такая, как ты, могла завлечь любого, а уж о толстом этом завуче и говорить нечего! Твоя мама была права, признайся, это ты его соблазнила, а не он тебя... Но я тебя раньше никогда не видел... И тогда на берегу я видел только утонувшую... видел перед собой случай, понимаешь? Случай с летальным исходом. Потом приехал следователь, я повёл его в морг... Знаешь, я ужасно замёрз!»

Вода волновалась вокруг меня, чмокнул прибрежный ил, с трудом удалось вырвать окоченевшую ступню, потом другую.

«Ты не поверишь. Когда я откинул простыню — я думаю, он не заметил, это была чистая формальность, осмотреть труп, я имею в виду следователя, — а он даже и не осматривал, взглянул и всё; но я заметил. Твои глаза были приоткрыты. Ты следила за мной. Можешь считать меня сумасшедшим, но клянусь, это было на самом деле».

«Люся! — продолжал я. — Людмила... У врача, когда он осматривает женщину, даже юную девушку, происходит отключение. Врач отключает в себе мужчину. Конечно, он всё видит и думает, как она, однако, на диво сложена, но это не имеет значения. Ему не до этого. Он занят своим делом».

«Мне пришлось испытать то, что, в самом деле, граничит с... но это тоже не имеет значения. Когда всё это кончилось... я хочу сказать, когда тебя

увезли в город... Прошло сколько-то времени. Я стал плохо спать. Прежде, когда вызывали ночью, я делал что надо, возвращался и спокойно засыпал. А теперь я не мог спать. Опять же Татьяна. Я перестал с ней жить как с женщиной».

«До меня стало доходить, что надо что-то делать. Что-то предпринять. Повернуть руль, съехать с дороги, пусть даже в непролазную чашу, но только прочь с этой дороги. И я понял, что не могу без тебя жить... Что за дьявольщина! Это же абсурд. Тебя закопали, а я думаю о тебе как о живой! Как ты считаешь, — сказал я, — вот если я сейчас пойду к тебе, поплыву или уж не знаю как... ты ведь меня ждёшь?»

Она медленно кивала, её лицо, плечи, грудь слабо светлели в темноте — должно быть, тучи заволокли небо, давно уже погоде пора было испортиться, — но я заметил, ей-Богу, не мог ошибиться: она кивнула, раз и другой.

Вот я сейчас к тебе прикоснусь, думал я, вернее, говорил вслух, прикоснусь и почувствую, что ты холодна, как лёд, не-ет, шутишь, этот номер не пройдёт!

«Не понимаю, — говорил я, уже сидя в машине, — где тут причина, где следствие. Оттого ли я бегал к тебе, что почувствовал что-то неладное в моей жизни, или наоборот, жизнь опостылела, когда я тебя вот такой увидел... Но, в конце концов, не всё ли равно? Важен результат!»

Немного согревшись, я снова вылез, приблизился.

«Выходи, — сказал я. — Вылезай немедленно!»

Да, я действительно струсил. Вот в чём дело. Вместо того чтобы пойти к ней, за ней. Остальное известно мне по рассказам. Наутро кто-то из местных увидел меня, я сидел в кабине, голова на руле. Меня отвезли в мою больничку, потом в город. В Спасское я больше не возвращался. И вот теперь я сижу за столом, рядом с лампой сидит мой кот, жмурится от света и следит, как я вожу пером по бумаге. Кто объяснит мне, что со мной произошло? Когда-то я получил естественнонаучное образование, зарабатывал на хлеб самым трезвым ремеслом. Не будь я писателем, да если бы ещё скинуть с плеч годков двадцать, я описал бы эту историю проще, ближе к действительности, без романтических прикрас.

РУССКИЙ ПУТЬ

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ И ДРУГИЕ ВРЕМЕНА

Nam quidquid describi non potest, non est¹.

De temp. praeter. hist. XXVIII, 19

I

В среду двадцать второго апреля я получил известие о смерти Ирины Вормзер. Совпадения случались в моей жизни; я верю в их тайный смысл. Четыре десятилетия тому назад, в этот же день, мы встретились на бульваре. Накануне я позвонил ей из автомата на станции метро «Красные ворота». Я услышал длинные гудки. Она могла переехать. Вышла замуж. Заболела, умерла... Наконец, щелчок — и этот голос, от которого моё сердце забилося так сильно, что, пожалуй, она могла услышать по телефону его стук.

«Ира», — сказал я и осёкся. Но она тоже узнала меня. Я почувствовал это по её молчанию.

«Ира, это я».

Она сказала:

«Здравствуй», — словно мы виделись вчера. Я овладел собой. И мы договорились встретиться.

Я пришёл на полчаса раньше. Прохаживался вокруг, читал диковинную надпись на постаменте: «От правительства Советского Союза». За годы моего отсутствия памятник помолодел и зажил новой жизнью. Это был уже не тот печальный, сторбленный, остроносый Гоголь, который сидел, завернувшись в шинель, с горькой усмешкой глядя на огонь, пожирающий «Мёртвые Души». Новый Гоголь был прям и строен, смело смотрел вперёд. Можно было предположить, что он дожил до счастливого будущего. Он и теперь там стоит. Но правительство Советского Союза приказало долго жить. Получается, что сам Гоголь воздвиг ему надгробный памятник.

Полчаса прошло, её не было. Наскучив шататься вокруг, я опустил на скамью. Люди садились рядом со мной, вставали, вместо них усаживались другие.

Я поглядывал на милиционера, который маршировал по аллее с очевидным намерением подойти и потребовать документы. Надо было смыться, я быстро соображал, куда: на улицу Фрунзе или в другую сторону, в лабиринт арбатских переулков.

¹ ...ибо то, что невозможно описать, не существует. «Истинная история минувших времён» (кн. XXVIII, гл. 19; *лат.*).

Дело в том, что я не имел права находиться в городе. Это было то не-многое, что мне было известно. Человек, выдававший железнодорожные билеты и справки об освобождении, спросил: куда едешь? — В Москву. — В Москву нельзя. — А куда можно? Мне вручили билет до Клина. И более никто не мог мне растолковать, что мне положено, что не положено: все постановления на этот счёт были секретными. Само собой, оставались тайной, покрытой мраком, и места, откуда я прибыл, и самое существование таких мест.

Считалось, что назад оттуда дороги нет. Но прошло уже два года с тех пор, как Вождь, по народному выражению, слетел с копыт. Со скрипом и скрежетом, рискуя опрокинуться, государственная колымага свернула с наземной колеи. Я приехал из лагеря три недели назад.

«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Однако цитировать эти стихи в те годы не полагалось. Я возвратился туда, где всё напоминало о детстве и юности, но врата моего родного города были для меня закрыты. Мой новенький, ещё пахнущий скверным клеём паспорт лишь неопытному глазу мог показаться безупречным. На самом деле он хранил некую шифрованную пометку для посвящённых, которая не давала мне права приехать хотя бы на несколько дней, ночевать, не ожидая облавы, не боясь, что донесут соседи. И всё же я вернулся.

Милиционер прошагал мимо. Тут она появилась.

Она шла, опустив глаза, слегка наклонив голову набок, в зимней шапочке, из-под которой выбился завиток волос, но уже в лёгком демисезонном пальто, — шла, неуловимо изменившаяся и всё та же. Как уже сказано, это происходило сорок лет назад, день в день.

II

Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, как говорит Тацит. О счастливых и незабвенных временах, о временах, когда будущее неслось нам навстречу и — мимо нас, как пронесится поезд дальнего следования, обдавая ветром стоящих на платформе. Я понимаю, что мой рассказ совершенно ни к месту в сегодняшнем мире, я повествую о прошлом языком старомодных романов, но на каком другом наречии, скажите на милость, может изъясняться наша умершая жизнь? Здесь проставлен учёный эпиграф (разумеется, выдуманный), и неспроста: описать её — значит вернуть ей существование.

Я нахожу, что новое поколение живёт в настоящем, только в настоящем. Для него нет ни прошлого, ни грядущего — одно лишь сегодня. Шумное, разноголосое, многократно усиленное, как в мегафонах, оно оглушило всех. Но я не живу в настоящем, я живу в будущем. Оттуда, на горизонте времён, поднимается огромная тень. Я слишком хорошо знаю, что будущее пожрёт самодовольную современность без всякого снисхождения, прежде чем она успеет состариться.

Я поступил в университет в первую послевоенную осень, мне шёл восемнадцатый год. Никогда я не видел такого скопления юных девушек.

Парни, которые должны были стать их женихами, лежали на минных полях под Москвой, в донских степях, в прусских болотах, под развалинами Берлина. Первокурсники были в подавляющем большинстве вчерашние школьницы, я употребляю слово «подавляющий» в обоих смыслах. Мне было тяжело. Я задыхался в этой толпе. Мне было радостно и волнительно, я чувствовал, что началась новая жизнь. Начались занятия. Рядом с собой я увидел девочку, её звали Ольга, с этим именем пусть она и останется на моих страницах; должно быть, и её уже нет в живых. Худенькая, болезненная на вид, как почти все подростки военных лет, в плоском, заколотом на затылке берете, в наброшенном на плечи узком пальтеце. Мы сидели кто в чём, снимать верхнюю одежду было необязательно, не помню даже, была ли на факультете раздевалка.

Я жил с моими родителями у Красных ворот; Москва всё ещё оставалась той старой Москвой, где Таганка и Марьино роща были окраинами, какая-нибудь Абельмановская застава находилась у чёрта на рогах, а Сокольники вовсе за городом. Оля приехала издалека. Она попыталась вести себя как опытная кокетка, но это могло привести к заблуждению лишь такого птенца, как я. Однажды мы ехали вместе в метро, я проводил её до конечной станции, поблизости находилось студенческое общежитие. Мы простояли два часа на перроне, болтая о том, о сём, и убедились, что мы — родственные души. Иногда она звонила мне вечером. Я выходил в коридор коммунальной квартиры, брал трубку и слышал её жалобный голосок: ей скучно одной. Мама осторожно выпрашивала меня, что это за девушка. Полчаса спустя я встречал Олю у балюстрады аудиторного корпуса. Стояла благодатная осень, лучшее время года в нашем городе, мы блуждали по улицам, она читала мне стихи: «Слава тебе, безысходная боль» и «Дует ветер, серебряный ветер». Мы не решались сказать друг другу что-нибудь определённое; время от времени на неё находил какой-то стих, она останавливалась, не желая двигаться дальше, я робко обхватывал её за талию, как бы заставляя идти, она смеялась искусственным смехом, эта игра волновала нас. Иногда она отбегала в сторону — подтянуть чулок, для чего нужно было приподнять платье; я не смел подумать о том, что это делалось, может быть, не без умысла. Так продолжалось, пока не наступили холода. Мы грелись в метро, возвращались в пустой полуосвещённый университет, где внизу, перед входной аркой дремала толстая сторожиха в тёплом платке, армяке и валенках.

Мне казалось, что это любовь.

Вероятно, всё было бы проще, если бы судьба своевременно свела меня с взрослой женщиной, которая совершила бы обряд инициации. Всё же этот роман сдвинулся бы каким-нибудь образом с мёртвой точки, не случись ещё одно событие.

III

Я называю это событием, великим событием моей жизни. Те, кто читал мои сочинения (я, смею доложить, писатель), заметят, что я уже описывал нечто похожее в одном романе, которого немного стыжусь; но то была бел-

летристика, *littérature*. Сбегая вниз по лестнице, ведущей на факультет, я увидел мою подружку Олю, она стояла у окна между маршами и смотрела на меня круглыми укоряющими глазами. Теперь на ней было пальто с каким-то якобы меховым воротником и капюшоном вместо шапки. Я прошёл мимо.

В те времена наша *alma mater*, перед которой, говорят, Афанасий Афанасьевич Фет всякий раз, проезжая по Моховой, останавливал кучера, чтобы почтить ритуальным плевком рассадник вольнодумства, размещалась в двух облезлых, но импозантных зданиях по обе стороны улицы Герцена: в одном проходили наши занятия, другое служило парадным аудиторным корпусом, там, собственно, всё и произошло.

С некоторых пор глаза мои стали отмечать фигурку в светло-красном платье. Бледно-золотистые вьющиеся волосы были собраны на затылке, завитки вздрагивали на висках. Однажды я увидел её, склонившуюся над парапетом, она помахивала рукой кому-то всходявшему по широкой лестнице. Платье слегка приподнялось, едва заметно подчеркнув её бёдра, обнажив подколленные ямки.

Я чувствовал, что между нами протянулась тонкая нить. Я искал глазами Иру Вормзер в Большой аудитории, где на лекции собирался весь курс, — находил и забывал о ней, чтобы в следующий раз вновь убедиться, что она здесь. Обычно студенты избирали постоянные места. Ира усаживалась в одном из нижних рядов амфитеатра, ближе к середине. Я помещался на краю. Непостижимым чутьём она угадывала мой взгляд, рука отводила завиток волос; повернув голову в мою сторону, она опускала ресницы, глядя вбок и вниз, как человек, которого отвлекают от важных занятий. Однажды я не обнаружил её на обычном месте. Едва лишь прозвенел звонок, я занял пост у выхода. Толпа вывалилась из дверей, заперудила лестницу — Иры не было среди подруг, и день показался мне потеряннным. Я сталкивался с ней в факультетском тесном коридоре, где, кажется, ничего не менялось с тех пор, как по нему прохаживались Герцен и Огарёв; впрочем, клятвенные друзья сперва записались на физико-математическое отделение; но мне хотелось думать, что они поднимались по этим ступенькам, входили в наши учебные комнаты, глядели из окон на Кремль и Манеж; и самое имя «Московский университет» наполняло меня гордостью.

Мне казалось, что Ира Вормзер лишь делает вид, будто не узнаёт, не отличает меня в гурьбе всё ещё мало знакомых лиц. Чаще всего она шла с какой-нибудь подружкой, на ходу рылась в портфеле, останавливалась перед доской с расписанием лекций, я тоже замедлял шаг — и проходил мимо с независимым видом, и воображал, как подруга, совершенно незначительное существо, шепчет Ире, кося глазами в мою сторону: «Видала, как он посмотрел на тебя?»

«Кто? — спрашивала Ира. — Ах, этот...»

Я придавал огромное значение своей внешности и старался поворачиваться к Ире Вормзер наиболее выгодной стороной. Дома, улучив минуту, когда никого не было, я разглядывал себя в зеркало, щурился, поджимал губы, задумчиво посматривал исподлобья, ужасался тому, как я некрасив, и находил себя загадочным и весьма интересным.

Не думаю, впрочем, чтобы моя персона занимала сколько-нибудь заметное место в её воображении, — если там вообще находился для меня уголок. Видя, как она прыгает по ступенькам, прижимая к груди потёртый портфель, в своём коротком, уже не по времени года, пальто и самодельной шапочке, как взлетают завитки на её висках, наблюдая издали, как она выходит из узких ворот на тротуар, сворачивает направо, перебегает трамвайный путь, исчезает в сутолоке, я представлял себе, что там, дома, она окунается в недоступный мне мир веселья и света, беззаботного флирта, эlegantных знакомств в сонме дерзких юнцов из богатых семей; меня терзали зависть и ревность. На самом деле она обитала, как все мы, в тесноте и бедности коммунальной квартиры, в старом, много лет не отремонтированном доме на Арбате, и о том, какова была её реальная жизнь, можно было бы догадаться, глядя на эту шапочку и пальтишко не по сезону. Всё это я видел и не видел, тайна, облекавшая Иру, была условием влюблённости. Я, наконец, отдал себе отчёт в том, что со мной происходит. Поглощённый своим открытием, я никого не замечал в шумной, воркующей, хихикающей женской толпе, существовала только она одна.

Юношеская страсть имеет свойство замыкаться на самой себе. Испытывал ли я физическое влечение к Ире Вормзер? Влюблённость в некотором смысле важнее самого предмета любви. В сущности, я не умел как следует рассмотреть ту, которая занимала все мои мысли. Как близорукий, сняв очки, видит вещи размытыми, так и она предстала моему взору как бы окутанной полупрозрачным покрывалом.

И, однако, — не ведаю, как это можно было согласовать, — я знал все подробности её облика. Я безошибочно узнавал её платье, походку, манеру поворачивать голову, поправлять выбившийся локон; для меня было тяжёлым переживанием, если я замечал какой-нибудь мелкий непорядок в её одежде, я знал её волшебный грудной голос, издали угадывал её мелкие, несколько золотушные черты, не тронутые косметикой. Сверстницы Иры Вормзер ещё не красили ресниц, не решались пользоваться помадой, может быть, оттого, что всё ещё не стряхнули с себя пуританство школы, где накрашенные губы считались шагом к разврату. Как-то раз она явилась на вечерние занятия с подругой, всё той же, бесцветной, беззвучно канувшей в пропасть прошлой девицы; обе были возбуждены, беспричинно смеялись, у обеих были яркокарминовые губы. Помню я и голубоватые тени, которые появлялись изредка вокруг её глаз, — вероятно, это были дни месячных, о чём я, разумеется, не догадывался.

Мало-помалу мы познакомились, как бы случайно выходили вместе из университета. Негласная конвенция, сразу же установившись, предписывала не придавать значения этому провожанию, считалось, что нам просто по пути. И я шёл с ней по Воздвиженке, тогдашней улице Коминтерна, до метро «Арбатская»; здесь мне давали понять, что пора расходиться. На самом деле ей не нужно было метро, она жила поблизости, на углу Большого Афанасьевского переулка.

О чём говорили по дороге? Убей меня Бог, не помню. Должно быть, о разных пустяках. Но ничто не было пустяком. Я слушал её голос. Я знал её

любимые словечки, меня изумляла точность её мимолётных замечаний, смущала насмешливость отзывов о знакомых студентах, презрительные клички, которыми награждали их между собой ирины подружки, — неужели, думал я, и обо мне они судят так же безжалостно? Обескураживала её рассеянность: она слушала и не слушала мои разглагольствования, о чём ты думаешь, спрашивал я. — «Ни о чём». — «Но ты не слышишь, что я говорю». — «Нет, я внимательно слушаю». Или вдруг останавливалась перед витриной коммерческого магазина, — так это называлось, — где продавались товары без карточек; вперялась в какую-то ерунду, в немыслимо дорогую шляпку, и в отчаянии я умолкал.

Бывало и так, что, миновав ограду, за которой находилась университетская библиотека, у поворота на Коминтерна, она останавливалась и говорила: «Сегодня меня не провожай». (Значит, было как будто уже принято, что это — не шаганье попучиков, а провожание.) Я поднимал на неё глуповопросительный взгляд. У неё дела. — Какие дела? — Ну... кое-какие женские дела. И уже на ходу, не оборачиваясь, помахивала мне ладошкой.

Я смотрел ей вслед. Мысль, похожая на озарение, пронизывала меня: Ира была женщиной. Со своим особым кодом жизни, который я пытался расшифровать, как археолог разгадывает надпись на неизвестном языке. Я видел, как быстро, уверенно переступали, удаляясь, её ноги, как едва заметно под тонким пальто двигались её бёдра. Было что-то безнадежно разделявшее нас в этой почти демонстративной независимости — меня отшвырнули. Для меня не только оставалась тайной её феерически-увлекательная жизнь, но меня попросту отказывались впустить в её женский мир. Моя фантазия, оскорбительная для Иры, как и для моей робкой любви, была репрессирована. Мне не приходило в голову, что сама Ира, быть может, смотрела на взаимоотношения полов куда трезвей и проще.

IV

О многих из наших наставников следовало бы сказать доброе слово, да что там слово: таким, например, как Диоген Петрович Веретенников или Павел Феоктистович Шанин, можно было бы посвятить не один десяток страниц. Каким чудом они уцелели после многих лет государственного террора? Впрочем, уже на моих глазах их стали решительно оттеснять совсем другие люди.

Диогена Петровича, чьё имя было словно нарочно придумано для него, я вижу перед собой как живого: маленький, лысый, всегда в одном и том же одеянии — что-то среднее между пиджаком и вицмундиром, — а порой и в долгополой шубе, в крепких тупоносых башмаках, он стоит с отвисшей челюстью, словно прервавшись на полуслове, подняв палец, ожидая ответа на хитрый вопрос. И когда кто-нибудь, наконец, подавал неуверенный голос, он задумывался, опускал голову и бормотал: «М-да... так-то оно так. И, однако ж, если подумать...».

Он запомнился мне не только на занятиях в факультетских нетоплых комнатах, но и тем, что вёл кружок, или факультатив, по вульгарной

латыни для желающих; при всегдашнем недостатке аудиторий приходилось отыскивать какой-нибудь закуток, где мы сидели, сгрудившись, на чём попало, с тетрадками на коленях. Непонятно было, почему, в конце концов, нельзя было собраться у Верегенникова на дому, и только после его смерти оказалось, что он жил в крайней бедности, едва ли не подставт своему славному тёзке: в старом доме без лифта, на последнем этаже, куда он взбирался каждый день, в убогой комнатке, заставленной картонными коробками с книгами.

Как многие люди его поколения, Диоген Петрович любил рассуждать. Склонив лысую голову и поглаживая затылок, он говорил, что не следует с порога отвергать испорченную речь простых людей, ибо в ней, быть может, заключено будущее нашего языка: неправильное употребление падежей, искаленные глагольные формы, жаргонные словечки со временем станут нормой. Представим себе, говорил он, образованного римлянина первого века до нашей эры, который оказался в современной Европе. Он уловил бы звуки родного языка, мог бы, вероятно, поговорить с людьми на улице в Риме, мог бы худо-бедно объясниться в Мадриде и Лиссабоне и почти ничего бы не понял в Париже. Потому что французский ушёл от латыни дальше, чем испанский, а испанский дальше, чем итальянский. Но если бы он был плебеем, ему было бы куда легче договориться с итальянцем, испанцем или даже французом, ведь романские языки произошли не из золотой латыни Цезаря и Цицерона, нет, их предок — язык низов, грязный жаргон, на котором изъясняются гости разбогатевшего вольноотпущенника Тримальхиона, латынь рабов, солдатни, жителей завоёванных провинций. *Odi profanum vulgus!* — цитировал он Горация. Противна чернь мне, бегу от неё... А вот мы с вами как раз и будем заниматься языком презренного простонародья, этим худородным демократическим предком, от которого ведут своё происхождение языки-аристократы.

Может быть, я невольно примешиваю к моему тогдашнему впечатлению опыт позднейших лет, но уже в этой *oratio*, с которой он начал свой курс народной латыни, было что-то настораживающее, ведь на таком же чудовищном русском языке изъяснялись наши вылезшие из грязи князья — партийное руководство всех рангов. Обещал ли их язык стать когда-нибудь нормальным русским языком? Он уже стал им. Не думаю, впрочем, чтобы Диоген Петрович сознательно показывал начальству кукиш в кармане. Нет, он просто оставался самим собой, он был старый ребёнок и не подозревал об опасности.

Пределов допустимого он достиг в другой раз, когда заговорил об упадке классической латыни в последние века Империи; тут он развил довольно курьёзную теорию о причинах гибели Рима. Конечно, сказал он, многие обстоятельства, экономические, политические, военные, споспешествовали краху, так сказать, подтолкнули падающего (мы не знали, что он цитирует Ницше). «Однако, — тут он вознёс палец, вперился блекло-голубыми глазами в нашу малочисленную компанию и, открыв рот, умолил на минуту, — однако главная причина была упущена исторической наукой — какая же, по-вашему? Деградация языка! — возгласил он с торжест-

вом. — Разрушение благородной лапидарности латинского языка, неумелое использование свободного порядка слов, многоглаголание, вычурность, дурновкусие! Катастрофа языка предвяряет исторические катастрофы. Варвары не сокрушили бы Рим, если бы не упадок латыни, утрата чистоты, энергии, сжатости классического стиля. Сколько веков понадобилось, чтобы выковать новую речь на обломках Империи, — но это была уже не латынь. Задумайтесь над ролью языка, смены языков, умирания языков в истории...»

«Да, деградация, — повторил он, испустив тяжёлый вздох, и насутился скорбно. Но тут же неожиданно, хитренько оживился: — Или, если угодно, революция языка! Исполдволь подготовленная, незаконная, ползучая, поднившаяся со дна — она-то в конце концов и сокрушила самый совершенный государственный организм из доселе существовавших... Ну-с, это всё общие рассуждения, а теперь прочтём для начала следующий текст...»

Это был, как легко догадаться, абзац Тита Петрония.

Что касается Шанина, дорогого нашего Павла Феоктистовича, то это была полная противоположность Веретенникову: крепкий старик шестидесяти лет с серебряной головой, с великолепным низким и звучным голосом, с манерами и осанкой патриция, при том что он был сыном безграмотной крестьянки. Когда в своей чёрной, тщательно отглаженной и уже блестящей на швах паре, в галстук с булавкой фальшивого жемчуга, в твёрдо накрахмаленных потёртых манжетах, он восседал за столом, не спеша извлекал серебряный портсигар и его пальцы повисали с горячей спичкой над папиросой, в ожидании, когда закончит он свою безупречно построенную фразу, Павел Феоктистович был неотразим, был величествен, великолепен. Его русский язык был таким же антикварным, как и его костюм. Не у него ли я обучился холодной выпренности моих записок? Перечитываю — и слышу его голос.

Он всё ещё ходил в доцентах, всё ещё кочевала по учёным инстанциям его диссертация, но иногда он заменял заведующего кафедрой, читая лекции в факультетском актовом зале. Однажды, заканчивая, перечисляя рекомендуемую литературу и упомянув несколько почтенных имён, он неожиданно воскликнул: «Учитесь мыслить самостоятельно, не работайте ни перед какими авторитетами!» Звонок прервал этот опасный призыв. Среди студентов было немало осведомителей. Слава Богу, обошлось.

V

Был ещё один персонаж, не назвать которого было бы несправедливо, больше того — который мало-помалу оттесняет в моей памяти других учителей, как ни сопротивляешься его вторжению. Родион Семёнович Гартман-Добродеев, человек с двойной и подозрительно двойственной фамилией, — стройный, щеголеватый, с лицом выбритым до пергаментной желтизны, с чёрными, как кофе, глазами, магистр-чародей, обладавший даром внушения и шармом, в котором подчас проскальзывало что-то беспокоящее, зудящее, непонятное и настораживающее. Не могу определить, в чём именно

выражалось это двусмысленное очарование, к тому же мне трудно отвести упрёк в предвзятости. Как луч прожектора за горизонтом, блуждающий луч будущего обливает лиловым сиянием картины прошлого и мешает взглянуть на Гартмана беспристрастным оком. Он принадлежал ко второму поколению преподавателей, и, в отличие от тех, о ком сейчас шла речь, более или менее успешно взбирался по учёной лестнице. Но опять-таки я забегаю вперёд.

Быстрыми, нервными шагами расхаживал он меж столов, за которыми сидели три группы нашего отделения, останавливался и буравил чёрно-кофейными глазами то одну, то другую студентку, с наслаждением слушал собственный голос: «Друзья мои!..»

И артистически отбрасывал назад чёрные, упавшие на лоб волосы.

После чего вновь устремлялся от окна к двери, от двери к окну, — мы видели его спину, воздетую руку и привыкли к тому, что он всегда был в чёрных перчатках, — стоял у подоконника, вглядывался во что-то, оборачивался.

Речь шла о политике Рима на Ближнем Востоке. Нужно отдать справедливость Гартману: он был превосходным рассказчиком. Ранней весной 67 года Тит Флавий Веспасиан прибыл в Антиохию. Несколько лет тому назад с ним случилась неприятность, он заснул в цирке на концерте Нерона. Между тем вновь на дальней окраине, где всегда было неспокойно, вспыхнули волнения, император сменил гнев на милость и назначил Веспасиана наместником в Иудее. Повстанцы понимали, что сражаться с регулярной армией они не могут, отсиживались за стенами городов. Но защищались с упрямством, которое... — Гартман скользнул беглым взглядом по лицам девочек, среди них было несколько евреек, — которое всегда было отличительной чертой этого племени. Не зря сказано в Библии: жестоковыйный народ! Римляне опустошили Галилею, сорок тысяч иудеев было продано в рабство, тысяча особо неустрашимых фанатиков предана мучительной казни. Веспасиан двинулся на юг. Стратегический план ясен, легионы нацелились на Иерусалим.

«И вот, дорогие мои слушатели, — та, та, та-та, доцент сидел за учительским столом, постукивая пальцами в перчатке, — и вот на сцену выступает некто Йосеф бен-Маттяху. Уроженец Иерусалима, из царского рода, получил весьма недурное образование, провёл несколько лет в Вечном городе. Правда, его соплеменники не называли так ненавистную им столицу, они считали вечным городом свою собственную столицу. Но вы можете себе представить, какое впечатление произвёл на молодого еврея Рим, его дворцы, храмы, стадион, форум, девушки-весталки в белых одеждах, у каждой в руке пальмовая ветвь, молча, медленно восходящие по ступеням храма своей богини, на Капитолийском холме... Но вот приходят волнующие вести с родины, пламя восстания охватило Иудею. И теперь мы видим этого человека в центре событий, теперь он, та-та-та, военачальник в осаждённой Иотапате».

Гартман встал.

«Что же там произошло? Иотапата — небольшой галилейский город-крепость в горах, обороняют его не больше тысячи бойцов. Веспасиан подошёл с тремя легионами. Надо вам сказать, что вся римская армия в эту эпоху насчитывала едва ли тридцать легионов. На подавление иудейского восстания брошена десятая часть. Это само по себе показывает, какое значение придавалось данной операции... В легионе 5–6 тысяч пехоты и не менее трёхсот всадников. Вот и посчитайте, какова была численность веспасиановой рати: близко к двадцати тысячам, не так ли? По другим подсчётам, даже много больше. Самое современное вооружение, сто шестьдесят катапульта, способных разрушить угловые башни, снести зубцы крепостных стен. Эту артиллерию генерал подвёл почти вплотную к стенам, чтобы дать возможность солдатам под её защитой возвести насыпь. Началась осада...»

«Но откуда, собственно, мы обо всём этом знаем? А? — спросил Гартман, впиваясь в лица слушательниц. — Да от него самого, от этого Иосифа Флавия! Так он стал называть себя позже, а пока что он ещё Йосеф бен-Маттяху. И, надо сказать, умелый военачальник. Пятьдесят дней и ночей мятежникам удалось держать оборону. До тех пор, пока однажды ночью, в густом тумане, римский отряд не проник в Иотапату. Следом ворвались передовые силы, другие подразделения, с факелами, с мечами, полезли по приставным лестницам на стены. Город пал и за несколько дней был буквально стёрт с лица земли. Никого не щадили. А что же Йосеф? Он и с ним сорок знатных иудеев забаррикадировались в пещере неподалёку от города»

«Решено заколоть друг друга. Бросили жребий, кому начинать. И вот, если верить Иосифу Флавию, судьба распорядилась так, что он остался последним, точнее, вдвоём с кем-то из своих людей, и стал его отговаривать на том основании, что-де еврейский закон рассматривает самоубийство как тягчайший грех. Но в том-то и дело, друзья мои, что мы не можем ему верить. Всё шито белыми нитками. Если как следует проанализировать текст — всё это можно прочесть в его книге, которая так и называется: “Иудейская война”, исключительно талантливое сочинение, надо сказать! — если освободиться от гипноза этого безукоризненного стиля, читать непредвзято, то становится ясно, как ловко, с какой хитростью, да, с каким поистине ветхозаветным коварством Йосеф бен-Маттяху сделал всё, чтобы удалить свидетелей своего предательства. Мы легко можем представить себе, как на самом деле всё произошло. Оставаться в городе, сражаться до последнего — нет, своя жизнь ему дороже. Он укрывается с другими в пещере. Он всё ещё командир, на него смотрят, ему подчиняются. Он остаётся последним. Напарник, видя трупы своих товарищей, отказывается изменить общему обету, закалывается сам. А бен-Маттяху бросает оружие, благополучно выбирается из укрытия и сдаётся римскому центуриону».

«Его привели в шатёр к Веспасиану. Генерал видит перед собой не косматого фанатика, а интеллигентного, образованного человека, свободно говорящего и по-гречески, и по-латыни, вдобавок готового выдать военные секреты повстанцев, назвать зачинщиков. Начинается долгая беседа, тут же сидит старший сын Веспасиана Тит, обоих еврей сумел прямо-таки околдо-

вать. Да ещё напроорочил Веспасиану, что он станет кесарем. Да, не больше не меньше, как владыкой всего римского мира, а стало быть, и сын унаследует его трон».

«Что ж! — вскричал с торжеством Родион Семёнович, плюхнулся за стол, на котором лежал его портфель, побарабанил пальцами, но тотчас вскочил и вновь принялся курсировать взад-вперёд мимо робко внимающих девиц. — Такие заслуги не забываются! Мало того, что Иосиф уже не был военнопленным, купившим себе жизнь ценой предательства. Он выступил посредником между своими новыми хозяевами и бывшими соплеменниками, защитниками Иерусалима. Правда, они так и не согласились сдаться. Тит взял город штурмом, разрушил храм, на триумфальной арке в Риме — она стоит до сих пор — изображена процессия, легионеры несут трофейный семи-свечник. Вместе с победителями в столицу прибыл Йосеф бен-Маттяху, вернее, бывший бен-Маттяху. Он был теперь, как мы бы сказали, кооптирован к роду Флавиев. Сбрил бороду, обрядился в тогу, стал римским гражданином, получил надел. И занялся сочинением исторических трудов».

«Надо было как-то оправдаться перед потомками. Надо было выставить себя в выгодном свете. А своих новых покровителей представить, как мы сказали бы, носителями исторического прогресса. Может быть, в этом смысле он и был прав. Но опять же спрашивается, чем оплачена такая работа. Словом, он отлично справился со своей задачей, выгородил себя. Извольте видеть, Бог отвернулся от евреев, погрязших в склоках и междоусобицах, и послал им мудрую и справедливую власть в лице римской оккупационной армии. И, представьте себе: это самооправдание перебежчика, ренегата, изменника родины так хорошо сработало, что по сей день у него находят защитники».

Тут Гартман на минуту умолк, как бы задумавшись. Шумно вздохнул и закончил:

«За примерами недалеко ходить! Все вы, конечно, слышали о писателе Лионе Фейхтвангере. Талантливый писатель, ничего не скажешь. И, между прочим, отъявленный националист! Прочтите, если ещё не читали, его роман “Иудейская война”. Он там прямо-таки захлёбывается от восторга. Воспевает Иосифа Флавия, воспевает космополитизм, а точнее сказать, воспевает предательство. Нет, вы прочтите, прочтите!» — восклицал Гартман, щёлкая замками портфеля. В коридоре разливался звонок.

VI

Меня осаждали сны. Дикие и диковинные видения, мне стыдно их пересказывать. Мы укрывались в античной истории от кошмара послевоенной действительности, который неотвратимо сгущался вокруг, но история сбрасывала свои одежды на занятиях у Гартмана — я ещё к этому вернусь. Мы укрывались в бесконечном кружении друг возле друга, в каком-то безмолвном ритуальном танце, в почти пародийном подобии *amitié amoureuse*¹, — а

¹ Влюблённой дружбы (*фр.*).

тем временем сон говорил со мной — только ли со мной? — на своём грубо-аллегорическом языке, грозил и нудил, и срывал с действительности её лживое одеяние. Гартман разглагольствовал о предательстве. Сон был моим предателем. Диверсия готовилась в глубинах моего существа.

С годами (я замечал это не раз) некогда увиденный сон превращается в воспоминание о чём-то будто бы происшедшем на самом деле; можно было бы сказать, что сон существует в памяти на правах действительности, сама же действительность начинает казаться приснившейся когда-то. Ужас и восхищение при виде Иры Вормзер: она превратилась в чудовище. Вернее, она им всегда была: шероховатым, пупырчатым существом, вздымавшим и опускавшим лучи-щупальца, словно морская звезда изумительной красоты. И она медленно ползла по комнате или, может быть, по галерее мимо колонн и балюстрады, как по дну водоёма, её щупальца вот-вот должны были обхватить мои ноги; тёмно-влажные, как ягоды, выпуклые глаза искали меня, а посередине зияло отверстие, которое одновременно было ртом и женским входом.

Тут я должен сделать небольшое отступление. Я мог любоваться её фигурой, видел её всю — и, однако, никогда не воображал себе Иру Вормзер без одежды. Нагота была табуирована. Конечно, все эти комплексы и запреты — не новость, но каждый переживает их заново и по-своему. Я и помыслить не смел о том, что скрывалось под её платьем; случись мне увидеть её обнажённой, я был бы шокирован, пристыжён, и, может быть, сон был предостережение против таких попыток. Чего доброго, она показала бы мне некрасивой — не потому, что была ею на самом деле, а потому, что нагота противоречила самой природе моей любви. Условием любви была непостижимость, недоступность. Я разлюбил бы Иру, явись она передо мною без покрывала.

Я не мог представить себе её грудь. Должно быть, это были прелестные плоды, небольшие, но уже созревшие, круглые, ровно и покойно дышащие плоды с девически плоскими, розовыми сосками. Но я не рещался взглянуть на них; смотреть, хотя бы и сквозь одежду, значило оскорбить её стыдливость. И уж тем более я не мог позволить себе на минуту подумать о том, что эти груди были созданы для того, чтобы их ласкать, и сами непроизвольно крепили и поднимались навстречу вождедеющему взгляду. Был ли тут виной юный возраст или вьевшееся в мозг и плоть пуританство? Должно быть, и то, и другое. Мы были детьми своего времени. Репрессивная мораль уравнила секс с политической крамолой.

Любовь — это было нечто заветное и вместе с тем стыдное. Я скрывал её от всех и от самой Иры. Я не был настолько слеп, чтобы не понимать, что она давно догадалась о моих чувствах. Но нужно было найти выход тому, что меня переполняло. Несомненно, она ждёт объяснения. Сказать вслух о моей любви я не осмелился бы, кажется, и под дулом пистолета. Меня осенило.

Мы жили в счастливое время, только что окончилась война. Мы жили в гнусное время: режим, оправившись, начал вновь свирепеть. Мимо гремел, обдавая нас клубами дыма, жаркий и потный локомотив истории, он тащил за собой бесконечный товарный состав. Всё это было чем-то внешним и посторонним. На самом деле мы жили в девятнадцатом веке.

Я к Вам пишу — чего же боле? Что я могу ещё сказать?.. Я решил написать Ире Вормзер письмо. За спиной у меня стояла тень Татьяны.

Каким-то образом я узнал её адрес, вкусил головокружительную увлекательность тайной исповеди. С волнением, исподтишка, поглядывал я на Иру, надеясь отыскать на её лице отблески впечатления, какое должно было произвести моё послание. И когда я перечитываю эти строки — не письмо, оно бесследно исчезло, но то, что сейчас пишу, — я замечаю, что и теперь повествую об этом языком пушкинского века.

Да, я ожидал, что она будет каким-то образом реагировать. Ничуть не бывало. В её поведении ничего не изменилось. Может быть, она рассчитывала на устное продолжение; может быть, эта игра её забавляла. О том, чтобы подойти и спросить, получила ли она «что-нибудь», не могло быть и речи. Дошло ли вообще до неё моё письмо? Его могли перехватить, могли потерять на почте. И по-прежнему, прощаясь в вестибюле станции «Арбатская», она протягивала мне руку, давая понять, что мы товарищи и ничего более.

Странная это вещь, физическая память! Она живей, прилипчивей всего, что хранится в закромах сознания. Тело наделено собственной памятью. И ноги много лет спустя помнят асфальт городов, стёршиеся ступеньки лестниц и половицы коридоров, и руки бывшего узника помнят браслеты наручников. И живёт ощущение её ладони в моей руке.

VII

В Москве у матери ночевать было небезопасно, — я уже говорил об этом, — и я лежал, прислушиваясь к шорохам и шагам, ожидая звонка в коридоре, придумывал разные версии — опоздал на поезд, приехал дооформить бумаги, вы уж простите, товарищ старшина, а товарищ старшина даже не заглядывает в паспорт с коварной отметкой, им всё известно, и я понимаю, что за мной следят с той самой минуты, когда я звонил Ире из автомата на станции метро «Красные ворота», они подслушали наш разговор, и вот теперь милиционер сунёт паспорт в нагрудный карман, одеться, допрос в отделении, но тут оказалось, что вся эта дьявольщина мне просто приснилось, на самом деле я сижу на скамейке перед бодрым, весёлым Гоголем. Милиционер шагает по бульвару, подойдёт и потребует документы, я не могу больше ждать, он приближается, мгновенно прикидываю, направо улица Фрунзе, налево переулок, забыл, как он называется, не имеет значения, важно то, что по нему можно добежать до Большого Афанасьевского, её адрес, так и есть, она идёт навстречу в зимней шапочке, изменилась, но я сразу её узнал, почему же ты меня не дождался там, у Гоголя, потом объясню, нам нужно спрятаться, она колеблется, но погода изменилась, куда девался яркий весенний день, не было никакой весны, свистит ветер, снег залепил глаза, и мы вбегаем в подъезд. Это её дом. Я догадываюсь, что всё подстроено, всё сделано так, чтобы нам остаться наедине, это и есть венец всей истории, тайный смысл повести, которую я напишу, предвкушение счастья томит меня, мы проталкиваемся сквозь толпу, в подъезде тесно, люди ругают меня,

снаружи метель, я хватаю Ирину за руку, один марш, другой, выше, выше, пока не остановились, задыхаясь, перед дверью её квартиры, она никак не может отщёлкнуть сумочку, давай я, нет, сказала она, я сама, и сумка вывалилась из её рук, среди разбросанных мелочей, платков, пудреницы, губной помады нет ключа. Она его потеряла! В гневе я говорю: значит, будем здесь. И вот оно, величайшее горе моей жизни: я не могу попасть *туда*, и это тоже всё подстроено, они её подослали, она надо мной смеётся, я вижу её зубы, оскаленные в издевательской сатанинской усмешке, я мучаюсь, не могу найти вход, а может быть, там и не было никакого входа.

.....

Я был несчастлив. Ложась в постель, я думал о том, что завтра увижу её, и всё повторится, и самое большее, на что можно надеяться, — провожание до метро. Я испытывал невыразимые муки неразделённой любви. Но — и это приходится особо отметить — я не страдал от неутолённого вожделения, от невозможности соединиться. И когда я видел Иру, следил за ней издали или подходил к ней, я не испытывал ни малейшего желания повалить её на постель где-нибудь в укромном уголке, — такая мысль даже не приходила мне в голову. Правда, моя любовь не была вполне платонической; однажды, один единственный раз, мы танцевали на каком-то вечере, я держал её руку, как полагалось, несколько на отлёте в своей руке, другой рукой обнимал её за талию, её грудь была совсем близко, она смотрела мне в лицо и мимо меня, бледные губы были приоткрыты, её свежее дыхание оведало меня, она была видимым образом возбуждена, — должно быть, ей передавалось моё волнение, — но то, что я испытывал в эту минуту, не было сексуальным возбуждением, какое должна была вызвать необычайная близость наших тел, движение ног, касавшихся моих ног... нет: то, что происходило со мной, было волнением любви, чистой любви.

Она, разумеется, понимала это. И меня настигает почти криминальная мысль: не оттого ли я, со своими жалкими переживаниями, не находил отклика в душе Иры Вормзер, что любил её всего лишь этой любовью и как будто вовсе не желал её как женщину. Она не могла мне этого простить. То, что мне казалось высшим проявлением любви к Ире, в её глазах было несовершенством, какой-то чуть ли детской неполноценностью. Она должна была спросить себя: что мне в этой любви — с ней нечего делать.

.....

Нужно отличать сновидения от неосуществлённых вариантов жизни. Как шахматист, потерпев поражение на турнире, сидит в одиночестве над доской, ищет ошибочный ход, так и я не могу удержаться от этой странной игры — переиграть свою судьбу. Представить себе, что жизнь могла бы сложиться по-иному, примерить другие варианты. Так ли уж они неправдоподобны? Не вернее ли будет сказать, что вероятность того, что случилось, была не больше, чем вероятность того, что *могло* осуществиться? «Случи-

лось», — говорю я. Стрелочник перевёл стрелку с одного пути на другой, и поезд понёсся в другом направлении; имя стрелочнику — случайность. Дальше работает логика обыденной жизни.

Предположим, что моё чувство к Ире пробудило ответную симпатию, почему бы и нет? Мы встречаемся в уединённых местах (каких?). Ведь чаще всего так и бывает: неприметно и как будто произвольно инициативу берёт на себя женщина.

(Богатая пища для воображения. Я окончательно порываю с моей pruderie¹.)

А может быть и то: поэта обыкновенный ждал удел.

Мы поженились. Да, поженились, я счастлив, любовь осуществилась, правда, у нас нет своей жилплощади. Мы поселились у моих родителей. Я стал кандидатом наук и доцентом, жизнь идёт своим чередом. И постепенно я замечаю трещину в нашей жизни. Моя жена в задумчивости стоит у окна. Её раздражают простые вопросы. Я вижу её отрешённый взгляд. Я чувствую, что она не в силах произнести нечто чрезвычайно важное, как я когда-то в юности не решался сказать ей о моих чувствах. Бессонной ночью, — свет режет глаза, мы одни в комнате, — происходит мучительное объяснение. Ира не может ужиться со свекровью, но не это главное. Главное то, что она не любит, никогда меня не любила, и жалеет, что связала со мной свою жизнь. Ира уходит.

.....

Нет, говорю я себе, ничего подобного не могло произойти, потому что та школа чувств, которую я прошёл в годы безответной любви, не состоялась бы, если бы любовь увенчалась успехом. По-настоящему мы познаём глубины чувства лишь когда оно не находит удовлетворения. Рискну ли я сказать, что истинная любовь — это любовь без взаимности? Для меня, во всяком случае, ясно, что лишь такое воспитание чувств сделало меня тем, кем я стал на самом деле.

VIII

Мы засиделись в читальном зале, где Ира Вормзер имела обыкновение заниматься, потому что дома было шумно и тесно. Я сдал её книги дежурной библиотекарше, мы вышли на галерею. Уже померкли стеклянные шары под потолком, последние студенты спускались по лестнице, и тут произошёл этот случай: кто-то показался внизу, в пальто с серым барашковым воротником и барашковой шапке, похожей на военную папаху, остановился стряхнуть снег с плеч и папаху, прошагал мимо сторожихи, поднимается по лестнице.

Случайность, говорю я, незначительный эпизод, — но мне трудно отделаться от абсурдной догадки, ложного воспоминания, будто уже тогда по-

¹ Преувеличенной добродетелью, стыдливостью (фр.).

чудилось мне в этом явлении что-то подстроенное. Мы не знали, что будет потом. А когда я сидел на скамейке перед статуей Гоголя, поджидая Иру, и смотрел на марширующую милицейскую фуражку, это «потом» было уже позади, и я всё знал. То-то и оно: утверждать, что я уловил фальшь в небрежных фразах того, кто поднимался по ступеням нам навстречу, не значит ли поддаться обратному эффекту памяти?

«Смотри-ка, — сказала Ира, — кто идёт!».

Это был доцент Гартман-Добродеев.

«Здравствуйте, Родион Семёнович...»

«О! Приятная неожиданность. Всё ещё занимаетесь... похвально! — Он вздохнул, покачал головой. — У меня тут некое недоразумение. Верите ли, не могу найти мой учебник. Перерыл весь дом. Надеюсь, я не опоздал. Но — весьма рад нашей встрече... я сейчас».

Через несколько минут он вышел из библиотеки, засовывая в портфель книжку в бумажном переплёте, учебное руководство по истории древнего мира, издание Московского университета, — и мы трое, сойдя вниз, миновали тёмный вестибюль и вышли наружу, в серебро и огни зимнего города. Обогнули памятник отцу русской науки и остановились на тротуаре перед воротцами. Шёл снег.

Мимо нас торопились, втянув голову в плечи, глядя под ноги, прохожие, напротив белел Манеж. Смутно рисовался по ту сторону площади Александровский сад, и на тёмном, мгlistом небе багровели кремлёвские звёзды.

Видимо, Гартман должен был вернуться домой к прерванным занятиям, но вместо этого сказал, что у него есть предложение — раз уж так получилось.

«Погода отменная. Как вы относитесь к тому, чтобы немного пройтись... поужинать где-нибудь вместе?»

«Где-нибудь» означало в его устах ресторан, синоним шикарной жизни, мы ни разу не были в таких заведениях. Проходя мимо окон «Националя», я видел силуэты людей, обитавших в другом мире. Гартман смотрел на Иру, она помалкивала, поглядывала по сторонам. Мы топтались на месте, мешая людям.

«Понимаю... понимаю», — промолвил он. Что должна была означать эта снисходительная улыбка? Мы были признаны, так сказать, официально любовной парой. «Привет от Аммиана!» — крикнул Гартман, удаляясь. Он шагал к Охотному ряду, мы двинулись в противоположную сторону, обходили озябишие, недавно высаженные деревца. О чём это он, спросила Ира.

Имелась в виду моя курсовая работа. Наш доцент руководил семинаром по античной историографии. Я писал у него работу об Аммиане Марцелине.

Смутно брезжит это забытое имя. Аммиан был офицером личной охраны императора Юлиана. Думал ли он, на старости лет описывая битву с германцами при Аргенторате, пересказывая или сочиняя речь кесаря перед легионами, что дни римской державы сочтены? Думал ли кто-нибудь из нас, что не так уж много осталось просуществовать и нашему государству?

«Он у меня спросил, почему я не привёл высказывание товарища Сталина».

«Какое высказывание?»

«Есть такое высказывание... выудили из доклада на каком-то там съезде. Будто бы античное общество погибло в результате революции рабов и колоннов, а что это значит, никому не известно. Никто об этой революции слыхом не слышал. Чепуха какая-то, корифей науки напутал. Слышал где-то звон...».

«Ты поосторожней», — сказала Ира. Мы свернули на Воздвиженку и шли некоторое время молча.

Она спросила:

«А ты что?»

«Ничего», — сказал я.

«Ну, вставь. Надо, значит надо».

«Надо... Ты так считаешь? А я вот не считаю!»

Я почувствовал, что сейчас что-то произойдёт. Я балансировал, готовясь побежать по канату, а она стояла внизу и смотрела на меня со страхом и восхищением. Я должен был продемонстрировать смелость моей мысли, сказать, наконец, правду. Никто не решается — а я скажу. Сердце моё внезапно заколыхалось, и я понял, что правда, о которой я намерен сказать вслух, — нечто совсем иное. Дело не в вожде, не в его дурацкой теории, — то, что я собирался сказать, было бесконечно важнее. Я должен был высказать ей всё. Что же именно? А вот что: объявить, как я её люблю.

«Знаешь, я давно хочу тебе сказать...» — проговорил я, и она угадала, уловила женским чутьём, что я собираюсь произнести, и вся подобралась. Я это почувствовал. Непроизвольно мы замедлили шаг.

«Сказать...» — пролепетал я и умолк.

«Что?» — спросила она вкрадчивым грудным голосом.

О, проклятье... мне расхотелось говорить об *этом*. Не то чтобы я струсил, но — вдруг утратил разбег. И она это тоже поняла.

«Если бы... если бы какой-нибудь историк, лет через двести... стал писать о нашем времени... Как ты думаешь, что бы он написал?»

Ира молчала.

«Историк, через двести лет. Как ты думаешь?»

«Не знаю», — сказала она сердито.

«Что мы победили в войне? Ну да, конечно. А ещё он бы добавил, что страна, одержавшая победу над фашизмом, сама была фашистской страной!»

Вот оно! Никто не догадывался, а я догадался. Выпалив это, я испытал необыкновенное облегчение.

Снова молчание; метро уже недалеко. Вздохнув, она проговорила:

«Какое нам дело до того, что будет через двести лет. И вообще...».

«Что вообще?»

«И вообще я не хочу слушать».

«Вождь, партия... — говорил я, распляясь, — всё такое же, как у них! Победили в войне... Шиш бы мы победили, если б не Англия и Америка! Самое счастливое государство в мире. А ты знаешь, что люди подышают к голоду?»

«Что ж ты хочешь — война».

«Война... А кто, собственно говоря, виноват? Если у тебя в руках неограниченная власть, такая власть, что и царям не снилась, то ведь и ответственность должна быть огромной. Раз уж ты сам принимаешь все решения. Подружился, с кем? Это же позор! С Гитлером, с фашистской Германией. А им только этого и надо было. Разгромить Францию, захватить чуть ли не всю Европу. А потом всей мощью обрушиться на нас. Видите ли, фактор неожиданности. — Я злобно усмехнулся. Это была известная фраза вождя. — Какой же ты, спрашивается, государственный деятель, если нападение было для тебя неожиданностью? И дальше пошло-поехало: величайший полководец всех времён и народов, спас родину, ему мы обязаны всеми победами... А этот полководец даже ни разу не был на фронте».

«Откуда ты знаешь?»

«Да это известно», — сказала я презрительно.

Напротив, через дорогу, Калашный переулок. Уже совсем близко Арбатская площадь. Снег падал всё гуще. Начиналась метель.

«Ира, — сказал я, задыхаясь, — я давно хотел тебе сказать... Я...»

Она молчала, быстро взглянула на меня блестящими глазами, потом опустила ресницы. Она была так хороша, что я потерял дар речи.

IX

«Послушай, надо что-то делать, — забормотал я. — Нельзя так сидеть сложа руки... Кто мы, в конце концов? Мы русская интеллигенция, совесть народа! Ты посмотри, что делается. Сумасшедший дом! Везде одни и те же портреты, даже в зоопарке. Или в бане — он и там висит. Он уже теперь генералиссимус. Величайший, мудрейший, радио с утра до вечера... О чём бы ни шла речь, непременно да здоровствует наш дорогой, любимый, гениальный...»

«Побежали, — сказала она, — видишь, что творится...»

Творилось в самом деле. Дымно-чёрная мгла заволокла город. Исчезли дома, улицы, мостовая сравнялась с тротуаром. Яростно просвистел ветер, и всё завертелось, метель застлала, залепила глаза. Во тьме мотались на снежных проводах призрачные огни. Белыми гробницами застыли троллейбусы. Ира вбежала в ближайший подъезд, я за ней. Там уже набился народ. Мы протиснулись сквозь толпу к лестничным перилам. Снег опушил её ресницы, густо покрыл плечи и шапочку, она смотрела на меня блестящими глазами, дыша полукрытым ртом.

Буря, неизвестность! Нас охватил восторг. В полутьме, озираясь, точно злоумышленники, мы взбежали наверх. Снизу доносилось тяжелое дыхание молчаливой толпы. Мы стояли на втором этаже. За дверями пряталась глухая жизнь обитателей квартир. Передохнув, двинулись дальше. Третий этаж, полумрак и молчание.

Ей было жарко, она расстегнула пальто. Сбросила шапочку и встряхнула головой. Я помог ей высвободиться и сунул пальто под мышку. Почудилось, что кто-то идёт по лестнице; мы застыли, как заговорщики. Снова

тишина. Ира стояла, прислонясь к перилам, ограждавшим площадку. Молча я приблизил своё лицо к ней, пальто упало на пол, я обхватил её стан. «Что ты, что с тобой... — прошептала она, — не надо!», и откинулась назад, над пропастью лестничного пролёта, её живот и бедра прижались ко мне. Я привлёк её к себе, равновесие было восстановлено, на миг я почувствовал, что её лоно всё ещё прижимается ко мне, хотя необходимости в этом уже не было. Тотчас она вырвалась и отошла в сторону.

Память прикосновений! Спустия целую вечность я всё ещё чувствую эту мгновенную близость. В ушах свистит ветер, буран залепил глаза, толпа в подъезде... хорошо бы отыскать этот дом, но нет, там всё перестроено. Что с тобой! Зачем это! — шепчет моя подруга, ошеломлённая неистовством моей страсти, в страхе, что обрушатся перила, ищет вырваться из моих объятий, а между тем низ живота, её лоно, прижимается ко мне. Не может быть, чтобы я ошибался. Столько лет прошло... Она переступает ногами, её бедра слегка раздвинуты, словно ищут встречи. Снаружи понемногу светлеют огни, трогаются с места заснеженные троллейбусы, Ира прыгает по ступенькам, на бегу всовывая руки в рукава пальто, что-то произошло, хотя ничего не произошло, мы стали мужчиной и женщиной, мужем и женой, нет, мы лишь попытались стать мужем и женой. И всё же, пускай на одно мгновение, мы преодолели запрет, — осталось внешнее препятствие: одежда, лестничная площадка, случайный народ внизу. Всё так же молча, увязая в снегу, мы добираемся до станции метро. Я пожимаю её ладонь, мы стараемся не смотреть друг на друга.

Х

О Гартмане ходили толки, будто он обратился в высокую инстанцию с жалобой, что ему не дают профессорского звания по причине неподобающей национальности. А он русский. То был (если верить слухам, а я подозреваю, что они не были выдумкой) вдвойне рискованный демарш: во-первых, петиция предполагала как нечто само собой разумеющееся, что этой национальности не дают ходу. Что, конечно, было правдой; но говорить об этом не полагалось, слово «еврей» с некоторых пор стало запретным; а во-вторых, Гартман происходил скорее всего (как мне сейчас кажется) из немцев, и это было ещё хуже, кое-кто наверху мог поинтересоваться, почему его не выслали куда-нибудь подальше, в Сибирь или Казахстан, в первые дни войны, а если что-то подобное и случилось, то каким образом он оказался снова в Москве. Впрочем, со временем Родион Семёнович стал и профессором, и заведующим кафедрой; меня в это время уже не было.

Семинар, то ли из-за нехватки аудиторий то ли по нездоровью доцента, собирався у него на квартире. Гартман жил у Никитских ворот, в доме, где умер Гоголь. Тогда ещё бывший Гоголь не сидел во дворе, куда его переправили с Пречистенского бульвара, подальше от глаз. Я помню тот первый раз, когда мы стояли гурьбой перед дверью с медной табличкой; слышался лай, звякнула цепочка, в дверях стоял, подняв одно ухо, чёрный пудель.

*Wozu der Lärm? was steht dem Herrn zu Diensten?*¹

Теснясь и стесняясь, ведомые пуделем, мы пробирались по тусклому коридору, справа и слева, от пола до потолка стены были заставлены книжными полками, пахло пылью, скрипели старые половицы, роскошь проживания в отдельной квартире сочеталась с холостяцкой убогостью. Пудель исчез — хозяин ждал в кабинете.

Он стоял посреди учёного беспорядка, за рабочим столом. Пыльный луч пробивался между глухими гардинами, сияние окружало чёрные, гладко зачёсанные волосы Гартмана. Лицо оставалось в тени. На стенах скупко отсвечивали портреты, возле стола на подставке поблескивал небесный глобус. Гартман был одет по-домашнему и несколько шеголеват, в просторной байковой куртке, подпоясанной витым шнурком, с глубокими карманами, куда он прятал свои нервные руки, на этот раз без перчаток; когда, мало-помалу вдохновившись, он взмахнул левой рукой, мы увидели на ребре ладони, рядом с мизинцем отросток недоразвитого шестого пальца.

Кое-как мы расселись; мы ожидали, что он скажет что-нибудь необыкновенное, смелое, спорное, — так оно и было: на этом первом занятии, в качестве введения, доцент говорил о том, что, собственно, представляет собой наука, именуемая летописанием, хронографией, историей — называйте как хотите.

Будем, начал он, раз уж мы собрались здесь, вне официальных стен, чувствовать себя на равных, будем свободно обсуждать наши проблемы, не боясь, если можно так выразиться, впасть в ересь. Тезис, который он ставит на обсуждение, гласит: история есть не что иное, как то, что о ней написано. «Что это значит, друзья мои?» Разумеется, никакого обсуждения не предвиделось: доцент вещал, упиваясь своим красноречием, и в глазах его уже мелькал знакомый блеск, присутствие юных девушек воодушевляло его — наставник наш был великая кокетка! И в самом деле, мы слушали Гартмана, как зачарованные, смотрели на него, как смотрят на циркового кудесника, веря и убеждаясь, что он владеет необъяснимым даром. В конце концов, не так уж важно было (и, как я теперь вижу, не Бог весть какая новость) то, о чём он разглагольствовал, фигляр, актёр-охмуряла с чёрными, как мокко, сверлящими глазами, с голосом то вкрадчивым, то возвышавшемся до фальцета.

«Историография есть разновидность художественной литературы, не зря в хороводе муз, которых ведёт за собой Аполлон-Мусaget, вместе с богинями-покровительницами поэзии и театра танцует Клио, муза истории. Когда Тацит, по примеру греков, — вспомните речь Перикла над телами павших у Фукидида, — вкладывает в уста политиков и стратегов пространственные речи, как если бы он сам их слышал и записал, когда он уснащает драматическими подробностями эпизоды гражданской войны 69 года или описывает шторм, едва не погубивший флотилию Германика, или прослеживает пе-

¹ К чему шуметь? Я здесь к услугам вашим. (Гёте, «Фауст», I, 1322; нем. Перевод Н.Холодковского).

ремены в характере Тиберия, показывает, как развращает властителя неограниченная власть, — то это, конечно, перо художника, перо писателя, точнее, стилум, которым писали на восковых табличках. Но, как говорится, полезай в кузов, раз уж ты назвался грибом! Тот, кто ступил на эту скользкую дорожку, кто занялся художественной литературой, должен следовать её правилам, если хотите, подчиняться её диктату... История пишется по литературным канонам».

«Послушайте, — сказал он. — Вот начало Истории Корнелия Тацита, великого Тацита. *Liber primus*, первая книга...».

Гартман стал в позу чтеца-декламатора. Держа в руке с пупырышком шестого пальца толстый том, заложив в нужном месте указательный палец, помавая свободной рукой, возгласил:

Opus adgredior opimum casibus, atrox proeliis, discors seditionibus, ipsa etiam pace saevum.

Глаза его засверкали.

Quattuor principes ferro interempti, trina bella civilia, plura externa ac plerumque permixta.

«Слышите этот ритм, эту мерную, грозную поступь? Это голос судьбы, древние называли его *omen fati*. Неотвратимо и не отдавая себе отчёта в том, что его ждёт, общество шагает к вратам гибели...»

Он обвёл маленькое собрание прокурорским оком, раскрыл книгу и, кашлянув, понизив голос, стал читать перевод.

«Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих битвами, смутами и распрями, о временах, свирепых даже в мирную пору. Четыре принцепса заколоты; три войны гражданских, множество внешних и ещё больше таких, что были одновременно и внешними, и гражданскими, удачи на Востоке и беды на Западе. На Италию обрушиваются невзгоды, каких она не знала никогда, Рим опустошают пожары, гибнут древние храмы, горит Капитолий, подожжённый руками самих же граждан. Поруганы старинные обряды, осквернены брачные узы; море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осуждённых... всё вменяется в преступление: знатность, богатство, почётные должности; награда добродетели — неминутая гибель... Плата доносчикам...»

На минуту Гартман зашнулся. С мрачным торжеством оглядел собрание и продолжал, нажимая на каждое слово:

«Плата доносчикам вызывает не меньше негодования, чем их преступления, за свои подвиги они получают жреческие и консульские должности. Рабов подкупают угрозами. У кого нет врагов, того губят друзья».

Дочитав, доцент неожиданно поскущел. Он сидел за столом, ни на кого не глядя. Тяжело вздохнул, спросил:

«Что же всё это означает? — И пожал плечами. — Только то, что прошлое — это миф. Что такое истинная история минувших времён? Вот это самое, — он постучал пальцем по обложке. — Бумага! Медицейская рукопись XI века! Манускрипт из библиотеки Герсфельдского монастыря!»

Вздыхнув:

«Немецкий буржуазный историк, идеалист Ранке требовал от таких же, как он, буржуазных историков: изображайте прошедшее таким, каким оно было на самом деле. Легко сказать! В том-то и дело, что этого “на самом деле” больше нет! Прошлое не существует, точнее, существует лишь настолько, насколько оно может быть описано. Прошлое создают историки».

Гартман встал и толкнул пальцем астрологический глобус. Мы смотрели, как под гипнозом, на крутящийся шар. Гартман остановил глобус.

«Тут можно провести любопытную параллель. Позвольте мне на минуту отвлечься... Стоп! — крикнул он, услышав собачий лай. — Никого не пускать!..»

Мы прислушались к наступившей тишине.

«Средневековые схоласты старались логически вывести существование Бога. Есть знаменитое доказательство Ансельма, есть ещё несколько других, столь же хитроумных и столь же неубедительных. Потому что все ухищрения theologов опровергаются одним единственным доказательством несуществования. Каким же? А вот каким: Бога нет, потому что его невозможно описать. Бог по определению не может быть описан средствами нашего языка. Ergo¹, его не существует. Если хотите, доказательство, которым оперирует дьявол».

XI

Я старше Гартмана, ровесник многих наших профессоров. Пора бы уже стряхнуть с себя гипноз его сомнительных парадоксов, не таких уж, по правде сказать, оригинальных. Так нет же: я и теперь, копаясь в прошлом, пытаюсь восстановить эту сцену, учёную келью доцента, луч, играющий на поверхности синего глобуса и галиматью нашего ментора, — вынужден признаться, что всё ещё не отряхнулся от этой одури. Происходило ли то, о чём я ещё хочу рассказать, в тот первый раз или на последующих собраниях его так называемого семинара? Возможно, память соединила разные встречи. Обводя насмешливо-победительным взором тесный девический кружок, он изредка, скосив глаза, поглядывал на меня, как будто хотел сказать: ты и я — мы тут единственные мужики. И мы знаем себе цену. А всё это бабьё... — и за этим должно было следовать что-то презрительное, циничное, издевательское. Это была немая солидарность мужчин. Рискну добавить — оборотительная солидарность.

Голос Гартмана доносился, как он теперь доносится до меня:

«Платон говорит, — читайте Платона, друзья мои, читайте внимательно, но, конечно же, — тут он словно спохватился, — критически, э-э, с позиций нашего материалистического мировоззрения, ни на минуту, — он погрозил пальцем, — не забывая о том, что Платон — идеалист и... и отец философского идеализма. А Ленин, как мы все помним, учит, что вся история философии есть история борьбы двух противоположных направлений, идеализма и материализма. Н-да».

¹ Следовательно (*лат.*).

Доцент вытер пот со лба.

«Так вот. В диалоге "Федр", одном из своих самых известных диалогов, Платон устами Сократа рассказывает, что когда египетский бог Тот изобрёл письмо, то предложил его фараону как самое, скажем так, современное средство закрепления памяти о великих деяниях прошлого. Но фараон отказался принять этот подарок. Почему? Потому что письмо, наоборот, поощряет забвение, письмо побуждает человека пренебречь собственной памятью. Хуже того, порождает мнимую мудрость. Что он хотел этим сказать? Написанное искажает действительность, написанное вытесняет реальную жизнь!»

«Историю делают историографы, — продолжал Гартман, — и можно даже сказать, что историй столько же, сколько существует историков. Конечно, историческое знание опирается на факты. Эти факты — то есть то, что мы считаем фактами, — переданы нам современниками, свидетелями событий или преемниками тех, кто были свидетелями. Прибавьте сюда археологические находки, памятники материальной культуры, разного рода параллельные свидетельства — арсенал чрезвычайно велик. Но заметьте, друзья мои, что литературные источники, — а они всё-таки остаются главной пищей для историка, — это всё то же письмо, которое отверг фараон! Подчас, читая разных историков, спрашиваешь себя: неужели это одна и та же эпоха? Одна и та же пьеса, те же актёры? Актёры-то, может быть, те же самые, а вот режиссёр, то бишь историк, всякий раз другой! Факты одни и те же, но отбор и освещение фактов — дело историографа. Да, историки, они-то и создают историю, превращают все эти обломки, весь этот ворох свидетельств, опровержений, подтверждений, заведомо лживых версий, — в то, что мы принимаем за реальное прошлое, что, собственно, и называем историей!»

«Историк стремится восстановить события. Хочет представить действующих лиц давно сыгранного спектакля, но они-то, эти персонажи, не знали, что будет после них, к каким последствиям их деятельность приведёт, — а он знает! Вдумайтесь, друзья мои, это кажется простой истиной, тривиальностью, а всё-таки вдумайтесь! Настоящее время есть будущее прошлого, имперфекта, а имперфект, в свою очередь, — будущее для плюсквамперфекта. Мы хотим возродить давнопрошедшее и невольно примешиваем к нему наше знание о прошедшем, которого тогда не существовало; и то же самое происходит с прошедшим: мы знаем, во что оно превратилось потом. И опять получается беллетристика: историк, словно романист, так или иначе планирует судьбу своих героев. И как будто не догадывается, что его знание примешано к прошлому, к истории, а лучше сказать, вмешивается в прошлое. Хочешь не хочешь, а оно, это знание, денатурирует с таким трудом реконструированное прошлое, как кислота — белок. А? что вы на это скажете?» — спрашивал Гартман и, разумеется, не услышал никакого ответа.

Впоследствии я не раз вспоминал его диатрибу — а ведь я ещё не всё рассказал, что сделало Родиона Семёновича неувядаемым в моей памяти, — но если это издевательство над нашей верой в истину и науку в конце концов можно было пропустить мимо ушей, если речь шла о далёком прошлом,

то иначе обстояло дело с нашей собственной историей. Вот я сижу и записываю эти воспоминания. И тотчас ловлю себя на том, что оказываюсь в плену у литературы. Не просто укрошаю прошлое, облекая его в слова, из которых выстраивается, как я надеюсь, более или менее связанное повествование. Но придаю этому хаотическому, текучему, неуловимому, какой только и может быть жизнь, прошлому, этому навсегда ушедшему «когда-то», чьё искажённое эхо я называю памятью, — придаю ему беллетристическое благообразие, последовательность, вношу в него подобие смысла, который в нём, чего доброго, и не ночевал. Иначе говоря, я совершаю двойной подлог: ведь и память, материал, с которым я работаю, сама по себе ненадёжна. В нас самих сидит дьявол, о котором вещал Гартман-Добродеев.

Он обвёл глазами собрание и усмехнулся.

«Вы спросите: где же истина? Существует ли она вообще? Не занимаемся ли мы каким-то подозрительным делом, не есть ли история — фокусничество, лживое сочинительство, фантом?»

Мы были обескуражены. Где-то в недрах квартиры вновь слабо твякнул пудель.

«Нет! — сурово сказал Гартман, как бы снова спохватившись. — Мы обязаны сделать из этого другой вывод. Наш ответ носит короткое название: методология. Марксистско-ленинская методология! Историография не есть произвольное манипулирование фактами или тем, что историк выдаёт за факты. Историк обязан определить свою позицию в борьбе идей, история есть часть общего мировоззрения, а мировоззрение, учат нас классики марксизма, учит товарищ Сталин, не может быть нейтральным, мировоззрение носит классовый, партийный характер. Только вооружившись самым передовым мировоззрением, как факелом, мы можем смело углубиться в катакомбы прошлого, не боясь заблудиться».

Траурный марш сменился мажорными аккордами. Вторя ему, в коридоре раздавалось собачье арпеджио. Народ поднялся с мест. Гартман рассеянно перелистывал что-то. «А вас, — проговорил он, назвав меня по фамилии, — прошу задержаться. У меня есть несколько замечаний касательно вашей курсовой... — Он захлопнул книгу, перевёл холодный взгляд на Иру Вормзер. — И вы тоже, пожалуйста».

XII

Думаю, нет необходимости объяснять, что заставило его неожиданно повернуть к пресловутой методологии. Нужно было застраховаться. Правда, сейчас мне кажется, что не только поэтому. Было в повадках Гартмана что-то влияющее туда-сюда, от конца к началу, и нашим, — и это петляние, по-видимому, доставляло удовольствие ему самому.

«Ваша работа, м-да. Что же я хотел вам сказать... — пробормотал он. — Знаете что, — и неожиданно улыбнулся милой, обезоруживающей улыбкой, — может, мы выпьем чайку, а?»

«А где же у нас...» — бормотал он, когда мы перешли на кухню, и я почему-то подумал, что он ищет своего пса. Но пудель где-то спрятался и по-

малкивал. Кухня — вероятно, бывшая коммунальная кухня, сумрачная, как всё в этой квартире, довольно просторная, — была переоборудована под столовую, у стены, напротив плиты, стоял накрытый скатертью стол, и уже кто-то расставил заблаговременно чашки, тарелки, сахар в сахарнице, блюдо с бутербродами, при виде которых у нас потекли слюнки. Гартман стоял, задумавшись, перед буфетом, «прошу садиться», — бросил он через плечо, вынул невысокие пузатые рюмки, водрузил на стол чёрную бутылку с золотой этикеткой. Медный чайник кипел на газовой плите. Обжигаясь, хозяин поднял крышку, по-холостячки, прямо в чайник всыпал заварку и выключил газ. Тотчас кто-то подкатился к дверям. «Нельзя», — сказал Гартман, и когти зверя зацокали прочь.

«Вам — рюмочку или так?»

Ира попросила «так». Хозяин подлил ей в дымящуюся чашку, пододвинул сахарницу.

«Ну-с, а мы с вами по бокальчику...»

Это был коньяк, какого я отродясь не видел, да и вообще никогда не пробовал этот напиток. Французский, пояснил Гартман. Он держал свой бокал в ладони, покачивал, посмотрел на свет. Что ж...

«Будем здоровы».

Он пригубил с видимым удовольствием. Я заставил себя отхлебнуть.

Он указал на бутерброды — впрочем, не нужно было и напоминать. Сам ничего не ел. Он называл нас «молодые люди», потом просто по имени, раза два назвал Иру Вормзер Ирочкой. Он был ласков и предупредителен, чуть ли не любовался нами, давал понять, что считает нас влюблённой парой, и это, кажется, не нравилось Ире. Прихлебывая из своего фиала — которого по счёту? — разглагольствовал, по своему обыкновению, но это была уже совсем другая речь.

«Меня не любят, — сказал он. — По разным причинам, я говорю о моих коллегах... И только общение с молодёжью удерживает меня от того, что бы бросить всё... и махнуть куда-нибудь к чёртовой матери...»

Ира робко спросила его о чём-то, Гартман не ответил. «Да, да... — повторил он вполголоса, кивая своим мыслям. — Видите ли, в чём дело... О, простите: совсем забыл».

На столе появилась роскошная коробка. Ира поспешно взглянула на себя — нет ли крошек, — потянулась за конфетой, принялась развёртывать. Хозяин подлил мне, потянулся с бутылкой к её чашке, взглянул вопросительно, она кивнула. Что-то менялось в этой комнате, дрожало в воздухе. Некое излучение исходило от Иры Вормзер, от её тела, скрытого под одеждой, и мужчины это чувствовали, и она это знала. За окном, выходящим во двор, было темно.

«Угу... Конечно, конечно... То есть как вам сказать...» — бормотал Гартман. Он смотрел на меня, на неё. Это был больной, почти умоляющий взор.

«Дайте-ка вашу руку. Я изучал хиромантию. Вас это удивляет? О-о... да тут у вас много всего. Я думаю, Ирочка, вы проживете долго. Но, — покачав головой, — боюсь, вы будете несчастливы в любви!»

На мгновение задержал её руку в своей шестипалой руке.

«Ах, всё пустяки, я пошутил... Вот видите, хотел поговорить об учебных делах, а вместо этого... — Он горько усмехнулся. — У меня ведь, в сущности, и друзей-то нет!»

Тут каким-то образом оказалось, что пудель сидит у него на коленях. Гартман трепал пса за уши, гладил его, пудель блаженно шурился.

«Пошёл!» Пёс спрыгнул на пол, и его не стало.

Ира спросила, есть ли у него близкие, семья.

«Семья? Нет, какая там семья... Был один ребёнок, умер. А жена... Жена моя погибла. Знаете ли вы, что это значит? Что — это — значит?»

Помолчали.

«Дурацкий случай. Вот здесь, в двух шагах, напротив кинотеатра, попала под трамвай. Не дай вам Бог, не дай вам Бог... Моя жена была для меня всё: подруга, мать, товарищ. От меня как будто отрезали половину моего существа. Лучшую половину».

Гартман осушил свой бокал, на минуту показалось, что наставник наш ошпынел. Но он был трезв.

«Вот так, — и он посмотрел, прищурившись, словно что-то заподозрил, на меня, на Иру, — хотели поговорить о делах, а вот, изволите видеть, расчувствовался...»

Молчание, он вертел рюмку. Встряхнул чёрную бутылку — убедиться, что там ещё осталось. Голос Иры нежно прозвучал:

«Родион Семёнович, может, вам нужна какая-нибудь помощь?..»

«Помощь? Спасибо. Спасибо, девочка... Ну что ж, выпьем, как говорится, на посошок!»

XIII

Между тем она расцветала — с каждым днём всё больше, всё невыносимей, её окружило какое-то дразнящее сияние, изменилось выражение её лица, поступь стала ленивей, глаза излучали тёмный блеск; когда Ира поворачивалась ко мне, я видел, что она смотрит не на меня, а сквозь меня, мимо меня, — куда?.. Однажды она появилась в новом наряде, это было темно-голубое платье с прямоугольным вырезом, без рукавов, и под ним белоснежная блузка; тесный лиф подчёркнул её грудь, платье изменило походку, ещё заметней покачивались её бёдра. А я?

Похоже, что и я, хоть и с трудом, взрослел. Ира всё больше отдалялась от меня — из гавани девичества выплыла в открытое море. Попутного ветра, моя дорогая! Я изнывал от неопределённой ревности. Но однажды утром — да, это было примечательное утро! — словно очнувшись, почувствовал перемену, — сказать ли: освобождение?

Нет, это не было разочарованием; скорее, оскомины. Любовь буквсвала — я увяз в трясине. Любовь надоела самой себе. Со стыдом вспоминал я сцену на лестнице, она осталась в прошлом. Было ясно, что ничего подобного никогда не повторится. Я давно понял, что был ей безразличен, в лучшем случае оставался для неё товарищем — нечто противоположное любви. Од-

нажды попытался заговорить с ней на эту болезненную тему, чуть было не отважился спросить: любит ли она меня? Это слово! Я не успел его выговорить. Она прервала меня. «Вот если бы ты был лет на пять старше...» — внезапно проговорила она. А что ещё я мог от неё ожидать? Слова Иры Вормзер меня как будто даже утешили, выходило, что сам по себе я не был ей неприятен, просто слишком юн. Но тут же я понял, что под маской дружбы скрывается обидная снисходительность. Молокосос! «Вот если бы ты был...» Ей нужен кто-то, на кого она будет смотреть снизу вверх: покоритель, завоеватель. Чего доброго, он уже появился там, за сценой.

Лучшее лекарство от любви, как известно, — другая любовь. Я стал поновому, с хитрым умыслом поглядывать на цветник девиц. Увы, ничего подходящего. Тем временем прохождение до метро «Арбатская» окончательно выдохлось и иссякло. Как-то раз я перехватил удивлённый взгляд Иры — ревнивый взгляд, хотелось мне думать, но это было лишь вежливое недоумение. Неужели она полагала, что я так и буду вечно тащиться за ней?

На доске объявлений было вывешено объявление; я пришёл в аудиторный корпус, когда галерея уже опустела. Большой зал был полон. Постепенно всё стихло. Из боковой двери на эстраду вышли и расселись за столом поэты с мужицкими лицами — должен сознаться, звание студента Московского университета внушило мне род сословного высокомерия.

Здесь требуется пояснение. Был когда-то на Тверском бульваре — возможно, существует доньне — Литературный институт, странное заведение, род питомника или птицефермы, где под присмотром специалистов вылуплялись из яиц будущие прозаики и стихотворцы. Надежда нашей советской литературы, сказал заместитель декана, который стоял за пультом сбоку от поэтического стола.

Раздались жидкие аплодисменты. Поэты, один за другим, выходили из-за стола, это были фронтовики; стоя на краю сцены, рубя сжатым кулаком, они выкрикивали стихи, и горячий ветер войны, крови, мужества, страха, гул и грохот жестокой жизни, от которой мы все были спасены, пронесли над амфитеатром. Вышел один, в темно-зеленой английской шинели, с глазами одержимого, он заикался, было видно, что он тяжело травмирован; словно в трансе, вперяясь в пустоту, он читал знаменитое впоследствии стихотворение. *Полк шинели на проволоку побросал... Но стучит над шинельным сукном пулемёт...* У другого было обожжённое, в рубцах, обезображенное лицо.

Кто-то тронул меня сзади за плечо. Я обернулся, парень, сидевший позади, показывал пальцем на следующий ряд, повыше. Там сидела и делала мне знаки... вот так встреча! История — это литературный жанр, говорил Гартман; похоже, что и со мной всё происходило по канонам плохой литературы; эта девушка, давнишнее мимолётное увлечение, должна была появиться вновь. Как некий противовес, как колесо сюжета.

Оля была отчислена за неуспеваемость, но к родителям не вернулась; не ведаю, как ей удалось зацепиться в Москве, да я и не знал ничего, живя в секретной стране, о паспортном режиме. Словом, это была она. Толпа вывалилась на галерею, запрудила лестницу, мы топтались, не решаясь сойти

вниз, постой, сказала она, я тебя познакомлю. Вернулись в зал и взошли на опустевший помост. В комнате для артистов голодные стихотворцы стоя глотали бутерброды, запивали газированной водой. Я бы тоже что-нибудь съел, но блюда были уже пусты.

«Оль-чка! Привет!» — закричал кто-то.

«Хи-хи... Приветик. Вот, познакомься...»

«Новый поклонник? Не позволю! Омельченко», — сказал поэт, протягивая рыжеволосую ручишу.

Он был кряжист, величествен, белобрыс, с плоским боксёрским лицом. На эстраде он читал стихи о том, что не хочет предаваться послевоенному отдыху, так как руки саднит от желания работать. Кажется, и он стал впоследствии знаменит.

Он похлопал Олю пониже спины, против чего она как будто не возражала. Мы спустились по боковой лестнице. Вышли к Манежу, поэт, с начальственным видом, в расстёгнутом полубубке и косматой шапке, сошёл с тротуара, сунул в рот два пальца. Раздался разбойничий свист. Тотчас такси, круто свернув, взвизгнуло тормозами. «Шеф, — повелительно сказал Омельченко, — туда!»

XIV

Туда — это значило к дому на углу Поварской. Остановились перед порталом с фонарями и чёрно-золотой табличкой. Само собой, я тут никогда не бывал; никто бы и не впустил. В стеклянной проходной восседал седовласый привратник. Поэт важно кивнул, вслед за ним мы вступили в просторный холл, оттуда — в причудливо разрисованную комнату, где находился буфет, и далее прошествовали в пиршественный зал.

Здесь было гулко, людно, неуютно, кругом шумели, жевали, вокруг огромной тусклой люстры плыли дымные облака. Кто-то издали приветственно махал рукой, в ответ Омельченко помотал ладонью в воздухе на манер иноземного гостя. Мы шли к намеченной цели. Грузный бритоголовый посетитель в густых чёрных бровях, в мохнатом пиджаке, едва помещавшийся за отдельным столиком, внимательно оглядывал Ольгу. «Ба-алшой человек», — произнёс Омельченко с кавказским акцентом. Мы находились среди знаменитостей.

«Валюша, — промолвил Омельченко томно, — принеси нам того-того... И... — он щёлкнул пальцами, — сама понимаешь». Явился графинчик розового стекла. Явился роскошный рубленый шницель, состоявший по преимуществу из сухарей. Три тарелочки с изделием под кодовым названием «салатик». Поэт разлил по рюмкам напиток забвения.

Немного погодя, лавируя между столиками, приблизился некто поношенного вида, с отвисшей губой и длинным унылым носом.

«Здорóво, — сказал Омельченко, жуя псевдошницель мощными челюстями. — Как жизнь?»

«Никак», — грустно отвечивал человек.

«Чего ж так. Опять обеднял?»

Писатель пожал плечами.

«Пить надо меньше».

«Негодяи. Повесить мало», — сказал писатель.

«Не дали аванса? Слушай, друг, — Омельченко отнёсся ко мне, — надо бы покормить собрата по перу. У тебя сколько-нибудь найдётся?»

Я развёл руками.

«Ну и кавалера ты себе подобрала, — это было сказано Оле. — Ладно, обойдёмся. Пришвартовывайся».

Писатель пошёл прочь и вернулся с ножом, вилкой и рюмкой, волоча за собой стул. Пышнобёдрая Валюша принесла салат, шницель и новый графин.

«Ты бы меня хоть представил», — сказал писатель.

«Сам представляйся».

«Борис Хазанов. Очень рад познакомиться».

Ольга протянула ему руку лодочкой.

«Чего они от тебя хотят?» — спросил Омельченко, разливая водку.

«Чего хотят. Недостаточно отражено то, сё...»

«Надо попробовать в журналах. Ты в Молодую Гвардию не совался?»

«Совался».

«А в Дружбу Народов?»

Борис Хазанов безнадежно махнул рукой и опрокинул рюмку в рот.

«Бытиё определяет сознание, — сказал Омельченко философски. — Вот такая у нас жизнь. Никогда не знаешь, понравилось, не понравилось».

Я слушал профессиональный разговор с жадным любопытством. Станным образом вся эта чепуха начала меня увлекать. Ни этой Гвардии, ни Дружбы Народов я в глаза не видел.

«Надо шагать в ногу с жизнью», — сказал Омельченко.

«Шагай не шагай, всё равно ни хрена не получается».

«Надо, Боря!»

Пир продолжался, после нескольких рюмок я почувствовал, что мне пора принять участие в беседе.

«Вы меня извините...» — проговорил я, с некоторым трудом подбирая слова.

«Вот коллега тебе хочет сказать пару ласковых. — Омельченко снова повернулся ко мне: — Ты мои стихи читал?»

«Конечно, читал», — сказала Оля.

«Ну и как?»

Я сказал:

«Замечательные стихи».

«Вот видишь, он разбирается!»

«В стихах, может, и разбирается. А вот проза, — сказал писатель, — проза дело особое».

«Почему же особое?»

Писатель смерил меня взглядом и ничего не ответил.

«Вы меня извините, — продолжал я, — вы написали книгу?»

«И не одну», — сказал Борис Хазанов, берясь за графин.

«Ты не гони лошадей, — заметил Омельченко. — А то домой на карачках придётся ползти».

«Нет у меня больше дома...»

«Чего ж так? Прогнала тебя, что ли?»

Борис Хазанов понурился, ловил вилкой недоеденный шницель. Я спросил, о чём его книга.

«О восстановлении Сталинградского тракторного завода. Но там есть разные линии. Роман».

«А почему не печатают?»

«Почему, почему...»

Омельченко:

«Надо, Боря!»

Я спросил: «Будете переделывать?»

Борис Хазанов погрузился в думу.

«Приспособливаться?»

«Мальчики, — капризный Олин голосок прозвучал, — Андрюша... Может, сменим пластинку? Завели скучный разговор...»

«Что значит приспособливаться? — мрачно спросил романист. — Что ты хочешь этим сказать?»

«Жрать-то надо», — заметил Омельченко.

«А ты, собственно, кто такой? Ты писатель?»

«Будущий», — сказал Омельченко.

Ольга:

«Он студент».

«Из вашего института, что ли? Понятно. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней».

«Он очень талантливый студент. Изучает литературу».

Я поправил:

«Историю».

«Один хрен, — сказал Омельченко. — История с географией... Ладно, Боря, не слушай его».

«Нет, это интересно. Вы студент Литературного института?» Писатель перешёл на «вы». И вообще всё стало путаться.

«Нет, — сказал я, — не Литературного».

«Какую же литературу вы изучаете?»

«Не чега вашей», — сказал я.

«Так, прекрасно. А какую же это литературу вы называете нашей?»

«Советскую, какую же ещё».

Романист молчал, мрачнел.

Но я уже не мог остановиться.

«Вот вы все приспособляетесь. На задних лапках танцуете!»

«Кто это мы?»

«Вы все! Квинт Гораций Флакк жил две тысячи лет назад».

«Причём тут твой Гораций?»

«А притом, что он и сейчас жив. А от вас ничего не останется. Лучше никакой литературы, чем такая!»

«Какая?» — глядя в тарелку, тусклым голосом спросил романист. Я собирался развить свою мысль, но тут вмешался грозный голос:

«Это кто это тут русскую литературу порочит?»

Я озирался. Подошёл могучий дитина с начёсанными на лоб волосами, как у Есенина.

«Это кто тут!.. нашу родную...»

«Да ладно тебе, Ваня. Ну, напился парень. Я его сейчас выведу», — говорил Омельченко.

«Ты, значит, его защищаешь? Заодно с ним, да?»

«Ну, ты полегче, полегче...»

«А этот жид куда делься? Я вас всех, суки, выведу на чистую воду!». Стул Бориса Хазанова был пуст.

Новый собеседник был (как потом оказалось) известный народный поэт по прозвищу Иоанн Безземельный, — и уже пьяный в дым. Ещё кто-то вмешался, пахло потасовкой.

Ольга схватила меня за руку: «Пошли отсюда...»

Я упирался, так как ещё не всё сказал.

«Девушка, я предлагаю... — Большой человек тоже оказался здесь. Иоанну Безземельному: — Ну-ка, посторонись... Девушка!»

«Спасибо, в другой раз...»

Она потащила меня прочь.

XV

«Ну, ты даёшь! — сказала она с укоризной, в которой, однако, звучало и восхищение. — Дедуля, вызови нам такси...».

Величественный привратник молча поглядывал на нас, нехотя поднял трубку. Оля крепко держала меня, оглядываясь, не идёт ли кто сзади. Но там уже было не до меня. Мы топтались перед подъездом. Подъехала машина, я плюхнулся на заднее сиденье, Оля обняла меня за плечи. Неслись куда-то в полутьме, шарахались на поворотах, асфальт сменился бульжником, экипаж подпрыгивает, я валюсь на Ольгу, неотвязная мысль — я там что-то забыл. Что забыл, где? — спрашивает она. Мы возвращаемся. Мы вступаем в зал, где в клубах пара, словно в бане, еле видны сидящие, человек с бритой головой, с толстыми бровями, не отрываясь, смотрит на мою подругу, дебелая официантка стоит, уперев руки в бёдра, обтянутые короткой юбкой.

Стоп. Шофёр внезапно затормозил.

Где мы?

«Дома, дома», — шептала она.

А как же... Мы там забыли...

«Ничего мы не забыли, вылезай. Шеф, — сказала она, подражая Андрию Омельченко, — вот тебе десятка, помоги нам...».

Вдвоём они втащили меня по тёмной лестнице. Я был усажен на стул, в комнатке на кровати сидел ещё кто-то. Ольга исчезла и появилась вновь: выпей, сказала она. А что это? Пей, тебе будет легче. Кислятина какая-то. Сколько сейчас времени — надо бы позвонить. Какой номер? Ты же мне когда-то звонила. Я назвал номер телефона. Слышно было, как она говорила в коридоре, вероятно, с моей мамой. Кажется, кто-то находился в комнате, но сейчас никого уже не было. Как тебя зовут, спросил я. Эльвира, был ответ. Свет зажёгся на столике. Оля сидела на кровати, держа на коленях большую куклу.

Кто-то царапался в дверь.

«Да, да. Всё в порядке, Елена Васильевна, не беспокойтесь...»

Елена Васильевна вошла в комнату.

«О, пардон. У вас гости».

Тощая тётка с папиросой в зубах, в серьгах и кольцах, в длиннейших болтающихся бусах на впалой груди.

«Гости, — сказала она, усаживаясь во что-то, — как всегда... Какой, однако, прелестный мальчик. Завидую вам, Олечка».

«Мы учились вместе...»

«Понимаю. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И что же дальше?».

«Что вы имеете в виду?» — спросил я.

«Что я имею в виду. Вопрос! — Она искала глазами пепельницу. — Я тоже училась и играла. Меня знали. Знали и ценили! Публика была от меня в восторге. Однажды был такой случай, я должна была заменить Басанову. Была такая Басанова...».

«Елена Васильевна... уже поздно».

«Вот видите, только успели познакомиться, она меня уже гонит».

«Да я ничего против не имею. Но он целый день занимался, готовился к экзамену. Завтра рано вставать».

«О, не беспокойтесь. Я, как вы знаете, встаю на рассвете. Постучу вам в дверь. Только я не вижу... — и она улыбнулась зубастой улыбкой, — вы не приготовили гнёздышко любви! Да, были и мы когда-то рысакими... Я была хороша... Вы и представить себе не можете, как я была хороша!»

Ольга поцеловала Эльвиру и усадила её на ветхое кресло, неохотно покинутое Еленой Васильевной. Я следил, всё ещё тупо соображая, понемногу приходя в себя, как Оля ходит по комнате, не спеша готовится к ночи. Пикейное покрывало было сложено четверо, повешено на спинку кровати, подушки взбиты и уголок одеяла откинут, платье снято через голову, сброшено ещё что-то, скинут лифчик и почёсано вдоль рёбер, маленькие груди успокоились в ладонях. Бормоча что-то, она наклонилась, чтобы стащить с меня ботинки, она раздевала меня, как ребёнка, спросила: потушить? — и, не дожидаясь ответа, выключила свет.

XVI

Тут я должен, по понятным причинам, сделать паузу; в струении времени возникло завихренье. После чего время понеслось дальше. Помни, сказал один мудрец, что «сегодня» завтра станет «вчера». Дни стареют бы-

стрее, чем нам кажется, и, может быть, мудрость жизни — не в загадывании будущего, но в умении угадать на лице настоящего морщины, которыми оно покроется завтра. Мы видели, как наше будущее старело, стремительно превращаясь в прошлое, и вот мы сидим посреди этих терриконов *бывшего будущего*, новые самосвалы подвезжают, чтобы сбросить свой груз, и нет покоя, некогда поразмыслить, что же такое с нами случилось. *Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые*, — были ли мы счастливыми? Как бы не так; мы жили в гнусное время. *Его призвали всеблажие, как собедника на пир*. Вздор, мы кормились объедками. Мы родились в невозможной стране и прожили жизнь в государстве поистине небывалом, хоть оно и могло напомнить древневосточные деспотии. Наше отечество носило разные названия, разлеглось на гигантских пространствах вдали от морей, поглотило бесчисленные племена и народы; у него было своё предназначение, оно как будто было создано для того, чтобы построить на своих просторах особую, лагерную цивилизацию — назовём её так. И, странно сказать, мы любили нашу страну. Мы верили, что она пребудет вечно, как ассирийцы не помышляли о том, что когда-нибудь наступит конец, как римляне IV века всё ещё были убеждены, что их держава никогда не погибнет.

По обыкновению снаружи под кнопкой электрического звонка висел список, кому сколько звонков: с детства я помню священное число три. Трижды позвонили ночью. В тусклый коридор коммунальной квартиры один за другим вступили трое: заспанный дворник, человек в боевом облачении с кобурой на бедре, и лицо без лица. Соседи, разбуженные, за своими дверьми прислушивались к шагам, чтобы утром не спрашивать ни о чём, никогда не вспоминать. Автор был выведен и посажен в машину. Тем временем другие, войдя в комнату, приступили к обыску, коему я уже не был свидетель. Автомобиль вырулил не на улицу Кирова, как можно было ожидать, а почему-то на Садовое кольцо, кружным путём понёсся к Земляному валу, свернул на Покровку. Впрочем, тот, кто сидел на заднем сиденье между офицером и вторым гостем, не имел представления, куда его везут, и не подозревал о том, что за фасадами цитадели, в тайных недрах, помещается узилище. Подкатили к глухим железным воротам, а там двор, подвал, стрижка наголо, холодный душ, полубомбочное бдение в боксе. Наутро, *ex itinere*, как говорили древние, — под конвоем цокающих сапог, мёртвая тишина коридоров, щёлканье языком, постукивание ключом по пряжке, чтобы не столкнуться с встречным, гробовой шёпот: лицом к стенке, руки на затылок! И, наконец, кабинет с портретом Рыцаря Революции, и за столом русоволосый ярославский парень в лейтенантских погонах, с пистолетом у пояса; всё известно, органы не ошибаются, никогда не ошибались и не ошибутся, и пошло-поехало, пересказывать многомесячную процедуру следствия, полагаю, нет необходимости. Упомяну лишь об одном эпизоде.

XVII

Карлик-самодержец вёл ночной образ жизни, бюрократия держала равнение на этот порядок и стиль, — этим, я думаю, а не только необходи-

мостью изнурить арестанта бессонницей, объяснялся принятый метод: в десять часов отбой, в одиннадцать вызов на допрос, который продолжается до утра, спать же в камере днём не положено.

Справа от двери, в углу помещались крохотный столик и стул для подследственного. Наискосок, на приличном расстоянии, у зарешечённого окна, за массивным столом под неизменным портретом восседал следователь. В этот раз никого в кабинете не было, арестанта караулил надзиратель. Прошло полчаса. В царстве абсурда царило гробовое спокойствие. Наконец вошёл человек в сапогах, крылатых штанах и мундире, в шинели, накинутой на плечи, в чине майора. Вошёл доцент Родион Семёнович Гартман-Добродеев.

Он прошагал мимо меня, сбросил шинель, снял фуражку и отдал всё солдату. Коротким движением головы — проваливай. Уселся за стол и провёл ладонью по блестящим чёрным волосам. Я смотрел на его руку с лишним, недоразвитым пальцем. В дверь поцарапались. Гартман постукивал пальцами по столу. «Да», — сказал он. Человек почтительно положил перед ним толстую папку и удалился. Гартман задумчиво глядел на папку, что-то соображал, посвистывал одними губами, барабанил по столу.

Гартман зажёл настольную лампу и раскрыл дело. Я знаю, что оно и теперь хранится в архивных недрах, со всеми справками, отношениями, постановлениями, визами и печатями, с многостраничными протоколами — литературными упражнениями ярославского выдвигенца. По крайней мере, *эти* рукописи не горят.

Майор листал, читал.

«Ага».

Быстро проглядел две-три страницы.

«Ого! — двинул бровью и вновь углубился в чтение. — Ах вот оно что...» — как если бы то, что он там узнал, было для него неожиданной новостью.

Он ещё полистал немного, захлопнул папку и устало вздохнул.

«Ну-с... что скажешь?»

Я пролепетал: «Родион Семёнович...»

«Прошу называть меня как положено».

«Гражданин майор...»

«Я слушаю».

«Мне... я...»

«Можешь не продолжать».

Он говорил мне «ты», это было здесь чем-то само собой разумеющимся. Он вышел из-за стола, стоял у полуоткрытого окна. За железными прутьями — тёмные небеса, должно быть, мы находимся на каком-нибудь из верхних этажей, едва доносятся клаксоны автомобилей, там, внизу, в пропасти ночного города всё ещё копошится мышьяная жизнь. «Жаль, конечно...» — он обернулся. Я смотрел на него с тусклой надеждой.

«Жаль, что тебе не дали дописать курсовую работу. Впрочем, Аммиан — историк так себе».

Вновь наступило молчание, Гартман повернулся спиной к окну, скрестил руки на груди, тускло светились его антрацитовые глаза, и по лицу ходили тени.

«*Suum cuique!*¹ Ты это заслужил. Каждый заслужил свою судьбу... Ты-то хоть понимаешь, что оказался здесь не зря?»

Арестант робко возразил, что «всё это» — сочинение следователя.

«Может быть. А может, и не совсем. Подробности не имеют значения. Стилистика, — он скосил глаза на папку с допросами, пожал плечами, — стилистика, конечно, не того, орфография тоже оставляет желать лучшего. Они люди простые, университетов не кончали. Не в этом дело. Разве тебе не ясно? А я считал тебя неглупым молодым человеком... Кстати: тебе присли передать привет».

Я воззрился на него. Это не могло быть правдой.

«Между прочим, — сказал Гартман, подходя к столу, — я нашёл здесь её фотографию...»

И он протянул мне карточку Иры Вормзер, где она по-прежнему была необыкновенно хороша: ясноглазая, с нежным подбородком, с приоткрытыми губами, как будто готовилась что-то сказать. Должно быть, изъята вместе с моими тетрадками при обыске.

Он выхватил карточку у меня из рук, коротко поглядел на Иру, перевернул, ожидая, может быть, увидеть на обороте посвящение, — там ничего не было, — и швырнул на стол.

«Не беспокойся, следствие ею не интересуется», — пробормотал доцент, он же майор, он же Бог знает кто и что.

«Ты — дьявол?» — спросил я вдруг, — и до сих не могу решить, было ли это сказано на самом деле или придумано беллетристом, имя которому память.

Гартман усмехнулся.

«О, нет. Это было бы для меня слишком большой честью...». Он что-то писал, посвистывал губами, спросил, не поднимая головы:

«Ты веришь в существование дьявола?»

На минуту, отложив перо, он превратился в прежнего Гартмана.

«Фукидид заболел чёрной оспой. Это было необходимо для того, чтобы он оставил нам потрясающее описание моровой язвы 430 года в Афинах. Тацита чуть не убили. Саллюстий за свои речи едва не поплатился головой. Но зато им описан заговор самого знаменитого авантюриста в истории Рима. К чему я всё это говорю...»

Он продолжал:

«Я попытаюсь тебе помочь, но ты должен знать, что на волю ты уже не выйдешь. Кто сюда попал, тот... Вызволить тебя не сумел бы и сам Господь Бог. Если, конечно, он существует. Пожалуй, это менее вероятно, чем существование дьявола, как ты считаешь? Дьявол правдоподобней, его можно представить, можно описать, — чего нельзя сказать о Боге. А может, Бог и

¹ Каждому своё (*лат.*).

дьявол — одно и то же существо? Любопытная гипотеза, не правда ли? К чему я это... Отпустить тебя не только невозможно, но и не нужно. В некотором смысле нецелесообразно. Ничего, ничего, ты молод, как-нибудь справишься... Но зато, представляешь себе, через много лет — нас уже не будет — ты напишешь о том, что было. Зря я, что ли, учил вас, что значит быть историком? Ты опишешь нашу эпоху, твой отчёт будет единственной реальностью — реальностью прошлого, а всё это, — он вздохнул, поднимаясь из-за стола, и окинул взглядом кабинет, — всё провалится в тартарары!»

Вновь явился вертухай.

«Увести», — сказал майор.

XVIII

Я спрашиваю себя, что может быть интересного в этой истории юношеской влюблённости, перешедшей в безнадежную, изнурительную любовь, — истории, не правда ли, чрезвычайно банальной. Я не предназначаю её для посторонних глаз. Но, с другой стороны, не может ли оказаться, что, повторяясь в каждом поколении, всякий раз по-новому, в новых обстоятельствах, она представляет собой «документ времени», что она «типична», — словечко, реабилитирующее банальность? По правде сказать, я в этом не вполне уверен. Мне трудно счесть свою персону настолько характерной; я дитя своего времени и вместе с тем пришелец из какого-то другого времени; я начинаю думать, что такие, как я, представляют собой, скорее, обломок эпохи, её побочный продукт. Повторяю, эти наброски я делаю исключительно для себя. С какой целью? А вот на этот вопрос ответить в самом деле невозможно.

Итак, на чём же мы остановились... Чем закончим? Издав последний кишечный звук (громом прокатившийся по всему огромному царству), вождь скончался. Отошёл, околел. Отбросил лапти. Откинул копыта. Врезал дуба, сыграл в ящик, почил в Бозе, отправился к праотцам, накрылся деревянным бушлатом — и сколько ещё живописных выражений предлагает нам родная речь. Это был звёздный час эпохи. Никто не знал толком, когда это произошло. Но произошло. Приоткрылись врата, чтобы тотчас захлопнуться, — но приоткрылись. Там, где я был, стояла зима. Пока ехал, наступила весна. Новый Гоголь держал вахту на своём постаменте. Милиционер шествовал по аллее. Его пронесло мимо, и в эту минуту Ира подошла ко мне.

На ней была пыжиковая мужская шапка, модная в те годы, несколько сдвинутая на затылок, и она чрезвычайно шла к ней. Я искал на её лице знакомые черты и наткнулся на незнакомое выражение. Она изменилась. Нет, она осталась той же. С каждой минутой она всё больше становилась прежней Ирой Вормзер. Мы сидели на скамье. Разговор не клеился.

«Раньше был другой», — сказал я.

«Другой».

«И надпись».

«Какая надпись?»

Оказалось, что она даже не знает, что начертано на постаменте. Её мысли были далеко, её жизнь, как и прежде, проходила в таинственных сферах. Я чувствовал, что надо о чём-то говорить, удержать её, что она вот-вот встанет, скажет: рада была тебя увидеть, надеюсь, у тебя будет всё хорошо, — что-нибудь в этом роде, безразличным голосом, — и я в отчаянии буду смотреть ей вслед. Она меня ни о чём не расспрашивала, как будто мы виделись на прошлой неделе, как будто всё было известно, но упоминать об этом не следовало, спрашивать не полагалось, как не полагается упоминать об определённых частях тела; мы перебрасывались незначущими репликами, ей было скучно со мной, другие заботы и радости звали её к себе.

Она рассматривала свои руки в маленьких замшевых перчатках, поглядывала на прохожих. Вокруг плескалась новая жизнь, матери сидели на скамейках бульвара перед детскими колясками, старики играли в шахматы. А я чувствовал себя живой тенью, выходим с того света, я был незваным гостем, от которого, раз уж пришлось встретиться, надо было поскорей отвязаться.

Я спросил об университете — для неё это была далёкое прошлое. Все благополучно окончили, работают кто где. Икс вышла замуж и развелась, у Игрек две девочки-близнецы, уже большие. Диоген Петрович умер, но это было ещё при мне. Про Шанина она ничего не знает.

«А Гартман?»

«Гартман... — проговорила Ира Вормзер, — тебя интересует, как поживает Гартман. Хорошо поживает».

Пауза, тема иссякла.

Она спросила: «А как я жила, тебя не интересует?»

«Нет, почему же», — возразил я растерянно.

И опять повисло молчание, заговорив о себе, она, очевидно, подумала: а зачем? — и я понял, что сейчас она взглянет на часы, поправит шапку, ты меня извини, у меня срочное дело... Вместо этого она сказала:

«Знаешь, мы поженились».

«Ты вышла замуж за Гартмана?»

«Да. За Гартмана».

Несколько опешив, я спросил:

«Ты его любила?»

Она прищурилась и посмотрела вдаль. Женщины с колясками, старики-шахматисты.

«Сама не знаю. Наверное. Он у меня в ногах валялся, умолял выйти за него. Я согласилась...»

«И ты теперь... с ним?»

Она покачала головой. Взглянула на свои перчатки. Я не мог оторвать от неё глаз.

Она сказала:

«Он оказался очень тяжёлым человеком. Помнишь, как он гадал у меня по руке? Как в воду глядел... Но не в этом дело.»

«А в чём?»

«Я хотела ребёнка. Он не хотел. Но я решила. Сказала ему. Он чуть меня не убил».

«Из-за этого вы и расстались».

«Да... то есть не только. Я родила».

«Ребёнок с тобой?»

«Если бы это был ребёнок... Он умер. На другой день после родов. А может быть, его умертвили».

«Как это?»

«А так. Он родился уродом. Он родился таким страшным уродом, что мне его даже не показали. И был жив».

Она проговорила:

«Он знал. Это я совершенно точно знаю. Он знал, что родится что-нибудь такое, и однажды сказал, если будет ребёнок, я его убью. Я тогда не понимала, в чём дело, думала, что это его невыносимый характер. Он кричал на меня, топал ногами, а потом плакал и просил прощения. Ночь за ночью, он вообще почти не спал... Я просила его: только не бей по животу».

«А он бил?»

«Нет. Всё требовал, чтобы я сделала аборт».

Я спросил, видел ли он своё дитя.

«Не знаю, может, и видел. Я велела, чтобы Гартмана ко мне не пускали. Домой не вернулась, жила у сестры в Калуге, пока не разменяли квартиру... И вообще я с тех пор его больше не видела».

«Он пытался тебя вернуть?»

«Даже с милицией. А что мне милиция?»

Мы некоторое время сидели молча, потом я заговорил.

«Ира... Я, конечно, человек бесправный... и надо ещё устраиваться на работу, пока не знаю — где? Пока что временно прописан в Клину... Но ничего, я встану на ноги. Ира! — сказал я. — Выходи за меня замуж».

Она взглянула на меня, как мне показалось, с любопытством, и улыбнулась прелестной, грустной улыбкой, как улыбаются ребёнку.

SAECULUM¹

Повесть не для здравомыслящих

I

Фантазия, скажут мне, отличается от действительности тем, что не терпит скуки. И больше ничем?

Вынужденный оправдываться перед самим собой, я заключил с собой некое соглашение.

Дело в том, что порядок и спокойствие моей жизни стали с недавних пор нарушаться.

Три окна моей квартиры смотрят на скучную улицу: редкие пешеходы, фасады безликих зданий. Вдали видна зелень деревьев, там разбит маленький парк. Я обретаюсь вдали от шума и толчеи. Мой адрес — Тетерев переулок, 5, квартира 16.

Как во всех старых домах, ещё не ставших жертвой модернизации, в доме нет лифта, но я достаточно бодр и способен взобраться на пятый этаж без посторонней помощи. Я поглядываю в окно и думаю о соглашении, которое даёт мне возможность и право взяться за эти записки. Состоит оно из двух пунктов. Первый: ни одному моему слову нельзя доверять. И второй: всё, что я собираюсь изложить, есть правда.

Мне не всегда удаётся отделить действительность от сновидений, и это тоже правда. Сны чаще посещают меня наяву, на этот раз было иначе. Я лежал и, по-видимому, начинал засыпать, когда меня позвали. Неохотно поднялся — оказалось, что я чуть было не уснул одетым, куда, спрашивается, смотрела Марья Гавриловна? — и вышел в соседнюю комнату. На мне был фрак, чёрная бабочка, манишка, всё старое и заносенное, рукава прохутились на локтях. Но я держался молодцом. Кто-то подбежал и вставил мне в петлицу белую астру, разумеется, искусственную. Комната представляла собой большой зал без окон, с низким потолком. Такими были кинотеатры во времена моего детства. Меня провели к эстраде. Там стоял стол под красной скатертью, на столе графин с водой, позади гипсовый бюст Ленина со слепыми глазами. Несколько человек сидело лицом к публике, рядом со столом меня ожидало кресло. Я не успел усесться, как все стали подниматься с мест, зал аплодировал президиуму и бюсту.

Председатель, стоя за столом, постукивал ложечкой по графину. Постепенно овация стихла, он стал говорить, то и дело оборачиваясь к гипсовому кумиру. Я тоже взглянул, и тут, наконец, до меня дошло: бюст изображал не вождя и основателя нашего социалистического государства, этого не

¹ Век (*лат.*).

могло быть, так как никакого такого государства уже не существовало. Это был я, собственной персоной. Бездарный скульптор представил меня в самом отвратительном виде. С тяжёлым чувством я встал и поклонился председателю и публике.

Итак, меня чествовали по случаю моего — назовём это так — тезоименитства. Нужно сказать, что я, действительно, встал и шарил босыми ногами шлёпанцы: с некоторых пор позыв заставляет меня подниматься среди ночи. Но едва лишь я снова лёг, всё возобновилось; председатель закончил, наконец, свою речь. Снова аплодисменты, председатель кланяется юбиляру, юбиляр — публике и так далее. Я надеялся, что мне удастся каким-нибудь способом убраться подобра-поздорову, но произошло ещё кое-что. Произошёл скандал.

Отвлечённый своими мыслями, я не заметил, откуда явился аккуратно одетый старичок несколько провинциального вида. Он стоял на эстраде. Председатель ласково кивнул — дескать, просим, — видимо, решил, что за отсутствием современников сын какого-нибудь старого друга хочет выступить с воспоминаниями.

Старикан прочистил горло.

«В нашей стране, — начал он, — уделяется много внимания людям пожилого возраста. Партия и правительство проявляют заботу о стариках...»

Кто-то в зале возразил:

«Какая там ещё партия?»

Ещё один голос:

«Проснись, дедуля!»

Председатель строго постучал ложечкой о графин.

«А особо о должностях. Но я что хочу сказать. Вот я тоже всё ещё живу. И могу ещё приносить пользу. А ведь мне уже седьмой десяток пошёл. А всё оттого, что правительство о нас, стариках, не забывает. Вот и он тоже».

Человек показал на меня пальцем.

«Только я что хочу сказать. Мы с ним в одном классе учились, в пятьдесят второй школе города Орла. Я-то хорошо успевал, а вот он был двоечником. Совсем не хотел учиться. Его даже на второй год оставили. Второгодник, стало быть».

Зал слушал его внимательно, я тоже старался не проронить ни слова.

«А теперь вот, как бы сказать, выдаёт себя за должностя. Знаю дело: о должностях у нас очень даже заботятся, пенсию особую дают. Вот он и пристроился. А на самом деле мы с ним вместе в школе учились. Выходит, ровесники».

Могу поклясться: ни в каком городе Орле я не бывал. Этого деда никогда не видел. Но, по совести говоря, я был ему даже рад. Выходило, что мне нет даже семидесяти! Начался шум, народ развеселился, председатель пылал гневом. Требовали расследования, грозили отнять пенсию, отдать под суд; я встал и ушёл со сцены под предлогом, что мне надо в уборную. Слышу в соседней комнате шаги Марьи Гавриловны, значит, уже утро; несколько времени спустя я сидел на кухне, крайне недовольный тем, что мне снова подсунули фальшивый кофе.

«Вам вредно».

Я махнул рукой. На тарелке, как всегда, лежали поджаренные хлебцы, намазанные вареньем, в стеклянной вазочке сухарики.

«Поздравьте меня, — сказал я мрачно. — Нет, нет, только не с днём рождения. Поздравьте меня, я самозванец».

Она покосилась на меня с видом, который показывал, что она привыкла пропускать утреннее ворчанье старца мимо ушей.

«Хотите знать, почему?»

«Не хочу», — отвечала она. Я указал ей, что декофеинированный кофе вредит желудку ничуть не меньше настоящего. Откуда это известно, спросила она. В ответ я окунул в чашку сладкий сухарик и прихлебнул. Беседа в этом роде продолжалась ещё некоторое время.

II

После завтрака я гулял, грелся на солнышке, сидя на скамейке; я был погружён в свои мысли, хоть и не мог, как это нередко бывает со мной, понять, о чём я, собственно, размышляю. Прошла мимо девушка, я смотрел ей вслед, немного погодя она вернулась. Всхлипывая, присела на край скамьи.

Я спросил, что случилось. Оказалось, что «он» её бросил. Говорит, что... Я ждал продолжения. Она поднялась, утирая слёзы.

Я сказал: «Куда же вы, подождите. Почему он вас бросил?»

Она снова села, вынула платочек, высморкалась. Успокоившись, возразила:

«Почему мужики бросают баб?»

«Не знаю», — сказал я.

«А я знаю. Он сам сознался».

«В чём?»

«Он говорит... Нет, мне стыдно. — Пауза; она опустила глаза. — Он говорит, я его не устраиваю как женщина. Понимаете, на что он намекает?»

«Гм».

«Дескать, я не такая, как надо, когда мы с ним вдвоём. Для других такая, а для него, видишь ли, не такая!»

«Вот как».

«А я ему говорю: ты сам виноват! Лезешь сразу... нет, чтобы приласкать. Я, может, только разохотилась, а уж он готов. Нет, вы мне скажите, кто же в таком случае виноват?»

«Я думаю, оба».

Разговор начал мне надоедать, я чуть было не сказал, знаешь, милая, иди-ка ты своей дорогой.

После некоторого молчания она проговорила:

«Вы меня извините, я вам Бог знает что наговорила... Я вас тут часто вижу... Вы, наверное, одинокий. Может, я... Может, вам чего надо, я могу услужить... Дорого не возьму».

«Девочка моя, — сказал я, вероятно, поняв её слишком прямолинейно. — Ведь я старик».

«Ну и что. Я постараюсь. Я умею».

«Как ты думаешь, сколько мне лет?»

Она живо возразила:

«Ничего, не сомневайся. Сколько лет, это не наше дело, сколько есть, столько есть. А ты молодец. Ты ещё хоть куда. К какой-нибудь развалине я бы не подошла».

Означало ли это, что я понял её правильно?

Мне понравилось, что она заговорила со мной на «ты». Я снова смотрел ей вслед, что-то соображал, раздумывал — о чём?

Между тем другой персонаж плёлся по аллее чахлого парка. Остановился и осторожно спросил, не разрешу ли я... Я кивнул не глядя.

Он уселся рядом; молчание; мой сосед кашлянул.

«Вы уж меня извините», — проговорил он и умолк. Голос показался мне знакомым. Я покосился на него — вот так здорово! Это был, чёрт бы его побрал, тот самый старичок в плохоньком пиджачке.

«Привет, дедуля».

«Я, конечно, как бы сказать... Испортил вам всю обедню. Весь праздник».

«Ты думаешь, это был праздник? Между прочим, я ведь никогда не был в Орле».

«Как это не был».

«А вот так».

«В таком случае, — сказал он с ноткой обиды, — извините великодушно».

«Ты хочешь сказать: обознался? Ведь ты обознался, да? Признайся».

Старичок покачал головой. И тут я вдруг вспомнил, что мой отец, офицер, был переведён ненадолго в Орёл. И я проучился там полгода.

«Слушай, дядя, как тебя там... — проговорил я. — Может, я всё-таки сидел там по праву?»

«Где сидел?»

«В кресле. Может, мы ровесники?»

«Знамо дело, ровесники. Коли в одном классе учились».

«Ты не понял. Тебе, наверное, тоже сто лет».

Он взглянул на меня с таким видом, словно хотел сказать: ну, знаете... Мы молча взирали друг на друга. А что, подумал я, неплохая мысль: позовука я его на именинный обед. Но он исчез. Аллея пуста. Вздохнув, я поднялся. Не хотелось тащиться домой.

Меня ждали. Явился племянник, который вспоминает обо мне один раз в году, и ещё один гость, некто Артур Иванович, сосед по дому.

Втроем уселись в большой комнате за накрытым столом, в центре ваза с цветами, я, хоть и не во фраке, но облачившись в тройку, на жилистой шее галстук-бабочка, в просторечье — собачья радость, та самая, в которой я был ночью. Усы подстрижены Марьей Гавриловной. Её стул пустует.

«Можете не звать, — сказал я, — она презирает мужское общество».

«Как, впрочем, и женское», — заметил Артур Иванович.

Я поглядел на салфетку и от нечего делать засунул её за воротничок. Племянник поднял бокал, произнёс положенные слова, чокнулись. Знают ли они, спросил я, сколько мне стукнуло.

«Я спрашиваю, потому что слишком хорошо понимаю, что доказать это не так просто...»

«Что вы хотите этим сказать?» — спросил, жуя, Артур Иванович.

«Да вот это самое, дорогой Иван Артурович».

Все занялись делом, и на короткое время восстановилось молчание.

«Гейне сказал... — утирая рот, заметил Артур Артурович. Он злобно взглянул на меня. — Да хватит вам, наконец! За двадцать лет можно выучить».

«Память стала дырявая, любезный Иван Иванович, простите великодушно. Что же сказал Гейне?»

«Гейне сказал: такой обед надо вкушать коленопреклонённо!»

«Скажите это Марье Гавриловне».

Я продолжал:

«Документы могут лгать. Представим себе такую ситуацию. Война, все бумаги пропали, то ли потерялись, то ли сгорели во время бомбёжки».

«Москву не бомбили».

«Не скажите. Как раз недалеко от нашего дома упала бомба».

«Где же вы жили?»

«Возле Чистых прудов. И, как нарочно, угодила в бывшее латвийское посольство».

Странное вдохновение охватило меня. Я предложил повторить, разлил водку по бокалам, уж коли пить, так не из напёрстка.

Выехали в середине июля, недели через две эшелон с эвакуированными добрался до Урала. И вот представим себе, сказал я, в каком-то городке, допустим, это был Копейск или Кыштым, человек, обросший седой бородой, предъявляет липовую справку, само собой, парочку сторублёвых в зубы, и ему выдают новый паспорт. Год рождения...

«Во-первых, так просто это не делается», — возразил мой племянник.

«Да, но не забудь, что это война. И приличная мзда».

«А во-вторых, для чего?»

«Как для чего. Чтобы получать пенсию должителя!»

«Должны быть свидетели».

«Какие там свидетели, человек родился Бог знает когда. Марья Гавриловна! Где вы там?»

Она, наконец, появилась, встала в дверях.

«Вышейте с нами. За моё столетие».

Дверь закрылась.

«Она нас презирает».

«Она не любит мужское общество».

«Тем более — старых хрычей».

«Ну, — это был Артур Иванович, — семьдесят лет — ещё не такая старость»

«Иван Артурович, вам же только что доказали, что...»

«Да оставьте же вы, наконец! Вот я сейчас встану и уйду».

«Память дырявая, простите старца».

«Жизнь — это, знаете ли... Это, я вам скажу...»

«Совершенно справедливо, дорогой Артур...»

Пир пошёл своим чередом, после чего племянник нетвёрдым шагом пошёл домой шатко ступающего соседа, а виновник торжества стоял у окна и обзирал окрестность.

III

Бывает так, что ничего не можешь с собой поделаться. История с орловским соучеником не выходила у меня из головы. Меня не смущало, что он был, так сказать, не вполне реальной фигурой: может ли мне кто-нибудь объяснить, что такое реальность? Но теперь в моей голове разоблачение вывернулось наизнанку. Допустим, мне действительно исполнилось сто лет, а мой паспортный возраст — ошибка или подлог. Заметьте, до появления орловского старичка ни у кого в зале не было и мысли о том, что на самом деле юбиляр гораздо моложе. Или моя застольная история насчёт фальшивых документов. Ведь она, в сущности, не вызвала протеста у моих собеседников.

Я уселся перед моей старой фисгармонией фирмы Винклер-Штурцаге. В нотах нет необходимости, я знаю эти вещи наизусть. Тотчас в дверях появилась Марья Гавриловна, чтобы сказать, что соседи протестуют. Так ли это, неизвестно, факт тот, что она не выносит музыки.

«Но ведь это Бах!»

«Ну и что?»

«Немецкий композитор».

«Ну и что».

«А то, что вам как германофилке следовало бы...»

Прервав исполнение, я задумался: чём чёрт не шутит! Может, и в самом деле мне пошёл сто первый десяток. Хуже того: может быть, меня подменили? Жуткая мысль: я — это кто-то другой.

Я принялся воображать, как я произведу — смеха ради — рекогносцировку. Отправлюсь в центральное адресное бюро, заполню бланк. Год рождения? Переведём стрелку века на одно деление назад. На вопрос, где предположительно может проживать разыскиваемый, укажу район и улицу, для правдоподобия поставлю знак вопроса. Прождав положенное время, я снова встал в очередь перед окошком. Я разыскиваю моего брата. — Фамилия? — Называю свою фамилию, имя, отчество. — Минуточку.

Ответ был: ни в Тетеревом переулке, ни вообще в городе указанное лицо не проживает.

Что же мне делать, спросил я. — Обратитесь туда-то.

Я обратился. Это было мрачное здание на Пантелеймоновской. Фантазия не терпит скуки. Поэтому не стану описывать свои блуждания по коридорам, подачу заявления и так далее, упомяну лишь о том, что меня чуть было не поймали с поличным. Ведь я теперь уже разыскивал не брата, а самого себя, и надо было предъявить паспорт. По условиям игры, это должен быть фальшивый паспорт. Вообще я как-то уже начал путаться. К счастью, барышня не заподозрила подвоха. Кладбище, сказала она, уже давно закрыто. Я развеселился. Оказывается, я давным-давно отправился к праотцам. Остался кто-то мнимый.

Одно из двух: либо древо моей жизни раздвоилось, либо я — призрак, фантом и живу вопреки логике и здравому смыслу.

Впрочем, занятия историей и теологией научили меня осторожности. История допускает разные варианты, осуществился один, а где-то, возможно, сбывается другой. Что же касается богословия, то оно приучает к скептическому отношению к самому понятию времени. Никому из нас, как видно, не дано постичь, что есть время и что такое вневременность, тут мы не сделали после Блаженного Августина ни шагу вперёд. Ergo, и хронология не может считаться чем-то абсолютным: она придумана, чтобы скрепить шаткое бытие, как бочар скрепляет бочку обручами. Внутри нас, как в деревьях, наслаиваются одно за другим годовые кольца, а сколько их и каковы они, мы не видим.

Она снова появилась на пороге.

«К вам гости».

«Взгляните, — сказал я, подойдя к ней с альбомом здешнего нашего музея. — Вам это не кажется странным?»

«Что?»

«Кто тут изображён».

«Икона».

«Совершенно справедливо. Кто же на ней представлен?»

«Откуда я знаю?».

«Марья Гавриловна, побойтесь вы Бога, неужели не узнаёте деву Марию? Напротив неё Лука. Считается, что он был врачом и художником. Вот он и сидит перед мольбертом, а Богородица с младенцем ему позирует. Вас это не удивляет?»

Она не понимает, чего от неё хотят.

«Евангелист Лука жил после земной смерти Христа, он не мог его видеть ребёнком. А тут он рисует Иисуса с натуры на руках у Богородицы. Как это может быть?»

«Не знаю».

«А я вам скажу. Они существуют в вечности».

«К вам гости пришли».

IV

Гости, так гости: вошёл председатель. Нечто, вообще говоря, совсем уж несообразное — тот, который стоял тогда за столом президиума и постукивал ложечкой о графин.

Он, видите ли, пришёл просить прощения.

«Прощения? За что?»

«Прошу меня извинить».

Я воззрился на него.

«За безобразное поведение этого, как его».

Он пояснил: старик, которого никто не звал, которому никто не давал слова, своими инсинуациями пытался отравить «наш общий праздник».

«Праздник? Вы уверены, что это был праздник?»

«А как же. Вы — гордость нашего города!»

Он добавил, что в юбилейной статье, которую он лично написал и отправил в редакцию газеты, разумеется, нет ни слова об этом скандальном инциденте. Тем более, что публика — это могут подтвердить все присутствующие — не поверила ни одному слову этого... (он искал слово) этого интригана. Этого проходимца.

Я потёр лоб.

«Дорогой мой... мне не хочется возвращаться к этому вечеру».

«Прекрасно вас понимаю! Но позвольте мне ещё раз...»

«Мне не хочется возвращаться, — повторил я, — но, скажу вам по секрету. У меня была возможность продолжить знакомство с этим господином».

«С кем, с этим...?»

«С моим орловским однокашником».

«Я ничего не понимаю. Какой он вам однокашник!»

«Представьте себе, я вспомнил, что действительно учился с ним в одной школе».

Председатель задумался. Я снял с полки книгу и для верности стал водить пальцем по предметному указателю.

Он пробормотал:

«Теперь всё понятно. Этот обиженный тон... Помните, он всё говорил о пенсии, о привилегиях для должностных. Он сам должностной!»

Я пожал плечами, покачал головой.

«Впрочем, это его дело. Ещё раз, — сказал председатель, поднимаясь и прижимая ладонь к груди, — приношу извинения... Желаю бодрости...»

«Одну минуточку, — сказал я. — Вот. Послушайте... “Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан”».

Я закрыл книгу.

«Апостол Павел».

Гость топтался, не зная что сказать.

«Да, — проговорил он, — были умные люди. Позвольте спросить... знакомое вроде лицо». Он указал на портрет в чёрной рамке над фисгармонией. Человек, превратившийся в Ничто, которое не существует и с несуществованием которого невозможно смириться.

«Вы угадали, — сказал я. — Это отец Александр Мень».

«А, ну да. Угу».

«Вы его знали?»

«Да не то чтобы знал. Слышал. Его, кажется, убили?»

«Да, зарубили топором».

«Какой ужас. За что?»

«За многое. Похоже, — добавил я, не удержавшись, — имело значение, что он был иудей».

«Еврей? Какой ужас. Скажите... вы, кажется, тоже бывший священник?»

Я проводил председателя до порога, не хватало ещё, чтобы я начал рассказывать, как я поссорился с викарием, был отставлен от прихода и в конце концов запрещён в священнослужении. О чём, по правде сказать, ни

чуть не жалею. Вернувшись, я поднял крышку инструмента с намерением сыграть что-нибудь весёленькое. Но теперь, похоже, начиналось самое интересное. Я услышал за дверью слабый шум, шепот, недовольный голос Марьи Гавриловны.

«Ну что ты будешь делать», — сказала она, появляясь.
Господи, твоя святая воля. Визит за визитом! Кто такая?
«Шалава какая-то. Русским языком говорят ей, он занят!»

V

Я неспроста прозвал Марью Гавриловну германофилкой. Подобно многим, чья молодость была раздавлена войной, она питала странную любовь к стране, принесшей всем нам столько несчастий. Мне не раз приходилось слышать от людей, переживших оккупацию: немцы не сообразили, немцы сглупили. Ведь их встречали с цветами; а они? Если бы они вели себя по-другому, всё повернулось бы совсем иначе, они бы и войну не проиграли. Если бы не относились к людям как к скоту, не издевались, не насильничали, не отнимали последнее, не гнали бы на работу, не жгли целые деревни... Если бы! Напрасно я пытался возразить, что в таком случае они не были бы тем, чем они были, — армией поработителей, костью от кости и плотью от плоти своего злодейского государства.

Хорошо помню, как однажды, в храме свв. Жён Мироносиц, где я служил короткое время, — моя духовная карьера вообще была непродолжительной, чему, возможно, была виной наметившаяся уже тогда двусмысленность моего существования, да и многое в нашей Церкви мне было не по душе, — хорошо помню, как ко мне подошла женщина в чёрном платке, я спросил, не хочет ли она исповедаться, нет, сказала она тоном хоть и просительным, но твёрдым, хочу просто поговорить. Она искала места. Мне была нужна хозяйка. Сперва она приходила убирать, потом переселилась ко мне окончательно.

М.Г. — женщина без возраста, из породы тех, кто, оставив позади молодость, не стареет: крепкая, ширококостная, с тёмным румянцем на щеках. Как-то раз я сказал ей наполовину в шутку: «Марья Гавриловна, вот люди говорят...» — «Что говорят?» — «Да сами знаете. Может, нам и в самом деле пожениться? Умру, квартира будет ваша». Она взглянула на меня молча, без всякого выражения, и больше мы к этому вопросу не возвращались.

Прибавлю, что вскоре после её вселения мы попытались сойтись. Кое-то получалось, но потом и это было оставлено.

Я никогда не расспрашивал её о прошлом. Кое о чём можно было догадаться, кое-что она мне сама рассказала; некоторые обстоятельства прояснились сами собой. В конце концов, это была, если отвлечься от подробностей, судьба огромного множества молодых женщин. История, как и отдельный человек, видит страшные сны наяву. Марье Гавриловне было семнадцать лет, когда из родного полуукраинского городка она была увезена в Германию. Рейх нуждался в рабочей силе. В набитом до отказа телячьим вагоном Марья Гавриловна прибыла в «дулаг», там производилась Entlausung — попробуйте найти это слово в словаре. Ликвидация завшив-

ленности. Стригли наголо, под машинку, гнали в душевую, нумеровали и сортировали, и не осталось больше ни подруг, ни землячек. В этом был высший государственный резон: лишить всех связей, оставить голым и одиноким перед слепящим оком Циклопа.

Она попала на завод, где изготавливались стаканы для зенитных снарядов. Лагерь находился рядом с заводом, жилось скверно, она уступила — а куда денешься? — домогательствам мастера, который был раза в три старше её. Он был по-своему добрым человеком. Когда его в конце концов забрали в фольксштурм, сдал Марусю, чтобы она не умерла с голоду, в публичный дом для офицеров в Маутхаузене. Там она пробыла недолго, некий майор взял её к себе. Кажется, они по-настоящему были привязаны друг к другу. Что потом произошло, неясно; майор собирался увести её с ребёнком, чтобы спасти от выдачи советским властям, где-то на западе у него была семья, он хотел развестись, жениться на Марье Гавриловне, но в спешке и суматохе последних дней — Красная Армия была уже на подходе — разминулись, он уехал с девочкой, М.Г. попала в лагерь для репатриантов, надеялась вернуться в родные места и в самом деле вернулась, только не в свой городок, а в Озёрлаг Иркутской области, статья 58-а, измена родине, срок — «червонец», десять лет.

VI

Вернусь к новому явлению.

«Послушайте. Это как надо понимать?»

Гостя что-то лепетала, не решаясь приблизиться. На этот раз я мог её получше рассмотреть: не такая уж молоденькая, какой показалась мне тогда в парке, но, что называется, в полном соку. Я люблю смотреть на женщин, вид женской фигуры магнетизирует меня почти до неприличия. Должно быть, впадаю в архаическое детство: память о кормящих сосцах, что-нибудь этакое.

Я люблю смотреть на круглолицых женщин с белой короткой шеей, крупной грудью и просторными бёдрами, с тускло блестящими волосами цвета лесного ореха, как бывает у женщин среднерусской полосы, с тёплым, воркующим голосом, в котором сквозит хитринка. Мягкие и податливые, они на самом деле упрямы, как ослицы, гнут своё и незаметно лишают вас сознания вашего мужского превосходства, вашей суверенности, гасят всякую попытку того, что принято называть независимой духовной деятельностью, одним своим присутствием обесценивают все идеи, всем своим видом как будто говорят: не ломай голову, не задумывайся, всё есть как есть, а если что не так, уладится и забудется. Они не вызывают во мне плотского желания, какие уж там желания в мои лета, разве только смутную мечту прислониться, прижаться, уютно устроиться в большой чаше бёдер. И, напротив, существа малогрудые, узкие, длинноногие внушают мне недоверие; кажется, стоит такой женщине заговорить, и услышишь в её резком голосе насмешку.

Говорят, на таких женщинах, как моя гостья, вообще всё держится в нашей несуразной стране; я тоже так думаю. Если бы не они, всё бы давно развалилось. Россия — страна широкобёдрая, страна-чаша.

Видно было, что моя новая знакомая приготовилась к этому визиту, губы намазаны яркой помадой, глаза подведены, на ней было шёлковое платье с цветами, с какими-то бантиками, с глубоким вырезом, вид весьма безвкусный и по-своему привлекательный. Словом, женщина моей мечты. Возраст? Где-то между тридцатью и сорока.

«Что же ты стоишь, — сказал я, — садись».

Она опустилась на краешек стула, больше похожего на кресло, — вся эта мебель досталась мне от прежних хозяев, — сидела, скромно составив колени, сложив руки с каким-то, может быть, одолженным у кого-то ридикулем.

«Я говорю, всё как-то не вяжется, — продолжал я. — Не успел он выйти, как ты являешься. Как прикажешь это понимать?»

«Не пойму, о чём вы говорите. Кто — он?»

«Председатель, на моём так называемом чествовании. Разве вы не столкнулись?»

Она помотала головой.

«Ну, конечно. Ты и не могла его встретить. Извини, что задаю глупые вопросы».

Наступила пауза, я всё ещё не мог собраться с мыслями и смотрел на неё, не зная что ей сказать. А она по-прежнему сидела, выпрямившись, как примерная ученица, спокойно глядя на меня, ждала.

Я, наконец, обрёл дар речи.

«Вот я тебе, милая, кое-что сейчас расскажу... У меня была одна прихожанка, старая женщина, я иногда к ней заглядывал. Давно было дело. Она жила одна. Конец мая, начинается жара, она собирается переезжать на дачу, не могу ли я помочь ей. Нанять машину, грузчиков, что там ещё. Конечно, говорю, а сам думаю: Господи, куда ещё? Когда всё потеряно. Такая развалина. Тащится на дачу. Сидела бы дома. Мне в голову не приходило, что и старый человек вынужден жить. Понимаешь, *вынужден!*»

Маша (как-то само собой выяснилось, что её зовут Маша, Марья Верёвкина) внимательно слушала, еле заметно приоткрылись её полные губы.

«Кто ж вас заставляет?» — сказала она спокойно.

«Видишь ли, что я хочу сказать... — бормотал я, чувствуя, что теряю нить. — Я старик. Мне сто лет...»

«Скажете ещё», — она усмехнулась.

«Нет, я серьёзно. Многие так считают... Ну, хорошо, пусть будет семьдесят. Разве этого недостаточно?»

«Алексей Степаныч, — проговорила она вполголоса, опустив глаза. — Отец Алексей... Возьмите меня к себе».

«Ко мне? — сказал я. — Что же я буду с тобой делать? Что *ты* со мной будешь делать?»

Я пожал плечами, повернулся к фисгармонии, подумал, сцепив пальцы, размял кисти рук и заиграл. Что же именно я заиграл? «Камаринскую» Глинки, переложение для малого органа.

За спиной у меня послышался шорох, повеяло дешёвыми духами. Продолжая играть, я обернулся и, пожалуй, не слишком был удивлён, увидев, что она встала и прохаживается по комнате, пошатываясь, поводя плечами. Тут как раз закончилась медленная, плавная часть, свадебная песнь, несколько осторожных, выжидательных фраз, неуверенных шажков, и... ах ты, сукин-сын-кама-ринский-мужик! — всё засмеялось, зарделось, запрокинулось самозабвенно; Маша Верёвкина всплеснула руками, вскинула голову, топнула ножкой, колыхнула грудью и закружилась, надвигаясь, отступая, соединив руки кольцом перед собой, пошла павой, работала крепкими ногами, трясла платочком, порхала и отбегала, взлетали бантики, вспыхивал и веял её подол; и снова, и снова, пока дробь и перепляс не закончились громовым аккордом. Она повалилась в изнеможении на стул. Её глаза блуждали, горло раздувалось, грудь ходила вверх и вниз. Мы поглядывали друг на друга. В дверях, сложив большие руки на животе, молча взирала на нас Марья Гавриловна. Гостя обернулась, и обе дамы обменялись таинственными взглядами.

Я чувствовал себя измученным, точно сам отчебучил вместе с моей плясуньей, и, должно быть, то же происходило со старым почтенным инструментом, который никогда ещё не подвергался такому испытанию.

Она выскользнула вон, не прощаясь. Весь распорядок дня был нарушен. До вечера было ещё далеко, я улёгся на диван. Не ведаю, сколько часов пролетело, прежде чем, пробудившись, я увидел, что лежу в своей кровати в сумерках, в одном белье, под широким пледом, а из кухни, через неплотно прикрытую дверь падает свет и слышны приглушённые женские голоса. Собственно, слышался голос Марьи Гавриловны, а другой лишь поддакивал.

VII

Мне не поверят, если я скажу, что человеку моих лет могут сниться соблазнительные сны. Но что тут странного? Седина в бороду — бес в ребро; сенильная эротика, да-с. К счастью, у меня нет бороды. И, между прочим, все зубы пока ещё в порядке. Мы не отвечаем за наши сны. Решусь ли продолжить своё признание?

Блуждая в закоулках сна, похожих на безлюдные улицы чужого города, я набрёл на дом, который почему-то оказался моим собственным домом, там обитал кто-то, за тюлевыми гардинами горел оранжевый свет. Я толкнулся в закрытую дверь, нащупал кнопку звонка, но звонок не работал. Голос мой отказал, мне сдавило грудь, я не мог, сколько ни тужился, выдать из себя ни слова. И эта страшная мысль, что жизнь моя кончена, в моём доме поселились чужие, и никогда я не смогу быть рядом с женщиной, чьё имя я никак не мог вспомнить, но я знал, это была моя женщина, а теперь она живёт с другим, и никогда больше я не буду с ней, не войду в её тайные недра, как не могу войти в этот дом, где умерло моё прошлое. И, опустившись на ступеньку, я горько заплакал.

Скринула дверь, я поднял голову. Слезы всё ещё текли по моим щекам. Она вошла, — нет, вошли ноги, нагие, высокие и полные, и медленно

переступали, приближаясь. Я протёр глаза и, наконец, убедился, что это всё ещё был сон. Между тем кто-то на самом деле вошёл в комнату, босиком, в длинной ночной рубашке, сперва подумалось — Марья Гавриловна. Очевидно, что-то случилось и заставило её среди ночи войти в мою спальню. Но случилось другое: Маша Верёвкина молча остановилась передо мной — не то медлила, не решаясь сообщить новость, не то дожидалась, когда я подвинусь, чтобы дать ей место; склонившись, она коснулась губами моего лба, и тут я окончательно проснулся.

Занятия теологией (интерес к которой усилился, когда меня отлучили от службы) приохотили меня к некоторым, не вполне согласным с логикой моделям мышления; к тому же, как уже сказано, мы — я и тот, кто был или притворялся мною, договорились ничему не верить, хотя бы это и было правдой. Пала преграда между истиной и иллюзией, теперь это было одно и то же. Голова ночной гостьи покоилась на подушке рядом с моей головой, волосы щекотали мне ноздри, женщина лежала спиной ко мне, плотно вдавившись в мой живот, сквозь тонкую ткань я чувствовал её большие тёплые ягодицы, чувствовал, что они касаются моей плоти, но не испытывал вожделения, лишь обхватил рукой её талию. Она спала, и ей снилось — такое предположение отнюдь не выглядело неправдоподобным, — что, восстав от своего ложа, она бродит по незнакомой квартире.

VIII

Утром, прихлёбывая фальшивый кофе, я спросил Марью Гавриловну, верно ли, что Маша оставалась у нас ночевать. Она уклонилась от ответа.

«Что-то заставляет меня подозревать заговор», — мрачно сказал я.

Молчание. Я помешивал ложечкой в чашке.

«Сядьте же, наконец. Почему мы никогда не завтракаем вместе?»

Право же, вытянуть из неё лишнее слово не так просто.

«Кажется, я вас о чём-то спросил».

«Она хочет остаться, пускай остаётся», — был ответ.

«Да... но в каком качестве?»

Пожатие плечами и молчок.

«Марья Гавриловна, — сказал я с досадой, — вы здесь хозяйка. И, на мой взгляд, достаточно хорошо справляетесь со своими обязанностями. Что ей тут делать?»

«Будет вам вместо жены».

«Какой жены, о чём вы говорите!».

Она не ответила, и я почувствовал, что обсуждение данной темы закончено. «Она ушла?» — спросил я. И хотел было сказать: не пускайте её больше. Но почему-то хотелось, чтобы она осталась. Бог внял этой второй просьбе. Дверь в кухню неслышно приоткрылась. Маша, умытая, чистенькая, в белом платочке, скромно вошла и уселась напротив.

Впрочем, она уже завтракала. Вместе с Марьей Гавриловной.

Поколебавшись, я спросил, сколько я ей должен.

«За что?»

«Ну, гм...»

«Он думает, что...» — отнеслась она к Марье Гавриловне.

«Да ничего я не думаю», — сказала я.

«Хочешь, чтобы я к тебе приходила?»

Вновь, как тогда в парке, она обращалась ко мне на ты. Теперь это как бы удостоверяло fait accompli¹. Хотя бы постыдилась Марья Гавриловны. Но, Боже мой, ведь ничего не произошло. И, между прочим, я отлично выспался, со мной это бывает нечасто.

Тут я подумал: о чём я? Ведь в конце концов остаётся неясным, что подразумевалось под словом «приходить». Ночные визиты — или просто приходиться в гости?

На всякий случай я заверил её (и косвенно Марью Гавриловну), что она мне попросту приснилась.

Маша возразила: «Ты мне тоже снился».

Она вздохнула. «Эх, ты, — усмехнулась, — думаешь, я ради денег? Да мне плевать на твои деньги. Но раз такое дело, — развела руками, — не откажись!»

То-то, милая, подумал я. Так оно будет проще. И ещё, — бес в ребро, что ты будешь делать! — что Маша превосходно сложена: широкие бёдра, относительно тонкая талия.

Вслух я сказал:

«Поговори с Марьей Гавриловной. Она у нас заведует финансами».

С этими словами я оставил женщин, вошёл в мою рабочую комнату с книгами, иконами, письменным столом и фисгармонией, и принялся перелистывать бумаги, к которым давно не притрагивался. Время от времени я вставал и подбирал что-нибудь по слуху одним пальцем. Вопреки сказанному выше, вкус к учёным занятиям, под влиянием событий последних дней, оживился. Открою секрет: я работаю над проблемой вечности как атрибута сверхвременного бытия; по определению такое бытие противостоит времени — чудовищу, пожирающему всякую жизнь. Не буду пересказывать всего, что я набросал в это утро.

Остаток дня, вечер и ночь прошли без происшествий; на завтра тоже ничего примечательного. На третий день перед обедом я сидел, как всегда, в парке, в одиночестве, на моей любимой скамье, где, впрочем, всегда приходится подстилать газету. Откуда ни возьмись, воздвигся некто с плавающим взглядом.

«Здорово, папаша!» — омерзительным хриплым голосом.

Я взглянул мельком на мужика в кирзовых сапогах, бесформенных портках и ватной телогрейке.

«Есть разговор».

Я молчу, смотрю вдаль.

Он плюхнулся рядом. «Не признаешь меня?»

Усмехнувшись, пробую встать.

«Погодь, погодь... Мы с тобой, как бы сказать: свояки!»

«Иди проспись».

¹ Совершившийся факт (*фр.*)

«Ты муж, и я муж. А баба у нас одна!»

Короче говоря, это был тот самый тип, по имени Вася, на которого Маша Верёвкина плакалась, когда мы сидели на этой же скамейке.

«Узнал, чего скрывать... Надо бы, думаю, познакомиться. Дай петушка», — и протягивает мне корявую ладонь. Слыхал обо мне, и что Манюня живёт у меня, всё знает. Учёный, говорит, человек, на пианине играет. И деньги даёт, за что премного вас благодарим. «А я что, — продолжал он, — я ничего. Не возражаю! Мы не жадные. Можно и одолжить?»

«Что одолжить?» — спросил я.

«Жену, едрёна мать!»

«Вы разве зарегистрированы?»

«А какая разница! Ты мне только вот что скажи. Как мужчина мужчине. Тебе сколько годков?»

Мне показалось, что он скорее безумен, чем пьян.

«А чего — можно и в восемьдесят. Ты как считаешь? Я знал одного... Вы уж там устраивайтесь, не моё дело. Ты мне только скажи. Я никому! Как мужчина мужчине. Ты её, это самое... ну, в общем, она довольна?»

«Катись», — сказал я.

«Чего?»

«Катись отсюда. Чтоб я тебя больше не видел».

Не может быть, думал я, неужто всё затеяно ради того, чтобы давать на выпивку этому прощельге?

Он встал.

«Я почему спрашиваю. Она ведь ненасытная! В могилу может загнать. Папаш, — сказал он, — может, ты мне, как бы сказать, маленько подкинешь? Авансом, так сказать».

Я смотрел ему вслед.

«Ну и хер с тобой! — донеслось. — Со всеми вами... Эх-ы, путь-дорожка! Фронтная! Не страшна нам бомбёжка любая...» — запел он и пропал за поворотом

IX

...И повторилось то, что теперь уже стало обычным делом. Я завернулся в одеяло и призвал на помощь забвение. Тут она явилась. Босиком, подоткнув мой старый халате, который был ей велик. Я поднял голову — надо бы попросить, подумал я, у Марьи Гавриловны вторую подушку. Маша всё не ложилась.

Сон слетел с меня. Я сел, спустив ноги.

«Ты от меня скрыла, — проговорил я, — что деньги, которые я тебе даю, ты относишь этому Васе. А он их пропивает. Плюнь ты не него, зачем он тебе?»

Она опустила голову, в полутьме я не мог понять — кивнула или покачала головой.

«Ладно, оставим это... Ты не хочешь спать? Я тоже. Лучше я тебе сейчас кое-что расскажу».

Я уселся поудобнее.

Всё что непосредственно не касается быта, одежды, пропитания, словом, повседневных забот, ну и, конечно, половой жизни, — всё это женщин не интересует. Разве я не прав?

«Для тебя, — сказал я, — для вас всех интеллектуальные занятия мужчины, его духовные интересы — в лучшем случае пустое времяпровождение, а точнее, узурпация их прав. И, между прочим, как ни печально, в этом есть определённый резон».

Я схватил Машу за руку, повлёк за собой, и мы оказались в незнакомом помещении. С трудом я узнал комнату, которая служит мне кабинетом.

«Помнишь, как ты тут отплясывала?»

Два окна озарены мертвенным фосфорическим светом, за стеклами шевелятся тени. Лунный свет лежит на половицах. Поблескивают лики святых и стёклышки очков на письменном столе. Ты молчишь, пробормотал я. Она легко высвободила свою ладонь из моей ладони.

«Ты молчишь, и правильно делаешь. Потому что твой единственный и неопровержимый довод — это твоё тело...»

Я подвёл её к карте — каким-то образом тут оказалась на стене большая географическая карта. «Узнаёшь?» — спросил я. Она кивнула. Я пытался (и сейчас пытаюсь) соблюсти последовательность мыслей, не знаю, удалось ли это.

«Вот говорят: чтобы понять эту страну, её прошлое и настоящее, нужно в ней жить, долго жить, и лучше всего в глубинке... А я скажу так — и не думаю, чтобы это была уж очень оригинальная мысль: само собой, надо жить в этой стране; город наш — хоть не такая уж глухая провинция, но всё-таки. Однако этого мало, нужно жить с русской женщиной. Я вовсе не хочу сказать, что с женщинами живут ради того, чтобы познать эту страну, пропади она пропадом. Но дело в том, что это получается само собой. Раньше я думал, что всё знаю и ничего нового для меня нет и быть не может. А теперь как-то засомневался. Опять же это двойное существование, как будто я — два разных человека или вообще никто. Может, это естественно? Может, так и полагается у нас тут в России? И опять-таки жить надо не с какой-нибудь, а с женщиной такого сложения, как у тебя, Маша. Телосложение, видишь ли, играет огромную роль...»

Опять-таки я почувствовал, что говорю что-то несуразное, и поспешно добавил:

«Надеюсь, ты не сочла меня сумасшедшим?»

Халат упал, под ним была она сама. Она что-то пролепетала, я не мог разобрать. Губы шевелились, я скорей догадался, она хотела сказать: не здесь.

И мы воротились в спальню.

Х

Я стою у окна и обзираю скучную улицу — наш Тетерев переулок. Я один в квартире, никто ко мне давно уже не приходит. А Марья Гавриловна? О, тут особый сюжет.

Как-то утром она входит на кухню — я, как всегда, погружён в беспредметное раздумье над остывшим кофе, — входит с письмом в руках.

«Почитайте».

Я разглядываю марку. Конверт вскрыт.

Пишет некая Маргарете Краузе из города Ремаген.

«Марья Гавриловна, вы же знаете немецкий язык. Или забыли?»

«Не забыла».

Кто такая эта Краузе? Дочка, пояснила Марья Гавриловна. Чья дочка?

«Алексей Степаныч, — сказала она. — Какой вы всё-таки непонятливый».

Я встал и вернулся с атласом. Мы отыскиали городок на Рейне.

«Так, — сказал я. — И что же?»

«А вы читайте».

Маргарете сообщала, что её отец вернулся, отыскал семью. Дом был разбомблён, но она ничего этого не помнит, ей было полтора года. У Греты есть два брата постарше. Она сама тоже считала жену майора своей матерью. И только перед смертью — отец умер три месяца тому назад — он рассказал ей.

Дальнейший наш разговор с Марьей Гавриловной я пересказывать не стану, как они её разыскали, тоже не буду объяснять. Упомяну только, что в этот день я узнал ещё одну новость. Маша Верёвкина вернулась к своему Васе.

«И правильно сделала».

«Почему? Вы знаете, что это за человек?»

«Да кто бы ни был. Для вас лучше. Она бы вас уморила. В вашем возрасте это опасно».

«Что опасно?»

«Всё».

Меня, однако, больше занимало письмо из Германии. К письму был приложен официальный вызов. Дочь и приёмная мать приглашали Марью Гавриловну в гости.

«Поедете?»

Она промолчала, и я уже ни о чём её не расспрашивал. Она поехала в Петербург, провела там в хлопотах и очередях целую неделю и вернулась с гостевой визой.

Я проводил Марью Гавриловну на вокзал.

Мы стоим на перроне.

Я знаю, что она не вернётся, машу ей рукой.

НИНА КУПЦОВА

Бывают дни, когда как будто ничего не происходит. Иные события вовсе не кажутся событиями. Так было, когда в доме поселилась Нина Купцова.

Мы, конечно, понимаем, что стоит только заговорить о знакомстве мужчины и женщины, как рот наполняется слюной: фантазия читателя — или, может быть, следует говорить о недостатке фантазии? — мгновенно прокладывает рельсы, по которым, как поезд по известному маршруту, должна прокатиться вся история: конечная остановка — постель.

Ничего подобного. Молодой человек, снимавший каморку в полудеревенском доме на улице Александра Невского, не был одержим столь разнужданным воображением. Правильней будет сказать, что он стыдился женщин или, что то же самое, стыдился самого себя. Вдобавок он был занят. Каждое утро он выходил во дворик справить нужду и совершить обряд гимнастики; тут же, если это было тёплое время года, находился умывальник. Позавтракав чем Бог послал, он направлялся с чемоданчиком, где лежали его тетради и белый халат, к трамвайной остановке, под вечер возвращался. Вряд ли кто-нибудь в этом сонном Заречье толком знал, кто такой был святой благоверный князь Александр Невский, но, по крайней мере, пожилым людям название могло напомнить о кинофильме. Вдоль проезжей части по обе стороны улицы тянулись кюветы. Вы поднимались на крыльцо, входили в сени, слева помещались покои хозяйки, справа обитал Володя. Узкая лестница вела в мезонин.

Когда возникла Нина Купцова, когда появилась в городе? Годы спустя припомнить было невозможно, история оказалась погребена под завалами памяти. Подчас мы вспоминаем не то, что было на самом деле, а наши собственные воспоминания, и это похоже на кружение в зеркалах.

Он случайно столкнулся с соседкой утром во дворе, она выходила из дощатого домика, в коротком халатике с пояском, подчеркнувшим хилые бёдра. Вернувшись в сени, он увидел её голые ноги, поднимавшиеся по лестнице. На другой день она снова встретилась ему во дворе, пробежала мимо с преувеличенной, как ему показалось, скромностью; потом ещё раз. «Вы учитесь в медицинском?» — спросила она, стоя на нижней ступеньке, и после этого студент её не видел. Она исчезла так же внезапно, как и явилась. Уехала, как позднее выяснилось, домой, к родителям в Савватьевский район, в несусветную глушь. И больше он о ней вроде бы не вспоминал.

Как вдруг однажды вечером к нему постучались. Он поднял голову от книг. Была уже осень, на столе горела керосиновая лампа — отключили ток. Или, может быть, ещё не успели провести электричество в Заречье. В комнату ворвалось какое-то дуновение, слабый ветер шевельнул страницы, но

было ли так на самом деле или то, что затеялось позже, овеяло тревогой незначительный инцидент, придало ему особое значение? Решить трудно, ведь память всегда осложнена тем, что случилось п о т о м.

Это была она, и вновь ему показалось, что тут скорее делают вид, будто стесняются своего вторжения.

Она была небольшого роста, бледная, худенькая, пожалуй, даже болезненная, чем отчасти оправдывалась цель её визита. Мелкие черты лица, короткие, негустые и почти бесцветные волосы, — скользнув по ней глазами где-нибудь на улице, тотчас забудешь.

Она, наверное, помешала? «Вы такой...» — «Какой?» — спросил он. «Так много занимаетесь». Студент пожал плечами, указал на вторую табуретку. Нет, она только на минутку.

«А что случилось?»

«Болит. Всё время колет, вот здесь».

Студент спросил: давно ли? При физических нагрузках или в покое? Есть ли одышка? В этом семестре начались занятия в клинике, пропедевтика внутренних болезней. Прежде чем приступить к осмотру, необходимо выслушать жалобы и собрать анамнез.

Получив неопределённый ответ, он встал, положил на кровать чемоданчик и вынул новенький фонендоскоп. Вставил в уши металлические рога, постучал пальцем по эбонитовой чашечке. Нина стояла лицом к свету, её глаза блестели, похоже было, что она действительно волнуется. Она подняла кофточку, показался нижний край лифчика. Студент деликатно отодвинул край лифчика повыше, приложил фонендоскоп к точке выслушивания митрального клапана, услышал мерные, гулкие, несколько учащённые удары, затем к точке трикуспидального клапана, теперь здесь, сказал он, имея в виду обе верхние точки — клапаны аорты и лёгочной артерии. Она подтянула кофточку к ключицам, придерживала подбородком, пряча в ладонях чашки тесного бюстгальтера. Врач должен уметь, осматривая больную, отделиться от посторонних мыслей. Володя вынул из ушей рога фонендоскопа, повесил на шею. Тоны сердца, сказал он, ясные, ритмичные. Шумов нет.

Засим должны были последовать рекомендации, назначено лечение, но стало ясно, что надобности в советах нет. Она что-то лепетала, оправляя одежду, дескать, очень была напугана, но теперь успокоилась. В награду студент был приглашен в воскресенье на день рождения.

Он вернулся из города, когда всё было уже готово, стол накрыт у хозяйки, тётки Груши, которой Нина приходилась дальней роднёй. Шёлковый оранжевый абажур, недавно приобретенный (значит, электричество всё-таки существовало), освещал крахмальную скатерть, рюмки, вилки, тарелки с ломтиками сыра, копчёной колбасы, розоватого свиного сала, графин с водкой, настоянной на лимоне. С подарком в руках студент стоял на пороге, поспешно посторонился — Нина Купцова, неожиданно высокая на длинных, как корабли, лакированных туфлях, в пестром фартуке поверх крепдешинового платья с подкладными плечами, несла в тонких оголённых руках чугунную сковороду с глазуньей. Все уже накладывали себе еду, была чинно выпита первая рюмка и заедена салцом, и тётя Груша утирала паль-

цем уголки морщинистого рта, и виновница торжества, поглядывая на Володю, опускала и поднимала густо накрашенные ресницы, когда явилась ещё одна гостья с великолепным приношением — дочь хозяйки, работавшая на кондитерской фабрике. Картонную коробку поставили на стол, распустили шёлковую ленточку. Именинница всплеснула ладонями, на жёлтой маслянисто-кремовой поверхности торта было выложено шоколадное число: 20.

Сидели: тётя Груша с именинницей по одну сторону, дочь тёти Груши с Володей по другую, так что студент и Нина оказались напротив друг друга. Ещё не рядом, что означало бы некую степень официальной близости, но как бы на полпути. Тут он почувствовал, как маленькая ступня, выпростанная из туфли, ищет его колено. При этом Нина, порозовевшая, с блестящими глазами, оживлённо болтала, не глядя на него.

«А вот я вам чего расскажу», — прервала её тётя Груша.

Нога старалась попасть между коленями. Кажется, Нина даде слегка откинулась, отчего нога под столом удлинилась. Он незаметно опустил руку, хотел схватить. Нога отпрянула.

«Бывало, сядем на крыльчке, ночь такая звёздная! А я шевутная была».

Игра под столом возобновилась.

«Ишь, говорит, чего задумала — купаться, в этакую темнотищу».

Дочь хозяйки крутила ручку патефона. Послышалось шипенье, задрезжал допотопный эстрадный ансамбль. И — о, минувшие годы, дорогие сердцу воспоминания! — сладко-завлекательный тенор всколыхнул душу. «Я-а-а пришёл в беседку. Где с тобой встречались!» — то был дивный Вадим Козин, довоенная знаменитость. К несчастью, имя это ничего не говорило студенту.

Тётя Груша пригорюнилась, подпёрла щеку ладонью. Гость с хозяйской дочкой прошлись туда-сюда, дама была крупная дородная женщина, выше Володи, норвила сама вести кавалера, и вообще ничего не получалось из танца.

«Да ну его», — сказала дочь тёти Груши и остановила патефон.

«Чай, что ли, подавать?» — спросила она. Нина исчезла — стены, фотографии, занавески на тёмных окошках — медленно поворачивалась. Часы рядом с портретом молодожёнов прокуковали сколько-то раз. Тётя Груша, держа во рту шпильки, закручивала узелком серые волосы на затылке. Дочь сняла со стены гитару, перевязанную голубой лентой. На столе перед хозяйкой поставили полную рюмку.

Нина стояла на пороге, на ней был снова пестрядинный передник. Тётя Груша, с гитарой на коленях, перекрестилась, взглянула на именинницу, «за тебя, девушка, дай тебе Господь», — медленно выпила, возведя глаза к потолку, утёрла губы и ударила по струнам.

Дррынь! Руки в боки, тта, тта, тта, — Нина Купцова, отшвырнув в сторону туфли, стуча пятками, качая бёдрами, подъехала к гостю, студент встал, но он не умел плясать русского. Перешли, не попадая в такт, на танго. Она извивалась в его руках. Тут, однако, обнаружилось нечто такое, в чём

невозможно было усомниться, да, по правде сказать, и не слишком удивившее. Под передником не было бюстгальтера, и вообще не было ничего. Он держал Нину повыше талии, стараясь не уронить, и чувствовал под пальцами её лопатки. Почти непроизвольно его рука опустилась к завязанному бантиком узлу передника, ниже двигались её прохладные ягодички. Ноги в паутинных чулках послушно следовали за его шажками. Хозяйка словно ничего не заметила, гитара дребезжала вовсю. Дочь, вместо того, чтобы пить чай с тортом, который уже начал плавиться, улетала что-то принесённое с кухни Ниной, мутно поглядывала на танцующих. Много лет спустя всё это представлялось каким-то сновидением.

«Жарко было, вот я и сняла». Оба сидели на кухне. Нина успела вновь облачиться в платье с крупными цветами.

«А как же они?» — спросил он несколько невпопад.

«Что — они?»

«Как же они?..»

«Да никак. Небось, пьяные обе. Может, ты чайку хочешь?»

Из комнаты, где остались мать и дочь, не доносилось ни звука.

«А ты, может, чего подумал, — сказала она насмешливо. Он не знал, что ответить. Нина вздохнула. — Чтой-то я не в себе. Вроде бы не пила много. Пойти спать, что ль».

Помолчали.

«Надо бы искупаться», — сказала она вдруг.

Студент воззрился на неё.

«А чего. Я ночью люблю купаться».

Да ведь холодно, осень, хотел он сказать.

«Ничего, мы закалённые. Пойдёшь со мной?»

Рюмки, тарелки с остатками еды, растерзанный торт — всё осталось на столе, одиноко стояла в углу гитара, дочь ушла, хозяйка отправилась на покой. Четвёртый час ночи в начале. В полутьме Нина Купцова бодро — ни в одном глазу, — мелкими женскими шажками спешила по улице Александра Невского вдоль спящих домов, мимо канав и мостков, студент едва попевал за ней. В этом есть определённая логика, думал он. Если вот так, шаг за шагом, она обнажается всё больше перед ним, то ведь это должно что-то означать. Улица растворилась в ночном тумане, пропали фонари, что-то хлопает под ногами. Куда-то повернули, увидели призрачный блеск воды.

Подожли к полусгнившей скамье. «Отвернись».

Студент смотрел на неё, как зачарованный. Отвернись... Но ведь я обнимал тебя, и на тебе ничего не было. Действительно ли она танцевала с ним в одном переднике? Хмель выветрился, и теперь уже не было полной уверенности.

«Баб не видал, что ли, — проговорила она спокойно. — Ты же врач».

Бр-р-р! Пошатываясь и балансируя тонкими руками, она входила в воду, бросилась вперёд, уверенно поплыла и через несколько мгновений исчезла, слышался только слабый плеск.

Володя стоял в трусах, стуча зубами, и не решался последовать её примеру. Вода казалась ледяной. Господи, как же называлась эта речка, где-то

неподалёку она вливалась в Волгу. Он поплыл. Нины нигде не было видно. Наконец, он увидел фигурку, белеющую на берегу. Он вышел ей навстречу. Они были одни, словно первые люди на земле. «Ну уж нет, — пробормотала она, — этого ещё не хватало. Убери грапки». Сопротивляясь, она откинулась и на мгновение прижалась лоном. Словно хотела убедиться — убедиться в чём? Он всё ещё боялся оскорбить её невинность. Молча поплыли назад.

Наутро, с трудом поднявшись, не завтракая, он поплёлся на занятия, вечером и на другой день не видел Нину, она снова уехала. К кому, спросил он. Не к родителям же. Кто-то её там поджидал, местный какой-нибудь ухажёр. Мгновенно всё стало ясно. Она сбежала в город от его домогательств. Но он успел покорить её сердце, и вот, не выдержала, полетела назад, будто бы повидаться с родными, а на самом к нему. И там, наконец, ему отдалась. Что ж, — и он зловеще усмехнулся, — если она приедет снова, он не будет больше таким мямлей. С «ними» надо быть решительным. Он брёл со своей группой по коридорам клиники, слушал и не слушал объяснения ассистента, и представлял себе, как он поздним вечером поднимется в мезонин. Нина будет уже в постели. Ах, ах, это ты... Да, я!

Как это он не догадался: она хотела, а он всё не решался. Была уже согласна, а он медлил. Нельзя иначе толковать все её штучки, как готовность сойтись. И он почувствовал — что-то сдвинулось, он уже не думал о том, что она где-то с кем-то. Ревность уступила место одной единственной мысли. Всё сосредоточилось на этом. Он разжигал себя. Без конца вспоминал, как она прижималась низом там, на тёмном берегу. Во всех подробностях воображал свидание в её комнате. Только бы дожждаться её возвращения. Но проходили дни, Нина не появлялась. Так и осталась навсегда в своей глухомани. И время охладило Володю, он всё реже думал о Нине Купцовой, и стало даже неприятно вспоминать эту вакхическую ночь. Вероятно, это был первый шаг к тому, чтобы она, наконец, превратилась в нечто малоправдоподобное, небывшее. Была глубокая зима. Снег скрипел под ногами. Огни трамвая показались в сизом тумане, толпа на остановке готовилась к штурму. Втиснувшись, он стал у окна на задней площадке, над змеящимся, заснеженным рельсовым путём. Выехали на каменный мост, город раздвинулся, внизу расстиралось белое поле реки с дорожками пешеходов, и вдали, у излучины, белела, темнела, безглавая башня монастыря. Трамвай затормозил на другом берегу. Здесь больше сходило народу, чем входило. Нина подошла к нему.

Да, это была она, в шапке-ушанке, в форменном пальто и чёрных валенках с галошами. Из подшитых перчаток высовывались два пальца, большой и указательный, чтобы удобней было отрывать билетки и отсчитывать мелочь, на груди у Нины висели бумажные рулончики, на животе кожаная сумка. Ваш билет, сказала она.

Пассажиры смотрели на неё, открыв рот. Она повторила:

«Билет предъявите».

«У меня нет билета».

«Платите штраф».

«Нина, — проговорил он. — Откуда ты?»

«От верблюда. Нет денег — ходи пешком».

Она высунулась из вагона, громко заверещал её свисток. Студент ждал, что будет дальше. Можно было удрать, он медлил. Трамвай стоял на остановке. Милиционер подошёл к подножке. Нина сказала:

«Извини, сержант, побеспокоила. Безбилетный попался, не хотел платить штраф».

«Заплатил?»

«Заплатил, куды ж он денется».

«То-то же», — сказал сержант, смерив глазами студента. И трамвай тронулся.

«Чего ж так обеднял-то», — бросила она и двинулась валкой походкой к переднему входу. Студент спрыгнул на ходу перед поворотом на главную улицу, которая, как все главные улицы во всех городах, называлась Советской.

Город был не мал, но и не так уж велик. Как положено, на центральной площади, посреди цветника возвышался алебастровый вождь мирового пролетариата. В пяти минутах ходьбы, на месте бывшего собора, находилась вторая площадь, где тоже стоял памятник — теперь уже невозможно вспомнить, кому. За оградой — здание медицинского института, а напротив, по другую сторону от площади, импозантный дворец, там, как утверждали, царица Екатерина останавливалась на пути из одной столицы в другую. Необъяснимым образом дворец уцелел в войну. И всё так же торчал вдали, где река, изгибаясь, образовала полуостров, в своём жалком величии остов древнего монастыря.

Время от времени, когда ветер менял направление, город окутывало желтоватое облако. Дыхание чрезвычайно важного, секретного химкомбината, которому город был обязан районом новостроек, изменило облик горожан, лица мужчин сделались жёстче, мрачней, проступили северные угро-финские черты, а у женщин, всё ещё сохранивших среднерусскую мягкость, лица стали бледней и прозрачней. Володя приехал из столицы — здесь было легче поступить в институт, — кое-что знал из истории здешних мест. Город был едва ли не старше Москвы, некогда оспаривал у Владимира великокняжеский стол. Сколько-то веков тому назад дружина здешнего князя расколошматила рать татарского хана Кавгадая, победила его союзника, московского князя Юрия, но полегла и сама. С той поры войны в остроконечных шлемах поднимались из могил всякий раз, когда городу грозил набег и гудел набат. Давно уже нет набатного колокола, ничего не осталось от собора. Никто не вышел из-под земли страшной осенью сорок первого года. Дважды город на Волге был разрушен, сперва отступавшие взорвали всё, что успели, остальное погбило в уличных боях, когда наши вернулись. И теперь город отстраивался заново, но уже по-другому.

Вечером, воротившись домой, студент ожидал увидеть Нину, где же она, спросил он. «Нина твоя здесь больше не живёт», — мрачно ответствовала тётя Груша, и больше ни слова.

Глядя в пол, он спросил:

«А где же?»

«Что где?»

«Где она теперь живёт?»

«Я почём знаю». И надо же было случиться, что, сойдя на другой вечер с трамвая на остановке Александра Невского, он столкнулся с ней.

Она была всё в том же трамвайном пальто и валенках с галошами, но вместо ушанки на ней была низко надвинутая вязаная шапочка колпаком; концы волос закрывали щёки, придавая Нине детский вид; мельком взглянула на него и перевела взгляд на толпу.

Он спросил, трудно ли работать кондуктором.

«А я там больше не работаю!»

Почему, спросил он.

«Да ну их. Надоело».

«Ты... — он замялся. — Ты кого-нибудь ждёшь?»

«Тебя, кого же».

Он сказал: «Неправда».

Подошёл следующий трамвай, снова вывалилась толпа, и опять она искала глазами кого-то. «Ну, я пошёл», — пробормотал он. Нина остановилась.

«Замёрзла я чтой-то. Ещё простыну. Проводи, раз такое дело».

«Да не так, — говорила она, — учить тебя надо... — Оба неловко шагали по узкой дорожке вдоль засыпанной снегом канавы. — Девушку надо взять под руку. А то ещё шлёпнусь, не дай Бог».

Сумерки сгустились, это была улица, соседняя с Александром Невским. Улица называлась Канавка. Дом был поменьше, чем у тёти Груши.

Поднялись на крыльцо, у Нины свой ключ, там сени, потёмки, глухая тишина. Скрипнула дверь, щёлкнул выключатель. Глазам предстали хоромы. С потолка, вся увешанная сосульками, свисала, допотопная люстра, тусклое призрачное сияние озарило портреты в облупленных рамах, выставку икон в красном углу, старинный резной комод и обширную кровать с затейливым изголовьем, с подушками горой и сероватым кружевным подзором. Нина сидела в разлапистом кресле, студент опустил на колено, стянул с неё валенки. Она подтягивала чулок, высоко подняв ногу, поправляла подвязку.

В комнату, неслышно подкравшись, заглянула щербатая старуха-горбунья... Студент поднялся с пола, Нина одёрнула подол

«Брат приехал, бабушка».

«Откеля?»

«Из Москвы, бабушка».

«Нешто у тебя в Москве брат?»

Хозяйка водила утиным носом, приглядывалась, приноживалась.

«Мы, бабушка, чай будем пить».

«Здесь нельзя».

«Чего нельзя?»

«Ночевать нельзя. Вишь ты, брат приехал», — и зашлёпала прочь.

Откуда это всё, думал студент, оглядывая комнату. Нина Купцова объяснила: из деревни. Там у них помещики жили, вот она и нагрестила.

«Тут ещё в комодке куча разного добра, хочешь, покажу?»

«Ты хотела чай».

«Успеется».

Выдвинула нижний ящик и рылась там, похихикивая.

«Вот! — она объявила, поднимаясь с колен, держа что-то воздушное, невесомое. — А теперь закрой глаза... Или нет, лучше выйди. Говорят тебе, выйди! Я позову...»

Он вошёл через минуту, и обомлел, увидев её совершенно нагую в большом поцарапанном зеркале над комодом. Оглянулся — Нина сидела на кровати, опираясь ладонями голых рук, скрестив ноги, на ней было белое полупрозрачное платье на бретельках, с кружевами на груди, а вернее сказать, ночная рубашка. Тотчас она встала, босиком, в длинном и, очевидно, рассчитанном на крупную женщину одеянии, едва держащемся на плечах, покачиваясь, балансируя худыми руками, прошла по комнате. В этом и заключалась загадка зеркала: двуязычный иероглиф пола никогда не может быть расшифрован до конца. Володе (как он рассказывал нам спустя много лет) не приходило в голову, что одежда не прячет женскую наготу — напротив, выставляет её напоказ. Нина в рубашке казалась обнажённой больше, чем если бы на ней вовсе ничего не было. До некоторых банальных истин приходится добираться самому.

Спектакль продолжался ещё некоторое время, к тусклому свету с потолка прибавилось её свечение. Наконец, она плюхнулась на кровать. В сильном волнении он подошёл к ней и спросил:

«Тебе не холодно?»

Она тоже была взволнована. Увы, не от предвкушения того, что должно было, наконец, произойти. Волновало, и будоражило, и будило в ней женщину то, что было на ней. В сказочной кружевной рубашке, должно быть, показывалась любовнику какая-нибудь «принцесса». Нина Купцова почувствовала себя на сцене. Загадочная, манящая, доступно-недоступная, она принадлежала всем этим сотням восхищённых глаз, но никто не смел к ней подняться, коснуться её рук, плечей, бёдер. Вскочив, она подбежала к комоду, впилась в волшебное стекло, медленно, приподняв рубашку кончиками пальцев, поворачивалась, водила головой, приближалась и отступала. Это занятие настолько увлекло Нину, что она чуть не оступилась, с опаской взглянула на гостя, словно только сейчас вспомнила о нём.

«Ну ладно... — пробормотала она, — коли уж так вышло...» — снова села на кровать, и в зеркале — странным образом то и дело тянуло в него заглянуть, словно там откроется ещё что-то, — в зеркале отразилось её лицо, часто дышащий рот, металлический блеск глаз — ведьма, суцая ведьма! Ясно, что ею руководил не расчёт, а то, что движет ведьмами и заменяет им рассудок. «Чему быть, тому не миновать!» — сказала она значительно более твёрдым голосом, расправила на коленях полупрозрачную ткань, спустила бретельки, высвободила тонкие руки. Совсем уже было улеглась.

Проклятье! Она оттолкнула Володю.

«Почему?» — тупо спросил он.

«Потому. — Выгнув шею, показала глазами на дверь. — Бабка».

«Что бабка?»

«Стоит там».

«Нет там никого!»

«Всё равно нельзя. А то закричу».

«Ну и кричи», — зло возразил он. И опять кончилось ничем, во тьме студент плёлся из одной улицы в другую, по обледенелым дорожкам, мимо слепых изб, наутро отправился в институт, пылал презрением и не мог ни на чём сосредоточиться, не мог думать ни о чём, кроме шутовского парада полунаготы и злорадного, как теперь казалось, выражения на лице Нины Кушковой.

Эндокринное существо, вместо мозгов всем правят железы внутренней секреции: яичники, щитовидная железа. Ясно, что не девушка, кто-то её уже пробуравил. Ему нравилось быть грубым в разговоре с самим собой. Чего ж она тогда кочевряжится? Это упорное сопротивление... Студент стал опаздывать, а потом и вовсе перестал ходить на лекции, сидел в одиночестве на скамейке в городском саду, продрогнув, вставал, бродил по пустынным аллеям, снова садился. Эта страсть и унижала, и возвышала его. Он оказался в мифологическом пространстве, где нет случайностей и нет свободы решений. Все и он сам были участниками немого заговора, всё наполнилось тайным смыслом, события подстерегали за каждым углом. И это жалкое существо, провинциальная барышня, дрянь, которая сама не знает, чего хочет, эта худосочная, анемичная девица с испитым лицом, с соломенными волосами, с недоразвитой грудью, смешно сказать, была всему причиной. Сама того не подозревая, она несла в себе весь смысл. Нет, она сама была этим смыслом. При всем её ничтожестве. Он думал о том, что было бы, если бы она явилась, вдруг показалась бы за поворотом аллеи, почуввав тёмным женским инстинктом, чутьём вороватого зверька, что он здесь, — если бы она показалась, — он шагнул бы навстречу, тяжело, по-мужски, и выложил бы ей всю правду о ней. Ему даже показалось, что объясниться важнее всякого обладания. Объясниться — и привет. Выйдя из горсада, он побежал наперерез трамваю, на ходу вскочил на площадку и поехал в Заречье, на улицу под названием Канавка.

Он не знал номер дома, шел мимо окон в глухих занавесках, запертых ворот, заборов, наугад вступил на крыльцо, никто не отозвался на его стук. Сошёл со ступенек, но что-то заставило его снова подняться. Голос за дверью спросил: чего надо? Любопытство победило страх, проскрежетал ключ, отщёлкнулась задвижка. Горбатая бабуся с птичьим носом и провалившимся ртом показала в просвете. Он повторил свой вопрос.

«А ты кто будешь?»

«Вы, наверно, меня помните».

«Брат, что ль? Нетути её».

«А где она?»

«Почём я знаю. Таскается где-то».

«Что ж, она больше не живёт у вас?»

«Вроде бы живёт».

«Ночует?»

«Когда ночует, когда нет, почём я знаю? Я ей не указ».

«Как же это вы не знаете, — сказал он с досадой, — деньги за квартиру она платит?»

«Кабы не платила, кто ж бы её пустил».

Он продолжал расспрашивать: может, поехала домой? Дверь захлопнулась. Студент пошёл к реке, дошёл до старого моста. Он бродил по городу до изнеможения. С некоторых пор призрак Нины стала попадаться ему то там, то здесь, она спешила в толпе на другой стороне Советской, мелькала в окнах трамвая, однажды он чуть не догнал её. Наведывался в дом на Канавке, ему не открывали. Старуха подглядывала за ним из окошка. На сессии он завалил подряд два экзамена, грозило отчисление.

Это должно было чем-то кончиться. С этим надо было что-то делать. Либо порвать окончательно с институтом, вернуться к матери — и, чего доброго, загреметь в армию! Либо... но тут оставалось только пожать плечами. Он был всё-таки разумный человек и медик. Попытаемся, сказал он, трезво оценить ситуацию. Назвать это любовью? Не ум и не чувство управляли этой более чем заурядной девицей, и пробудить она могла только элементарное влечение. Если бы она сдалась, наваждение рассеялось бы в одно мгновение. Он увидел бы, с кем он имеет дело.

Назовём вещи своими именами, фрикция о стенки влагилица раздражает поверхностные рецепторы. Поток нервных импульсов вызывает сокращение мышц, и происходит семяизвержение. И вот так же выплеснется вся любовь. Женщина это знала каким-то тёмным знанием: стоит только уступить, как к ней потеряют всякий интерес. Собственно, этим и объяснялось её поведение.

Всё просто! Но что-то уж слишком просто.

Володя не был склонен к самоанализу и скорей всего осознал это много позже. Веление пола, дымящее чёрное пламя, называйте, как хотите, — всё-таки не последняя истина. Под ней таится тоска одиночества, жажда общения и тепла, — не правда ли, только самоотверженная женственность способна разбить эту скорлупу. Каким-то уголком мозга, как видят краем глаза, он, может быть, и догадывался, что принимает позу возвышенного страдальца, которого спасает подруга, — мы бы сказали, классическую позу, — но тут уже начинаются дебри, куда Володя, с его простой душой, не дерзал забираться. Когда в сотый раз он пытался представить себе, как войдёт в его жизнь Нина Купцова, его фантазия кружилась, как бабочка у огня, вокруг заветного мига — и не дальше.

Мы спросили, не приходила ли ему в голову самая обыкновенная мысль. «Приходила», — сказал он. Конечно, у него не было никакого опыта, к тому же не следует забывать, что в те времена начинали половую жизнь гораздо позже, чем теперь. Да и не было в нашей стране, по крайней мере, узаконенной проституции. Но он знал одного парня на курсе по фамилии Плюхин, бывалый человек, он усмехнулся: а чего тут такого, приходи вечером на пяточок. — А сколько это стоит? — Она сама тебе ска-

жет. Да ты не бойсь, много не возьмёт. Володя, однако, боялся не столько дороговизны, сколько опасности заразиться. Приятель успокоил его. Хочешь, я с тобой пойду?

Пришли, это было место, куда сходились аллеи сада. Горели фонари, в ярком сумраке на дощатой эстраде гремел и дудел духовой оркестр, толкались пары. Ну как, девочки, прошвырнёмся? — сказал Плюха. Он взял за руку одну из них, и они отправились танцевать. Володя остался один. И вдруг он увидел её, она шла с военным. Она сделала вид, что не заметила его. Принадлежала ли она к той же компании?

Несколько времени спустя они встретились.

«Здравствуй, Нина», — сказал он.

Он шёл по набережной, без всякой цели, и увидел её у парапета.

Она откликнулась: «Здравствуй» — спокойно, не поворачивая головы. На ней была кокетливая модная шляпка, щёгольские сапоги, узкое, в талию пальто,

Наступило молчание. Наконец, он вымолвил:

«Я не могу понять».

«Чего ты не можешь понять?» — тем же спокойным, почти равнодушным тоном.

Он хотел сказать, что не понимает, чего она от него хочет. Куда она исчезает время от времени. Откуда у неё эти модные тряпки.

Нина вздохнула. «Мне пора».

«Куда?»

«Много будешь знать».

«Постой, мы ведь даже не поговорили».

Ответа не последовало, он смотрел на её удаляющуюся фигуру, глянцевые сапожки, он не стал её догонять, — чего ты за мной увязался? — это было бы окончательным унижением. Зато его осенила другая мысль, судьба кивнула напоследок. Весна была уже в полном разгаре. Площадь перед автовокзалом была забита народом, люди метались, теснились вокруг автобусов с детьми, с чемоданами, с продуктовыми сумками. В зале перед кассами тоже не протолкнуться. Студент изучал расписание. Он смутно представлял себе, где находится Савватьево. Железной дороги там не было, автобусом ехать шесть часов, да и то, скорее всего, лишь в хорошую погоду. Прибытие поздно вечером, а ведь надо ещё выяснять в адресном бюро, если оно там вообще существует. Так или иначе, на рейс сегодня он опоздал. Он выбрался на волю, тут его окликнули

«Куда это собрался?»

Он обернулся. Сердце заколотилось, как бешеное.

«К тебе», — сказал он, задыхаясь.

«Вот так здорово. Куда ж это?»

И, услышав ответ, она звонко расхохоталась.

Оказалось, родители больше там не живут, — если только она говорила правду. Где же они? У крёстной в Калининграде. И снова смех.

«А ты?»

«Что я?»

«А ты, — спросил он, — куда собралась?»

«Никуда. Передумала. Тебя увидела и передумала».

Свежий ветер с реки, только что пронёсся дождь. Солнце сверкает в лужах. Счастье, счастье снова её увидеть! Двинулись куда глаза глядят.

Позвольте, однако: тут было что-то не то. Если родители переехали, то зачем же она туда направлялась? Он сказал:

«У тебя там кто-то есть».

«Где?»

Она шла, старательно обходя лужи.

«Я хочу знать».

«Что ты ко мне привязался. Может, и был кто, а теперь нет».

Вяснилось, что она по-прежнему обретается на Канавке. Что касается попыток выведать её тайну, итог был неопределённый, как всё у Нины Купцовой. Вела ли она, в самом деле, какую-то вторую жизнь? Видимо, был всё-таки кто-то, это можно было заключить из смеси хихиканья, передёргиванья плечами, презрительных реплик, всяческих «чего привязался», «скажешь ещё», «да пошёл ты», — на минуту она как будто даже согласилась: офицер или курсант военного училища, познакомились на танцах, когда он приезжал на каникулы. Откуда приезжал, уехал ли, неизвестно. Чего доброго, савватьевский земляк. Видится ли она с ним по-прежнему? Понять невозможно. Не говоря уже о том, что офицер мог быть чистой выдумкой. Для этой девушки не существовало границы, отделяющей правду от лжи. Но зато они шли рядом.

Не хотелось идти домой, ничего не хотелось, лишь бы бродить вдвоём, но и тут его подстерегала неожиданность. Не сразу, в кривых переулочках, где город уже вовсе не был похож на город, по ту сторону железной дороги, отыскалась церквушка. Покопавшись в книжках, можно было бы узнать, что церковь древняя, чуть ли не татарских времён. Остаётся загадкой, как она уцелела.

Я сейчас, сказала Нина. И вот тянется время, а её нет. Опять она обвела его вокруг пальца! Наконец она вернулась, за ней мелко семенила, глядя в землю, тётка, похожая на монашку. Поднялись на узкую паперть, заскрежетал ключ, вошли в каменную полутьму, провожатая пропала, они остались одни. Нина ходила вдоль стен, усердно крестилась и прикладывалась к иконам, взяла с лотка тонкую, наподобие елочной, свечку, положила монетку. Искала, куда приспособить свечу.

Вышли, шурясь от яркого солнца. Он спросил:

«Ты хотя бы знаешь, что там нарисовано?»

Она помотала головой.

«А ты вообще в Бога веришь?»

«Не-а».

«Чего ж тогда».

«Так. А вдруг он есть?»

Помолчав, студент проговорил:

«Слушай, Нина...»

Вдруг понадобилось спросить. В который раз — но теперь уже совершенно спокойно:

«Только правду. У тебя кто-нибудь есть?»

Она задрала голову к небесам, её глаза блуждали. «Не-а...»

Вряд ли это было так, а впрочем, кто её знает.

«Почему ты?..» Он хотел сказать: *почему не даёшь*, но это было слишком грубо.

«Почему ты не хочешь?..»

Она спрыгнула с паперти на землю, тра-ля, тралляля, — затянула невыносимо фальшивым голоском.

«Хватит дурачиться, — проворчал он, — я серьёзно».

Она спросила:

«Так уж непременно надо?»

От досады он осмелел и выпалил:

«Неужели тебе самой не хочется?» И они побрели через весь город, через каменный мост, на улицу под названием Канавка.

Студент уже не жил в Заречье. Общежитие медицинского института находилось в районе новостроек, куда надо было долго ехать на трамвае, потом тащиться пешком по грязным улицам; зато напротив воздвиглась новая больница, и Володя, как это часто бывает в студенческие годы, восплававший интересом к хирургии, вызвался дежурить по ночам вместе с дежурным врачом. В ожидании новых поступлений (это было так называемое скорпомощное отделение) оба сидели в ординаторской, мурлыкало радио, доктор читал детективный роман, Володя клевал носом в углу дивана.

Зазвонил телефон. «Иду», — сказал врач. Оба вышли в полуосвещённый коридор. В холле между мужской и женской половинами находился пост дежурной сестры с настольной лампой, двери двух лифтов, пассажирского и грузового, и выход на лестницу. В приёмном покое, в ярко освещённой комнате, на каталке под простыней лежала пациентка, без пульса, с посиневшими губами, без сознания. Платье и бельё, пропитанные кровью, уже были разрезаны и удалены. Вместе с никелированной стойкой, на которой покачивалась капельница, каталка была поднята наверх, в операционный блок, на другой стойке укреплена ампула с кровью, но вены окончательно спались, хирург стасёк сосуд и вставил канюлю для переливания. Тазы с горячим раствором нашатыря стояли наготове, но мыться было некогда, всё происходило быстро и молча, хирург в стерильном халате и марлевой маске облил руки спиртом, то же сделали ассистент и студент. Операционная сестра, вся в белом, подъехала со столиком для инструментов к операционному столу. Нина лежала, залитая ровным, ярко-безжизненным светом, на операционном столе, с ножевой раной повыше пушка. И так же молча хирург вышел из операционной, сорвал с лица маску, стянул с рук резиновые перчатки. Студент, как был, в халате и шапочке, вышел на лестничную площадку, сел на ступеньку и, как будто прорвалась плотина, разрыдался.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

I

Вот я сижу и думаю... Что-то затевается. Рука, столько потрудившаяся, вот эта самая рука с помятой кожей, с лиловыми венами, опять стучит по клавишам, неужели я всё ещё в силах выдавливать из своего мозга драгоценные капли воображения? Всю жизнь я старался писать не о себе. Всю жизнь писал о себе. Писатель — это тот, кто смотрится в зеркало и видит другого человека. Писатель изобретает себя заново. Если же тебе не дано раздвоиться, если не можешь пересоздать своего двойника в новое и независимое существо — не суйся в литературу. Но теперь довольно. Долой литературу! Теперь я, наконец, откину капюшон, сниму чёрные стёкла и отклею бороду, я больше не «художник», я — это просто я. Позволим себе эту роскошь — писать о себе самом, не увиливая.

И, однако, стоит мне только взяться за дело, как «дело» берётся за меня. Литература начинает распорядиться мной. Литература, как старая любовница, которую хотят бросить, принимает свои меры. Мне хочется говорить только о собственной персоне, а получается, как ни глупо это звучит, что писать о себе легче, когда пишешь не о себе. В сущности, разделаться с самим собой только и возможно, если пишешь о ком-то другом. Это предисловие затянулось. Я помню, как однажды — совершенно незначительный случай — я сидел, закутанный в простыню, перед столиком с туалетными принадлежностями, и меня словно осенило: тот, кто смотрит на меня из овальной рамы, — ведь это и есть подлинник! Сам же я представляю собой весьма несовершенную копию. Человеку, занятому бумагомаранием, эта идея не должна показаться новостью, но в то время пишущий эти строки был далёк от желания стать сочинителем.

II

За моей спиной слышались приглушённые голоса, шаркали шаги, я видел в зеркале другие зеркала и в них смутные лица клиентов; тотчас их заслонило новое явление; на меня взирали двое: мой двойник и барышня в белом халате, на вид лет восемнадцать. По правилам этого учреждения обслуживающий персонал обязан подавать пример. То, что она сотворила из собственных волос, не поддавалось описанию: чудовищный колтун. Вдобавок выкрашенный в цвет, которому не подыщешь названия. Это сооружение склонилось надо мной, она оглядывала меня строгим профессиональным взглядом, так врач оценивает больного, так камнетёс примеряется к бесформенной глыбе.

Мне запомнился этот день, замечательный разве только тем, что за ним потянулась цепь происшествий, в которых чем дальше, тем всё меньше можно было заподозрить игру случая. Я приближался к возрасту Данте; мне исполнилось 30 лет. Вечером предстоял праздничный ужин, я пригласил двух-трёх коллег с жёнами. Незачем вдаваться в подробности того, каким образом я оказался в этом городе, они неинтересны. С некоторых пор соотечественники зачастили в страну, ещё недавно бывшую смертельным врагом, мужчины ради лёгкой жизни, чаще всего мнимой, девушки в надежде выйти замуж и здесь остаться. Мне повезло, я получил приглашение от фирмы, где срочно требовались программисты.

Клиента предупредили, что его будет обслуживать ученица. Опытный мастер работает играючи. Её лицо выдавало напряжённую старательность. Она отважно орудовала ножницами и машинкой, что-то без конца подправляла; мои требования были невелики: с обеих сторон и сзади; немного сверху; без пробора. Брови? Да, подправьте немного и брови.

Её руки. Я почувствовал это, как только она прикоснулась к моей коже: её пальцы были заряжены слабым электричеством. Поднимаясь с кресла, я не мог удержаться, чтобы не взглянуть ещё раз: узкая ладонь, длинные худые пальцы, как у всех тоненьких женщин.

Разумеется, я тотчас забыл о ней, покинув парикмахерскую; однако встаёт вопрос, не есть ли то, что оживает через столько лет, артефакт, изделие памяти, в котором, как в пищевых продуктах, подмешан консервант. Бычки в томате. Что у них общего с живой рыбой? Что было на самом деле? Во всяком случае, мне не могло придти в голову, что когда-нибудь я возьмусь описывать эту сцену и в который раз вступлю, картинно выражаясь, в единоборство с литературой. Но, по крайней мере, кулисы намечены, как я надеюсь, верно.

В следующий раз я попросился сесть «к ученице». Мне хотелось снова почувствовать робкую нежность её пальцев. Я следил за ними в зеркале.левой рукой она слегка повернула мою голову. В правой мелькали ножницы. Она отложила их, провела пальцами по моим щекам, не желаю ли я побриться? Как в первый раз, я ощутил тёплую эманацию. Я медлил, она ждала ответа.

Однажды я столкнулся с ней в магазине. Случайность не должна внушать подозрений: в нашей округе всё находится поблизости. Я стоял перед рядами запечатанных в целлофан колбас и сыров, пакетов с итальянскими пельменями, банок со сладким йогуртом, погрузившись в философическое раздумье, и услышал нежный голосок: со мной поздоровались.

«А-а...» — проговорил я и вспомнил. Мы вышли на улицу. Я спросил: «Вы здесь живёте?» — и прошагал вместе с ней часть пути. Без белого халата, в простеньком пальтеце, она выглядела иначе, оказалась ниже ростом, оттого что её больше не уродовала фантастическая причёска. Светло-русые жидковатые волосы спускались с обеих сторон, примерно так, как принято распускать волосы у нынешних барышень. Это изменило черты её лица, сделав её — иначе не скажешь — банально-загадочной.

Но и это впечатление было мимолётным. Остановились на углу; она топталась, поглядывала по сторонам; мы свернули к моему дому, она спросила, когда я приду.

III

Явившись в очередной раз, я её не обнаружил. Срок производственной практики истёк, её не взяли на постоянную работу. Я не спросил, куда она подалась, изредка вспоминал прикосновение её пальцев, это было всё, что осталось в памяти. Случись нам столкнуться на улице, я бы её не узнал.

Я прекрасно понимаю, что все эти рассуждения, дуэль с двойником — раздражают читателя. Хватит философствовать, продолжайте рассказ. Никому нет дела до этой схватки с писательством внутри самого писательства. Но в конце концов я пишу — стараюсь писать — о себе и для себя.

Я хочу быть «объективным». Таково условие моего самоотчуждения. Сами по себе мелкие происшествия не могли, разумеется, выглядеть как нечто предначертанное. На языке тогдашней моей профессии — программа. Теперь я могу сказать, что это функция художественной словесности. Вечным вопросом, однако, остаётся, присутствует ли некий план, судьба или предопределение в реальной жизни — или это изобретение литературы.

Линда Майзель, так звали мою новую подругу, назначила мне встречу в студенческом районе, где мы должны были чувствовать себя непринуждённо. Я сидел в кафе у окна, наш роман только ещё затевался, Линда запаздывала, как и подобает недавней знакомой, вступающей на увлекательную стезю. Подошла кельнерша с блокнотиком. Я поднял глаза, она молча смотрела на меня. Я не сразу сообразил, в чём дело; девушка нервно поправила прядь волос, здравствуйте, сказала она, мы с вами знакомы. Тут я, наконец, вспомнил.

«Вы что будете заказывать?»

«Простите...» — проговорил я. Мне не хотелось, чтобы Линда увидела нас, хотя, казалось бы, что тут такого? Я сказал, что я передумал, и направился к выходу...

Она догнала меня на улице. Успела сбросить передник. Несколько времени мы шли, лавируя между прохожими, огибая столики, выставленные наружу по случаю тёплой погоды, в сторону, противоположную той, откуда должна была появиться Линда. Каблочки официантки прилежно постукивали следом за мной, это было похоже на бегство, это и было бегством; я всё ещё с досадой прижимал к уху мобильный телефон, никакого ответа. Мы наконец выбрались из толчеи, свернув на улицу Кронпринца, где, стиснутый домами, находился маленький сквер, — и плюхнулись на скамью. История выглядела крайне глупо. Ведь я сказал этой девице, там, в кафе, что у меня неотложные дела. Чего доброго, она могла истолковать это исчезновение как свою победу. Чего она от меня хотела?

Неожиданно телефон ожил у меня в кармане. Я услышал обиженный голос Линды. Женщины наделены мистической догадливостью. Мне пока-

залось, что, слушая мои невнятные объяснения, она поняла, что я не один. Правда, эта насторожённая означала, что там относятся к нашим едва начавшимся отношениям всерьёз.

Между тем буквально за несколько минут, как это бывает часто в нашем городе, небо заволочилось серыми облаками. На мне был непромокаемый плащ, а она в одном платыце. Она сидела, молча, съёжившись, подобрала под скамейку ноги в светлых чулках. Я спросил: она ушла с работы, это может ей дорого обойтись, успела ли она, по крайней мере, предупредить хозяйина?

Стало накрапывать; мы укрылись в подъезде.

«А ведь я даже не знаю, — сказал я, — как вас... как тебя зовут».

Её звали Катарина.

Она спросила:

«Это ваша невеста?»

«Кати, — сказал я. — Давай уж лучше на ты».

Не могу вспомнить, то ли в этот, то ли в другой раз она сказала, что умеет гадать по руке.

Каждая девушка бессознательно ищет канал для эманации своей женственности. Видимо, это всё-таки было тогда же. Нечего и говорить о том, что я не находил в ней ничего притягательного. Но её пальцы чертили что-то на моей ладони, и вновь, как когда-то, я ощутил подобие слабого электрического разряда. Я сказал: ну-ка дай мне, схватил её за запястье, она отдернула руку и спрятала за спину. В чём дело?

«Не дам».

«Почему?»

«Ты там прочтёшь».

Оказалось, она боится, что я предскажу ей судьбу. Но ведь она сама может прочесть. Нет, у себя человек не может, это должен делать кто-то другой. Я заверил её, что понятия не имею о хиромантии. Загадкой было то, о чём я только что упомянул: удивительное свойство её прикосновений. Я протянул ей обе ладони. Она долго смотрела на них, её глаза потемнели. Я и теперь вижу этот сумрачный взгляд, он сбивает меня с толку. И вновь спрашиваю себя, в чью жизнь вторглась эта особа. Литературный двойник, некогда явившийся в зеркале парикмахерской, — не выгеснил ли он моё собственное я, не завладел ли моей памятью до такой степени, что я больше не в состоянии провести черту между действительностью и моим рассказом; собственно, рассказ и стал действительностью. Она спросила: «Мы увидимся?» Зачем? Я пожал плечами.

IV

По случаю десятилетия фирмы начальство устроило вечеринку, кто-то подал идею собраться в индийском ресторане «Джайпур». На дверях была вывешена картонка: «Geschlossene Gesellschaft», это означало, что зал закрыт для посторонних посетителей. Дамы явились в необыкновенных нарядах, мужчины с бабочками на шее. Были произнесены официальные тосты,

к пиршественному столу подвезены столики с экзотическим кушаньями, официанты во фраках подливали в бокалы азиатские вина, вдруг что-то зашелестело, застучало, из усилителя полилась странная мелодия, послышались выкрики: знаменитый гуру исполнил, как нам объяснили, шиваитскую мантру в сопровождении барабана, дудочки из берцовой кости человека и фисгармонии. Затем певца сменил упоительный рок-н-ролл, уже вышедший из моды, после чего, наконец, ящик был отодвинут в сторону, вышел и уселся аккордеонист в сапогах и пёстрой рубаше до колен, с серьгой в ухе, раздвинул половинки своего инструмента. Раздался скрежет, словно двинулась телега.

Это и был вечер, на котором мы познакомились. Я увидел девушку, одиноко стоявшую у дверей. У неё были узкие и покатые плечи, широкие бёдра, то, что мне нравится в женщинах. Ваш кавалер покинул вас, сказал я. Она кивнула, смеясь. Народ окружил плясуна, который выкидывал колена; Линда спросила: это русский танец? Мы земляки, сказал я, но работаем в разных отделах. Музыкант играл «Барыню». Продолжая выбрасывать ноги, распахнув объём, танцор подъехал к нам — он вас приглашает, сказал я. — «Нет, уж лучше вы». — «Не умею, — возразил я, — но вообще-то полагается выходить женщине, этак, знаете, с платочком, чтобы помахать». Мы покинули ресторан, я довёз её в своём «Опеле» до дома, вышел и открыл перед ней дверцу машины.

Несколько времени спустя наш роман достиг критической точки, после чего мы съехались и зажили супружеской жизнью, хоть и предпочли официальный брак свободное сожитительство.

Далее произошло следующее: нам нужна была уборщица. Моя подружка, как истинно современная женщина, не была озабочена устройством домашнего очага, к тому же оба мы были заняты с утра до вечера. Линда была родом из Шлезвига, это чувствовалась по её северному произношению, работала лаборантом в радиологическом центре в Лотрингенгофе где впоследствии пришлось обследоваться ей самой. И я не могу отделаться от мысли, что оттуда, из этой мрачной цитадели с вывесками врачей и адвокатов, чьё архаическое название напоминало о потерянной Лотарингии, несчастье бросило тень на наш порог. Предвестьем беды был звонок.

Ранним утром звонок прогремел, когда мы ещё нежились в постели. Мы старались не заниматься любовью перед рабочим днём, тем не менее это случалось, по крайней мере, первое время, то и дело, и мы погружались в минутный сон, неотличимый от яви, — тут как раз и позвонили; я пошёл открывать.

Я стоял, завернувшись в халат, всё ещё окутанный облаком тепла; во всяком случае, мне показалось, что она чувствует, вдыхает эту волну, исходящую от моего нагого тела. Обалдев, я воззрился на гостью. «Ты по объвлению?..» — спросил я. Катарина преследовала меня, как рок. Я поплёлся в комнату, служившую нам гостиной. Из спальни вышла в халате Линда. Времени было в обрез, мы постарались поскорей отделаться от несвоевременного визита. Никаких объявлений в газете Катарина не видела, не было у нас и общих знакомых. Как она разыскала меня? Я не пытался выяснить.

Итак, она стала приходить к нам, сначала раз в неделю, потом чаще; стирала, гладила, возилась с пылесосом, убирала нашу супружескую постель и мыла посуду на кухне с таким же усердием, как когда-то стригла меня. Мы, то есть я и Кати, говорили снова друг другу «вы»; впрочем, она разговаривала больше с Линдой и даже старалась реже попадаться мне на глаза. Выяснилось, что она проживает за городом у тётки, едет автобусом до станции пригородного поезда. Потом метро и снова автобус. А что она делает в выходные дни? Ничего; сидит дома. Есть ли у неё друг? Кати помотала головой.

Собираюсь учить русский язык, добавила она. Но мы здесь с мужем не говорим по-русски, заметила Линда. С мужем? — переспросила Кати, на что фрау Майзель возразила: ну, какая разница. Вскоре официальное обращение отпало, обе женщины стали называть друг друга по имени, и мы все перешли на «ты».

V

Я при этих разговорах по большей части не присутствовал, но из того, что пересказывала мне Линда, понял, что она довольно подробно осведомлена о моём прежнем знакомстве с Катариной. Она в тебя влюблена, сказала Линда, смеясь. Ей же принадлежала идея поселить Катарину в квартире: чтобы добираться до нас, бедной девушке приходилось вставать до рассвета. Мы поставили кровать и туалетный столик в комнатке, где по замыслу архитектора должна была находиться детская, Катарина привезла кое-какие вещи.

Тут оказалось, что она не спит по ночам. Просыпаясь, мы слышали шаги, шорох, иногда в гостиной горел свет. В чём дело? Кто-то к ней приходил. Ломился в дверь, она не пустила.

«Кто приходил?»

«Не знаю».

«Но ты сама выходила из комнаты».

«Я боялась».

«Чего боялась?»

«Что он снова придёт».

«Кто — он?»

Молчание.

«Кати, — сказала Линда. — Может быть, надо показаться врачу?»

После этого разговора ночные бдения как будто прекратились. До поры до времени.

Да, на какое-то время, — потому что однажды Линда, подняв голову с подушки, увидела в дверях нашей спальни похожую на привидение фигуру в белом. Катарина, дрожа от холода и страха, стояла в рубашке, поставив одну босую ступню на другую, голой рукой схватившись за притолоку. Вероятно, я тоже проснулся, но что было дальше, уже не помнил. Наутро всё показалось мне дурным сном. И всё же я не могу сказать, что был особенно удивлён, увидев в кровати обеих женщин. Я лежал у стены, Линда посреди-не, а на краю — голова Кати.

Светлые, очень тонкие, отчего они казались жидкими, в беспорядке рассыпанные волосы на уголке подушки. Я вспомнил её чудовищную причёску — тогда, в первый раз, в парикмахерской. Тотчас, вскочив, она побежала в длинной ночной рубашке к себе. *Pavor nocturnus*, ночные страхи, сказал невропатолог, с которым Линда, хоть и сумела увидеть в том, что случилось, смешную сторону, но всё же сочла нужным посоветоваться. Ничего опасного, по словам врача, эти страхи не представляют, однако свидетельствуют об эмоциональных потрясениях. Господи, какие же это могли быть потрясения? Линда, ничего не говоря о консультации, попыталась осторожно расспросить нашу служанку. Безрезультатно. Есть ли у неё кто-нибудь. В ответ Катарина только мотала головой.

С тех пор она время от времени, смущаясь, просила пустить её на ночь к нам, и можно было догадаться, что она не столько мучалась страхом перед мнимыми ночными визитами (над которыми порой сама смеялась, хоть и не ставила их под сомнение), сколько боится ожидания, что придёт страх. Боится проснуться одна ночью. С нами же спит, по её уверению, как сурок. Для неё положили третью подушку. На рассвете она потихоньку покидала нас. Линда плескалась в ванной. Выходя на кухню, я видел накрытый стол, нас ждал завтрак. Линда звала Катарину к столу. Но та больше не показывалась, пряталась в своём закутке, дожидаясь нашего ухода.

Однажды — мы вышли из подъезда, я провожал Линду до метро — произошёл такой разговор. У нас давно ничего не было, сказала она.

Я промолчал.

«Как же ты обходишься?»

«Что ты хочешь этим сказать?»

«Ты здоровый мужик», — сказала она, явно стараясь придать своим словам шуточный оттенок. Но я чувствовал, что она волнуется.

«Ну и что», — возразил я.

«Ты меня разлюбил».

«Перестань», — сказал я.

«Ты её стесняешься».

Я хотел спросить: а ты разве не стесняешься? И тут же подумал, что она могла бы — почему бы и нет? — делать это в присутствии Катарины. Назло ей.

«Но ведь можно, — продолжала она, — как-то устроиться. Она утром уходит, мы остаёмся одни. И вообще».

«Что вообще?»

«Запретить ей приходиться к нам».

«Ты думаешь, это возможно?»

Это был нелепый вопрос, но он предупреждал то, о чём она не решалась заговорить; чутьё подсказывало ей, что даже если Катарина оставит нас в покое, мы больше не сможем быть мужем и женой. Почему?

«Потому, — сказала Линда. — Она мстит».

«Кому мстит?»

«Тебе».

«Чепуха. Давай её прогоним».

«Как это?»

«Найдём другую, вот и всё».

Линда шагала, глядя в пространство, еле заметно качала головой.

«На худой конец, я и сам справлюсь».

«Ты?»

«А что тут такого. Бельё будем отдавать в прачечную. Пока кого-нибудь не подыщем».

Я довёл её до эскалатора, сам двинулся на работу пешком.

VI

Линда чувствовала себя нехорошо, жаловалась на переутомление, я спросил: что показали анализы? Ничего; всё в норме. Выглядела она неважно, груди опали. Может быть, нам следует завести ребёнка? А вот спросим, сказала она, усмехнувшись, у Кати. Всё это мне очень не нравилось, я снова сказал: давай откажем ей.

Был вечер, мы засиделись допоздна. Обе женщины сидели друг против друга, Катарина держала в руках ладонь Линды. Была прочитана маленькая лекция по хиромантии. Через пальцы проникает влияние небесных светил, например, указательный — это палец Юпитера. Бугры тоже называются в честь планет. Вот это — бугор Аполлона.

«Такой планеты нет», — сказал я.

«Но главное — линии. Вот линия жизни...»

«Что же она обозначает?»

«Обозначает? Ничего, хорошая линия».

«Я устала, — сказала Линда, вставая. — Пойду, лягу... Ты, Кати, пожалуйста, не вскакивай ни свет ни заря. Я сама управлюсь».

Дверь закрылась. Помолчав, я спросил:

«Что ты там увидела?»

Кати подняла на меня глаза.

«Линия жизни оборвана».

«То есть, ты хочешь сказать?..»

«Ничего я не хочу. Дай мне руку».

«Мне кажется, — сказал я, — она почуяла что-то неладное. Видишь ли, она верит во всю эту чепуху... Но скажи хотя бы мне».

Она молчала.

«Кати!»

Молчание.

«Слушай, — сказал я. — С этим пора кончать».

«С чем?»

«Ты прекрасно знаешь: я тебя не люблю. Тебе надо от нас уходить».

«Куда?»

«Куда хочешь. Но надо уходить. Ты её погубишь».

Она водила пальцем по моей ладони. Несколько времени погодя я увидел, войдя в спальню, что подушки переложены. Линда спала у стены. Я лёг рядом с ней. Третье место оставалось пустым.

Я открыл глаза, когда рассвет едва брезжил между полузадёрнутых гардин. То странное обстоятельство, что я очутился посреди двух женщин, меня отнюдь не возбудило, напротив, погасило желание. Я лежал, остерегаясь шевельнуться. Мысль о том, что я мог бы, — пожалуй, даже обязан — удовлетворить обеих, показалась мне абсурдной. Это означало бы стать рабом и той, и другой. Превратиться в механическую куклу. Или?..

В эту минуту меня как будто осенило — выражение, не слишком подходящее для такой ситуации, но другого слова я не могу найти; да, меня настигла та же мысль, с которой я начал этот рассказ, — при том что я вовсе не помышлял о литературе, — мысль о раздвоении, о том, что в зеркале моего существования появилось другое «я». Представим себе, что мой, мною же изобретённый двойник станет жить с девушкой из парикмахерской, а сам я — с моей Линдой.

В конце концов это разрешило бы всю нашу коллизию. Какую коллизию? Кажется, до сих пор между нами не было никаких ссор. По безмолвному уговору мы избегали «выяснять отношения». Правда, ничего предсудительного не произошло; наша лояльность, моя и Линды, по отношению к Катарине достигла определенного рубежа, на котором мы и остановились.

Я согласен, что рассуждения в этом роде могут придти в голову только в сумеречной зоне между сном и бодрствованием. Но я почувствовал, что обязан что-то кому-то доказать; кому же? Линде, конечно. Доказать, что я её люблю. Но и Катарине — что я к ней равнодушен. Да, я должен был доказать это, как ни смешно, «на деле». Ни та, ни другая, разумеется, не знают о том, что я заключил тайный договор с моим двойником.

И я осторожно протягиваю руку, я ощущаю под тонкой ночной сорочкой разогретое сном тело моей подруги. Она тихо стонет — должно быть, ей снится, что время вставать, идти на работу... Линда что-то бормочет и, бормоча, поворачивается ко мне. Несколько мгновений спустя она лежит на спине, её руки обнимают меня, грудь дышит подо мной, в полутьме она принимает меня. Всё происходит в считанные секунды. И мы погружаемся в небытие. Но когда, наконец, я оставляю её, поворачиваюсь спиной, я оказываюсь, чуть ли не нос к носу, с открытыми настезь, неподвижными глазами Катаринины. Несколько минут мы вперяемся друг в друга, и я чувствую, как её пальцы, струящие слабое электричество, крадутся к моему уснувшему полу и останавливаются, почти достигнув цели.

Утром мы сидим за завтраком, все трое, вопреки намерению Линды встать пораньше; за окнами — тусклое серебро непогоды. Служанка включила свет. Спохватившись, Линда взглядывает на часы, вскакивает, я выбегаю следом за ней на лестницу, «ты забыла зонтик!» — кричу я.

VII

Когда я снова уселся перед недопитым кофе, Кати стояла у окна. Не оборачиваясь, спросила:

«Ты не опоздаешь?»

«Сядь», — сказал я.

Помедлив, с отчуждённым видом она присела к столу.

«Это называется ménage à trois».

Она не поняла.

«Брак втроём. Как ты на это смотришь?»

«Вы опоздаете на работу». Неожиданно она перешла на вы.

«Успеется... — Я злобно усмехнулся. — Как же мы дальше будем жить?»

По очереди, что ли?»

«У нас с тобой ничего не было». (Снова — на ты.)

«К этому идёт!»

Она пожала плечами.

«Ты этого хочешь? Ты этого добиваешься?»

«Она тоже хочет», — сказала Кати.

«Она больна! Тебе это понятно?»

«Я это знаю».

«И ты... — сказал я, задыхаясь, — ты позволяешь себе!...»

Она молчала, уставилась на меня потемневшими глазами.

Я продолжал, уже не столь уверенно:

«Ты всё время преследуешь меня. Ты постоянно перебегаешь мне дорогу. С самого начала, с той самой парикмахерской, куда меня чёрт занёс...»

«Не чёрт».

«А кто же ещё?»

«Судьба».

«А! это одно и то же».

«Я тебя любила», — пробормотала она.

«Знаешь что? Катись ты со своей любовью... знаешь, куда?»

Она шептала: «Я мечтала о тебе дни и ночи. Я тебя всюду искала. Ты не представляешь себе... — голос её окреп и стал переливчатым, она глубоко дышала открытым ртом, словно ей не хватало воздуха, она покачивалась, — ты даже не представляешь, как я была счастлива, когда я увидела тебя там, в кафе, ты сидел у окна, я подумала: да ведь он меня ждёт! Ты думал, что ждёшь её, а на самом деле, я это поняла — ты ждал меня!»

А что если, подумал я со страхом, — что если она права?..

«Слушай, — сказал я. Всё во мне дрожало. — Я не знаю, кто ты такая. Я вообще ничего не знаю: кто ты и что ты... Давай с тобой распрощаемся, я тебе сразу сейчас заплачу, и... и убирайся отсюда. Немедленно. Собирай свои вещи... Я тебя провожу. Давай, живо...»

Она опустила голову, потом темно взглянула на меня и ушла в свою комнату. Я набрал номер моего бюро, сказать, что приду позже. Вынес её чемодан, она шла следом с сумкой. Мы вышли из подъезда, я уселся за руль, она села сзади. Был час пик, и пришлось довольно долго добираться до вокзала. Всё это время мы молчали. Мы взглянули на расписание, я кушил ей билет, и мы поспешили к перрону; поезд вот-вот должен был отойти.

«Ну, Кати... — пробормотал я. — Не поминай лихом».

С вокзала, не заезжая домой, я отправился на работу. Я испытывал необычайное облегчение. Всё наладится, думал я, всё будет хорошо, мы расплатились с судьбой, — эта странная мысль тоже пришла мне в голову. Лин-

да поправится. Я сразу же ей позвонил. Получен ли ответ. Накануне снова было проведено обследование. Да, получен. Какой? Всё в порядке. Она не могла долго разговаривать. «Но скажи, по крайней мере: что-нибудь нашили?» — «Ничего не нашли». — «Ты говоришь мне правду?» — «Да».

Я не стал ей говорить про Катарину. Мы от неё отделались, баста. Теперь надо укрепить здоровье. Можно взять отпуск и махнуть куда-нибудь — в Грецию, в Испанию, на Балеарские острова. Мы свободны! Вечером, когда я вернулся, в квартире стояла непривычная тишина. Я вошёл в спальню, моя подруга лежала в постели, ей нездоровилось. Я приготовлю ужин, сказал я, Кати уехала. Навсегда.

Тотчас дверь спальни открылась, неслышно, как бы сама собой, — я увидел её на пороге. Кого? Катарину! Я был совершенно сбит с толку — как же так? Я сам, своими ушами слышал, как ударил колокол, своими глазами видел, как захлопнулись двери, поезд тронулся, увозя эту ведьму, наше проклятье, наше горе. И я поплёлся на кухню, где меня ожидал ужин.

VIII

Этой ночью мне снился жуткий сон. Как будто я проснулся во тьме и не сразу смог различить фигуру, стоящую на пороге совершенно так же, как стояла накануне, самовольно вернувшись, Катарина. Но теперь она была в чёрном платье, в чёрных чулках, на голове плат, как у монахини. Я хотел спросить, что она тут делает, но губы её шевелились, я скорее догадался, чем услышал, — хватит валяться, сказала она, все ждут. Кто, кто ждёт? — спросил я, вперяясь в темноту. Неведомые друзья, родственники, которых я никогда не видел, собрались проводить в последний путь Линду. Я раздумывал, где мне взять подобающую одежду; в это время я уже не спал и, сидя на кровати, слышал сквозь щель плохо прикрытой двери приглушённые голоса. В гостининой горел свет.

Далее происходило то, что чаще бывает в книгах или в театре, чем в жизни; но я уже говорил, что преодоление литературы совершается в ней самой и действительность моего рассказа есть единственная подлинная действительность. Беседовали двое — а я стоял, запахнувшись в халат, и подслушивал. В усталом голосе моей подруги не было раздражения, ей вторил подобострастный голос служанки. Не успел я, однако, разобрать отдельные слова, как обе умолкли — должно быть, услышали шорох в спальне. Потом Линда сказала:

«Он спит».

В самом деле, то, о чём они говорили, — когда снова заговорили, — я всё ещё воспринимал сквозь завесу сна. И звучало всё это неестественно. Как будто говорящие куклы, подражая голосам моих женщин, выдавали кем-то сочинённый текст. Как в первые дни, Катарина говорила хозяйке: вы.

Первые слова я не расслышал.

«...Что вы, фрау Майзель, зачем же так говорить».

«Я знаю».

«Я бы никогда не вернулась, если б не знала, что вы ещё не совсем поправились».

«Я не поправлюсь».

«Что вы, зачем так говорить».

«Я всё равно для него уже не гожусь. Я для него обуза».

«Если вы думаете, что я... Он сказал, что он ко мне равнодушен».

«Это для того, чтобы успокоить свою совесть. Ты молода, у тебя красивая грудь. Единственный недостаток — узкие бёдра».

«Почему же недостаток».

«Он любит широкобёдрых».

«Теперь я понимаю, в чём дело. Если бы на моём месте оказалась какая-нибудь бабища...»

«Можешь не продолжать. Я вовсе не утверждаю, что это самое главное».

«А что главное?»

«Не знаю. Всё вместе».

«Вы думаете, мужчин никогда не поймёшь?»

«Нет. Не думаю. Наоборот».

«Он сказал, что он меня не любит. Я некрасивая. Я некрасивая!»

Мне показалось, что она вслипнула.

«Ничего... как-нибудь. Хватит об этом. Пора, — сказала Линда. — Они идут».

«Ваши родственники?»

«Бог их знает, чьи. Мне пора».

Не выдержав, я распахнул дверь в гостиную. Но там уже никого не было. Донёсся шум шагов, приглушённые голоса. Гроб несли по лестнице.

Мне нужно было одеться. Я бросился в спальню. Обе женщины лежали в постели, посредине было оставлено место для меня. Вот так здорово — поистине комическая ситуация! Я трясся, давась от хохота, зажимая рот, чтобы их не разбудить.

IX

Здесь придётся сделать перерыв, прежде чем закончить: дело в том, что сама эта концовка внушает некоторые сомнения.

Я понимаю, что оговорки и отступления нарушают «художественный эффект».

Я стараюсь быть объективным; что это значит? Характер действующих лиц выражается в их поведении, а поведение, не правда ли, вытекает из характера. Герой романа — не марионетка, он живёт собственной жизнью, его судьба — законное следствие его поступков, автор ничего не может с этим поделать. И так далее... Но, может быть, дело обстоит как раз наоборот. Судьбу героев решает писатель, и это предначертание, как тёмная туча, нависает над ними, руководит их поступками и ведёт их к фатальному концу.

Мы возвращаемся — я и Кати — в очередной раз из больницы. Линда, в полубессознательном состоянии, под морфием, с трудом поднимала веки. Я не стал ужинать и сразу лёг. Очнулся на рассвете.

Катарина лежала, отодвинувшись от меня, на краю кровати. Я устроился поудобнее, натянул повыше одеяло в надежде подремать ещё часок, тут она повернулась ко мне, я различил в полутьме её неподвижный взгляд. Нет уж, подумал я, и, закрыв глаза, зарылся в подушку, но почувствовал её руку. Длинные пальцы, как черви, ползли по бедру, пальцы, это был тот странный канал, — прошу не счесть меня за умалишённого, — по которому струился ток, мстительная и агрессивная эманация. Озлившись, я сбросил с себя её руку.

Через минуту я вновь ощутил её прикосновение. Магнетизм, или как это можно было назвать, коварным образом вершил своё дело, я всё ещё был полон решимости сопротивляться, но уже где-то на дне сознания мерцала блудливая мыслишка. Ладно, пусть это будет первый и последний раз, чтобы затем покончить с нею раз и навсегда! Как бы нехотя я придвинулся к Катарине. Она с готовностью потянула меня к себе и приняла нужную позу. Я уже ни о чём не помнил. И тут, на самом пороге наслаждения, она загородила рукой вход. «Что такое, — прохрипел я. — Кати!..».

«А вот то самое», — неожиданно спокойно сказал её голос, она уже стояла перед кроватью, и её нагота должна была договорить то, о чём я лишь смутно догадывался. Я остался лежать. Подхватив одежду, она вышла; я удивился, как быстро она сумела собрать свои пожитки, — или приготавлилась заранее? Хлопнула входная дверь, и больше я Катарину никогда не видел.

ПРАМАТЕРЬ

Mother o'mine, o, mother o'mine...¹
R. Kipling

«Я, — сказал рассказчик и отхлебнул из красивой фарфоровой чашки, — приветствовал идею нашего клуба, если можно его так назвать, с удовольствием слушал моих предшественниц, но теперь наступила моя очередь, и я испытываю некоторую растерянность. Видите ли, всё это дела давно минувших дней... Я чувствую, что мне не уйти от необходимости быть откровенным, предельно откровенным, — как говорится, взялся за гуж! — а между тем предмет таков, что о нём, может быть, вовсе невозможно рассказывать благопристойным литературным языком, от которого мы всё ещё не отвыкли здесь, вдали от России. Тема эта подпольная, тёмная...»

Он взял коржик из вазы и внимательно осмотрел его.

«Вдобавок от меня требуется, чтобы я не только припомнил и рассказал всё как было, но и вернулся, так сказать, в себя самого. В того мальчика, который остался там и живёт своей жизнью, хотя его давным-давно не существует. Вы знаете, как легко погрузиться в прошлое и как трудно, почти невозможно не притащить туда своё настоящее, а заодно и весь хлам, весь тяжкий опыт накопившейся жизни. Мы бредём в обнимку с памятью, но память морочит нас, и в сущности говоря, мы только и занимаемся тем, что стилизуем своё прошлое.

Мы с вами договорились, что будем рассказывать друг другу историю первой любви. Вечный сюжет... Спрашиваешь себя, что такого особенного в этих историях, в эпизоде, почти неизбежном в жизни каждого, почти всегда мимолётном, потому что, не правда ли, он не может, не должен иметь продолжение. Почему никакое событие времени не вонзается так глубоко, не становится частью души на все времена, как память первого увлечения? Я не говорю о той ранней поре перманентной влюблённости в каждое платьице, в каждый девический силуэт, о времени ожидания, когда книжки, кино, разговоры, сплетни, всё вокруг шепчет: а ты? когда же придёт твоя очередь? Речь идёт об озарении, об ударе током. О том непонятном, свалившемся, как снег на голову, тайном и унижительном, но и возвысившем тебя над сверстниками, над всем окружающим... Кто-то заметил, что девочки не знают детства. Не решаюсь судить, так ли это, — впрочем, все подобные изречения принадлежат мужчинам, — но катастрофа, которую переживает подросток, та гибельная, как столкновение поездов, ошибка идеализма и действительности, я говорю о действительности пола, поистине неизвестна или почти

¹ О матерь моя... (англ.) Р.Киплинг. «Свет погас».

неизвестна девочке, которая как-то естественно вживается в своё тело, для которой тело — в отличие от мальчика — никогда не бывает помехой. В каком-то смысле она всё уже знала заранее, не оттого, что прочла об этом в книжках или услышала от подруг, но оттого, что знание было заложено в ней самой, знание существовало в её теле, прежде чем окончательно дойти до сознания. То, что становится тягостным бременем для подростка, руки, которые он не знает куда девать, тело, которого он стыдится, — для девочки естественно и желанно, и без всяких усилий, без насилия над собой, словно дело идёт о чём-то само собой разумеющемся, с незнакомой мальчишкам суверенностью она вступает во владение полом, когда приходит пора. Или я неправ?

Что ещё важнее, девочки легче и раньше становятся социальными существами. О, я слишком понимаю, что на эту тему сказано и написано всё, что можно сказать или сочинить. Но вы никогда не решите, где кончается власть общества, традиционного воспитания, привычек, предрассудков и вступает в свои права природа; вы не сможете провести между ними границу. Вы скажете, что человек — общественное животное, половое созревание застаёт его уже вполне социализованным существом. Но сами эти условности, навязанные обществом, настолько могущественны, что трудно не заподозрить в них заговор желёз внутренней секреции. Отчего искусство девочек прыгать со скакалкой, которое, казалось, никогда им не надоедало, у мальчиков вызывало лишь презрение, отчего занятия, которым мы предавались с таким самозабвением, — филателия и шахматы, — были чужды девочкам, не вызывали у них ни малейшего интереса: оттого ли, что азарт собирательства и азарт единоборства были мужским исключением, мужской профессией, куда вход девочкам был воспрещён? Со своей стороны я склонен думать, что равнодушие к этим увлечениям объяснялось всё той же ранней укоренённостью девочек в подлинной, реальной жизни: магия почтовых марок, война деревянных фигурок представлялись им пустым времяпровождением. Всё это было для них детством, покинутым детством, между тем как мальчишки всё ещё барахтались в нём.

Я плохо сплю по ночам или вижу неотвязные сны. Во сне я сознаю, что то, что мне снится, — сон. Я вижу себя подростком и вместе с тем сознаю, что я взрослый, состарившийся человек. Но это сознание как бы принадлежит не мне. Во сне, как это ни покажется странным, я переживаю истинную действительность, ибо моё “я” теряет над ней всякую власть. Делать нечего, — промолвил рассказчик, обводя глазами дамский кружок, — вообразите, что перед вами не рыхлый, обвисший, облысёлый господин, давно уже разменявший, как сейчас говорят, свой полтинник, — а вот этакое существо между двумя эпохами, детством и юностью, точнее, между четырнадцатью и пятнадцатью годами. Дело происходит — позволяете, в каком же это было году... Не важно.

Шахматы и марки, с них всё началось, ими закончилось, но об этом чуть позже; пока что мы ещё в царстве идиллии, в том возрасте, когда два стана предпочитают держаться на расстоянии друг от друга: девочки, которые уже перестали быть ими, и мальчики, которым хочется — сознают они

это или нет — оставаться детьми. Шахматное воинство охраняет нас от вторжения действительности, заповедный сад филателии — наше убежище, где мы отсиживаемся, стараясь оттянуть неизбежное.

Всё свободное время мы предпочитали проводить во дворе. Москва тех лет, как вы помните, была городом узких кривых переулков, проходных дворов, где можно было, пробираясь между брандмауэрами, ныряя из одной подворотни в другую, вдруг очутиться на соседней улице, и там уже всё дышало враждой, и надо было глядеть в оба; там могли напасть из-за угла, налететь сзади, там встречала чужеземца сопливая сволочь с финками, там свирепствовал шовинизм дворов, там обыскивали в тёмных подъездах. Не Москва, город, полный коварства, а наш переулок и двор, защищённый воротами, были нашим отечеством. Двор был как все двory, сумрачный и прохладный, с пожарными лестницами, с бельём на верёвках, привязанных к водосточным трубам; с трёх сторон глядели во двор окна коммунальных квартир; все жильцы знали друг друга, все воевали друг с другом, все жили общей жизнью. Четвёртая, кирпичная стена служила брандмауэром, и к ней было прислонено дощатое сооружение для снeготаялки. Во двор заглядывали старьёвщики, пожилые нищие, огненноглазые гадалки, слепой гитарист поднимал лицо к окнам, и сверху из форточек бросали ему монеты, завёрнутые в бумажку, по утрам раздавалась песня точильщика. За зиму во дворе вырастала гора снега, который свозили из переулка, летом солнце ко-со освещало кирпичный брандмауэр, и рамы окон верхнего этажа метали молнии; по двору носились, как угорелые, кувыркались на перекладинах пожарных лестниц, во дворе играли в фантики и обменивались марками. Был такой Юра Кищук по прозвищу Щука, малосимпатичная личность из соседнего дома. Замечали ли вы коварство некоторых букв? Почти все слова с шипящими заключают в себе угрозу: пожар, пещера, ущелье, да, пожалуй, и женщина. Так вот, был такой Кищук. Однажды он появился во дворе, держа под мышкой застёгнутую на крючки большую лакированную коробку.

Две рати выстроились друг против друга на жёлто-коричневом клетчатом паркете, два ряда пехотинцев, не умеющих отступать, позади королевская чета, генералы, и конная гвардия, и осадные башни на флангах. Звук боевого рога, похожий на автомобильный клаксон, огласил поле сражения, первым шагнул вперёд через два квадрата солдат в круглом шлеме и сошёлся лицом к лицу с чёрным ландскнехтом. Ринулась галопом, обгоняя пешее воинство, кавалерия. Из-за живой стены солдат вылетел на своей колеснице полководец в юбке.

Нас окружили больельщики. Мы сидели на крыше сарая для снeготаялки, единственном месте, куда достигал тёплый занавес солнца. Солнце сверкало в окнах, и блестили высокие точёные фигуры на зелёных суконных подкладках. После старых, облупленных и обломанных шахмат, в которые мы резались целыми днями, шахматы, принадлежавшие Кищuku, излучали незнакомое благосостояние, источали запах свежего лака, если хотите, были символом классового превосходства, и мы все как-то смутно это чувствовали.

Тут обнаружилось, что размеры доски сказываются на искусстве игрока, — я начал катастрофически проигрывать. В этих изменнических, явившихся из другого мира шахматах скрывалось какая-то подлость, они подыгрывали своему владельцу; они как будто давали вам понять, что вы не достойны играть в них. Шахматы могут жить собственной жизнью — этот сюжет фантастических рассказов заимствован у действительности. Серия более или менее вынужденных разменов отчасти поправила мои дела. Мне удалось под азартное сопение и нетерпеливые возгласы зрителей дотянуть до эндшпиля. Король, как известно, самая незащищенная фигура, но когда армии больше нет, король сам обнажает шпагу.

Король вступил в последний безнадежный бой. На другой стороне доски уже торжествовали победу. Несколько раз, с нескрываемым злорадством, предлагали нам сдаться. Как вдруг, о, счастье. Пат! — вскричал я».

Рассказчик улыбнулся. «Памятуя о том, что и присутствующие были когда-то девочками, я поясню, что пат — это такая ситуация, когда вы не можете сделать ход, не подставив под удар короля, а раз вы не можете ходить, то и противник не может; пат — это вынужденная ничья. Итак, представьте себе, победа у вас в кармане — и вдруг ничья. Раздосадованный Щука заявил, что я жульничал. Он стал показывать, как стояли фигуры, и теперь мне пришлось уличить его в жульничестве. “Нет, был пат!” — “Не было пата! Король стоял здесь”. — “Нет, здесь!” Ничего доказать было невозможно, он уже собирал свои шахматы. Мы спрыгнули с сарайчика. Он стоял, прижимая к себе доску, и оба мы толкали друг друга в грудь. Ребята были на моей стороне. Он бросился наутёк.

Ослеплённый ненавистью, я наткнулся на мокрую простыню, путался среди верёвок с бельём, это дало моему врагу возможность ударить со двора. Я выскочил из подворотни. Щука улепётывал к себе домой. Он добежал до парадного подъезда, мы неслись вверх по лестнице, на площадке третьего этажа я догнал его, он не успел захлопнуть дверь».

«Позвольте мне прерваться, — глядя в свою чашку, проговорил рассказчик, — я перескажу вам один сон. Чем дальше всё это уходит, тем, знаете ли, труднее отделить память о пережитом от воспоминаний о снах. Я захожу в чью-то квартиру, передо мной большая прихожая, ни души. И вдруг мне навстречу выходит незнакомая женщина и спрашивает, что мне надо. Свет бьёт сзади из комнаты, я не могу различить её лицо. И хотя у меня к ней важное, неотложное дело, я не в силах произнести ни слова, какие-то звуки вырываются у меня из горла, словно хрип угнетённого, и я просыпаюсь.

Этот Юра Кищук жил, как уже сказано, по соседству, но квартира не была похожа на нашу и вообще на квартиры в нашем доме. Наша квартира была битком набита жильцами. Мы, то есть я, младшая сестра, родители и какая-то приехавшая из дальнего края родственница, которая смутно упоминается мне, обретались в одной комнате, где каким-то образом помещались обеденный стол, шкаф, кровать, диван и даже пианино, на котором училась играть моя сестра. Хотя Кищук тоже проживал, судя по всему, в коммуналке, но она казалась совершенно безлюдной, и к тому же у них было нечто вроде квартиры в квартире. Мы все запросто ходили друг к другу в

гости; Юра никогда никого не приглашал, так что всё это, собственно, только сейчас и выяснилось. Он пронёсся через прихожую и исчез в коридоре, я за ним, рванул дверь и очутился в комнате, которая показалась мне роскошной. Какие-то зеркала, шкафы, кресла, с потолка свисала тяжёлая люстра. Никого не было, я остановился, тяжело дыша, не зная, что делать. Затем раздвинулась портьера, вышла дама в домашнем халате с небрежно завязанным поясом, со стоящими колтуном светлыми волосами, очевидно, это была мать Шуки. И больше, как ни странно, я ничего не помню — о чём меня спрашивали и что я ответил. Впрочем, нет: она подвела меня к зеркалу и велела причесаться. Было сказано ещё несколько слов, дескать, ну вот, теперь совсем другое дело. Теперь можешь идти. И я ушёл.

После этого, если придерживаться хронологии, хотя это не лучший способ повествования, во всяком случае, отнюдь не обязательный, — после этого прошло, вероятно, две-три недели. Весна была уже в полном разгаре. До экзаменов (которые тогда назывались испытаниями) оставалось недолго, а там каникулы, которые я надеялся провести в городе, ибо ненавидел пионерский лагерь, куда меня собирались запихнуть родители. Две или три недели прошло после моего вторжения, и вот однажды я увидел в нашем переулке мать Юры Кищука, она шла в ярком весеннем платье, в туфлях на высоких каблуках, держа на руке лёгкое пальто, светловолосая и окружённая светом; я увидел её, и что-то случилось. Нет, не резвый Эрот пустил в меня стрелу, скорее это было так, словно один из малолетних бандитов, тех, которыми кишела окрестность, растянул свою рогатку и камень ударил меня в переносицу. Я остановился, парализованный страхом. Психологик найдёт, вероятно, причину этого страха. Не знаю только, убедило бы меня его объяснение. Во всяком случае, для страха не было никакого повода. Не было — если не считать поводом открытие, поразившее меня, как гром: впервые в жизни я увидел, что женщина может быть красивой, что она может быть ослепительно красивой. Она приблизилась и спросила меня о чём-то. Я не мог ничего ответить. Она коснулась ладонью моей щеки, и мы разошлись.

Красота внушает страх, потому что предъявляет к окружающим непомерные требования. Красота унижает, уничтожает окружающих. Красота путает и вызывает недоумение, ибо самим своим явлением обесценивает всё, что прежде имело вес. Сама же она существует неизвестно зачем. Казалось бы, природа устроила так, что красота должна возбуждать желание у самца. Но на самом деле красота окружает женщину кольцом, на которое подан ток высокого напряжения: коснёшься, и ты погиб.

Возможно, будет излишним сказать два слова об уровне моей осведомлённости в этих делах. В каких, собственно, делах? Я уже знал, как знали все дети моего возраста, чему предаются мужчина и женщина, оставшись наедине. Как у всех детей, это была формальная осведомлённость. Например, я никогда не мог видеть в моей сестрёнке, которую от всей души презирал, существо, представляющее интерес с некоторой специфической точки зрения. Мне это просто не приходило в голову. Семья помещалась в одной комнате, но родители щадили детей, я ничего не видел и не слышал. Их

тайная жизнь меня не интересовала. Я и не чуял здесь никакой тайны. Вечно раздражённый отец, вечно озабоченная мама. Разговоры о ценах, очередях, соседях. Сестра принимала живейшее участие в маленьких домашних событиях, я же не только испытывал полнейшее безразличие к нашей семейной жизни, но и охотно его демонстрировал. Я не любил сидеть дома. Я думаю, что жестокий быт, вопреки обычным представлениям, не только не поощрял распутство, но, напротив, был условием репрессивной нравственности. Я даже не видел, чтобы мои родители когда-нибудь обменивались поцелуями. Тусклый быт запретил людям обниматься и целовать друг друга, запретил девочкам кокетничать с мужчинами, заново и с каким-то неожиданным для себя пафосом учредил мифологию благородного верха и постыдного низа; эта полицейская мифология попросту ставила вне закона нижнюю половину человеческого тела. Нравственность выследила секс, этого затаившегося врага, загнала его в тупик, вроде того как пограничники в тогдашних фильмах выслеживали диверсанта. Как газ в баллоне, сексуальность была сжата под давлением в тысячу атмосфер, и однажды баллон должен был взорваться.

Было ли у меня самого ощущение того, что я становлюсь мужчиной? Конечно. Были загадочные сны, тягостные пробуждения. Но физиология созревания, не правда ли, малоинтересный предмет. Я говорю о другом, о том, что обусловлено физиологией, но стремится её опровергнуть. Безуспешно, разумеется.

Не ждите от меня каких-нибудь откровений, всё, что можно сказать на эту тему, давно сказано. Хитрость в том, что каждому приходится начинать заново. Видите ли, в чём дело: тот, кто думает, что открытие, которое совершает ребёнок, — можно было бы сравнить его с утратой веры в Бога, если бы мы не жили в атеистическом обществе, — тот, кто думает, что разоблачение тайны пола и есть тот рубеж, за которым кончается детство, — ошибается: можно запомнить все слова и приблизительно знать, что они означают, и оставаться, как прежде, ребёнком. Подлинное крушение, конец детства, наступает, когда под ногами у вас расходуется земля, когда разверзается чёрный провал. Когда вы узнаете, что любовь не довольствуется обожанием и с ужасом убеждаетесь, что влюблённость оборачивается унижением для обоих, ибо неумолимо ведёт к телесному сближению, что любовь обречена кончиться половым актом.

Мне пришла в голову странная мысль помириться со Шукой. Теперь я знал, где он живёт, на каком этаже, в какой квартире, — и отправился к нему, волнуясь больше, чем полагалось бы в таких случаях. Даже в благоустроенных домах в те времена часто не было лифтов, я шёл по лестнице, марш за маршем, чем выше, тем всё неохотней, и когда, наконец, оказался перед дверью с нужной цифрой и картонным плакатиком, мужество окончательно оставило меня. Едва успев нажать на звонок, я скатился вниз. Притаившись на площадке между маршами, я слышал, как дверь отворилась, подумала и захлопнулась. Снова, как будто меня волокли на канате, я поднялся по ступеням, снова прочёл: *Кицук — 1 раз* и протянул палец к пуговке. Звонок

прозвенел за дверью, но теперь никто не спешил открывать. Я позвонил ещё раз, и ещё, с силой надавливая на кнопку, наконец, зашлёпали чьи-то шаги. Мрачная старуха выглянула из дверей.

Последовали расспросы, к кому да зачем, и вдруг совершилось то, что было в моём сне: мать Щуки вышла в коридор. На этот раз она показалась мне не такой ослепительной красавицей, может быть, оттого, что, как и в тот раз, когда я ворвался к ним, была одета небрежно; и я почувствовал облегчение. Чем-то она неуловимо напоминала Юрку. Я вновь очутился на пороге светлой комнаты с люстрой и зеркалами, с широко раздвинутой тяжёлой портьерой, за которой находилась другая комната, и солнечный день сиял в окнах.

“А Юры нет”, — сказала она, точно проворковала, глубоким грудным голосом; оказалось, что Щука уехал к бабушке или ещё куда-то. “Что же ты стоишь, заходи... Только вот я забыла, — прибавила она, — как тебя зовут”.

Когда вам, как равному, протягивают ладонь, это значит, что вам предлагают преодолеть расстояние возраста, пола и социального положения, но как только называют своё имя и отчество, все преграды воздвигаются вновь. По имени-отчеству полагалось называть учительниц. И вновь разница между подростком и взрослой женщиной, между неловким, непрошеным гостем и слегка удивлённой хозяйкой парализует вас и отнимает дар речи. Я вошёл — лучше сказать, повлёкся следом за ней, за её голосом, светлыми волосами, ленивыми шажками. Я чувствовал, что меня приглашают из вежливости. Ради вежливости задают абсолютно неинтересные вопросы, чем занимаются мои родители, какие у меня отметки, — она знала, что мы со Щукой учимся в параллельных классах. Но вы, очевидно, ждёте, — сказал рассказчик, — чтобы я подробней описал её внешность, я попробую это сделать, хотя описанию моему, возможно, не следует доверять: ведь я видел скорее мной самим сотворённый образ, чем женщину, существующую на самом деле. Но что значит — на самом деле?

Сказать, что она была среднего или скорее невысокого роста, примерно такого же, как я, в меру полная, с покатыми плечами, — значит ничего не сказать: память хоть и способна воспроизвести конкретные реальные черты, но они ничего не добавляют к её облику, он существует весь разом; её облик — это она сама. Эта женщина, Ольга Варфоломеевна, — так её звали, хотя сам я, помнится, никогда её так не называл, — явилась передо мной вся целиком. Мужчины, а тем более мальчики, вообще видят женщин целиком, по крайней мере, в первое время знакомства. Конечно, я не забыл её внешность, наоборот, помню до последних подробностей, но в то же время моя память, а лучше сказать, всё моё существо сопротивляется этому анализу. Я не могу её описать, как описывают своих героинь романисты; я помню всё, но не нахожу подходящих слов. Я вижу её лицо в облаке светлых волос, вижу выражение её глаз, но мне трудно сказать, например, какого они были цвета: серо-голубые? Зелёные? В этот раз она была уже не на каблуках, а в пуховых домашних туфлях без задников, и я помню её узенькие пятки, когда она шла впереди меня в комнату за портьерой: желтовато-розовые пят-

ки, из чего следует, что она была без чулок. В бледно-розовом байковом халате наподобие банного, она была подпоясана пояском, это делало её фигуру забавно неуклюжей и подчёркивало низкие бёдра.

Когда в следующий раз я пришёл, Ольга Варфоломеевна сама отворила мне парадную дверь. Юрка снова куда-то запропастился, но теперь это меня не удивило. Я как-то чувствовал, что не застаю его. Я держал в руках книжку, которую она дала мне; она удивилась: ты так быстро прочёл? Понравилось? В большой комнате стоял резной книжный шкаф. Выбери сам, какая тебе нравится, сказала она. Я подошёл к шкафу и стал смотреть через стекло на тиснёные корешки; это были дореволюционные издания. Сейчас, думал я, она скажет, теперь можешь идти, и я уйду. Скажет: уходи, и я уйду. Я сидел, прижимая к себе два самые интересные книги, которые я когда-либо читал с тех пор. Ольга Варфоломеевна поместилась напротив, положив ногу на ногу. Она была всё в том же байковом халате и запахла полу, я заметил это движение, мне почудилось даже, что я увидел мелькнувшее на секунду круглое колено. Туфля висела на её ноге.

Она показывала мне семейный альбом. Мы сидели рядом. “Вот это, — говорила она, — мы с мужем в Симеизе. Юрки ещё не было. Он ещё только был запланирован. И тебя, конечно, тоже не существовало. Бывал ты когда-нибудь в Крыму? А вот здесь мы уже переселились в Москву. Раньше мы жили на Урале...” На некоторых photographиях её муж был в гимнастёрке с ремнём и португеей, со шпалой в петлицах. Она — с причудливой причёской, с чёрными от помады губами, и он, на этот раз в галстук, прижавшись головами друг к другу. Девочка с нелепыми бантами на голове, снова напомнившая мне Шуку, была тоже она. “А вот это... — говорила она задумчиво, глядя на какие-то совершенно неизвестные физиономии, и вдруг рассмеялась: — Господи, а это откуда?” Снимок в овале изображал мужчину в цилиндре, в монокле, с бабочкой на шее, подбородок подпёрт набалдашником трости. “Это у меня был поклонник, — сказала она, — артист”. Я спросил, куда же он делся. Она ответила: “Исчез!” Потом добавила: “Никуда не делся; женился, потом развёлся, почём я знаю... Ну вот, — сказала она, захлопывая альбом, — а теперь у меня появился новый поклонник!”

Я не нашёлся, что ответить, и даже не совсем понял, кого она имеет в виду; вернее, не понял, шутит ли она или это говорится всерьёз. Я ожидал, что она сейчас скажет: хорошего понемножку, посидели, теперь ступай; что-нибудь в этом роде. “Или я ошибаюсь? — проговорила она, посмотрев сбоку на меня. — Нет, — самой себе ответила Ольга Варфоломеевна и слегка покачала головой, — нет, не ошибаюсь. Мальчик, — сказала она мягко, — а ты знаешь, сколько мне лет?..”

«Несколько раз, — продолжал рассказчик, — я встречал её на улице, она проходила мимо, не замечая меня, и я догадался, что она не желает больше меня видеть. Как вдруг однажды она вошла во двор, остановилась, очевидно, искала сына. “Не знаешь ли ты, — проговорила она рассеянно, не глядя на меня, — не знаешь ли ты... я места себе не нахожу”. — “У них сегодня шесть уроков, — сказал я. — И классное собрание”. — “В самом деле? — спросила она живо. Господи, — и всплеснула руками, — прямо из головы

вон. А я-то уж всё на свете передумала, кругом хулиганье. Ну, спасибо тебе”. Я чувствовал, что она хочет мне что-то сказать, и ждёт, чтобы я первым произнёс что-нибудь; но я словно набрал в рот воды. Она взглянула на меня, как мне показалось, несколько высокомерно, словно учительница, которая делает замечание ученику. “А ты почему не заходишь?” В этом вопросе как будто само собой подразумевалось, что меня зовут в гости не к Юре, а к ней.

Бывает, что какая-то мысль, и даже не мысль, а что-то ещё более мимолётное, короткое, как укол, мелькнёт, чтобы исчезнуть, и, однако, оставляет след, и этот след мысли, как уколотое место, не даёт покоя; так случается, когда во сне короткий всплеск сознания будит вас, и кажется, что через мгновение снова уснёшь, но сон уже не приходит. Так было и с нами.

“Ты на меня рассердился?”— спросила она, когда я вошёл следом за ней в большую комнату, полную ожидания. Это было на другой день. Пятна света дрожали на паркетном полу, темнело, как омут, овальное зеркало — в этой квартире было много зеркал, — и в нём стояли, наклонясь, книжки в золочёных переплётах, шевелились тюлевые гардины. Голоса доносились снизу из синевы и прохлады нашего переулочка, там жил своей жизнью старый квартал, и май был в самом начале, и сушилось бельё во дворах, и на крыше сарая со снеготаялкой сидели ребята, и девчонки прыгали через верёвочку. А здесь обитала она в роскошном заточенье, и звуки улицы едва достигали её слуха. Я спросил на всякий случай, а где же... “У бабушки”, — ответила она коротко.

Не было больше разговора ни о книжках, ни о фотографиях, наступило молчание, она встала и подошла к зеркалу, я видел её со спины и видел её лицо в провале блестящего стекла. Но глаза, большие и потемневшие, смотрели не на меня, её глаза пожирали пространство. Что же это мы делаем, пробормотала она, как в бреду. Видит Бог, я этого не хотела. Ох, не хотела... Солнечные пятна на полу померкли, должно быть, за окнами, низко над городом проплывали облака.

Я не могу вдаваться в подробности, вы чувствуете, что мы приблизились к запретной, загороженной зоне. Можно предположить, что в начале нашего знакомства Ольга Варфоломеевна разрешила себе затеять со мной маленькую игру. Немое обожание подростка может быть не менее лестным, чем ухаживание взрослого. Но теперь это была уже не игра. Да, — сказал рассказчик, обведя взглядом маленькое общество, — мы приблизились к зоне, окружённой рядами ключей проволоки, обставленной заградительными цитами. Их назначение — внушать священный страх. Непристойное — это обратная сторона сакрального, священное становится непристойным, когда о нём говорят вслух. И так будет всегда, несмотря на все попытки расколдовать демона и всевозможные сексуальные революции... У нас нет языка, чтобы выразить то, что мы хотели бы выразить; у нас есть много языков, все они неудовлетворительны. О сексе можно говорить разве только языком мифа, но проклятье нашего века, нашего воспитания или, может быть, проклятье всей нашей цивилизации состоит в том, что мы вос-

принимаем миф всего лишь как иносказание. Она всё ещё стояла перед зеркалом, смотрела на себя и на меня, и я видел, как шевелятся её губы. Это судьба, бормотала она, ты веришь в судьбу?

Обыкновенно считается, что недоросля сдает любопытство. Ничего подобного — я испытывал только страх и смятение. Больше не было учительницы и провинившегося ученика, взрослой женщины и ребёнка, перед которым впервые приоткрылось то, что ему ещё не полагается знать. Всё, что меня защищало, держало, словно на помочах, мои родители, школа, двор, игры, рачья скорлупа жизни — детство, из которого я рвался изо всех сил и с которым так страшно было расставаться, — всё отлетело, рассыпалось, я остался один, словно вытолкнутый за ворота уютной тюрьмы, лицом к лицу с нею и с тем, что она назвала судьбой. Мы были одни, мы были мужчиной и женщиной, больше никем.

Она... я говорю: она, ибо мы лишились имён. Она медлила, пальцы теребили поясок халата, и лицо, серое, как ртуть, с огромными глазами, с приоткрывшимся ртом, следило за мной из стекла. Оттого, что зеркало было слегка наклонено, я видел её почти всю, и казалось, что она смотрит на меня исподлобья. Может быть, она ждала, что я опомнюсь и убегу. Её пальцы развязывали что-то там, развели в стороны, я увидел её тёмнорозовые соски, обведённые кружками, увидел живот и тенисгую складку, похожую на букву игрек. О, я знаю, вы подумали — зрелая женщина соблазнила подростка. Но с таким же правом можно сказать, что я был её невольным соблазном. На самом деле это было что-то другое, превратившее нас в сомнамбул. лишившее воли и меня, и её, а вернее сказать — внушившее нам неукротимую волю. Всё это — там, перед зеркалом — продолжалось одно мгновение; она запахнула халат. Лицо её приняло решительное выражение, она подошла ко мне и быстро поцеловала меня, словно мне предстояла опасная операция. И я поплёлся за ней в другую комнату, оказывается, там была ещё одна комната. Чем-то одуряющим пахло в этом покое; она сидела на краю кровати, необыкновенно широкой, занимавшей всё место, а я стоял перед ней, словно рекрут, и она расстёгивала и снимала с меня мою одежду. И вот на этой кровати, представьте себе, — сказал рассказчик, — произошла со мной позорная и комическая история. Смейтесь: я потерял сознание.

Да — упал в обморок, если можно сказать так о человеке, который и без того лежит; лишился чувств, но не от физического потрясения, — мне кажется, я вообще ничего не испытал, — а от волнения, к которому, может быть, присоединился запах духов. Очнувшись, я почувствовал холод на висках, она тёрла меня одеколоном. Светлые ароматные волосы щекотали меня, я отстранился. “Жив?” — спросила она. Я молчал. “Ничего, это бывает”, — сказала она. Она встала и слегка раздёрнула гардины большого окна. На ней ничего не было. Я старался не глядеть на неё. “Что бывает?” — спросил я тупо. Никогда в жизни я не испытывал такого унижения.

“Первый блин комом!” — сказала она. В довершение моего стыда она тщательно вытерла — на мне и на себе — липкое и неприятное, то, что из меня вылилось. Она гладила и утешала меня, как маленького. Она прилегла ко мне. Я отвернулся от неё чуть ли не с ненавистью. В глазах у меня стояли

слёзы. Тут я вдруг сообразил, словно только сейчас заметил, что мы лежим под простыней, за окном белое, как вата, небо, и какая-то опасная тишина стоит в квартире. Страшная мысль прилипла к моим губам: а Щука? А ели... Что мы тогда будем делать? Но она словно и не помышляла об этом. Как будто мы стали невидимы, — и знаете, мне ведь, в самом деле, предстояло сделаться невидимкой, как в известном романе, — пока кто-то не увидел следы на снегу...

“Что будем делать, — рассеянно проговорила она, угадав мой вопрос, — да ничего не будем делать! Сейчас с тобой встанем и выпьем чаю. Только ты должен отвернуться... Выпьем чайку, — сказала она, — и ты пойдёшь. Тебе пора делать уроки” Я сердито возразил: “Нам уже ничего не задают”. — “Ах да, — сказала Ольга Варфоломеевна, — я совсем забыла; но тебе надо готовиться к экзаменам”. Мы лежали, накрытые до подбородка. “Я вот всё время думаю, — сказала она, — ты понимаешь, чем мы с тобой тут занимались? Ты несовершеннолетний, а я... Ты пойдёшь домой, и мы забудем эту историю, договорились? Мы с тобой зашли слишком далеко, ни к чему хорошему это не приведёт. Ты меня понял? Ты сюда не приходишь, и ничего между нами не было. И вообще ты меня не знаешь. Договорились? Ну вот. А теперь отвернись, мне надо одеться”. Я молчал, и она молчала.

Потом она спросила: “Это вы его так называете? Не волнуйся: Юра приедет завтра, он у бабушки. Она его очень любит”. — “А ты?” — спросил я. “Что я?” — “Ты его тоже любишь?” Она пожала плечами. “Я его мать. Разве твоя мама тебя не любит?” Усмехнувшись, она добавила: “Ты что, ревнуешь? Не беспокойся, это совсем другое. А по-настоящему я люблю только тебя. Это ужасно, это чудовищно, — сказала она, смеясь, — но я люблю только тебя. Но теперь это уже не имеет значения”. — “И я тебя тоже”, — сказал я. Она улыбнулась и ответила: “Я знаю. Я это знала с самого начала”. Мне стало как-то легче. Я хотел спросить: а...? — и запнулся. Я не знал, как назвать этого человека. “Ты про моего мужа? — спросила она. — Он придёт поздно... на рассвете. И будет потом спать до часу дня. Дождь собирается, — проговорила она. — А утро было такое ясное, ни облачка... Нет, это не любовь, это тебе только кажется. Ты влюблён, мальчики часто влюбляются во взрослых женщин. Это пройдёт. А вот я тебя действительно люблю. Тебе это кажется странным?”

Она поцеловала меня. “Если хочешь, — сказала она осторожно, — мы можем попробовать ещё раз. Только это будет последний раз, слышишь? — Она ровно, медленно поглаживала меня. — И расстанемся... Ложись ко мне ближе, вот так... Не торопись. У нас ещё уйма времени... Сейчас пойдёт дождь; видишь, как стемнело... Только не торопись. Медленно. Мой единственный”».

Рассказчик обвёл глазами слушательниц.

«И, представьте себе, всё как-то получилось очень хорошо. Вас, должно быть, удивляет, что я так уверенно воспроизвожу все слова, все... частности, вас это удивляет: ведь мысль и память исчезают в эти мгновения, вроде того как у тонущего лёгкие заливают водой. Это сравнение можно продолжить. Нашу кровать можно было сравнить с кораблём в океане. За окном всё сверкало и громыхало, крупный дождь стучал в стекло.

Оттого ли, что это было во второй раз, или благодаря изумительному такту моей подруги, наше соединение совершилось просто и естественно, за исключением разве что последних мгновений полного сумасшествия, так что сейчас мне трудно решить, а тогда тем более невозможно было понять, осталась ли она удовлетворена мною или всё её умение сосредоточилось лишь на том, чтобы дать мне почувствовать себя мужчиной. В одном фрагменте Новалиса, если не ошибаюсь, говорится о том, что любовная встреча есть одновременно физическое нисхождение по ступеням чувственности вплоть до оргазма и восхождение по лестнице духа, до экстаза.

Понемногу я пришёл в себя; всё изменилось; я начал ориентироваться в новом для меня мире. Это был мир нежности и восхищения. Я стал различать подробности в том, что оевало меня ветром волос, и обволакивало, и обнимало белыми, мягкими руками. Я увидел то, что предстало моим глазам без всяких уловок, с бесхитростной очевидностью, но требовало нового зрения; теперь я прозрел. Я открывал это тело, как ребёнок открывает книжку с картинками, или как человек, разбирающий текст на чужом, всё ещё непонятном и восхитительном языке. Похоже, ей не было неприятно моё любопытство; она находила его забавным и позволяла мне разглядывать себя со снисходительной улыбкой, уверенная в себе, как богиня. Меня поразила уость её талии, её просторные круглые бёдра, мне захотелось обнять их, зарыться в них головой, и... не могу скрыть от вас совсем уже дикую мысль, мелькнувшую за кулисами разума, — что эта расщеплённая раковина могла бы произвести на свет и меня. Мысль, возможно, и не такую уж абсурдную. В каком-то смысле так оно и было.

Она потихоньку выпроводила меня, и с этого дня мы стали встречаться. Иногда мне открывала дверь зловещая старуха, которая, может быть, ничего плохого и не замышляла; во всяком случае, мне больше не задавали вопросов, поворачивались и молча шлёпали в свою каморку, и в ту же минуту я забывал о ней, я почти бежал по коридору, отворял дверь, не стучась, и мы бросались друг к другу в таком нетерпении, что иногда это происходило тут же, в первой комнате на полу. И никто не знал об этих свиданиях, кроме таинственно-мрачной бабуси, — кто она была, нянька, родственница или просто соседка, не знаю. Однажды, когда я сбегал, прыгая через ступеньку и громко нашивывая, вниз по лестнице, я столкнулся нос к носу со Щукой, он шёл навстречу и как-то странно сузил глаза, или мне показалось, — мы не произнесли ни слова, я выскочил из подъезда. Я тотчас позабыл об этой встрече, возможно, она в самом деле не имела значения. Ничто больше не имело значения.

Учебный год кончился, мои родители ни о чём не подозревали, и для них было полной неожиданностью, когда, вернувшись домой после первого испытания, в белой парадной рубашке с отложным воротом и свежевыглаженном пионерском галстуке, я объявил, что срезался. Получил переэкзаменовку на осень. Моя мама расплакалась, сестра уставилась на меня круглыми глазами. Отец ничего не сказал и лишь завесился густыми бровями, как делал при каждом новом ударе судьбы. Но совершилось чудо. Я даже толком не знал, что именно произошло, да и какое мне было дело до под-

робностей, школа интересовала меня как прошлогодний снег. Ольга Варфоломеевна пришла мне на помощь, чувствуя себя, как она мне призналась, виноватой; выяснилось, что у моей возлюбленной есть «кое-какие связи»; на кого-то нажали, чуть ли не на самого директора, и отношение ко мне внезапно переменялось. Мне разрешили перенести экзамен теперь же, по окончании испытаний, кое-как я свалил с себя это бремя. Другая беда, по-настоящему грозная, о которой я сейчас расскажу, стряслась со мной, с нами: гром грянул среди ясного неба.

Конечно, это должно было рано или поздно случиться. Следы человека-невидимки, отпечатки голых ступней бежали по снегу! Если вы видели фильм, который шёл в эти годы в Москве, вам должен был запомниться этот кадр. Но ещё прежде что-то начало меняться в Ольге Варфоломеевне. Она стала раздражительной, суетливой, то и дело теряла что-то, придиралась ко мне по всякому поводу. Я был виноват, что долго не приходил, виноват, что пришёл слишком рано. Из-за меня она опаздывала куда-то, залила новое платье какой-то дрянью, из-за меня — чему я охотно верю — не ладила со своим таинственным мужем. Словом, я был причиной всех неудач, я принёс несчастье в её мирный дом. Какой же он мирный, возражал я. Не смей так говорить, кричала она, что ты в этом понимаешь! Она отдавалась мне с какой-то судорожностью, она, такая разумная, стонала и торопила меня, эта судорожность передавалась и мне, и потом, когда мы в изнеможении отстранялись друг от друга, я думал, что больше не появлюсь. Мне казалось, что наши свидания перестали приносить ей радость.

Как-то раз она предложила поехать на дачу. — “К вам, на дачу?” — “Не к нам, в другое место”. Я спросил: что-нибудь случилось, кто-нибудь нас увидел? “Ничего не случилось, погуляем, подышим свежим воздухом. А на другой день ты вернёшься”. — “А ты?” — “Ты вернёшься, а я останусь”.

Я понял, что расспрашивать её бесполезно; я сказал дома, что в школе устраивается поход с ночёвкой, это звучало малоправдоподобно, ведь занятия уже окончились, но ничего лучшего я не мог придумать; мама приготовила мне бутерброды, я напялил на плечи старый брезентовый рюкзак. Ольга ждала меня возле касс Белорусского вокзала. Мы высадились на остановке Перхушково, долго шли лесом, полем, это были в то время места дивной красоты. Дача находилась на краю посёлка, невзрачный домишко, может быть, предназначенный для obsługi. Кругом ни души. Местность, о чём я, разумеется, не знал, представляла собой некую закрытую зону.

Поздним вечером мы долго сидели на ступеньках крыльца, на другой день поздно встали и отправились на станцию, было уже около двенадцати. Подошёл поезд, она обняла меня, я стоял в дверях вагона, она оглядывалась, мы не знали, что сказать на прощанье друг другу. Раздался свисток дежурного, она бросилась ко мне. Мы сидели у окна в полупустом вагоне, и вот вошла женщина, пожилая цыганка, босая, высохшая, как абрикосовая косточка, в шёлковом обтрёпанном платке, съезжавшем с её конских смоляных волос; вошла и уселась возле Ольги Варфоломеевны. Явились карты, последовало предложение погадать. Вон ему погадай, возразила Ольга. Старуха отёрла щербатый рот ладонью и спросила: “А он кто тебе будет?” —

“Сын”. — “Ой, врѣшь, тѣтка. Неправду говоришь; какой он тебе сын?.. Не бойсь, — сказала цыганка, понизив голос, — нас никто не слышит”. — “Чего мне бояться”, — сказала Ольга Варфоломеевна. “А небось сама знаешь. О-ох, вижу, вижу вас обоих наскрозь”. — “Пошла отсюда вон”, — сказала Ольга Варфоломеевна. “Зачем ругаться; я тебе лучше кой-что скажу. Бросит он тебя. Вишь какой он молоденький. А ты старая. Я заговор знаю. Так заговорю, что приохнет он к тебе навеки. Привяжешь его крепче всех цепей”. — “Пошла вон, ведьма!” — закричала Ольга, плача от гнева. И мы оба выбежали из вагона. Это был какой-то полустанок, мы озирались, мы не знали, куда нам деться.

Но я собирался вам рассказать о более важном событии. Я сказал, что гром ударил с ясного неба: случилось это в нашем старом дворе. После войны, я имею в виду Мировую войну, которая тогда ещё не называлась первой, Германия потеряла свои колонии, Юго-Западную Африку, Камерун, Того и все остальные, и, как гласила филателистическая молва, последние колониальные марки были выпущены в траурных рамках.. Но это была не молва и не легенда: с гордостью могу сказать, что я единственный в классе и во дворе обладал этой серией. Филателія была великим приключением нашего детства. До сих пор для меня остаётся загадкой, каким образом, живя в закрытой стране, мы умудрялись владеть почтовыми марками далѣких экзотических стран и островов, о которых даже не упоминалось в учебнике географии. Ещё не все ребята успели разъехаться на каникулы. Щука был в городе. Щука вынес во двор свою коллекцию. Можно было залобоваться его альбомом: в твёрдом переплѣте с тиснением, с толстыми разграфлѣнными страницами, с гербами давно не существующих княжеств и королевств. Роскошный дореволюционный альбом, слегка обтрѣпанный, вероятно, реквизированный у кого-нибудь из тех, кто бесследно исчезал в те годы. Само собой, с ним не шли ни в какое сравнение наши купленные в писчебумажном магазине альбомчики “для рисования”.

Щука предложил меняться. Он давно уже зарился на мои колонии. Предлагались очень неплохие вещи: Ватикан с золотыми ключиками и тигрой и кое-что в придачу. Началось с обычной торговли, он набавлял цену, я упирался; мне вообще не хотелось меняться. Началось мирно, а закончилось не то чтобы обычной ссорой, как тогда с шахматами, но гораздо хуже. “Ну что ж, — проговорил он со зловещим спокойствием, — не хочешь — как хочешь. Дай-ка мне ещё разок посмотреть”.

“Чего смотреть-то”, — сказал я. “Ну дай”, — лениво сказал Щука. И, не дожидаясь разрешения, вытянул кончиком пальца мои марки из кармашка, — мы приклеивали длинные кармашки из прозрачной бумаги к альбомным листам. Он положил марки на ладонь. “Красивые”, — сказал он. “Ты! — сказал я, обеспокоенный, — положи назад”. В ответ он засмеялся и ссыпал марки себе в альбом. “Ах ты, гад”, — вскричал я. “Чего?” — спросил он, прищурившись. “Щука, — сказал я. — Верни по-хорошему”. — “А ты как меня назвал? — спросил он. “Верни марки”, — сказал я. “Нет, ты повтори”. — “Чего повторить?” — “Повтори, что ты сейчас сказал. Извинись!” И он свирепо взглянул на меня. “За что это я буду извиняться, — сказал я презрительно, — он мои марки зажилил, а я ещё должен извиняться”.

Он огляделся и, хотя мы стояли почти вплотную друг к другу, поманил меня пальцем. “Если ты, — сказал он тоном заговорщика, — будешь пасть свою раскрывать, паскудина, гнида вонючая, знаешь, что я с тобой сделаю? — Он выдержал паузу. — Всё расскажу отцу, понял?” — “Что это ты расскажешь?” — спросил я оторопев. “Сам знаешь что”, — ответил он. “Ничего я не знаю”, — сказал я. “А кто у меня папаша, знаешь?” — “Ну, знаю”, — сказал я. “А теперь проси у меня прощения. Скажи: Щука, прости меня”. — Я пробормотал что-то. — “Прости, я больше не буду”. — “Больше не буду”, — сказал я. “Честное пионерское”. Я дал честное пионерское. “То-то же, — сказал Щука, — я человек строгий, но справедливый. Даю тебе за твои колонии Испанию с королём и римским папой”. — “И всё?” — спросил я. “А что, мало, что ли? Ах ты, змеёныш. Ладно, — сказал он, — даю в придачу Уругвайчик. Чтоб ты знал, что я человек справедливый”.

Я думаю, что он ничего не знал, разве только заподозрил что-то. Неделя прошла или около того, Щука не появлялся — очевидно, отбыл на дачу или куда там его вывозили на лето, чему я был рад и не рад, ведь это могло означать, что мы расстаёмся с ней на три месяца. Как вдруг однажды я увидел Ольгу Варфоломеевну: она стояла между створами ворот, солнце било ей в спину, я не различал её лицо, видел лишь тёмную фигуру и огненный нимб волос. Мне показалось, что она поманила меня. Я выскочил из двора в переулочек. Её не было. То, что меня поманило, было видением. Несколько минут спустя я увидел её снова, она шла по противоположной стороне, и вновь меня поразила красота её бёдер, узких покатых плеч, красота походки и лёгкого, в каких-то экзотических цветах платья, порхавшего вокруг ног. Она шла в сторону Харитоньевского переулочка ровным крупным шагом, не спеша и не оборачиваясь, держа под мышкой сумочку-ридиколь, свернула направо, мы поровнялись около школы, выстроенной на месте церкви, которую я ещё помню; говорили, что в ней венчался Пушкин. И хотя это было неправдой, всё равно было известно, что в этой церкви венчался Пушкин.

Она не заметила меня, не повернула головы и не ускорила шаг, и произнесла: иди вперёд, я тебя догоню. Я пересёк трамвайный путь и вышел через вертушку на бульвар. Места, возможно, памятные и вам, — я помню их так, словно вчера там побывал. Чистые Пруды в то время были много чище и во всяком случае просторней. Буйно зеленеющие деревья, газоны с жёлтыми и лиловыми цветами, песочный круг, по которому ходил по воскресным дням верблюд, карусели, продавцы мороженого. Всё это ещё существовало в те далёкие времена. И она купила мне круглое мороженое между двумя вафлями, на которых было выдавлено имя Ольга, самое большое, за вoseмьдесят копеек.

“Я хочу тебе кое-что сказать, — промолвила она, называя меня так, как только она меня называла. С тех пор никто не звал меня этим именем, и оно так и осталось нашим секретом. — Я должна тебе кое-что сказать...” — “Я тоже”, — быстро сказал я... И сейчас же пожалел, что проговорился: зачем надо было ей рассказывать? “Что тоже?” — спросила она. “Ты не бойся, — сказал я, — это всё ерунда, он меня просто разыгрывает”. — “Может, мы сядем? — сказала Ольга Варфоломеевна, и мы уселись рядом на скамейке. —

Кто тебя разыгрывает?” — “Нет, сначала ты скажи”. — “Скажи мне, потом я тебе скажу”. — “Он знает”, — сказал я. “Кто?” — “Щука. То есть он не говорил прямо, а намекнул”. И мне пришлось рассказать об инциденте с траурными колониями. “Это ерунда, — добавил я. — Это он просто меня запугивает. А сам ничего не знает”. — “Ты так думаешь?” — спросила она задумчиво. Она взглянула на меня и сказала: “Ты перепачкался. Нельзя быть таким неаккуратным”. Она отколупнула свою крохотную сумочку и вытерла душистым платком капли мороженого на моей рубашке. Потом утёрла мне щеки, точно я был маленький; я брезгливо отстранился. “Что он тебе сказал? — спросила она. — Постарайся вспомнить”. Я возразил, что ни о чём таком Щука напрямую не говорил, лишнее доказательство, что он ничего толком не знает, только пригрозил, что если я буду раскрывать пасть, то он всё расскажет папаше. “Знаешь что, — сказал я. — Давай уедем”.

“Давай уедем, далеко, где нас никто не найдёт. Давай, — сказал я вдохновенно, — махнём куда-нибудь на Урал, или в Сибирь, или ещё куда-нибудь!” Ольга Варфоломеевна внимательно слушала меня и кивала с очень серьёзным видом. “Я всё обдумал, — продолжал я, — главное, никому ни слова. Ты возьмёшь с собой самое необходимое. Мы встречаемся на вокзале. Я родителям тоже ничего не скажу”. — “Но они подумают, что с тобой что-то случилось, они будут страшно волноваться”, — возразила она. “Мы им напишем с дороги. Или дадим телеграмму. Я сам напишу. Я скажу, чтобы они меня не искали”. — “А где ты возьмёшь деньги на билет?” — “Ты мне дашь. В долг, — сказал я. — А потом, когда мы приедем, я тебе отдам”. — “Ты мне отдашь... угу. — Она всё кивала головой. — Глупый, — сказала она. — Куда же мы уедем. Нас найдут везде”. Я взглянул на неё и понял, что ни одного моего слова она не принимает всерьёз. “Всё ясно, — прошипел я. — Ты меня не любишь, так бы и сказала! Я для тебя просто игрушка, поиграла и фить! Ты надо мной смеёшься, всегда смеялась...” Я стиснул зубы. Мне хотелось её придушить. Она усмехнулась. “Я? — спросила она. — Тебя не люблю? — Несколько времени она всматривалась во что-то вдаль. — Ты даже не знаешь, ты не можешь себе вообразить, — пробормотала она, — что ты для меня значишь. Я всё тебе отдала. У меня ничего не осталось... Ничего, кроме тебя. Всё остальное превратилось в дым, в фантом. Ты не смеешь судить об этом”.

Теперь я видел, что она тоже рассердилась не на шутку, нахмурилась и поджала губы. “Что ты можешь знать, — сказала она, — что ты можешь вообще об этом знать, молокосос!”

Худшего оскорбления невозможно было придумать. Мы сидели и смотрели в разные стороны. Ещё немного, я бы встал и ушёл. И больше она никогда бы меня не видала. Она пробормотала: “Значит, он так сказал. Ты уверен, что он именно так и сказал — расскажу отцу?” Я пожал плечами. Знаю ли я, спросила она, где работает её муж? “Конечно, знаю, — сказал я. — Он охранник фараона”. — “Кто это сказал?” — спросила она с изумлением. “Мой папа”, — сказал я. Разумеется, я не знал, что имелся в виду Потифар, начальник фараоновых телохранителей. Так же как ей вряд ли было известно, кто такой Иосиф Прекрасный. “Скажи твоему папе, — жёстко сказала она, — чтобы он попрिдержал язык!” Помолчав, она добавила: “Ты,

кажется, не совсем себе представляешь, что это такое. Ты знаешь, что он с тобой может сделать? С тобой, с твоими родителями, с сестрёнкой? И со мной, конечно... Если бы ты был старше, я могла бы тебе кое-что рассказать...” Я засопел: опять она попрекнула меня моим возрастом! “Не сердись, — мягко сказала она и назвала меня снова тем именем, навсегда ушедшим вместе с ней. Она взяла меня за руку. — Я могу тебя поздравить, ты теперь стал настоящим мужчиной”. — “Да?” — сказал я удивлённо. “Да. Я тебе хотела сказать. Ты стал отцом”. — “Как это?” — спросил я. Она пожала плечами. “Очень просто. Я беременна”.

Я как-то не сразу сообразил, в чём дело, и довольно глупо возразил: “А причём тут я?” Она ответила, усмехнувшись: “Хорошо было бы, если бы ты был ни при чём. Только, видишь ли. Я с моим мужем давно не живу. Я не сплю с ним. Он приходит на рассвете и валится, как мёртвый, такая работа. Ты — мой муж!” — сказала Ольга Варфоломеевна и весело рассмеялась».

Рассказчик продолжал:

«Где-то теперь гуляет мой сын. Годы стёрли разницу в возрасте, да и велика ли была разница? Теперь мы почти ровесники. Где-то живёт мой отпрыск по фамилии Кищук, моя кровь, — или, может быть, это дочь? Вероятно, Ольга Варфоломеевна приняла меры к тому, чтобы у супруга не возникло подозрений, женщины всегда находят выход. Так что ни дочь, если это дочь, ни официальный отец не подозревают о моём существовании. Если, конечно, он остался жив, а не угодил — что вполне возможно — в собственную мясорубку.

Юра, надо полагать, пошёл по стопам папаши. Очень может быть, что сейчас он в высоких чинах. Хотя он-то, наверное, понял, — если он в самом деле был так догадлив, — что я его отчим. Но могло случиться другое. Вспомните, что это было за время. Крысы начали пожирать друг друга... И если это случилось, если муж был арестован, жену должны были отправить в лагерь, а вот дети — тут-то, может быть, и пригодилось бы моему сыну или дочке чужое отцовство. Жива ли ещё Ольга Варфоломеевна? Она не показывалась, я не знал куда себя деть, наотрез, ценой ужасного скандала отказался ехать в пионерлагерь, слонялся по пустому двору, жарился на крыше, куда можно было забраться по пожарной лестнице. И все время думал об Ольге. Я не знал, в городе ли она, не выдержал и отправился к ней. Отлично помню, как я поднимался по лестнице, не зная, что я скажу ей, что скажу Щуке, если вдруг он окажется дома. Мне открыла соседка. Дверь была на цепочке. Обыкновенно меня впускали без разговоров. На этот раз старуха спросила: “Ты к кому?” Я сказал, к Юре. “Нету здесь никакого Юры”, — ответила она и хотела захлопнуть дверь. “Я к Кищукам”, — сказал я. — “Нету никаких Кищук, уехали”. — “На дачу?” — спросил я. “Совсем уехали. И нечего сюда шастать”. — “Подождите, — сказал я срывающимся голосом, — как это совсем? Куда?” Она ответила: “Я почём знаю. Новую квартиру им дали. И ступай. Нечего тебе тут больше делать”.

Я спохватился, что мне нужно было спросить, где находится эта квартира, взбежал по ступенькам и долго, потеряв надежду, звонил. Старуха открыла. Почём я знаю, сказала она. И дверь захлопнулась.

Итак... она сбежала, повинувшись страху. Я стоял на площадке в тупой задумчивости. Она сбежала, я это понял. Она не разлюбила меня, но страх оказался сильнее любви, сильнее всего, что нас соединяло, что было смыслом нашей жизни, — по сравнению с ним всё остальное не имело никакого значения. Сворачивание несовершеннолетнего или как там это называется. Дурацкие, бессмысленные слова. Торжественное разоблачение. Ну и что?.. На любом суде я поклялся бы головой, что никакого совращения не было. А был страх. Муж-оборотень, который есть и которого нет, на одних фотографиях он в штатском, на других — в ремнях и со шпалой в петлице; ничтожный и всевластный. Новая квартира, что ж, это было похоже на правду, им всем полагались отдельные квартиры в особых домах. Может, теперь у него было уже две шпалы. Не в квартире дело, а в том, что людьми правит страх, это я понял. Власть у того, кто внушает страх. Эту власть даже не обязательно показывать. Я этого мужа ни разу не видел, он не интересовал меня. Может, он ничего и не знал; наверняка не знал. Не в этом дело, а в том, что существует власть страха, она везде, просто я об этом не знал.

Я шагал вниз по лестнице, со ступеньки на ступеньку, вышел из подъезда, был ослепительный день. И я чувствовал, как мне опостылело всё на свете. Она исчезла. Бросила меня, как сбрасывают на бегу мешающую обувь. Я решил всё хладнокровно обдумать, на это ушло несколько дней. Не помню, говорил ли я вам, что во двор, по обе стороны от ворот, выходили два чёрных хода, через один из них можно было спуститься в подвал. Туда вела короткая узкая лестница и дверь, за которой в крохотном закутке помещался разбитый фаянсовый стульчак и висело нацарапанное дворником обращение к жильцам, я помню из него одну фразу: “Лакеев за вами нет”. Было видно, что лакеев, в самом деле, больше нет: всё было забросано мусором. Дальше начинался тёмный коридор, за ним бывшая котельная, её ликвидировали с тех пор, как дом был подключён к центральному отоплению. Коридор и комната, где с потолка свисал обрывок провода, были местом таинственных приключений нашего детства; детство давно миновало. Дождавшись, когда стемнеет, я сошёл в катакомбы с карманным фонариком. Из подвальной комнаты можно было добраться до люка в углу двора. Обследовать этот второй коридор я не стал, что и привело к неудаче моего предприятия.

Всё было приготовлено: ящик, шаткий, но пригодный для моей цели, верёвка и мыло. Я владел искусством вязать морской узел. Этим узлом я привязал верёвку к обрывку провода, обмотал для верности вокруг изолятора. В кармане у меня лежала записка; я воспользовался некоторыми выражениями, вычитанными из книг. Само собой, об Ольге не было упомянуто ни намёком. Мною было предусмотрено всё, за исключением одного обстоятельства. Я забыл, что подвал служил изредка ночлежкой для бродяг. Дворник вёл против них войну с переменным успехом. В этот раз в коридоре, который вёл к люку, устроился нищий. Это был пожилой интеллигентный человек, я встречал его изредка в нашем переулке. Он вытащил меня из петли».

Повествователь проговорил:

«Где-то я вычитал фразу из египетского папируса. “Те, чьи имена произнесены, живы”. Это верно: имя обладает магической властью, потерять имя — всё равно что умереть. Я не могу вам открыть имя, которым звала меня Ольга Варфоломеевна, это имя осталось там, в России, да и сам я, в сущности, остался там, а тот, кого вы слушали, — это другой человек...»

В ответ раздались восторженные восклицания: был внесён необыкновенный торт. Все занялись чаем.

ПРОЧЕЕ — ОДЕЖДА

*Voici la nudité, le reste est vêtement.
Voici le vêtement, tout le reste est parure.
Voici la pureté, tout le reste est souillure.*

Charles Péguy¹

Женщина шагала в сандалиях, держа сумочку у бедра, ни на кого не глядя, люди оборачивались и смотрели ей вслед. Заметим, что у нас в России такой номер бы не прошёл. Но тут дело происходило в стране, где строгость нравов, отнюдь не уступив место безнравственности, ушла с поверхности в глубину. Тем не менее, некто в зелёном мундире и брюках табачного цвета, в фуражке с гербом, поманил незнакомку пальцем.

«Вам не холодно?»

Она возразила:

«Я привыкла».

Полицейский попросил предъявить удостоверение личности.

«Но у меня его нет с собой». И она показала сумочку, где лежал платок.

Человек в мундире сказал, что вынужден её задержать. Она подняла тонкие, полумесяцем, брови.

«Я думаю, вы сами понимаете», — сказал полицейский.

«Я нарушила закон?»

«Отойдём в сторону... Ваше поведение надо квалифицировать как нарушение».

«Нарушение чего?»

«Точнее, как оскорбление».

«Боже мой, кого я оскорбила?»

«Оскорбление общественной нравственности. Нарушение приличий. Неужели вы не понимаете? В таком виде».

«Разве я плохо выгляжу?»

«На вас ничего нет!»

«Неужели я так плохо сложена?»

«Не в этом дело», — сказал полицейский.

«А в чём же?»

¹ Вот нагота, а прочее — одежда. Вот одежда, всё остальное — украшение. Вот чистота, прочее — грязь. (фр.) Шарль Пегу, «Изображение Богоматери в Шартрском соборе».

«Я полагаю, это не нуждается в разъяснениях. И, кстати, можно простудиться».

«О, нет. Погода великолепная. К тому же я закалена».

«Вам приходится часто разгуливать вот так?»

«Иногда. Но вы не ответили на мой вопрос».

«Какой вопрос?»

«Хорошо ли я сложена».

«С точки зрения закона это не имеет значения. Важен факт нарушения».

«Да нет же: я имею в виду — с обычной точки зрения. С точки зрения мужчины, если хотите».

Полицейский вздохнул.

«С обычной точки зрения, вы сложены недурно».

«Может быть, вы поясните, что это значит».

Он усмехнулся.

«Вы сложены, как богиня».

«Благодарю. Но я всего лишь женщина. Небожителей невозможно мерить обычной меркой».

«Почему же? Было время, когда боги сходили с небес на землю».

«В Древней Греции?»

«Хотя бы».

«Я вижу, вы образованный человек», — сказала она.

«Я студент».

«И одновременно работаете в полиции?»

«Я учусь заочно. Получаю задания, сдаю экзамены. Отойдёмте... я должен записать вашу фамилию и адрес. Вам пришлют штраф».

«А если я откажусь платить?»

«Тем хуже; с вас взыщут по суду. Чем вы, собственно, занимаетесь?»

«Собственно, ничем».

«Гуляете по панели».

«Если вы имеете в виду проституцию — ничего подобного».

«Но, к вам, наверное, пристают».

«Бывает. Ничего хорошего из этого не получается, я умею защитить себя. Эта профессия внушает мне отвращение».

«На что же вы живёте?»

«О! у меня есть средства».

«Вы замужем?»

«Разумеется, нет».

«Прошу вас, мы мешаем прохожим. Вероятно, люди удивляются, почему я медлю. Вы ведь куда-то спешили?»

«Куда мне спешить. Я гуляю».

«Там есть небольшой скверик, прошу. Дело вот в чём, мадемуазель...»

«Мне не хотелось бы садиться».

«Вот чистый носовой платок».

«Спасибо. — Она опустилась на скамью, закинула ногу на ногу и сложила руки под грудью. — Я забыла спросить: что вы изучаете?»

«Философию».

«Вероятно, работа даёт вам возможность учиться».

«Полиция помогает разобраться в философии».

«Вы хотели мне что-то сказать».

«Да. Дело вот в чём. Мы уже говорили об оскорблении приличий...»

«Боже мой, — воскликнула нагая дама, — какие приличия! О чём вы говорите! Бульварные журналы полны фотографий нагих красоток. Телевизор еженощно демонстрирует порнографические сцены».

«Вы почти угадали мою мысль. К сожалению, никого теперь ничем не удивишь. Ролан Барт говорит...»

«Кто это?»

«Был такой. Очень, кстати, неглупый человек».

«Среди философов это бывает не так часто? О, не обижайтесь. Так что же он говорит?»

«Одежда эротичней, чем голое тело. Женщина может одеться так, что будет казаться раздетой. Но при этом она должна остаться одетой».

«Вы не находите, что это отдаёт ханжеством?»

«В том-то и дело, что нет. Деррида говорит...»

«Вы замучили меня своей эрудицией!»

«Виноват, больше не буду. Что я хотел сказать. Нам грозит катастрофа. И вы — да, вы! — в числе её виновниц».

«Ничего не понимаю, — сказала женщина. — Катастрофа?»

«Именно. Наступила инфляция наготы. Пока что ещё люди оборачиваются, чтобы взглянуть на вас. Завтра и оборачиваться перестанут».

«Меня это мало волнует. Вы говорите, никого голым телом не удивишь. Я к этому и не стремлюсь!»

«Может быть. Но дело в том, что нагота не есть что-то абстрактное. Нагота сама по себе не существует. Либо её надо называть иначе. Не вы, а тот, кто вас видит, делает вас голой. Обнажённость реализуется в присутствии зрителя».

«Но я вовсе не нуждаюсь в зрителях!»

«Нуждаетесь или не нуждаетесь, ваша нагота — событие. Нагота — это нечто чрезвычайное. Нагота всегда новость. А что произойдёт, если голое тело станет банальностью? Для общества это чревато по меньшей мере двумя последствиями. Двумя прискорбными последствиями!»

«То, что на меня не буду обращать внимания?»

«Это я в качестве примера. А последствия следующие. Врачебная статистика говорит о том, что потенция мужчин уменьшается. И это понятно. Мужчины всё меньше интересуются женщинами. Стимул ослабевает, понятно?»

«Я бы сказала, наоборот...»

Собеседник скользнул глазами по её телу. Женщина непроизвольно подалась вперёд.

Вздохнув, он покачал головой. Перевёл взгляд на кусты и деревья.

«Вы боитесь посмотреть на меня?»

«Я боюсь разрушить таинственное очарование наготы».

«Ого! Я даже не подозревала в вас такую бездну романтизма».

«Женщина, это...» — промолвил студент.

«Что же именно?»

«Всегда тайна. Она скрывает некую истину. А природа истины такова, что ей необходим занавес. Едва только она мелькнула перед вами, как тотчас же скрылась. Истина женщины — её нагота. Истина может заинтриговать, лишь явившись замаскированной. Я бы даже сказал, что до тех пор, пока она не разоблачена, она и остаётся истиной. Оставшись без всего — как вы, — она становится банальностью. Голая баба, ну и что? Ничего особенного».

«Я просто в восторге от вашего красноречия... Значит, если я сейчас... — она оглядывала и оглаживала себя, — ...если я оденусь, я стану привлекательней? Верну себе, если я вас правильно поняла, утраченный шарм?»

«Я не договорил».

«Извините. Какое же второе последствие?»

«А вот какое: вам не приходило в голову спросить себя, отчего в девятнадцатом веке произошёл такой небывалый расцвет поэзии, философии, музыки? Не сравнить ни с прежними веками, ни с нашим временем».

«Отчего?»

«По-моему, это совершенно ясно. Девятнадцатый век — это был век торжества буржуазии. С её лицемерием, ханжеством, показной моралью. Век, враждебный телу. Вспомните, как одевались женщины: всё закрыто, всё занавешено. Сверху платье до подбородка, снизу юбка до пола, корсет, фигура, как у осы. На руках перчатки, на голове чудовищная шляпа. Какая-то неприступная башня в кружевах, бантах, оборках... Но!» — воскликнул, подняв палец, студент.

«Догадываюсь, куда вы клоните».

«Но зато такой наряд стимулировал фантазию. Даже едва высунутая ножка воспламеняла воображение. А что говорить об остальном! Под этой горой шёлка подозревались дивные чудеса. Такой наряд необыкновенно дразнил чувственность. Между тем, скованные всевозможными запретами, женщины демонстрировали несокрушимую добродетель. Твёрдой решимости детородного органа противостояла неуступчивость прогнуположного пола. И что же? Чувственность, не находя выхода, сублимировалась. Неудовлетворённая чувственность порождала взрывы творческой энергии. Если бы Матильда Везендонк уступила Вагнеру, если бы хоть разок разделась перед ним... уверяю вас, — он покачал головой, — никакие Тристаны и Изольды не были бы написаны! Ницше сказал: сексуальность пронизывает человека вплоть до вершин духа. Духа!»

«Простите, — возразила голая дама, — я, может быть, слишком примитивно мыслю. С одной стороны, вы сетуете на угасание чувственности, а с другой — требуете её запретить».

«Запретить чувственность невозможно. Напротив, её нужно воспитывать, не давая ей угаснуть...»

«Значит, если я показываю людям, какова я на самом деле...»

«Чувства притупляются. Народ привыкает. Представляете себе, что было бы, если бы все женщины последовали вашему примеру?»

«Для этого нужно, по крайней мере, одно условие».

«Условие, какое?»

«Тёплый климат. Кстати, я слышала, что в Индии самый большой прирост населения. А в Африке...»

«Причём тут Африка. Настоящая страсть не может разгореться, если знакомство начинается с конца. Я имею в виду, с разведения. Аппетит пропал. Не успели насладиться, как уже наступило пресыщение. И, конечно же, — продолжал он вдохновенно, — от этого страдает культура, вянет искусство. Упадок современного искусства, его вялость, его бессилие — как вы думаете, о чём это говорит? Прошу прощения — это бессилие полового члена».

«Ну, хорошо, — проговорила она. — Я в философии не разбираюсь и не могу с вами соревноваться. Давайте сделаем небольшой опыт. Поддержите мою сумочку. Можете повесить её через плечо, вот так... Я найду за кусты, а вы закроете глаза».

«Что это ещё за театр. Я при исполнении служебных обязанностей!»

«Ну, пожалуйста. Две минуты, не больше. Очень прошу. Только честно: не подсматривать. Вы ничего не видите... Считайте до двадцати, и после этого откройте глаза. Вслух, пожалуйста».

«Раз, два, три... — начал он. — Двадцать!» Встал и открыл глаза.

Студент ничего не увидел. Шагнул было к кустарнику, остановился. Где же она, пробормотал он.

«Эй, вы!»

Никто не откликнулся

Полицейский вернулся, присел на скамью, подумав, снова поднялся, одёрнул мундир и взглянул на часы. Рабочее время кончилось. Он не передал дежурство сменщику, оставалась надежда, что это сделал за него коллега, дежуривший в одной смене с ним. Ему было жарко, он снял фуражку, вытер лоб платком, нахлобучил и пошёл прочь.

Вдруг что-то остановило его, он обернулся. «Ты?» — сказал он удивлённо. Женщина, во всей её ошеломительной красоте, подняв руки к затылку, стояла в двадцати шагах от него. Студент видел её словно впервые. Ветер шевелил её волосы. Машинально — или не совсем машинально — она провела ладонями вдоль талии к бёдрам. Но, кажется, он её не интересовал; она смотрелась в него, как в зеркало.

Он шагнул навстречу.

«Стоп, — слышался её голос. — Закрывать глаза. Не подсматривать. Теперь вперёд!»

Студент подчинился, шёл, вытянув руки, навстречу, осторожно открыл глаза, на аллее снова никого не было. Кто-то подкрался сзади и прижал ладони к его лицу. Кто-то приблизил своё дыхание к его уху.

«Надеюсь, — проворковала она, — ты теперь понял, что такое истина?» Ловкие тонкие пальцы расстегнули одну за другой пуговицы его мундира.

«А теперь, — сказал полицейский, — составим протокол».

Так был написан этот рассказ. Не он ли его автор?

ПАРДЕС

Я решаюсь изложить, по возможности кратко, то, что произошло на днях, точнее, в одну из этих ночей. Должен ли я объяснять, почему выбран такой заголовок? Слово «пардес» означает сад, а также Путь познания. Опасный путь, на котором можно погибнуть, не дойдя до цели. Думаю, этого пояснения будет достаточно.

Как всегда, я лёг в половине двенадцатого, чтобы спустя полчаса окончательно убедиться, что не усну. Надо чем-то заняться, а не пичкать себя таблетками. Пришлось одеться, я вышел, оставив часы на ночном столике,

Чоран рассказывает, как он сражался с бессонницей: колесил ночами до изнеможения на велосипеде. Я брёл пешком. Я двигался, как автомат, то, что со мной происходило, можно было принять за продолжение сна, но эта гипотеза не выдерживает критики. В полутьме я слышал стук своих шагов по асфальту. Ночью улицы кажутся незнакомыми. Я приближался к тёмной массе деревьев, это был Английский сад, известная достопримечательность нашего города, правильной было бы назвать его лесом. Стоит только сойти с главной аллеи, и тропинки, ветвясь и пропадая, и появляясь вновь, увлекут вас в шорох трав, мрак и шёпот деревьев. Он огромен, этот сад. Он похож на еврейский Пардес, о котором только что сказано; поздний час усугубил сходство. Я старался не слишком удаляться от аллеи, рассчитывал выйти где-нибудь возле Северного кладбища и вернуться домой ночным автобусом.

Небо заволочлось, я больше не видел звёзд. Несколько времени погодя холод пробрал меня, оказалось, что я сижу, ловлю свои ускользающие мысли, боясь уснуть тут же на скамье. Чаща поредела, и показались огни. Я понял, что несколько сбился с пути, но это меня не смущало. Ночь показалась мне короткой. Тусклое серебро рассвета покрыло булыжную мостовую. Один за другим гасли тлеющие фонари. Окна мёртвых домов блестели, как слюда. Здесь совсем не было машин; облупленные фасады, зияющие подворотни, тротуары, истосковавшиеся по ремонту, — я очутился на дальней окраине.

Всё же любопытно было узнать, что это за район. Как называется улица? Щитки с номерами домов, полукруглые под угловатыми фонариками, напомнили мне далёкие времена. Солнце блеснуло в просвете улицы, и я разобрал, наконец, надпись. Так и есть! Название переулка было начертано по-русски.

Кто-то выбежал из ворот: девочка лет двенадцати. А мы тебя ждём, сказала она. Я силясь вспомнить, как её зовут. Куда ты пропал? Лида, возразил я, мне кажется, я заблудился, мне пора домой. Хотел спросить, как пройти до ближайшей станции метро. Но тут же спохватился, что никакого

метрo ещё не существует. Да и что значит: домой? Я был дома. Мы вступили в сумрачную прохладу двора. Я узнал высокий, сверху косо освещённый брандмауэр, пожарные лестницы, рёбра старой снеготаялки. Солнце сверкало в стёклах верхних этажей, где-то там было и наше окно. Ничего не изменилось. И я рассмеялся от счастья.

Все стали в кружок. Тыча пальцем в каждого, я приговаривал: «Заяц белый, куда бегал, в лес дубовый, что там делал?..»

На минуту я замешкался. Неужели забыл считалку?

«Лыки драл, куда клал? Под колоду. Кто украл?..» Магия ритма несла меня дальше, «вынь, положи, кого берёшь, как замуж выдаёшь?» — круг замкнулся, я стоял, как вкопанный, с протянутым пальцем. Это была Феня.

Феня, Фенечка, дочь дворника, смуглая, черноглазая, слегка косящая, в которую мы все были влюблены. Она смотрела на меня и мимо меня.

Я пробормотал: «Тебе водить». Кто-то подбежал к доске, ударил ногой, палочки рассыпались, и все бросились прятаться кто куда. Для тех, кто забыл, напомню, что игра заключается в том, чтобы неожиданно за спиной у водящего выскочить из укрытия и, ударив ногой по доске, вновь раскидать палочки. После чего водящий собирает их заново, опять начинают поиски, и так до тех пор, пока он не отыщет всех. Феня сидела на корточках возле доски, лежащей на кирпиче так, что один конец был на земле, а другой висел в воздухе. Двенадцать палочек были собраны, пересчитаны и уложены на краю доски. Раз, два, три... — она выпрямилась, приложив руку козырьком к глазам.

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать».

По лестнице чёрного хода, прыгая через ступеньку, я взбежал на второй этаж, подкрался, как тать, к окошку. Смуглая девочка в платье, не доходившем до коленок, стояла в нерешительности посреди двора. Я не мог оторвать от неё глаз. Вдруг, почувствовав мой взгляд, она обернулась — я отпрянул от окна. Выждав немного, я снова выглянул. Её не было. И почти сразу же послышались осторожные шаги. Она поднималась по лестнице. Она не боялась, что кто-нибудь выбежит из другого выхода, в противоположном углу двора. На цыпочках я поднялся ещё выше. Больше ничего не было слышно. С колотящимся сердцем я стоял между маршами. Добравшись до площадки третьего этажа, поглядел снова. Двор по-прежнему был пуст. Я понял, что она вышла и направилась на поиски в другой угол двора. Тут-то и можно было выскочить и топнуть по доске с палочками. Но я медлил.

Я обернулся. Феня стояла передо мной. Сердце моё оборвалось. «А вдруг кто-то выскочит?..» — пролетел я, понимая, что дело не в этом. Игра уже не имела никакого значения.

Она молчала. Мы стояли друг перед другом, она была чуть выше меня, тоненькая, в темно-оранжевом платье, которое удивительно шло к её смуглой коже, в носках и сандалиях. Чёрные глаза косили, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо. Мы переминались в растерянности, мы были одни, так никогда не было.

Оглянувшись, я быстро сказал: «Пойдём со мной».

Она подняла брови.

«Бежим, пока никто не видит. Здесь недалеко... Феня, — продолжал я, — ведь я вернулся из-за тебя!»

По правде сказать, эта мысль пришла мне в голову только сейчас.

«Откуда это вернулся?» — сказала она надменно.

«Оттуда. Надо только пройти через сад. Там можно запутаться, пока дойдёшь до другого конца. Я знаю дорогу».

«Да ну тебя», — сказала Феня.

Мы топтались, не зная, что сказать друг другу.

«Ну я пошла», — сказала она.

Со двора доносились голоса, видимо, там начали сызнова считаться, игра возобновилась.

«Поднимемся на минутку, а то ещё кто-нибудь прибежит прятаться». Я тащил Феню за собой наверх.

Она выдернула руку, остановилась и спросила: что такое Пардес?

Тут я вспомнил, что ничего ещё не знал в то время, — как же она могла спрашивать, если я не упоминал о Пардесе?

Всё же я ответил:

«Заколдованный сад. Там однажды три мужика решили прогуляться, три мудреца. Одного звали бен Сома, другого бен Абуя, а третьего... забыл, как его звали. Попросили Акибу...»

«Акибу?»

«Ну да; такое имя. Попросили пойти с ними, он знал дорогу. Надо было спешить, потому что сад закрывался после захода солнца. Он пошёл вперёд, а потом обернулся и видит: один мудрец сошёл с ума, другой вырвал кусты и посадил вверх корнями, а третий...»

Мы оба запыхались. Мы стояли на площадке последнего этажа.

«Что третий?»

«Умер».

«Никуда я не пойду. Иди сам».

«Да ведь это же сказка».

«Откуда ты это всё знаешь?» — спросила она.

«Я не знаю, это я потом прочту».

«Потом?»

«Когда вырасту», — сказал я и опять спохватился, что говорю что-то не то. Выглянул наружу, двор внизу был пуст, народ разошёлся по домам. «Побежали!» — я схватил её за руку. Но тут открылась дверь. Там была кухня. Все двери на лестнице чёрного хода вели в коммунальные кухни. Выглянула тётя Женья, в фартуке, с полотенцем в руках.

«Как тебе не стыдно? Все собрались, ждут. Гусь, наверное, уже перестоял».

«Кто ждёт?» — спросил я растерянно и вдруг вспомнил.

Тётя Женья наклонилась к плите, открыла дверцу духовки и вытянула чугунную латку, похожую на маленький саркофаг.

«Феня, — сказал я, — у меня день рождения, совсем забыл. Пойдём к нам. Мы ненадолго».

Мне показалось, что она что-то проговорила, у меня нет подарка, что-то в этом роде. Ерунда, возразил я, но её уже не было. Я наклонился над железными перилами и никого не увидел. Какая проворная, подумал я, какая лёгкая, быстрая, и, догнав в коридоре тётю Женю, распахнул перед ней дверь нашей комнаты.

«А вот и мы!» — громко сказала она. Саркофаг был водружён посреди праздничного стола. После смерти мамы, в дни моего рождения хозяйничала тётя Женя. Гости обменивались восклицаниями, потирали руки, в открытой латке загорелый оранжевый гусь лоснился и дышал жаром, кто-то уже приготовился подцепить его длинной двузубой вилкой. Мой отец стоял во главе стола с откупоренной бутылкой тёмного стекла. Гусь плёпнулся на эмалированное блюдо. Тётя Женя накладывала на тарелки лакомые куски и потемневшие, размякшие половинки яблок. А в углу на столике, где обычно помещалась швейная машина, были разложены подарки: книжки, завёрнутые в цветную бумагу, перевязанная красной ленточкой коробка конфет «Новая Москва» и самое главное — похожий на волшебный сон набор деталей «Конструктор».

На мне был мой новый костюм, накрахмаленная рубашка, немного мешавшая поворачивать голову, свежеевыглаженный красный пионерский галстук; я был радостно возбуждён и что-то лепетал в ответ на поздравления и пожелания. Стук ножей и вилок заглушил мои слова.

Потом явился пирог. Набрав полную грудь воздуха, напыжившись, я дунул из всех сил. Огоньки одиннадцати тонких ёлочных свечей всколыхнулись, несколько свечек погасло. Гости аплодировали. Мой отец потушил остальные.

Я думал о Фене. За спиной у меня слышался смех, музыка — тётя Женя играла на пианино. В коридоре было тускло и скучно. Я раздумывал, не вернуться ли, меня смущала двусмысленность этого слова: вернуться. Между тем я уже стоял на лестничной площадке, оглянулся — мое бегство, по видимому, осталось незамеченным — и уже спокойно, уверенный, что найду Феню, пересёк наш двор, раздвинул створы ворот и выглянул в переулок. Я здесь, тихо произнёс её голос. Она стояла за моей спиной.

«Что же ты не пришла?»

Она молчала.

«Был пирог, — сказал я. — С вареньем, пальчики оближешь».

«Я не люблю с вареньем».

«А с чем?»

«С мясом. И вообще».

«Что вообще?»

«И вообще мне нельзя к вам ходить. Мне мама не велела».

«Почему?»

«Ты еврей, — сказала она. — А моя мама татарка. И я тоже татарка».

«Ну и что?»

«Евреи не любят татар. Никто не любит татар».

«Наоборот, — сказал я. — Это евреев никто не любит».

Надо было спешить, медленно умирал летний день. «А то закроют». Мы прошли весь переулок, свернули в другой, теперь мне всё было знакомо. Наконец, город кончился. Впереди в лучах заката манил, темнел, зеленел Сад.

«Вспомнил, — сказал я, — как звали третьего. Бен Асай. А вёл их бен Акиба».

«Они все были евреи?»

«Да. Все были евреи».

«Расскажи, — попросила Феня, — про этого Акибу».

«Это был великий мудрец. Он прошёл через Пардес, и ничего с ним не случилось».

«Я боюсь».

«Дурочка. Это же сказка. Легенда!»

Мы шли по широкой аллее, не шли, а шествовали, и как я был горд, какое счастье шагать вдвоём, держась за руки, навстречу птичьему гомону! Закатный свет исполосовал дорогу. Я крепко держал Феню, воображал себя рабби Акибой и знал, что с нами ничего не случится. Навстречу шли двое, ночной обход — оба, мужчина и женщина в зелёных мундирах баварской полиции. Немного погодя мы сошли с дороги, извилистая тропа вела нас через поляны, сквозь кустарники. Небо уже пылало серебряным огнём, и я разглядел в высоте белёсый серп.

«Далеко ещё?»

Мы присели на скамью. Ночь накрыла нас с головой.

«Немного передохнёшь, — сказал я, — а я тут погляжу, где пройти покороче. — Я сейчас!» — крикнул я, и в самом деле, дорога, по которой я направлялся вчера в город моего детства, была совсем рядом. Я вернулся к Фене.

Но что-то случилось, и я почувствовал, что никогда больше её не увижу. Она погибла там, в этой чаще. Не каждому дано пройти через Сад. Нет больше скамейки, нет никого, я пробовал кричать, звать и ни до кого не докричался. Открыв ключом дверь моей квартиры, я увидел неубранную постель, часы на ночном столике. Полчаса прошло с тех пор, как я вышел. Я лёг и заснул мёртвым сном, от которого лучше бы не просыпаться.

ФРАНЦУЗСКИЙ РАССКАЗ

История сближения женщины и мужчины всегда будет самым главным событием в жизни — не считая смерти, но смерть нельзя пережить, и, значит, смерть не есть событие жизни. Посетителей кафе на углу улиц Бюси и св. Григория Турского встречали две официантки, одна уже в годах, невозмутимо-чопорная и неторопливая, другая совсем молоденькая, щуплая, черноволосая и черноглазая, явно неопытная, чтобы не сказать бестолковая. Каждое утро турист, поселившийся рядом, выходил в прохладный переулок и усаживался перед крохотным столиком. Девушка приносила «малый завтрак»: бокал с апельсиновым соком, булочку, разрезанную вдоль и намазанную маслом, омлет, кофейник с жидковатым кофе. Она собирала посуду с соседнего столика, что-то забыв, возвращалась, бегала взад-вперёд. Посетитель жевал хлеб, подносил ко рту чашку с кофе и смотрел на её мальчишеские бёдра. Ему не приходило в голову, что между ними может что-нибудь произойти.

Ближе к вечеру накрапывал дождь, но с утра обыкновенно светило солнце. Турист считал, что ему повезло. Он жил здесь уже две недели. С некоторых пор официантка улыбалась ему не совсем формально. Это значило, что к нему относятся как к завсегдатаю. Однажды он спросил: давно ли она здесь работает? Она передёрнула плечами, вероятно, ей послышался упрёк, и отошла к соседнему столику, за которым сидела газета. Видны были толстые пальцы рук и берет с хвостиком. Турист прихлёбывал кофе, поглядывал на её суетливые движения. Официантки привыкают к взглядам мужчин, но она была ещё неопытна и оглянулась. Встав из-за столика, он мгновенно о ней забыл.

На другое утро он сказал: «Вы не ответили на мой вопрос».

«Какой вопрос?» Она больше не улыбалась. Он хотел узнать, как давно она служит в этом бистро. Завтрак был окончен, она собирала посуду.

«Почему вас это интересует?»

«Интересует», — сказал он. Турист расплатился и не думал о девушке до следующего раза.

На другой день приезжий, выглянув в окошко, увидел, что он сглазил погоду. Моросил дождь, было прохладно, поставщик товара приехал с опозданием, фургон загородил улочку. Шофёр разгружал ящики с напитками, и тут же суетилась черноволосая официантка, поверх платья на ней была вязаная кофта. Над столами натянули тент, но посетители предпочли укрыться в помещении.

Он уселся снаружи.

«Вас зовут Рене», — сказал он.

«Откуда вы знаете?»

«Догадался».

Она подняла брови, покачала головой. На самом деле он слышал, как поставщик назвал её этим именем.

«Рене», — сказал турист. Она пожалала плечами, как будто хотела сказать: пожалуйста, если вам так нравится. Она снимала с подноса и ставила на столик то, что принесла; держа пустой поднос, как щит, перед грудью, спросила: «А вы — откуда приехали?»

«Из Америки. Есть такая страна, далеко, — он взмахнул рукой, — за океаном».

«В самом деле? А я и не знала».

Её окликнули: звала — или, может быть, призывала к порядку — старшая официантка. В ответ небрежный кивок; она всё ещё стояла с подносом.

«Но вы не американец».

«Почему вы так решили?»

«У вас не американский акцент».

Он сказал, что он русский, вернее, сын русских. «Я сам не знаю, кто я», — добавил он и, взбираясь по крутым улочкам Монмартра к церкви Святого Сердца, вспомнил эту фразу: в ней было что-то кокетливое. Кроме того, он думал, что в этом городе, где «столько всего», трудно остаться самим собой.

Она, однако, хоть и выглядела подростком, была уже студенткой, об этом она сообщила на следующее утро и помедлила, держа поднос, как щит. Турист заговорил о французской литературе, что-то читанное Бог знает когда, Мопассан или кто там. Скоро двину восвояси, сказал он, отпук кончается. Не желает ли она заглянуть к нему в гости?

Приглашение, неожиданное для него самого, разумеется, было сделано в шутку; видимо, так она и восприняла его слова, если не пропустила их вовсе мимо ушей. Возможно, ей уже приходилось выслушивать такие предложения. Вновь установилась чудная погода. Согласно плану, он должен был отправиться в музей д'Орсэ, выстоять очередь перед входом, слушать щебет японок; вместо этого, выйдя к набережной Вольтера, повернул направо, дошёл до Нового моста, нежился на скамейке под деревьями на узкой оконечности острова Сите, смотрел на реку и дальние мосты в солнечном тумане. И думал о том, что надо было приехать сюда в юности, пожить в этом городе, а может, и поселиться в нём навсегда. Нехотя он поплёлся обедать, бродил, устал, так прошёл день.

Турист набрал три цифры на щитке в подъезде старого дома на улице Григория Турского, толкнул дверь, высокий мрачный холл осветился, он ехал в кабине, вышел из лифта на предпоследнем этаже, стал подниматься по узкой загибающейся лестнице с железными перилами; наверху, на последней ступеньке сидела, обняв колени, Рене. Он почувствовал беспокойство, притворился, что очень рад, и спросил, давно ли она ждёт. Они вошли в квартиру, которая вряд ли заслуживала такого названия. Комнатка с невысоким потолком, с низким ложем, платяной шкаф, полки с растрёпанными альбомами, романами, за перегородкой газовая плита, стол и кухон-

ная утварь. Окно с видом на соседнюю крышу, а внизу глубокий двор-колодец. Жилец извинился за беспорядок. Он поставил на стол две тарелки, откупорил вино, разговор едва тлел, как сырые дрова.

«Ну что ж, — проговорил он, — пора на боковую. — Снял со шкафа матрас, перевязанный бечёвкой, разложил на полу. — А ты, — сказал он, — ляжешь на постели».

Девушка возразила:

«Но я вовсе не собираюсь у вас ночевать».

Он снял телефонную трубку, вызвать такси.

«Сама доберусь». Он слышал, как громыхнула железная дверь лифта. Был ли он разочарован? Завтра пойду завтракать в другое место, подумал он. И вообще больше никогда её не увижу. Он почувствовал облегчение, он не был любителем сомнительных приключений. Ему захотелось домой, в Нью-Хейвен, в свою квартиру и контору.

Минут через десять, — жилец чистил зубы в ванной, — постучались. Или ему показалось. Уеду, думал американец, и никогда не вспомню, и прекрасно; а завтра, куда же нам двинуться завтра? Ему наскучили музеи, он решил в оставшиеся дни совершить паломничество на русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, о котором кое-что слышал.

Пошёл открывать. «Я передумала», — сказала она. И как будто ветер ворвался в комнату и сдул все мысли. Наутро он увидел на простыне пятна крови. Она не стала пить кофе, убежала, пока он брился; когда он спустился вниз и уселся под тентом, — небо снова заволочло тучами, сочился дождь, — официантка молча принесла завтрак, вернулась в помещение, вышла с другим подносом для толстого соседа с газетой. Турист расплатился и посидел ещё некоторое время. Дождь перестал. У себя наверху он изучал маршрут. Долго ехал, сперва пригородным поездом, потом автобусом.

Турист бродил по безлюдным мокрым аллеям, сворачивал наугад на боковые дорожки, читал надписи на языке, от которого отвык: дворянские титулы, офицерские чины, евангельские цитаты. Набрёл на высокий крест с надписью «Русская Освободительная Армия», это название ему ничего не говорило, он пожал плечами.

Найти знаменитостей было не так просто, спросить не у кого. Не нашёл он и своих родственников, в существование которых плохо верил. Как вдруг наткнулся на камень с собственной фамилией, со своим именем. И даже год рождения тот же. Он наклонился и прочёл: «Ибо я был странником, и вы приняли меня. Мф. 25 : 35». И ему представилось, что он, в самом деле, приехал юношей в этот город, жил здесь и здесь умер.

Турист чуть не опоздал к закрытию, приди он к воротам на десять минут позже, пришлось бы ночевать на скамейке. Вечером, проходя мимо «своего» бистро, поискал глазами официанток, одна была немолодая, знакомая ему, надменная и невозмутимая, другую он видел впервые. Заглянул внутрь. Рене не было, её и не могло быть, её смена кончилась. Зажглись огни, везде шатались туристы, было много японцев, он вышел к бульвару, где всё теперь уже было знакомо, и постоял перед мрачной баш-

ней церкви Сен-Жермен-де-Пре, на знаменитом перекрёстке искусств и наук. К нему приблизился человек в рубище и шепнул: «Друг мой...» Турист думал, что у него попросят милостыню. Человек опасливо поглядел по сторонам. «Сейчас тебе кое-что расскажу. Открою секрет, хочешь?..» — но вместо этого махнул рукой и, пошатываясь, удалился. Приезжому стало скучно — впервые за всё время.

Вопру было спросить самого себя: what the hell? Какого лешего... Что он нашёл в этой девчужке? Лёгкое косоглазие часто украшает женщин, но тут этого не скажешь. Чёрные глаза глядят не на тебя, а мимо тебя, на что-то сзади, и тянет обернуться. Короткие волосы заколоты над ухом. Такие девицы никогда не становятся зрелыми женщинами, вечно страдают малокровием, гландами, дышат ртом, шмыгают носом. Чахнут, вянут и в конце концов превращаются в существа без возраста и пола. Через каких-нибудь пять лет, — если бы он пожаловал снова, — весь этот дурман исчезнет. Ну и что, сказал он себе. Не в этом дело.

В том-то и дело, что «не в этом дело»; минутная страсть, которую, говорят, часто распалют худощавые темпераментные женщины, — тоже не объяснение. В этой Рене было что-то, чего он не понимал, но что здесь понимать? Всякая юная незнакомка кажется таинственной. Потом оказывается, что никакой тайны нет и не было; вечная история. Лучше сказать: вечно новая история. К тому же он совершенно не знал французенок. Да если бы и знал; в ней, какой она оказалась, с её неловкостью, острыми коленками, слабым позвоночником, впалым животом, было что-то сбивавшее с толку. Была, вопреки всякому скепсису, загадка, тайна; вернее, она сама была тайной; громко звучит, но иначе не скажешь. Лишив её девственности, — событие, похоже, не слишком её взволновавшее, — он не приблизился к разгадке.

Он поплёлся домой. Девчонка сидела на верхней ступеньке, подол между коленками, за спиной сума со студенческими книжками, ремешок между грудями. Он протянул ей ключ от квартиры, у меня два ключа, сказал он. Рене отказалась и ужинать тоже не захотела. Стояла под душем, космы слипшихся волос, глянцева кожа. Мужчина водил губкой по её телу, по желобку на спине и ягодицам, под мышками и вокруг сосков, и она что-то пела фальшивым голоском, вероятно, чтобы скрыть волнение.

Утром нежились в постели, на этот раз она никуда не спешила. Надо подзудрить, объяснила она, предстояло что-то вроде промежуточного экзамена. Что тебе известно о дадаизме? Турист отправился в квартирное бюро на улице Святых отцов и уплатил за жильё ещё на неделю вперёд. Каждый вечер он ждал, прислушивался к лифту, открывал ей, так прошло ещё несколько дней. Чад вождения рассеялся, для них наступило время взглядеться друг в друга. Американец лежал на спине, ладони на затылке.

«Щекотно?»

Она водила ладонью по волосам на его груди.

«Нет, — сказала она, — оставайся так».

Он остался «так». Он подвинулся, женщина пристроилась сбоку, так что он видел её стриженный под машинку затылок, острые лопатки, симметричные ямки на крестце, ложбинку ягодич, сидела, поджав колени, как сидят японки, а это что, спрашивала она, словно видела впервые.

«Ты и так знаешь».

«Откуда же мне знать».

«Девочки всегда информированы лучше мальчиков».

Она возразила: «Ты так думаешь?»

Американец сказал:

«Разве слова что-нибудь значат?»

«О, да».

«Особенно такие, которые не принято произносить, да?»

«А это?» — спросила она...

«Осторожней».

«Тебе больно?»

«Нет».

«Приятно?»

«Пожалуй».

«Кладовая любви, — проговорила она. — Целых две кладовых...»

«Нам пора вставать. Я проголодался».

«Вот видишь».

«Что — видишь?»

«Между любовью и голодом прямая связь».

«Разумеется».

«Пора пополнить запас живчиков, да? Там, наверное, ничего не осталось».

«Всё досталось тебе»...

«Но потом накопится снова?»

«Накопится снова».

«Для других женщин?»

«Для тебя».

«Ты хочешь сказать, что ты меня любишь?»

Он не ответил.

«Обожает?»

Он с важностью кивнул. Выдержав паузу, проговорил:

«Видишь ли, как тебе объяснить. Существует мозг, и существует мысль».

«Ты хочешь сказать, что это не одно и то же?»

«Я хочу сказать, что без мозга мысль невозможна. Но свести одно к другому тоже невозможно. То же самое любовь. Без желёз и гормонов, конечно, ничего не будет, однако...».

«Я не знала, что ты такой учёный».

«Но это общеизвестная истина».

«Пожалуйста, не говори так».

«Как?»

«Пожалуйста, не говори: общеизвестная».

«Почему?»

«Потому что то, что происходит между нами, происходит только между нами. У тебя было много женщин?»

Турист сделал неопределённое движение, как будто хотел сказать: что поделаешь.

«У тебя не было женщин, запомни это».

«Постараюсь».

«И сейчас у тебя никого нет, о'кей?»

«О'кей».

«Ни там, ни здесь?»

Он кивнул.

На её лице появилось сосредоточенное выражение.

«Можно мне?..»

«Можно», — ответил он, не дожидаясь, когда она договорит.

«Откуда ты знал?..»

«Знал».

Девушка прищурилась и спросила:

«А вообще — кто ты такой?»

«Кто я такой? — переспросил он. — Я ведь тебе уже говорил. Сам не знаю».

Он посмотрел на себя вниз и показал пальцем:

«Я — это он!»

И оба засмеялись от счастья.

Договорились, что он будет ждать её в вестибюле, Рене училась в Десятом университете в Нантерре. Два часа прошло, стеклянный холл опустел, турист поднялся навести справки, ходил из одной комнаты в другую, фамилию студентки он не знал, ничего толком не добился, не было даже уверенности, что она здесь была. Его охватил панический страх, выскочив из такси на перекрёстке Григория Турского и Бюси, он поднялся к себе, там её не было, он выбежал из подъезда. Он спросил у пожилой официантки, нельзя ли повидать Рене.

«Кого?»

Он повторил вопрос. Женщина пожала плечами, покачала головой. Здесь нет такой. Турист описал внешность Рене. «Извините, — сказала официантка, — мне некогда».

Он догнал её. «Но я сам слышал, как поставщик...»

«Может быть, — возразила она. — К сожалению, ничем не могу вам помочь». И то же самое он услышал от хозяина.

В эту минуту он увидел её, она была без фартучка, быстро прошла между столиками и свернула за угол, он настиг её и схватил за руку. Девушка стремительно обернулась, это была не она.

Он зашагал, лавируя между прохожими, по улице Дофина, отсюда до набережных рукой подать, нет, думал он, теперь от меня не уйдёшь. Та, что шла впереди, торопилась, вероятно, заметила преследователя, в по-

следний момент неожиданно свернула вправо — там находился театр, турист успел за эти недели основательно изучить лабиринт тесных улочек Левого берега. Может быть, она жила поблизости. Она изучала расписание спектаклей. «Рене... — пробормотал он, с гулко стучащим сердцем. — Рене, что случилось?..» Она не отвечала. Он сказал: «Ты на меня сердишься?» Незнакомка ответила: «Откуда вы знаете моё имя?»

Турист бродил по залам Лувра, ничего не видя, ничего не слыша, уселся где-то на мраморной скамье и, сам не зная почему, заплакал. На следующий день с утра занёс ключи в квартирное бюро по дороге на аэродром, а через двадцать четыре года, ослепший и наполовину лишённый рассудка, с безнадежным диагнозом, вспоминал солнечный туман над рекой и дальними мостами, высоко над городом похожий на сахарную голову белый купол церкви Святого Сердца, вспоминал человека с газетой, «малый завтрак» на углу переулочка — название стёрлось в его памяти — и ту, которую он так и не смог разгадать.

ОНА И ОН

NN отличался мечтательностью. Конечно, как всякий гражданин, он имел имя и фамилию. Но он был таким обыкновенным человеком, так был похож на других граждан, спешащих в утренней тьме к остановке автобуса, на пассажиров в вагоне метро, на своих коллег по конторе, что ничего не изменится, если мы будем называть его просто NN. Итак, он был мечтателен — единственная, быть может, черта, придававшая его натуре некоторое своеобразие, — и каждое утро, бреясь и подходя к окну, представлял себе, как он вечером наберётся смелости и пригласит к себе в гости женщину, которая блуждала за окнами квартиры напротив.

NN работал — постараемся точно назвать его должность — заместителем старшего делопроизводителя Управления плановых перевозок Министерства государственных имуществ. Он работал там много лет, сначала помощником делопроизводителя, потом был повышен в должности, потом поднялся ещё на одну ступень и мог с закрытыми глазами доехать до места службы, мог целый день просидеть за столом, сверять сводки, подшивать ведомости и отвечать на телефонные звонки, не открывая глаз, мечтая о том, как он в воскресенье соберётся и поедет на весь день за город.

Вечером он возвращался домой, входил во двор, где не было ни единой травинки, поднимался по шерботой лестнице. Дом был многоэтажный, лишённый каких-либо признаков того, что принято называть архитектурой; бывший доходный дом, как две капли воды похожий на соседние. NN готовил себе ужин, потом лежал на диване с закрытыми глазами или сидел перед телевизором, переключая один за другим тидцать пять каналов. К тому времени, когда он доходил до последней программы, первая успевала смениться; так проходил вечер. По выходным дням NN занимался уборкой своего жилья.

Однажды он забрёл в другой район и очутился возле птичьего рынка. Он ходил в толпе среди свиста, щёлканья, щибета, вдоль столов, табуреток и старых ящиков, за которыми стояли продавцы с клетками, и ему захотелось изменить свою жизнь. Он вошёл к себе в комнату, держа в одной руке пакетик с кормом, а в другой — проволочное сооружение; вечером он накрыл клетку, как ему велели, тёмным покрывалом, чтобы свет не мешал птичке, а в ближайшее воскресенье приобрёл настоящую клетку с жёрдочкой, зеркалацем и каким-то подобием зелени. Птичка оказалась весёлой и послушной, охотно ела корм, пила воду, утром щебетала, вечером спала и, по видимому, не страдала от одиночества, так как видела в зеркале другую птичку, точно такую же, как она.

Продавец не обманул его: птичка была ещё птенцом. За несколько недель она заметно подросла, научилась сидеть на жёрдочке, поворачивать

голову навстречу хозяину и смотреть на него сбоку круглым загадочным глазом. NN отворил дверцу, чтобы дать ей полетать в комнате. Птичка колебалась. «Ну, давай, — сказал он. — А то закрою и останешься сидеть». Птичка закружилась под потолком, закачалась на люстре, уселась на телевизор, почистила пёрышки, снова вспорхнула, это было очень весело. Он насыпал ей крошек на стол, и они вместе поужинали.

Птичка продолжала расти, теперь она только ночевала в клетке. Как-то раз NN пришёл с работы в дождливый, слякотный вечер, плюхнулся на диван, птичка строго поглядела на него. Он понял: она была недовольна тем, что он не снял грязную обувь. Вечером они вместе смотрели телевизор. Наступила зима. В комнате стояла разукрашенная ёлка. Хозяин зажёл свечи. Птичка отказалась от мысли устроиться на ветке, так как это было опасно. Шампанское ей не понравилось. С красным шёлковым бантом на шее — подарок NN — она клевала конфеты, он поднял за её здоровье оба бокала и поздравил птичку с Новым годом.

Оттого, что она стала взрослой, птичка не любила летать. Она расхаживала по комнате, повязав передник, обмахивала пыль с мебели, протирала полки с книжками, потом отдыхала, сидела на подоконнике и смотрела во двор. NN спросил: не хочет ли она прогуляться? Вероятно, она скучает по лесу? Птичка ничего не ответила. Он открыл окно, была весна. «Хочешь, мы в воскресенье поедem за город? — сказал он. — Плюнем на всё и махнём куда-нибудь подальше. Возьмём с собой еды. А то даже, — прибавил он, — если хочешь, если тебе надоело, я могу тебя отпустить». Он сказал это и испугался. Птичка могла поймать его на слове. Он подумал: вот сейчас она сообщит, в чём дело, и... Птичка махнула крыльями, надменно повела носом, прыгнула с подоконника и уселась смотреть вечернюю спортивную программу.

Неделя кончилась, май был в полном цвету, это чувствовалось по необыкновенному запаху, который проникал через распахнутое окно в комнату: где-то очень далеко цвели луга. Птичка сидела в кресле, загордившись раскрытой газетой, на носу у неё были очки, она читала политические новости. NN крался по комнате со стулом. Птичка перевернула газетный лист, он услышал, как она щёлкнула языком. NN встал ногами на стул, покосился на птичку, шагнул со стула на подоконник, взмахнул руками и улетел.

РУССКИЙ ПУТЬ

«Радио предсказало бурю, ураганный ветер несётся с Атлантического океана, вот-вот обрушится на нас. Всё еще спокойно здесь, на юге. Но ждать остаётся недолго. Ах, не люблю я эти вечные перепады погоды».

Я смотрю на хозяйку, стараюсь угадать, какой она была десять, двадцать, тридцать лет тому назад.

«Я была женщиной, вам это что-нибудь говорит? Я была женщиной и больше никем. По-моему, этого достаточно... Послушайте, — сказала она, — оставьте все эти ваши приготовления. Они сбивают меня с толку. Лучше подойдите к окну, станьте ко мне спиной, так мне будет удобней. Представьте себе, что я — плод вашей фантазии».

Пожимаю плечами. Я не беллетрист.

«А вы попробуйте. Да, вы меня выдумали, я буду главным действующим лицом, и вот вы смотрите на пустынное озеро и соображаете, что со мной делать. А я буду знать, что я литературный персонаж и мне положено зажить своей жизнью, совершать непредвиденные поступки, как Татьяна, когда она выскочила замуж, не спросившись Пушкина. Похожа я на Татьяну?»

Непроизвольно моя рука тянется за портсигаром, можно ли здесь...?

«Можно, но только мне. Впрочем, я не курю. Если уж так не могу, можете выйти на террасу, хотя и это не рекомендуется. Вы спросили, как я очутилась в Баварии...»

Выехав рано утром, я отправился по Восьмой автостраде на юг, по направлению к Тегернзее, вскоре навстречу мне поднялась и перегородила небо сизо-серебряная гряда гор; миновал Роттах-Эгер и, поднимаясь всё выше, углубился в таинственную лесистую местность, которая на карте именуется Шпирзейскими горами; пришлось то и дело справляться по карте дорог. Стал накрапывать дождь, всё реже попадались деревни, я нёсся по узкой извилистой дороге между царственными елями, тормозя на поворотах, но теперь уже никто не попадался навстречу. На всё это ушло много времени. Дом стоял на склоне, защищённый от ветра горой и зарослями туи.

«Вам, милейший, надо бы придумать какую-нибудь совершенно фантастическую версию — так интересней. Ах, друг мой! — сказала она. — Бросьте вы эту журналистику, все эти репортажи, дурацкие интервью, смотрите на всё как на сюжет для литературы, напишите роман. Что-нибудь прибавьте, измените имена, придумайте эффектную развязку, не мне вас учить. И получится во сто раз занимательней, чем эта скучища, которой вы собираетесь угостить ваших читателей».

Пауза.

«Хорошо, идите на террасу... даю вам пять минут».

Но меня что-то удерживает, странное чувство, вернее, суеверие. Может быть, такое чувство испытывали те, кто когда-то был с ней. Страх её потерять. Какая-то хитринка мелькает в её взгляде. Снаружи спокойно, по озеру бегут волны; вернёшься в комнату, прикроешь за собой стеклянную дверь, — а хозяйки нет: пустое кресло. Она исчезла. Она вернулась туда, откуда прибыла: в своё прошлое. Оказалась, в самом деле, порождением моей нерасчётливой фантазии.

Послышалось слабое повизгивание роликов. Въехал столик. Некто с плоским светлым лицом, в седых бакенбардах, с бабочкой на шее, расставил бокалы, бутерброды, откупорил вино.

«Это ирландец, — сказала она, проводив его глазами, — он не знает ни слова по-русски...»

Вздохнув:

«На самом деле всё было очень просто: нас выпустили. Что за выражение! Выпускают из тюрьмы, из неволи. Мы и жили в неволе. Правда, мне тогда было восемнадцать лет, в сущности, я гораздо позже осознала, в какой стране мы жили. Для меня было важно только одно: он уезжает — значит, и я с ним. Жалею ли я, что так случилось? Нет, не жалею. Вся моя история от начала до конца была историей любви, вот так».

Меня интересовали подробности, реальная сторона дела, но я не знал, как к ней подступиться. Намёком я дал ей понять, что мне хотелось бы знать, к примеру, как она утратила девственность.

«Как? Да никак. Прыгала, прыгала и допрыгалась. Да меня это и не очень-то волновало. Для меня это был уже пройденный этап».

Мы подняли бокалы, она отпила глоток.

«Меня спрашивали потихоньку: какого лешего я за него уцепилась? Я была, что называется, красоткой. А он? (Смешок.) Он был ниже меня ростом, это считалось серьёзным недостатком для кавалера. Поэтому, между прочим, я никогда не носила туфель на высоких каблуках. Но дело в том, что “кавалер”, “поклонник” — все эти слова для нас совершенно не годились. Какой он был кавалер? Он был уродлив, как многие очень умные евреи. Ухаживать не умел, да и не старался. Он просто решил, что я буду его подругой, — и никаких объяснений в любви; а лучше сказать, решила я. Видите ли, я просто так устроена».

Мы молчали, она смотрела в одну точку, я не торопил её, снова явился ирландец и водрузил передо мной огромную пепельницу.

«Он сжалился над вами».

На всякий случай я спросил:

«Может, мне выйти на террасу?»

Я остался сидеть, прикованный к своему креслу, к её отрешенному взгляду.

«Он был утрюм, я — весела, он был ночь, я — день. Он мог задуматься, нахмуриться, нахохлиться, ничего не видел вокруг, а я — во мне всё играло. Всякое движение, поворот плеч, бёдер, рука, которая сама собой тянется поправить волосы, молниеносный взгляд вот так, из-под ресниц, в сущности,

ничего не значащий, но я умела ему придать загадочную многозначительность, — всё было мне послушно, всё как будто говорило: посмотрите на меня, оцените! Всё отвечало малейшему движению души, моё тело было моей душой. Да мне и не нужно было прилагать никаких усилий, я знала, что все любят меня мною. Есть такая соль-мажорная соната Шуберта, там в последней части всё это сказано необыкновенно точно».

«Опять же находились и такие, кто не стеснялся меня уговаривать: ты же русская, опомнись, что тебе там делать? И, озлившись, я отвечала, что потому-то и еду, что я русская. В конце концов, какая разница, — главное, быть вместе, не правда ли? К тому же я вбила себе в голову, что никакая женщина, будь она хоть трижды еврейкой, не сумеет быть для него тем, чем буду я. До этого времени я плясала и порхала, а тут внезапно превратилась в собственницу».

«Что я могу вам сказать — он ввязался в историю с подпольным журналом, вы, конечно, о ней не можете помнить. Но тогда она была притчей во языцех... в наших кругах. Не буду рассказывать, скажу только, что последствия не заставили себя ждать, очень скоро настала его очередь; при первом обыске ничего не нашли, потом какая-то странная кража среди бела дня, нас не было дома, взломали дверь, что-то унесли для виду, позже оказалось — клоп вмонтирован в углу под потолком. Телефон тоже прослушивался. Машина у подъезда. Как-то раз Олег постучался в стекло и сказал: ку-ку! Там сидел какой-то хмырь. Второй раз гости явились при мне. Скучно всё это вспоминать».

«Родители осуждали мой выбор, мама ещё туда-сюда, но отец был особенно недоволен. В конце концов им пришлось примириться с тем, что время от времени я ночью не дома. Облава произошла на рассвете, длинный звонок, я вышла в прихожую в одной рубашке: кто там? Проверка документов. Якобы ищут, кто живёт без прописки. Если бы вышел Олег, он бы сразу понял, мы успели бы кое-что припрятать, сбросить на балкон нижнего этажа, что-нибудь такое. Но я ни о чём не подозревала, не знала, что это у них обычная формула. Открыла, сразу ввалилось восемь мужиков. Мой Олег сидит на кровати, мрачно поглядывает на всю компанию. Потом вдруг громко обложил их всех трёхэтажным матом. Я никогда не слыхала от него таких выражений... Вообще он уже ничего не боялся. Четверо роятся в белье, трясут и швыряют на пол книжки, развинтили стиральную машину, остальные рядком на диване, так называемые понятия, сидят, скучают. По вас, сказал он, дрын тоскует. В колхозе надо работать, а не груши х... околачивать! Квартира была перевёрнута вверх дном. Дирижировал следовательно, плюгавый мужичонка».

«Этот следователь позвал меня на кухню для разговора. И опять я услышала то же самое: вы русская женщина, что вас связывает с этим человеком? Я говорю: это вас не касается. Хочу вам дать добрый совет, сказал он. Такая красивая девушка, как вы, могла бы найти более подходящую пару. Вас, что ли, сказала я. — Ну зачем же так. Я ведь только в ваших интересах. Не хочется вас пугать, но сами понимаете. Так что передайте вашему сожителю: если он не хочет новых неприятностей, пус-

кай подаёт на выезд в Израиль. — Они всегда подчёркивали своё особое презрение к этому государству, когда, подражая начальству, ставили ударение на последнем слоге».

«В нашей компании было несколько человек, которые годами сидели в отказе, мы думали, что и нам придётся ждать неизвестно сколько времени. Никто ничего не знал. Существовала теория шкафа. Будто бы где-то там стоит шкаф, битком набитый заявлениями желающих уехать. Когда открывают дверцу, то чьё-нибудь заявление вываливается. Он и получает визу. Но, видимо, там решили избавиться от Олега поскорей. Вызов от мнимых родственников принесли с почты прямо на дом».

Предсказание стало сбываться, что-то выло и погромыхивало вдали. Со свистом пронёсся чёрный ветер, в комнате стало темно. Сверкнул огонь, лик хозяйки осветился, и небо треснуло. Дробный шум заглушил все звуки. Минуту спустя газон был уже весь усыпан белой крупой. Град барабанил по крыше террасы. Затем полил дождь. Словно зачарованные, мы сидели в сумерках среди дымно-серебряного потопа.

Я спросил, были ли колебания.

«Какие колебания?»

Куда ехать.

«Ах, это... Он говорил, что ему всё равно. Этот обыск был последней каплей. Он говорил, что дышит азотом. Всё обрыдло; куда угодно, лишь бы вон. А я считала, что мы должны ехать в Израиль».

Вот как?

«Конечно. Так я ему и сказала: это единственная страна, где ты не будешь чувствовать себя эмигрантом. Тебя ждут, у тебя там друзья. А куда ещё? — Он усмехнулся. Мир велик! Представляешь себе, мы будем совершенно свободны. Имеешь ли ты вообще представление, что такое свобода? — Имею, сказала я. Мы поедем в Израиль. — Я не знаю язык. — Ну и что? Никто не знает. — Я никогда не научусь. — Зато я научусь. И ты тоже научишься, надо только захотеть. Ты всё можешь, если захочешь. И потом, сказала я, будет некрасиво, если мы повернём в другую сторону. Люди для нас старались, прислали вызов, а мы им ответим чёрной неблагодарностью».

«И мы прошли все мытарства и унижения, связанные с отъездом. Эта всеобщая злоба, волчьи взгляды, слова, которые не произносились, а цедились сквозь зубы... Чиновники в учреждениях, где надо было получать бесчисленные справки, как будто поставили себе целью окончательно убить в нас последние сожаления, нет, — она провела рукой по волосам, — убить последние остатки патриотизма. Я уж не говорю о том, что было, когда приехали в Шереметьево, в аэропорт, об этом сладострастном вытряхивании нашего скарба, обысках с раздеванием догола, когда тебе заглядывают спереди и сзади... Кто они были? Простые советские люди, так это называлось. Словом, мы вздохнули с облегчением, оказавшись, наконец, в самолёте. И когда земля побежала под нами, родина, которую никогда больше не увидишь, — поверьте мне, мы не то чтобы не пролили ни слезинки, мы были счастливы...»

Она продолжала:

«Он был разочарован. Он ничего не говорил, но я это видела. Всё-таки его там знали, он рассчитывал на другой приём. Думал, что его встретят с распростёртыми объятиями. А ему предложили всего лишь скромное место в редакции русского журнала, зарплата копеечная. Кроме того, от него ждали, что он окажется, как все, государственным патриотом. А мой Олег любил говорить: я анархист. Его с души воротило от национальной гордости, вообще от всего этого. И он не умел работать. Он всё знал, всё читал, о чём угодно мог рассуждать. Но реальной профессии не было. Зарабатывать должна была я... Господи, не подумайте, что я была на него в обиде. Я была счастлива сделать для него всё что могу. Могла я, правда, немного, я ведь тоже ничему как следует не училась, но меня не пугала никакая чёрная работа. Убирала квартиры, мыла полы, ухаживала за больными. Как-то раз он мне говорит: небось пристают к тебе. Жалко продавать свою красоту, а? Всё во мне вскипело, я чуть не крикнула: дурак! Как был дураком, та и остался! На вместо этого заплакала. Он опомнился и стал просить прощения. Откройте дверь...»

Я вышел на террасу, всё сверкало и блестело. Слепящее низкое солнце стояло над пепельно-лиловыми горами, на озёрную гладь было больно смотреть. И тишина, какой я не слыхивал.

Она осталась сидеть в своём кресле. Я знал в общих чертах, к чему идёт дело, но мне хотелось услышать от неё самой. И, конечно, я уже не помышлял ни о каких репортажах.

«Мы не то чтобы прижились, но стали понемногу привыкать, появились новые друзья, завязались знакомства; я научилась болтать на иврите, чего нельзя было сказать о моём муженьке. Мы жили в Ашдоде, в новом многоэтажном доме, на восьмом этаже, с балкона открывался изумительный вид. Олег ездил в Тель-Авив, в свою редакцию, — то ездил, то не ездил; бывало так: прихожу с работы, оказывается, он весь день просидел дома; спрашиваю: срочная работа? Он пожимает плечами. Что же ты делал? Да так, ничего. Гулял? Нет, жарко. А на самом деле городок находится у моря, климат прекрасный».

Ностальгия?

«Не знаю; вообще говоря, я заметила, что евреи больше, чем русские, страдают от тоски по России. Но, повторяю, как там я часто не могла понять, что с ним происходит, так и здесь — иногда, по крайней мере».

«Мне казалось, он от меня куда-то уходит. Однажды я расхрабрилась и спросила: тебе со мной в тягость? Он изобразил какую-то неопределённую мину, пожал плечами. Эта отвратительная привычка — пожимать плечами вместо ответа. Я сказала: почему ты не хочешь ребёнка? Никакой реакции. Вот возьми и рожу, сказала я, и тебя не спрошусь. В другой раз я его спросила: может, у него кто-то есть, а мне лучше отселиться. Он тяжело, недобро посмотрел на меня, потом отвёл глаза и усмехнулся. И тебе, пробормотал он, не стыдно так спрашивать? Я обрадовалась...»

Само собой решилось, что я остаюсь ночевать. Явился снова молчаливый ирландец, хозяйка кивнула, въехал столик, и мы поужинали. Потом,

как водится, кофе, несколько рюмок хорошего коньяку. Мне была предложена сигара, я предпочёл выкурить папиросу на террасе. Тем временем внесли свечи. И всё изменилось, второй раз после отъезда из СССР судьба ударила в колокол. Он выбросился из окна.

«Его закопали в песчаной земле Израиля, сняли “нер тамид” с крышки гроба — плоску со свечой — и отнесли её домой, она должна была гореть тридцать дней; никаких траурных карет, катафалков — по еврейской традиции, всё должно быть очень скромно, гроб несли на руках, молча, никаких речей, протянули мне ножницы, и я надрезала платье, кантор запел “хевра кадиша”. Олег не понял бы там ни слова».

«Я не знала, куда деться, отупела от горя, у нас было немного денег, хотела съездить куда-нибудь. Но тут...»

Она умолкла. Я ждал.

«Тут случилось так, что моя жизнь пошла по-другому. Как будто стрелочник перевёл стрелку. Не знаю, с чего начать».

Начните, сказал я, с середины.

«Была такая Минна, Минна Розенталь, она приехав с родителями в Эрец Исраэль в тридцатых годах. К тому времени, когда я с ней познакомилась, она успела похоронить всех своих родственников. В мае начинается жара; я должна была сопровождать Минну в Германию, куда она выезжала каждое лето. Минна была довольно противная старушонка, ей нужна была провожатая не столько для ухода, сколько для того, чтобы доказывать, что все ей чем-то обязаны. Думаю, что её друзья, такие же старухи, как и она, страдали от её капризов ещё больше, чем я. Для неё покупали путёвку в санаторий, перед этим мы провели некоторое время в Мюнхене у Ирмы Рюкварт-Бисмарк, внучки или правнучки того самого Бисмарка».

«И вот однажды мне сообщают, что со мной хочет поговорить один человек, ein Herr. Кто такой? Herr Ludwig Graf Seydlitz-Gumbinnen — шикарно звучит, не правда ли? Я тогда по-немецки совершенно не знала, учила в школе, но всё забыла. Не беспокойтесь, граф говорит по-английски. Но я и по-английски не очень. Ничего, как-нибудь. Этот Зейдлиц был дальний родственник Ирмы. Высокий, худощавый, с костлявым лицом, на вид лет пятидесяти, волосы гладко зачёсаны, седые виски, такие мужики всегда нравятся женщинам. Мне он показался каким-то хлыщом. Не говоря уже о том, что мы все в Израиле относились к немцам, ко всем немцам, сами понимаете, как. Был чрезвычайно любезен. Я ответила, что уезжаю через два дня с Минной в Бад-Тёльц. Он сказал: очень хорошо. У вас будет время подумать над моим предложением. И назвал — как бы между прочим — такую сумму, что я мысленно ахнула».

«Знает ли об этом г-жа Бисмарк? — Разумеется; она мне вас рекомендовала. Что касается фрау Розенталь, то этот вопрос мы уладили. — Что значит уладили, сказала я. Всё это мне очень не нравилось, он словно заранее был уверен, что я соглашусь. Мне даже показалось, — хотя это могло быть предубеждением, я же говорю, как мы относились к немцам, — что в

его голосе звучат нотки приказа. Да и Минна, при всём её сварливом характере, привязалась ко мне. — Знает ли она о его намерениях? — Мы найдём вам замену, сказал Зейдлиц».

«Между тем моя Минна, узнав, устроила сцену. Я слышала её крики в соседней комнате, хотела утешить её, сказать: я вовсе ещё не решила. Но колебалась. Представляете себе: Минна девочкой бежала из Германии, когда там всё это началось, спаслась от гибели в газовой камере, а я собираюсь там жить. Вероятно, она приписывала моё согласие — хотя окончательного ответа я пока ещё не дала — тому, что я не еврейка. Минну тянуло в Германию, как всех немецких евреев, и все они дали себе зарок никогда не возвращаться. Понемногу всё стихло. Когда я вошла, Минна подняла ко мне жалкое, сморщенное, залитое слезами лицо».

«Недели через две Бисмаркша приехала навестить нас в Бад-Тёльц, и этот граф с ней. Он предложил мне прогуляться. Его жена было оперирована два года тому назад, лечилась у лучших докторов, минувшей осенью даже ездили в Индию, в Гималаи, в какую-то особенную клинику, где лечат диетой из проросших зёрен; вначале как будто помогло, но последние месяцы она уже не встаёт с постели. Она лежала наверху. Дом, когда к нему подъезжаешь, кажется небольшим».

Мы устали на неподвижные язычки огня, дверь была приоткрыта, стояла мёртвая тишина, и лишь издалека доносился прерывистый голос одинокой птицы, я спросил, не устала ли Frau Gräfin. Она ответила: оставьте, меня зовут Лидия. Я вышел на террасу. Озеро, чёрное и безбрежное, тускло поблескивало отражённым холодом звёзд. Привыкнув к темноте, можно было различить силуэт гор. Мне стало зябко, я воротился в комнату. Лидия, закутанная в белое и пушистое, неподвижно сидела в своём кресле.

Я что-то пробормотал насчёт романтической ночи. Да уж куда там, возразила она.

«Мистер Хоуп с женой работали тут давно, с ними я поладила относительно легко. У нас были разные обязанности, они не могли видеть во мне конкурента. А вот мадам встретила меня в штыки. Она лежала, исхудавшая, на высоких подушках, посреди роскошной кровати, весь её вид как будто говорил: это ещё что за новость?.. В первый день, когда я вышла из спальни, одетая, как положено, в сером переднике и в косынке, граф подошёл ко мне извиняться; я сказала, что всё понимаю. Я стала работать, меня поселили в комнатке наверху. Машины у меня не было, так что я всё время проводила в доме...»

Я задал вопрос, в котором Лиде почудился скрытый намёк. Она усмехнулась:

«Вот видите, вы последовали моему совету».

Какому совету?

«Помните, я говорила, что вам бы надо сделать из моей истории что-нибудь вроде романа. Но вас не уговоришь... Вернёмся к нашим баранам; сколько мне было тогда лет? Подождите. Двадцать шесть или двадцать семь. Я по-прежнему была хороша собой. Пожалуй, стала ещё привлека-

тельней. Понимаю, о чём вы подумали. Может быть, вы и правы. Но, я думаю, всё-таки не совсем. Должна вам сказать, что я относилась к своим обязанностям добросовестно и ни о чём другом не думала. Разве что глубоко где-то, в подсознании, мелькало что-то такое. Во всяком случае, я гнала от себя такую мысль... Мой работодатель был доволен, Грете (её звали Аннегрет) тоже в конце концов сменила гнев на милость. Она была беспомощна, бедняжка, и понимала, что ей без меня не обойтись. Мы даже сблизились, чисто по-женски. Граф обычно вставал рано, купался в озере, завтракал очень скудно (этим ведал Хоуп), говорил по телефону со своим маклером, — я потом узнала, что он играл на бирже, — и уезжал, иногда на несколько дней, но не больше недели, всегда предупреждал и всегда возвращался в срок. Мне кажется, Грете и до болезни втайне страдала от его холодности. Но таков был стиль их совместной жизни, и болезнь ничего не изменила. У них была дочь, единственная, после которой Грете по каким-то причинам не могла больше забеременеть. Дочь эта была в давнишней ссоре с матерью, я её никогда не видела. Была ли у Людвиги женщина на стороне? Не знаю. Грете говорила: я догадываюсь, то есть я даже точно знаю. — Кто такая? — Не хочу о ней говорить. Но он на ней никогда не женится».

«Однажды она сказала: вот я приду и проверю. Разве ты не знаешь, что мёртвые являются с того света? Вот и я явлюсь. Посмотрю, с кем он теперь».

«Приезжали врачи, делали уколы. Потом возникла необходимость время от времени выпускать жидкость из живота. Я проводила с большой почти весь день, а то, бывало, и ночи просиживала возле неё. Она боялась умереть. Днём держалась, вообще вела себя с исключительным мужеством, а ночью... Снотворные мало помогали. Она просила включить музыку. Тогда я, между прочим, услышала в первый раз ту сонату Шуберта, о которой говорила вам... Грете кое-что рассказывала. Она тоже происходила из какого-то знатного рода, но от былых владений ещё до войны ничего не осталось, жила с родителями в Дрездене и до самой смерти говорила с акцентом, так что и я переняла от неё этот смешной саксонский выговор, от которого мне потом пришлось долго освобождаться».

А сейчас, спросил я.

«Сейчас научилась по-здесьнему, а куда денешься? Говорят, не отличаюсь от баварки. Знаете, ведь в Германии, куда ни приедешь, всюду свой диалект. А вы знаете немецкий?»

Я сокрушённо развёл руками. Похвалил её русский язык. Конечно, чувствуется, что она давно живёт вне России, но совсем немного. Мне хотелось ей польстить. Бывает ли она на родине? Лидия покачала головой.

«Так вот... Дом сгорел, и вообще вокруг одни развалины, мать и отец погибли, братья — один убит, другой пропал без вести. Грете осталась одна, где-то уютилась. Однажды — кто-то посоветовал — написала письмо дальнему родственнику. И куда бы вы думали? В Россию. Догадаетесь, кому?»

Он там был?

«Почти всю войну. Сначала во Франции, но всего несколько месяцев, потом их дивизию перевели на Восточный фронт. Завязалась переписка, а

когда он вернулся, разыскал её, и поженились. О том, что у Зейдлица до неё была семья, Грете не вспоминала. Но я вам не рассказала самого главного: как я поехала с Людвигом в Москву».

В Москву?

«Знаете, времена изменились; вы это, конечно, не можете помнить. Западные немцы стали ездить в Россию. Одним словом, какая-то делегация, Зейдлиц состоял в разных комитетах, в Баварии это принято, чтобы почётным председателем был человек с громким дворянским именем. Крупные фирмы держат таких людей для представительства, для приёмов: высокий рост, аристократические манеры, безупречный английский язык, всё такое. Короче говоря, он зовёт меня в свой кабинет — как раз над нами, прекрасно обставленный, из широкого окна вид на озеро, портреты предков, книги, — правда, я никогда не видела, чтобы он что-нибудь читал, кроме «Шпигеля» и газет. В углу на отдельном столике, как полагается, фотографии: родители, бабушки, дедушки, он в коротких штанишках, он с Аннегрет, он в мундире, Ritterkreuz¹ на шее».

«Прихожу; Людвиг сидит за письменным столом, чрезвычайно занят, на меня не смотрит, перелистывает бумаги. Я стою в своём светлосером платье в талию, пряменькая, руки по швам, чулочки, туфельки, воротничок, передник — пай-девочка. Наконец, он собрал свои бумаги, захлопнул папку и завязал ленточки. Взглянул на меня. — Я еду в Москву. — Снова молчание, я жду распоряжений. — Прошу сопровождать меня».

«Естественно, мой первый вопрос был — кто же останется с больной. Разумеется, разумеется, проговорил он. Дескать, понимаю и ценю вашу заботу. Мы будем отсутствовать не больше недели. Вас заменит миссис Хоуп. И, кроме того, будет приезжать сестра из Hospiz. (Это такое полумедицинское заведение вроде приюта.) Так что, — и он улыбнулся, — готовьтесь к встрече с вашим отечеством. Очевидно, я была нужна ему как переводчица».

«Н-да... встреча с отечеством. Я не была там — посчитайте сами, сколько лет. Первые годы я ещё переписывалась с мамой, письма из Израиля доходили плохо. Один поклонник писал довольно долго, плакался, грозился приехать и увезти меня. А меня туда, знаете ли, совершенно не тянуло. И вот теперь... Конечно, когда самолёт стал снижаться, покатился по посадочной полосе и я увидела над низким зданием буквы: М О С К В А, что-то во мне перевернулось. А ещё больше, когда я услышала голоса: всё вокруг, все люди, и не только люди, но и стены, плакаты, вывески — всё говорит по-русски. Вместе с тем это была какая-то другая речь, я отвыкла от этих вульгарных интонаций, от матерщины, мне казалось, что раньше этого не было, я поглядывала на немцев и думала: слава Богу, что они ничего не понимают. Поверите ли, мне было стыдно — стыдно за мою Россию, какой-то странный патриотизм. Поместили нас в очень хорошей гостинице «Золотой колос», рядом с выставкой народного хозяйства, мой номер рядом с номером Зейдлица. Вся делегация состояла из пяти человек. Для нас устроили экскурсию по Москве, показывали разные красивые места, немцы были в восторге; грязи, неудобств, хамства не заметили или не хотели замечать, я

¹ «Рыцарский крест», вторая ступень военного ордена Железный крест.

была рада, потому что, знаете, сама я могу отзываться как угодно, никаких иллюзий насчёт будущего нашей страны не питаю — это одно дело. Себе я могу позволить. А вот из чужих уст... всё во мне встаёт дыбом. Здесь ничего подобного не было. Подчёркнутая уважительность — особенно, когда узнали, что я говорю по-русски.

Но они и в самом деле были настроены увидеть только хорошее. То, что Запад есть Запад, а Восток — это Восток, подразумевалось само собой, и то, что мы у себя там, в побеждённой стране, живём несравненно лучше, тоже было чем-то само собой разумеющимся; никто и не собирался сравнивать. Весь этот хаос, вся эта неустроенность входили в традиционный образ России, без них она не была бы Россией. Вы, может быть, успели почувствовать, что в Германии до сих пор, несмотря ни на что, существует довольно странный культ России. Об экскурсии я рассказывать не буду, был ещё какой-то приём в посольстве, там я вовсе держалась в сторонке, у них была официальная переводчица, молоденькая, только что из института иностранных языков и, скорей всего, “сотрудница”; впрочем, и Зейдлиц прекрасно знал, с кем он имеет дело, эти крысы везде сопровождают иностранцев. Лучше я вам расскажу, как мы ездили в Новосёлки, от Москвы километров восемьдесят в сторону Малоярославца. Собственно, это и было главной целью нашего паломничества; Зейдлиц был председателем ферейна.

Выехали мы рано утром, и, хотя добираться было не так уж далеко, на дорогу ушло добрых полдня. По шоссе ещё туда-сюда, а свернули на просёлок, тут всё и началось. Тут я, можно сказать, почувствовала себя понастоящему на родине. Грязь, лужи, ухабы, время было начало октября, пошли дожди; слава Богу, когда подъехали к деревне, стало разясняться. Здесь мы окончательно застряли. Не мне вам рассказывать, обычная история: как только дорога начинает портиться, значит, вы приближаетесь к населённому пункту. И уже видны угластые избы, плетни. Наш маленький автобус сидит намертво в яме. Пришлось вылезать, кое-как дошлёпали пешком. Какая-то старуха ведёт нас по деревенской улице к колхозному коровнику — или что там было, — а дальше пустошь; вот здесь, говорит. Здесь все лежат. Немцы поставили крестов с касками, деревню пожгли, а когда пришли наши, то и крестов не стало.

Тем временем трактор выволок наш автобус из трясины, но возвращаться было уже поздно, нас устроили в клубе. Сбежалась вся деревня. Люди были очень гостеприимные. Старались как лучше. Ничего плохого не могу сказать. Был устроен ужин, наготовили, нанесли всего, составили вместе несколько столов, сидели, вспоминали войну. Мой Людвиг произнёс речь, я переводила. А потом в Москве, в гостинице, у нас был долгий разговор. Я уже упоминала об этом обществе, оно называлось, не помню точно, «Ферейн по уходу за могилами солдат Второй мировой войны», что-то в этом роде. Зейдлиц собирался по возвращении сделать доклад о поездке, может быть, сказал он, удастся восстановить кладбище.

Вся Россия — немецкое кладбище, сказал он. Я возразила: и русское. Мы сидели в его номере, нам принесли бутерброды, Людвиг вынул из бара бутылку русской водки, две стопки. Я сказала, что я не пью. Он налил себе и

мне, сидел, покручивал рюмку двумя пальцами. Потом поднял стопку: prost! И назвал меня, по немецкому обычаю, по имени. — Между прочим, мои друзья зовут меня Лютц, так что зовите меня тоже так. — Я пригубила, откусила от бутерброда. Он залпом выпил свой стопарь. Ого, сказала я. — Это я в России научился. В России многому можно научиться. Из всего нашего класса, в гимназии, живым вернулся один я. А семья моя погибла в море. — Он снова налил себе, занёс бутылку над моей рюмкой, я запротестовала. Он поставил бутылку перед собой. Скушайте что-нибудь, герр Зейдлиц, сказала я. Он сузил глаза. — Я просил называть меня по имени. — Я извинилась. — Вы хотели что-то сказать. Погибла... в море?.. — Да, сказал он, в Остзее. Вильгельм Густлофф — вам это название что-нибудь говорит? — Впервые слышу. — Он опять опустошил свою рюмку, к закуске не притронулся; я исподтишка следила за ним: никаких признаков. Пожалуй, только взгляд его становился всё тяжелей».

Она продолжала после некоторого молчания:

«Я сказала: вы устали, Лютц, я, пожалуй, пойду к себе. Но он стал уговаривать меня посидеть с ним ещё немного. Моё полное имя — фон Зейдлиц цу Гумбиннен, сказал он. Я ответила: знаю. — Мы приходим из Восточной Пруссии, Гумбиннен — это городок в самом центре нашей бывшей провинции, сейчас всё отошло к Советскому Союзу... Когда-то нам принадлежала вся округа... Мои земляки, я имею в виду прусскую знать, хвастались тем, что пришли с Немецким орденом, о себе я не могу этого сказать, наш род сидел на этой земле ещё до христианизации, во мне течёт и кровь древних прущцев, и мазурская, и, возможно, литовская. Гумбиннен получил от короны права города только в восемнадцатом веке. Один из моих предков попался на финансовых махинациях, и Старый Фриц публично казнил его в Кёнигсберге. Бывало и такое... Потом пришли французы, Великая армия. Заняли город перед тем как двинуться на Москву... — Я прервала его: Лютц, извините. Может быть, больше не надо пить? Было уже совсем поздно, и в бутылке заметно поубавилось. Между прочим, сказал он (на мои слова — никакого внимания), между прочим, в Первую мировую войну Гинденбург разбил русскую армию под Гумбинненом... Но я отвлёкся. Я хотел вам сказать о моей семье... вам Грете ничего не рассказывала? Когда русские вторглись в Восточную Пруссию, осенью сорок четвёртого, началось паническое бегство всего населения. Как вы думаете, почему? — Нацистская пропаганда, сказала я. Он усмехнулся: если бы только пропаганда!»

На часах — третий час ночи. Как тогда, сказала Лидия.

Не устала ли она?

«Можно вас попросить? Мне не хочется будить миссис Хоуп».

Когда я вернулся с кофейником, она неподвижно сидела, завернувшись в плед, глубоко уйдя в кресло.

«Не беспокойтесь, я не сплю... Я частенько так сижу по ночам, думаю о своей жизни. Днём наш разговор, может быть, вовсе бы не состоялся... Да, так вот... Тебе, сказал Зейдлиц и поправился: вам. Вам, наверное, неприятно будет услышать, но дело в том, что всюду, куда вступала Красная Армия, на-

чинались грабежи, убийства, насильствовали всех женщин подряд, не щадили ни девочек, ни старух. Все это знали, и все дороги были забиты беженцами, спасались кто как мог и на чём мог. Восточная Пруссия была отрезана от рейха, оставалась единственная надежда сесть на пароход в каком-нибудь порту, который ещё находился в немецких руках. Марта с детьми, две бабушки, кто-то из obsługi добрались до Данцига, — город горел, — а оттуда уже недалеко было до Готенхафена. Удалось погрузиться, но пароход потопила в море русская подводная лодка. Тот самый злосчастный Густлофф. Всё это я узнал позже.

Случилось это ночью, 30 января. Но я не сказал главного. Видите ли, — теперь глаза его стали совсем хрустальными, — видите ли... Эти самые Новосёлки. Эта деревня, где мы были сегодня и которую мы, немцы, сожгли за одно только подозрение, что там ночевали партизаны, доказательств не было... Я был там. В октябре сорок первого. Тогда наши передовые части подошли вплотную к Москве...

Я встала и хотела идти к себе. Он тоже встал. Я не прошу вас остаться, сказал он, вернее, пробормотал, хотя довольно твёрдо держался на ногах, я не прошу остаться, потому что... вы знаете, вы, Лида, конечно, догадываетесь, как я к вам отношусь, и... и не хочу навязываться, вы должны решить сами... — Что я могла ответить? Я ушла. А на рассвете Лютец постучался ко мне, и мы стали мужем и женой.

Этого можно было ожидать, — сказала Лида. — Но я не знаю, действительно ли я была тогда к этому готова. Любила ли я его? Пожалуй, скорее жалела, чем любила. А он меня не жалел. Жалеть — это дело наше, женское. И очень по-русски. А по его понятиям, по понятиям западного человека, немца и офицера, жалеть человека значит его унижить. Он был упрямый и сноровистый. Олег, Олешка — тот всегда был неумёха. То слишком торопится, то чуть ли не засыпает на мне. Но только его одного я и любила. Лютец... он сразу почувствовал, что я отдаюсь ему не целиком. Я сейчас говорю не о том, что произошло в Москве. Тем более, что в Москве это больше не повторялось — сейчас объясню, почему. Я говорю о продолжении, уже здесь...

Должна вам сказать — я женщина не слишком темпераментная. Он, конечно, как всякий мужчина, хотел меня во что бы то ни стало разжечь. Чем может привлечь такой человек? Богатством, конечно, в первую очередь. Обещанием сладкой жизни. Но я, ей-Богу, не помню, чтобы я так уж зарилась на его дом, капитал. И он это тоже чувствовал. И действовал иначе. И был опытен — чего я не могу сказать о себе. Для меня это было не так важно. Для меня важна любовь. Он был влюблён, это правда. Добился ли он своего? Пожалуй, да. С ним я впервые узнала, что есть такие глубины, и в прямом, и в переносном смысле, где не только нет противоречия между чувством и чувственностью, но где вообще нет границы между телом и душой: всё это — одно. Он умел этого добиваться в постели. Это правда.

Мы должны были провести в Москве ещё сколько-то дней, но тут пришла телеграмма. Нам пришлось покинуть делегацию, срочно вылететь в

Мюнхен. Хоуп ждал с машиной в аэропорту. Грете умерла во сне. Похоронили её возле Байришцелль, недалеко отсюда, там у них фамильная усыпальница.

Граф сделал мне формальное предложение; когда окончился положенный срок траура, я вышла за него замуж. Вы скажете — счастливый конец. Не знаю... Я уже говорила вам, что, если я любила его, то всё же не совсем такой любовью, какой любят мужчину. Конечно, мы были близки, скажу больше — мы всё больше узнавали друг друга, каждая ночь готовила новые открытия. Он говорил мне, что помолодел на двадцать лет. А я... мне казалось — наоборот, мой запас взросления всё ещё не был исчерпан. Может быть, только с Людвигом я сделалась в полном смысле женщиной.

Он любил смотреть на меня. Утром, когда я выходила из ванной, он говорил, нет, пожалуйста, без халата. Я стеснялась. Он говорил: у тебя прекрасно вылепленные бёдра. У тебя полные, спелые груди. — Слишком большие. — Нет, они великолепны. — И тут, знаете, совершенно некстати мне вспомнились слова Олега: продавать красоту... Может, так оно и получилось, а? Не знаю. Мне бы хотелось думать, что это не так или, по крайней мере, не совсем так. Ещё он требовал, чтобы я каждое утро купалась в озере. А я, как все бабы, страшусь холодной воды. — Нет, ты должна. — Мне не нравился этот тон: тебе бы следовало... ты должна... а вот этого делать не надо... Он считал, что меня надо воспитывать.

Была ли она с ним по-настоящему счастлива?

«Так, как с Олегом, — нет. Такая любовь не повторяется. Но мне с Лютцем было хорошо. И, я думаю, Грете это поняла».

Но ведь при ней, при её жизни они не были близки?

«Разумеется, не были. Даже намёка на то, что между нами может что-то произойти, не было — не говоря уже о браке. Грете узнала об этом *там*».

Где — там?

«Верьте или не верьте. Я вам вот что расскажу. Я иногда, после того, как Лютц засыпал, вставала. Даже закусывала ночью; после любви вдруг разыгрывался аппетит. И мне часто казалось, что кто-то ходит по дому, — то дверь скрипнет, то как будто кто-то вздохнул... Однажды очень тихо постучались в дверь. Я подумала, что это моё воображение, или что это жена Хоупа ходит зачем-то. На всякий случай спросила: кто там? Никакого ответа. Хотела встать — и тут она вошла».

Кто?

«Она, кто же ещё. Замахала ладошкой — дескать, сиди, сиди. Она была в длинной рубашке, куталась в какую-то шаль. И всё поджимала босые ноги. Мы сидели вот так, как сидим с вами, напротив друг друга. Я хотела принести ей ночные туфли, отороченные мехом, она их очень любила, — она снова замахала руками. Увидела на столе остатки еды и говорит: ты беременна? Я сделала удивлённое лицо, спрашиваю — откуда? Она усмехнулась: ты что думаешь, я ничего не знаю? Ты была мне последнее время подружкой, что ж ты мне ничего не говорила. Впрочем, я и сама догадывалась, что к этому

идёт. Не беспокойся — я довольна. По крайней мере, она не женила его на себе. — Я спросила, кого она имеет в виду, хотя, конечно, поняла. Грете ответила: не хочу о ней говорить. Но я видела, что мысль об этой неизвестной женщине и после смерти мучает её».

Помолчали, потом она спросила: ну, и как там у вас? Он тобой доволен? — Я пожала плечами. — Доволен, наверное, ты молодая, красивая; горячая, наверное, а? Я тоже была горячая... — Я сижу, слушаю. — Ты думаешь, я ревную? Нет, дорогая моя. Он мой. — Тут я не выдержала и сказала: как это так, мой! И хотела добавить, что у меня есть неоспоримое преимущество, я живая, а она... — но она прервала меня. *Он мой!* — сказала она и вся наохлилась, глаза сузились, губы дрожали от холода. — Мой, и больше ничей! Запомни это.

Нам пора заканчивать, — сказала Лидия Зейдлиц, — но в романе, который вы, я надеюсь, напишете, — она улыбнулась, — не хватает развязки, не правда ли? Что ж... как вы догадываетесь, развязка не заставила себя ждать...»

По её словам, Зейдлиц вернулся к привычному образу жизни, рано вставал, окунался в озеро, завтракал, чаще всего один. Но в это утро кофе и булочки остались нетронутыми, газета лежала неразвёрнутой. Мистер Хоук постучался к графине.

На берегу была устроена маленькая купальня: дощатая площадка со ступеньками в воду, закуток для переодевания. «Она и сейчас там стоит, — сказала Лидия, — но я никогда не купаюсь... Спустились, видим, что халат и полотенце висят на крючках. Домашние туфли Зейдлица стоят перед лесенкой. На озере ни малейшей ряби, вода сверкает так, что больно смотреть. А через неделю я почувствовала, что беременна».

ЗАПАХ ЗВЁЗД

СТАЛЬ И ПЛОТЬ

Не каждому дано понять, в чём его предназначение. Долгое время тот, о ком здесь пойдёт речь, жил так, как если бы смысл жизни состоял в ней самой: в том, чтобы просто жить и производить потомство. Правда, он не слишком заботился о своих детях. Переводя на язык чуждого ему племени, можно сказать, что он не был создан для семейной жизни. То было время, о котором когда-нибудь будут говорить как о золотом веке. Эпос соплеменников пополнится новым циклом сказаний. Никогда ещё добывание пищи не было таким лёгким и приятным занятием, никогда в лесах не водилось столько лосей и кабанов. Отчасти из-за этого благоденствия он утратил бдительность.

Другая причина моей беспечности была та, что я как бы уже родился счастливым. Смутно вспоминаю моих братьев и сестёр, они погибли во время Большой облавы. Мать увела меня из родных мест в дальнее Заречье, в непроходимые заболоченные леса. Отца я не помню. Я жил в удобном логове под вывернутыми корнями огромной упавшей ели, вход, прикрытый еловыми лапами, невозможно было заметить даже вблизи. Птицы кружили над моим жильём, привлечённые запахом гниющих костей и черепов, я любил этот запах. Невдалеке протекал ручей, это было очень удобно, в любое время дня и ночи я мог утолить свежей проточной водой жажду после одинокого пира. Такой у меня характер — я одиночка. Конечно, отыскать себе пару в конце зимы, когда на холодном солнцепёке, под сляющим небом старые ели роняют хлопья снега и наст начинает хрустеть и подламываться на полянах, для меня никогда не составляло труда. Я был красив! От моей матери я унаследовал богатый мех, серо-серебристый в сумерках, золотящийся на солнце, я гордо нёс за собой длинный пушистый хвост, украшенный на кончике пучком чёрных волос. Я мог устроиться на дневку прямо на снегу, достаточно было лишь слегка его притоптать. Даже в трескучие морозы мне не было холодно. Живот у меня светлей, и там, где прячется мой пол, кожа особенно нежна и покрыта белым пухом. Я был красив и любил себя так, как самка любит самца, но моя страсть была неутолима.

Я никогда не потел, даже после многочасового изнурительного гона во главе стаи. Одно время я был вожаком. Но природное одиночество победило, и то же можно сказать о моих многочисленных любовных связях. У нас в обычае воспитывать волчат вдвоём и содержать их по крайней мере до тех пор, пока они не научатся сами добывать себе пропитание. Я же оставлял своих подруг и выводок где и когда мне вздумается. Возможно, это у меня от отца; как уже сказано, я не знал его. Зато мать стоит у меня перед глазами. Она происходила из старинного рода синеглазых волков, в ледяные ночи она показывала мне звёздное логово

предков к югу от Весов, там, куда простирает руку Кентавр. От неё я унаследовал неподвижный, ледяной, немигающий взгляд, который парализует жертву.

Теперь я могу начать историю, о которой упомянул вскользь; как уже сказано, я был на вершине лет, в расцвете сил, мужской красоты и потенции; вокруг на десятки, может быть, сотни километров не было человеческого жилья, и о повадках людей зверь, о котором идёт речь, лишь знал понаслышке, не умел отличать запах человека, не был знаком с опознавательными зарубками на стволах, с красными ленточками, которые иногда привязывают к ветвям охотники. Никаких знамений, никакого предчувствия, как у других представителей его расы. И всё это тоже сыграло свою роковую роль. Однажды ночью, на десятом году жизни, он угодил в капкан.

Не было ничьих отпечатков, никаких следов, кроме его собственных; должно быть, охотник отступал по своим же следам и забрасывал за собой снегом. Короткий клацающий звук, как будто щёлкнула чья-то пасть, и стальные клещи сдавили левую переднюю лапу выше запястья. Капкан был весьма искусно установлен по проходному следу, центр полотна находился под самым отпечатком волчьей ноги, механизм в глубине был прикрыт белой бумагой, чтобы днём не просвечивать под снегом, и от него тянулась проволока к волоку.

Показалось сперва, что сломана кость, но кость была цела. Он дёргал лапой, волок не поддавался, был каким-то образом закреплён, чтобы зверь не ушёл с капканом. Волк потерял рассудок. Много часов он то дёргал капкан, то падал рядом, забывался на короткое время, снова вскакивал, дёргал и расшатывал крепления; лапа онемела, пальцы с когтями не шевелились, под утро пошёл густой снег, рассвет застал волка лежащим без сознания под толстой белой пеленой. Днём должны были появиться люди. Нужно было собраться с мыслями. Он подпрыгнул несколько раз и упал в мягкую могилу. Снегопад продолжался и замёл яму. Волк помчался к оврагу, где его поджидала мать. Он хотел заговорить с ней, зашевелился в снегу, боль пробудилась и поднялась от мёртвой лапы к плечу. Подождав немного, он сделал новый прыжок и ещё один в сторону, и ещё один, и тяжёлый волок как будто подался. Солнце, как заспанный глаз, проступило сквозь густые облака. Волк прыгал в глубоком снегу, волоча за собой капкан, он искал убежище. Волк свалился в овраг. Так прошёл день. Вечером он умер.

Ветер разогнал снежные тучи, волк пребывал по ту сторону жизни, простёрся в сладостной истоме, не чувствуя ни боли, ни холода, радуясь тому, что не надо больше двигаться, не надо думать, не надо ничего. Уже третьи сутки он ничего не ел и не чувствовал голода, что было естественно, ибо за пределами жизни надобность в еде и питье отсутствует. Любопытно, что в этом потустороннем мире всё осталось прежним: снег, лесная чаща и медленно плывущие серые облака; я лежал на боку, на дне моей снежной гробницы, и почуял приближение людей. Это заставило меня одуматься; я понял, что вернулся к жизни. Было сумрачно, за деревьями дрожали огни. Люди стояли с факелами, не решаясь подойти ближе. Вдруг залаяла собака, за ней другие. Вот кого мы презираем ещё больше, чем людей. В наших ска-

заниях есть миф о предательстве. Странно, что они медлят. К ночи я почувствовал себя лучше. А главное, я знал, что мне надо делать. В мёртвой тиши над кронами деревьев стояла высокая белая луна. Я попытался встать на ноги, это удалось не сразу. Едва поднявшись, я снова упал, перевалился на живот, подтянул поближе омертвевшую лапу в стальной подкове капкана и впился зубами повыше запястья; к моему удивлению это оказалось не очень больно. Я рванул кожу, почувствовал солёный вкус и увидел, как снег под капканом стал чернеть. Я услышал чьё-то урчанье. Это был я сам, мои зубы терзали лапу, теперь она пылала от боли, я упёрся в кость, предстояло главное испытание, насколько легче было бы, если бы кость была сломана! И я призвал на помощь призрак матери.

Она явилась, выскочила из тьмы и стояла надо мной, ничего не говоря и глядя на меня, как мне показалось, с вызовом. Её шерсть была окружена лунным сиянием. С отвратительным хрустом нога надломилась, от боли я потерял сознание. Когда я очнулся, моя лапа со скрюченными когтями, вместе с капканом лежала в чёрном от крови снегу. Я не знаю, кто это сделал. Моя мать исчезла. Я хватал комья снега, пропитанного замёрзшей кровью, глотал их. После этого я отполз в сторону. Я был свободен!

Кто-то должен был первым подать голос, пернатый самец впервые в жизни подманивал самку, к нему присоединялись другие, небо светлело, становилось выше и шире, солнце зажгло верхушки елей, и вот уже вся тайга звенела и гомонила голосами птиц; наступила весна. Волк вышел на дорогу.

Он был уже не молод, но всё ещё красив, с большим серо-седым воротником вокруг шеи, темноватым седлом на передней части спины, с пушистым хвостом, сохранившим чёрные волоски вокруг кончика, знак его происхождения. Он стоял на трёх лапах, поджав культю левой передней ноги, и неподвижно смотрел в просвет узкой просеки. Волк отказался от дневной лёжки, чуял приближение лошади, слышал мерное хлопанье подков по непросохшей дороге и поскрипыванье колёс, чуял человека. Всё было известно и разведано, он должен был выбрать подходящую минуту. Он отбежал в сторону, навстречу ветру, чтобы не беспокоить ноздри лошади, следил из густого подлеска за тем, как человек в шапке лисьего меха и сам похожий на лису, с раскосыми глазами, с ружьём за спиной, проехал на подводе, сидя на мешках и упёршись в передок телеги полусогнутыми ногами. Это бывало нечасто, человек возвращался на заимку с поклажей и был в это время нетрезв. Волк нёсся большими прыжками по дороге, заслышав собачий лай, свернул в лес и появился с подветренной стороны. Дом в два окна с крылечком, крытый щепой, стоял под отлогой вырубкой по другую сторону ручья, рядом сарай и поленница под навесом. Волк брезгливо поглядывал на чётырехлапое существо, которое бегало, беснуясь, вдоль проволоки взад и вперёд от крыльца до сарая. Пёс не видел гостя. Волк улёгся в подлеске и ждал. Пёс успокоился.

Солнце медленно опускалось в дымно-лиловые облака, это предвещало назавтра пасмурный день. Волк дремал и в то же время бодрствовал. Вдруг собака вскочила и залилась лаем на своём диалекте, который пред-

ставлял собой испорченный язык волков. Собака предупреждала хозяина об опасности. Телега стояла перед домом, мужик удерживал дрожащую лошадь. Волк перебрался через ручей и стал на виду, поджав обрубок ноги. Человек вставил два пальца в рот и громко, протяжно свистнул. Собака рвалась с цепи. Волк поднял голову к темнеющим небесам и завыл, это было вступление.

«Здравствуй», — сказал он.

Человек ответил:

«Здорóво».

«Наконец-то мы увиделись».

«Цыц!» — прикрикнул хозяин, и пёс взвизгнул, умолк, стал рыть передними лапами землю, заметался на проволоке.

«Вон там, — продолжал волк и кивнул в сторону леса, — лежит мой брат, птицы выклевали ему глаза, его тело издаёт зловоние. Он попался в железные клещи. Это твоя работа».

Человек не отвечал, вскинул ружьё.

«Бей, бей его!» — завизжал пёс.

«Только попробуй», — сказал волк и широко открыл свои немигающие, тлеющие синим огнём глаза. Оружие выпало из рук человека, но он не уступал, угрюмо, не отводя глаз, смотрел на зверя.

«И вот это, — сказал волк, — твоя работа», — и поднял культю. Человек усмехнулся. Волк чувствовал, как ярость пса, точно жаркое дыхание, обдаёт его на расстоянии пятнадцати прыжков; он понимал диалект собак, но собака с трудом разбирала благородную речь предков. Волк не удостоил её взглядом.

«Пусти её. Она ни в чём не виновата», — сказал он, показав кивком на лошадь. Мужик швырнул вожжи на телегу, и лошадь помчалась прочь, гремя и скрипя колёсами.

«Что же мне с тобой делать, — проговорил волк задумчиво. — Загрызть твоего раба? Раскидать крышу на твоей халупе, растерзать кур, убить поросёнка? — Он покачал головой. — Не стоит труда».

Человек не двинулся с места, стоял как вкопанный. Пёс, звеня цепочкой, пробежал несколько шагов взад и вперёд, пролаял: «Не спорь с ним, не спорь с ним!»

«Видишь, он даёт тебе хороший совет. Я поклялся тебе отомстить. И вот теперь... — он по-прежнему, не мигая, смотрел на своего обидчика, — теперь думаю, как бы это сделать так, — волк скрипнул зубами, — чтобы ты почувствовал».

Он хотел сказать: чтобы ты понял. Чтобы знал, насколько мы, наша раса, превосходим всех вас, да, при всей вашей хитрости, вашей изобретательности, при вашем умении истреблять все, что стоит на вашем пути; да, чтобы ты почувствовал, и тогда я буду знать, для чего я жил. Он хотел это сказать, но получилось бы слишком многоречиво, он привык выражаться кратко. «Становись на колени, — захрипел волк, — проси прощения, сволочь!»

Собака проскулила: «Не спорь, делай что он велит!» Мужик не шевелился. Волк повторил свою команду. Так они стояли друг против друга, и человек еле заметно покачал головой — то ли отказывался подчиниться, то ли удивлялся. Волчьи глаза потускнели, он обвёл скучным взглядом избу, подводу, остановившуюся недалеко, охотника в лисьем треухе. Отбежав шагов на тридцать, зверь остановился и повернул голову. Мужик целился в него из ружья. Волк вздохнул и не спеша потрусил дальше. Эхо выстрела отозвалось в лесу.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ НИСАНА, ИЛИ ВПОЛНЕ ТРИВИАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

1. Любимый ученик

В апреле на лесных дорогах в Южном Тироле лежит снег. Машина едет, описывая длинные дуги, рычит мотор, и чем круче вверх ползёт дорога, тем выше отвалы снега вдоль обочин. На площадке в стороне от шоссе стоит каменный крестьянский дом, должно быть, воздвигнутый ещё при императрице Марии Терезии. Вылезаем. Над нашими головами, над лесом, высится и сверкает горный кряж. Такой ландшафт наводит на опасные мысли. Но, может быть, они-то и приближают нас к истине.

Сегодня *Gründonnerstag*, «зелёный четверг» — четвёртый день немецкой страстной недели, и разговор заходит о происшествии, случившемся в Палестине двадцать веков назад. В четверг, 6 апреля 30 года, по еврейскому календарю четырнадцатого авива, или нисана, бродячий пророк из Назарета готовится с учениками справить Песах, праздник в память выхода иудеев из Египта под предводительством Моисея. Для гостей приготовлена комната в богатом доме в Иерусалиме. Почему в богатом? Потому что, — говорит пастор Вильгельм Шмидт, — мнение, будто основатель христианства был нищим бродягой, ошибочно. Иисус происходил из знатного рода, был потомком царя Давида, получил основательное образование; став главой новой религиозной школы, пользовался покровительством влиятельных лиц и дам из высшего круга, многие из них были его тайными или явными сторонниками. Владелец дома счёл для себя честью оказать гостеприимство маленькой общине учеников во главе с учителем, и ритуальная трапеза в отведённой для этой цели просторной горнице должна была совершиться в неукоснительном соответствии с религиозным и бытовым этикетом.

Сколько человек было на Тайной Вечере? Считается, что у Христа было двенадцать учеников, священное число, равное числу колен Израиля. С другой стороны, ни одно из канонических евангелий не утверждает, что число учеников было постоянным; кроме поименованных в третьей главе Марка, был, например, Никодим, о котором сообщает Иоанн, был Иосиф Аримафейский, упоминаемый всеми евангелистами; а Лука говорит даже о семидесяти учениках. В рассказе о Тайной Вечере авторы синоптических евангелий употребляют выражение «Иисус и двенадцать», но не исключено, что в это количество входил и хозяин дома, и, возможно, кто-то из его родственников. Иоанн вообще не называет числа.

Зато он вводит фигуру, о которой другие не упоминают: особо предпочтённый, любимый ученик, лежащий на груди у Христа. Сцена погруже-

на в полумрак; мы не различаем присутствующих, за исключением трёх лиц: это учитель, возлюбленный ученик — считается, что это был сам Иоанн, и, наконец, Иуда, которого рабби избочливает как предателя.

Мы сидим за самоваром возле кафельной печи в старом крестьянском доме в тирольских Доломитах, где пастор Шмидт, протестантский теолог из Бремена, проводит большую часть года. Рядом с гостиной помещается рабочая комната, похожая на Studierzimmer доктора Фауста, на попире лежит огромная древняя Библия.

Но откуда известно, спрашивает пастор, что «любимый ученик» — Иоанн? Евангелие — это не только сообщение о том, что произошло, благая весть, или, попросту говоря, «хорошая новость», но и художественное произведение. В сцене предсмертной трапезы использован традиционный приём античной драматургии — конфликт двух протагонистов; свидетели играют роль хора. Третий персонаж здесь был бы излишним.

Как выглядел пасхальный ужин? На память приходят известные полотна, фреска Леонардо в трапезной Santa Maria delle grazie. Но сотрапезники не сидели, а возлежали вокруг стола. Об этом не забывают упомянуть и евангелисты, например, у Матфея сказано: «Он возлёт с двенадцатью учениками». Для лежания употреблялся триклиний, нечто вроде тройной кушетки с тремя подушками; левой рукой опирались на подушку, правой брали со стола пищу и кубки. Чтобы не мешать друг другу, все три ложа, составляющие триклиний, ставились углом к столу, так что голова второго гостя оказывалась на уровне груди первого, а голова третьего — напротив груди второго. Стол был квадратным. Теперь мы можем с большой долей вероятности сказать, сколько человек было за столом: двенадцать — по одному триклинию с каждой стороны. Иисус и хозяин дома — в их числе.

Далее происходит следующее: разломив хлеб и наполнив ритуальную чашу горьким напитком, учитель говорит, что за столом находится «сын погибели» — предатель. Праздничные застолья были, как уже сказано, строго регламентированы; на почётном месте возлежал главный гость, слева от него — второй по рангу и так далее. Первое место за столом хозяин отвёл для рабби. Следующим, «у груди Иисуса», как сказано в Четвёртом евангелии, — то есть на уровне его груди, — находился «один из учеников Его, которого любил Иисус». Место, следующее после любимого ученика, хозяин, возможно, оставил для себя. Но кто же был этот любимец?

...Он, прижав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.

Особо приближенным учеником мог быть только тот, кому давались наиболее ответственные поручения — к примеру, хранение кассы и заведывание бюджетом странствующей общины; он был старшим после учителя, почему и удостоился второго по рангу места за столом. Имя его, сказал Шмидт, нам известно. Человек этот был Иуда, лежавший у груди учителя и донёсший на своего учителя: Иуда родом из селения Кириаф-Иарим.

2. Подвиг Искарюта

Поговорим о предмете, который всем нам знаком, слишком хорошо знаком. Поговорим о предательстве.

Тема доноса, история тайного предательства введена в сюжет о казни Христа, составляет его необходимую часть, и евангелие клеймит предательство как самый страшный грех. Доносчик не в силах снести его тяжесть и, замученный необъяснимой тоской, убивает сам себя.

Мы, однако, выросли в обществе, где провокатор и предатель был такой же будничной фигурой, как парикмахер или почтальон. Где доносительство было частью повседневной жизни, где не существовало ни одного рабочего коллектива, ни одной социальной ячейки, ни одного дружеского кружка, в котором рано или поздно не появился бы стукач. Предательство встречало нас на пороге сознательной жизни, измена сидела с нами за одним столом, смотрела нам в глаза и клялась в дружбе, и вела с нами доверительные беседы, и не оставляла нас даже по ту сторону жизни — в тюрьме и лагере. Предательство стало своего рода сублимацией страха, но было бы неправдой сказать, что страх оставался его единственным стимулом, ибо оно было и спортом, и профессией, и способом зарабатывать на жизнь, и жизненным призванием. Короче, мы жили в стране доносчиков.

Люди, побывавшие в заключении, убеждались в том, что не было ни одного дела, за которым не стоял бы доноситель, более или менее засекреченный, более или менее очевидный, и сидя в переполненных камерах, в битком набитых столюпинских вагонах, на пересылках и карантинных лагпунктах, куда шли и шли этапы, текли и текли всё новые партии осуждённых, спрашивали себя: сколько же стукачей в этом государстве?

Они спрашивали себя, сколько «оперативных уполномоченных» трудилось в этом обществе, — ведь не существовало ни одной государственной организации и ни одного учреждения, где в комнате за двойной дверью без вывески, в тишине и тайне, не сидел бы этот уполномоченный, насаждавший предательство.

Если бы (как в бывшей ГДР) растворились железные ворота и открылись архивы, — если бы стали известны не только «следственные», но и «оперативные» дела, — обнаружилась бы картина тотального пропитывания общества и народа особого рода фиксирующей жидкостью, и тогда бы мы поняли, почему преступление Искарюта перестало считаться здесь чем-то выходящим из ряда вон. Это было общество, отравленное дыханием лагерей и загниотизированное Органами, чьи возможности и прерогативы никому не были в точности известны и оттого казались безграничными.

Могут возразить, что всё это — вчерашний день, который никого больше не интересует; я отвечаю, что мы все наследники этого общества и что нельзя говорить о демократии там, где существует тайная политическая полиция, а она всё ещё существует. Мне скажут, что я демонизирую деятельность этой полиции, которая, в конце концов — всего лишь канцелярия. Но не нужно быть фантазёром, чтобы понять, что повсеместное присутствие органов безопасности было не чем иным, как повсеместным

присутствием доносчиков. Скажут, что «органы» в этой стране бессмертны наподобие органов размножения, продуцирующих зародышевую плазму, — и я ничего не смогу на это ответить. Если то и дело настаивает мысль, что эта страна в каком-то общем смысле безнадежна, то отчасти потому, что органы бессмертны.

В романе Набокова тюремщик вальсирует с арестантом. Могущество Органов состояло в том, что они всегда или почти всегда могли рассчитывать на готовность сотрудничать. Это было общество, сформированное тайной полицией, и общество, питавшее тайную полицию. Паразитический организм, проникший во все системы социального организма, сросся с ним настолько, что государство было не в состоянии функционировать без него, и в этом заключалось оправдание непрекращающихся криков о бдительности. Скульптору Мухиной следовало бы изобразить в качестве аллегорий, олицетворяющих государственный строй, не рабочего с молотом и колхозницу с серпом, а оперативного уполномоченного и сексота с их инструментами — мечом и пером.

Масштабы деятельности восточногерманской Staatssicherheit, в чьи картотеки было занесено практически всё взрослое население ГДР, дают представление о старшем брате, как открытка с репродукцией классического полотна позволяет судить об оригинале. Если бы вскрылись архивы и были обнародованы списки осведомителей, мы ужаснулись бы не только их количеству, мы увидели бы там имена многих известных людей. Возмездие? Но трудно представить себе, как можно было бы его осуществить. В обществе, где порядочность была исключением, а подлость — нормой поведения, правосудие, даже если бы оно ограничилось чисто моральными санкциями, столкнулось бы с безвыходной и безнадежной ситуацией.

3. Процесс

В двадцатые годы был в ходу медико-социологический термин *surphilsation de la société*. То было время широкого распространения сифилитической инфекции в странах Европы. Под «сифилизацией общества» подразумевалась мера заражённости населения. Специалисты знают, что сифилис — хроническое многолетнее заболевание, проявления которого весьма различны. Существуют открытые, манифестные формы с признаками активного процесса; существуют формы, когда болезнь протекает скрыто и лишь время от времени даёт знать о себе; наконец, встречаются пациенты, которые выглядят совершенно здоровыми людьми. Лишь положительная реакция Вассермана сигнализирует о некогда имевшем место заражении, о том, что возбудитель всё ещё прячется в организме.

Среди нас были люди, чья причастность к органам не вызывала сомнений: так сказать, манифестные больные. Были такие, о которых трудно было сказать наверняка — то ли да, то ли нет. И были люди, — сколько их живёт между нами по сей день, — производившие впечатление здоровых. Какой-нибудь жрец науки, популярный режиссёр, увенчанный лаврами живописец или маститый литератор с благородной внешностью, с

трубкой в зубах, в бороде патриота, критик западной бездуховности, христианин и ратоборец возвращения к корням. Но в крови у него — четыре креста Вассермана.

Я вспомнил времена нашей юности, послевоенную Москву, филологический факультет университета. Перед домом на Моховой и сейчас стоят фигуры Герцена и Огарёва. Московский университет, мать-кормилица, отчизна духа, усыпальница русской свободы! Чьё сердце не забьётся при одном этом звуке... На этом университете стоит чёрное пятно. Мне вспоминаются мои товарищи, однокашники, с упоением занимавшиеся так называемой общественной работой, члены всевозможных бюро и секретари комитетов; люди, которые впоследствии сделали литературными функционерами, а в те годы бодро шагали вверх по общественно-политической, учёной и должностной лестнице. Редко какая карьера была возможна без специфических услуг, оказанных Органам, или хотя бы без согласования с Органам, без их молчаливого кивка.

Бывшие студенты помнят покойного Романа Михайловича Самарина, видного специалиста по западноевропейским литературам; молодёжь сбегалась на его лекции. Много позже и, кажется, уже после его смерти стало известно, что он был долголетним платным осведомителем тогдашнего МГБ. Весной 1950 года я встретил в Бутырках другого профессора, историка Древнего Востока. В этот день заключённых из нескольких политических тюрем свозили для объявления приговора Особого совещания. Выглядело это довольно прозаически, каждого по отдельности вводили в комнату, где сидел человек плюгавого вида в мундире без погон; он протягивал листок с уведомлением о том, что вам впамяти такой-то срок. Полагалось расписаться, после чего вас вталкивали в общую камеру. Профессор сидел в углу, опустив голову. Я сказал: «Когда-то я сдавал вам экзамен и получил тройку». Он спросил: «А сколько вы получили на этом экзамене?» Не знаю, кто заложил профессора-востоковеда, Самарин или другой коллега, сейчас это уже не имеет значения.

Как давно это было! Нас было четверо, вернее, вначале нас было трое. Мы были компанией из трёх друзей, и когда летом сорок восьмого года один из членов этой компании, начинающий поэт по имени Сёма, исчез, мы остались вдвоём и думали, что и нас вот-вот арестуют. Мы приняли меры: мой приятель, тоже поэт, уничтожил творения своей музыки, впрочем, аполитичной; я помню, как мы ходили вечером по московским переулкам, рвали тетрадки со стихами и бросали в урны. Я утопил в уборной дневник, где говорилось о том, что в нашей стране фашистский режим. Но прошли недели, потом месяцы. О нас как будто забыли. Около этого времени мы познакомились с ещё одним мальчиком, Севой Колесниковым, студентом Военного института иностранных языков. Он знал нашего сгинувшего товарища, был его закадычным другом с детских лет; память о Сёме сблизила нас.

Роман Франца Кафки «Процесс», вероятно, нигде не воспринимался так, как в России, где он кажется вполне реалистическим произведением. Есть что-то знакомое в рассказе о том, как некая секретная канцелярия затевает дело против человека, который сперва об этом даже не подозревает.

Содержание процесса не оглашается, суть его неизвестна. Да и неважно, в чём его суть, ибо, строго говоря, невиновных нет и на месте подследственно-го может оказаться любой и каждый. Вопрос лишь в очерёдности: даже такое могущественное учреждение, как разместившийся на чердаке огромного дома тайный суд, не может оформить сразу все дела. Но процесс идёт, бумаги движутся по инстанциям, визируются, подписываются, к ним подшивают новые; жертва живёт обыкновенной жизнью, а процесс идёт. Ни обвиняемый не видит чиновников, ни они его, для судей он просто папка, которую носят из кабинета в кабинет... Но сколько бы ни тянулась бумажная волокита, финал неизбежен. Последняя подпись, печать. Папка закладывается. И тогда за осуждённым приходят палачи и увозят его прочь из города.

История была до смешного проста: Сева посадил своего друга, теперь он был посажен к нам. Об этом можно было бы догадаться, будь мы немного старше.

4. Скушать рыбку. Закон

Сева учился в закрытом учебном заведении, где на занятиях ходили в форме, а в другое время разрешалось носить штатское. Сева всегда являлся в костюме с иголочкой. Мы же ходили в отстрепьях, на занятиях в университете я сидел в отцовской железнодорожной шинели, не решаясь раздеться. Сева был всегда при деньгах и щедро угощал нас. Он был весел, остроумен, неистощим на выдумки. Наша дружба крепла. Единственная странность в его поведении была та, что он никогда не приглашал к себе в гости. Он жил в красивом доме на улице Чехова. Однажды я зашёл за ним. Меня не позвали в комнаты, я стоял в прихожей; это была большая отдельная квартира — по тем временам неслыханная роскошь. Отец Севы был «сотрудником», о чём, разумеется, мы узнали много позже. Просто смешно, как всё было просто.

В ночь, когда я был доставлен в подвалы главного здания на площади Дзержинского, в боксе-отстойнике метра на полтора, уже наголо стриженный под машинку, без цуговиц, без шнурков, без брючного ремня, увидев на протянутой мне квитанции об изъятии личных вещей штамп Внутренней тюрьмы и поняв, наконец, где я нахожусь, я прислушивался к движению в коридоре и вдруг услышал, как вертухай спросил о чём-то вполголоса человека, которого только что привезли; тот ответил: «Да». Я чуть не рассмеялся, узнав голос моего товарища, меня охватила нелепая радость, и, чтобы дать знать о себе, я засвистал мотив дурацкой песни, ходившей у нас: «Или рыбку съесть...»

Итак, задача сводилась к тому, чтобы на последующих допросах не выдать Севу, последнего из нас, кто остался на воле. Но оказалось, что никаких особых стараний к тому, чтобы выгородить Севу и спасти его от ареста, не требуется. Следователь не интересовался Севой. Он даже не вспоминал о нём.

Тогда ещё меня поражало сочетание мрачной торжественности, гробовой тишины и тайны, царившей в этих учреждениях, с тоскливой прозой бюрократического бумагописания, с согбенной спиной следователя-лейтенанта, закутанного в шинель (зимой в кабинете открывалось окно, чтобы подследственный мог основательно промерзнуть). Хитрый и лживый, но малограмотный, он долгими часами уныло скрипел пером. Но канцелярия государственной безопасности и не могла быть иной. Было бы неестественно, если бы там трудились люди, способные к разумной, маломальски осмысленной деятельности.

Лейтенант прекрасно знал наш факультет и хвастался этим, называя всех моих знакомых. Но о ближайшем друге, постоянном участнике наших крамольных дискуссий, не обмолвился за всё время следствия ни единым словом. Нужно было оказаться совершенным идиотом, чтобы не догадаться, кому был обязан своей осведомлённостью человек в золотых погонах, крестьянский сын, говоривший о себе так: «Мы, разведка».

Существует (или существовала) статья 206 уголовно-процессуального кодекса, по которой арестованный после окончания следствия должен быть ознакомлен с содержанием дела. Органы соблюдали законность — так, как они её понимали; другими словами, исполняли законы, которые сами же придумали. Собственная полицейская юриспруденция наподобие собственной автономной электростанции. Задаёшь себе вопрос, зачем это им было нужно. Ведь судьба арестованного была решена задолго до ареста, и, принимая во внимание основную задачу — поставку рабочей силы для лагерей, — можно было без ущерба для дела похерить вместе с судом и всю долгую канитель мнимого следствия. Но тогда когорта следователей и этажи начальств остались бы без работы. И вообще это уже другая тема. Один раз в жизни мне довелось поддержать в руках — правда, всего лишь на несколько минут — пухлую папку толщиной, если не ошибаюсь, в двести страниц.

В те немногие годы, когда либеральная общественность ещё интересовалась этими предметами, а Органы пребывали в растерянности, журнал «Огонёк» опубликовал фрагменты следственного дела Исаака Бабея. Самое впечатляющее в этом досье — его рутинность. Тот же стиль, тот же словарь, то же соединение идиотической старательности с оглушительным невежеством, тот же ужасающий русский язык, которым написаны бумаги и в моём деле. И до смешного похожие обвинения. Но есть же разница, скажут мне, между желторотым студентом и знаменитым писателем. В том-то и дело, что никакой разницы не было. И времени для этих тупиц как будто не существовало. Шли годы и десятилетия, контора меняла свои вывески, Ягоду сменил Ежов, Ежова сверг Берия, прогремела война, ушли в забвение фантастические процессы тридцатых годов. А равномерно постукивающий, шелестящий трансмиссиями, перемалывающий кости и судьбы механизм так и постукивал; ничего не изменилось, разве только стало яснее, что вместо того, чтобы просто, выстрелом в затылок убивать в подвалах, целесообразней отправлять людей в лагеря, потому что без лагерей и дарового лагерного труда не только не доберёшься до светлых вершин, но и социализма

не построишь. Годы шли, а порядок работы оставался прежним, и моё вполне заурядное дело поразительным, неправдоподобным образом напоминало дело Бабея. Кто же стучал на Бабея?

5. Философия прогулочных дворов

Выйдя из-за стола, над которым висел портрет Железного Феликса, следователь пересёк кабинет и положил на крошечный столик в противоположном углу, где полагалось сидеть из соображений безопасности арестанту, папку с делом. Он стоял рядом, поглядывая на часы. Это и называлось — двести шестая статья.

Долго читать не было времени, главное, я должен был расписаться в том, что «с делом ознакомлен», хотя, опять же, кому и зачем нужна была эта подпись? Кое-что, впрочем, удалось увидеть.

После всяких мелких бумажек, постановления об аресте и проч. шли свидетельские показания. Очевидно, что там, где ликвидирована судебная процедура, лишается смысла и понятие свидетельства. Но порядок есть порядок. Под показаниями стояли подписи двух студентов, учившихся вместе со мной на классическом отделении филологического факультета. Это были одна девушка и один парень, бывший фронтовик. Показания были получены в глубокой тайне за десять дней до ареста. Показания были сравнительно безобидны: например, говорилось, что я клеветал на советские профсоюзы. Кроме того, где-то в середине папки мне попало заявление одной студентки, сообщавшей, что я — еврейский националист. Свидетели были моими друзьями, а студентка, написавшая заявление, — одноклассницей моей сестры. Пожалуй, она была единственной, кто действовал не только из страха, но и по убеждению; она была истой комсомолкой и общественницей. То было время знаменитой кампании борьбы с космополитизмом, государственный антисемитизм полыхал на страницах газет. Врага следовало обрядить в модную одежду.

Можно предположить, что у обоих свидетелей был биографический изъян, которым воспользовались для угроз: девушка была еврейкой или полуеврейкой и, судя по всему, происходила из неблагополучной семьи; парень носил немецкую фамилию, имел немецкое отчество, хотя говорил, что его отец эстонец.

Могли ли эти свидетели что-нибудь сделать, допустим, предупредить тех, на кого они показывали, что им грозит арест? Но им разъяснили, что «следствию всё известно» и если они не хотят помочь разоблачению врагов народа, значит, они их пособники. С них взяли подписку о неразглашении. Свидетелями правил страх. Они могли маскировать его перед самими собой, сказав себе: кто его знает, может, дело куда серьёзнее, чем мы думаем; Органам виднее. В конце концов, нет дыма без огня. Они могли сказать себе: что изменится от этих показаний? А если я откажусь, меня арестуют. И что изменится, если я их предупрежу? Эти двое всё равно пропали.

Нечего и говорить о том, что «свидетельские показания» в этих делах — не более чем декорация. Истинным сырьём для этой промышленно-

сти служит то, что ещё в прошлом веке (не будем забывать о том, что наше отечество — страна с прочными традициями политического сыска) получило название агентурных сведений. Эти сведения предопределяют всё дальнейшее. Краеугольный камень дознания — донос. Но имена провокаторов не подлежат оглашению даже в таком сугубо секретном документе, как следственное дело. Доносы в дело не подшиваются. Они — принадлежность другого досье, так называемого оперативного дела, 206-я статья на него не распространяется. Не может быть и намёка на существование оперативных дел. О них ничего не говорилось даже в самых смелых публикациях начала 90-х годов. То, что удалось частично разоблачить, что показывали журналистам и родственникам погибших, — были только следственные дела. Вот почему никто так и не узнал, кто погубил Бабея.

Имя Всеволода Колесникова в моём деле отсутствовало. Севы как бы вовсе не существовало, и предполагалось, что я вёл антисоветские разговоры и клеветал на «одного из руководителей Советского государства» не с Севой и не в его присутствии, а с кем-то другим или с самим собою. «Следствие стало известно, что...». Предполагалось, что, избличённый, я в своих преступлениях созная сам.

Летопись тайной полиции не написана. И не будет написана, ибо мы не располагаем метаязыком, который позволил бы нам, находясь внутри полицейской цивилизации, взглянуть на неё извне. Мы все питомцы этой цивилизации и говорим её языком, и пишем её слогом. И всё же мы поняли кое-что. Можно даже сказать, что мы догадались о главном свойстве тайной полиции, а именно, что она всегда больше самой себя. Как опара, она выплётся за края сосуда. Пусть она возникает как учреждение с ограниченной компетенцией, как «служба», — её природа состоит в том, что она перерастает себя. Тогда она начинает бояться самой себя. Она смотрит на себя снизу вверх, говорит о себе заискивающе, в третьем лице.

Подобно церкви, всегда проводившей границу между своей исторической оболочкой и сакральной сущностью, между слабостями и ошибками иерархов и верховной волей, которая их осеняет, тайная полиция не потеряла ущерба от того, что её служилый контингент составляли подонки общества. Её всеилия не убавилось, когда она стала рекрутироваться из бездарных, невежественных и, как можно догадываться, ни на что другое не годных людей. Напротив, это укрепило её могущество, ибо отвечало её миссии. Ведь она должна была стать эталоном для общества и пересоздать общество по своему образу и подобию. Низвести всех до своего уровня — вот в чём было её предназначение. Разлить всех, от младенцев до старцев, упразднить личность как нечто архаичное, устарелое, путающееся под сапогами; покончить с достоинством человека, этой химерой, внушить ему презрение к самому себе, довести до сознания любого и каждого, что он ничего не стоит, ничего не может, что он — мразь, плевок, который будет растёт. Убедить всех и каждого, что зло — это добро, а добро не что иное, как зло, и что преступником можно сделать любого. Стоит только мигнуть — предателем станет каждый.

Низвести всех до собственного уровня. В этом состояла сверхзадача, это и значило создать общество будущего и выковать нового человека. И если, как утверждают, отцы-основатели не вполне сознавали это, то тем хуже для отцов; впрочем, им повезло, что они не дожили до той ночи, когда машина втянула в себя и перемолола бы их самих; пущенная однажды в ход, она работала по собственным законам. В конце концов и сам творец нашего государства, останься он жив, был бы разоблачён и казнён как враг народа, продавшийся зарубежным разведкам ещё на первом съезде РСДРП. Если ни одно из «дел» не отвечало действительности, то тем хуже для тех, кто был перемолот, тем хуже для «действительности», — да и что в самом деле значило это слово? Её критерии учредила всё та же тайная служба.

Я сравнил её с церковью; не правильной ли будет сказать, что тайная полиция — это и есть церковь. Церковь, которая пасёт железным посохом своё стадо, церковь со своим писанием и преданием, со своей мифологией и демонологией, с легендами о подвижниках, с рассказами о ведьмах, оборотнях, вредителях, диверсантах, врачах-убийцах. Церковь со своими таинствами, со своей иерархией, церковь шизофренного божества, отменившая все другие религии.

Тот, кто шагал парами друг за другом по прогулочному двору, на крыше главного здания госбезопасности, не видел города, а только стены и сторожевые вышки внутри стен, и даже не всегда догадывался, что внизу — площадь, постамент с Железным Феликсом, автомобили, пешеходы, всё то, что он считал жизнью и что теперь оказалось призраком жизни; он видел над собою небо и нечто подобное тёмному облаку — приближение истины.

Не зная истины, он уже дышал ею.

1993

ГДЕ ТЫ БЫЛА, КИСКА

Сие творите в моё воспоминание.

От Луки, 22, 19

I

Завтра Рождество. Осёл, потерявший трудоспособность, уныло бредёт по пыльной дороге. Социального страхования не существует, пенсий не платят, он надеется поправить свои дела в славном городе Бремене. По пути к ослу присоединяются безработный пёс и кот — на старости лет его выгнали из дому за то, что он не ловит мышей. Четвёртый спутник — петух, ему и вовсе терять нечего, хозяйка задумала сварить из него суп. Детский благотворительный концерт во дворце Бельвю, резиденции федерального президента в Берлине. Музыка Старого Фрица — короля Фридриха Великого. Выступают артисты с чтением сказок братьев Гримм. «Бременских музыкантов» читает президент. Он читает очень хорошо.

Вся двенадцативековая история вольного ганзейского города померкла в лучах всемирной славы, которую принесли ему четыре товарища по несчастью. На соборной площади в Бремене стоит памятник ослу, собаке, коту и петуху. Посреди Старого города мемориальная доска извещает о том, что на этом месте были найдены кости «того самого осла». Но все знают, что музыканты так и не добрались до Бремена.

II

Завтра Рождество, сияют шестиугольные звёзды, еврейская чета ищет ночлега, жена вот-вот родит. Вторые сутки идёт снег. Завалило базар Христа-дитяти, завалило город и чуть ли не всю страну, самолёты не взлетают, на автостадах остановилось движение, люди из Автомобильного клуба развозят горячий суп и одеяла застрявшим в пути. Темнеет, с сиреневых небес по-прежнему сыплет снег. В пригородной электричке подросток с проводами в ушах слушает плейер, наверняка какую-нибудь дребедень. На полу в проходе лежит его сумка-саквояж из непромокаемой ткани, на коленях рюкзачок, поезд идёт в аэропорт. Поезд опаздывает. Где-то впереди чистят путь. Я поглядываю на подростка, он заметил это и косится в мою сторону. Старая привычка: я стараюсь представить себе жизнь случайного визави, сочиняю ему биографию или несколько биографий на выбор. Куртка застёгнута направо, но овал лица слишком нежен. Чересчур независимая ми-на. Из-под вязаной шапки свисают пряди волос. Оказывается, это девушка.

Первое в жизни самостоятельное путешествие — или, может быть, бегство? Через пятьдесят лет, когда от всех нас не останется воспоминаний, девочка будет дородной пожилой дамой в одеянии, которое мы не в состоянии вообразить. А может быть, пропадёт без вести, никогда не вернётся из этой поездки, и никто не будет знать, куда она делась. Я выхожу на ближайшей остановке, мне не нужен аэропорт.

III

Тут не совсем кстати приходит на память случай в другом аэропорту, за тысячу вёрст от нас, — об этом происшествии я написал целую повесть с загадочным криминальным сюжетом и теперь могу открыть тайну, так как отдел прозы зарубил моё сочинение. Вам не случалось посылать рукопись в столичный журнал, ждать долгие месяцы ответа, наконец, набравшись отваги, позвонить и узнать, что ваше изделие уже давно вкушает мир в редакционной корзине?

Таков невинный смысл этой метафоры: *зарубили*. Она, однако, воскрешает образы казацкой Сечи, легендарной Конармии. Вислые усы Тараса Бульбы, величайшие по длине и пушистости усы маршала Будённого. И, конечно, образы уголовного мира: например, я хорошо помню, как в вечерних сумерках, в лютый мороз, зарубили именитого вора Лёху Ташкентского на крыльце лагерной столовой. Топором, который таинственным образом удалось пронести в зону, и красный лёд покрыл ступеньки.

IV

Кстати, упоминание об уголовном мире нам тоже пригодится.

V

Повесть моя начиналась с того, что некто сходит с самолёта, позади долгий путь. Там, над океаном, где солнце поднималось из-за полога ночи с необыкновенной быстротой, каждая минута поглощала огромные расстояния. Здесь уходит час на то, чтобы передвинуться на несколько шагов. Пассажиры стоят в очереди перед паспортным контролем. Старинные рефлексы оживают, пришелец из прошлого ждёт подвоха. Задержат, арестуют; его имя в чёрном списке. Его «дело» хранится где-то и ждёт своего часа. Но всё обошлось. Он выходит с чемоданом в город, приезжего осаждают таксисты. Более или менее благополучное прибытие на квартиру, снятую заранее. Из дальнейшего становится ясно, что он успел позаботиться и кое о чём другом.

VI

По законам, одинаковым для карточной игры и детективного жанра, козыри не сразу выкладываются на стол: когда на другой день приезжий ведёт переговоры по телефону, мы всё ещё не понимаем, что за дела привели его в город.

С кем-то о чём-то договорились, далее — прогулка по городу, первые впечатления, смешанное чувство узнавания и отталкивания; через две-три страницы он попадает в квартиру, похожую на антикварный магазин. Беседа за коньячком. Хозяин, писатель почвенно-исторических романов и ценитель патриотической старины, успешно торгует романами и сувенирами. Попутно занят ещё каким-то бизнесом — каким же? В обмен на пачку «зелёных» заокеанский гость получает от хозяина предмет, о назначении которого пока ещё ничего не говорится. Путешественник возвращается к себе, в пыльном солнечном луче, бьющем в просвет нестиранных гардин, валяется на тряпичном ложе. Мы понимаем, что он приехал осуществить давнишнее намерение, однако медлит.

VII

Начекается, так сказать, идейно-концептуальная сторона рассказа — приезжий поработён памятью. Память ревнива и отстаивает свои права. Память сопротивляется увиденному.

Книга прошлого не подлежит редактированию; прошлое вечно, настоящее мимолётно. Настоящее представляется чем-то ненастоящим. Гость брезгливо взирает на грозного маршала, который осадил каменного жеребца перед зданием Исторического музея. Славный скульптор плохо знал повадки лошадей: хвост всё ещё развевается, хотя конь стоит на месте.

Дорогостоящая безвкусица вновь отстроеного, тяжеловесного собора внушает неуместное чувство. Золотые орлы, кресты, сверкающая новизной старина — город помолодел какой-то старческой молодостью. Подлинная история репрессирована, прошлое преобразилось в оперно-благообразный кич.

VIII

Нелепо пересказывать собственное сочинение, но раз уж не удалось ошастливать публику...

Мелкие эпизоды, отвлекающие манёвры оттягивают кульминацию — тактика, напоминающая акт любви. Гость посетил старую знакомую, героиню юношеского романа. Постарела, но всё ещё хороша. Чем занимается, неизвестно. Оказалось, что она ничего не помнит; у неё своя жизнь, разговаривать не о чём. Гость сходил в Третьяковскую галерею. Там другая неожиданность: налог на иностранцев, двойная плата за вход. Поездка на Востряковское кладбище, и, хочешь не хочешь, достопримечательность, о которой заговорили за границей: роскошный некрополь уголовных бонз. Аллея мраморов, золочёные надписи, чудовищные стихи, портреты бандюг, высеченные в камне во весь рост. Ни один из обитателей посмертного паноптикума не дожил до пожилых лет.

Приезжий становится зрителем торжественных похорон; конная милиция отгеснила толпу зевак. Шествие священнослужителей, родичей, соратников и слуг. Грузовик с саркофагом, нос и руки в цветах, — пал в раз-

борке; оркестр, речи, дым паникадил и древнеболгарские словеса. Салют из новейшего автоматического оружия, после чего компания отправляется в бронированных лимузинах на погребальный пир. Сливки общества, новый класс.

IX

Но вот, наконец, он катит за город, выясняется мало-помалу цель полёта через океан.

За каменными стенами, под охраной телекамер и волкодавов, в виллах-дворцах — смесь кукольного средневековья с третьеразрядным модерном — обитают хозяйева новой Москвы. Отсюда, как павшие воители в Валгаллу, они переселяются в востряковский некрополь.

Здесь проживает Сергей Иванович, главное (как выясняется) действующее лицо рассказа. Такси разворачивается и уезжает, страж из отряда приматов пропускает старинного друга без особой проверки. Приехал, стало быть, повидаться. Роскошная обстановка и радушная встреча. Камердинер вкатывает на колёсиках столик с яствами и напитками. Бойцы вспоминают минувшие дни, дом на Мховой, лестницу и балюстраду, гипсовые монументы вождей — место встреч. Сергей Иванович — тогда он был Серёжей — приходил к другу в университет.

X

Центральный мотив обвинения, предъявленного наутро после ночи ареста, — клевета на «одного из руководителей партии и государства», так именуется Тот, чьё имя, как имя Бога у евреев, здесь не полагалось произносить. Вопрос о виновности есть вопрос языка. Если то, что известно всякому и происходит на самом деле, называется клеветой, значит, это и есть клевета. Если разговор вдвоём именуется агитацией и пропагандой — значит, это пропаганда. Вдвоём — с кем? Показания дала свидетельница, допрошена за десять дней до ареста, с подпиской о неразглашении. Та самая подруга-однокурсница, которую приезжий навещал накануне визита к Сергею Ивановичу. Но она не присутствовала при разговорах друзей. Следователь-лейтенант сыплет именами сокурсников, приятелей, знакомых — лишь о Серёже ни слова. Его как будто не существовало. Следователь выдал Серёжу.

XI

Прояснились некоторые обстоятельства. Серёжа был студентом заведения, эвфемистически называемого Военным Институтом Иностранных Языков. Институт готовил отнюдь не лингвистов. Серёжа был мальчиком из богатого дома, приходил в новом, с иголки костюме, был всегда при деньгах и щедро угощал друга. Серёжа был сыном «сотрудника» и сам стал сотрудником; не это ли помогло ему в новых обстоятельствах стать новым рус-

ским? Повесть украшает эпитафия из Евангелия: *Сие творите в моё воспоминание*. Мы начинаем догадываться, ради чего, как тень Банко, явился к нему товарищ юности.

Нечто невероятное должно, по замыслу автора, ошеломить читателя: гость вынимает из-за пазухи пистолет. (Купил, ясное дело, у исторического писателя.) Навинчивает глушитель, наводит пушку на Сергея Ивановича.

XII

Преступник прицелился, потом отвёл дуло в сторону, выстрелил. Снова навёл пистолет, теперь, наверное, прикончит свою жертву; опять в сторону. Зачем понадобился этот спектакль? Между тем хозяин успел нажать на тайную кнопку, вваливаются громилы-телохранители. Гость лежит ничком на полу со связанными руками. Сергей Иванович осматривает трофей: 9-миллиметровый «макаров», несколько устарелый, но, в общем, пистолет как пистолет.

Бывшего друга выводят, заталкивают в машину, справа и слева сидят провожатые. Так некогда он был доставлен ночью в цитадель на площади Дзержинского. Привозят на квартиру, быстренько собирают вещи. Снова ад Садового кольца, пылающее варевом машин на площади Белорусского вокзала. Город смерти, думает турист, долина Иосафата.

Экипаж несётся, попирая законы движения. «У нас бы за такую езду...» — бормочет пассажир. «То у вас, — отвечают ему, — а то у нас». Ленинградское шоссе, плакаты на полурусском языке. Девицы на обочине, на каблучках, машут ручкой, в юбочках, прикрывающих трусики и раздвоенный цветок Венеры, как поэтически выразился Апулей.

XIII

Регистрация в здании аэровокзала. Мы так и не узнали, как зовут туриста. У приезжего нет имени, он никто. До отлёта осталось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы втолкнуть его в служебный сортир, щёлкнуть задвижкой изнутри и, не медля и не спеша, проучить со знанием дела. Приказ Сергея Ивановича? Если да, то подразумеваемый; ибо сам Серёжа, оправившись от испуга и недоумения, там, перед столиком с питьями и яствами, не произнёс ни слова.

Впредь будет неповадно. Покончив с расправой, привести в чувство, почистить костюм и проводить на посадку. Счастливого пути! Спрашивается, зачем было соваться с этим сочинением в столичный журнал.

XIV

Но ещё не конец: за финальной сценой в аэропорту следует изобретение автора — круглый стол действующих лиц. По очереди высказываются писатель патриотических романов, бывшая пассия американского гостя и бизнесмен Сергей Иванович.

Все трое не допускают и мысли, что повесть — всего лишь плод фантазии сочинителя. Ведь думать так значило бы признать, что их не существует. Персонажи предъявляют автору обоснованные претензии. Так, например, Сергей Иванович справедливо указывает, что ничего бы не изменилось, если бы он тогда отказался сотрудничать с Органами: нашли бы другого. А самому Серёже пришлось бы солоно. Сергей Иванович говорит, что ему не в чем себя упрекнуть: он сообщал правду. Приятель, в самом деле, издевался над отцом народов, высказывал подрывные мысли, говорил вещи, за которые, подчёркивает Сергей Иванович, в любом государстве не поглядят по головке. И, наконец, легко сейчас становиться в позу обиженного и обвиняющего; а вот как бы вы сами вели себя в те времена. И вообще: чего вспоминать; было и былём поросло.

У женщины есть своя версия. Да, она сперва даже не узнала гостя: столько лет пролетело. Но постепенно всё припомнилось. Их было трое, в том, что случилось, виновата, в сущности, она. Оба были по уши влюблены, с обоими она кокетничала, разжигала соперничество и вражду. И вот результат: Серёжа стучал на друга из ревности.

Третьим выступает писатель или кто он там. Всё это гнусная клевета. Он отродясь не занимался тайной торговлей оружием. А главное, из повести ясно, как дважды два, что герой — это сам автор и этому автору всё в нашей стране не нравится. Ну, и пускай катится ко всем чертям.

XV

Диалектика! В каждом утверждении заключено отрицание. На каждый вопрос есть два противоположных ответа. Каждый из нас прав и неправ. Убедившись, что вещь не пойдёт, я присочинил к ней ещё один текст — ответ автору из редакции.

Разумеется, чистая фантазия: никто никогда никому не отвечает.

...И в переписку по их поводу не вступает.

Уведомление на обложке отечественных литературных журналов. В переводе на нормальный язык: идите вы все, знаете куда.

Предположим, однако, что автору, в виде особого исключения, присылают ответ: пишет заместительница главного редактора. Кратко — о литературных недочётах, плохой язык, советуем учиться у классиков, и так далее. Но не в этом суть. Речь идёт об идейном и гражданском содержании повести. Да, известно немало произведений, где реальность показана глазами отрицательного героя. Право писателя — избрать любую условную точку зрения. Беда в том, что в данном случае это не условная, а собственная точка зрения автора: он разделяет чувства своего героя, согласен с его оценками, а мы с ними согласиться не можем.

В самом деле. Эмигрант возвращается в город своего детства, своей юности, и что же он видит? Грязные дворы, нищих, уличных проституток,

езду против правил. Его окружают подозрительные типы, какой-то псевдописатель, бывшая подруга — дама сомнительной репутации. Взглянув мельком на монумент маршала Жукова, он кривит губы, зато памятники бандитам привлекли его особое внимание

Всё новое, всё, чем украшается сейчас наша столица, размах строительства — вызывает у него злобу и насмешку. Обретение духовности, возвращение нашего народа к корням, к вере отцов, — автор видит в этом всего лишь декорации.

XVI

Тут (продолжает заместительница) мы подходим к главной теме. Сюжет основан на том, что герой приезжает не просто так, не для того, чтобы повидать родину, поклониться могилам близких, нет. Он собрался отомстить человеку, который, как он считает, посадил его когда-то в тюрьму. Что хочет сказать этим автор? Идея совершенно ясна. Раз государство не наказывает так называемых преступников, мы должны сделать это сами, должники рассчитаться с «советским прошлым».

Нам уже доводилось слышать таких геростратов, готовых перечеркнуть всю историю советских лет, обмазать дёгтем наше прошлое. Внушить молодёжи, что ничего, кроме лагерей и тюрем, в нём не было. Да, были и тюрьмы, и лагеря, надо только как следует разобраться, кто там находился. Но главное — были великие социальные преобразования, была индустриализация, обеспечившая нам независимость и победу в войне. Был энтузиазм, была самоотверженность и вера в великие идеалы. Была, наконец, великая культура и самая гуманистическая в мире литература. Вы (пишет она) призываете к мести, вы сеете вражду, понимаете ли вы, что это значит? Вы, простите, не были здесь, не пережили всего того, что мы пережили за последние годы. Отдаёте ли вы себе отчёт, живя там, на благополучном, на заевшемся Западе, что такие призывы могут привести к нарушению социального мира, а внутренний мир и согласие — это для России сейчас самое главное? Возвращаю вам рукопись...

XVII

«Но откуда вы взяли, — могла бы возразить заместительница главного редактора — реальная, а не та, которую выдумал автор, — откуда вы взяли, что сочинение ваше отвергнуто по идеологическим соображениям, а не потому, что оно малохудожественно? Разве кто-нибудь вам сказал, что повесть непатриотична, содержит клевету на нашу родину и прочее?»

Нет, никто не сказал.

«Тогда почему вы решили?..»

На этот вопрос я не могу ответить. Просто мне так показалось.

«Клевета — это ваше письмо якобы от имени редакции».

Автор пожимает плечами.

XVIII

Русский писатель должен жить на родине. Таково было убеждение вернувшегося из эмиграции, увенчанного премией за свой военный роман прозаика, ныне, к сожалению, уже покойного. В обширном интервью он делился впечатлениями о жизни на Западе.

Его рассказ напоминает стишок Маршака.

«Где ты была, киска?»
— У королевы английской.
«Что ты видала при дворе?»
— Видала мышку на ковре.

Скажут: его можно понять. Можно, конечно. А как же пресловутая всемирная отзывчивость, священные камни Европы? Послушать Георгия Владимова, он жил на краю света, а вернулся в метрополию духа. При этом он не нашёл ни одного доброго слова для страны, которая как-никак его приютила, гарантировала ему безопасность, дала возможность, не отвлекаясь на зарабатывание денег, спокойно заниматься литературой.

Оставим это; вопрос не в том, где кому полагается жить. Вопрос в конечном счёте состоит в том, надо ли, можно ли возвращаться в страну, где не произведён расчёт со страшным прошлым. Где вчерашние палачи в лучшем случае превратились в благодушных пенсионеров и стучат костышками домино во дворах нашего детства. Где бывший стукач, студент разведывательного института, стал хозяином жизни.

XIX

Возвращение по необходимости должно означать *забвение*. Логический ход, который может показаться странным. Тем не менее, это так. Если не можешь забыть прошлое, если не желаешь примириться с ним — гребки обратно, нечего было приезжать.

Возвращаться надо, чтобы «жить жизнью страны», не так ли? В конце концов страна живёт сегодняшним днём, не вчерашним.

Тот, кто обретается за бугром (в Германии, откуда вернулся Владимов), хорошо знает, что там и не могут, и не хотят забыть прошлое. У иных это вызывает глухое ворчанье: сколько можно долдонить о лагерях уничтожения? Прошлое «историзировалось»; в конце концов, сменилось уже два поколения. Но попытки протестовать против каждодневных напоминаний о злодеяниях лишь компрометируют тех, кто протестует. Если бы кто-нибудь предложил учредить, как в России, «День примирения», его бы в лучшем случае подняли на смех. В лучшем случае.

А *здесь* мыслящее меньшинство, по крайней мере, значительная его часть и, кажется, вкупе с властью, вовсе не желает слышать о прошлом. Особого рода противогаз помогает дышать воздухом, где витает запах трупов: державно-православный, военно-патриотический миф.

XX

Предполагается, что прошлое умерло, похоронено, и вообще: «сколько можно»? А между тем *ещё живо чрево, плодящее змей*. Фразу Брехта нужно понимать, очевидно, не только в прямом смысле (живы «кадры» и учреждение; и даже глава государства — оттуда). Прошлое, как вампир, может жить после того, как умерло, — если вообще согласиться с тем, что оно умерло. Сколько людей так и не сумело привыкнуть к тому, что за спиной у нас — не XIX век, а Двадцатый. И мы тащим его за собой, этот советский век, хотя бы и не хотели его замечать.

Если не удаётся вовсе замолчать прошлое, его можно инкапсулировать. Видите ли, скажут вам, тайная полиция, созданная Ильичом и Железным Феликсом, есть не что иное, как злокачественный нарост. Нарост на здоровом теле. Можно запросто называть национал-социализм немецким режимом, по сути дела так оно и есть; но попробуйте вы назвать советскую власть русской, или украинской, или белорусской. Одно дело голубиная Россия, и совсем другое — доносы, застенки, лагеря, коммунизм, ленинизм, тотальная ложь, весь этот морок. *Apage Satanas!* (Изыди, сатана.)

XXI

Можно понять, отчего, после начавшихся было разоблачений, тайна вновь так тщательно оберегается. Отнюдь не из боязни посеять рознь, разжечь вражду поколений или что-нибудь в этом роде: это — пустые отговорки. Никакая правда не может нанести больше вреда, чем её утаивание. В том числе и правда о том, что великое множество сделавших карьеру людей, маститых учёных, увенчанных наградами писателей, князей церкви и так далее были платными осведомителями, сотрапезниками зла.

Можно понять, почему после рассекречивания следственных дел не рассекречены «оперативные материалы». Потому что их раскрытие и беспристрастное исследование разоблачило бы сонм преступников, и отбывших к праотцам, и ныне здравствующих. Разоблачение же неумолимо ставит вопрос о каре.

Там, где зло не наказано, оно вновь, рано или поздно, поднимает голову.

XXII

С этой проблемой — что делать с массой пособников преступного режима — международное правосудие столкнулось в 1945 году. Разве не было зловещей иронией то, что обвинителем с советской стороны в Нюрнберге стал генеральный прокурор Руденко, человек, которому подобало сидеть самому на скамье подсудимых? Или то, что на сессиях ООН выступал с речами бывший прокурор Вышинский, ставший министром иностранных дел?

Как бы то ни было, национал-социализм был наказан не только в общей форме, но и в лице своих заправил и пособников разного ранга. Может быть, стоит ещё раз подумать о том, почему Россия осталась глухой к этому опыту. Отчего никто не решился напомнить прихлебателям режима — просто напомнить — об их прошлом? Не говоря уже о бонзах.

XXIII

Завтра Рождество, младенец вот-вот появится на свет, девушка-подросток едет в аэропорт, музыканты бредут в славный город Бремен, сыплет снег, сияют Вифлеемские звёзды. А там и Новый год.

2002

ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА МОИ СУРОВЫЕ

1

Водокачка стояла на отшибе, у спуска в овраг, наполовину засыпанный снегом; на дне оврага между сваями расплылась зеленая полынья. Наверху визжал ворот, и старик банщик, разбегаясь валенками на обледенелом помосте, вытаскивал оплывшую бадью. Вода, сверкая, как серебро, бежала по бородатому от сосулк желобу, встроенному прямо в окошко бани: там она вливалась в огромную бочку, которая одна занимала половину парильни.

Все сооружение выглядело очень старым. Помост пел и раскачивался под ногами у банщика, когда он вытягивал из воды плескавшуюся шербатую бадью.

Сруб осел и был источен червяком; внутри бани стены и потолок покрылись копотью, в углах голубела плесень, а пол, никогда не просыхавший, был в трещинах и ходил под ногами. И баня, и водокачка над оврагом, и видневшиеся вдаль, покрытые шапками снега терема начальств были возведены еще первыми строителями, теми, кто давно уже истлел под корягами старых пней. В те времена на месте оврага, по дну которого теперь влачилсь безродный ручей, текла глубокая и быстрая речка, носившая древнее раскольничье название, а там, где был поселок, рос густой лес.

Визг ворота над ручьем и дым, поднимавшийся из трубы над древним памятником цивилизации, не могли означать ничего другого, как то, что сегодня банный день. И шествие начальств, направляющихся в парильню, открывала августейшая царствующая чета. Впереди четким военным шагом, в шинели, достававшей ему почти до пят, шел начальник лагпункта. Банщик нес за ним таз и веник. А следом, в пуховом платке и больших валенках, семенило, стараясь не отставать, существо, состоявшее при великом князе, то ли работница, то ли жена, — девушка, даже почти девочка, которую капитан взял к себе в дом из ближней деревни.

В бане, подвернув лагерные кальсоны, старик (фамилия его была Набиркин), тяжело дыша, хлестал веником толстое и до глаз налитое кровью тело начальника. На лице старика было всегдашнее выражение истовости, сознания долга и какого-то унылого мужества; он любил свою работу, дорожил местом и старался изо всех сил, так что пот струился по его кривой и тощей спине, на которой безостановочно двигались оттопыренные лопатки. В клубах пара грохотал радостный мат капитана. А жена капитана, худенькая и малокровная, с провалами темных монашеских глаз, доставшихся ей от предков раскольников, сидела в предбаннике, держа наготове домашний графинчик.

Великий князь выходил — вылезал, — он был весь красный и распухший, в свекольном нимбе, с росинками жемчуга вокруг чела, и прикрытый снизу полотенцем, принимал из рук ее стопку, полную до краев. Он ценил это умение подать стопку, полную, как глаз, не пролив ни капли. После чего имел обыкновение, выдохнув воздух, сопя, налить маленько и банщику. Набиркин торопливо натягивал ватные порты. Время было оставлять капитана вдвоем с княгиней, замиравшей от страха под отечески-хищным, хитро-безумным взглядом склеротических глаз самодержца. Старик Набиркин, похожий на старую ученую собаку, тряся головой, трусил по тропке в поселок.

Навстречу ему уже брел худой и грустный начальник спецчасти. Шайку с венником и смену белья несла за начальником бухгалтерша, его жена, и было слышно, как она покрикивает на мужа, то и дело оступавшегося в снег. Спецчасть редко бывал трезвым, и на работе все дела за него вел заключенный, числившийся дневальным: пересчитывал и перекладывал формуляры, составлял сводки, списки и секретные отчеты, так что начальник ничего не делал, только ставил дрожащей рукой подпись под бумагами, в которых давно уже не разбирался. Покончив с ними, банщик отправлялся к дому командира взвода.

Так он обходил по очереди всех начальников, следуя раз навсегда установленному порядку, строго соблюдая последовательность лагерных должностей и чинов. При этом и щедрость его услуг в точности равнялась чину услужаемого, так что за мелкими начальствами он и не заходил вовсе, передавая приглашение через посторонних; старик Набиркин гордился этим умением с одного взгляда, брошенного наверх из пропастей своего ничтожества, мгновенно и безошибочно определить меру величия каждого начальника, умением, без которого не обойтись в мире, где любой, с кем имеешь дело, — начальник. Но в том-то и дело, что начальник начальнику рознь.

Но одного начальника, чрезвычайно важного, не было в этом списке: того, кто в молчании и тайне сидел в своем кабинете, в зоне, там, где в конце длинного коридора конторы, за двойной дверью, обитой дерматином, он представлял в своем лице ведомство, стоявшее в стороне от всех и над всеми. Страх и ужас, внушаемый оперативным уполномоченным, был таков, что суровый банщик, пожалуй, чувствовал облегчение от того, что уполномоченный не ходил в баню. Вместе с тем он чувствовал себя ободенным, словно ему не доверяли шлепать венником, растирать, почтительно намывать и окатывать чистой водой это вельможное тело, тщательно оберегаемое под мундиром с блестящими пуговицами и золотыми плавниками погон. Под Новый год, уже в бытность Набиркина на своей должности, конвойная бригада поставила уполномоченному личную баню на дворе, перед его теремом.

Постройка бани была следствием сложной дипломатической обстановки. Технорук, ненавидевший уполномоченного двойной ненавистью обыкновенного человека и бывшего заключенного, намеревался задобрить его этой баней как в целях дальнейшего спокойного существования вообще, так и принимая во внимание жульнические приемы, без которых было не-

возможно перевыполнить производственный план. План всегда перевыполнялся, хотя перевыполнить его значило навлечь на себя еще худшие беды. Сейчас же о персональной бане оперуполномоченного стало известно наверху: одновременно и не стовариваясь дунули в управление начальник культурно-воспитательной части и жена командира взвода: командирша из-за того, что та же самая бригада должна была пристроить к ее дому флигелек, а КВЧ — из патриотизма. Об этой истории можно упомянуть лишь мимоходом, тем более что на опере она никак не сказалась: он лишь усмехнулся таинственной усмешкой и снял трубку, чтобы протелефонировать куда надо. И дело, завонявшее было в воздухе, само собой заглохло. Начальник же КВЧ спустя немного времени загремел куда-то на дальний лагпункт.

Под вечер в баню к Набиркину тянулась уже вовсе не организованная толпа — начальник конюшни, вольнонаемный экспедитор, зонные надзиратели, проводники собак. Эти мылились все вместе, а после них их женщины.

Старик сидел за стеной в темном закутке, перед загашенной топкой, и от нечего делать смотрел в дырочку на моющихся женщин. Зрелище это не вызывало в нем никаких чувств; инстинкт, давно угасший, влачил существование в форме брезгливого любопытства. По своему качеству женщины не всегда соответствовали чину своих владельцев, это усиливало презрение старика к мелкой сошке — надзирателям и прочим, словно они заграбастали нечто, не соответствующее их положению. Поглядев немного, он отворачивался и равнодушно сплевывал в золу.

Темнело, опять визжал ворот, гремела цепь: он доливал бочку холодной водой. Остывшие камни медленно шипели, выжимая последки пара. Немногие поздние посетительницы обматывали платками румяных и сонных детей. Все с тем же выражением долга и унылого мужества старик-банщик подметал пол, кашляя, сгребал с лавок мокрые клочья последних известий и приветственных писем Вождю. Обмылки собирал отдельно, хозяйственно отскребывал всякий прилипший кусочек; за месяц у него набирался целый ком, его можно было перетопить и нарезать брусочками. Эти брусочки он продавал в зоне.

Уже сиял во тьме над лагерем, по ту сторону мигающих огоньков поселка, огненный венец. Белый луч прожектора висел над частоколом. С четырех сторон на зону были наведены пулеметы. Лагпункт казался мертвым: ни единого звука не доносилось оттуда. Бесконвойный банщик возвращался домой, и кашель его постепенно затихал вдали.

2

На вахте загремел наружный засов; Набиркин вошел в проходную. Дежурный надзиратель, вооруженный одним пистолетом, небрежно обхлопал его под мышками и по швам, пощупал для вида коленки, помял в руках полы бушлата. Старик стоял перед ним, выпятив грудь и растопырив руки, в

торжественно-глупой позе, даже рот у него был приоткрыт. Обыск, повторявшийся изо дня в день каждое утро и вечер, превратился давно в пустую формальность.

У вахтера от лежания на лавке в холодной дежурке ныли кости и лопило затылок. Он мучительно зевал, изрыгая пар, при каждом зевке глаза его заливались слезами. Он пошел отворять внутренний засов.

Бесконвойный банщик вошел в зону. Но вместо того, чтобы направиться к себе в секцию, он свернул в другую сторону, и скоро его бушлат исчез в белесоватой тьме, сквозь которую смутными видениями проступали бревенчатые бараки. Банщик очутился на краю зоны, где вровень с колючей проволокой, ограждавшей запретную полосу, шел трап мимо барак до санчасти.

Старик шагал по трапу, по-крестьянски прямо перед собой ставя разбитые валенки. Снег запорошил его сутулую спину и круглую ушанку. Наверху, под черными тарелками фонарей, снег густо сыпался в конусах света, как будто рождался вместе с ним; косая тень то обгоняла старика, то бежала за ним; он шел, минуя одно крыльцо за другим, пока не дошел до последнего барака. Тут он остановился, осмотрелся, нет ли кого, и взвошел на крыльцо.

Отхожее место находилось в конце темных сеней, чтобы добраться до него, нужно было пройти бесшумно мимо дверей, за которыми с обеих сторон сидело по дневальному. Набиркин крался вперед, пока не уперся в дверь клозета. Она пронзительно заскрипела. В лицо ему дунуло сквозняком. Постепенно выступил из потемок обледенелый желоб, помост с дырами; налево тускло блестели соски деревянной рукомойни. Голубоватый свет сочился из амбразуры, заваленной снегом. Притворив дверь, старик отколупывал заочневшими пальцами пуговицы бушлата. Теперь можно было распустить бечевку, на которой держались стеганые порты, мешком висевшие на плоских ягодицах старика. Кряхтя от натуги, он залез рукой глубоко между ног. Таким образом было извлечено то, что он спрятал там. Старательно, как всё, что он делал, он уложил свою драгоценность на дно кармана-тайника, пришитого к подкладке бушлата, где у него хранились куски хлеба, ложка, запасная бечевка и другие необходимые вещи.

Дело было сделано, он вздохнул с облегчением. Затем брюки были водворены на место, бушлат плотно застегнут, и так же осторожно он выбрался на крыльцо. Как-то вдруг старик Набиркин почувствовал, что продрог, и кашель, словно разбуженный осьминог, ожил и зашевелился на дне его легких. Он стоял на крыльце, мрачно озираясь, с прижатым ко рту кулаком, сотрясаясь от беззвучного кашля, и ждал, не покажется ли кто. Все было тихо. Фиолетовый снег покойно струился на землю. Затем послышалось нежное бренчанье кольца, волочащегося по проволоке. Позванивая, проехало мимо и затихло. Это по ту сторону частокола, в тоске и скуке, взад-вперед трусили от вышки к вышке продрогшие овчарки. Успокоенный, банщик стал спускаться с крыльца; в груди у него все еще что-то пело и свистело. Он зашагал к последнему крыльцу.

В эту ночь Василий Вересов, проживавший в окраинном бараке, в секции, именуемой Курским вокзалом, творил суд над ларёшником, чья дерзость граничила с бунтом.

Ларешник был человек новый и в своей должности, и на лагпункте. Учли это, подождали, пока привыкнет. Отнеслись как к человеку. Пришли к нему — культурно, вежливо, хотя полагалось, чтобы он сам пришел и принес положенное. Не было на лагпункте человека, который не знал бы порядка; и каптер, и кладовщик, и зав пекарней — все платили дань.

В ларёк пришел дневальный, так называемый Батя, хитрый мужик, служивший у Вересова чем-то вроде завхоза. Ларешник послал его подалее. Приходил вор Маруся — мрачный, тупорылый верзила. «Ты: курить есть? Пожрать есть?» Ларешник выжал Марусю за порог, на дверь навесил железную перекладину и огромный, как снаряд, замок. Опять разговора не получилось.

Подожли и стали крутиться возле крыльца два ж у ч к а — сквозь дыры в запахнутых бушлатах у них проглядывало голое тело. «Дяденька, дай сахару. Миленький, дянька, в рот ты стеганный. Дай консерву». Зубы у них стучали от холода, оба приплясывали. Ларешник — ноль внимания.

Поздно вечером его подкараулили, взяли с двух сторон за руки, сзади третий обнадежил пинком в зад. Ларешник был высокий костлявый человек. Он попытался стряхнуть висевших на нем. Спустя некоторое время его втащили в секцию.

Там никто не спал. Когда в сенях отворилась дверь, оттуда раздался звериный вой: пятьдесят блатных, обливаясь слезами, пели каторжные куплеты — зауспокойный гимн. Наверху, на верхних нарах, трясло лохмотьями, чесалось, грызлось и копошилось то, что на языке наших мест называлось коротким словом шобла. Внизу сидели иерархические чины: Маруся, Хивря, слюнявый и гнилоглазый Лёнчик по кликухе Сучий Потрох и другие именитые люди.

То был легендарный Курский вокзал, и так же, как не существовало лагпункта без начальников частей, надзирателей, стрелков, без духовного пастыря — начальника КВЧ, оперативного уполномоченного и начальника-самодержца, без единого, учрежденного раз навсегда порядка властей, чинов и подчиненностей, — точно так же невозможно было во всем Чурлаге (назовем его так) найти подразделение, где бы не было рядом с официальной иерархией начальства иерархии воров, изнутри управлявшей лагпунктом.

У стены, прямо напротив входа, между нарами, стояла генеральская койка, застеленная тремя одеялами; вся стена над ней была оклеена картинками из журналов, серебряными и пестрыми бумажками и лоскутками цветной материи, а над изголовьем были распялены на гвоздочках большие и пыльные крылья птиц. На одеялах сидел Вересов, подвернув под себя ноги с жирными ляжками. На груди у Вересова висел оловянный крест, а в руках он держал гитару.

К нему подвели ларешника. Пение стихло.

«Тебе чего, землячок?» — ласково сказал Вересов, точно он ни о чем не знал. И, склонив набок голову, стал перебирать струны. Тут кто-то, подкравшись сзади, съездил ларешника по х о б о т у; ларешник обернулся и увидел вихляющуюся спину, спокойно удалявшуюся к дверям. Человек подтягивал на ходу заплатанные порты.

У порога он вдруг остановился, плеснул в ладоши и — тата-тата-тата-та! — пошел задом, трясясь и воздев руки, дробя чечетку. На лице танцора застыло выражение экзотической мертвенной радости. Так он дошел, трясясь и обшлепывая себя, до койки генерала. Тот пнул его в тощий зад: «В рот стеганый!» Человек комически охнул, скосоротился и ползком убрался под нары.

«Ша! — квакнул Вересов. — Чтоб мне было тихо. — И ларешнику кротко: — Землячок, приближись».

Всё замолчало. Генерал играл на гитаре. Он играл и пел силным утробным голосом: «Прощай, Маруся дорогая!» Чины изобразили на лицах сумрачную думу. Шобла благоговейно слушала.

Генерал рванул струны. Песня оборвалась.

«Та-ак, — сказал он раздумчиво и впервые удостоил пленника пристальным взглядом с головы до ног. Цыкнул в сторону длинной слюной. — Это как же, земляк, получается? Нехорошо, в рот меня стегать. Некультурно!»

Ларешник ничего не ответил. Генерал поерзал задом, устраиваясь поудобней.

«Ишь, сука, ряшку наел, — заметил он. — Подлюка, пес смрадный... Забыл, с-сука, — голос генерала окреп, — кто тебя поит-кормит? Тебя, хад, народ кормит, трудящие массы. На ихнем хоботе сидишь! А ты сахару пожалел. Выходит, им с голоду помирать, да?»

«А кто платить будет?» — ларешник спросил, проглотив слюну.

«Молчи, сучара, когда начальство разговаривает! Всякая пададь тут будет пасть раскрывать... — Вересов цыкнул слюной, ввинтил в пленника зоркие глаза. Помолчав, заговорил наставительно: — Слушай, земляк... Ты жить хочешь? Ты папу-маму любишь?»

Ответа не было. Склонив большую голову, Василий Вересов погрузился в думу над струнами.

Вдруг словно ток ударил генерала.

«Вот твоя мама! — взвизгнул Вересов и ткнул себя кулаком в жирную грудь. — И вот твой папа, — сурово добавил он. — Слушай сюда... Ты кто: человек или еврей? Ты смотри мне в лицо, мне в лицо! Ты, может, в жиды записался? Тогда снимай шкары. Мы тебе сделаем обрезание. Верно я говорю, вошееды?»

«Жидяра! — отвечали с нар. — Пущай шкарёнки сымает...»

«Слушай сюда. Ты Васе правду говори, Вася лжи не любит... Ты как со мной жить хочешь: вась-вась? Или кусь-кусь?»

Сказав это, генерал склонил голову, и раздался жидкий дребезг струн. На нарах улеглись друг на друга, вытянули головы. Зрелище все больше походило на спектакль или ритуальное действие.

«Прощай, Маруся дорога-а-я!» — снова запел Вересов, но тотчас умолк и строго воззрился на ларешника. «Ап-чхи!» — сказал он раздельно. Тотчас услужливая рука поднесла и вложила платочек в ладонь Вересова.

Генерал бросил платок на пол. «Подними».

«Ну?» Голос генерала повис в воздухе.

Человек, стоявший перед ним, не шевелился.

«Та-ак, — констатировал Вересов. — Значит, кусь-кусь. Так и запишем. — И он утвердился на своем сиденье, подпрыгнув несколько раз, и картинным жестом обхватил гитару, точно фотографировался. Не глядя, коротко: «Снимай шкары!»

Ларешник косился по сторонам. Одно за другим он обводил взглядом лица, устремленные на него.

В это время сверху, рядом с койкой вождя, стали спускаться на пол чьи-то длинные ноги.

Костлявый верзила воздвигся рядом с генералом. Легкий ветер побежал по рядам. Это был знаменитый Рябчик, официальный супруг генерала, законный вор и первый после Вересова человек на лагпункте.

Вересов сладко улыбнулся.

«Чтой-то ты, земля, туго соображаешь. Аль не дошло? — глаза его выскли искру. — А ну, снимай штаны, кому сказано!» Барак застыл в гробовой тишине. Ларешник весь подобрался, сгорбился. Втянул голову в плечи. Зубы у ларешника мелко стучали. Он не сказал ни слова.

Тогда все увидели, как прыщавый Васин подбородок повернулся к Рябчику. Вересов вознес к верзиле взгляд скорбного быка. Тот качнул коромыслом могучих плеч. Шагнув к пленнику, Рябчик усталился на него неподвижным взглядом дымных глаз.

Не спеша Рябчик оторвал от земли башмак и носком ушиб ларешника спереди по берцовой кости, ниже колена. Ларешник зажмурился и застонал.

«Терпи, земляк, для здоровья полезно, — голос гермафродита продрезал с генеральской койки. — Угости-ка, мама, земляка еще разок».

«Мама» скосоротил физиономию и расставил ноги. Глаза Рябчика наблюдали с каким-то тусклым любопытством жертву. Он отвел назад крюком согнутую руку — ларешник попятился — «гх!» — верзила издал звук, с которым мясники рубят мясо. Длинная фигура ларешника мгновенно выпрямилась, после чего он начал как-то странно заваливаться назад, хватая ртом воздух, однако не упал. И тут произошло нечто небывалое, невероятное и неслыханное.

Рябчик ждал, ларешник качался, развесив руки и отбрасывая длинную тень, достававшую до койки вождя: сейчас опрокинется. Вместо этого он нырнул вперед — кинулся, как кидаются на нож грудью, но каким-то образом миновал его. С ближних нар услышали утробный звук. Струя вырвалась из недр. И что-то мерзкое и тягучее, пролетев в воздухе, влажно и веско шмякнулось на оловянный крест генерала. «Га!» — выдохнули на нарах.

В первую минуту вождь смешался. Он обвел недоуменным взглядом кровать, посмотрел на свои ноги и грудь. Снова взглянул на грудь.

Жемчужные сопли, жирно поблескивая, висели на кресте. Они еще качались.

Ларешник харкнул на генерала! Ларешник промазал. Надо было взять чуть выше.

Василий Вересов поднял глаза на мерзавца, они были белые, как слизь. Молча выпростал жирные ноги, отставил гитару. Знаком руки, не глядя, осадил Рябчика.

Дневальный Батя, покойно сидевший на приступочке возле двери, цыкнул слюной сквозь дырку в зубах и быстро перекрестился. «Сам, сам», — как шелест, пронеслось по рядам. Вождь слез с кровати и сам пошел на ларешника. Спектакль кончился, было очевидно, что генерал лишился речи от гнева и небывалого в его жизни изумления.

Но не дойдя двух шагов, вождь остановился. Выкатив драконьи глаза, вобрал в себя воздух, выпятил зад. Дохнул огнем:

«Прощай, Маруся дорогая!» Вересов пел любимую песню низким, сильным, утробным голосом. Вересов пел погребальный гимн.

Это был как раз тот момент, когда банщик, дойдя до последнего крыльца, хрипя и кашляя, поднимался по ступенькам. Через минуту за скрипела тяжелая дверь; он вошел в секцию, задыхаясь, сгорбленный и покрытый снегом.

Никто не обратил на него особого внимания. Старика Набиркина знали в Курском вокзале. Он стал было отряхивать валенки, как вдруг увидел ларешника и, охнув, затрусил на выручку.

Старик бросился к Вересову. Поздно: бык успел пронзить свою жертву рогами. Теперь он топтал ее копытами. Уже не было возможности заставить обидчика омыть поруганную святыню, вылизать ее своим языком: ларешник лежал неподвижно, уткнувшись в пол лицом, с закинутыми над головой руками, и изо рта у него текла кровь. «Вась, а Вась. Да ладно, Вась. Да х... с ним, Вась», — повторял горестно старик, цепляясь за рукав генерала, который всё еще, пыхтя, рвался в бой.

Мама-Рябчик, в чьих услугах более не нуждались; сидел на нарах, равнодушно покачивая длинными ногами в циклопических башмаках. Вождь разрешил отвести себя назад, на койку. Лёнчик, Сучий Потрох, отправился в санчасть за лепилом.

Лепила пришел, это был пожилой, спокойный человек в очках. В далекой юности он учился года полтора на медицинском факультете. Он присел на корточки перед лежащим, повернул ему голову и стал хлопать по щекам.

Усевшись на койку, генерал вытащил из кармана соленый огурец. Генерал хрюнул его зубами, и звук и запах лопнувшего огурца разнеслись по секции. Дернулись кадыки — вся шобла разом проглотила кислые слюны. Пятьдесят человек, для которых голод был профессией, жрали огурец вместе с Васей глазами и кишками, врубались в мякоть Ва-

сынами зубами, провозжали быстро уменьшавшийся огурец, сосали и глотали сок. Никому уже не был интересен ларешник, который волочил-ся к выходу, вися на плечах у двух провожатых и уронив безжизненную голову на грудь.

Набиркин обрел к Вересову, уныло кашляя, таща по полу разбитые свои валенки. От них тянулись мокрые следы.

Дрожащей рукой он старательно расстегнул одну за другой пуговицы бушлата и полез вглубь, во внутренний карман, где хранилось у него то, что так хитроумно и незаметно пронес он через вахту. Старик принес Васе положенное. В полутьме, под сенью развешанных пыльных крыльев, генерал принял дары: две пачки цейлонского чая и поллитровку, купленную у колхозниц, которые кормились в поселке для вольнонаемных.

4

Когда те, кто вернулся из лагеря, рассказывали о том, как они жили там, — если находились охотники повествовать и внимать, — то рассказы эти вызывали у слушателей смешанное чувство любопытства и отчуждения.

Им говорили как о чем-то обыденном о том, что по самой сути своей не могло быть нормальной жизнью обыкновенных людей и напоминало образ жизни далеких экзотических племен, и они относили это за счет особой аберрации зрения, свойственной, как они думали, бывшим узникам; никому из тех, кто слушал эти рассказы, не приходило в голову, что с такой же вероятностью могли очутиться за проволокой и они сами; они отказывались допустить такую возможность, как невозможно поверить, идя за громом, что однажды понесут и тебя.

В сущности, они и не верили в собственную смерть; и так же мало верили в пресловутую страну Лимонию, в Чурлаг, Карлаг, Унжлаг, Севжелдорлаг и так далее со всеми их обитателями. Казалось невероятным, что обыкновенный, ничем не отличающийся от нас с вами человек может ни с того ни с сего исчезнуть, провалиться в люк, чтобы продолжать призрачное существование на каком-то ином свете, как невероятным кажется, что сосед, с которым вчера еще здоровались на лестнице, сегодня ночью скончался.

Тем более никто из них не поверил бы, если бы ему сказали, что фантастическая жуть лагеря — это лишь иное обличье обыденной жизни громадного большинства людей. Насколько проще и легче было поверить в Голгофу, в угрюмую романтику вышек и прожекторов, словом, поверить в произвол, чем допустить удручающую произвольность этого ада, в немалой степени созданного его же собственными обитателями. Поистине не властью стрелка на вышке, а властью тупого и злобного соседа вершилось то, что составляло высшую и конечную цель лагеря, и здесь, как везде и всегда, величие начальства было лишь символом ни от кого не зависящих законов, управляющих и начальниками, и всеми людьми.

Эти слушатели не догадывались, как много общего было между обычной жизнью по эту сторону лагерей и жизнью сумрачной страны в тайге на северо-востоке, с ее иерархическим строем, не сразу заметным (ведь только

издали колонна плетущихся на работу узников казалась вполне однородной массой, братством и равенством несчастных), но в тесноте и безвыходности лагерного существования ощутимым ежеминутно и на каждом шагу. Контингент — не коллектив. Молчаливая солидарность перед лицом притеснителей, товарищество и братство, один за всех и все прочее в этом роде в этой стране были так же бессмысленны и невозможны, как и в их стране, в их собственной, обычной и нормальной жизни.

Итак, то, что на первый взгляд казалось безумным изобретением каких-то дьявольских канцелярий, на самом деле было пророчеством и репетицией. Миллионы людей вошли в это — объятые безмолвным ужасом, как входят в воду, которая кажется обжигающе-леденящей, но проходит время, и холод не ощущается. Становится ясно, что в аду живут по тем же законам, что и наверху, только откровенней. Глядя на старого банщика, как он возвращается поздно вечером в зону, втянув голову в плечи, в длинном заплятанном бушлате, сотрясаясь в кашле и выплевывая какую-то клейковину, начинало казаться, что он был таким всегда, всю свою жизнь, что он так и родился, обросший с ног до головы крысиной шерстью концлагеря.

В 1942 году Набиркин, который был тогда на десять лет моложе, стоял в колонне таких же, как он, голодных и обросших щетиной солдат, ночью, под морозящим дождем на мокрой набережной гамбургского порта, громадность которого угадывалась в темных силуэтах гигантских кранов, барж и грузовых пароходов. Отсюда, во тьме затемнения, их должны были перегнать в лагерь, находившийся от города всего лишь в нескольких километрах. Говорили, что там много наших, живут в кирпичных бараках и получают зарплату.

В шталаге III, куда он попал, находилось несколько тысяч русских. Все они подыхали медленной смертью вместе с цыганами, какими-то украинскими богомолами и евреями. Так он оказался в числе тех, кому пришлось испробовать это занятие сначала у чужих, а потом у своих. И там, и здесь были свои преимущества и свои ужасные недостатки. После того, первого заключения он перебивал в лагере советских военнопленных под Нарвиком, в пересыльном лагере, стационарном лагере, американском лагере перемещенных лиц и проверочном лагере для возвращающихся на родину, и прошло больше года, прежде чем его снова засадили, но в памяти все это сбилось в кучу, смешались даты и термины; старик называл лагерфюрером начальника лагпункта, а шталаг путал с Чурлагом — получалось так, словно не было никакого перерыва, никакого просвета.

Там их наказывали за то, что они происходили отсюда, здесь — за то, что побывали там. Они были виноваты в том, что воевали, и в том, что были захвачены в плен. Подобно множеству людей, мужчин и женщин своего века, они были виноваты при всех обстоятельствах, виноваты потому, что должна была находиться работа для карательных учреждений, и потому, что требовалась рабочая сила для лагерей. Работать! Работать! План! Проценты! Такова была воля богов, возглашаемая из репродукторов.

Кто однажды отведал тюремной баланды — будет жрать ее снова.

В лагере не имей сто друзей, имей к е р ю. Тогда, в сорок втором году, Набиркин стоял в колонне рядом с одним лейтенантом. После долгого путешествия партия прибыла в стационарный лагерь, по-немецки шталаг. Это было одно из подразделений известного впоследствии концлагеря Нейенгамме.

Все стояли и смотрели, как начальник транспорта передавал колонну шарфюнеру, одетому в черное, который слушал его с выражением отрешенности и брезгливой скуки. По-видимому, и настоящая жизнь, и человечество — все это было для шарфюнера где-то далеко, а здесь его окружали отбросы. Но ничего не поделаешь: такая работа. Шарфюнер поглядел на сапоги первой шеренги, вернее, на то, что осталось от сапог, и что-то мрачно пролаял на ихнем языке. Охранники окружили партию со всех сторон.

Раздалась команда, которую никто не понял; все начали поворачиваться, кто направо, кто налево, поднялась суматоха. В задних рядах охранники — здоровые лбы, в шлемах, напоминающих перевернутые горшки, били замешкавшихся прикладами. Вместе со всеми Набиркин побежал к деревянному бараку.

На крыльце, подбоченясь, стоял молодой эсэс. Он был без фуражки, воротник с серебряными молниями расстегнут. Ветер шевелил его светлые волосы. Была произнесена речь.

«Вы, алё! — сказал парень, сверкая льдистыми глазами, на самом что ни на есть русском языке. — Слушать сюда. Сейчас я вам кой-чего скажу, а больше с вами никто разговаривать не будет. Вы больше не люди, поняли?»

Еще бы не понять. Дальше следовало несколько четких фраз, похожих на стихи. Позади парня стоял с непроницаемым видом худой зеленоглазый немец в фуражке со вздернутой тульей, внимательно слушал.

Оратор сплюнул и продолжал:

«Вы принадлежите германской империи, в рот ее с потрохами, тут вас научат работать, грызи вашу мать... Что заработал — твое, а даром жрать никто не будет. Это вам не Россия».

«Чего-о? — вскинулся он вдруг, хотя никто из стоявших в толпе не проронил ни слова. — Рыло начищу, кто будет пасть открывать!»

Немец у дверей переминулся с ноги на ногу, двинул кадыком и сложил на груди тонкие руки.

Парень шмыгнул носом:

«Слушай сюда... Сейчас будут записывать анкетные данные. Каждый подходит к господину офицеру вот там, в канцляй, и гр-р-ромким голосом, отчетливо! — где родился, где крестился. Политруков нет? Жидов нет? Говори сразу, а то хуже будет».

С этими словами парень — льняные волосы, ни дать ни взять из-под Вологды — расставил ноги в начищенных сапогах и с громом высморкал наземь длинные сопли. Должно, простыл без шапки. Стоявшие в колонне смотрели, как он достал платочек со дна разлтых галифе обтереть липкие пальцы.

Им объяснили: или они будут честно вкалывать на благо империи, или пускай пеняют на себя, но только просто так подохнуть им не дадут, пусть-де не надеются. И через слово матом. Они стояли, грязные и обросшие седой щетиной, в рваных шинелях и пилотках, с которых были сорваны звездочки, молча слушали.

Потом по очереди стали входить в барак, который был оцеплен. Двое в железных горшках стояли при входе. Внутри оказался длинный коридор, по обе стороны — двери с табличками. За ближней дверью стрекотала машинка. Каждый должен был постучаться, войти, сорвать пилотку и рапортовать. Потом, если все в порядке, бегом по коридору к выходу на другое крыльцо. Там ждала зуботычина и пинок в зад. На этом заканчивалась регистрация.

Они вошли в эту комнату. Высокий лейтенант и приземистый, почти горбатый Набиркин стояли у порога — руки по швам. Пальцы старика Набиркина были почти вровень с коленками. Он и тогда уже выглядел стариком. Так он запомнил эту минуту: прямой, неподвижный профиль товарища, тонкая шея с кадыком; в комнатухе жарко, топится печь, на окне — решетка; горит яркая лампочка, хотя на дворе еще день. Немцы, сидевшие за столом, не взглянули на них — один стучал на машинке, другой перелистывал списки, им было безразлично, кто стоял перед ними.

Набиркин был тысяча восемьсот девяносто пятого года рождения, родился в деревне Звонари Курской губернии, русский, православный, беспартийный, колхозник, звание — рядовой. (Он торопливо отрапортовал это, точно вывалил из мешка картошку.) Лейтенант был с девятьсот одиннадцатого года, место рождения... «Weg! Gschwind!» — рявкнул писарь, и они побежали по коридору.

Вег! Вег! — пошёл, живо! — слышалось и перед дверью в конце коридора, и на крыльце. Все по очереди скатывались со ступенек и занимали место в колонне. Отсюда был виден вход в зону — каменное двухэтажное здание вахты с караульной вышкой и воротами; сквозь решетку виднелась уходящая вдаль дорога, плоские здания барачных плац. На вышке стоял часовой, его круглый шлем чернел на фоне неба. Кроваво-красный флаг Третьей империи лениво плескался над крыльцом вахты.

Толпа бросилась к воротам, едва раздалась лающие звуки команды. Внезапная паника охватила людей, каждый думал об одном: скорей очутиться за воротами. Перед створом чуть приоткрытых ворот, куда с трудом могли протиснуться два человека, началась звериная давка. Люди сами рвались в концлагерь. Если бы ворота совсем закрылись, они полезли бы вверх по чугунной решетке. Охрана бесстрастно взирала на эту суматоху. На этот раз никого не били, ни одного выстрела не прогремело. Не было надобности.

Кто-то рванул створку ворот на себя. Толпа устремилась в проход. Человеческий фарш стал продавливаться в ворота. Старик Набиркин, отчаянно и бесполезно толкавшийся в задних рядах, был в этой давке сбит с ног.

Выручил лейтенант. Рявкнув бешеным матюгом, распахнул ослепших, лезущих. Какой-то мужик, ощерившись, лягнул высокого лейтенанта сапогом в живот. Набиркин поднялся на ноги и кинулся на мужика. К дерущим-

ся подбежали в горшках, заработали приклады. Медленно, ржаво закрипели железные петли ворот, и толпа вынесла их на дорогу. Лейтенант был тот самый ларешник, а Набиркин — так и остался Набиркин.

6

Глубокой ночью Вересов пил чифирь в Курском вокзале, в кругу законных воров и ближних шестерок.

На черной глади густого, смолистого напитка волновались желтые блики. Кружка переходила из рук в руки. На ее приготовление пошла целая пачка чая.

Питье действовало быстро, с первого глотка золотистый дракон, извивавшийся в чаше, вонзил когти в сердце. Нужно было перетерпеть сердцебиение, не выронить чашу — глотнуть снова. И медленно, как сходит ночь, околдовывал душу чифирь.

Сидели с серьезными лицами, тесным кружком. Роняли тяжелые, как сургуч, слова.

«Кончать его надо было, суку...»

«Пес смрадный, гумозник...»

«Распустили паскуд...»

Насупившись, думали думу.

«Не, я чего скажу... У нас на Севере бы не допустили. Сука буду. У нас бы не допустили».

«У нас, у нас. У нас козел мудями тряс».

«Ты, морда с ручкой! Ты с кем ббтаешь? Ты кого хлэстаешь?»

«Кончайте, подлоки, развопились. Почифирить не дадут».

«Лёха, в рот стеганый! Пой!»

Леха улегся головою на стол и не шевелился. Язык не ворочался.

«Леха!!» — рявкнул генерал.

Леха поднял голову, силло затянул: «Этап на Север, срока огромные. Кого ни спро-осишь, у всех Указ».

«Взгляни, взгляни в глаза мои суровые!» — в отчаянии подхватил нестройный хор.

«Чего я скажу... Ушатый трёкал... Этап готовят. Всех воров на Север».

«Брехает...»

Вконец окосевший Леха с трудом спел «Не для меня» и «Звонят бубенчики». Ржавой пилой резанул сердце...

«Звонят бубенчики, звонят бубенчики. Ветер звон доно-осит».

«А молодой жулик, молодой жулик начальничка просит!» — певцу вторил хор полумертвыми голосами. Чаша по очереди опрокидывалась над каждым ргом.

«В-в-в! — забормотал, дрожа, Леха. — Ууу! — он завыл сиротливым псом. — Вон она, сука, вон она».

В дверях стояла баба-кикимора.

«Бей ее!»

Кружка полетела в дверь. Блатные, сбившись в кучу, дружно крестились. Мир распадался... Всё это время генерал в одной майке сидел на главном месте, не участвуя в т о л к о в и щ а х. Одним присутствием Вася Вересов давал тон и значительность собранию. Авторитет его нимало не ущербился, вернее, тотчас и с лихвою был восполнен крутой расправой с обидчиком, и теперь, с полузакрытыми глазами, скрестив поросшие рыжим волосом руки в синих наколках, Вересов был еще больше и как никогда достоин занимать место легендарных вождей Гориллы и Мухомора, зарубленного в столовой, при выходе из кино. О чем он грезил, какие думы внушил ему наркотик, звенящий в крови?

Таинственное прошлое Вересова предстало перед ним в образе его отца, каким он видел его в последний раз, в ночь, когда отец ушел из дому. Было это в деревне, в 32 году. Давно и бесследно исчезнувший из его жизни, он смутно виднелся у порога, на том месте, где стоял ларешник, где повредившийся певец Леха увидел грудастую и косматую бабу. Васю тяжело мучило. Вся секция с рядами нар медленно поворачивалась, ему показалось, что он сидит в корабельном трюме, под ним качается пол, пароход плывет по Охотскому морю. Что-то приподнимало его, это была волна за бортом и одновременно волна тошноты, поднявшаяся из желудка.

Он двинулся к выходу. Но выхода не было. Страшное сознание обреченности, нелепой гибели живьем на дне качающегося парохода пронизало Вересова. Рука, покрытая татуировкой, уцепилась за край стола.

Кругом все спали. Ледяной ветер дул в лицо генералу. Впавалку лежала шобла — народ Вересова, его подданные, бригада «аля-улю». Его супруг Рябчик простерся на койке. Зловещий храп оглашал тусклый чертог. А на дворе цепенела полночь, на вышках дремала в тулупах караульная стража, и усталые псы, седые от инея, усевшись на задние лапы, протяжно выли на лунный круг, маслянистым пятном проступивший в небе.

1967

ЗАПАХ ЗВЁЗД

Поезд, идущий на северо-восток, замедлил ход, приближаясь к полустанку, а через минуту уже мелькал в остеклевенных глазах вышедшего дежурного и гремел на переезде мимо стрелочницы, которая стояла, выставив перед животом скатанный грязно-желтый флажок. Оба, каждый со своего поста, глядели вслед уменьшающимся красным огням, гложеным в белой мгле. Здесь, на полустанке, их разделяла служебная дистанция, не менее реальная, чем расстояние между сторожкой возле шлагбаума, поднимавшегося раз пять-шесть в году, не чаще, и «вокзалом», где дежурный пил чай и слушал унылый стук ходиков; а для мелькнувшего мимо поезда это было все равно что расстояние в несколько миллиметров, и люди на полустанке были для него мгновенными ничтожными мелочами, которые машинист едва успел заметить, словно жикнувших перед глазами мух. Даже на больших станциях поезд, идущий на северо-восток, не задерживался, не стоял ни минуты, а постукивал равномерно на стыках в отдалении от перрона, мелькал там, сзади, в просветах между вагонами застрявших товарняков, и вот уже гудок его, протяжный и затихающий, тускнел вдали, и дым расходился в небе; он шел подряд несколько суток, днем и ночью, и с тех пор, как начал свои путь, останавливался, кажется, только один раз, чтобы пополнить убывающие запасы угля и воды. И на разъездах поезд не стоял, не ждал, а шел и шел вперед. Сперва ехали через пустынные поля, словно плыли по широкой снежной реке, разлившейся до самого горизонта, и казалось, что поезд вовсе не движется, а стоит на месте, грохоча колесами; кромка леса на дальнем берегу тянулась, стояла перед глазами с рассвета и дотемна; но потом она стала расти, приближаться. Присмотревшись, можно было различить бегущие деревья, стук колес как будто усилился; хоровод деревьев, сцепившись ветвями, побежал назад, в обратную сторону, а позади него другой хоровод понесся вперед наперегонки с поездом. Он шел, загибаясь по узкой насыпи, и с обеих сторон стоял густой лес.

То был поистине целый мир — особенный, чудотворный: каким восторгом, какой нежностью могла бы наполниться душа при виде сих монашеских елей, толпой сходящих к оврагам, и золотистых сосен на пригорках по колено в снегу; дым клубами окутывал их, но, когда он рассеялся, сосны стояли такие же, как прежде, — строгие, радостные, качая верхушками, и времени, казалось, вовсе для них не существовало: и татарская власть, и раскольники, и французы — все было для них одновременно, или, лучше сказать, никогда не было. В ясную погоду снег на опушке блестел так, что глазам было больно, и все-таки тянуло глядеть на

него, и хотелось схватить его в охапку, зарыться в него лицом — такой он был свежий и чистый и дышал какой-то древней юностью. Тени сосен в ясный день были голубые и легкие, а к вечеру тяжелели и становились лиловыми; пунктиром пересекали их синие крестики чьих-то следов. В пасмурную же погоду небо над соснами было мутно-молочным, все кругом казалось теснее и ближе, и расплывчатей, и снег был не голубого, а белого цвета, как бельё, которое забыли подсинить. В сумерках белое небо опускалось на снег, и сиреневая мгла все разбалтывала в сплошную кашу. Но понемногу мутная темень рассеивалась, ночь стекленела, становилась прозрачной, как будто протирали запотевшие черные окна, мороз крепчал, зеленоватое сияние поднималось над снегами. Вдруг из чащи раздавался крик птицы, не злой, не зловещий, просто от избытка сил, наливающихся во сне, снег сыпался неслышно с веток, что-то происходило, завершалось, кристалл ночи становился чище, ярче, совершеннее, высоко в пустом небе горели, переливаясь, звезды. Утром из пелены далеких туч, сопя и тараща заспанные глаза, выбиралось косматое солнце, и винно-розовая заря бежала по рельсам, а с другого конца, на темном, аспидно-сером западе появлялся в разрубе тайги белый дымок, дальний гудок возникал как бы из небытия. Поезд мчался мимо всех лесных событий, ему не было до них никакого дела.

Поезд шел вперед; рельсы, как предназначения судьбы, указывали ему единственный путь — на северо-восток. Города, грязные станции, деревни — все осталось позади. За пустынными равнинами открывались другие, еще шире и пустынные, за лесами начинались другие леса, гуще прежних. Огромная это была страна, огромная и прекрасная, несмотря на кажущуюся свою несуразность. И, мнилось, не будет ей конца. Но мало-помалу, незаметно и неощутимо поезд, который сначала полз по белой равнине, как сороконожка по скатерти, а потом юркнул в тайгу, унося за собой белый дымок, приблизился к иным меридианам и в конце концов оказался совсем в другой стране. Он вполз в нее, и никто этого не заметил, да и не ждал, когда появится пограничный столб: не было никаких столбов, эта страна была совершенно такая же, как и та, оставшаяся, так что нельзя было понять, где она, собственно, начинается; разве случайно можно было наткнуться на нее, как на дреднуут в игре «морской бой», ибо она была невидима; и все-таки это была совсем другая, особая и непохожая на нашу страна.

Поезд шел в страну, о которой, конечно, все знали, что она существует. Знали, но делали вид, что не подозревают о ней. Молчаливый заговор окружил тайной все, что имело отношение к этой стране, и не требовалось даже специальными постановлениями запрещать упоминать о ней. Ее не было — и точка. Поезд шел в страну, куда никогда и ни за какие деньги не продавали билетов, которая не была нанесена на карты, не упоминалась в справочниках и которую не проходили по географии в школе. Да и вряд ли кому-нибудь захотелось бы повидать ее по своей воле, а уж если кому было суждено туда ехать, тот назад из этой страны не возвращался, как не возвращаются никогда из Страны мертвых. И о ней старались не думать, забыть, как стараются не думать о кладбище, где лежит столько народа.

Всякий намек на нее был нестерпим, и мысль об этой стране леденила ужасом; появившись неведомо откуда, била под коленки и хватала за горло, и тогда каждый был согласен сделать все, что ни потребуют, отдать добро, предать друзей, отречься от близких, лишь бы отвели от него этот перст. И все же догадывались, что живет там не горстка людей, не сотни и не тысячи, и даже не сто тысяч, а так много, что страшно было представить — все равно что собрать разом всех умерших хотя бы только за десять лет. Но если мертвых покойников помнят или по крайней мере делают вид, что помнят, то этих никто не вспоминал, самая память о них представлялась как бы заразной: их забывали молниеносно, выскабливали из памяти их имена в ту самую минуту, когда эти люди исчезали, а если кто и помнил, то притворялся, будто забыл. И если бы вдруг случилось землетрясение или океанская волна внезапно поглотила нашу Атлантиду, то историки, собирая реликты некоего пропавшего народа, не узнали бы, что внутри древнего захлебнувшегося государства существовало еще одно, секретное.

Никто в точности не знал, что именно происходит в стране на северо-востоке. Никому не известно было, какая там погода, идет ли дождь, светит ли солнце и сколько там дней в году, да и считают ли там годы — никто не знал. Поезд особого назначения, следующий по секретному маршруту, шел, торопился из страны живых туда, минуя разъезды и пункты контроля, оставляя позади города, станции, проносясь с грохотом мимо безлюдных полустанков и закрытых шлагбаумов. Поезд шел вперед, и белый дым, отдуваемый ветром, стлался за ним и бесследно таял в холодном небе.

И только одно становилось мало-помалу понятным для тех, кто еще осмеливался размышлять о тайной стране и ее обитателях: что труд, который был объявлен делом чести и доблести и который называли почетным долгом те, кто им никогда не занимался, труд, о котором рассказывали басни, будто он облагораживает человека, есть в действительности то, чем он и был всегда, — проклятье, которое подстерегает каждого, словно дурная болезнь. Что вся сложная система правосудия есть на самом деле машина для насильственного комплектования рабочей силы; что, одним словом, всегда нужен кто-то, кто вскакивал бы в пять часов утра и топал в лес в мороз и дождь и спиливал бы огромные деревья, обрубал сучья, кряжевал хлысты, наваливал, вез, тонул в снегу или в болоте, дубиной и криками подгонял выбившуюся из сил лошадь, сваливал, укатывал, воздвигал штабеля, грузил лесом составы или гнил бы заживо в шахтах, в котлованах, в подземных заводах, на урановых рудниках и мало ли еще где. Всегда нужно, чтобы кто-нибудь рыл землю, возил тачки, толкал вагонетки, своими ногтями выкапывал каналы и на своих костях прокладывал бы железные дороги; и если этого не делаешь ты, то, значит, за тебя должен делать другой, и выходит, что любое другое занятие, кроме «грубого физического труда», — попросту хитромудрая уловка, увливание, дезертирство.

Не так уж много требовалось ума, чтобы понять это; а непонятливых учила жизнь. Потому что главный урок, который она преподносила, да так наглядно, словно конфетку на ладони, главный урок и наука — скажем это,

забегая вперед, — была наука неверия, не какого-то отдельного неверия, а неверия вообще, и в ней-то и заключалась причина таинственности, которою была окружена жизнь в стране на северо-востоке: ибо, освобождая людей от бремени имущества, притащенного в мешках, деревянных сундуках или чемоданах, от теплых шинелей со спортивными погонами, от фасонистых городских пальто, уже подпорченных в тюремной дезкамере, от валенок, еще пахнувших домом и волей, от вязаных носков, последних в жизни, потому что скоро и самое слово это забывалось, исчезало из лексикона, как исчезали, став ненужными, сотни других слов, — короче, от всех шмоток и всего вообще, что у них еще оставалось и что частью выманивали у них обманом, частью отнимали силой, а чаще просто уворовывали и потом без конца проигрывали и выигрывали в карты, — освобождая от всего своего, кроме собственной многотрадной шкуры, своего тощего потроха, да еще казенной телогрейки, да трухлявых штанов, жизнь в лагере освобождала и еще от кое-чего, именно, от веры, от веры, которая отныне становилась синонимом глупости. Урок жизни, начатый предательством друзей, соседей, однополчан, — кого угодно, но только без предательства тут не обходилось, — и продолжающийся в таежных лесах страны, о коей речь, в ее синих снегах, так что из приготовительного класса переходишь мало-помалу в старший класс, а оттуда в университет, все длился и длился. И этот урок отменял все заученное прежде, в других школах и университетах, и все дипломы, полученные там, становились ни к чему, словно листки от календаря давно прошедшего года, словно облигации безвыигрышного займа, освобождал от всего бесполезного и лишнего. Лишней оказывалась вера.

Оказалось — и это было то, что роднило всех, к каким бы нациям, классам, поколениям они ни принадлежали раньше, до того, как они провалились в люк на глазах у перепуганных родственников и остолбеневших соседей, подняв облако пыли и словно превратившись в эту пыль, — то, что теперь объединяло и роднило их, и слило их всех в одну нацию и одно поколение, поколение одурченных, вернее, одурчивших самих себя, — оказалось, что все, что им твердили с детства и что они заучивали чуть ли не с пеленок, повторяли сначала по буквам, потом целыми фразами, а потом уже чесали наизусть целые страницы, — все было ложью и чепухой от начала и до конца, фантомом, липой, мыльным пузырем, и, догадавшись, что их разыграли, они стояли теперь, скребя в затылках и недоумевая, куда же подевался хрустальный дворец, выстроенный джином за одну ночь. Религии у них тоже не было, потому что Бога отобрали у них еще раньше, уверив, что Бог выдуман помогать поработителю обирать и обманывать народ, но оказалось, что без Бога так же тошно, как и с Ним. Поработители исчезли, а порабощенные остались, и, пробудившись от веры, как от смутного сна, мучительно зевая и озираясь и стыдясь глядеть друг другу в глаза, они поняли мало-помалу, что никакого джина не было, да и ничего вообще не было, и что все они — безымянное потерянное стадо, плетущееся неведомо куда.

Ночью поезд остановился. Те, кто были в нем, могли догадаться, что снаружи ночь, по щелям задраенных люков, откуда только что к ним сочилось смутное белесое небо, а теперь вагон словно накрыли попоной. Четвертые сутки они слушали ритмичный грохот под полом, похожий на тиканье башенных часов, если бы их поднесли к самому уху; четвертые сутки — а может, и десятые, никто не знал, — пол катился под ними куда-то под гору, и бледный свет трижды сочился из щелей, и вот поезд снова въехал в ночь и так и остался в ночи. Они услышали протяжный гудок, железные часы под полом пошли медленнее, раздался скрежет — они качнулись, но пол под ними все катился; вдруг опять они пошатнулись, что-то взвизгнуло и стихло. Внутри них нарастал, становился ощутимым напряженный до предела звон. Они стояли, насторожив уши, широко раскрыв глаза, ничего не видя, и ждали, когда поезд снова тронется, но он не трогался и не давал предупредительного гудка. Далеко впереди — или позади? — слышалось пыхтение паровоза: пху, пху, пху; потом шипенье пара: шш-шш... ч-ч-ч-ч! — как вдруг они заметили, что пыхтящий звук стал удаляться, а вагон отцепился, остался в крошечной тьме; они часто дышали, и ничего больше не было слышно, кроме этого дыхания. Вдруг чьи-то шаги прошли совсем рядом, внизу, скрипя по снегу, и ушли, и снова стало тихо.

Прошло, как им казалось, несколько часов, прежде чем скрип валенок снова приблизился, стали слышны голоса, сильный мат, кого-то звали, кто-то кашлял и сплевывал. Между тем глаза их, вращаясь в потемках, как потухшие прожекторы, начали прозревать, в щелках задраенных люков забрезжил свет, какая-то мечта о свете, но не свет неба, ведь до утра было далеко, а, скорее, желтоватый, мерцающий, как свеча, и они начали успокаиваться, тревога их улеглась: за стеной были люди, про них не забыли и, по-видимому, не собирались тушить огонь и уходить. Что-то тупо и тяжело ткнулось в стену там, где — они помнили — была дверь, и они услышали шаги, взошедшие на помост; замок заскрежетал совсем рядом, под ухом. И они поняли, что их сейчас выпустят, и, волнуясь, стали толкаться и переминаться с ноги на ногу.

Там, снаружи, человек в ушанке, в ватной стеганой телогрейке и валенках, поставив у ног фонарь, вынимал из кольца огромный замок, опускал тяжелую перекладину. Внизу ждали остальные, их было человек пять. Густой лес по обе стороны полотна, темное небо; впереди мертво светятся огоньки водокачки; сцепщик идет не торопясь вдоль поезда, мелькает за колесами его фонарь; паровоз ушел к водокачке. В стьлом воздухе слышался кашляющий лай собак. Что ж, и в самом деле эта новая страна ничем не отличалась на вид от той, минувшей, откуда только что прибыл поезд.

Те, внутри, запертые наглухо, напряженно ждали. Сомнений не было: это люди здесь, рядом; слышно их тяжелое дыхание. Сейчас их выпустят. Слышно, как переговариваются, переругиваются; шуршат валенки. «Раз-два, взяли!» Вот сейчас откроется дверь. «Е-щё... взяли!»

Дверь поддалась, поехала, визжа заржавленным роликом; люди расступились. Тотчас, не дожидаясь, когда дверь уйдет до конца, из темноты

стали высовываться, обдавая паром суеящихся людей на помосте. Мешала перекладина изнутри. Вытащили ее. И, стуча копытами, теснясь и толкаясь, и скользя по обледенелому помосту, лошади — живые души, продрогшие, истомленные бесконечной дорогой и ожиданием, робкие и обрадованные, стали выбираться на морозный, пахнувший шпалами и тайгой, чужой и неприятный и все же бесконечно милый Божий свет. Люди, стоявшие внизу, торопясь, считали их.

(Впереди, в голове поезда, тоже шла напряженная работа: солдаты, подняв фонарь, пересчитывали торопливо вылезших с мешками и чемоданами людей.)

Проваливаясь в снегу всеми четырьмя ногами, храпя и вскидывая головы, лошади сгрудились у подножья насыпи, перед заснеженными мостками: должно быть, летом тут был овражек, если вообще когда-нибудь здесь бывало лето. Но и сейчас они чуяли запах ржавой воды там, глубоко на дне оврага. Сверху, с насыпи, было видно, как конюх, стоявший перед мостками, закуривал, намотав на руку недоуздок, и лошадиная морда моталась в испуге и вырывала руку с коробком; наконец он сунул спички в штаны, примерился, упираясь руками, и прыгнул, пал плашмя поперек шарahnувшейся лошади, — в эту минуту он был похож на куклу, набитую опилками, — и уселся верхом.

Старший конюх и другие стояли на насыпи.

«Все, что ли», — сказал старший. Оставалось задвинуть дверь пульмана и сбросить помост.

Впереди раздался свисток, чей-то протяжный голос донесся изда-лека — человек с фонарем стоял у передних вагонов и что-то кричал им. Конюх на помосте, державший наготове замок, напряг было голос, чтобы ответить; в эту минуту внутри вагона раздался стук; все обернулись.

«Мама родная», — пробормотал парень с замком и попятился. Недоруганный мат, как слюна, повис на его губах. Глаза всех уставились в черную пустоту вагона.

Словно увидев перед собой какое-то чудовище, манекен, бутафорское чудо-юдо, соединившее разом мощь и немощь, ошарашенные, остолбеневшие, они почти со страхом смотрели на длинные, костлявые ноги в потрескавшихся копытах, которые даже не вышли, а как-то выехали из квадратной пасти пульмана, — и медленно, как только позволяли ему достоинство и остаток сил, гигантский конь сошел, как с пьедестала, величаво ступая по дощатому помосту, но у самой земли поскользнулся и, гремя копытами, едва не сел на круп.

Звук столкнувшихся буферов прокатился вдоль поезда, паровоз давал пронзительные свистки. Все лошади стояли, выстроившись гуськом и ожидая команды. В хвосте очереди, подобный белому привидению высился диковинный конь. Старший конюх, водя пальцем, пересчитал их всех для верности и отправился оформлять документы; он прошел мимо товарных вагонов и других, уже опустевших. Возле станции было безлюдно, но снег под фонарями был сплошь истоптан и изъеден ноздреватыми ямками от мочи. Собачий лай заглух в лесу. Итак, они прибыли.

Наконец-то! В стойле громадный конь не сразу принялся за корм — сено из брикетов, довольно приличное, не накинулся с жадностью на еду, что было бы естественно при его худобе и что не замедлило сделать другие, так что вся темная конюшня мгновенно наполнилась аппетитным и дружным хрупанием, а долго принохивался и присматривался: не видно было ни зги, люди исчезли, и сквозь прорезь под потолком к нему не проникало никакого света; он захватил губами несколько былинки и, мотнув головой, принялся неторопливо перетирать их своими плоскими, стертými до десен зубами.

Он все еще находился во власти необычайных впечатлений дороги и переживал их, как будто злоещий поезд все еще грохотал под ним стальными колесами; и вот они остановились, умолкли, и вместе со всеми он ждал, когда откроется вагон, и выходил, скользя по обледенелому помосту, и шагал по изрытой дороге в лес, загородивший полнеба. Он шел так долго, что начал спотыкаться. Поднимая глаза, он видел впереди равнодушно покачивающиеся, как бы неживые фигуры верховых. Мигнул огонек. Замигало сразу несколько огней. Они плыли поперек дороги, огибая чашу, исчезая и появляясь. Вдруг луч, белый и слепящий, как меч с раздвоенным острием, проткнул ему глаза. Луч бил, разрезая лес, как струя брандспойта. Всадники во главе колонны, все так же качаясь, ушли с головой в слепящий свет, обрисовались в нем, позади них осветились спины идущих одна за другой лошадей. Потом процессия свернула вбок, и чудовище отпустило их, раскаленный добела глаз уставился в сторону — на кого?

Уже все вокруг было тихо, хрупанье смолкло, а он все переминался с ноги на ногу, озирался и нюхал воздух, пытаясь сообразить, что там, за стеной. Запахи были необычны, противоречивы. Вступая в новую жизнь, в который раз за долгие свои годы, он волновался и от волнения не мог уснуть. Ему чудились шаги, чьи-то возгласы... Понемногу дремота стала одолевать старого коня. Он заснул, оставив заднюю ногу, смежив веки, как бы застыл в глубокой задумчивости, похожий на осыпáющийся монумент из замшелого алебастра.

Он не осознал еще в полной мере, насколько ему повезло. Вся жизнь его была цепью неслыханных удач; удачей было уже то, что он доехал, добрался живой до лагерной командировки; удача ждала его и впереди, ибо ему предстояло жить, а не плавать, ободранному и разрубленному, и растворенному до полного исчезновения в корытах, в дымящемся желтом омуте, в котором повара, стоя перед раздаточной амбразурой, вращали длинными черпаками, и в этом жесте была заключена вся грация, весь восторг, вся царственная лень и царственная власть их профессии! Белому коню повезло: он стоял на земле, а не стелился паром над черными котлами, не путешествовал по кишкам и мочевым пузырям лагерных доходяг, не пролился дождем в отхожие ямы, где давно исчез безвестный одер, чье стойло он занял, и те, другие, плоскими тенями маячившие там, где сейчас бодро хрупали сушеной травкой новички, не ведая, что их ждет. Он устал, но он был жив, ему хотелось лечь, ноги так и просились подогнуть их, преклонить колени и опуститься, смерть манила его, и с

каким облегчением он плюхнулся бы на пол и склонил бы к земле свою костлявую голову с глубоко запавшими, вытекшими глазами — и все-таки он стоял.

Издали донесся унылый звон от удара кувалдой по рельсу, и ночь превратилась в утро. И когда во тьме конюшни под хруст ржавых петель медленно раздвинулся створ осевших ворот, они почуяли запах звезд, которые там, в черной прозелени неба, сверкали, как ртуть, обливая окрестность мертвым сиреневым светом. Лошади всегда чувствуют, как пахнут звезды. Никто уже не спал. Вютьмах то и дело раздавались глухие удары копыт, всхрапыванье, позвякиванье цепочек; рядом с белым конем сосед спросонья истово чесался о перегородку, и все стойло ходило ходуном. Узкие, как щели, окошки под потолком затеплились, замерцали — это двигались по двору фонари; послышался скрип снега под ногами, кашель и первые хриплые ругательства. Люди принесли с собой желтый свет, яркий, ядовитый, от него хотелось чихать; все пришло в движение, столбы и перегородки заколебались, поехали вдоль стен, пугая стоявших в стойлах, пока, наконец, не утомонились призрачные огни, пристроившись где попало — на перевернутой тачке, на свободных крюках. Кто-то тащил лестницу, полез на чердак, и кашель, словно больная птица, забился над головами, сквозь щели потолка посыпался мусор, потом сверху стали сбрасывать солому. Конь, похожий на иссохший памятник, не чувствовал голода, ему хотелось пить. Все же он пожевал из вежливости. Их начали выводить в проход, по одному, очевидно, не доверяя им.

На столбе против каждого стойла, как распятие, висел хомут, для каждой лошади свой, но рассчитаны они были для прежних, уже не существующих лошадей, и большинству новичков хомуты не подходили. Зевая так, что лица у них сходились складками подо лбом и из глаз выжимались слезы, конюхи стаскивали хомуты с лошадиных морд и примеряли другие, выискивая поцелее в куче старого хлама.

Очередь дошла до белого коня — каменный круп его высился за последней перегородкой. Мальчишка-конюх, с черной дырой во рту вместо передних зубов, прошмыгнув у коня под брюхом, стал отмыкать цепочку; ему пришлось для этого залезть на ясли, потому что с полу он, может, и дотянулся бы вытянутой рукой до груди, высеченной из белого камня, но до шеи нечего было и надеяться: он смотрел на нее, задрав голову. Шмыгая носом, точно всхлипывая, Корзубый расцепил, наконец, цепочку. И тогда с его тусклыми, беспокойными глазками рыси впервые и как бы случайно встретились человеческие глаза коня. Встретились и разошлись.

«Н-но, падла старая, пошел!» — заорал Корзубый, и престарелый конь послушно сдвинул с места каменную громаду своего тела. Он старался соблюдать осторожность, не задавить кого-нибудь сзади, не завалить перегородку и медленно пятился, между тем как тщедушный хозяин изо всех сил упирался ему в грудь, в то место, где начинаются ноги, с таким видом, точно он толкал паровоз.

Три месяца назад Корзубый был расконвоирован; срок жизни его в исправительно-трудовом лагере был им отсижен наполовину. Это был

небольшой срок, ибо он не был важным государственным преступником. Корзубый происходил из далекого, большого города, и, как все дети, выросшие на задворках столиц, в темноте и вонии подворотен, дожив до тринадцати лет, так и остановился на них. Годы шли, а ему было все столько же: вечный подросток, он на всю жизнь остался хилым и маленьким, с синевой на щеках и желтыми глазами, блеск которых напоминал блеск облизанной дешевой карамели. Отца у него никогда не было, словно и родился он без участия мужчины, зато у них жил веселый парень в обмотках, «папаня», рыжий и веснушчатый, он приносил матери мыло, крупу и картошку. Один рукав его шинели был пристегнут к карману булавкой, но оставшейся рукой он творил чудеса. Он ехал издалека, из Германии, и куда-то далеко, остановился компостировать билет; компостировал без малого восемь месяцев, потом оказалось, что никакого билета не было. Первое время он уходил ночевать в общежитие к какой-то не то сестре, не то тетке; потом как-то незаметно все втроем стали просыпаться по утрам на широкой материнной кровати. Кровать эта, с почерневшими никелированными шарами, занимавшая полкомнаты, в сущности и была их комнатой. На ней раскладывали продукты. Как-то раз папаня ушел и не вернулся, а на другой день к ним явился участковый, он хотел сделать обыск. Но мать уломала его, и с тех пор он часто захаживал, приносил муку и американские консервы «лярд». Синие галифе с подтяжками висели на стуле, а портянки мать развешивала на батарее. В это время Корзубому было уже четырнадцать. Он лежал на полу рядом с милицейскими сапогами, и подтяжки касались его лица.

То, что он был невелик ростом, было даже удобно. Однажды он прибил к компании морячков на Курском вокзале, они повели его с собой, усадили за столик, угощали пивом; до поезда оставалось часа два, они вышли из ресторана и забрали вещи из камеры хранения, но времени еще оставалось много. Они решили зайти еще в одно место, добавить, как они сказали, Корзубому велели караулить вещи, шинель дали, чтобы не замерз, велели не спать. Он и не думал спать: попробовал один чемодан, но не смог его даже поднять — матрос вез в нем из Германии часы. Он знал, что там часы, — матрос сболтнул за столом, он даже кулаком стучал по скатерти, кричал: «Я все могу, я всех баб в этом зале могу купить, всех подряд; у меня, может, одних бочат рыжих цельный чемодан!» Чемодан был заперт, он взялся за другой, тоже ужасно тяжелый, приходилось то и дело останавливаться — менять руку. Тем временем моряк, тот, который отдал шинель Корзубому, на вокзальной площади хватился папирос; его отговаривали, совали ему серебряный портсигар с махоркой, но он отпихнул их и пошел через площадку назад за своим «Казбеком». Моряк увидел в зале ожидания свою шинель: она тащилась с огромным чемоданом между скамьями, задевая сидящих и лежащих. Зал был битком набит, и вообще в те годы вся Русь, казалось, была в пути, бежала и возвращалась. Хозяин чемодана рассчитал точным глазомером, сколько тому еще пробираться, и вернулся к ожидавшим корешам. А Корзубый все пробирался. Вдруг кто-то взял его повыше локтя — он скосил глаза, на руке был синий якорь; не

раздумывая, кошачьим— движением он выпрыгнул из шинели, метнулся к выходу; какой-то старик, лежавший у дверей, занес на него свой костыль — он пнул его ногой в лицо, дед схватил Корзубого за ногу, Корзубый упал. Он вырывал руки, кусался, садился на пол, а его тем временем выволакивали через боковой выход. Зал, потревоженный, зашевелился, люди поднимали головы от узлов, влезали на скамейки, женщины раскачивали плачущих детей, не отрывая глаз от выхода; воры шныряли между скамьями. На дворе — это был задний двор, окруженный кирпичной стеной, — было пусто и холодно, за стеной над площадью стлыло лиловое сияние фонарей. Несчастный Корзубый стоял посреди двора, матросы обступили его, тот морячок участливо заглянул ему в лицо и, прищурив глаз, двинул его кулаком, как поршнем. Корзубый отлетел к стене. К нему подошли, подняли; матрос прицелился — и снова он отлетел к стене. И в третий раз повторилось то же. Потом они закурили. Кепчонка Корзубого валялась на земле, ее заботливо подобрали, нахлобучили ему на голову. Похлопали по щекам, усадили на пустынное крыльцо. Они не имели намерения мстить и били вполсилы, но считали, что ему нужен урок, хорошо запоминающийся. Один из них вынул из рюкзака буханку белого, отрезал половину и сунул Корзубому в карман. И все ушли. Он остался один на крыльце, сидел с опущенной головой и расставив ноги, чтобы толстые вишневые сопки, как жгуты, висевшие из ноздрей, не липли к одежде. Собственно, в этот день он и стал Корзубым.

Белый конь, пятась, вышел из стойла. По-видимому, его не собирались вести на водопой, а вместо этого занялись подборанием хомута, что было нелегким делом. Корзубый, всхлипывая, притащил пустой ящик и взбирался на него каждый раз, держа хомут, как образ, которым он собирался благословить коня, и каждый раз хомут падал, как бесполезный хлам, в общую кучу. Белый конь сам изо всех сил помогал, вытягивал голову и вертел шеей так и сяк, пытаясь втиснуться в это подобие круга от стульчака, но, право же, это было все равно, что просунуть ногу в горлышко бутылки. Огромный круп коня загородил проход. Какой-то конек, так называемой монгольской породы, приземистый и густо обросший с ног до головы мохнатой шерстью, оказавшись сзади, воспользовался минутой и больно лягнул его снизу крепкой короткой ножкой. Конь вздрогнул и строго посмотрел на него. Постепенно конюшня опустела, фонари погасли. Через раскрытые ворота видны были в сиреневых сумерках силуэты лошадей, в хомутах и седелках, между ними ходили конюхи, заканчивая последние приготовления. Белый конь, моргая, стоял один. Во рту у него совсем пересохло. Неожиданно сверху на чердаке раздался шум, посыпалась труха, и затем нечто бесформенное и громоздкое свесилось из дыры над лестницей. Покачавшись, полегело вниз и с треском грохнулось об пол. Конь, озадаченный, моргал седыми ресницами, глядя на это событие. Показались ноги Корзубого в валенках «бе-у», то есть бывших в употреблении, — он слез, покрытый пылью, и, утирая нос рукавом, потащил за собой через всю конюшню неслыханных размеров изодранный и измочаленный хомут, который годился мамонту. Гужи были такой величины, что он сам мог бы

пролезть в них без труда. Со двора на помощь Корзубому пришли двое: верзила в телогрейке, едва доходившей ему до пояса, тот, который все время кашлял, и еще один старик. Втроем с великими трудами напялили на голову коня древнюю руину, перевернули, обдернули, выпростили из-под хомута запутавшуюся седую гриву и подвязали супонь; на спину коню водрузили седелку с торчащим сверху заржавленным арчаком.

Он был готов. Утро едва брезжило. Но ему не дали времени напиться вдосталь из длинного выдолбленного бревна, оплывшего льдом. В полутьме он двинулся мерным шагом по узкому проходу для лошадей, мимо колодца, обросшего сосульками, мимо сараев, вслед за ушедшими, туда, где сияли огни.

Он увидел то, что отныне должен был видеть каждый день: ворота и выходящих из ворот, в длинных ватных бушлатах, по четыре в ряд (надзиратель махал пальцем — считал ряды), увидел сидящих полукругом псов, бодро облизывающихся, возле каждого стоял солдат, приплясывал и хлопал себя по бокам. Два прожектора обливали площадку перед воротами белым металлическим сиянием; и было видно, как четверка за четверкой, вытолкнутые из ворот, подходили к четырем надзирателям, расстегивались и поднимали руки. Те обнимали их и щупали от подмышек до колен.

Выстроилась колонна до самого поворота — до угловой вышки. Очевидно, пора было уже выступать в путь, но начальник конвоя, проваливаясь в снег, пошел вдоль колонны пересчитывать снова, лично, еще раз. Пересчитывание имело глубокий смысл.

Конечно, никто из них не был настолько тупоумен, чтобы предположить, что кто-нибудь из колонны сбегит во время сложной и каникулярной процедуры утреннего развода, медленного процеживания из ворот, пересчитывания и выстраивания на дороге по ту сторону ограды, под скучающим оглядом надзирателей и солдат, под умными взглядами собак, под пулемётами на вышках, под неподвижным и ничего не выражающим взглядом начальника лагпункта, стоящего на крыльчке вахты и видного всем: бежать было невозможно. И даже тот единственный из тысячи, простреленный автоматными очередями, искусанный овчарками, неукротимый и неисправимый Беглец, тот, для кого не существовало невозможного, даже он, если бы его вывели с этой колонной, выбрал бы для побега другое время.

Но при передаче человеческого поголовья, всей этой рабсилы, как она именовалась в бумагах, от одного символического владельца другому нужно было, чтобы лагпункт не перепоручил конвою ни одного лишнего человека, а конвой — чтобы не недополучил ни одного недостающего; строго говоря, никого не интересовала сохранность общей цифры самой по себе, а важно было, чтобы никто ни за что не отвечал, и этого взаимного недоверия было достаточно, чтобы обеспечить должную бдительность и тем самым соблюсти интересы высшего и незримого Государства.

Ровно столько, сколько убыло по одной графе, ровно столько же должно было прибыть по другой. Ибо каждый из тех, кто только что был

выпущен за ворота, кто вышел оттуда, как на казнь, понунив голову, стараясь как можно дольше растянуть остаток времени до начала работы, как можно меньше торопиться, кому сейчас, совсем как Корзубый своему дохлому коню, кричали то «стой», то «пошёл», то снова «стой», каждый из них был не просто рабочим, одним из неизвестных тысяч и тысяч строителей пирамид, а числился в бумажных ведомостях — числился, как будто подлинной жизнью было это мистическое существование в качестве палочки или цифры, а земная убогая жизнь лишь зыбким его отражением. Числился, то есть состоял на учёте в списках, сводках и картотеках, на фанерке у бригадира, на доске нарядчика, на бирке, приколоченной к нарам; числился в столовой, где он состоял на довольствии, в формуляре у начальника спецчасти, в деле у оперативного уполномоченного, и дальше, и выше, в спецотделе Управления лагеря, в архивах тюрем и пересылок, в Главном Управлении Лесных Лагерей и в Управлении Всех Лагерей. И в совсем уже нереальном Министерстве, в заоблачных высях, которые даже не в силах представить себе обыкновенное человеческое воображение, не в силах постигнуть обыкновенный ум; в катакомбах секретных картотек среди миллионов других имён значилось и его безымянное имя. И все эти дощечки, формуляры, учётные карточки и пухлые, как телефонные книги, следственные дела — они-то и были подлинными цепочки, цепи и цепици, которыми невольники были нерушимо прикованы к лагерю, то есть, в сущности, друг к другу, они, а не колючая проволока, пулемёты и автоматы. И если бы даже пожар спалил деревянный частокол вокруг бараков, если бы часовой-попка уснул со скуки и свалился с вышки вниз головой, а великий начальник повесился в белой горячке в своём кабинете, то и тогда Твердыня Учёта красовалась бы и стояла неколебимо, как Россия; её не в силах было сокрушить ничто и никогда — ни ныне, ни присно, ни во веки веков.

Конь, терпеливо стоявший, стараясь не задремать, не уронить головы, пока не окончится развод, не подозревал, что и сам он состоит на учёте вместе со своим хозяином, со стойлом и хомутом, со всем миром своих дум, с памятью о прошлом и чёрной дырой будущего; что за него уже расписались и даже новое имя присвоено ему. Этой клички он никогда не узнал — не узнаем и мы, потому что к нему, как ко всем этим людям, никто никогда не обращался по имени. Утро медленно занималось, светлело небо, новички, опустив головы, тянулись гуськом, глядя в хвост один другому; впереди покачивающихся мерно лошадиных крупов шагали два солдата-азербайджанца, глаза их, сверкающие, как антрацит, равнодушно озирали унылую окрестность и казались неуместными здесь, в этой лишенной красок и звуков стране; они шагали, скучающие охотники, по снежной дороге, механически сжимая свои автоматы, дула которых опустились книзу, а еще впереди, шагах в двадцати, покачивались плечи и спины последней четверки заключенных.

В хвосте лошадиной процессии, шествовавшей вслед за людьми, кивая короткой головой, послушно семенил мохнатый монгольский ко-

нек, присмиривший от впечатлений. И самым последним, крупно ступая расплюснутыми копытами, с окоченевшим Корзубым на спине, медленно шел белый конь.

Загон, устроенный перед входом в рабочее оцепление, был забит людьми до отказа. Ждали, когда охрана разойдется по вышкам. Конюхи спешили, их дело было довести коней до оцепления и передать возчикам, в загон же им не разрешалось входить, чтобы не путать счет. Наконец, стали впускать в оцепление: первыми пошли возчики, за ними двинулись кони.

Явление гигантского коня, замыкавшего шествие, произвело сенсацию. Все головы из загородки, поворачиваясь, следовали за белым конем, как подсолнухи за солнцем, пока он не скрылся в дощатом сарае, где помещалась кузница. Конь вышел оттуда, подкованный и показавшийся еще выше, кузнец провожал его, глядя на его копыта, а молотобоец, здоровый детина, тоже вышедший проводить, выглядевший шуплым возле белого коня, смотрел на него почти с суеверным благоговением. Стрелки у входа в оцепление и сам начальник конвоя издали глядели на коня. Тут как раз начали выходить из загона; толпа, радостно гогоча, бросилась поглазеть поближе на богатырскую клячу. Что-то сверхъестественное, сказочное и вместе жалкое было в огромной фигуре с седой нечесаной гривой, с выпиравшими под кожей маслаками; конь покорно занял место в конце обоза; и трудно было предсказать, что с ним будет в этот день: он мог, казалось, свезти на себе целый штабель, а мог и рассыпаться при первом рывке, превратиться в громадную кучу костей и ног посреди лесосеки. Загон опустел, и солдаты с закинутыми за спину автоматами задвинули бревна, перегораживающие проход. Властный рык бригадира разогнал работяг. Возчики уселись, вышлюнули мат. Обоз двинулся.

Отсюда до лесосеки было километра два. Оцепление, уходившее рядами вышек далеко в обе стороны, опоясывало всю эту землю: кузницу, мастерские, лесосклад с железнодорожной веткой, широкое сумрачное поле и лес, темнеющий вдаль. Но даже здесь чуткие ноздри лошадей улавливали едва ощутимый запах гари — дым костров, смешанный с запахом талого снега. Этот запах на всю жизнь запоминал всякий, кто побывал здесь, он отпечатывался в мозгу. Так началась жизнь белого коня в лагере, последняя из отпущенных ему жизнью.

Но вот край неба, совсем уже светлый, порозовел, приняв цвет неспелого арбуза, и казался таким же холодным, но с каждой минутой зрел и наливался соком и, наконец, зажегся, вспыхнул огнем и зазвенел! Среди звона и света на снег из-под земли вывалился малиново-рыжий шар солнца. Красный свет побежал по дороге навстречу идущим, отразился на лицах, блеснул на стальных удилах и замерцал в глазах лошадей. День родился и готовился расправить плечи, и старый конь, чую запах зари своими нервными розоватыми ноздрями, всей кожей ощущая этот морозный огонь, щурясь и моргая, почувствовал, как проклятье ночи сваливается с него наземь, и он переступает через него, словно через презренную падаль. Ничего, сказал он себе, еще поживем; ничего. Бывает хуже.

Белый конь стоял посреди делянки. За ним стояли лесовозные сани, двойные, низкие, связанные цепью крест-накрест, возить которые было, очевидно, сушим пустяком. Особый человек разъезжал по оцеплению с бочкой, которая издала казалась облитой патокой, у лошади хвост был весь обвешан, как бубенцами, сосульками, а сам водовоз, в телогрейке, покрытой спереди стеклянной броней, и в таких же, стоявших колом обмерзших штанах, сверкал и искрился, как леденец. Целый день он поливал водой санные колеи, поливал старательно, не темнил, потому что дорожил своим местом и держался за него.

Вокруг уже трещали костры и сильно пахло смолой; на опушке раздавалось равномерное стрекотанье, как будто там тренировались в стрельбе из пулемета. (Лошадям, бывшим артиллерийским тяжеловозам, этот стрекот напоминал войну и Германию.) Вдруг сильный треск резанул по ушам коня; он вздрогнул и обернулся. Высокая сосна, прямо и стройно рисовавшаяся на голубом небе, одна впереди всех деревьев, пошатнулась и стала медленно клониться, но не от ветра, потому что осталась прямой и стройной, — и вдруг, затрещав еще ужасней, описывая дугу, стала падать лицом вперед и грохнулась, разбросав на снегу свою пышную крону. Ветки были еще живые, качались и вздрагивали. Белый конь был поражен: он считал деревья бессмертными. Тайная догадка о великом преступлении смутила его. Быть может, он даже, подобно многим его собратьям, обожествлял деревья. Событие это, однако, ни на кого не произвело впечатления. Возчик, занятый приведением в порядок цепи, даже не поднял головы. Люди облепили со всех сторон убитое дерево: сучкорубы взмахнули топорами, сучкожоги, проваливаясь в снег, потащили к костру охапки ветвей. Моторист, краснолицый здоровый мужик, взвалил на плечо пилу и, волоча за собой черный кабель, полез большими шагами по снегу, подбираясь к золотистому обнаженному стволу, и стал резать его на части.

Конь ждал. Навальщики, с коричневыми от зимнего загара лицами, пыхтя и орудуя вагами, катили вверх по каткам толстые баланы. Бревно за бревном валилось с катков к нему на санки, и все было мало. «Еще давай, еще», — повторял озабоченно возчик, видимо, возлагая большие надежды на необыкновенного коня. Здесь все работали дружно, выкладывались до конца, и никому, по-видимому, не приходила в голову мысль взбунтоваться, плюнуть на план, сойтись всем вместе... А ведь начальство было далеко, и бригадира не было среди них.

Бригадир с помощником вместе коротали время на складе, в инструменталке, где, сытые и в тепле, они играли в домино, лениво отрывивая матерную брань; авторитет их как руководителей производства был несовместим с работой. Здесь же каждый работал, зная, что работает «для родины», то есть ни для кого. Ни, тем более, для себя. Но каждый тащил свою ношу и знал, что и завтра будет тащить, и послезавтра. Он тащил ее, потому что справа от него тащил свой жернов другой, такой же, как он, а слева третий. А те тащили, потому что он тащил.

Возчик рванул вожжи, и конь, склонив шею, толкнулся вперед могучей грудью. Но воз не сдвинулся — казалось, примерз к колеям, пока стоял.

Возчик снова дернул, и снова конь толкнулся; сани не шелохнулись. Белый конь стал топтаться на месте, качаясь вправо и влево, возчик бросился искать корягу, дын, что-нибудь, необходимое, по его мнению, чтобы разбудить ветхого одра и воодушевить на труд... Конь по-прежнему топтался, не обращая внимания на угрозы: он знал, что перегруженный воз нужно прежде расшатать, чтобы он сдвинулся с места; посмотрим, думал конь, еще посмотрим — и все качал и качал плечами оглобли. И вдруг он дернул, упершись в землю всеми копытами, напружив шею и широко раскрыв набухшие кровью глаза, дернул — и сани тронулись. И вместе с ними, шумно дыша, кивая костлявой головой, вбивая в землю копыта, двинулся вперед огромный конь. Он шел, таща за собой скрипучий воз выше себя и раза в три длиннее, а сзади, поскальзываясь в колеях, торопился, бежал за ним возчик.

Лес расступился и выпустил их. Среди снежного поля, под расплывшимся в бледном небе желтым и туманным солнцем, оба сразу уменьшились, уничтожились — лошадь ростом с мышь, равномерно печатающая шажки по узкой полоске санного пути, воз в три спичечных коробка, грузженный карандашами, и семенящий следом крохотный человек в кукольных лохмотьях. Игрушечные вышки, воткнутые в снег через равные расстояния, стояли справа от дороги. Это была граница их мира.

«Но-о!» — скомандовал возчик, погруженный в свои мысли, автоматически, как только прекратился скрип саней; он чуть было не уперся грудью в торцы, продолжая идти за возом: сани стояли как вкопанные. «Чего стал, н-нэ!» — повторил возчик. Он обошел воз, увязая в снегу. Белый конь, мокрый, как мышь, с остановившимся взглядом, странно перебирал на одном месте дрожащими ногами, и худые бока его со слипшейся потемневшей шерстью раздувались и опадали, словно меха.

Он сам не понимал, как это случилось, — сани остановились точно по своей воле. Нет, это проклятые ноги остановились, не спросившись у него, а ведь тут был длинный подъем, больше половины еще оставалось впереди, и он обязан был выложить все, что у него было, всю силу и упорство, и любой ценой допереть доверху; и вдруг стал. Словно глыба гранита свалилась сверху на его воз, вдавив его на полметра в землю.

Ноги дрожали, и невозможно было унять эту дрожь. «Сейчас, — сказал он молча, про себя, — сейчас...». Там, сзади, бесновался и размахивал руками обросший щетиной человек. «Ну?» — спросил конь у своих ног, и ноги пробормотали: «Попробуем». «А ты?» — спросил он у шеи. «Я-то ничего, — отвечала шея, — а вот плечи?»

Он расставил ноги, укрепил их попрочнее и, согнув дугой костлявую шею, дернул, но сани даже не шелохнулись. Он переставил ноги, дернул. Сани и тут не двинулись. Сейчас же что-то увесистое стукнуло его сбоку, ниже крестца. Человек кричал на него. А что ему еще оставалось делать? Он прав, подумал конь. Но раскачивать воз он не решался, потому что, хотя уклон был небольшой, сани все же свободно могли поехать назад, и тогда уж их не удержишь. «Эй, вы», — скомандовал он, а себе он сказал: «Дер-

жись», — и подобрался весь; и вот, нащупав упор, вдавившись в землю четырьмя ногами, вобрал в себя воздух и рванулся изо всех сил. Но сани не сдвинулись. Он опять дернул, потянул изо всей мочи. Они не сдвинулись. «Глупо, — подумал белый конь, — это уж совсем глупо». Возчик, который помогал ему, как умел, по-видимому, успел утомиться и тяжело дышал ртом, опустив дубину. «Спокойно», — сказал конь; внезапно, бешеным рывком, царапая лед копытами, он бросился вперед: передние санки скрипнули, воз качнулся — и не сдвинулся. Теперь он весь дымился, пот, не успевая превращаться в иней, стекал по его бокам извилистыми ручейками. Он решил покачать осторожно. «Только не сразу», — предупредил он и выбрал на всякий случай ямки для упора, если глыба поползет назад. «Ну?» — спросил он главным образом для бодрости. Плечи молчали. Он подождал полминуты, потом глубоко задышал, закивал большой головой, затоптался, думая только об одном: как бы не потерять свои точки упора. И обледенелые оглобли запели и затрещали внизу, в тех местах, где они были прицеплены к крюкам в полозьях. Ему удалось качнуть передние санки («Балу́й у меня, сволочь, затанцевал!» — закричал возчик), и каждую минуту он со страхом ждал, что сани поедут назад; они не поехали; между тем он выбирал момент; весь смысл этого приема состоял в том, чтобы, раскачав, сразу дернуть, и воз не успеет остановиться. Он раскачивал все сильнее, теперь уже не только оглобли — весь воз за спиной у него стонал и пел на все лады. Раз, два — возчик схватился за оглоблю, конь кивал головой все сильнее... три! Рванул! И что-то шелохнулось. Рванул! — на вершок сдвинулись тяжелые сани, — рванул!.. Но больше они не двигались. Примерзли. И он стоял, уронив голову, в глазах пошла зеленые круги, колени колыхались.

«...П о д х в а т!» — заорал, вдруг спохватившись, возчик. «Подхват, подхват!» — взывал он в отчаянии, в страхе и надежде, потому что не сваливать же с воза: бригада живьем сожрет за погибшие проценты, да и не под силу одному разгрузить. «Подхва-ат!..» — и голос его бессильно повис в пустоте, а в полусотне метров, на вышке, солдат-азербайджанец, скупая, притопывал толстыми валенками, смотрел на него и пел тягучую песню.

Что-то показалось из лесу, это трусила лошадь. Подхватник подъехал, подпрыгивая, как мешок на ухабах, — он скакал без седла. Он был тощ и бледен, только большие перепончатые уши, вылезшие из облезлой ушанки, надетой задом наперед, сильно краснели. Свалившись со своего коня, подхватник пустился отплясывать чечетку — грелся. Белый конь тотчас узнал его лошаденку: это был давешний лохматый конек, утренний приятель; возчик схватил его под уздцы — монгол оскалился, замотал головой и начал мелко рыгть снег передним копытом. Возчик молча отвесил ему рукавицей по короткой морде. Конька поставили впереди, подвязали постромки. Сзади белый конь из своих оглобель смотрел на него сверху вниз спокойным безнадежным взглядом.

Ушатый сидел на снегу и тер, кряхтя, свои уши — точно чесался. Старик-возчик гаркнул команду: «...твою мать!» — воздел руку с дубинкой, и началась эта бесконечная глупая маета, бессмысленность которой была

ясна заранее каждому, и только люди этого не понимали: в десятый, в двадцатый раз, надсаживая горло и то хватаясь за оглобли, то отбегая назад, чтобы упереться в бревна, и снова подбегая, ломая свои устрашающие орудия о спины лошадей, старик гнал их вперед и чем больше выбивался из сил, тем становился упрямее. Все было напрасно, хуже того, бессельно — уже потому, что не было слаженности у старого коня, теперь едва державшегося на ногах, и малорослого конька, так что один раз малыш даже чуть не свалился и, вертясь под ногами, махая грязным хвостом, в сущности, только мешал.

«Эх, — сказал Ушатый, сидя на снегу, — батя... Охота тебе. Да мать их в рот и с ихней работой!»

Возчик как будто не слышал его слов: он что-то делал там, за санями — сопя, разгребал снег. И вот, поднявшись и подняв над головой своей то, что он откапывал из-под снега — обледенелую доску, — бросился вперед с новой и невиданной яростью, словно это были не лошади перед ним, а нечто мерзкое и ненавистное, олицетворявшее его собственную мерзкую жизнь. Несчастный конек заметался в постромках, сам белый конь, сильно обеспокоенный, мотал головою и пятился, хомут с дугой стал налезать ему на голову; но все это продолжалось недолго. Доска сломалась, возчик с отворачиванием отшвырнул обломок и сел с размаху на снег, хватая ртом воздух.

«Ну, чего я говорил, — заметил укоризненно Ушатый. — Кончай, батя, в рот их...».

Возчик ничего не ответил, по его лицу стекал пот. Семь лет назад он был приговорен отбывать двадцать пять лет в невидимой стране за что-то, чего он и сам уже не помнил; но теперь он об этом не думал, как не думал вообще о своей прежней жизни: она была ампутирована, ее просто не существовало. Он думал о том, что и у него, и у этого полуветреного ублюдка, сидящего на грязном снегу, один общий враг — производственный план. Возчик думал о работе. Не было ничего на свете ненавистнее работы. «На х... нам этот лес — мы его не сажали!» — изрек Ушатый.

Вдруг он вскочил. «Подлюки! — закричал он. — Едут. Торопятся, хады. Чего торопятся — срок большой!»

Повернув голову, возчик тупо посмотрел в сторону леса: оттуда показался следующий воз. Дорога одна — с колеи не своротишь...

Ушатый заволновался.

«Ты, алё, батя... Ты давай сваливай. Вот что. Дорогу надо освободить».

«А ты-то на что, — отвечал, насупись, возчик. — Я буду разгружать, а ты гузно греть?»

Ушатый открыл черный рот, воззрился на старика. «Ишь т-ты! — сказал он. — Фашист! Не хочешь работать, падлю?..» — «Э-гей, подхват!» — раздался со стороны леса истошный голос. Потом снова: «...а-а!» Там тоже остановились. Ушатый прищурился и смачно сплюнул на старика. «Отпрягай!» — приказал он. Возчик не шевельнулся. Тогда Ушатый сам отвязал свою лошадь, уселся верхом и поскакал к лесу, подбрасывая локти, Старик равнодушно смотрел ему вслед.

Но Ушатый не остановился у застрявшего на опушке воза, а объехал его и скрылся в лесу. Спустя немного он показался снова на дороге, и усердно кивающая, короткая голова монгольского конька стала увеличиваться навстречу неотрывно смотревшему старику. Ушатый что-то вез. Он спрыгнул и полез по снегу в своих опорках, щурясь от дыма и даже не взглянув на старого коня, который с любопытством повернул к нему голову. Ушатый с озабоченным видом подбирал вожжи одной рукой, все так же щуря глаза и отворачиваясь от едкого дыма...

Опомнившись, возчик вскочил на ноги. Но было уже поздно. С непостижимой быстротой Ушатый подцепил обеими вожжами репицу, и хвост приподнялся. В ту же минуту Ушатый, высунув язык, подскочил и воткнул тлеющую головню под хвост белому коню. Конь вздрогнул, как от удара током — запах горелого мяса пронесся в воздухе, — конь рванулся отчаянно вперед, сани затрещали и тронулись.

Возчик поспешил за санями.

«Подхва-ат!» — донеслось из леса...

Белый конь стал привыкать к своей работе; потянулись дни; работа каждый день была одна и та же. Она уже не казалась ему невыполнимой. Возчик узнал его лучше и нагружал ровно столько, сколько можно вытянуть при максимальном напряжении сил. На большом циферблате года, где один день был лишь малой частью самого маленького деления, со скрежетом передвинулись стрелки. Малиновое солнце снегов закатилось — вместо него взошло ржавое, желтое солнце болот, и навстречу ему из разбухшего снега высунулись бурые кочки, выставили плешивые головы старые пни, засверкали лужи, и огромные, обреченные на смерть березы беспомощно заплакали светлыми слезами. Дорога почернела, поднялась и стала проваливаться под копытами; мокрые сани скреблись об нее полозьями. По-прежнему рослый конь тащился со своей поклажей, словно козьяк, посреди широкого поля; но оно уже не казалось, как прежде, пустым и безжизненным. Чуть ли не вдвое увеличилось расстояние от полянок до штабелей лесосклада, и кругом на необозримом пространстве расстиралось кладбище пней.

В мае перебрались в новое оцепление, над которым подготовительная колонна трудилась целых четыре месяца: в густом лесу, где снег в лощинах был по грудь, прорубили широкие, в пятьдесят метров, просеки. Сверху, если бы кто-нибудь пролетел низко на самолете, это выглядело как грубо вырезанный квадратный остров на краю таежного океана; сейчас же вдоль четырех просек начали ставить вышки, построили заборы и проволочные ограждения. После этого дорожные бригады с разных сторон врезались в чащу, они построили там, во тьме и сырости, лежневые дороги, от которых загибались по сторонам усы — ответвления к деланкам; новый ломоть тайги размером в четыре квартала был отрезан, оцеплен проволокой, обставлен вышками и разбит на участки, и уже заранее было подсчитано, сколько добычи можно увезти с каждого участка, и эту цифру удвоили в управлении лагеря, и это был план. И план этот должен был, для того чтобы начальство получило премию, быть перевыполнен. Птицы, вернувшиеся из южных

стран, в испуге разлетались куда глаза глядят, звери панически бежали, заслышав стук топоров, жужжание пил и глухой шум падающих деревьев, и стрелки на вышках автоматными очередями били скачущих через просеку лосей и зайцев — от скуки, потому что некому было их подбирать.

Она была короткой, эта весна, и таким же коротким было лето, которое здесь встречали и провожали, не снимая ватных доспехов, только вместо стеганых вислотадых штанов обитатели тайной страны нарядились в портки из синей диагонали, которая тут же слиняла, оставив чернильные пятна на ягодицах и коленях; и были розданы новые портянки, белые и чистые, которые в первый день весело выглядывали из ботинок, а остальные триста шестьдесят четыре дня были уже как прежде — черные и заскорузлые. Новые башмаки, как ни крепилась, к вечеру превратились в старые; утром перед разводом бригадники заботливо мазали их солидолом. Утро теперь начиналось рано; но еще до рассвета белому коню, дремавшему в своем стойле, чудилось чавканье башмаков по навозной жиже: они шли, эти башмаки, за ним, по его душу, неумолимый звук приближался, и он поднимал свою каменную голову с пустыми черными глазницами — на дне их, как пробудившиеся существа, оживали его глаза, — и, пятась, он выбирался из тесного стойла. В урочный час громадный конь, мерно переступая расплюснутыми копытами, выходил и становился в оглобли.

Уже у него был запал — неизлечимая эмфизема легких. Искривление передних ног, называемое козинцом, которое и раньше было у него, теперь стало особенно заметным. Но рост его не уменьшился. Худой и костлявый, с выпирающими ребрами, он казался еще выше и страшнее. Он проработал в летнем оцеплении всего две недели, упал на лесосеке и был списан с производства в хозобслужу.

Примерно к этому времени исторические предания относят важный политический переворот, происшедший на лагерном пункте, хотя сам по себе случай, послуживший его причиной, не представлял ничего необыкновенного. В одно прекрасное утро растворились ворота, выпуская работяг; позади, как всегда в это время года, раздавалось жестяное громохание самодеятельного оркестра, и под звуки бодрого марша, следом за первыми бригадами, в тусклых солнечных лучах, пятьдесят заключенных вымаршировали ряд за рядом за зону в подштанниках — и больше ни в чем. Должно быть, их воодушевила надежда, что начальство, увидев такое бедствие, задержит, начнется разбирательство — там возня с каптеркой, с бухгалтерией, а тем временем развод кончится, ворота закроют, и удастся прокантоваться в зоне, в согласии с народной мудростью: «день канта — месяц жизни». Но никто не среагировал, начальник конвоя равнодушно поглядел на них — явления в исподнем случались после игры в карты, правда, не целой бригадой, — и псарня, не моргнув глазом, пересчитав, выпихнула их к остальным в колонну. Оттуда раздался великий хохот. Но было холодно. Голос с мусульманским акцентом прокричал обычное наставление: за неподчинение законным требованиям, «попытку к бегству»

конвой применяет оружие. Ясно? Следуй! — колонна двинулась, и их тощие ягодицы, обтянутые ветхой тканью, задвигались в такт, и желтые пятки, по четыре пары в ряд, зашлепали по жиже.

Впереди шагал, придерживая кальсоны, бригадир, он был мрачен. Это он первый заметил, проснувшись от холода, раму, вынутую целиком из окна, она виднелась снаружи, прислоненная к стене барака. Его койка стояла напротив окна. Вся секция была, что называется, подметена под метлу, не осталось и пары рваных башмаков, и со всех сторон, наверху и внизу, с нар свисали, сиротливо почесываясь, босые ноги. Когда же бригадир, заглянув под койку, единственную во всем бараке, посмотрел туда, где накануне вечером стояли вымытые дневальным его резиновые бригадирские сапоги, его гордость, символ власти и благоденствия, то только и смог пробормотать: «Ну, с-суки!..» — но в голосе его прозвучал отдаленный гром. На другой день после марша был плановый выходной, подарок начальника, и какой-то праздник — в столовой, украшенной лозунгами, выдавали премии лучшим производственникам: кусок мыла и двести пятьдесят граммов хлеба; а когда стемнело, толпа, вооруженная кольями, молча двинулась в секцию полуцветных. Песни и пляски и беззаветное шлепанье себя по обтянутому диагоналевыми портами заду под гитарный звон — все смолкло, когда в снях раздался топот — где-то удалось добыть, взамен украденных, вконец разрушенные и списанные башмаки; дверь чуть не разлетелась от удара ногой, на пороге стояли работяги, держа наготове то, что составляло чахлый палисадник, ограждавший главный трап. Мрачный голос гаркнул: «Под нары!» — в одно мгновение все очутились под нарами, несколько старших блатных сидели на своих местах, глаза их бегали. Потом вдруг погасла лампочка, и во тьме послышалось что-то вроде хриплого лая.

Спустя несколько времени маленький, щупленький, незаметный работяга, из тех, чьего имени никто никогда не помнит, войдя в столовую, где уже окончилась торжественная часть и началась самодеятельность, пробрался между рядами и, толкнув фельдшера, сидевшего на почетном месте позади начальства, сообщил кратко: «Заберите», но когда фельдшер с лепилой, ворча и бранясь, явились все же в барак, понуждаемые профессиональным долгом, то могли лишь увидеть впотьмах, что забрать «это» не только четырьмя, но и двадцатью руками невозможно.

Несколько человек похоронили. Утром унылая процессия покидала лагпункт: одни ковыляли, обмотанные тряпками и бинтами, опираясь на руку товарища, другие тряслись в телегах: их переводили в другое место, большинство держало путь на больничку. И умный белый конь, влачивший дроги во главе траурного обоза, размышлял о бренности власти, о недолгой славе земных владык.

Привалило работы уполномоченному и стукачам. Оживилась переписка инстанций. Пятьдесят дел в новеньких синих папках было заведено — на всех членов бригады, дождавшейся-таки отдыха: ибо все пятьдесят сидели в кондее. Но олигархическая власть духариков и цветных была

свергнута. Ближайшим результатом этих событий было то, что по всей стране Лимонии издан был строгий приказ убрать палисадники со всех лапунктов.

С августа начал лить дождь. Однажды начавшись, он уже не мог, не имел права в силу какого-то установления остановиться и лил, не иссякая, до октября, когда ему надлежало превратиться в снегопад. Стрелки года завершали свой круг, из долгих сроков вычиталась одна костяшка, а белому коню казалось, что уже целую вечность он взирает на длинные нити дождя, струящегося из облаков. Бог весть, с каких пор он идет-плетется по разбитому ступняку, среди тусклой равнины, проваливается в грязь, вылезает — и все тащит за собой двойную, соединенную цепью крест-накрест вагонку. На вагонке стоял ящик. Экипаж катился, поскрипывая, по еловым лежням, и, когда подъезжали к яме поглубже, конь становился копытами на скользкие лежни, словно выполнял сложный цирковой номер. Некому было аплодировать! И таким способом, вытянув шею, работая лопатками, перебирался мелкими шажками над бездной, волоча вагонку. Дождь желтыми ручьями, как по желобам, стекал у него между ребрами, капал с челки и длинной, похожей на старые водоросли гривы. В ящике, за высокими бортами, раскачивался мокрый картуз Корзубого. Из конюхов он тоже был переведен в службу.

Следом за ними тащились под дождем еще две подводы. Когда подъехали к складу, длинному навесу, наспех построенному между рыжими холмами опилок — здесь прежде была пилорама, — когда загрузили все три ящика доверху осклизлыми, черно-желтыми кочанами капусты, расписались на фанерке у бесконвойного сторожа и перепрягли лошадей, то есть отцепили оглобли от передних крюков, перевели коней назад и снова прицепили, то уже начало смеркаться. Теперь вагонка Корзубого оказалась последней.

Решили напоследок погреться у костра. Сторож жил возле навеса, в какой-то щели из досок; здесь был растелен его отсыревший тулуп. Целые дни он проводил в одиночестве, отдыхал вволю, а в зону являлся только за сухим пайком. Все кругом, казалось, пропиталось водой, все протекало и хлюпало, но зато — не работать!.. Квартал был пустынный, заброшенный с тех пор, как в нем не осталось больше ни одного дерева, и не верилось, что полгода назад на месте желтой, залитой водою равнины стояла лесная чаща, темная, как ночь. Остались только потемневшие от сырости холмы опилок, разбросанные повсюду щепки и чурбаки, клетки штабелей, утопнувшие в болоте, и пни, пни до горизонта; да еще провалившаяся насыпь от узкоколейки, по которой укатило все это лесное царство, а взамен него, в уплату, привезли сюда черную капусту.

...И они упали, эти деревья-гиганты, но не так, как падали их предки, помнившие Сусанина, и прапрапредки, которым летевшие с юга птицы, усталые и возбужденные, рассказывали, как с восхода, из Азии — они видели — поднялась туча пыли, оранжевые облака закрыли небо, и тогда услышали донесшийся из желтой тьмы глухой дробный топот — это неслась конница татар.

Нет, они упали не от старости, как те, кто раньше рос на их месте, и не для того, чтобы уступить его молодым, — а рушились одно за другим, валились, круша подлесок, под зычные возгласы повальщиков на родные мхи, откуда два века назад они поднялись тонкими стебельками у подножья отцов. И сейчас же люди обступали их со всех сторон: обрубщики рубили им руки, раскряжевщики пилили на части их тела, сучкожоги стаскивали в кучу и жгли их богатый убор. А там уже навальщики, покрякивая, катили смолистые бревна по гнущимся от тяжести каткам, которые каждый раз подпрыгивали, когда балан валился на повозку. И лошадь вздрагивала и поворачивала голову каждый раз. А там маркировщики метили древесину черной краской по торцу, контролеры отбивали баланы молотками, и перепачканные смолой укатчики накатывали их в штабеля, высокие, как дома; ночью, в сиянии прожекторов, грузчики, хрипло вскрикивая, грузили их на платформы и в полувагоны. Из паровозной будки выглядывал бесконвойный машинист, и бесконвойный стрелочник переводил стрелку. Лес уезжал — на волю, как думали люди.

Лес предназначался для шахт и оставался там, под землей, исчезал весь, сколько бы его ни привозили. Но и под землей смолистый непобедимый дух был так силен и опьяняющ, что тамошним заключенным казалось — дерево пахнет волей. А другие составы направлялись на север. Здесь все: и железная дорога, и порт, и город, раскинувшийся вокруг, — было построено заключенными, и у тех, кто грузил лес в трюмы, были тоже вместо паспортов формуляры. И для них эти литые, круглые, желтые, как масло, брёвна пахли не потом человеческим, даровым, не Указом и Пятьдесят восьмой, а зеленой чащей, соком земли — волей. И пароходы, уходящие за море, приветствуя родину прощальными гудками, увозили запах воли в чужие страны.

Дождь, как старческая слеза, сочился с неба, но Корзубый, сидевший на кочанах, знал твердо, что не следует торопиться, иначе погонят еще в один рейс. Он отстал от передних подвод — хоть и те не спешили — и под конец вовсе потерял их из виду, так что когда впереди показались в мутных пеленах дождя какие-то дроги, он понял, что передние уже успели миновать стрелку — единственное место, где можно было разехаться встречным. «Подождать не мог, сука», — выругался Корзубый. Встречный экипаж оказался бочкой, и человек, стоявший на передке с вожжами, был известный всему лагпункту усатый дед, или Ус, как называли кратко тех, у кого хватало терпения возделывать под носом у себя эту растительность. Грязная, пахнущая его специальностью куртка старика, брюки, стоявшие колом, и выставленные вперед руки с вожжами, такие же черные, как длинная ручка ковш, торчавшая за его спиной из бочки, — все это, неутомимо приближаясь, двигалось навстречу белому коню как бы само собой, собственной силой, подталкивая перед собою некое существо с кривыми дрожащими ногами и нелепо висевшей между ними большой головой — чахлого и облезлого одра, навсегда, казалось, утратившего интерес к жизни. Белый конь, моргая, с трудом узнал в нем конька-монгола, такого бойкого и задиристого в эпоху их первого знакомства. Теперешняя их

встреча была подобна встрече на канате: одноколейная лежневка была единственной твердой почвой посреди широкой и мертвой равнины с торчащими из воды пнями. Лошади остановились, возчики спрыгнули в грязь и стали кричать и махать руками.

С высоты своего роста белый конь с болезненным участием смотрел на товарища. Тому все было безразлично. С полузакрытыми глазами, точно спящий, он сошел с лежневки — старик тащил его под уздцы — и поплелся, бессильно переставляя ноги, между кочками. Следом тележка нехотя соскочила с жердей, бочка качнулась, плеснув коричневой жижей, нырнула вбок и съехала в трясины; ковш гремел и болтался в ней, как ложка в стакане. «Пошел!» — Корзубый тронул своего коня. Конь шагнул вперед и остановился: ящик с капустой зацепился углом за бочку. Пока, отцепив оглобли, переводили громадного коня назад, цепляли и оттаскивали обратно вагонку, пока перецепляли снова и, погружаясь башмаками в грязь, крихтя, поднимали соскочившие с жердей стальные катушки колес, пока бранились и пререкались, прошло не меньше часа.

Корзубый, уезжавший, свесив ноги с ящика, быстро потерял из виду бочку и ассенизатора, хлопотавшего возле своего оцепенелого коняги, тщето понукая его так и эдак втащить тележку обратно на лежни. Все затянуло паутиной дождя.

Белый конь шагал в глубокой задумчивости, привычно глядя себе под ноги, хотя помнил наизусть все ловушки — топкие места и покрытые водой ямы. С той поры как пошли дожди, дорога разрушалась с каждым днем. С досадой вспоминал он о далеких временах, когда глаза его одинаково зорко видели днем и ночью. Несколько раз он споткнулся, вызвав неудовольствие седока, а один раз даже увяз копытом в расщелине между ступняком и шпалой — толстой плахой, к которой приколочены были лежни. Оба — конь и возчик — мечтали только о том, как бы скорей добраться.

Он дошел до стрелки, той самой, где усатый Ус разминулся сколько-то времени тому назад с передними возами. Сейчас ее едва можно было различить в густеющих сумерках. Возчики, должно быть, уже давно доехали до лагпункта. Задремавший под равномерное чавканье копыт Корзубый пробудился и заорал сверху. Конь не двигался, и, свесившись с ящика, Корзубый разглядел, что стрелка не то что не переведена, а разрушена вовсе: одна лежня, измочаленная, валяется в стороне, другой совсем нет. Он спрыгнул и полез вокруг, ища недостающую лежню, не сумел выдернуть ее из топи и вместо неё положил какую-то другую жердь; сморщился, харкнул команду — конь недоверчиво покосился и тронул копытом дно. Помедлив, тронулся; в ту же минуту раздался треск, тонкая жердь сломалась. Ящик сразу осел одним боком. Белый конь стоял по колено в воде, раздумывая, попробовать ли ему проташить вагонку вперед в расчете, что она проскользнет по обломкам на крепкую лежню, или обождать, пока Корзубый что-нибудь придумает. Корзубый придумал: он притащил полено, сопя, стал подсовывать под увязшее колесо. Он долго возился там, поругиваясь вполголоса, наконец, выпрямился и, не спуская глаз с утонувшего колеса, тронул вожжи. Конь нажал грудь. Колесо показалось из воды, стало на-

лезать на полено, сейчас же полено ушло вглубь, за ним колесо, беззвучно, как рыба в воду. «Сука, хад!» — выкрикнул Корзубый. Он бросился подкладывать обломки ступня, колья и коряги под тонущие колеса. Белый конь стоял, погрузившись всеми четырьмя ногами в трясины, оглобли и дуга вздыбились над ним, хомут, туго засуспенный, давил ему снизу на шею. В полутьме сквозь нити дождя смутно белел его огромный круп, ящик, казавшийся длиннее и выше, темнел, как катафалк. Слышалось озбоченное шмыганье Корзубого и захлебывающееся чавканье его башмаков. Он отцепил оглобли, конь, с трудом вытаскивая ноги, выбрался из трясины, и вдвоем они отправились вкочкам, путаясь в вожжах и волоча оглобли, — в обход воза, тянуть его задним ходом. Не тут-то было. Белый конь хоть и стоял теперь на прочном, более или менее, ступняке, но стоило только дернуть, как передние колеса, увязшие первыми, вместо того чтобы вылезти, опустились еще глубже, увлекая за собой опорную крестовину под ящиком; идея Корзубого вытянуть сзади была ошибкой; ящик накренился, как гибнущий корабль, вилки капусты посыпались в грязь. Корзубый плюнул, сошел с лежневки; качаясь и растопырив руки, добрался до ящика, отцепил правую оглоблю. «Давай, давай, ну!» — приговаривал он, упершись руками в мокрое бедро коня и стараясь столкнуть его вбок. Белый конь, недоумевая, сошел с дороги. Тотчас ноги его ушли в топь. Он, наконец, догадался: Корзубый хотел вытащить правые колеса за левую оглоблю, но и это было ошибкой. Конь понимал, что это ошибка. Но люди никогда не считались с его мнением. «Но!» — скомандовал Корзубый. «Н-но, х-хад, подлючий потрох!» — озлившись, крикнул он медлившему коню, и пришлось подчиниться: он дернул, и случилось то, чего он опасался. Колеса поднялись на мгновение из воды, воз качнулся и сейчас же, громыхнув, осел другим углом — соскочили левые колеса. Теперь катафалк медленно опускался, погружаясь в трясины всеми колесами.

Было слышно, как шелестит дождь. Конь стоял неподвижно в грязи. Корзубый, сидя на мокрой лежне, плакал. Корзубый поднял голову. Он поглядел на светлую полосу над горизонтом, но у него уже не было надежды: старик, если бы он возвращался этой дорогой, был бы давно здесь. Старика не было. Старик поехал на кладбище опорожнять свою бочку: туда, где среди желтых луж торчат колья с дощечками, много кольев — до самого края. На каждой дощечке чернильным карандашом номер формуляра. Номера расплылись, и колья покосились в разные стороны. И тяжкое зловоние над всем полем... Время позднее. Он давно уже вернулся по другой дороге, если сам не потонул. Бросил его усатый старик. А сам Корзубый разве не бросил тогда старика одного — а ведь тот уступил ему дорогу. Вот так везде и всюду, везде и всюду закон один: ни на кого не надейся. Не жди добра ни от кого. Кому ты нужен?..

Послышался всплеск — сосущий, хлопнувший звук, как будто вытащили руку из теста: это конь, озябнув, переступил онемевшими ногами. Потом, тряся гривой и фыркая, боком, с усилием выбрался из болота и стал на лежневку. Одна оглобля осталась неприцепленной.

И тогда Корзубый медленно поднял глаза. В темноте они встретились с другими глазами. Взгляд коня был глубокий, влажный. Во тьме глазниц он как будто мерцал и светился; конь смотрел на него, словно собрался, наконец, сказать ему свою длинную, страстную речь, и Корзубому стало не по себе. Но это длилось недолго. Ярость охватила его, внезапно и целиком, как огонь охватывает солому: он увидел своего врага, виновника всех несчастий. Он затрясся, подскочив к коню, пнул его ногой, схватил конец оглобли, лежавшей на земле, зацепил его за крюк, спрыгнул с лежневки, с необыкновенной силой выхватил откуда-то из-под низу рогатую, чудовищной толщины корягу и стал с размаху рубить по чему попало — по крупу, по холке, по вскидывающейся ошалелой морде, пока не изломал и не искрошил свою дубину. Обломки рогов полетели в грязь. Колеса выпахали трясину, так что она превратилась в бездонную чашу, до краев полную черной жижей, — вся передняя часть похоронной колесницы ушла туда. В темноте раздавалось тяжелое дыхание человека. Белый конь, облитый жарким потом, не чувствовал дождя. Глаза его, вылезшие из орбит, медленно моргали. Из раскрытого рта вывалился язык. «Ну и хуй с тобой, — пробормотал Корзубый, — околевай, сволочь...» Он повернулся и, пошатываясь, побрел прочь, мимо ящика и едва белеющих разбросанных и разбитых вилок капусты. Конь остался стоять, опустив голову; дождь шелестел, не усиливаясь и не убывая.

Он почувствовал человека. Открыл глаза: Корзубый держал его под уздцы. Оглобли были отцеплены. Вдвоем, увязая в болоте, они обогнули ящик, взобрались спереди на лежневку. Они оказались слишком впереди, пришлось пятиаться. Задние ноги коня опустили в трясину. Он не обращал внимания. Другого выхода не было: надо было браться и тянуть — в десятый, в пятидесятый раз собираться с силами и тянуть вперед. Впереди была лежневка, твердая земля.

Однако зацепить оглобли за передние крюки оказалось непростым делом. Все утонуло в грязи, ящик съехал вперед, закрыв собой колеса, — не на что встать. Корзубый погрузился по пояс в холодное месиво. Он нащупал в глубине крюк, другой рукой он тянул к себе оглоблю, и конь, в грязи по самые заплюсны, осторожно переступал ногами, чтобы не примять маленького человека, копошащегося под самым его хвостом. Корзубый прицепил сначала одну, затем другую оглоблю и вылез. Грязь стекала с него, как варенье.

«Ну», — просипел он.

Гигантское костлявое тело зашевелилось в оглоблях. Конь пригнул шею, задвигал крупом, ища опоры задним ногам.

«...давай, давай», — шептал Корзубый, точно молился.

И конь надал. Он нажал грудью, выгнув шею и уставившись в одну точку мерцающими в темноте глазами. Ящик вздрогнул, но сейчас же ноги коня стали уходить еще глубже. Он отпустил, переждал с полминуты, не больше, переступил где-то там, на зыбком дне. Вновь набрал полную грудь воздуха — и нажал. Внутри у него, он чувствовал, звенела и дрожала высокая струна. Он отпустил, тяжело дыша. Рядом тяжело дышал Корзу-

бий. Потом губы его снова зашевелились. Но белый конь не стал нажимать еще раз. Вместо этого он неожиданно весь ослабел, обмяк, голова начала опускаться, отвисли губы — вот-вот упадет, — и вдруг, широко раскрыв сверкнувшие глаза, он бросился вперед. Он хотел застать злую силу врасплох.

Но она была начеку.

Ах, вот как, подумал конь. Он снова прыгнул, разбрызгивая грязь, и сразу порвал все струны. Мысли погасли. Какие-то птицы с красными клювами пронеслись перед глазами.

Он прыгнул. И потом опять прыгнул. И еще раз рванулся. А потом покачался и снова ринулся вперед, как зверь. Упал, опять поднялся.

«Стой! Стой!» — кричал ему возчик.

Огромное тело билось, вздымая фонтаны грязи, и все глубже уходило в трясины, путаясь в упряжи, увлекая за собой сломанные оглобли. Остановившимися глазами, птясь и отступая в болото, Корзубый глядел на торчавшую из черной бездны гигантскую голову с хомутом, налезшим на глаза, которая все еще рвалась вверх и кусала воздух оскаленными зубами.

Он заметил, что это были вожжи. Вожжи, которые он не догадался отцепить, и теперь они запутались за передние ноги и тянули вниз захлебывающуюся голову. Суки! ебанные в рот!.. Он весь вытянулся, стараясь дотянуться до кольца, до хрипящей пасти. Да нет, куда там. Надо лезть туда, к нему, и там вместе с ним. Это удалось ему после долгой борьбы, но, когда, почувствовав, что ноги неожиданно освободились, обессиленный конь, не веря сам в свое спасение, стал выбираться из топи, он задел впопыхах, в черной каше, копытом что-то мягкое и подвижное, копошившееся вместе с ним.

Он и потом не верил и не понимал, как это могло случиться, когда стоял, весь облепленный грязью и полуслепший, в изумлении и горе уставая на черную пропасть, где исчез Корзубый.

Он стоял, возвышаясь на темном небе, и все ждал, не покажется ли оттуда знакомый рваный картуз. Но хозяин ушел, ушел навсегда, и он не мог последовать за ним, потому, должно быть, что сам он был бессмертен, хоть и не знал этого. Дождь перестал, и запах звезд, тонкий, неуловимый, коснулся его ноздрей. Конь заржал, но никто не услышал его плач. Черным видением приблизился и встал над болотами лагерь, и на вышках зажглись прожектора.

ДОРОГА НА СТАНЦИЮ

В толпе народа нарядчик, рослый мужик, выбрал меня, оттого ли, что я первым попался ему на глаза, или потому что стоял у вахты с пустыми руками. А кругом ждали: кто с самодельным сундучком, кто с торбой, а кто и с чемоданом. Богатого мужика сразу по чемодану узнаешь, по верёвке, которым чемодан этот обвязан. Пустой чемодан кто станет обвязывать?

«Ты! — сказал, подходя ко мне, нарядчик. — Вон того, с узелком, понял? Проводишь до станции. Не отходи от него, понял?»

«Ась?» — сказал я.

«Да ты что, глухой?» — рявкнул нарядчик.

Пришлось подчиниться. Наше дело такое — слушай да помалкивай, на то они и начальство.

Всё было кончено. У каждого в подкладке лежал билет и справка, где всё расписано: кто ты, и когда, и на сколько лет, и статья. Прибыв на место, прежде всех дел, явиться в милицию, дескать, вот я такой-сякой, вот мой чирьями покрытый загривок, вешайте хомут. По справке выдадут паспорт. А дальше что? Дальше никому из тех, кто сейчас переминался с ноги на ногу, ожидая, когда отворят ворота, неведомо было, что их там ожидает. Никто толком не знал, что он будет делать на воле, где и с кем будет жить. Все давно отвыкли от той жизни, и никто её себе не представлял.

По дороге нас то и дело обгоняли. Какой-то мужик из чёрных, в лохматой бараньей шапке, сопя волосатыми ноздрями, чуть не спиб меня с ног своим сундуком.

Я проворчал ему вдогонку:

«Полегче ты, морда...»

Тотчас он остановился.

Почувяв неладное, я хотел обойти его сторонкой. Мой напарник послушно следовал за мной.

«А ну-ка ты, пахан...»

«Ась?..»

«Ты глухой или нет? Хади сюда».

Я подошёл.

«Закурить есть?»

Я полез в штаны — и в один миг кисет вылетел у меня из рук, перед глазами вспыхнуло, и я с размаху сел на землю.

«Паскуда! — наставительно произнёс в бараньей шапке. — Теперь будешь вежливая, сука...»

Вот так: с чего началась когда-то моя лагерная жизнь, тем и кончилась. Да и то сказать, много ли сил надо, чтобы скovyрнуть с копыт такую старую трухлявину.

У меня гудело в голове и ныли ягодыцы.

«Сейчас пойдём, — сказал я, — обожди маленько...»

«Тебя в лагере били?» — спросил я, когда мы стали спускаться с горки. Вокруг нас рос всё такой же чахлый кустарник, и до станции было далеко.

«А то как же», — сказал слепой.

«А мне так в первый же день обломилось. Вот как сейчас помню. И не верится, что столько лет прошло».

Я стал рассказывать.

«Пригнали нас зимой — этап триста гавриков. Все с одной тюрьмы. Суток десять тряслись в столышине, потом в теплушках, — ехали, ехали — приехали. Вылезай! Вылазим: братцы... Куды ж это нас загнали... Кругом тайга, сугробы, конвой, вагоны оцепили, автоматы наизготовку, пулемёты. Цельная армия. Собаки гавкают... Ну, разделили нас на две половины, восемьдесят рыл отобрали, остальных в сторону. Слышим: стройся! по четыре! Пошли пересчитывать. Сосчитали. Колонна, внимание! За неподчинение закону-требованью конвою! Попытку к бегству! И прочее... Следуй!.. И потопали мы — аккуратно на старую пересылку — может, помнишь».

«Помню, — сказал слепой, — как не помнить».

«Впустили нас. Ладно. Побросали мы на снег свои узлы — у многих ещё с воли тряпки были оставши. Стоим, осматриваемся: бараки, из труб дым идёт, ничаво, жить можно. Подходит помнарядчика, красный, морда что твоя задница: чего, говорит, ждёте тут, землячки? Я и скажи ему: мол, ждём у моря погоды. — А вы что, порядка не знаете? — Не знаем, говорю, ваших порядков, а только, мол, не худо бы сначала в столовую, почитай, третьи сутки не жрамши. Что это, говорю, за порядки. — Хорошо, говорит, сейчас я тебе наши порядки объясню. — Подходит ко мне, эдак не спеша, и раз в ухо! Ну, я удивился. За что, спрашиваю. — А за то, чтобы пасть свою не раскрывал, падла! Повернулся и пошёл... Слушай, — перебил я свой рассказ, — давай посидим маленько. Ноги у меня — мать их за ногу...»

«Ладно, — сказал слепой. — Только недолго»,

«Вечером отвели нас в секцию, ночуйте, говорят. А там ни нар, ничего, по углам иней. В окнах фанерки вместо стёкол. До печки дотронуться бо-язно, руки обморозишь. Ну, а мы и рады: всё не на улице. Ладно. Только это улеглись, смотрим — дверь настезь, и входят два пацанёнка. Жиденькие такие; один ко мне подошёл, так на нём бушлат — чуть не до колен — весь в дырках, и руками его придерживает, чтоб не распахнулся. Потому как у него под бушлатом голое тело. Проиграл, знать, всё дочиста... Подходит и говорит: дянька, говорит, ты спишь? — Ну сплю, а тебе что. — Дянька, дай-ка я у тебе посмотрю, чего там у тебе в сидоре. — А сопливого мово, говорю, облизать не хочешь? Положь, говорю, мешок на место! — Молодой я ещё был, на язык острый... — Ишь, говорю, чего захотел, паршивец! Катись откуда-то пришёл, а то сейчас встану и живо штаны спущу. — Ой, дядя, да ты, оказывается, шутник! — Смотрю, ещё подходят, повыше росточком, и ещё, и в дверях уже стоят... а пацаны эти, мелочь, ровно клопы, так вокруг и шныряют. Наши-то никто ни гу-гу, будто в рот воды набрали. А те знай себе шерудят. Старик один со мной рядом лежал, так он сам снял ключ с шеи, гля-

жу, сундук свой уже отпирает. А сам тащил этот сундучище на хребте своём, еле живой добрался. Оглядываюсь я — а уж мешочка мово как не было. Ау... Шмотки у меня были, между прочим, хорошие: две рубахи совсем ещё целые, гали новые — в камере с одним махнул на одеяло. Всё улыбнулось... И так меня, это, зло взяло. Ребята, говорю, что ж это вы делаете. Своих же товарищей грабите! Отдайте мне хоть рубаху — говорю. Такой тут хохот поднялся... Что с тобой, говорят, папаша, аль с луны свалился? Ка-кие тут тебе товарищи!.. Аккураг мне, это, припомнилось, как на меня следователь орал. Я его спервоначалу тоже по запарке товарищем обозвал. Товарищ следователь, говорю, разрешите, я объясню. А он мне: какой я тебе товарищ, тебе товарищ брянский волк. Я-те такого товарища дам... Так и тут. Это, говорят, папаня, только на воле товарищи бывают, да и то смотря кто. А здесь всё от зубов зависит. У кого зубы длиннее, тому и кусок достаётся. — А у того, кто говорит, передних-то зубов и нету — знать, выбили... Ах вы, говорю, сучье племя, кусошники вонючие, мародёры, мало вас, сволочей, наказывают! И сразу смех утих. Тишина такая... смотрю, шобла эта расступилась, подходит ко мне хвигура. О-го! — говорит, — какие к нам рысаки приехали. Вставай, сука. Подымайся, кому говорят! — Чего это, говорю, мне и здесь хорошо. Это я так, говорю, пошутил. — Ка-ак он заорёт, мать честная... П о д ы м а й с я , п а д л и н а ! Выволокли меня в сени... Погоди, дай отдохнуть».

«Ну, пошли, что ли».

«Эх, — пробормотал я, поднимаясь, — старость не радость... И куды нам спешить? Всё равно раньше ночи поездов не будет».

«Здорово он тебя шуранул».

«Кто, черножопый?... Не, это не от этого. У меня ноги сами собой болят. Ещё пока сижу, ничаво. И до другого барака дойду, тоже ничаво».

«А дальше?» — спросил слепой.

«Дальше что — ясное дело. Отметелили меня, будь здоров — обратно еле приполз. С носу текёт, зубы — которые сочатся, которые шатаются; здесь саднит, там хрустит; сижу, бока свои щупаю. Кругом уж все спят, умаялись с дороги. Тут старик — сундук у которого — ко мне пододвигается, шепчет: ну как? Цел? — Цел, говорю. Всё равно, я это — говорю — так не оставлю, я на этих собак жаловаться буду. Буду писать аж до самого Верховного Совета! — Старик на меня поглядел, поглядел. Спрашивает: ты на воле кто был? Чай, из деревни, колхозник? — Колхозник, говорю, а что? — По Указу? — Да нет, говорю, какой ещё указ? — Я ещё тогда про Указ и не слышал. — Пятьдесят восьмая? А за что? — А я и сам не знаю, за что. В войну у нас немцы стояли. Так потом, когда наши вернулись, сразу полдеревни забрали. Пригнали три машины, и ау, поминай как звали. — Старик молчит. Потом полез в свой пустой сундук, достаёт какой-то лоскуток, на, говорит, утрись. Высморкнись... Эх ты, говорит. Взрослый мужик, а ума не накопил. Чего ты рыпаться, чего вперёд других лезешь? Хвост подымаешь. Тебе больше других надо? Жаловаться собрался. На кого? На всех не нажалуешься. Тут этой шоблы, знаешь, сколько? — косяками ходют. Их сюда тоннами сгружают, эшелонами возют — не перевозют. Тут поллагпункта в законе, а другая по-

ловина — шестёрки, вóрам кашу варят. Тут закон — тайга, медведь — прокурор. Это за проволокой, заключённые, а снаружи и вовсе одно зверьё. Жаловаться... Куды ты полезешь жаловаться, ты на всём свете один. Сиди да помалкивай... — Ну, я, пожалуй, того, присяду», — сказал я слепому.

Справа кювет, слева дорога. Мы молча плелись по обочине, держась друг за друга. Замечтавшись, я вспоминал один за другим те далёкие годы. Может, они мне приснились?

«Приеду домой, вот матка обрадуется», — ни с того ни сего горделиво сказал слепой.

«Ась?» — я очнулся.

Впереди, за поворотом, опять потянулась дорога, за кюветом по правую руку торчали облоданные деревья, пни. Как же, подумал я, обрадуется; есть чему радоваться — без глаз-то.

«А ты ей писал?»

«Про чего?»

«Ну, про это самое. Про свою жизнь».

«Не, — сказал слепой, подумав. — А чего писать? Сама всё и увидит».

«А баба у тебя есть?»

«Была одна...» Он поправил на спине мешок переложил палку из одной руки в другую...

«Ну и как?»

«Что как?»

«Как ты насчёт её располагаешь?»

«Насчёт бабы-то? Да никак. Не поеду я к ней, на хрена она мне сда-лась».

«Жена она тебе?»

«А то кто же».

«Ну, и ехал бы».

«Не, не поеду. На хрена мне... Я лучше к матке».

«Да, — вздохнул я. — Каждый, конечно, рассуждает, как ему лучше. Я вот тоже. И так и сяк прикинешь. И всё на одно выходит. Я так думаю, что нам с тобой, брат, по-настоящему не вперёд надо теперь идти, а назад. Вот куда топтать надо, по-настоящему-то. Я уж который месяц думаю: ну, освободят меня. А куды я пойду? В деревне, чай, никого уж и не осталось. И что я там буду делать, кому я там нужен?»

«Зато на воле».

«На воле? А что в ей, в этой воле? На воле тебе пайку хлеба не поднесут. И одежу не справят. А ещё жильё надо, и прописаться, и чёрт-те что. И куды ни сунешься, всюду на тебя пальцем будут тыкать, ты, мол, такой-сякой немазаный, изменник родины, вали отсюда... А в лагере я, к примеру, дневальный: убрал свою секцию, печки истопил, потом работяг встретил, начальству баланду принёс. И лежи себе на койке, отдыхай. В лагере у меня крыша над головой, и харч, и все меня знают. Нет, я человек старый, мне польку-бабочку не танцевать. И бабы мне не нужны. Ничаво мне не нужно! На херá мне ваша воля... Я, может, всю жизнь одну загадку разгадывал: что человеку нужно? А ему ничаво не нужно. И мне не нужно. Вот сейчас доведу

тебя до станции, а сам пойду назад проситься. Возьми меня, скажу, начальник, сделай милость, нет у меня дома, здесь мой дом, мать его за ногу со всеми потрохами!»

Я разволновался и теперь уже никак не мог успокоиться.

«Постой, дед, не шуми, — сказал слепой. — Неужто тебе хоть на старости лет на жизнь-то поглядеть не хочется?.. Да ты не садись, пошли».

«Не пойду я! Куда я пойду? Ничаво мне не нужно!»

«Глупый ты, дед, — сказал слепой, подождав, когда я отдышусь. — Чего ты заладил? Хуже лагеря не будет».

«Всё одно, не сейчас, так потом, а я вернусь», — убеждённо сказал я.

«Ты, дедуля, не торопись. Мы, может, ещё все сюда вернёмся».

«Это как же?»

«А вот так. Только мы не печки топить вернёмся. И не баланду носить. Мы вернёмся писарей ловить. Ты на меня не смотри, что я такой, — сказал он вдруг, уставившись в небо. — Я хоть такой, да всех помню. И другие помнят. Мы их всех, гадов, разыщем, выловим их, сук, всех до одного! И за яйца повесим».

«Кого это?» — я не понял.

«Писарей! Тебя, я смотрю, ещё учить надо. Ты вот сам своими шариками сообрази. Положим, ты оттянул червонец — по какому такому закону? Кто его, закон этот, выдумал? Кто тебе срок намотал, на горбу на твоём кто десять лет катался? А?.. Может, бригадир? Или надзиратель? Не-ет, и они, конечно, виноваты, это уж само собой, и много ещё виноватых, да не в них главная суть. А вот те, кто п и ш у т, — вот от них всё зло. Их и не слышать, по конторам сидят, суки поганые. Сидят и пишут... На чужом х... в рай хотят въехать! Пишут, а народ мучается».

Помолчали. Я не стал ему перечить.

Эх ты, хотел я ему сказать. Уж молчал бы. Кому, кому, да не нам с тобой кулаками размахивать. Разбираться, кто прав, кто виноват. Наше дело такое: помалкивай.

Я поглядел по сторонам. Нехорошо мне было, не по себе. Где-то внутри мутило, голова налилась свинцом. До станции было далеко. Кругом кустарник, чернолесье, да лужи болот, да жёлтая трава. Да ещё низкие облака над лесом. Русь наша, матушка...

Я споткнулся и вдруг сел на землю.

Слепой остановился. Потеряв мою руку, он растерянно тыкал палкой перед собой. Мешок висел у него за плечами.

«Ты, алё, — сказал он, беспокоясь. — Где ты, дед? Что с тобой? Вставай, ты... как тебя звать-то?»

«Я без имени, — бормотал я — Без имени я...»

MARCHE FUNÈBRE¹

Словно завеса дождя, заслонив горизонт, висит перед нами наш век, наш минувший век; я спрашиваю себя, какое может быть будущее после такого прошлого. И тут на память приходит недавнее дикое происшествие. Неудивительно, что о нём предпочитают помалкивать.

Для тех, кто живёт вдали от России, сообщая, что у нас теперь демократия. Можно говорить что хочешь. Можно критиковать власть — само собой, в дозволенных пределах. Можно ходить по улицам с плакатами. Для этого необходимо обратиться в Управление уличных шествий и митингов — так называется это учреждение. Об одном из таких шествий пойдёт речь.

Не обошлось, как водится, без трудностей. Но случай был особый. Услыхав, *кто* собирается демонстрировать, должностные лица были смущены. Обратились в Санитарно-эпидемическое управление, там ответили, что при условии соблюдения гигиенических мер — не возражают. А каких мер? Запросили патриархат. Оттуда поступил неопределённый ответ: разумеется, церковь отстаивает тезис о бессмертии души, но, знаете ли... Особо щекотливый вопрос был, что скажет Государственная Безопасность — не пахнет ли тут провокацией? Рассказывают, что один ответственный работник, погрозив пальцем, напомнил мудрую пословицу русского народа: кто старое помянет, тому глаз вон! Ему осторожно возразили, что подобное увеще демонстрантам как раз не грозит...

Однако было бы чересчур утомительно рассказывать о всех хлопотах, о хождении по инстанциям, поисках нужных знакомств.

Сговорились, что все участники соберутся на Волхонке, у храма Христа Спасителя. Тщетно прибывший на место князь церкви уговаривал собравшихся, помолясь Богу, вернуться восвояси. Пришло так много (несмотря на строгий отбор), что толпа запрудила окрестные улицы. Конная и пешая милиция, народная дружина, силы безопасности, отряд государственных громил оказались в затруднительном положении: применить силу по понятным причинам было слишком рискованно. Власти колебались; высшее руководство и сам правитель были вынуждены ограничиться умеренными указаниями; органы массовой информации получили наказ не освещать случившееся; агенты следили за тем, чтобы иностранные корреспонденты не затесались в толпу. Как водится, поползли дикие слухи, из которых самым замечательным (и, возможно, подсказанным сверху) был тот, что ничего такого вообще не было, а просто толпа собралась перед храмом по случаю дня Всех святых. Тем не менее весь центр столицы был оцеплён, и прекратилось движение транспорта.

¹ Похоронный марш (*фр.*).

Со своей стороны, демонстранты проявили завидную дисциплину. Всё успокоилось; в молчании, по шестеро в ряд, с плакатами, портретами, иконами, колонна двинулась в сторону Моховой. Далее намеревались продефилировать по Охотному ряду, через Театральный проезд к зданию на Лубянке, бывшей площади Дзержинского, где должен был состояться митинг.

Было около десяти часов утра, стояла прекрасная погода. Нежной, как пух, зеленью успели покрыться деревья в Александровском саду. Парад возглавили полководцы. Впереди шагал маршал Тухачевский. Довоенный мундир без погон, с красными звездами в петлицах и орденами над левым карманом, болтался на его остоле, как на вешалке. Что-то вроде надменной усмешки мелькало в провалах глазниц; на череп, посеревший от времени, надвинут форменный картуз. За маршалом, гремя и хлябая в сапогах берцовыми костями, выступала когорта высших офицеров, героев гражданской войны, комкоров и командармов, с простреленными затылками, кто в боевой гимнастёрке, кто в полусгнившем лагерном бушлате, с привинченными орденами и нашитыми шевронами. Предоставляем читателю вообразить во всех подробностях изумительное зрелище. Милиция, стоявшая шпалерами вдоль улиц, опасалась вмешаться, демонстранты могли рассыпаться, и как бы чего не вышло.

За военными шли писатели. Тут можно было угадать известных покойников. Маленький Осип Манделъштам, в длинном не по росту, перепачканном могильной жижей ватном одеянии, с трудом поспевал за шеренгой. Чётко, по-офицерски печатал шаг труп Гумилёва. Семенил, в очках на безносом лице, Исаак Бабель. Нарушая строй, двигались, приплясывая, с косами и серпами крестьянские поэты, за ними маршировали суровые пролетарии. И далее, насыщая воздух столицы запахами распада, шествовало молчаливое мёртвое многолюдье: остатки эксплуататорских классов, отбросы общества в профессорских шапочках, в пенсне, с трудом держащихся на остатках носовой перегородки, кулацкие элементы в лаптях, священники в рясах, врачи-вредители, ортодоксы-ленинцы, левые и правые уклонисты, революционные евреи, монархисты с императором на палке, — кого тут только не было.

Некоторое замешательство произошло, когда приблизились к цели. Одни, как намечалось, правили к Лубянской площади — там уже готовились к встрече: говорят, все окна таинственной цитадели были заполнены бойцами невидимого фронта, побросавшими дела. К случившемуся, однако, отнеслись со всей серьёзностью: гранитные подъезды были забаррикадированы на случай штурма, в центре площади, на круглом постаменте бывшего Рыцаря революции устроено пулемётное гнездо. — Другая часть демонстрантов, их было большинство, требовала изменить маршрут.

Следуя этому пожеланию, главнокомандующий повёл своё мёртвое войско через Кремлёвский проезд на главную площадь столицы. Мимо маршала Жукова (при виде марширующего Тухачевского каменный всадник отдал ему честь) к монументу, воздвигнутому на месте снесённого мавзолея. (К сведению живущих за границей: автор памятника, славный зод-

чий Церетели отказался от традиционного решения. Вместо статуи Вождя на цоколе стоят изваянные из цхалтубского мрамора сапоги). Туда же, естественно, перебазировались силы поддержания порядка.

Всё смолкло. Маршал, стоя на импровизированной трибуне, обвёл толпу безглазым взором, покосился на мраморные сапоги, приготовился открыть митинг. Прозвучал гнусаво-мелодичный перезвон курантов, вслед затем часы на древней башне отбили положенное число ударов. И тут случилось то, чего не могло не случиться: силы повиновения и порядка потеряли терпение. В новенькой униформе — прорезиненные куртки, травянистые порты, полусапоги с высокой шнуровкой, — расчищая путь автоматными очередями и дубинами, устремились вперёд маскированные бойцы-громилы особого назначения. От первого же удара продырявленный пулей наркома Ежова череп маршала Тухачевского (который в своё время и сам был не промах) развалился на крупные и мелкие фрагменты. Ещё удар дубиной — и из съехавшего мундира посыпались на помост обломки рёбер, трубчатых костей и костей таза. На площади и в проездах процедура потребовала более продолжительного времени; подключились подразделения милиции, народные добровольцы и просто желающие размяться. Завершая операцию, на Красную площадь высадились национальные парашютисты. Трое суток подряд грузовики марки «Вольво Трак Файндер» вывозили за пределы столицы груды поломанных костей, ветхие рубища, остатки внутренних органов. Водоструйные машины смыли с брусчатки пятна мозга.

СЛУШАЙ ШАГИ НОЧИ

L. F.

Судьба, как и любовь, — тема тривиальная и загадочная, разговор затянулся далеко полночь, говорили о том, что изъяснить это слово невозможно, что оно, быть может, вовсе ничего не означает; кто-то заметил, что о судьбе можно сказать то же, что Августин говорит о времени: понимаю, что это такое, но если меня спросят, я не смогу ответить. Студент, самый юный из присутствующих, решил тоже щегольнуть учёностью: латинское *fatum*, сказал он, происходит от архаического глагола *fari*, «говорить», а также «вещать», «предрекать»; судьба — это как бы нечто предсказанное. Отсюда все эти мифы.

Вспомнили о греческих мойрах, о германских норнах; кто-то пытался пересказать еврейское предание о Книге судеб, куда в Судный день невидимая рука записывает, кому что выпадет в новом году. Подведём итоги, сказал студент. Никакой судьбы нет по той простой причине, что будущего не существует — это просто грамматическая категория. И опять кто-то возразил, что грамматика тут ни при чём, просто мы находимся в плену у дорожных метафор: время — это путь, и где-то там впереди находится конечная станция. Но мы о ней ничего не знаем, потому что едем по этому маршруту в первый и последний раз.

И слава Богу, заметила NN, единственная женщина в этой компании, слава Богу, что не знаем. Иначе жизнь была бы невыносимой. Представьте себе, вот вы идёте по улице, вам навстречу — весёлая молодёжь. Если бы они знали, что их ожидает! Один заболевает неизлечимой болезнью, другого собьёт машина, у третьего умрёт жена...

Любитель спорить усмехнулся: как вы сказали? Что их ожидает? Но в этом слове уже содержится представление о чём-то таком, что как бы предсуществует.

Хозяин откупорил новую бутылку, словопрения вернулись к тому, с чего начались. И тут один из гостей, до сих пор молчавший, промолвил, глядя в свой бокал, как будто старался что-то там разглядеть: а я вот вам расскажу одну историю.

«У меня, — сказал он, — есть один приятель, у него умерла жена, однажды он запоздал, приехал, когда уже начинало темнеть, потом долго сидел на скамейке, смотрел на белеющие камни по обе стороны от центральной аллеи — целый город надгробных памятников. Как вдруг слышит слабое похрустывание, кто-то приближался. Из мрака вышла женская фигура, остановилась, видимо, искала кого-то, снова двинулась. Словом, кладбищенский сюжет. Она шла к нему — или за ним. Сделала ещё несколько шагов,

но это была не она, просто чья-то вдова, и ему пришла в голову мысль, что в том пространстве, где обретаются мёртвые, — если такое пространство существует, — они должны в свою очередь чувствовать себя вдовами и вдовцами. Она присела рядом, разговорились — дальше уже неинтересно».

«И это вся история?»

«Нет, — сказал рассказчик, — скорее что-то вроде предисловия; а впрочем, никого отношения к делу не имеет. История случилась позже, только он просил никому не говорить, так что вы меня уж не выдавайте».

Так вот. Как-то раз он шёл по улице и остановился перед рекламным щитом. Там среди разных завлекательных объявлений одно заставило его задержаться. Всё-таки он был человек здравомыслящий, никогда всерьёз не относившийся к таким вещам. Но ему было любопытно. Он записал телефон и адрес; созвонился.

Дом оказался в богатом районе вилл, что наводило на мысль о высоких гонорарах прорицателя. Над воротами висела видеокамера, рядом с калиткой — вывеска, такая же загадочная, но более деловая, чем уличная реклама.

*Спиритуальная консультация. Контакты с запредельным.
Ретроспективный анализ и футуродиагностика. Все кассы.*

Он представил себе, что там может оказаться, хотел было повернуться и уйти, но что-то его остановило. Он позвонил. Щёлкнул замок калитки. Посетитель шагал по песчаной дорожке мимо клумбы и маленького фонтана, взошёл на крыльцо, дверь открылась. В приёмной он назвал себя, его ждали. Чопорная секретарша в чёрном сидела перед компьютером. Здесь не вели никакой документации, клиент должен был лишь назвать место и день рождения.

Вспомнив про вывеску, он спросил: а что это за кассы? Обыкновенные, сказали ему, наподобие врачебных; касса оплачивает стоимость исследований и некоторых специальных услуг. Правда, не каждый может себе позволить быть членом, взносы весьма велики. Ему показалось, что в этом пояснении содержится презрительный намёк. Тут загорелась надпись над дверью кабинета, секретарша сказала: прошу.

Это был не пророк, а пророчица. Очень похожая на секретаршу: должна быть, сёстры-близнецы. Дама неопределённых лет, в тёмном платье с длинным, чуть ли не до лона ожерельем, с глубоким вырезом на безгрудой груди. Довольно красивая, если бы не худоба, жилистая шея и злоупотребление косметикой.

Ему дали время осмотреться. Он обратил внимание на часы. На двух циферблатах за спиной у диагностической дамы стрелки двигались в противоположных направлениях: на одном, как обычно, слева направо, на другом наоборот. Это значит, э?..

«Совершенно верно. Сейчас я настрою их на ваш континуум».

Клиент сидел в кресле, предсказательница будущего рассказывала по комнате, крупно ступая, стиснув костлявые руки; она должна была сосредоточиться. Всё это было интересно, даже забавно. И, конечно, грозило влететь в копеечку, он-то не состоял членом кассы.

Впоследствии он рассказывал, что чуть было не сказал гадалке: мне пошёл седьмой десяток, жена моя, хоть и была моложе, ушла раньше меня. Детей нет. Какое у меня может быть будущее — я один. Осталось одно прошлое.

Неслышно, как ночь, вошла секретарша всё с той же надменно-непроницаемой миной, потянула за кисть занавеса. В кабинете стало темно, зажглись циферблаты настенных часов, на столе горел тройной светильник. Помощница удалилась. Голос дамы проворковал:

«Расслабьтесь, постарайтесь ни о чём не думать».

Гипноз, что ли?.. На полотне проплывали облака, открылось звёздное небо, донеслась баюкающая, мурлыкающая музыка. Похоже на тембр электронных инструментов. Экран погас, несколько времени сидели молча. Она проговорила:

«Вы правы, но это не электроника. Хотя тоже, конечно, имитация... Реализовать акустически — проще говоря, донести до нашего земного уха — музыку сфер до сих пор ещё никому не удавалось. Считается, что ученики Пифагора каким-то образом её удавливали; скорее всего, легенда... Надеюсь, вы пришли в себя? Перейдём к исследованию».

Перед ним на стеклянном столике стоял высокий узкий фиал. Что это, спросил он.

«Премедикация. Не торопитесь. Маленькими глотками. Пожалуйста, всё до конца».

Висветлился круглый чертёж, он занял весь экран. Посетитель усмехнулся. Только и всего! Я такие штуки уже видел, сказал он.

«У вас не кружится голова?»

«Немного».

«Сейчас это пройдёт».

Он приказал себе не поддаваться. Странное ощущение: голос прорицательницы доносился словно из глубин его мозга.

«Я не сторонница разного рода современных нововведений, в основном придерживаюсь принципов классической Копенгагенской школы. Вы угадали, перед вами обычный солярный гороскоп. Это цифры градусов... — Световая указка плавала по полотну. — Секторы домов... Планеты — вы видите их символы — располагаются по периферии. Констелляция к моменту вашего появления на свет».

«Теперь — внимание — я начинаю вращать небесный круг. Знаки перемещаются в пространстве и времени, конфигурации появляются и исчезают, пары сходятся и расходятся под музыку, которую мы не в состоянии уловить. Танец светил воспроизводит вашу жизнь. Вы можете проследить её от начала до конца и... — она остановила вращение, луч-указка сделал несколько пируэтов, диск медленно двинулся против часовой стрелки, — от конца к началу. Точка пересечения — сегодня».

Рассказчик умолк.

«Так какое же было предсказание?» — спросила NN, среди присутствующих единственная дама.

«Футуродиагностика», — съязвил студент.

Гость потёр лоб.

«Предсказание? — Он обвёл глазами застолье, вздохнул. — Да, конечно... Ради чего он, собственно, отправился к этой Сивилле? Что вам сказать... Эйлер предсказал младенцу Иоанну VI его судьбу, английские астрономы предрекли царской семье гибель династии... Все эти рассказы хорошо известны. Пророчество не может не оправдаться, ибо если оно не сбылось, то какое же это пророчество?».

Раздались смешки, кто-то проговорил:

«Ну, я так и знал».

«Всё бывает», — добавил другой.

«Кроме того, чего не бывает!»

«Господа, уже поздно. Не пора ли?..»

«Да, но всё-таки, — не сдавалась NN, — что же она ему нагадала?»

«Ничего».

«Как это, ничего?»

«А вот так, — сказал рассказчик. — Минутку терпения».

В приёмной клиенту сказали, что результат будет прислан по почте. Он получил протокол на следующей неделе, пришёл и счёт — огромный. Эти современные волхвы недурно зарабатывают. Но вернёмся, сказал рассказчик, к тому дню. Видимо, действие снадобья, а может быть, и ещё чего-то, продолжалось: возвращаясь домой, мой приятель чувствовал, что его слегка шатает. Вышел на площадь. Окна зданий пламенеют, на них больно смотреть, мостовая, лица встречающих — всё залито закатным огнём. Зелень газонов отливает металлом. Непривычно одетые люди, особенно молодёжь, и как раз навстречу шагает шумная компания, помните, — сказал он, — вы говорили о молодёжи, которая, слава Богу, не ведает, что её ждёт. Весёлые девушки, самоуверенные молодые люди, жизнь прекрасна, всё впереди. Разве только причёски у девиц не совсем современные, но, знаете ли, мода часто возвращается к прошлому. В метро он напоролся на контроль, показывает проездной билет — человек в форменной фуражке повертел его так и сяк, покачал головой. Объяснения не помогли, пришлось платить штраф.

У подъезда он увидел нищего. Странно, подумал он, а мне говорили, что он умер. Он бросил ему монету. И вот он поднимается в шаткой клетке лифта, отворяет дверь своим ключом и видит, что квартира осталась, как была до ремонта. До того, как всё случилось. Он говорил мне, сказал рассказчик, что с тех пор, как его жена ушла из жизни, у него нет больше дома, никто его не ждёт, никто не встречает. В полутёмной прихожей, из серебряной пропасти зеркала на него взирает чужая — его собственная — сумрачная физиономия. У него нет сил раздеться. Он слышит потрескивание рассохшей мебели, как бывает в старых квартирах, скрип половиц... Швыряет шляпу на столик перед зеркалом, расстёгивает пальто. Прислушивается.

Всё-таки кто-то забрался в квартиру в его отсутствие.

На цыпочках, чтобы не спугнуть вора, остро вглядываясь в сумрак, он вступает в большую комнату, она называлась у них гостиной. Никого нет. Но зато — если слух его не обманывает — послышался плеск из ванной комнаты, там горит свет. Подкравшись, рывком отворяет дверь — никого! Он

понимает, что это звуковая галлюцинация, такое уже бывало в первое время, вот сейчас обернусь, думает он, никого не окажется, и я приду в себя. Меня тянет обернуться, но я боюсь: вдруг я кого-нибудь увижу — ведь это будет означать, что я в самом деле свихнулся. Придётся что-то предпринимать, вызывать психиатрическую помощь, вся эта морока... Он стоит в пальто посреди гостиной, два окна светлеют в полутьме. Он поворачивает голову — его покойная жена стоит в дверях.

Самое странное, что он даже не слишком удивлён; пожалуй, только слегка растерян. В белом байковом халате, волосы собраны сзади в пучок, чистый лоб, смеющиеся глаза — живая, молодая! Как во сне, он пытается что-то сказать и не может выдать из себя ни слова.

Её голос:

«Что случилось? Ты никогда так поздно не возвращался».

Мой приятель, наконец, обрёл дар речи.

«Разве он жив?» — спросил он ни с того ни с сего.

«Кто?»

«Нищий! Там, на улице...»

Недоумение в её взгляде.

«Она меня чем-то напоила, — продолжал он. — Она повернула круг в обратную сторону! И ещё эта музыка...»

«Кто это она? Какая музыка?»

«Музыка сфер».

Усмехнулась, повела плечом:

«Раздевайся. Будем ужинать».

«Воля ваша, — промолвил рассказчик, — можете верить или не верить. Но предсказание будущего сбылось! Для него будущим было только его прошедшее, он говорил об этом сам. Я думаю, — добавил он, — вы догадались, что человек этот был я. Но наш уговор никому не рассказывать остаётся в силе».

ГОСТИ

Трудно поверить, что неловкое движение, минутная потеря равновесия могут обернуться такой неприятностью, ещё труднее поверить в то, что тебе столько лет. Ведь ещё живо в памяти время, когда сорокалетние внушали жалость. Когда же сорок стукнуло самому, можно было утешать себя: всё-таки не пятьдесят. Когда стукнуло пятьдесят... ах, о чём тут говорить. И вот он просыпается, потрясённый чудовищной мыслью: жить остаётся каких-нибудь пять, от силы восемь лет. Десять — уже неправдоподобный срок. В таком-то году будет то-то. А меня уже не будет.

Чем дальше смотришь назад, тем всё укорачивается время. Месяц тянулся долго, каждый день — целая бесконечность, зато десять лет назад — словно позавчера.

Чувство времени превратилось в слух. Человек с белой ногой, торчащей из-под пледа, слышит, как поскрипывают на снегу валенки, как палка ощупывает дорогу, — скрипят секунды, плетётся дряхлое время. Чудится слабое цоканье подков, за окном проплывает чёрный дом на колёсах, некто в цилиндре покачивается на козлах, снег покрыл его белой шалью. Сейчас возникший очнётся от дрёмы и гаркнет: тпруу!

Нам всегда кажется, что виноваты не мы, а несчастные обстоятельства, погода, приметы, планеты. Если бы не вылез из дому, не упал бы на обледенелых ступеньках. Все дни была оттепель, как вдруг подморозило. Hausmeister¹ был обязан посыпать крыльцо песком, но как на зло подхватил грипп. На самом деле обстоятельства — это судьба. Ей нужен повод. Судьба является под маской дурацкой случайности, никогда не кажет лица, ибо у неё нет лица: сбросит маску, а там другая. Может быть, спросил он, это патологический перелом? Может, там опухоль? Он знал одного: танцевал с девушкой, вдруг нога подвернулась, бац — перелом. Оказалось, саркома.

«Перестаньте, — сказал хирург. — Через шесть недель будете сами отплясывать».

Меркнет день. Звонят. Человек с гипсовой ногой смотрит на часы. Жена придет в семь. Звонят... Уловить движение минутной стрелки невозможно, он следит за пульсом секундомера. Между тем калитка открылась, кто-то вошёл на крыльцо, топчется перед дверью, вероятно, отряхивает снег. Или уже крадётся по коридору? Чепуха, там нет калитки, мы в городе. Никого нет. Шесть недель... Он вздыхает. Надо ещё дожить! Снег идёт за окном, а теперь и в комнате. Крупные снежинки падают на плед, на книгу, которая лежит на груди, он заложил палец между страницами. Чего доброго, ещё размокнет гипс.

¹ Дворник (нем.)

Меркнет день, человек в белом панцире покоится посреди сутробов, с бескровными губами, с заиндевелыми ресницами. Замело окно, на полу, вокруг ножек стула — всюду снег. Он подносит к глазам часы, прошло всего две или три минуты. Протянув руку с дивана, нащупывает упавшую книгу. Всё кончилось, снегопад прекратился. Звонок в прихожей, настойчивый, звонят много раз. Дотянуться до костылей.

В гипсовую ногу вмонтирована скоба наподобие стремени, чтобы можно было понемногу ступать, но он боится, что кость опять сломается, прыгает на костылях, выясняется, что она не дождалась, отперла дверь своим ключом, — почему же она не входит?

Человек глядывается: нищенка с ребёнком на руках, это ещё что за новости, как она проникла в квартиру? Он видит, как в полутьме блещат глаза, шевелятся губы. Дитя сучит ножками, требуя, чтобы его спустили на пол. Юркнув мимо костылей, чуть ли не между ногами, малыш вбежал в комнату. Схватил книжку, вскарабкался на диван. Разве он умеет читать?

Она пожала плечами, озираясь, вошла в комнату, щуплая, малорослая, почти подросток. Молчание, оба смотрят то на мальчика, то друг на друга. Малыш отшвырнул книжку. Теперь он катался по полу на коньках.

«Шустрый ребёнок», — сказал больной.

Она отозвалась:

«Весь в тебя».

Мальчик носится по комнате, подобрав лохмотья, — раз, раз, — налетел на что-то и шлёпнулся. Они услышали его плач.

«Этого не может быть, — сказал человек в гипсе, — по разным причинам».

Он изложил эти причины: во-первых, прошло столько лет. Ребёнок давно уже должен был вырасти.

«Ну и что?»

«Не перебивай меня. Во-вторых...»

Во-вторых, и это главное: откуда известно, что это *его* ребёнок? Большая роется в кошельке, даёт ей сколько-то, и пусть убирается вон.

«Ты когда-то был в меня влюблён».

«Я? влюблён?...»

Молчание.

«Ну хорошо, — сказал он, — допустим».

«Ты написал мне письмо».

«Это не доказательство».

Вместо ответа она вытянула из-за пазухи конверт, от которого пахло теплом и потом. Он узнал свой почерк. Да, но тут ничего нет.

«Как это, ничего нет?»

«Тут не говорится, что я с тобой спал».

Она тупо повторила:

«Ты меня любил».

Человек на костылях оглядывает гостью, спрашивая себя, неужели это могло быть. Отыскал глазами в углу спящего малыша. А как они, собственно говоря, здесь очутились?

«Я приехала к тебе».

«Как это так, без визы, без...»

«Ты прислал мне приглашение».

Он рассмеялся: вот это уж, моя милая, твоя фантазия.

«Хочешь, покажу?»

Снова пауза, он копается в кошельке.

«Вот, — сказал он, — и катись».

Она качает головой. «Ты прочти письмо-то... авось вспомнишь!»

Нечего вспоминать; мало ли что было. Было и сплыло. «И потом, — прибавил он, — ты на меня всё равно не обращала внимания. Ты меня избежала».

«Я была несвободна».

«Ну, конечно. А я-то, лопух, всё думал, что ты невинная девочка».

«Я не виновата. И ты тоже хорош. Мог бы догадаться».

«О чём?»

«Что ты у меня не первый».

«У нас ничего не было! — Он подумал и добавил: — Ничего не получилось».

«Что-то всё-таки получилось. Ты там побывал».

«Где это — там?»

«Сам знаешь».

«А он? — спросил гипсовый человек. — Кто был первый?»

«Завуч».

О, это обратное время: чем дальше, тем ближе. Десять лет — словно позавчера. Он думает о том, что вот-вот вернётся с работы жена. Войдёт. Знакомься... моя одноклассница.

«Завуч? Это твоя фантазия».

«Какая фантазия: они на фронте вместе с отцом воевали. Только папа не вернулся».

Хорошо, подумал он (или, может быть, сказал вслух), что же из этого следует? И почему вдруг завуч.

«Я была красивая».

Гипсовый человек пожал плечами.

«Я была самая красивая девочка в школе. У меня были груди, как у взрослой».

Ну и что дальше, спросил он или хотел спросить. Проворчал: «Досказывай, раз уж начала».

«Позвал как-то в кабинет, мялся, мялся...»

«А ты?»

«Я давно догадывалась».

«О чём?»

Все в неё были влюблены, надо же.

«Запер дверь на ключ, сел рядом».

Ах ты, дрянь, подумал больной, запрыгал прочь, обернулся, она по-прежнему стояла на пороге. Ниценка, попрошайка, — что осталось от её красоты...

«Слушай... он же был с протезом».

«Протез отстегнул».

«И ты не сопротивлялась?»

Она пожалала плечами. «Мне стало его жалко. Он так просил... Сказал, бросит семью».

Больной задрожал, кровь бросилась в голову. Ах ты...

«Дрянь! Отвяжись от меня, дрянь, шлюха! (Он употребил ещё одно словцо, покрепче.) Не хочу с тобой иметь ничего общего! Я уехал, и баста, меня больше нет, ясно?»

Словно эхо, гремит в ушах его собственный, неузнаваемый голос.

«К чертовой матери вашу страну, катитесь вы все подальше, не хочу ничего знать о вас!..»

Он умолк.

«Что тебе от меня нужно?» — сказал он.

Она — плаксивым голосом: «Как это что — он ещё спрашивает... А кто алименты будет платить?»

«Алименты, ха-ха. Завуч пусть и платит — или кто он там...»

«Завуч помер давным-давно. Подох... Все вы сволочи, кобели проклятые, вам бы только удовольствие получить...»

«Слушай, — проговорил он, дрожа от ненависти, — ещё одно слово, и...»

«А ты меня не страшай. Чего мне бояться-то... Мне жить негде! — взвизгнула она. — С ребёнком! По вокзалам таскаюсь! Это твой ребёнок, твой, попробуй только отказаться».

Не знаю и знать не хочу, думал он, и убирайтесь немедленно, чтоб вашего духу здесь не было. Ишь, моду взяли: по квартирам шастать. Бог подаст!

Лёжа под пледом, переваливаясь с боку на бок, не мог успокоиться, найти удобную позу. Поднял книжку с пола — опять звонок. Да пусть она там хоть разорвётся. Что это вообще такое? Ни доказательств, ни документов. Письмо... Кто же не пишет любовные письма девчонкам? Душный запах её груди.

Звонок; наконец-то жена; он забыл, что у неё есть ключ, и снова тащится в прихожую.

«А я уж было решил, что вас увезли».

«Герр доктор! Какими судьбами?»

«Решил вас проведать. Узнать, как дела».

Больной укладывается, как положено пациенту, жмётся к спинке дивана, чтобы освободить место. Хирург сидит вполоборота, потирая замёрзшие руки.

«Тэк-с, вы, я вижу, молодцом».

В комнате полутемно.

«Зажечь свет?»

«Нет надобности».

«Выпьете чайку, доктор? Скоро жена вернётся».

«Благодарю... Разве вы женаты?»

Врач постукивает по белому футляру, гипсовая нога — как протез. Щупает пальцы ног. Нет ли чувства онемения? Что ж, прекрасно.

«Я думаю, — говорит он, — хорошо бы вам на следующей недельке... В понедельник у меня операционный день, так что лучше во вторник».

«Я должен взять Termin?»¹

«Приезжайте так».

«Доктор. Но вы же говорили... через шесть недель?»

«Что? Да, конечно. Гипс будем снимать через шесть недель. А пока что...»

«Чашечку чаю? Жена скоро придёт».

«Разве у вас есть жена? Тем хуже. Послушайте, я не заметил. Здесь плохое освещение. У вас на щеках румянец. Ай-я-яй!»

«Зажгите свет... вон там».

«Нет, нет. Искусственное освещение не даёт правильно оценить симптомы. Да у вас лихорадка!» Врач обвёл глазами комнату, книги, паркет, на котором остались царапины от коньков. Тяжко вздохнул и, закрыв лицо руками, разрыдался.

«Доктор, — пролепетал больной, — успокойтесь...»

«Не могу... Не надо было мне придумать... Не надо было вообще вас оперировать. Лучше бы кто-нибудь другой».

«Вас встревожило, что у меня температура, разве это так важно?» — спросил человек в гипсе, цепляясь за последнюю надежду.

Хирург покачал головой, потом кивнул.

«Это симптом», — сказал он, сморкаясь.

«Симптом чего?»

«Вы знаете сами».

«Патологический перелом? Опухоль? Зачем же вы от меня скрывали?»

Хирург развёл руками.

«Это было всего лишь подозрение. До свидания, — сказал он. — До вторника».

Гипсовый пациент пробегает глазами несколько строк, у него не хватает сил добраться до конца абзаца, книга съезжает на пол, он слушает нарастающий рокот литавр, оркестр тишины. Кто же не знает, что тишина может оглушить, может быть мелодичной или какофонической; вальс тишины, менуэт тишины, дикий канкан тишины! И он лежит, зажмурившись, с мучительной миной, заткнув пальцами уши.

Надо переждать. Опускает руки. Тишина играет анданте.

Дверь распаивается сама собой.

«Оставьте меня в покое!» — кричит он.

Из-за того, что стало совсем темно, не разберёшь, кто стоит на пороге.

Кто им дал право, в конце-то концов.

Гость входит в комнату, придвигает к дивану стул, садится, некоторое время оба молча изучают друг друга.

«Что ты читаешь?» — спросил гость.

¹ Т. е. договориться с регистратурой.

«Да вот...»

«Интересно?»

«Так себе. Слушай, — пробормотал больной, — кто ты такой? Если я не ошибаюсь...»

«Не ошибаешься».

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Интересная история, — сказал больной, — выходит, мы вроде как бы... »

«И да, и нет. Впрочем, — человек поднял с полу книжку, — для читателя научной фантастики это, наверное, не новость. Или там у каких-нибудь немецких романтиков. Вообще довольно затасканный сюжет. Но в жизни бывает по-разному. Всё-таки мы с тобой не совсем одно и то же!»

«Не понимаю. У меня голова идёт кругом, — сказал человек в гипсе. — Может, это сон, кошмар?»

«Что тут понимать. Я же говорю: с одной стороны, да, мы одно и то же лицо. А с другой — у нас разная жизнь. К примеру, эта девица».

«Потаскуха», — проворчал больной.

«Я говорю, к примеру. Ничего подобного. В моей жизни всё было совсем не так. История с завучем... может ты помнишь, как его звали?»

«Забыл».

«Я тоже забыл. Он действительно соблазнил Юлю».

«Да, да, вспоминаю, — проговорил больной, — её звали Юля».

«Она сама мне всё рассказала».

«Ты не можешь себе представить, как я её любил...»

«Почему же не могу, я тоже был по уши влюблён».

«А ребёнок?»

«Не было никакого ребёнка. Это, дорогуша, в твоей жизни: сначала завуч, потом ещё кто-то, потом ещё, и пошло-поехало. А потом ты уехал».

«А в твоей?»

«В моей жизни было всё по-другому».

«Как же она меня нашла?»

«Вот уж этого я не знаю. У тебя были разные неприятности, обыски, то да сё, тебя даже, если не ошибаюсь, арестовали. А я... я с властью не ссорился. У меня было всё в порядке. Мы с Юлей поженились. У нас родилась дочь, родился сын. Ты даже не представляешь, как нам было хорошо...»

«Ты говоришь: было».

«Да, — сказал гость. — Моя жена умерла».

«Но она жива, она только что приходила».

«Для тебя жива. Потому-то она и пришла к тебе, а не ко мне. В моей жизни её нет».

Тот, кто лежал на диване, думал о чём-то. Задумался и гость. Человек на диване взглянул на сидящего и что-то проговорил.

Тот не расслышал.

«Я хочу спросить, — сказал больной, — что заставило тебя... чем я, так сказать, обязан чести?..»

«Чести моего визита? — Гость усмехнулся. — Дело в том, что наши дороги снова соединились. Ты же видишь, я хромаю. Я болен».

«Болен, чем?»

«Не стоит об этом».

«А всё-таки?»

«Какая разница... — устало возразил человек, сидевший возле дивана. — Диагноз был поставлен примерно тогда же, когда это случилось с тобой. Мне осталось немного. Как и тебе, дорогой мой... Ничего не поделаешь. Мы ведь всё-таки, что ни говори... тот же самый, затасканный сюжет!»

Человек в гипсе обводит глазами комнату. Снова звонят. Он не торопится открывать. Тем более что там уже открыли своим ключом. Дверь распахнулась. Что-то косматое — может быть, визитёр напялил медвежью шкуру. Театр, думает больной, ведь сегодня святки или как там это называлось. Что-то дымчатое, без лица, без рук. Больной кашляет. Не сумерки короткого дня, а чёрный дым проник в его жильё. Бесформенное чёрное существо растёт и заняло всю комнату, расплзлось по полу, загорело окно — ещё минута, и дымом станет он сам.

VERITAS¹

Некто приехавший в незнакомый город не знал, как ему добраться до места назначения; денег у него было немного, он решил воспользоваться городским транспортом. Смеркалось, шёл снег, на вокзальной площади зажглись фонари; он увидел трамвайную остановку, подошёл к вагоновожатому и спросил, с трудом подбирая слова чужого языка, как доехать до Plata de veritat. Вы, наверное, имеете в виду Plaasa d'feritaat? — сказал водитель и принялся объяснять. Оказалось, что добираться надо тремя трамваями и поездка займёт, не считая ожидания на остановках, не меньше часа. Разве город так велик? — спросил приезжий. Не так чтобы уж очень, ответил вагоновожатый, но всё-таки. Путешественник увидел остановку автобуса. Вам, наверное, до Plaizza ed veritaa, поправил его шофёр.

Можете доехать. Но придётся сделать несколько пересадок. Приезжий посмотрел на тёмное небо, откуда хлопьями валил снег. Может быть, в городе есть метро? Разумеется, сказал шофёр автобуса, вон там на углу.

Приезжий сошёл по ступенькам вниз и убедился, что в городе имеется огромная сеть подземных дорог. Он подошёл к большому щиту и после долгих поисков нашёл нужную остановку. Было уже довольно поздно, на разговоры с водителем трамвая и шофёром автобуса ушло слишком много времени. Усевшись у окна, гость поставил чемодан между ног, устроился поудобнее и мгновенно уснул под мерный стук колёс. Проснувшись, он увидел, что сидит один в пустом вагоне, поезд нёсся в чёрном туннеле. Несколько времени спустя достигли конечной станции, приезжий вышел и, миновав длинный, скудно освещённый переход, поглядывая на обрывки плакатов и стрелы направлений, сошёл по лестнице и оказался на другом перроне. Здесь тоже свет горел вполне адекватно, в этот час городские власти сэкономили электричество. Подошёл полутёмный состав, и опять путешественник качался в гремучем вагоне, поглядывая на чёрные отсыревшие стены туннеля, видел тёмные фигуры дорожных рабочих, читал названия станций и прикидывал, сколько осталось до конечной остановки. Выйдя, он спустился по эскалатору ещё ниже, дождался нового поезда и ровно в полночь прибыл на станцию с названием, которое более или менее соответствовало — с поправкой на местный акцент — наименованию нужной ему площади. Но когда он выбрался с чемоданом наружу, он увидел перед собой всё ту же вокзальную площадь; что за чёрт, подумал он. К счастью, снегопад прекратился.

¹ Истина (лат.).

Последний трамвай ожидал запоздалых пассажиров. Гость подошёл к вагоновожатому, тот объяснил, что надо ехать тремя трамваями. Но вряд ли удастся поспеть на второй трамвай, не говоря уже о третьем. Приезжий поплёлся к автобусу; шофёр дремал, положив голову на руль. Шофёр повторил то, что сказал его напарник несколько часов тому назад. Впрочем, добавил он, посмотрев на часы, вы всё равно не успеете. Может быть, на метро? — в отчаянии спросил гость. Водитель автобуса покачал головой, метро уже закрылось.

Скиталец двинулся куда глаза глядят, половина фонарей на площади не горела, в полутьме, свернув в переулок, он споткнулся о чьи-то ноги. Это был нищий. Он дремал, прислонясь к стене дома, во всех окнах уже погасли огни. Приезжий рассыпался в извинениях. Ничего, успокоил его нищий, нам не привыкать; а ты кто будешь, спросил он. Приезжий сел на чемодан и рассказал о своих злоключениях. Надо было остаться в метро, я иногда там ночую, заметил нищий. Почему же ты сейчас не там? — спросил приезжий. Да вот, сказал нищий, заснул, а они тем временем уже закрылись. Зато познакомился с тобой. Нищий поглядел на иностранца и спросил: а тебе вообще-то куда надо? Приезжий молчал, и сиделец повторил свой вопрос по-французски. Ты знаешь французский язык, удивился гость. Нищий повторил то же по-английски. Я всё языки знаю, сказал он, оттого и сижу перед вокзалом. И с такой же лёгкостью, догадавшись по акценту гостя, перешёл на его родной язык. На радостях путешественник отвалил нищему щедрую милостыню.

Спасибо, ответил тот, я так и думал. — О чём ты думал? — Я так и знал, сказал нищий, что мы встретимся. Но ты не ответил: куда тебе надо?

Куда мне надо, повторил гость и вздохнул. Я теперь уж и сам не знаю. Я ищу площадь Истины. Вот так здорово, сказал нищий, подобрал с тротуара бесформенную шляпу и поднялся. Площадь Истины — да ведь она тут перед тобой. И он протянул руку в сторону вокзала. Пошли, сказал он, покажу. Они подошли к гостинице «Великий магистерниум», газовая вывеска светилась над подъездом. А ты? — спросил приезжий. Нет, отвечал собира-тель подаяний, таких, как я, туда не пускают.

ТРИСТАН

Elle vit devant eux la vase presque vide et le hanap.

J. Bédier¹

Весь день и всю ночь промучилась в родах королева и, наконец, разрешилась на рассвете мальчиком. Покажите мне моё дитя, попросила она и увидела прекраснейшее создание, когда-либо выношенное женщиной. И сказала: в печали я родила тебя и ради тебя умираю. От печали ты появился на свет, так пусть же нарекут тебя Тристаном.

Итак, послушайте, добрые люди, известие о племяннике короля Марка, о сватовстве короля к белокурой Изольде и тайной любви Тристана и Изольды. Передали нам это известие Беруль, Томá и Готфрид из Страсбурга, однако присочинили к нему другой конец. Мы же расскажем всё как было.

Рыцарь Тристан получил наказ от дяди беречь и охранять Изольду в долгом морском пути из Ирландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей серебряный сосуд с волшебным напитком. Может быть, тебе и не надо знать, сказала она, что произойдёт после того, как вассалы и слуги приведут тебя к мужу в опочивальню, девушкам не полагается слушать о таких вещах, но одно прошу тебя исполнить. Кто такой благородный Марк, знают все, но каков он из себя, мне неизвестно, знаю только, что он стар, и не уверена, что красив. Итак, попроси разрешения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и выпей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля, разукрашенного флагами, под червлёными парусами, с искусно вырезанной из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёг мимо дальних островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов; бури трепали путешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на мачтах, под палящим солнцем судно почти не двигалось. Кончились запасы пресной воды, и бедная принцесса возжаждала так сильно, что захотела испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении она сидела на ковре. Магушка велела мне отвезти этот напиток в ночь бракосочетания, сказала Изольда, но я не силах больше переносить жажду. А что это за питье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила Изольда, но думаю, что не отравы; не хотите ли пригубить. И оба с наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, время исчезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, взглянули друг на друга, и с тех пор Изольда не могла больше думать ни о ком, кроме как о

¹ Она увидела, что перед ними стоит почти пустой сосуд и кубок. Ж. Бедье.

Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И когда в каюту вошла Брангена, приближённая девушка принцессы Изольды, она увидела по их глазам, что случилось непоправимое.

В разных изводах легенды рассказывается о том, как король Марк со свитой встретил Изольду, благодарил племянника и пожаловал ему звание шамбеллана, то есть спальника; как был устроен свадебный пир и слуги готовили для молодых роскошную опочивальню. С гневом и горечью думал Тристан о том, что произойдёт; и новобрачная тайком утирала слёзы. Но успела шепнуть Тристану, что нашла выход. Когда король, возбуждённый и умахённый, возлёт, ожидая Изольду, спальник погасил свечи в опочивальне. Зачем ты это сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал племянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, нужно тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном удалился, а в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк лишил девственности Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служанка незлышно выскользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с ложем короля улеглась Изольда. Хитрость удалась; наутро король призвал к себе Тристана и сказал: я назначаю тебя моим наследником в Корнуэльсе в благодарность за то, что ты сбег для меня Изольду. А так как он был стар, то в последующие две недели не трогал королеву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на корабле, распалил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И настала ночь. Случилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. Он вошёл в опочивальню и увидел, что там никого нет. Призвал служанку, но Брангена молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец, она создалась. Так значит, это была ты, сказал король, потрясённый услышанным; знаешь ли ты, какое наказание тебя ожидает. Но я пощажу тебя, продолжал он, если ты откроешь мне, где скрывается моя жена Изольда.

В кромешной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк мерцал впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на столе пылает свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и увидел спящих. Оба лежали нагие, и между ними лежал меч.

И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это значит.

Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность короля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла вожделение к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление минутной вспышке огня.

ЧТЕНИЕ

С тяжёлым портфелем под мышкой писатель вошёл в мрачный вестибюль бывшего императорского университета, рассчитывая увидеть свой портрет на доске объявлений. Немногие студенты покидали здание, уборщица возила шваброй по каменному полу. Портрета не оказалось, и не было никакого объявления. Писатель поднялся по широкой лестнице и отыскал аудиторию № 112; к дверям была прикреплена записка: вечер состоится в гуманитарном корпусе. Писатель полагал, что это и есть гуманитарный корпус; пришлось спуститься, но сторожиха плохо знала расположение аудиторий и ничего не слыхала о вечере. До начала оставалось пятнадцать минут. Он тащил свой портфель по безлюдным коридорам, ему помог сориентироваться висевший на пожарном стенде план эвакуации на случай стихийного бедствия.

Наконец он увидел рядом с входом в Большую аудиторию красиво отпечатанное объявление с фотографией. От руки было приписано, что встреча переносится в Малую аудиторию. Он припомнил, что Малая аудитория находится этажом выше. Перед открытой дверью прогуливался человек. Видимо, публика уже сидела в аудитории. Там стоял стол с лампой и графитом и полтора десятка стульев. «Не знаете ли вы, — спросил он, — где будет чтение?» — «Здесь, — ответил приветливый молодой человек, — только автор ещё не пришёл». — «А где же народ?» — «Может быть, соберутся», — сказал слушатель.

Немного погодя писатель снова обратился к молодому человеку: «Как вы думаете, может, не стоит ждать?»

Слушатель улыбнулся. «Я пошутил. Я ведь сразу узнал вас. Хотя на фотографии вы гораздо моложе».

«Онегин, — сказал писатель, — я тогда моложе, я лучше, кажется, была». Ему было не по себе, и он хотел смягчить неловкость шуткой.

«Может быть, начнём?» — предложил слушатель.

Романист сел за стол, а публика в единственном числе поместилась в первом ряду. Писатель положил перед собой толстый манускрипт, включил лампу, надел очки и налил воды в стакан. Потом снял очки и окинул взглядом пустую комнату. «Дорогие друзья... — проговорил он, не зная, с чего начать. — Я имею в виду вас, мой единственный слушатель и, будем надеяться, читатель...»

«Просим», — сказал молодой человек и похлопал в ладоши.

«Этот роман, — продолжал писатель, — первый том задуманного мною цикла, который должен составить основной труд всей моей жизни, так ска-

зять, opus magnum... Я представляю его себе как широкое эпическое полотно... Панорама жизни и подвигов нашего народа за последние... скажем, пятьдесят лет. Но прежде хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на мой вечер. К сожалению, сегодня мало кто интересуется серьёзной литературой».

«Каждый писатель мечтает о том, чтобы когда-нибудь написать свою главную книгу. Но для этого нужна такая степень сосредоточенности... — от волнения он не мог найти нужные слова и сделал глоток воды, — которая требует освобождения от всего постороннего, от всяких меркантильных расчётов. Конечно, такая книга пишется не в расчёте на немедленное признание!»

Он значительно, почти с укором посмотрел на слушателя.

«Но будущее нас рассудит. Ну-с, а теперь я хотел бы... — он искал рукой очки, — прочесть несколько глав из второй части. Я забыл сказать, что роман состоит из трёх частей с прологом и эпилогом, действие первой части происходит в наши дни, а вторая часть переносит нас в прошлое. Что же касается третьей части...»

«Простите, — перебил его молодой человек, — я, конечно, не могу вам указывать. Может быть, лучше начать с самого начала?»

«С начала? — проговорил писатель, листая рукопись. — Вы предлагаете начать с начала. Ну что ж».

И он начал читать, и читал сорок минут.

Когда, потрясённый размахом своего замысла, чувствуя, что никогда ещё проза не удавалась ему так, как удались эти страницы, романист снял очки и поднял глаза на публику, ему показалось, что комната полна людей.

«Может быть, будут вопросы?» — спросил он, дождавшись, когда стихли аплодисменты.

Слушатель поднял руку. «У меня вопрос. Не могли бы вы дать мне почитать эту вещь? Она произвела на меня большое впечатление».

«Правда? — Писатель был растроган. — Спасибо. Мне важно было узнать, какой отклик моя работа встречает у молодёжи. Но, видите ли, мне очень жаль, это мой единственный экземпляр».

«Как, — удивился слушатель, — разве у вас нет копий?»

«Увы. Перепечатка стоит очень дорого. Мне придётся делать копии самому. Раньше, конечно, это было проще...»

«Раньше? Угу. А можно мне взглянуть?» Молодой человек встал со своего места и подошёл к столу.

Писатель пробормотал:

«Кое-что придётся ещё пошлифовать. Подсократить кое-что... Например, вот это место... Вам не кажется, что монолог отца несколько затянут?»

«М-м? — рассеянно отозвался молодой человек. Он перелистывал рукопись. — Нет, нет, ничего не надо сокращать; всё прекрасно».

«Сознайтесь: вы сами пробуете себя в литературе? Я угадал?»

Молодой человек скромно улыбнулся.

«Как вам сказать; пожалуй. Но мне всё-таки придётся попросить вас...»

«О чём?»

«Я же вам сказал. Отдать мне рукопись».

«Ну, знаете», — сказал писатель.

«Я бы не хотел прибегать к насилию».

«Этого только не хватает, — усмехнулся писатель. — Да кто вы такой?»

На лице молодого человека изобразилось сострадание, он наклонился и поднял прислонённый к стулу портфель.

«Я думаю, нам не стоит спориться, — промолвил он, показывая писателю служебное удостоверение, — кстати, по поводу вашего утверждения, будто сейчас никто не интересуется литературой. Я с вами не согласен».

«Что вы имеете в виду?» — растерянно спросил писатель.

Он смотрел на молодого человека, тот держал наготове раскрытый портфель, и писатель, как во сне, опустил туда своё сочинение.

«Я имею в виду интерес нашего народа к художественной литературе, тот высокий престиж, которым она пользуется у широких масс. Это может привести к тому, что массы примут всерьёз то, что на самом деле никакой литературой не является, поверят всему, что там написано».

Эти слова укололи писателя, он нахмурился.

«Вы хотите сказать, что моя книга... что это — не литература?»

«Я думаю, вы и сами это понимаете», — ласково возразил молодой человек.

«Позвольте, — заговорил романист, вне себя от возмущения, — кто вам дал право... Всякий соплик начнёт тут меня учить!»

Молодой человек вздохнул, взглянул на часы.

«Вы, кажется, забыли, что я при исполнении служебных обязанностей, — сказал он холодно. — Позвольте вам также напомнить, что мы — я имею в виду Федеральную службу — не ошибаемся. Если ваше произведение арестовано, значит, на это есть серьёзные основания».

«Основания, — буркнул писатель, — знаем мы ваши основания. Это произвол! Я буду жаловаться. Пойдите-ка, — спохватился он, — вот вы говорите — не литература. Чего ж вы тогда её хвалили?»

«Я сказал, что вещь произвела на меня большое впечатление. Это не обязательно означает похвалу. К сожалению, — добавил молодой человек, который, несмотря на свою молодость, имел чин капитана, — у нас мало времени, мы должны ещё произвести у вас обыск».

«Обыск?!» — вскричал писатель.

«Господи, почему вас это удивляет? Я вижу, вы всё ещё живёте старыми представлениями».

«Нет это вы живёте старыми представлениями! Вы думаете, вам всё позволено. Можно придти к старому, заслуженному литератору и отнять у него труд всей жизни. Нет, дорогой мой! Ваше время прошло. У нас теперь демократия».

«Вы меня не дослушали, — сказал офицер. — Мы говорим об одном и том же. Я тоже хотел вам сказать, что теперь не старые времена. В старые времена, — он усмехнулся, — поверьте мне, вас бы пальцем никто не тронул. Комитет занимался настоящими писателями, талантливыми людьми. А вы,

простите... псевдописатель. В этом вашем, как вы его называете, труде жизни — судя хотя бы потому, что вы прочли, — нет ни одной правдивой страницы, ни одной свежей мысли. Искусство, — и он с презрением указал на портфель, — во всей этой писанине не ночевало!»

«Тогда в чём же дело? — пролепетал писатель. — Я не понимаю».

Капитан сказал:

«Выпейте водички на дорогу... Тем хуже для вас, если вы не понимаете. Литература — это государственное дело. Литература должна служить народу, должна воспитывать эстетические вкусы. А халтуры мы не потерпим. Весь этот, знаете ли, социалистический реализм, все эти герои труда, труженики полей и матери-героини, тысячестраничные эпопеи... нет уж, хватит! Мы будем беспощадно бороться и с партийностью, и с народностью, и с бездарностью. Против лигеров-прихлебателей, против лизоблюдов, за духовность, соборность, за независимость искусства, за благородную идею башни слоновой кости».

Он вернулся на своё место, где лежал портативный радиопередатчик, вытянул антенну и произнёс несколько слов в микрофон.

«Через пять минут машина будет у подъезда, — сказал он, — прошу».

ЧАЙКА

В этой главе моих воспоминаний я намерен рассказать об эпизоде, который в своё время породил немало толков. Теперь эта история забыта, как забыт и автор бульварной пьесы, изрядно позабавившей меня, но и доставившей, надо признать, несколько неприятных минут. Если я здесь упоминаю о ней, то исключительно ради полноты моей биографии.

Случилось это, если не ошибаюсь, в девятых годах, к этому времени я уже был достаточно известен. Желание присоединиться к моей славе было побудительным мотивом для автора пьесы. Сам я никогда не видел её на сцене, равно как не имел чести быть знакомым с г. Чеховым. Мне дали прочесть это сочинение. В пьесе нет действия, нет характеров, нет логической связи между отдельными сценами. Ни для кого не было тайной намерение автора оклеветать меня как писателя и человека. Я вынужден был защитить своё доброе имя, поместив в «Новом Времени» протест, который перепечатали другие газеты, и по моему настоянию пьеса была снята с репертуара. Мне попадались в печати упоминания о том, что её поставил какой-то «общедоступный» театр в Москве. Насколько мне известно, она и там провалилась.

Помнится, незадолго до этого в Москве я был представлен одной популярной в те годы актрисе, не сказать чтобы очень талантливой, но с большими претензиями, — довольно взбалмошной особе, успевшей вступить в тот опасный возраст, когда вместе с увяданием женских прелестей появляются признаки охлаждения публики. Как дворянин и воспитанный человек я неумеренно расхвалил её игру, это чрезвычайно расположило ко мне г-жу Ирину А., мы стали встречаться, и вскоре выяснилось, что она безумно влюблена. Я сошёлся с ней скорее из жалости.

Некто Шамраев, очень милый человек, отставной поручик, служивший управляющим в имении брата Ирины, позаботился о том, чтобы обеспечить нам возможность без хлопот и излишних затрат провести лето в имении, в одном из чудных уголков Средней России. Природу этих мест я описал в повести «Лето в деревне»; отзвуки тогдашних впечатлений можно найти и в других моих вещах. С братом Ирины, склеротическим чиновником в отставке, мы сошлись накоротке. Мне уже случалось рассказывать на этих страницах о моей страсти к рыбной ловле; этим летом особенно хорошо клевало.

К сожалению, наше пребывание в деревне было омрачено другим знакомством. Сын г-жи А., молодой человек, недавно вышедший из университета, без средств, без определённых занятий, вынужденный круглый год жить на хлебах у дяди, вообразил себя писателем. Я всегда относился к

большим подозрением к так называемым непризнанным гениям. Многочисленные примеры показывают, что только те авторы, которые живо откликаются на жгучие проблемы своего времени, живут одними чувствами с соотечественниками, с народом, могут заслужить благодарность и любовь современников. Эти писатели достойны занять первый ряд в литературе. Если о Борисе Тригорине авторитетные критики писали — смею думать, не без основания, — что в его повестях и рассказах проявились лучшие черты гуманной, глубоко христианской по своему духу русской литературы, то о сыне Ирины А., которого все называли Костей (не помню его фамилию), можно было сказать обратное. Тут мы столкнулись с демонстративным презрением к гражданскому долгу, замороченностью какими-то якобы новыми формами и, разумеется, непомерной амбициозностью, которая так часто сопровождает отсутствие таланта. Да, он был бездарен, догадывался об этом и оттого был глубоко несчастен. К этому нужно прибавить низкое происхождение (бывший муж Ирины, провинциальный актёр, был по паспорту нижегородским мещанином) и жалкое положение приживала. Нетрудно догадаться, что автор вышеупомянутой пьесы, который всеми силами старается возбудить у публики сострадание к этому персонажу и явно приукрасил его, изобразил в нём самого себя.

Что же касается меня, то в пьесе я представлен в самом непривлекательном свете. Вот один пример. Рисуясь перед своей новой знакомой, писатель рассказывает о себе, следует непомерно затянутый монолог, и что же мы из него узнаём? Оказывается, этот господин только и делает, что бегаёт с блокнотом, записывает что попало — всякую чепуху, строчит одну повесть за другой, и всё это называется искусством, творчеством. Хорош был бы я, если бы следовал такому образцу! — Таковы представления автора о работе писателя и назначении литературы.

Ни г-жи А., ни её сына давно нет в живых, мне самому остаётся немного жить на этом свете (о моих злоключениях после еврейско-большевистского переворота, бегстве из России и парижских годах я расскажу, если Бог даст мне силы, в следующих главах), поэтому позволю себе коротко изложить дальнейшие события — как было на самом деле. Некая барышня, проживавшая по соседству, от скуки вообразила себя актрисой и, услышав о том, что в имение брата Ирины А. приехал из столицы знаменитый русский писатель, стала с необыкновенным упорством добиваться моего внимания. Сразу скажу, что впоследствии она действительно играла где-то в провинции, потом её след окончательно затерялся...

Вышеупомянутый Костя имел, однако, на эту девушку, дочь богатых родителей, свои виды. Он вбил себе в голову, будто я хочу отбить у него будущую невесту, тогда как у меня и в мыслях не было заниматься амурами: я хотел спокойно провести каникулы вдали от суеты, пожить на природе, насладиться вдоволь рыбалкой. Но барышня буквально преследовала меня, и это не могло остаться незамеченным. Ирина страдала, устраивала мне сцены. Её сын возненавидел меня. Летний отдых был окончательно испорчен. В довершение всего моя новая поклонница стала грозить мне самоубийст-

вом. В конце концов г-жа А. увезла меня в Москву. Но и там m-lle Заречная не оставляла меня своими домогательствами. Я ничего не мог поделать; мы сошлись.

Из сказанного видно, до какой степени безответственно автор пьесы обошёлся со своим сюжетом, извратил облик действующих лиц, которым даже не потрудился дать вымышленные имена. Приведу один пример. Сколько-нибудь серьёзного писателя из этого Кости не получилось — тут автор пьесы не погрешил против истины. Но дальше по ходу действия молодой человек, ничего не добившись, совершает самоубийство. С помощью этого затасканного приёма незадачливый драматург хотел спасти пьесу. А что было на самом деле? Я решительно отказался составить протекцию бездарному Косте. Видя, как он, не стесняясь в средствах, уморительно клеветца на старшее поколение, якобы захватившее все места в литературе, расталкивает локтями заслуженных коллег, хочет любой ценой пробиться и заодно отомстить мне за мой, повторяю, невольный успех у Заречной, — видя всё это, я был вынужден пресечь его инсинуации. Косте был закрыт доступ в столичные журналы и на императорскую сцену. Тем временем дядя, впавший в маразм, умер, имение пошло с молотка. Костя, погрязший в долгах, не сумевший поправить свои дела выгодной женитьбой, пытался заняться биржевыми спекуляциями, вновь потерпел неудачу и в конце концов отбыл в провинцию, не то в Харьков, не то в Читу. Если бы он действительно покончил с собой, то, полагаю, г-жа А. сообщила бы мне об этом. Кстати, это было как раз в то время, когда я окончательно расстался с Ириной.

Люди, меня знавшие и, в отличие от меня, знакомые с Чеховым, могли бы подтвердить всё здесь сказанное: известный критик Святослав Курицын, милейший Алексей Сергеевич Суворин и другие, а также моя старинная приятельница и поклонница (одно время мы были близки) Лидия Стахивна Мизинова. Могу упомянуть и Ваню Потапенко, моего protégé, многим мне обязанного. От них я, между прочим, узнал, что автор пьесы и прежде упражнялся в подобном роде, выводя в своих писаниях друзей и знакомых в неприглядном свете. Увы, и они уже в могиле.

КОЛЛЕКЦИЯ

Знатоки и любители помнят московский аукцион 2008 года, когда были распроданы последние экспонаты замечательного собрания Ивана Курочкина, человека, ставшего легендой. До сих пор о Курочкине циркулируют самые дикие слухи, приходилось даже слышать, будто Курочкин — мистификация и на самом деле никогда не существовал. Я знал Ивана, хоть и не принадлежал к его ближайшему окружению, и могу свидетельствовать, что девять десятых того, что о нём рассказывают, не имеют ничего общего с действительностью. «Ваня, — сказал я ему однажды, — ты бы хоть написал свою биографию». Он усмехнулся и ответил: «Моя коллекция — это и есть моя биография. Никакой другой у меня нет».

Курочкин был сыном француженки, светской львицы и, говорят, ослепительной красавицы; к несчастью, она окончила свои дни в частной психиатрической клинике. Отец, русский эмигрант, разбогатевший на каких-то не вполне законных денежных операциях, сравнительно благополучно пережил чёрную пятницу 1929 года и кризис начала тридцатых, после чего, в итоге чрезвычайно удачных инвестиций, превратился в промышленного магната. Овдовев, он больше не женился, всё досталось Ивану.

В душе Курочкин-старший был человеком другого покроя, считал себя несостоявшимся художником, мечтал, что сын исправит его ошибку — так он называл, не без некоторого кокетства, свою карьеру. Иван рассказывал, что однажды отец призвал его к себе для серьёзного разговора. «Ну хорошо, — сказал он, — коли тебя тошнит от живописи, коли ты чувствуешь, что не рождён быть ни поэтом, ни музыкантом, уверяешь меня, что в тебе проснулась иная страсть, что ж? Займись, по крайней мере, благородным делом. У меня есть несколько ценных инструментов. Дарю тебе их, пусть это будет началом».

«Если бы он знал, — говорил Иван, — как я распорядился его наследством!» Небольшой домашний музей — полтора десятка смычковых инструментов разных эпох — довольно быстро растаял. Две скрипки Гварнери и его же работы виола да гамба были реализованы на аукционе за приличную сумму, зато ирландскую хротту X века, гордость коллекции, он продал, по недостаточной компетентности, за бесценок — каких-то семь с половиной миллионов. Большой, в человеческий рост, монохорд из лиможского монастыря св. Марциала уступил, после долгих переговоров, известному любителю — инфанту Испании, — если не ошибаюсь, за 18 миллионов. Прочее разошлось по музеям, по частным собраниям. Иван уже не владел пакетом акций отцовских предприятий. Ушёл из-под контроля один из самых могу-

щественных банков Западной Европы, уплыли земельные владения и леса в Вермонте, уплыло сказочное поместье в Провансе, близ городка Оранж, где прошло детство, где умер отец.

«Я всё спустил; я почти что нищий, если сравнить моё нынешнее существование с условиями жизни в среде, к которой я принадлежал по рождению. Но на вопрос, сожалел ли я когда-нибудь о том, что принёс в жертву моему призванию всё, чем владел, и самого себя в придачу, — я отвечаю: ни на одну минуту!»

Таков был Иван Курочкин — весь он, можно сказать, в этой тираде. Какой удивительный, думалось мне, плод смешения черт и склонностей столь непохожих друг на друга родителей — коктейль французской и русской крови. Курочкин интересовался своей генеалогией, и не зря. Прадед по материнской линии был мореплавателем, сподвижником Лаперуза. Погиб где-то за тысячи льё от Франции. Что касается предков с отцовской стороны, то известно, что один из них считался потомком татарского мурзы, прибывшего на Москву с ордынцами в начале XV столетия. Другой играл в кости, всегда выигрывал и был заподозрен в шулерстве, а его сын, прозванный Курочкиным за особое пристрастие к женскому полу, был трижды женат, держал у себя в деревне крепостной гарем и даже будто бы жил с собственной дочерью как с женой. Трудно сказать, что здесь правда, а что легенда подстать тем, о которых я упомянул.

В моём рассказе я не могу и не хочу придерживаться хронологического порядка, что, по-моему, соответствует отращению Курочкина к биографиям. Случалось, что мы не виделись годами, но какая-то сила вновь влекла меня к нему; похоже, и он испытывал ко мне некоторого рода симпатию, если можно предположить подобное чувство у человека нелюдимого, неразговорчивого, всецело поглощённого своей страстью — одним словом, маньяка. Выглядел Иван как отражение в вертикальном зеркале, в каком-нибудь павильоне смеха: тощий, длинный, неловкий, то, что называется коломенская верста, длиннорукий, с вытянутым лицом и узко посаженными глазами, и удивительно похожий на экспонаты своей коллекции. Вот уж кого бы я не решился назвать красивым мужчиной. Семья у него никогда не было — у таких людей не бывает домашнего очага. Зато появились подражатели, был основан клуб, поговаривали, что со временем он будет преобразован в Академию имени Ивана Курочкина. Разумеется, сам он не мог управляться один со всеми своими делами и подобрал себе штат помощников. Был секретарь-делопроизводитель, был финансовый директор, банда съевших зубы на своём деле юристов, эксперт, единственный, но зато весьма искушённый — в отличие от невежественных советников времён ивановой юности, когда он разбазарил свои музыкальные раритеты, — а кроме того, разведные агенты, фотографии, ещё какие-то личности с неясными функциями.

Думаю, что никто из его персонала не ел даром свой хлеб. Иван был щедр, но умел быть и беспощадным; малейшая провинность, и человека как не было: мой друг не выслушивал никаких оправданий. Разного рода формальности, сложности увольнения — плевал он на всё это. Приличная сумма, чтобы отлучённый не оказался на улице, — и катись. Был у Ивана и спе-

циальный человек, умевший весьма бесцеремонно отгонять от шефа стада просителей, самозванных искусствоведов и, разумеется, женщин. Или, например, является некто, выдающий себя за специалиста по грунтам и фундаментам; в шею его. Каждое новое приобретение полагалось обмыть, для чего шеф содержал повара и дегустатора. Созывался узкий круг, и компания напивалась до положения риз. Курочкин терпеливо выслушивал тосты, порой весьма рискованные (он не терпел лести), молча поднимал бокал и ставил на место, не пригубив.

Раз в месяц — деловое совещание, обсуждались новые проекты. Самое трудное, говорил Иван, это переговоры с собственниками, будь то частные владельцы, городские общины, церковные власти или правительственные страны. Само собой, приходилось принимать меры к тому, чтобы до поры до времени держать сделки в секрете от так называемой общественности. Иван не давал никаких интервью. Редакторы бульварных журналов знали, что публикация фотографий великого Курочкина будет стоить им судебного процесса.

Единственное, на что он изредка давал согласие, — экскурсии. Делалось это исключительно с благотворительной целью: выручка шла (в память о матери) на строительство приютов для душевнобольных. Плата за вход ни много ни мало пятьсот долларов, тем не менее от желающих поглазеть на легендарную коллекцию не было отбоя. Как-то раз я присутствовал на одном из таких, я чуть было не сказал: шоу. Экспонаты были мне известны, но было интересно поглядеть на экскурсовода. Станный и живописный субъект в смокинге, с огромной, чуть ли не от плеча до плеча, бабочкой на шее, в чёрном, как смоль, парике и с подкрашенными губами, отставной любовник из французского водевиля, стареющая опереточная звезда, шпрыхталмейстер в цирке. Бог знает, откуда его добыл Курочкин. Ехал этот персонаж не вместе со всеми, а в отдельной машине-вагончике.

Любопытно, что он ничего не говорил о создателе коллекции, на вопросы о Курочкине предпочёл вовсе не отвечать; надо думать, получил на сей счёт соответствующее указание.

Но ещё интересней был его способ вести экскурсию.

Для начала гид произнёс короткую речь.

«Дамы и господа, уважаемая публика! Вам предстоит приобщиться к творениям духа, устремлённым ввысь не только в переносном, но и в прямом смысле, при всей их несомненной материальности... Вы получите возможность — в пределах отпущенного нам времени — ознакомиться с изумительными произведениями человеческого ума, таланта, терпения — ведь создание их нередко было делом поколений, — и я надеюсь, нет, я уверен, вы навсегда сохраните память о сегодняшнем дне, не пожалеете ни о потраченном времени, ни о сумме, которую вам пришлось уплатить, впрочем, довольно скромной сравнительно с расходами по поддержанию этого... — он запнулся, обвёл парк широким жестом, — этого единственного в своём роде собрания. Кстати, открою вам секрет: нынешний год — юбилейный. Тридцать лет тому назад было положено начало коллекции... Настоятельно

прошу, прежде чем мы приступим к осмотру: никаких фотоаппаратов, никаких кинокамер. Просьба не выходить из автобуса без моего приглашения и ни в коем случае не отставать от группы».

Публика расселась по местам, экскурсовод влез в вагончик; обе машины въехали в ворота и несколько минут спустя остановились перед первым экспонатом. Посетители высыпали из автобуса. Все с восхищением смотрели на гида.

Он стоял на аллее. На нём было зелёное одеяние из струящегося шёлка, ниже колен виднелись красные шёлковые шаровары, на голове круглая бархатная шапочка, расшитая серебром, на груди висели длинные смоляные косы, а сзади из-под шапочки до самого низа спускалась полупрозрачная фата.

«Примерно так, — сказал он, — выглядела последняя татарская царица, повелительница Казанского ханства. Мы начнём осмотр коллекции с относительно мало известного экземпляра. Перед вами башня Казанского кремля, с её вершины, как гласит предание, царица бросилась вниз головой. Вы догадываетесь, почему. Чтобы не попасть в руки москвитам, осадившим Казань. Как видите, башня достаточно высокая, чтобы... чтобы гарантированно сломать себе шею».

Возгласы ужаса прервали на минуту рассказ экскурсовода.

«Город Казань существует до сих пор, он находится в весьма отдалённой части бывшей Российской империи. Ханство было завоёвано в пятнадцатом или шестнадцатом веке Иоанном Ужасным — таково было его мрачное прозвище, — точное время правления этого царя неизвестно, вообще полумифическая фигура... Нынешние российские власти воображают, что их империя всё ещё существует... Пришлось предпринять немалые усилия, чтобы приобрести этот полуварварский шедевр. С момента покупки стоимость башни ещё более возросла».

Крики восхищения покрыли его слова.

«Кстати, о кремлях: вы, вероятно, слышали о самом известном сооружении такого рода: это кремль в Москве, называемый просто Кремль. Из девятнадцати башен этого уникального архитектурного ансамбля в нашем собрании находятся две, в том числе самая знаменитая. Большевистский режим был вынужден мириться с тем, что она была названа в честь Спасителя, но установил на ней вместо древнего византийского орла самую большую красную звезду. К великому сожалению, она разбилась при транспортировке. Мы подъедем к этой башне немного позже, а пока следуйте за мной...»

Машины приблизились к следующему экспонату, на этот раз экскурсовод вылез из вагончика в своём обычном наряде, и публика, которая приготовилась к новому зрелищу, была разочарована.

«Voilà!» — сказал он, выбрасывая ладонь. В отличие от других объектов, это была простая деревянная башня с лестницей, вроде пожарной вышки.

«Возможно, некоторые из вас читали пьесу драматурга Ибсена, теперь он уже забыт, о чём следует пожалеть: весьма замечательный был автор. Пьеса называлась «Строитель Сольнес», речь шла об архитекторе башен. В финале он по каким-то непонятным причинам падает со своего сооружения. Этот Сольнес, дамы и господа, существовал на самом деле, можете полюбоваться: башня перед вами. Она была совершенно заброшена, её собирались сломать. Мы отремонтировали её».

Ответом были возгласы изумления.

Снова двинулись, и снова остановились. Теперь вожатый предстал перед экскурсантами в весьма эффектном виде: высокая конусообразная шапка и лиловая мантия с золотыми звёздами и знаками планет.

«А вот... Прошу немного отойти, так будет виднее. Сколько лет мы... (Снова это «мы», словно экскурсовод был совладельцем коллекции.) Сколько лет мы облизывались на неё, ходили вокруг, как кот вокруг горячей сковороды. Приобрести представлялось совершенно невозможным. И всё-таки, хе-хе, она здесь! (Широкий жест.) С этой самой башни — вы видите там наверху площадку — знаменитый астролог Галилей следил за движением светила. Его предсказания сбываются до сих пор! Кроме того, — вы видите, что башня наклонилась, это было удобно для опытов... кроме того, он бросал с неё разные вещи, чтобы доказать, что все предметы падают в одном и том же направлении: вниз — и только вниз. Это был великий учёный».

Аплодисменты, общий восторг.

«Хочу обратить ваше внимание, — продолжал экскурсовод, — на одно чрезвычайно важное обстоятельство. Башня, я говорю не только об этой башне, но о башне как таковой, о башнях вообще... — башня — это не просто очень высокое здание, вертикальное сооружение или, как теперь модно говорить, фаллический символ. Символ, знаете ли, можно выдумать какой угодно, а дело в том, что башня заключает в себе глубокую философскую идею. Это идея победы и поражения, триумфа — и краха, восхождения и... падения. Но не таков ли человеческий удел? Господа, я просил не подходить близко. Она падает много лет, но знаете ли, бережёного Бог бережёт».

Очередной экспонат, к которому он подвёл нас, плохо вписывался в общий стиль коллекции, да и вид экскурсовода поначалу смутил публику, особенно шокировал дам. Маскарадный гардероб нашего гида сам по себе представлял собой весьма экзотическую коллекцию. Шапка-ушанка подозрительного меха. Замызганная, прожжённая, кое-где заплата и снова прожжённая ватная телогрейка, вислые стёганные штаны, растоптанные буро-рыжие валенки. Таков был его новый наряд. Экскурсовод смачно сплюнул и указал на сторожевую вышку.

«Редкостный, уникальный экземпляр, — просипел он, — подлинник... Приобретён в одном из бывших концлагерей на Северо-Востоке. Мы с вами снова в России, господа...»

Автобус вновь наполнился экскурсантами, медленно ехал по главной аллее. Впереди, указывая дорогу, катил вагончик, голос чревоушателя в репродукторе хлоптал над осололевшими пассажирами.

«Несколько французских донжонов, то есть угловых крепостных башен. Для полноты коллекции. Среди специалистов ценятся не очень высоко... Бастилия... эту башню с трудом удалось спасти и вывезти... Но я хотел бы обратить ваше внимание вон на то сооружение, которое так выгодно отличается от своих мрачных соседей. Прошу выйти...»

В белой хламиде, без парика и с лавровым венком на голом черепе, с позолоченной картонной лирой в руках, гид явил себя присутствующим на фоне сооружения, которому время и традиция придали тусклый блеск старых зубов или плохого мрамора.

«Вы, наверное, думали, что это фантазия, мечта поэтов. Но нет — она существует! Прославленная Башня Слоновой Кости. Внутри на стенах нацарапаны автографы: кто только не квартировал в ней... А теперь это любимая башня, гм, нашего шефа. За неё была заплачена несметная цена».

Он таки отважился упомянуть об Иване!

А как же обещанная Спасская башня, венец коллекции Курочкина, была ли она продемонстрирована? К сожалению, не помню. Зато запомнился мне наш разговор за стаканом вина, незадолго до праздника. Мы засиделись допоздна. Больше молчали, чем говорили. Курочкин машинально водил пальцем по скатерти. Потом произнёс:

«Мой отец... кажется, я рассказывал тебе. Мой отец считал себя неудачником. Особенно в последние годы жизни — а умер он внезапно, между прочим, в том же возрасте».

«В твоём нынешнем возрасте?»

«Да. Особенно в последние годы, когда отец уже мало занимался делами, он то и дело возвращался к этой теме... Это не было кокетством... Он считал, что не смог себя реализовать. Ему надо было стать — кем, он и сам не знал. Тебе знакомо это чувство?»

«Разочарования?»

«Пожалуй... но не в чём-то конкретном, а вообще... во всей своей жизни, что ли... Не могу точно сформулировать. Одним словом, представь себе, что ты куда-то едешь, в определённое место и с определённой целью. И вот оказывается, что ты сел не в тот поезд. Или нет: всё правильно, поезд тот, который нужен, но города, куда ты едешь, не существует».

«Мне кажется, — сказал я, — ты достиг всего, чего хотел. И даже больше. Вот посмотришь, что будет завтра».

«Ох, как мне не хотелось всего этого!»

«Охотно верю, — возразил я и поднял бокал. — За тебя!»

(Замечу, что как раз в это время он вступил в долгие, изнурительные переговоры — попросту говоря, торговался — с правительством Франции о приобретении Эйфелевой башни).

«Опять-таки не могу тебе объяснить, — продолжал Курочкин, — но надеюсь, что ты меня поймёшь. Не могу передать, с каким тяжёлым чувством я иногда смотрю на всё это!..»

«На этот альбом?»

Это был только что выпущенный к юбилею, роскошный альбом цветных фотографий башен из коллекции Ивана Курочкина, с текстами известных историков, искусствоведов, писателей.

«Каждая из них что-то значила, была грандиозным символом веры, напоминала о былом величии, о победах, о трагедиях. А теперь? Куда девалось это величие? Теперь они, как жуки на булавках... История превратилась в кунсткамеру, в музейную коллекцию».

Юбилей стал пищей для целой армии репортёров, журналистов и телевизионщиков и, разумеется, породил уйму всевозможных слухов и домыслов. К моему большому сожалению, я не мог присутствовать на празднике, обстоятельства вынудили меня уехать из города. Как уже сказано, Курочкин отнёсся без энтузиазма к предложению публично отметить знаменательную дату. В конце концов ему пришлось поступиться своими правилами, преодолеть отвращение к шумихе. Был создан юбилейный комитет, опечатаны приглашения, ожидалось прибытие именитых лиц. Съехались и знаменитости собирательского мира: филателисты, фалеристы, нумизматы, библиофилы, коллекционеры картин, пуговиц, спичечных коробков и красивых женщин. Кульминационный пункт торжеств — награждение орденом. Крест и муаровую ленту через плечо должен был повесить на грудь создателю уникальной коллекции министр культуры.

Был чудесный день ранней осени, на площадке перед украшенной флагами цитаделью злополучной татарской царицы (башню выбрали благодаря удачному местоположению) были расставлены кресла для почётных гостей, за ними места для публики. Телекамеры, юпитеры, помост для музыкантов, палатка пресс-центра — всё как полагается. Поодаль, в сооружённом по этому случаю павильоне шеф-повар, о котором я уже упоминал — и который в этот день, как говорили, превзошёл самого себя, — с отрядом помощников и официантов приготовился к банкету. Все расселись, дирижёр поднял палочку. Грянул туш, раздались аплодисменты. Появился Иван Курочкин. Он был скромно одет, выглядел неуверенно, как-то криво поклонился и вошел в раскрытые настежь узорные ворота. Всё смолкло, в широких просветах ярусов было видно, как он медленно, держась за перила, поднимался по ступенькам всё выше и выше. Публика молча ждала. Все смотрели наверх. Наконец, он вышел. Он стоял под навесом, изукрашенным разноцветной резьбой, на площадке — может быть, той самой, откуда красавица ханша Сююмбека в последний раз озидала свой город, видела полчище врагов, лезущих сквозь брешь в крепостной стене, — стоял рядом со столиком, на котором лежал текст его речи.

Снова раздались хлопки, Курочкин поднял руку. Он подошёл к невысокому деревянному парапету, в репродукторах послышалось покашливание — юбиляр прочистил горло. «Your excellencies, — сказал он по-английски, и эти слова, произнесённые еле слышным голосом, стократно усиленные, разнеслись над толпой, — ваши превосходительства, друзья... Собратья по призванию, по этому наваждению, — добавил он неожиданно, — этому проклятью... Я...»

Весёлое оживление было ответом на эти слова; в толпе засмеялись. «Да, да, конечно... — торопливо добавил Курочкин, — я пошутил. Но в каждой шутке есть доля истины. Я бы хотел напомнить, что в латинском языке понятия проклятого и священного обозначаются одним и тем же словом... Так вот... Что я хотел сказать...»

Может быть, со временем удастся прояснить загадку исчезновения Ивана Курочкина; лично я при всём желании ничего определённого сказать не могу. Мои розыски ни к чему не привели, да и никто, я думаю, не даст ответа. Слишком много толков ходило в эти дни; бульварная печать изошрялась в домыслах и догадках. Сильно подозреваю, что сам Иван приложил руку к этой путанице.

Куда он девался? Кто-то будто бы его видел — случайно опознал в одном златном заведении на Монпарнасе, где некогда собирались русские эмигранты. Кто-то утверждал, что он был убит. Одна из расхожих версий — та, что Курочкин, поручив ликвидацию своего дела доверенным лицам, уехал в Азию; есть сведения, что он живёт в ламаистском монастыре, в труднодоступной местности к западу от Красной Гоби, в Монголии. Но мне приходилось слышать и нечто совершенно невероятное. Проверить информацию не представляется возможным по той простой причине, что это никакая не информация. Это просто фантазия, выдумки. А вернее сказать, легенды.

Мне не верится, что Курочкин, всю свою жизнь посвятивший собиранию памятников, каждый из которых принадлежит эпическому прошлому, окружён сказаниями, оброс мифами, — не верится, что он мог уйти в неизвестность, не сделавшись в свою очередь мифическим персонажем. Позволю себе привести ещё одну версию, на мой взгляд, наиболее правдоподобную.

Окончив свою короткую речь, великий коллекционер спустился к наряду. Церемония награждения орденом прошла с надлежащей помпой. Некоторое время Курочкина видели то там, то здесь среди присутствующих. Затем, воспользовавшись тем, что внимание было отвлечено банкетом, он снова оказался на башне Сююмбеки. Те, кто мне об этом рассказывал, якобы своими глазами видели, как он ловко перекинул через решетку свою длинную ногу, затем другую, раскинул руки, точно хотел взлететь, и спрыгнул в пустоту.

ДИАЛОГИ

Выброси, Лампих, спесь и надменность; все это слишком тягчит лодку Харона.

Лукиан. Диалоги мёртвых, 4.

Художник и смерть

Смерть пришла к художнику, он занят своим делом.

«Разве ты меня не замечаешь?»

«А что тебе надо?»

«Разве не понятно — что?»

«Мне некогда».

«Мне тоже».

«Ну, хорошо, — сказал художник, — хочешь, я тебя нарисую?»

«Что это значит?»

«Сделаю твой портрет».

Смерть уселась на возвышении, мастер накинул на неё чёрный плащ, красиво расположил складки, дал в руки череп. Потребуется, сказал он, несколько сеансов.

Через несколько дней она спросила:

«Ну как, готово? Можно взглянуть? Мне нравится».

«А мне — нет. Романтизм, банально».

Начал заново, без плаща и черепа.

Ещё сколько-то дней прошло. Художник качал головой: опять не то. Неуместный модернизм. И тоже порядком надоевший.

«Мастер, — сказала смерть, — всякому терпению приходит конец. Что будем делать?»

«Я понял, — сказал художник, — задача искусства — изображать не внешний вид вещей, а их сущность».

«Ты со мной торгуешься. Это нечестно».

«Твоя сущность, — продолжал он, — вот что важно. Посиди в сторонке. Я напишу тебя такой, какова ты на самом деле».

Он заверил гостью, что на этот раз работа не займёт много времени, уселся перед мольбертом. Но прошёл час, и ещё час.

«Меня ждут другие», — сказала смерть. Она удалилась, а мастер, в глубокой задумчивости, с палитрой и кистью в руках, так и не сдвинулся с места.

Она явилась на другой день.

«Много работы. Террористы взорвали бомбу в универмаге».
«У тебя, я вижу, объявились помощники», — заметил художник.
«То ли ещё будет... Но не стоит отвлекаться. Надеюсь, картина готова?»
«Пожалуй», — сказал художник.
Смерть сама сбросила покрывало с мольберта.
«Что это? Ты вздумал со мной шутить!»
«Ошибаешься, дорогая».
«Но ты ничего не сделал».
«Вглядись повнимательней».
«Я не слепая!»

«Уверяю тебя, я не ленился. Видишь? — Художник кивнул на кипу листов с набросками. — Я проработал всю ночь, прежде чем взяться за картину...»

«И это результат? Ха-ха. — Смерть показала на холст. — За кого ты меня принимаешь? Тут ничего нет!»

Подумав, она добавила:

«Понимаю. Ты считаешь, что я... Некоторые утверждают, что меня не существует. Ты тоже такого мнения?»

«Я объяснил тебе, — промолвил мастер, — и повторю снова. Искусству внешность неинтересна. Всё это навязло в зубах. Можно срисовать яблоко. Ну и что? Получится ещё одно яблоко, только и всего. Искусство ищет суть».

«В чём же эта суть? Ты до неё докопался?» — насмешливо спросила гостья.

Художник развёл руками.

«Вот, — сказал он, показывая на пустой холст, — сама можешь убедить-ся. Мне больше делать нечего. Твоя взяла».

Рабби Лёв и Голем

Огромный глиняный Голем стоял посреди двора, расставив ноги, развесив ручки, а маленький реб Лёв Циммерман наблюдал за ним с порога.

«Попробуй ходить», — сказал он.

Великан сделал несколько шагов.

«Прекрасно. Теперь...»

Голем выполнил ещё несколько упражнений.

«Остаётся выучить тебя говорить, — сказал реб Лёв. — Повторяй за мной: я...»

«Йа-а».

«Я Голем», — сказал реб Лёв.

Голем повторил.

«Я родился семнадцатого ава 5330 года».

«Когда это?» — спросил Голем.

«Я уже сказал: семнадцатого ава. У христиан сейчас 1570 год, июль. Но ты не христианин».

«А кто я?»

«Пока что ты Голем».

«Я — Голем», — сказал Голем.

«Правильно», — резюмировал рабби.

Начал накрапывать дождь.

«Это плохо, — сказал реб Лёв. — Становись под крышу».

Глиняный человек возразил:

«Я твёрд, как камень».

«Да, но я боюсь, что ты размокнешь. Кому сказано? Стань под крышу».

Так прошёл первый день.

Назавтра человек из глины успешно повторил вчерашний урок и выучил наизусть первую фразу Книги Берейшит: «В начале Элохим сотворили небо и землю».

Учитель подумывал о том, чтобы подвергнуть Голема обжигу и тем обезопасить его от превратностей богемского климата. Но глиняный человек мог потерять способность к дальнейшему обучению. К тому же в Праге не нашлось бы печей такого размера. Для Голема сшили дворницкий фартук, он передвигался по двору, усердно размахивая метлой. В перерывах между работой Голем повторял за ребе фразы из Книги Берейшит.

Рабби Лёв был доволен.

«Не потеряй свиток, который я вложил тебе в рот», — сказал он.

«А что будет?»

«Будет очень плохо».

«Для кого?»

«Для тебя, дуралей!»

«Я бы попросил... — сказал Голем обиженно, — меня не обзывать».

«Хорошо, не буду, — согласился рабби. — Но предупреждаю тебя: ты должен меня слушаться. В твоих же собственных интересах».

«А ты — меня», — сказал глиняный человек. И прошло ещё сколько-то времени.

Рабби Лёв сидел, как всегда, за книгами, когда раздался треск. Это скрипели и трещали ступеньки крыльца. Что-то упало. Голем протиснулся в комнату.

«Есть разговор», — сказал он.

«Метлу надо оставлять на улице, — заметил рабби. — В чём дело?»

«Есть разговор. В твоей книге слишком много противоречий».

Реб Лёв пожал плечами.

«Может быть. Но о Торе так не говорят».

«И вообще, — продолжал Голем, — она мне не нравится».

Учитель поинтересовался: почему?

«Долго объяснять. А вот что мне нравится, так это твоя комната».

С тех пор Голем жил в доме, а рабби убирал двор и ночевал в сарае.

Вместе с рабби глиняный человек гулял по городу, возбуждая всеобщее любопытство. На нём был кафтан, панталоны до колен, белые чулки и туфли с пряжками. На голове высокая чёрная шляпа.

Оба остановились на базарной площади, вокруг столпился народ.

Голем объяснял людям, что реб Лёв — это его создание. Кто смеялся, а кто и поверил.

«Не надо так много разговаривать, — сказал реб Лёв, когда они вернулись домой, — а то ещё выронишь изо рта свиток».

Мало-помалу распространился слух, что рабби Лёв Циммерман лишь выдаёт себя за человека, а на самом деле — говорящая глиняная кукла.

В конце концов он был разоблачён и с бранью изгнан из синагоги. Мальчишки швыряли в него камнями. Голем строго наказал ему никуда не отлучаться. Рабби жил в сарае, вставал на рассвете, колол дрова, носил воду, а Голем сидел в его комнате и делал вид, что изучает Тору.

«Нет, — сказал он однажды, — надо всё-таки открыть глаза людям».

Держа святую книгу под мышкой, Голем появился на базарной площади.

«Евреи, — сказал он, — вас бесстыдно обманывают. Просто-таки водят за нос. Вот, — он раскрыл Тору, — тут рассказано о том, как Бог создал из ничего небо и землю, и земных тварей, и человека, и всё это за каких-то семь дней. Этого не может быть! А вы слушаете и всему верите. Всем этим сказкам... Таки плюньте, наконец, на них. Как я!»

С этими словами он швырнул Тору на землю, с громом прочистил носоглотку и плюнул на Книгу книг.

Крошечный свиток вылетел у Голема изо рта, и тут что-то случилось.

Поражённые зрители молча смотрели на книгу в толстом переплёте из телячьей кожи с серебряными застёжками и кучу сырой глины, которая расплзлась по земле.

Поэт и Вельзевул

Кто-то взошёл по скрипучей лестнице, постучался в мансарду.

«Да», — сказал поэт.

Вкрадчивый голос попросил: «Пожалуйста, ещё раз».

«Войдите».

«Ещё раз...».

«В чём дело? Я же сказал вам: входите».

«Извини, — сказал дьявол, вступая в комнату. — Нашего брата полагаются приглашать трижды».

Поэт заметил, что он где-то об этом читал.

«Могу напомнить. У Гёте».

Поэт спросил: чем он обязан чести?..

«Хочу тебя поблагодарить. — Гость окинул взглядом убогое жильё и уселся на продавленный диван. — Ты напомнил обо мне читателям. Сделал мне отличную рекламу».

«Вы думаете, — поэт усмехнулся, — у меня так уж много читателей?»

«Теперь их станет больше. Я позабочусь об этом. Как никак, и я приобщился к твоей судьбе. К твоему, быть может, бессмертию!»

«Но дьявол и так бессмертен. По крайней мере, так считается».

«Считается, хе-хе. Смерть и бессмертие — земные понятия. С точки зрения вечности, это ложное противопоставление».

Поэт признался, что ему пришлось издать стихи за собственный счёт. Последние деньги выложил.

«Сочувствую».

«Но знаете... Я бы не хотел оказаться приспешником Вельзевула».

«Приспешником? Это было бы для меня слишком большой честью! Гёте тоже... как бы это выразиться. Немало потрудился ради моей популярности. Другой вопрос, насколько ему это удалось».

«Я вижу, вы интересуетесь поэзией».

«Это моя слабость. Скажу по секрету, я и сам пробовал свои силы. Написал эпическую поэму “Сотворение мира”. В двадцати четырёх песнях».

«Вы были свидетелем этого... события?»

«Был, как же».

«Вероятно, у вас там есть и кое-что о Творце?»

«Разумеется».

«Понравилось ему?»

Дьявол покачал рогатой головой.

«Почему?» — спросил поэт.

«Он сказал, что у меня нет поэтического таланта. Советовал переделать в роман наподобие Вальтер Скотта».

«Мне бы хотелось почитать, — сказал поэт. — Поэма опубликована?»

«Нет, конечно».

«Почему? В конце концов, можно под псевдонимом».

«Не в этом дело, — уныло сказал Сатана. — Я же говорю. Уж очень плохие стихи. Я их сжёг. В адском пламени».

«Скажите, — осторожно спросил поэт, — что вы нашли такого в моих стихах, что они вам так понравились?»

«Что нашёл... Дерзость. Демонизм. Упоение пороком. Презрение к прописной морали. Как раз то, что нам нужно. Настоящая современная поэзия».

Поэт был польщён, однако услышать комплименты из уст князя тьмы... гм.

«Вот, например, такое стихотворение...». Гость вскочил с дивана, прочистил горло, вознёс глаза к потолку.

Я презираю человечество.

Я от него бегу, спеша.

Моё единое отечество —

Моя пустынная душа...

«Нет уж, лучше не надо... прошу вас. Кроме того, это не мои стихи».

«В самом деле? А чьи же?... Ну, не в этом дело. Слушай, — сказал Сатана, — оставим все эти церемонии. Будем на ты! У меня есть предложение».

«Какое?»

«Хочу тебе помочь».

«Ага, я так и знал».

«Ничего ты не знал».

«Ты пообещаешь золотые горы, а взамен потребуешь мою душу. Старая песня».

«И абсолютно фальшивый сюжет! Да знаешь ли ты, что перед моей конторой стоит очередь в полкилометра. Отбоя нет от желающих продать!»

«Странно, — проговорил поэт. — Я представлял себе чёрта иначе. Рога есть. А где всё остальное?»

«Остальное? Ну, если ты сомневаешься...»

Он распахнул плащ, под ним оказалось голое тело, поросшее густым рыжим волосом. Свой хвост Сатана обернул вокруг живота. Бросался в глаза внушительных размеров детородный член.

Поэт брезгливо поморщился. Бес был доволен произведённым впечатлением.

«Что-то я продрог, — сказал он, запахиваясь. — Здесь не топят. Нет ли чего-нибудь выпить?»

«К сожалению, нечем закусить», — сказал поэт, ставя на стол початую бутылку.

«Печально, — отвечивал гость, — впрочем...»

Чокнулись, выпили.

«Люблю русскую водку. За такое изобретение вам можно многое простить... Но к делу. Мы говорили о душе. Друг мой, не сердись, — подбравшим голосом сказал дьявол. — В сущности, ты и так уже мне продался. Разумею, конечно, твою музу... Давно пора было покончить с предрассудком, будто литература должна служить добру. Впрочем, что такое добро?»

Налили ещё по одной.

«Послушай... У меня есть связи в издательствах. Твои сочинения будут выпущены огромным тиражом, на веленовой бумаге. Что ты на это скажешь?»

Поэт помалкивал.

«Критики со мной в прекрасных отношениях. Они напишут то, что надо... Я создам тебе идеальные условия для работы. Будешь жить на вилле. Прислуга, никаких забот. Отличная кухня. Как ты относишься к антрекоту по-гималайски?»

«Положительно, — сказал поэт. — А что это такое?»

«О! Это невозможно описать словами. Это надо попробовать. Или, может быть, ты предпочитаешь флан из телячьих яиц, индейку по-рыцарски? А как насчёт цыплят монморанси в вишнёвом соусе?»

Вельзевул приоткрыл свою хламиду, небрежно помахивал членом туда-сюда.

«Само собой, и девочки! У нас богатый выбор. А насчёт преисподней, советую не верить всем этим сказкам. Уверяю тебя: здесь не лучше, чем там. Ну как, по рукам?»

Ева и Адам

Адам познал Еву, но распорядитель медлил, и они могли ещё немного времени побыть в эдемском саду. Как это бывает после первого раза, они стыдились взглянуть друг другу в глаза.

«Ну как ты?» — робко спросил Адам.

Ответа не было.

«Всё как-то быстро», — заметил Адам.

«Ты очень торопился», — сказала Ева.

«Ты на меня сердиться?»

«Почему я должна на тебя сердиться?»

«Это... так неожиданно».

«Ты думаешь?»

«Ну да. Как-то вдруг».

«Вовсе нет, — сказала Ева. — Я этого ждала».

«Ты? ждала?»

«Ну да».

«Но ведь ты сопротивлялась».

«Немножко. Так полагается».

«Значит, — сказал он, подумав, — ты меня прощаешь?»

Они ещё немного полежали на траве.

«Всё-таки это было очень приятно. Этого нельзя отрицать. Тебе тоже было приятно?»

«Я же сказала: ты поторопился. Но ничего. Следующий раз получится».

«Ты хочешь сказать, — перебил её Адам, — что ты не успела... как это называется...»

«Кончить», — пролепетала Ева.

Адам нахмурился.

«Откуда ты знаешь такие выражения?»

«Но ведь ты тоже знаешь».

«Я — другое дело. Я мужчина».

Она проговорила снова:

«В следующий раз...»

«Когда это — в следующий раз?» Адам сидел, положив подбородок на колени.

«Не знаю, — сказала Ева, робко взглянув на мужа фиалковыми глазами. — Можно и сейчас».

«Я сейчас не могу».

«Ну что ж, подождём».

«Скажи... а ты не боишься?»

«Чего я должна бояться?»
«Что ты забеременеешь, чёрт возьми!»
«Нет, — сказала Ева. — Тем более, что ты там не побывал».
Они умолкли. Возможно, это была первая супружеская размолвка.
«Ты что, в самом деле думаешь, что я...» — заговорил Адам.
«Я бы почувствовала. И к тому же, как тебе объяснить? Я всё ещё де-
вушка».
«Что это значит?»
«Не знаешь, что значит быть девушкой?»
«Нет».
«И я не знаю. Я не могу тебе объяснить. Но если говорить откровенно,
это меня тяготит».
Она добавила:
«Ты должен меня от этого освободить».
«Ты так думаешь?» — спросил он неуверенно.
«А как же иначе. Ведь я твоя жена. Ты не смущайся. Первый блин ко-
мом. Главное — не торопиться».
«Я поражаюсь: откуда ты это всё знаешь?»
«Женщины знают».
«Но ты же первая женщина на земле».
«Собственно говоря, ещё не женщина. Но всё равно. Знание даётся нам
от природы. А мужчине надо приобрести опыт».
Адам погрузился в размышления.
«Я думаю, — осторожно напомнила Ева, — уже прошло довольно мно-
го времени. Ты любишь меня?»
«Я не знаю, — пролепетал Адам. — Что такое любовь?»
Она не успела ответить, как из-за кустов вышел распорядитель. Он был
в картузе, в дворничком фартуке и держал в руках метлу.
«Закрываем», — сказал он.
Они взглянули на него с испугом.
«Шесть часов. Сад закрывается. А ты, — сказал он Еве, — хоть бы наде-
ла что-нибудь на себя, бесстыдница...»
«Дедушка, — покраснев, сказала Ева, — ещё немножко...»
«Ещё десять минут, — твёрдо сказал Адам, — и мы уходим».

Иосиф и жена Потифара

Иосиф занимался государственными делами, когда вошла служанка с
приказом явиться к госпоже.
Супруга начальника стражи возлежала на ложе, в дезабилье. Иосиф
отвесил поклон.
«Давно хотела познакомиться с тобой поближе».
Он снова поклонился.
«Присядь... Я знаю, что ты занят, и не буду тебя утомлять околично-
стями. Вот, — она извлекла из ночного столика папирус, — я только что по-
лучила».

Иосиф наклонил голову.

Египтянка зачитала документ. Это был секретный доклад коллегии халдеев. Согласно расположению светил, для госпожи NN наступило благоприятное время произвести потомство. Запросить Иосифа Прекрасного, сына Иакова, иудейнина, первого советника Его небесного величества Фараона.

«Ты молчишь», — заметила госпожа.

Запросить, подумал Иосиф, которого постоянное внимание женщин несколько тяготило. Означает ли это, что...?

«Мадам, — проговорил он. Разговор продолжался по-французски. — Я весьма польщён. Но...»

Жена Потифара подняла протестующим жестом руку в браслетах и кольцах; он продолжал:

«Я польщён этим предложением — если я вас правильно понял, — но закон моих предков запрещает вступать в связь с замужней женщиной».

«Мы не в Земле Израила, — возразила она. — Вдобавок, как ты видишь, такова воля богов».

«Астрология — несовершенная наука. Можно и ошибиться».

«Допускаю. — Она усмехнулась. — Но ты красив, согласишься, что это тоже немаловажный фактор... Однако вернёмся к твоему замечанию о законе. Ты давно у нас и, может быть, кое-что забыл. Я могу напомнить. Ваш закон предусматривает, среди прочих видов сближения, сакральную связь. Причём, как правило, соитие, угодное небу, совершается по почину женщины... Кстате, — она мельком оглядела себя, — говорят, что я недурна...»

«Красота моей госпожи не имеет себе равных во всём Среднем Царстве», — сказал Иосиф.

«Ты опытный царедворец. Но я готова принять твой комплимент всерьёз. Хочу добавить к сказанному... Ты сослался на то, что я замужем. Я не стану говорить о моих чувствах к мужу, которого я глубоко почитаю. Он немолод... Замечу, что и наш, и ваш закон различают брак земной и небесный. Один совершается по земным, практическим соображениям. Другой... короче, не надо их смешивать. Пожалуй, мы слишком скованы пуританскими представлениями о сексе».

Наступила пауза. Иосиф сидел, не горбясь, смотрел перед собой. Жена Потифара нарушила молчание.

«У меня был доверительный разговор с Его величеством. Думаю, не надо пояснять, что властелин должен быть в курсе дела... Его величество дал понять, что не возражает. Итак?»

Иосиф безмолвствовал.

«Ты прав, — вздохнув, сказала она, — не будем тратить слов. Я составила расписание. Ты приходишь ко мне каждую третью ночь. Муж, как ты знаешь, в это время на работе. Мои рабыни немы, как рыбы в Ниле».

«Я подумаю», — сказал Иосиф.

АКВАРИУМ¹

Хроника пригородных поездов

Denke daran, dass heute morgen gestern ist².

Peter Weiss

1. Интродукция

Цветы и рыбы любят холодную воду. Существа, беззащитные перед прямыми лучами, чахнувшие в тепле, ищут спасения от иссушающего смертельного воздуха, гибко и беззвучно уходят вглубь, сверкнув серебряной чешуей, подальше от манящей поверхности, туда, где на песчаном дне между скалами, под мутным серо-зеленым солнцем их ждут, благосклонно покачиваясь, вея длинными изумрудными телами, вечно живые цветы моря. Человек гуляет среди зарослей в тенистой прохладе, под известковыми сводами, плутает в джунглях, вспугнув стаю прозрачных красноватых рыбок, проплывающих мимо в сиреновом фосфоресцирующем небе, где стоит неподвижно мутное электрическое светило. Рыбы спрашивают себя: как он сюда попал?

Как все. Люди бродят по залам и коридорам в сумраке между подводными жителями: любопытствующие, скусающие, восхищённые; толпятся перед бассейном, похожим на гигантскую кастрюлю из оргстекла, на хрустальный колокол, на купол цирка, все взоры устремлены на арену; песок, усеянный раковинами, слюдой, мерцающими плоскими камушками, сыплется, шевелится, дышит, это не песок, а чья-то спина, чешуйчатая кожа, вырисовывается огромный хребет, подрагивают иглы, колышутся крылья-плавники, — чудовище выпрастывается из песка, стряхивает присосавшихся моллюсков, плывёт вдоль круглой стены аквариума, толпа расходится. Гость остался один на один с легендарным монстром, гордостью океанографического музея. Но тот его не замечает. Человек идёт дальше. Рыбы-черви, рыбы-растения, увешанные серебряными пузырьками, куртины качающихся бледно-слизистых паучьих побегов, танцующих на одном месте, пока кто-нибудь не снимется с места, и тотчас за ним уносится, гибко подрагивает завивающимися концами, ускользает в щели утёсов вся поросль. Комки живой слизи, как в день творения, висят на уступах лиловых, розоватых, аметистовых скал; многоугольные, плоские, пупырчатые, безглазые существа со зрячей кожей неслышно передвигаются по дну, пожирая всё, что встречает-

¹ Впервые напечатано в журнале «Крешатик», 2001, 3.

² Помни о том, что сегодняшний день завтра станет вчерашним. *Петер Вейс.*

ся на пути; человек идёт дальше. На песчаном плато — развалины города, обломки капищ и колоннад. И вдруг выплывает из темно-зеленых глубин, повисает в пространстве, вея прозрачными плавниками, пышным кисейным хвостом, вращая светящимися, незрячими, круглыми пызырями очей, разеивает плоскую беззубую пасть владыка подводного мира.

Он висит в пустоте, медленно раздвигая рот; всё шире и шире; теперь видно, что пасть разрешила половину его туловища; гигантский зев с хвостом и жабрами; нет надобности охотиться, незачем двигаться: и мелочь, и средний люд, кто плавно, кто кувыркаясь, влекутся в разверстую пасть. Ближится время закрытия, и, обернувшись, посетитель видит идущих к выходу; в зале становится ещё сумрачней, но сил нет оторваться от зрелища плывущих, качающихся, судорожно дёргающихся тел. Медленно сходятся половинки рта, расщеплённое чудище вновь становится рыбой; и сытый, усталый, роскошно-кисейный богдыхан опускается на дно.

В чертогах смерти погасли огни, на потолке играют зелёные тени, и светятся мутно-фосфоресцирующие витрины, гость убыстряет шаги, наугад пересекает подводные залы, косясь на беззвучный, неспящий мир за толстыми стёклами. Гость очутился в переходе, где уходили вдаль таблички дверей, — очевидно, здесь размещалась администрация, вернулось время рассказа; вдоль потолка тянулись газосветные трубки, так называемые лампы дневного света — призрачно-белый, безжизненный день. За поворотом дверь с вывеской тёмного стекла, тускло-золотые буквы.

Посетитель взялся за косо прибитую ручку, тяжёлая створка поддалась. На эстраде, возле председательского стола, за небольшой трибуной докладчик — лицо освещено снизу лампой под чёрным колпаком — шевелит устами, два десятка слушателей сидело в передних рядах. Никто не обернулся. Председатель спросил: «Товарищ, вы к кому? Вы из академии?»

Вошедший молчал, и все повернулись к нему, а докладчик налил себе воды из графина. Был седьмой час, в больших окнах стояло отливавшее металлом густо-синее небо. Вошедший шёл между рядами к эстраде. «Вы откуда?» — снова спросил председатель. Человек остановился и сказал:

«Я хочу спросить. Как называется это животное... эта рыба с огромным ртом?» Он показал руками, как отворяется пасть.

«Товарищ, — сказал председатель, — здесь сессия научного общества. Вы кто? Вы член общества?»

«Нет, я просто так, — сказал посетитель, — я пришёл в музей. Я хочу спросить», — повторил он.

«Музей закрыт. Пожалуйста, не мешайте работать».

Наступила пауза, докладчик на трибуне пил воду. Румяный седовластый старец в первом ряду поднял руку.

«Я заявляю протест. Товарищ интересуется океанографией. Вместо того, чтобы его выслушать, мы его гоним прочь. Вместо того, чтобы удовлетворить его законное любопытство, мы заявляем, что он нам мешает работать. Работать над чем? Не будем забывать, — сказал почётный член общества, подняв палец, — что любознательность, умение задавать вопросы природе — это первичный импульс всякого научного исследования!»

Председатель выслушал старца.

«Протест отклоняется, — сказал он брезгливо и повернул голову к докладчику. — Продолжайте. А вы, — посетителю, — будьте любезны покинуть зал».

«Что значит покинуть? Нет, я решительно протестую. Пора, наконец, покончить с этим самоуправством. Возможно, товарищ хочет вступить в члены общества».

«В таком случае пусть заполнит анкету и представит список научных трудов. Мы рассмотрим...»

«Вот уж нет! — вскричал почётный член. — Не вы рассмотрите, а мы, мы все здесь присутствующие, рассмотрим и решим. Пора положить конец этому единовластию».

«Позвольте, — сказал председатель, — кто здесь председатель: вы или я?»

«Вот именно. Вот именно! Кто тут председатель. Я предлагаю поставить вопрос на голосование».

«Ну знаете», — сказал председатель и развёл руками.

Посетитель миновал коридор, он шествовал, помахивая портфелем, навстречу служителю, тот спешно посторонился и смотрел ему вслед. Гость отыскал дорогу в опустевший тёмный зал и приблизился к сияющему колоколу. Мир и довольство царили в подводном царстве, кисейный властелин отдыхал на песке.

Гардеробщица уже закончила рабочий день. Посетитель сам снял с крючка пальто и шляпу. Служитель, подбежав, отомкнул входную дверь. Посетитель океанографического музея размышлял об устройстве жизни. Город с его домами, тёмными подворотнями, толпами пешеходов и светосными глазами троллейбусов напомнил ему подводный мир.

2. Контролёры

Кто он такой? На этот вопрос было бы нелегко ответить и самому Льву Бабкову. Может быть, это станет яснее впоследствии, но обещать мы не решаемся. Было то время суток, о котором невозможно сказать, день это или вечер. Час, когда небо над городом загорается злокачественным оловянным сиянием, темнеют дома и светлеют улицы. Человек с портфелем проталкивался на перроне между ошалелыми жителями пригородов и дачных посёлков. В тускло освещённом вагоне на крюках качались кошелёки с продовольствием, пассажиры тесно сидели спинами друг к другу на двоянных скамьях, на мешках и чемоданах, в проходах и тамбурах. Поезд нёсся мимо сумрачных полустанков, люди выходили на редких станциях, это был удобный, скоростной маршрут. Понемногу стало свободней. С двух сторон в вагон электрички вошли двое в железнодорожной форме. Вид государственной шинели не может не пробудить беспокойство у всякого нормального человека. Лев Бабков следил из-за полуопущенных век, как контролёр неспешно, щёлкая компостером, продвигается в проходе. В тёмных окнах вагона стояли и проносились огни, стоял, ехал, словно в потустороннем мире,

другой вагон, и там тоже маячили бледные лица, качались кошёлки, контролёр показывал металлический жетон, пассажир рылся в карманах. Лев Бабков решительно встал и предъявил свой жетон; теперь в вагоне было три контролёра.

Он успел надорвать билеты, за отсутствием щипчиков, у каких-то бедолаг деревенского вида, смотревших с испугом и подобострастием, и, двигаясь прочь, столкнулся с другой шинелью, контролёрша держала в руках блокнот штрафных квитанций за безбилетный проезд. Она спросила: «А вы-то откуда взялись?» — «Как откуда? — возразил Бабков и показал жетон. — Добровольное общество содействия армии и милиции. Общественный контроль». — «Что-то я не слыхала про такое общество», — сказала она. Они стояли в проходе, контролёр закончил проверку и шёл к ним с другого конца.

«И где же ты сел? — продолжала она спрашивать, перейдя на ты, что означало уже некоторую степень коллегиальности. — Вот, — сказала она, — из общества, какой-то добровольный контроль».

«А, — сказал контролёр, — есть такой. Чего ж ты один-то ходишь?»

Втроём вышли в тамбур.

«Давай, тётка, подымайся, — промолвил старший контролёр. — Сейчас двери откроются, людям выходить надо».

Старуха, сидевшая на мешке, возразила:

«Куды ж я полезу».

«Туды», — сказал он.

Поезд остановился, контролёры вышли и направились к другому вагону, женщина обернулась; Лев Бабков кивнул, дав понять, что он следует за ними, но был отеснен ввалившейся толпой; что, однако, не противоречило его намерениям; он стоял в тамбуре у стенки с правилами для пассажиров; можно было заметить, слегка высунув голову, как контролёры вступили в другой вагон; и в последнюю минуту Лев Бабков выскочил на платформу.

Электричка ушла, нужно было ждать следующей. Он направился к вокзалу. У дверей стояли они оба. Контролёр сказал насмешливо:

«Куда ж ты сбежал-то».

Лев Бабков пожал плечами.

«От нас не убежишь. А ну, покажь».

«Чего показывать?»

«Жетон, говорю, покажи. Ты где его взял?» — спросил он, разглядывая жетон с колечком, которое надевают на палец, чтобы не потерять. Потом сунул его в карман.

«Ну, я пошёл», — сказал Бабков сумрачно.

«Стоп. Куда торопишься. А штраф кто будет платить?»

«Какой ещё штраф».

«Хорош гусь, — усмехнулся контролёр, — видала? Выпиши ему квитанцию. Документ есть? Предъяви документы».

«Да пошёл ты... Документы. Я тебя знать не знаю».

«Значит, так, — сказал контролёр. — Документов нет. Билета тоже нет. Ходит по поездам с фальшивым жетоном. Да ещё, небось, штрафы собирает».

Все трое вошли в зал ожидания.

«Будучи задержан, грубит персоналу. Что ж нам теперь с ним делать, наряд вызвать или как?»

Контролёр стоял перед задержанным, уперев руки в бока. Женщина спросила:

«Ты куда едешь-то?»

Лев Бабков снова пожал плечами и ответил, что ещё не решил; может быть, до Одинцова.

«Сядишься в поезд, а куда ехать, не решил. Ты вообще-то где проживаешь?»

«Вообще-то в Одинцове».

«Так. А ещё где?»

Лев Бабков устремил взор в пространство.

«И ко всему прочему без определённого места жительства. Давай, — сказал контролёр, — пиши ему квитанцию, хрен с ним».

Женщина в шинели поглядывала на часы; смена кончилась.

«Может, посидим где-нибудь?» — предложил Бабков.

«Я что-то продрог», — возразил контролёр.

«Весна гнилая какая-то, ни то ни сё», — подтвердила контролёрша.

«Как бы это, того, не простудиться».

«Вот и я говорю. Ходишь цельный день на сквозняках».

«Чего на меня смотришь? — сказал контролёр. — Ишь, какой шустрый: посидим. Мы при исполнении служебных обязанностей. Сейчас вот сдам тебя дежурному, он наряд вызовет. Пуцай разбираются. Ты как считаешь, Семёновна?»

«Да чего уж там, чего считать-то».

«Вот то-то. Служба есть служба», — сказал контролёр, и печать судьбы и долга обозначилась на его лице.

3. Приятное времяпровождение

«Я тебе так скажу...» — продолжал контролёр после того как официантке было заказано то, что положено заказывать, и выпито, и повторено, и потюкано вилкой по тарелке, и контролёр выпростался из чёрной шинели, и Лёва, вскочив с места, предупредительно принял от порозовевшей Анны Семёновны её форменное облачение, и всё это вместе с пальто и шляпой Бабкова было свалено на подоконник рядом со столиком, причём сам Бабков оказался при галстуже и в приличном, хоть и поношенном, пиджачке и даже с университетским ромбом на лацкане. Заказали ещё графинчик и ещё по одной порции салата из помидоров, и по рубленому шницелю, и как-то незаметно тем временем в дымном зале набралось народу, и на дощатом помосте уже настраивал инструменты кочующий по пригородным станциям эстрадный ансамбль.

«Я вот тебе так скажу. Ты хоть и... — он запнулся, не найдя нужного слова, — ну, короче, хрен знает кто, но человек образованный, это я сразу заметил. И с портфельчиком ходишь. А мы люди рабочие. Мотаешься с утра до ночи по поездам, да ещё тебе потом начальство холку намылит за невыполнение плана».

«Какого плана?»

«А вот такого. Финансового, вот такого».

«Разве есть план собирать штрафы?»

«А как же. На всё есть план. И на убийц есть план, и на воров, и на грабителей, а ты как думал? Положим, надо тюрьму новую выстроить: откуда ж это известно, сколько там должно быть камер, сколько этажей? А вот смотри, сколько положено по плану поймать преступников. Так же и безбилетников: положено столько-то выявить в день. Значит, выяви. И соответственно представь столько-то корешков от квитанций. А не представишь, холку намылят. Причём каждый год план всё выше».

«А если перевыполнил?»

«Премии получишь. Только я говорю, что план каждый год повышается».

«По-моему, — сказал Бабков, — безбилетных пассажиров хоть пруд пруди».

«Это верно, — согласился контролёр. — Так ведь не каждого поймаешь. И на лице у него не написано. Ну давай, что ли, за знакомство».

«Будем здоровы», — сказал Лев Бабков, и тут как раз оркестр грохнул что-то невообразимое; Лёва пригласил даму на танец.

«Валяй, Семёновна, — махнул рукой контролёр. — Небось, сто лет не танцевала».

«Куда уж там. По молодости ещё туда-сюда, а теперь чего уж».

«Вы и сейчас молодая».

«Скажете. Людей смешить. Это мы танго танцуем?» — спросила она.

«Вот видите, вы всё знаете».

«Да уж куда там».

«Мне ужасно неудобно перед вами, Анна Семёновна, — сказал Бабков. — Эта дурацкая история с жетоном. Чёрт меня дернул. Счастье, что на хороших людей нарвался».

«А ты ещё сбежать хотел».

«По глупости, Анна Семёновна: испугался. Я вам откровенно скажу, у меня тяжёлая полоса. Да и вообще: не везёт мне в жизни».

«Эва. А кому ж везёт».

«Не знаю, может, кому-нибудь и везёт. Есть счастливичики, у кого есть крыша над головой».

Танец продолжался, теперь уже трудно было сказать, какой эпохе он принадлежал, согбенный гитарист на помосте, широко расставив тощие ноги, бил и щипал свой плоский инструмент, похожий на крышку от стульчика, и время от времени что-то бормотал в микрофон, разносивший по залу его хриплый шепот.

«Ты вроде говорил, что живёшь в Одинцове».

Бабков не отвечал, скорбно и сосредоточенно вёл между редкими парами свою даму.

«В Одинцове, говорю! Ты вроде говорил».

«Живу, — усмехнулся Лёва. — Вот сейчас приеду, а там моё барахло выкинули на улицу».

«Эва; чего ж так?»

«А вот так: катись на все четыре стороны!»

«Слышь, Стёпа? — Музыканты гуськом удалились подкрепиться, оставив инструменты на эстраде. — Он говорит, с квартиры вышибают».

«А вот это он зря. Бандуру свою оставил. Уведут, и не заметит».

«Слышь, что говорю?»

«А? Чего?» — оговался контролёр.

«Спишь, что ли. Его с квартиры выселяют. В Одинцове».

«Кого?»

«Оглох, что ли? Я говорю...»

«А ты кто такой?» — спросил контролёр.

«Забыл, что ль. Безбилетник».

«Выпиши ему квитанцию».

«Мне очень неудобно перед вами. Я Анне Семёновне уже говорил, это счастье, что я хороших людей встретил».

«Предъяви документы».

«Да ладно тебе, Стёпа. Заладил».

«Выступает! — крикнул с эстрады гитарист. — Лауреат конкурса на лучшее исполнение! Поаплодируем, граждане».

Под жидкие хлопки на эстраду вышла певица с круглым старым лицом, в длинном облегающем платье с разрезом до талии.

«Ничего себе бабец», — сказал контролёр.

«Может, ещё закажем?» — спросил Бабков.

«Ни-ни. Вишь, какой он».

«Помню, я ещё молодухой была. Наша армия в поход куда-то шла».

«Ничего себе. А?»

«Стёпа... Пошли, мы тебя в вагон посадим. Сам-то доедешь? Или тебя проводить? Где эта кукла?» — спросила Анна Семёновна, ища глазами официантку.

«Я заплачу...»

«Да у тебя, небось, и денег нет».

«Я заплачу».

«Всю-то ноченьку мне спать было невмочь! Раскрасавец парень снился мне всю ночь!»

«Что это за херня, — сказал контролёр, — если снился, значит, небось, спала!»

«Ну-ка помоги. Тащи его. Давай, Стёпа».

«А вот я вас всех... Нечего меня провожать. Я вас в рот всех, мать, в гробу!»

«Да, такая жизнь. Вот сейчас вернусь, а там уже кто-то другой на моём месте. Может быть, и есть люди, которым везёт в жизни. Я к ним не отно-

шусь», — говорил Лев Бабков, заворачивая в газету хлеб и кое-что оставшееся на тарелках.

«Я вам скажу, Анна Семёновна, — продолжал он усталым голосом, уже в вагоне, — что я за человек...»

Время — двенадцатый час в начале.

4. Ночлез

«Тебе выходить», — сказала она неуверенно.

Поезд несётся во тьме, минуя полустанки, женщина смотрит в окно, где дрожат лампы, поблескивают ручки сидений, проскакивают слепые огни, где напротив сидит некто, о котором впору подумать, не призрак ли он, не пустое ли отражение в тёмном стекле, если можно думать о чём-нибудь, кроме дома и тёплой постели, в этот долгий, поздний вечер. Усталость, усталость! Не хочется смотреть ни на кого, не хочется говорить. Между тем он и не думает вылезать, поезд сбавил скорость, и вот уже едут навстречу, замедляя ход, фонари, едет платформа.

«Слыхал, что сказала? Одинцово».

Лев Бабков туманно взглянул на спутницу. Кто-то брёл мимо в полупустом вагоне, открылись двери; голоса на платформе.

«Давай; ещё успеешь. Али оконченел?» Она почти тащила его по проходу.

Выбрались в тамбур.

«Значит, гоните меня?»

«Не гоню, а пора. — Раздался свисток. — Погуляли, и будет. А то там твои вещи выкинут».

«Уже выкинули».

Чей-то голос с чувством ответил на платформе: «Ну и хрен с тобой! Ну и катись, видали мы таких».

Мимо пробежал дежурный по станции.

«Вот я и говорю, — продолжал голос. — Хрен с тобой, говорю, катись отсюда».

Поезд всё ещё стоял.

«Видно, что-то случилось, — сказала она, — везёт тебе... Милый, давай прощаться; устала я. Счастливо тебе, дай тебе Бог».

«Анна Семёновна», — пролепетал он, стоя на опустевшем перроне, и почти сразу же свисток дежурного раздался во второй раз. Половинки дверей сдвинулись, но Лев Бабков успел схватиться за резиновые прокладки. Поезд снова нёсся среди неведомых далей, в непроглядной тьме, мимо спящих посёлков, посылая вперёд слепящий луч, немногие путешественники раскачивались на скамьях, и тусклое отражение провожатого утвердилось вновь на своём месте за окошком.

Она спросила:

«Куда ж мы с тобой теперь?»

Лев Бабков объяснил, что он ненадолго, на два дня, «а там я устроюсь».

«Куда ты устроишься?»

«Я в институт поступаю».

«Учиться, что ль? Поздно тебе учиться».

Он ответил, что поступает в научный институт. «А насчёт денег, Анна Семёновна, не беспокойтесь. Насчёт квартплаты. Я уплачу».

«Зачем мне твои деньги, мне твоих денег не надо. А вот что соседи скажут. Привела кого-то».

«Не кого-то, — сказал Бабков. — Я ваш родственник, двоюродный брат из Серпухова».

«А что как милиция нагрянет».

«Ну и пускай, у меня документы в порядке».

«Бог тебя знает, кто ты такой», — сказала она, и, как уже было замечено, на это навряд ли сумел бы ответить сам Лёва.

«Если надо, я пропишусь».

«Эва. Он ещё прописаться хочет. Да на кой ты мне сдался?»

«Анна Семёновна, — сказал Бабков. — Я человек спокойный, непьющий».

«Кто тебя знает...»

«Я хочу сказать, если сочтёте нужным. В Одинцове я всё равно не прописан».

«А у тебя вообще-то прописка есть?»

«Я у жены прописан».

«Так ты женат?»

«Был. Трагическая история, Анна Семёновна, не стоит вспоминать».

«Только вот что... — сказала она, отпирая большой висячий замок. Кто-то проснулся под крыльцом и заворчал. — Свои, свои... — Вылез немолодой лохматый субъект и лизнул руку хозяйке и Льву Бабкову. — Вишь, признал тебя».

«Меня животные любят, Анна Семёновна».

«Только вот что я тебе скажу. Мне завтра рано на смену заступать, со мной поедешь. Одного я тебя тут не оставлю».

Мужчина и женщина, оказавшись наедине под одной кровлей, невольно думают друг о друге. Лев Бабков думал о том, что он лежит на кухне на тонком матрасе, а хозяйка в комнате на высокой железной кровати. Он думал о том, что ей, вероятно, лет сорок пять, она живет без мужа, ходит в черной шинели по вагонам пригородных поездов и вечером, сдав выручку, возвращается и ласкает облезлого пса. Он думал, что ему совсем не хочется к ней, не хочется вставать, делая вид, что ему понадобилось выйти по нужде или что его томит бессонница, или что он озяб на кухне и хочет спросить разрешения зажечь газ, что ему не хочется входить к ней в комнату, отогнуть одеяло и лечь рядом

Лев Бабков повернулся на другой бок, было совсем светло, за окном слышался шелест, и было жестко лежать на полу. Когда женщина и мужчина ночуют рядом, то сама собой поневоле мелькает мысль, потому что жизнь навязывает нам роли, написанные для нас, но не нами, понуждает действовать по правилам, придуманным не нами. Хозяйка, ясное дело, вовсе не жаждет, чтобы он попросился к ней, такая мысль, может быть, вовсе

не приходит ей в голову, потому что она устала после хождения по вагонам, потому что ей сорок пять лет и жизнь прошла, — а может, все-таки приходит? Хозяйка спит, но некий бодрствующий уголок ее мозга слегка недоволен, слегка зудит, ибо каждый обязан действовать по правилам. Наш приятель почти уснул, когда его тело поднялось с жесткого ложа и, толкнув слабо скрипнувшую дверь, выбралось на крыльцо. Лев Бабков стоял под мертвой луной и чесал за ушами пса

Небо очистилось, кругом все капало, время от времени повевал ветерок. Должно быть, сыро спать под крыльцом, заметил Бабков, слишком ранняя весна, как же это хозяйка не пускает тебя домой в такую погоду. Пес поднял голову и нюхал воздух. Где-то далеко послышался скрежет гармошки. Опять гуляют, думал пес, если допустить (гипотеза, не противоречащая данным современной науки), что собаки формулируют свои мысли в тех же терминах, что и люди. У гостя же было странное чувство, что он мыслит одновременно за себя и за пса. Как тебя зовут, спросил Бабков, но тот ничего не ответил. Я надеюсь, ты умеешь разговаривать, продолжал гость. Это смотря с кем, подумал ночной спутник, и смотря когда. Когда могу, а когда не могу. Некоторые умеют, а некоторые не умеют. Меня это не удивляет, заметил Лев Бабков, ночью все возможно. Может, на самом деле я сплю на кухне, а не стою на крыльце. Ты не ошибаешься, был ответ. Бывает, спишь, даже когда не спишь. Это я по себе знаю. Впрочем, трудно решить, подумал пес, длинно, сладко зевнул и щелкнул зубами. Может быть, это я сплю, а ты мне снишься, все может быть.

После этого наступило молчание, докатилось постукивание товарного поезда. Старый кобель нехотя поднялся, предложил прошвырнуться. Не знаю, заколебался Бабков. Я не одет. — А ты бы пошёл и оделся. — Я войду, а она проснётся. — Дурак ты, братец, я бы на твоём месте... — Мне кажется, заметил гость, в твоём возрасте пора бы уже забыть про такие дела. — Забыть? — возразил пёс. — Легко сказать!

Зверь вернулся, волоча одежду и ботинки, гость облачился в рубаху, подтянул узел галстука, погрузился в вытертые коверкотовые штаны, сунул ноги в ботинки, руки — в рукава пиджака с ромбом на лацкане и прошёлся расчёской по редющим кудрям. Три человека прошли по дороге, парень растягивал половинки своего инструмента, женщины пели, но, как в фильме с выключенным звуком, не было слышно ни музыки, ни голосов. Лев Бабков повернул голову им вслед, одна из девушек обернулась, ему показалось, что она узнала его.

День уже занимался, ядовито горели огни светофоров на перламутровом небе, через пути брели к платформе чёрные люди. Собака вбежала в зал ожидания, где одиноко сидела, составив ноги, в шинели и форменной фуражке, со старомодной сумочкой на коленях Анна Семёновна.

«Я уж думала, ты сбежал».

Подошла электричка. Пёс остался на платформе. Вошли в вагон.

«В институт едешь?» — спросила она.

«Я думал, что мне всё это снится», — возразил Лев Бабков.

«Может, и снится, — сказала она зевая... — Попрошу предъявить проездные документы!» — бодро провозгласила Анна Семёновна, извлекла из сумки и надела на палец жетон. Навстречу им с другого конца вагона уже двигалась чёрная шинель контролёра Стёпы.

Тут, однако, произошло нечто, явился некто.

5. Чудо Георгия о змие

С позолоченным деревянным копьём, наклонив остриё в дверях, с постной миной вошёл в вагон персонаж, чьё явление вызвало неодинаковую реакцию. Иные демонстративно зашуршали газетными листами, кто-то проворчал: «Много вас развелось». Некоторые приготовились слушать.

Кто-то спросил: «А разрешение у него есть?» — «Какое разрешение?» — «Разрешение на право носить оружие». — «Какое же это оружие, смех один». На них зашикали. Большинство же публики, навидавшись всего, никак не реагировало.

Человек стащил с головы армейскую пилотку. «Попрошу минуточку внимания, — воззвал он, и настала тишина. — Дорогие граждане, братья и сестры!

Православный народ, папаши и мамыши,
разрешите представиться, я — святой Георгий.
Расскажу вам, что со мной приключилось,
расскажу, как есть, как дело было,
а кому неинтересно, пусть читает газету».

Из уважения к баснословному персонажу проверка билетов была приостановлена; поезд спешил к Москве, это был удачно выбранный маршрут с немногими остановками.

Солдат продолжал:

«В первый день, как войну объявили,
принесли мне сразу повестку
и отправили на передовую.
Вот залёг я с бутылкой в кювете
И гляжу на дорогу, жду змея.
С полчаса прошло, пыль показалась,
задымилась дорога, вижу, змей едет
с головы до ног в чешуе зелёной,
шлем стальной на нём, сам в ремнях, в портупее,
сапоги начищены, из себя видный.
Вот подъехал он, глядит в бинокль —
словно молнии, стёкла сверкают.
Я в кювете сижу, затаился,
подпустить хочу его поближе.
Только тут он на дыпочки поднялся
И в канаве меня надыбал.
Увидал змей в канаве мой кемель,

увидал пилотку со звездой,
рассмотрел моё обмундированье,
на ногах увидел обмотки
и, сплывавую пасть разинув,
стал всю смеяться надо мною...»

«Не кажется ли вам странным, ведь уже столько лет прошло», — сосед по лавке шепнул Льву Бабкову.

«Вы имеете в виду легенду?»

«Я хочу сказать, после войны прошло столько лет».

«Это вам так кажется, — возразил Бабков, — народ помнит войну».

«Да, но посмотрите на него. Сколько ему лет, как вы думаете?»

«А это вы у него спросите». Приближалось Нарбиково или какая там была следующая станция, поезд шёл, не сбавляя скорости, словно машинист тоже решил уважить сказителя.

«Стоит, гад, заложил лапу за лапу,
а передней хлопает по брюху.
По-ихнему, по-немецки лопочет,
Дескать, что там время тратить, рус, сдавайся,
куда ты суёшься с голой жопой
с нами, змеями, сражаться!
Поглядел я на него, послушал,
сплюнул на землю, размахнулся
и швырнул ему под ноги бутылку,
сам упал, спиной накрылся,
голову загородил руками.
Тяжким громом земля сотряслася,
пыль, как туча, небо застлала,
а ему, суке, ничего не доспелось.
Стоит себе целый-невредимый,
сам себе под нос бормочет
и копаётся в своём драндулете:
повредил я, знать, его телегу.
Между тем нет-нет да обернётся,
пасть разявит, дыхнёт жаром
и обратно носом в карбюратор.
Я вскочил — и гранат в него связку!
Вижу, змей мой не спеша отряхнулся,
из ноздриц пыль вычихнул, утёрся,
повернулся, встал на все четыре лапы,
раскалил глазищи, надулся
и ко мне двинул.
Мама родная!
Помолись хоть ты за мою душу,
за свово горемычного сына!»

В вагоне расплакался ребёнок. Раздались голоса: «У-ти, маленький! — Гражданка, вы бы прошли в детский вагон. — Нельзя же так. — Мешаете людям слушать. — А чего его слушать-то. — Много их тут ходит. — Да нет та-

кого вагона. — Небось, на пол-литра собирает. — Постыдились бы, гражданин. — Человек кровь проливал, а они... — Дитё плачет, а они всё недовольны. У-ти, маленький...»

«Что тогда было, сказать страшно.
Выскочил я из кювета, побежал змею навстречу,
сам ору: ура! За Родину, в рот ей дышло!
И всадил я своё копьё стальное
в хохотальник ему, в самую глотку.
Сам не знаю, как оно вышло,
только тут со змеем беда случилась:
поразил его недуг внезапный
аль кишку я ему проткнул какую, —
проистёк он вонючею жижей,
зашатался, рухнул наземь,
шлем рогатый с него свалился,
и настал тут перелом военных действий.
И закрыл он один глаз свой червлёный,
а потом второй глаз.
Я и сам-то
еле жив, от жары весь спёкся,
ядовитой вони надышался,
в саже весь, лицо обгорело.
Перед смертью змей встрепенулся
и хвостом меня мазнул маленько.
От удара я не удержался
и с копыт долой. Пролежали
рядом с ним мы не знаю сколько,
час ли, два, аль целые сутки.
Только слышу, зовут меня:
— Жора!
Я глаза разлепил, — мать честная!
Надо мной знакомая хвигура:
наш лепила стоит в противогазе.
— Жив, — кричит, — братуха, в рот-те дышло!
Провалился я в медсанбате
три недели, кой-как подлатался,
а потом повезли меня дальше.
В санитарном эшелоне-тихоходе
ехал, тряся я на верхней полке,
в Бога душу и мать его поминая.
За стеклом меж тем предо мною
всё тянулись составы и составы,
эшелон стучал за эшелоном:
то проедет солдатня с гармошкой,
то девчат фронтowych полный пульман,
то платформы с зачехлёнными стволами.
Знать, не гинула наша Россия,
отдышалась, портки подтянула
и всей силой своей замахнулась.
Под конец везли пленных змеев,

не таких, как мой, поживее,
погрязней и уж не таких гладких,
и обутых в валенки из эрзаца.
После них все кончились вагоны
и поля пустые потянулись,
перелески, жёлтые болота.
Растрясло меня вконец, уж не помню,
как добрался я, как струсился
и проследовал в кузове до места.
По тылам, по базам госпитальным
наскитался я, братцы, вдоволь.
Много ль времени прошло аль боле,
стал я помаленьку выправляться.
Тут опять жизнь моя переменялась:
снюхался я с одной медсестричкой.
Баб крутом меня было пропасть,
но её я особо заприметил.
Слово за слово, ближе к делу —
клеил, клеил, наконец склеил.
Как настанет её дежурство,
так она ко мне ночью приходит.
Так прожили мы, почитай, полгода,
а потом я на ней женился.
С нею я как сыр в масле катался,
отожрался и прибарахлился.
С рукавом пустым, с жёлтой нашивкой,
морда розовая, на груди орден Славы, —
как пройду, все меня уважают
и по имени-отчеству называют».

5. Чудо Георгия о змие. Кода

Поезд остановился, и человек с золотым копьём прервал свою сагу. Вошли новые пассажиры; никто не вышел. Всё стихло, скучный пейзаж нёсся за окнами, кто-то дремал, кто-то было громко заговорил, на него зашикали, все ждали продолжения. «Как вы думаете, — шепнул сосед, — чем можно объяснить живучесть этой легенды?» — «Кто вам сказал, что это легенда», — проворчал Лев Бабков. «А известно ли вам, — не унимался сосед, — что папа Геласий, был такой римский папа, причислил Георгия к святым, известным более Богу, чем людям?» — «Неизвестно», — сказал Бабков. Вагон подрагивал, и летели в безвозвратное прошлое поля, дороги, грузовики перед шлагбаумами, чахлые перелески.

«Вот война окончилась, братцы», — сказал солдат.

«С Катей вместе мы тогда снялись,
а ещё я снимался отдельно
на коне, со щитом и в латах,
с копьём, со знаменем на древке —
как я, значит, змея сокрушаю.

Всё, само собой, из картона,
из подручных, как говорится, матерьялов,
на фанере конь нарисован,
я в дыру лишь морду просунул.
Выпили мы тогда изрядно —
я недели три колобродил...
Пропил хромовые колёса
и костюм, и Катин полупалок,
и ещё кой-какие вещички.
Было так, мамыши мои, многожды,
аж ползком, бывало, возвращаюсь,
аки змий, к домашнему порогу».

«Вот видите, — зашептал сосед, — я же говорю: известным более Богу,
чем людям!»

«Никогда меня Катя не бранила,
из любой беды выручала,
всё терпела, главу держала,
как я зелье изрыгал и закуску,
и сама меня раздевала,
на подушки с кружевом ложила
под моим же знаменитым патретом...
Все же есть еще во мне сознание —
стал я думать, куда податься,
для чего себя приспособить.
Пенсия моя небогата,
знать, не много я на войне заработал,
только слава, что Победоносец.
Думал, думал, ничего не надумал,
люди добрые подсказали,
научили делать зажигалки.
Хитрая, однако, машина:
Крутанёшь колесечко, — другое
вслед за ним тотчас повернётся
и летучую искру высекает.
Фитилёк бензиновый вспыхнет,
и валяй, закуривай смело:
ни огня не надо, ни спичек,
ни кресала, и дождь тебе не страшен.
Вот стою я раз на толкучке
со своим самодельным товаром.
Вдруг навстречу знакомая хвигура.
Пригляделся я — мать честная!
Да ведь это же Коля Чуркин,
старый друг, фронтовой легила,
что меня с поля боя вынес,
на тележке безногий едет.
Сам кричит: “Здорово, пехота!
Чем торгуешь, каково жируешь?”
Не нашёл я, что ответить Коле,

молча я к нему наклонился,
обнялся с ним и расцеловался.
Выпили мы с ним ради встречи.
Говорит мне Коля: “Эх ты, дура,
что ты, дура, жисть свою корёжишь?
Брось-ка ты свои зажигалки,
а займись делом поумнее...”
Стал смекать я, мозгами раскинул
и придумал, наконец, стаканчик.
Дело это, братцы, такое:
много их, желающих выпить,
у подъездов и по магазинам,
в подворотнях аль просто на воле.
У кого и деньги в кармане,
у кого в руках поллитровка,
а разлить во что — не имеют.
Вот и пьют на троих некультурно,
каждый маму ко рту прикладает
да, глядишь, утереться забудет,
а какой он, кто его знает:
может, он гунявый аль гундосый,
может, у него во рту зараза.
Тут я к ним как раз приближаюсь,
не спеша, солидной походкой,
мол, не нужно ль, ребята, подмоги,
обслужить культурно, кто желает.
У меня при себе бумага,
а в бумаге у меня селёдка,
чесночку зубок — кто желает, —
для хороших людей не жалко,
для кого и яблочко найдётся.
Опосля достаю стаканчик.
Люди ценят такое вниманье,
заодно и мне наливают.
Тут, глядишь, беседа начнётся,
расскажу им Чудо о змее,
а они нальют мне по второму.
Ах, прошли давно те денёчки.
Уж давно моя Катя сбежала
и с подушками, и с детьми.
А таких, как я, со стаканом,
развелось немало в округе,
и моложе меня, и шустрее.
Чуть я сунусь, уж там свои люди,
и рассказы мои неинтересны.
Уж никто в чудеса не верит,
и до лампочки им Георгий...»

«Вот, значит, какие дела, — сказал солдат и горестно оглядел публику. — А все оттого, что жить не умеем».

«Посему сменил я работу,
заступил я на новую вахту,
нонче я с Казанского еду,
а на завтра с Курского вокзала,
до обеда хожу по вагонам,
а потом в буфете отдыхаю.
Братья-сестры, папаши и мамы!
Вот стою я сейчас перед вами,
как пред Богом, с открытою душою,
весь как есть, за Родину увечный,
сирота безродный и бездомный.
Вы на горе моё поглядите,
войдите в моё положение,
воину-калке подайте.
Много не прошу — кто что может,
на моё дневное пропитанье,
на краюшку хлеба да на стопку —
говорю это прямо, не скрываю.
Перед вами стою с открытым сердцем,
я, пронзивший копьём дракона,
я, от недруга Русь защитивший,
щитоносец, святой Георгий».

С этими словами он двинулся по проходу и вскоре наткнулся на Стёпу. Контролёр поднял брови. «Сезонка», — парировал сказитель и, по предъявлению сезонного билета, продолжал свой путь между скамьями, держа копьё остриём кверху, подавая пилотку направо и налево. Анна Семёновна, вздохнув, поднялась с места.

« Попрошу проездные документы!»

6. Шествие Льва Бабкова по своим делам

Куда направился Победоносец, какой путь избрал Бабков? Оставим солдата в толпе, спешащей на площадь вокзалов, и последуем за Лёвой в сторону Преображенки, вдоль неровной линии бывших доходных домов, всё ещё основательных, хоть и пришедших в упадок, с запylёнными окнами нижних этажей, с вывесками контор, чьи наименования, составленные из слов-обрубков, напоминали заумь. Это был какой-то ветхий, доживший до чаемого будущего футуризм. Пешеход свернул в подъезд, взошёл по короткой входной лестнице. На площадке за стеклом сидел с газетой привратник — или сторож, или дежурный, — такие люди всегда сидят в этих местах. Их обязанность — не пускать «никого», то есть блюсти порядок, хотя вряд ли кто-нибудь знает, в чём именно состоит порядок.

Сняв очки, вахтёр смотрел вслед вошедшему, несколько встревоженный элегантною бесцеремонностью, надменным величием, с коими тот, кивнув, помахивая портфелем, прошагал мимо; после чего очки были водружены на место, и дежурный углубился в передовицу. Тем временем Лев Бабков миновал служебный коридор и через задний выход выбрался нару-

жу. Несколько минут спустя он нырнул в пахнувший плесенью чёрный ход жилого строения, непостижимым образом втиснутого в колодезь двора. Таково устройство старых кварталов; здесь на каждом шагу убеждаешься, что пространство города, в отличие от природного, растяжимо: где едва хватило бы места для десятка деревьев, могут разместиться многоэтажные дома, пристройки, проходные дворы; таково преимущество цивилизации перед природой. Лев Бабков ехал в вихляющейся коробке лифта. На последнем этаже кабина вздрогнула и как бы на мгновение провалилась; гость шагнул в пустоту, но почувствовал под ногами пол; гром захлопнутой двери прокатился по коридору; дом был устроен по образцу мебелированных комнат, возможно, и был когда-то гостиницей; гость тащился по длинному коридору мимо мёртвых квартир и кухонь навстречу пыльному солнцу. Позвонил, нажал на дверную ручку, не дожидаясь ответа. Дядя сидел за столом с толстой лупой размером с теннисную ракетку. Ай-яй-яй, снова забыл задвинуть щеколду.

Дядя, впрочем, был всего лишь двоюродный. Некогда дядя имел семью и профессию, занимал, как утверждала молва, приличную должность. Всё пожрала страсть, в которой соединились самопожертвование и алчность, бескорыстие и эгоизм. Дядя отложил увеличительное стекло и поднял на племянника взор, каким смотрят на фальшивую драгоценность.

«Чаю?» Он показал большим пальцем через плечо в сторону кухни. Бабков вернулся с двумя стаканами; явилось варенье или что там.

«Не хочу, — сказал хозяин, — пей сам».

Лев Бабков извлёк из портфеля вчерашние завёрнутые в газету харчи, а также бутылку дешёвого портвейна.

«Вот это другое дело», — заметил двоюродный дядя. Гость хотел было протереть рюмки бархатной тряпичкой специального назначения, но старик замахал руками. Пришлось пустить в ход полы пиджака. Коллекционер поспешно заворачивал в бархат предмет, лежавший рядом с лупой.

«Давненько не видел тебя, — проговорил он, — рассказывай».

«Что рассказывать?» — спросил Бабков.

«Нечего, стало быть», — констатировал дядя.

Помолчали, затем хозяин, которого вино сделало несколько более общительным, произнёс:

«Не понимаю я тебя».

Двоюродный племянник опустил очи долу.

«У тебя такие способности... Ведь были же у тебя какие-то способности?»

«Возможно».

«И внешность вроде бы недурная, и язык хорошо подвешен. Почему у тебя ничего не получается?»

«Что не получается?» — спросил осторожно Лев Бабков.

«Ничего! Сколько тебе лет? Вот видишь. И ничегошеньки, абсолютно ничего из тебя не вышло. Ты нигде не работаешь. Ничего не делаешь. Нет, — сказал дядя, — наше поколение было другим. У нас были ценности! Мы знали, для чего мы существуем на свете».

«Для чего?» — спросил Бабков.

«Могу ответить. Но чтобы так, без цели, без смысла, без... без сознания гражданского долга, наконец. Палец о палец не ударяя, чтобы чего-нибудь добиться! Ты даже не знаешь сам, чего ты хочешь».

«Вот бы и подсказали», — молвил племянник, рассматривая вино на свет.

«Милый мой, жизнь должна иметь смысл».

«Я живу, — сказал Бабков, — вот и весь смысл. Sum ergo sum».

«Нет. Мы были другими. Мы верили, мы трудились. Наше поколение...»

«Ваше поколение. Н-да».

«Наше поколение, если хочешь знать...» — свирепо сказал двоюродный дядя, вонзая жёлтые зубы в шницель, не доеденный старшим контролёром.

«А сами-то вы?» — ехидно спросил племянник.

«Что я? Что я? — закричал дядя. — Я, между прочим, на фронте воевал».

«Я тоже», — заметил Бабков.

«Тоже? воевал? Ха-ха!»

«Я хочу сказать, я тоже сегодня видел одного... Представьте себе: самого Георгия Победоносца».

«Георгиевский кавалер? — спросил дядя. — Эти кресты большой ценности не представляют. Так вот, на чём бишь... Что это за мясо? — вскричал он. — Это не мясо, а чёрт знает что!»

«Рубленый шницель; в чём дело?»

«Так вот... Ты спрашиваешь, что я. А известно ли тебе, какую ценность моё собрание представляет для науки? Для истории?»

«Для истории, угм».

«Ладно, — вздохнул дядя. — Зачем пожаловал?»

«А вот представьте себе: хочу устраиваться».

«Не может быть. Значит, всё-таки взялся за ум. Впрочем, из тебя всё равно ничего не выйдет».

«Как знать».

«Позвольте полюбопытствовать: куда? кем?»

Лев Бабков ограничился туманным объяснением, прибавив, что у него есть одна просьба.

Громко засопев, качая лысой головой, дядя дал понять, что проект не внушает ему доверия. Что за просьба? Небольшая, уточнил Бабков. Вылезли из-за стола.

«Давно собираюсь поставить стальную дверь».

«Давно надо».

«У Кагарлицкого недавно вырезали всю вот эту часть. Вместе с замками, обыкновенным лобзиком».

Лев Бабков полюбопытствовал, кто это.

«Ты не знаешь Кагарлицкого? Это почти то же самое, что не знать меня. Он единственный, кто может со мной соперничать... в некоторых отношениях».

И что же, спросил Бабков.

«Вырезать-то вырезали. А дальше шиш. У него там, оказывается, электрический сторож. Сунул руку — и бац! Подержи». Он вручил собеседнику то, что было завернуто в бархатный лоскут. Запоры были отомкнуты, задвижки отодвинуты, оставался главный замок. Коллекционер выбрал из связки самый большой ключ, вставил в скважину и повернул двумя руками; что-то заработало внутри, дядя сунул в скважину другой ключ и повернул в другую сторону.

Вошли в полутёмную комнатку, заставленную шкапами.

«Не здесь, — сказал дядя, вытягивая и задвигая назад плоские ящички, где покоилась вся слава мира. — Здесь настоящие... Зачем тебе настоящие? Ты сам ненастоящий».

Он принял от племянника то, что дал ему подержать, развернул тряпку.

«Приобрёл у вдовы. Только это сугубо между нами... Руки прочь! Обрати внимание, какой величины. И какая работа. Их всего было выпущено девять штук. Один у бывшего румынского короля. Один у этого, как его. И так далее; два экземпляра вообще неизвестно где».

«А как же вдова?» — спросил Бабков.

«Ей вручили имитацию. Не я, разумеется... — он задвинул ящик. — Достань-ка мне вон там наверху».

Это была картонная коробка из-под туфель, в которой что-то гремело. Оба вернулись в жилую комнату, если можно было её назвать жилой. Как все богачи, дядя был нищ. Дядя поставил коробку на стол.

«Типичная для тебя ложная идея, для всех, так сказать, твоих начинаний. Ты хотя бы знаешь, на какой стороне их носят?.. Разумеется, поддельные, но, как видишь, ничем не отличаются от настоящих».

«А настоящие?»

«Что настоящие?»

«Настоящие дорого ценятся?»

«Бархатно, — сказал дядя. — Можешь купить на рынке».

7. Дядя в славе

«Имитация стоит дороже. Имитации, чтоб ты знал, тоже являются коллекционными объектами. Существуют даже имитации имитаций. И, что самое замечательное, никто не может за это притянуть к суду. Закон преследует подделывание подлинников, а подделывание подделок — против этого, слава Богу, нет законов! А бывает и так, что фальшивка оказывается подлинником, а подлинник — фальшивкой. Бывает, и даже нередко, что фальшивка дороже подлинника. Подлинник в некотором смысле сам является фальшивкой — по отношению к подлинной, настоящей фальшивке. Диалектика! Может, лучше парочку медалей?» — спросил он.

«Медали — это уже не модно, — заметил племянник. — Как вы полагаете, не сбегать ли ещё за одной?»

«Валяй. И закусить там что-нибудь. Получше что-нибудь!» — крикнул он вдогонку. Несколько времени спустя Лев Бабков вновь прошествовал мимо привратника, который в этот раз спал за стеклом; снова задний двор, лифт, коридор, и на столе воздвиглась вторая бутылка; племянник резал ситный хлеб, разворачивал бумагу с закуской. Двоюродный дядя хищно следил за приготовлениями.

«Вот вы сказали, купил у вдовы. Это наводит на интересные размышления...»

«Какие же это размышления?» — спросил дядя, держа в обеих руках огромный бутерброд с продуктом, который обладал всеми признаками колбасы, не являясь ею. Осушили по рюмке и немного погодя ещё по рюмке.

«Опять», — пророчал он.

«Что опять?»

«У меня от этих яств такая изжога, что хоть вспарывай себе живот. Японским мечом. Нет, пора, наконец, с этим покончить. Отрежь-ка мне ещё кусок... Нет, они просто отравляют всё население. Я буду жаловаться».

«Кому? Ваше здоровье».

«Взаимно. Так, э... какие же замечательные мысли ты мне хотел повредить?»

«А вот такие, — мечтательно произнёс Лев Бабков, — как бы это поточнее сформулировать. Орден вручается за заслугу и подвиг, орден — как бы эквивалент подвига. Иерархии подвигов соответствует иерархия орденов. Теперь окинем мысленным взором вашу замечательную коллекцию».

«Окинем», — сказал дядя.

«Об этой самой звезде... как она называется? победная? О ней пока что ещё известно, кто её носил и чем прославился. Но уже никто не знает, куда она делась после его смерти. А там пройдёт немного времени, вдова отдаст концы, война уйдёт в далёкое прошлое, героев забудут. Орден будет переходить от одного собирателя к другому, потом осядет в музее, причём, заметьте, не в музее войны. А в музее орденских знаков. Потом эту звезду кто-нибудь выкрадет. И так далее».

«Не успеваю следить за твоей мыслью, ты хочешь сказать, что?..»

«Вы угадали. Неважно, кто был награждён, неважно, кто наградил, и неважно, за что наградили. Всё это уже никого не интересует. Орден, вот что важно. Награды ведут самостоятельное существование. Классифицируются ли орденские знаки по заслугам бывших владельцев? Конечно, нет, этих владельцев как бы и не было. Соответствует ли ценность ордена величию подвига? Отнюдь».

«Ну и что?»

«Гениальный ответ! — воскликнул Бабков. — В самом деле: ну и что? Что из того, что эти мечи и короны ровно ничего не означают, все эти девизы, эти гордые надписи — за доблесть, за верность, за победу, за веру, царя и отечество, — что из того, что всё это потеряло смысл? Латынь всё

равно никто не понимает, а если даже написано по-русски, то это всё равно, что латынь. Но я хочу продолжить мои размышления, а для этого надо подкрепиться...»

«Разумная мысль», — заметил дядя.

Лев Бабков бродил по комнате; дядя давно покончил со съестным, вторая бутылка была допита, дядя сидел перед коробкой для обуви, размышляя о бренности жизни.

Бабков сказал:

«Вы говорите, ложная идея; пусть ложная. Допустим, что из моего намерения потрудиться на благо отечества ничего не выйдет. Уверяю вас: я не только готов к этому, я и огорчаться-то особенно не буду...»

«Вот-вот — а я о чём говорю?»

«Минуточка, вы меня не дослушали. Вот вы тут толковали о ценностях. Слава, отвага, вера в Бога, патриотизм, во что всё это превратилось? В эти ваши коробки и ящики, — и это ещё не самый худший конец».

Коллекционер громко засопел. Племянник продолжал:

«А что же вы хотите? После всего, что... ну, словом, после всего, что было, вы хотите, чтобы ещё сохранились ваши так называемые ценности? Когда само слово “ценность” начисто обесценилось. Но мы с вами хотя бы помним, что когда-то они существовали. Я-то, по правде сказать, уже не знаю, что оно означает. Но не обо мне речь. Появляется человек... Да, появляется массовый человек, для которого всё это вообще не вопрос. Он ничего не отрицает, этот человек, и ничего и не защищает; ему это вообще до лампочки... Он отрицает не ценности, а самую идею ценностей».

Оратор заглянул в одну бутылку, потом в другую.

«Заметьте, — пробормотал он, — совершенно та же самая история, что и с Богом».

«Что, ничего не осталось?» — спросил хозяин озабоченно.

«Пусто, — сказал Лев Бабков. — Господи! Сколько было волнений по поводу того, что шатается вера»

«Я, — сказал дядя, — неверующий. Но я уважаю религию!»

«Если нет Бога, то всё позволено. Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан. И так далее. Скажите вы на милость: кого это сейчас волнует? Есть Бог, нет Бога... Время бунта миновало, мы живём после атеизма, понимаете? Невозможно быть ниспровергателем того, чего нет, невозможно дискутировать по вопросу, который — не вопрос».

«Я не позволяю... в моём присутствии. Я считаю, что...»

«Представьте себе, вы играете в шахматы. И вдруг как-то так оказывается, что у вас съели короля. А вы и не заметили. Выходит, надо кончать? Ничего подобного. Игра продолжается. Великое открытие нашего времени, — резюмировал Лев Бабков, — состоит в том, что без шахматного короля можно обойтись. Без всего можно обойтись».

«Не знаю, не знаю, — сопел дядя, — я посвятил свою жизнь настоящему делу...»

«А не проветриться ли нам малость? Подышать воздухом».

«У Кагарлицкого вырезали дверь. Автогеном. Вот так просто взяли и вырезали».

«Вы говорили — лобзиком...»

«Кто это говорил?» — возмутился коллекционер.

«Верно, верно. Жуткая история».

«Но ведь что-то же это означает?»

«Безусловно, это что-то означает».

«Но что? Вот вопрос. Ну-ка примерь...»

«Лучше вы наденьте».

Покачиваясь, рука об руку, дядя с племянником добрались до конца коридора, где за поворотом находилась дверь с корявой надписью на картоне:

«Посторонним вход воспрещён».

«Порядок есть порядок, — заметил дядя, — вот ты, например, посторонний».

Вскарабкались на чердак, узкая пропасть, род ущелья, отделяла плоскую крышу от соседнего дома

Тотчас кто-то показался в окне мансарды. Нечёсаная тётка спросила из форточки: «Тебе чего тут надо?»

Лев Бабков стоял перед чердачным окном.

«Ничего».

«А ничего, так и нечего по крышам шастать. Ишь новую моду взяли, сейчас дворника позову».

«Ты бы лучше, бабуся...» — лениво промолвил Лёва.

Он раскинул руки, как язычник, молящийся солнцу.

«Батюшки, — вскрикнула она, — а это ещё кто?»

Двоюродный дядя вознёсся на крышу. Некто выступил из-за трубы дымохода в плаще мальтийских рыцарей с командорским крестом, в роскошном, затканном золотой листвой мундире с лентой через плечо, подпер бедро левой рукой. Пятнадцатый римский крест Святого Гроба, китайский императорский орден Блистающих Облаков и шведский орден Серафимов, эмалевая, весьма редкая звезда Альбрехта, орден «Материнская слава» и Бог знает какие ещё регалии украшали тощую морщинистую шею, грудь и живот фалериста. Баба в мансарде лишилась дара речи, командор пребывал в иных мирах, нимб светился вокруг его лысого черепа. Оба, дядя и племянник, с молитвенным благоговением озирали свод небес.

8. Таинственные занятия Льва Бабкова

Насколько нам известно, благородная страсть собирательства ещё не стала предметом специального изучения. Есть руководства по собиранию знаков почтовой оплаты, монет, орденов, есть новеллы и романы о филателистах и нумизматах, но внутренние пружины этого обольщения, мистика и психология собирательства во многом остаются загадкой. Так, например, всегда считалось, что стяжательство несовместимо с самоотверженной страстью: тот, кто торгует предметами собирания и наживается на них, никогда

не станет истинным коллекционером. Между тем известны примеры, когда тайные собиратели официальных бланков, занявшись этим делом с неблагоприятной целью, мало-помалу превращались в бескорыстных любителей, в истинных эстетов и мономанов. Такова природа всякого коллекционёрства, и таково было это новое увлечение, с некоторых пор распространившееся в нашей стране.

Красота бланков, называемых в канцелярском обиходе «формами», особого рода скромное великолепие государственных и ведомственных эмблем, изящество грифов, росчерков и печатей не может не покориť даже того, кто озабочен конкретной необходимостью добыть нужную справку, кто связывает с ней надежду получить прописку, улучшить анкету, поступить на работу в престижное учреждение, словом, выбиться в люди; нельзя не заметить и эту ауру, род трансфизического свечения, исходящего от официальных бумаг, невозможно отрицать ту особую, присущую удостоверениям и свидетельствам силу, которая превосходит сиюминутный смысл и законные полномочия данного документа, превращает его в охранную грамоту и по праву может быть сопоставлена с волшебными свойствами амулетов — кроличьих лапок, жемчужин или камней. Наконец, азарт добывания бланков и формуляров, известное несоответствие номинала символическому значению, фальсификация бланков и фальсификация фальсификатов — всё это близко напоминает классические виды собирательства, всё это объясняет, откуда, собственно, явилась новая мода.

Фалеристу известно, где добываются ордена и ленты. Филателист знает, у кого он может приобрести интересующую его марку. Нумизмат откапывает, выражаясь фигурально, клады. Но где достать незаполненный бланк, вопрос деликатный, ответить на него можно, по понятным причинам, лишь в самой общей форме. Известная ловкость, чтобы не употреблять слово воровство, кружевное бельё и коробка импортных конфет для хорошей секретарши, наконец, некоторые специальные приёмы, связи и тому подобное не исчерпывают всех возможностей. Ибо с некоторых пор к услугам коллекционеров существовала налаженная система торговли. Так, в 198... году рыночная стоимость бланка для справок из домоуправления составляла половину месячной зарплаты делопроизводителя, стоимость диплома кандидата исторических наук равнялась двенадцатикратному окладу младшего научного сотрудника, другими словами, диплом окупал себя в течение года. Что касается незаполненного паспорта с оттиснутой печатью, подписями и штампом прописки в столице, то он, очевидно, был по карману лишь очень состоятельным собирателям. Было предложение заменить практику безвозмездной выдачи справок официальной продажей, что сулило казне огромные доходы. Мы, однако, говорим о свободном рынке коллекционных бланков — новшестве послевоенных лет.

Надо уstraиваться, думал Бабков, шагая навстречу другому запоздалому путнику, который пробирался вдоль палисадников на противоположной стороне залитой весенней грязью улицы, думая, по всей вероятности, о том же. Надо ли? — спрашивал он себя.

Юные девушки мечтали устроиться, выйдя замуж за человека, который устроился; об удачливых знакомых говорили: он прекрасно устроился; слово «устроиться» имело конкретный и вместе с тем чрезвычайно широкий смысл, оно означало то же, что для миллиардного шара означает попасть в лузу; оно отсылало к общественному механизму, который растрясал и распределял человеческую массу по многочисленным ячейкам; вступая, как вам казалось, на самостоятельный путь, вы на самом деле ставили ногу на конвейер, и он тащил вас за собой — либо сбрасывал. В конце концов, у вас было так же мало шансов решить самому свою судьбу, как у картофелины на сортировальном лотке, который называется «грохот».

Дойдя до окраины посёлка, Лев Бабков отомкнул калитку известным ему способом, вздохмаченный пёс крутился вокруг и вилял хвостом. Передняя половина дома, пока ещё пустая и тёмная, с застеклённой террасой, сдавалась на лето дачникам. Лев Бабков обогнул террасу и взошёл на заднее крыльцо. Он услышал скрип лестницы; Анна Семёновна заглянула в его каморку.

«Устал?» — сказала хозяйка. Он отвечал неопределённым жестом.

Несколько времени погода постоялец спустился в кухню с алюминиевой кастрюлькой в руке, что давало повод думать, будто он занялся ужином. Прикрутив газ, выудил из кипящей воды яйцо, облил холодной водой и очистил. Яйцо было белое и блестящее, как мрамор. Он опустил его снова в горячую воду и долил уксусной эссенции.

Лев Бабков вернулся к себе. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Из укромного места была извлечена некая секретная папочка; обжигаясь, он извлёк слегка пожелтевшее яйцо из кастрюли; с этого момента надо было действовать не мешкая, так как свойства гладкой поверхности яичного белка меняются буквально с каждой минутой. Промедление влечёт за собой неудачу, может получиться слишком бледный отпечаток, можно испортить не только бланк, но и оригинал. Внимательнейшим образом необходимо следить за тем, чтобы яйцо не пересидело в кипятке. Немаловажную роль играет концентрация уксуса. Успеху способствует надлежащее расположение планет. Мы не удивились бы, услышав, что в решающий момент экспериментатор произнёс заклинание.

Он посыпал бланк тонким белым порошком. Сдул порошок, несколько секунд подержал бланк над паром, затем, нежно надавливая, прокатил горячее, слегка пружинящее яйцо по лежавшему наготове оригиналу. Тотчас приложил яйцо к влажному бланку, к буквам «м.п.», означающим, как все помнят, место печати, и прокатил снова.

Лев Бабков поднёс бумагу к глазам. Взыскательный художник, он не был вполне доволен своим творением. Всё, однако, получилось как надо: двойной ободок по внешней окружности, круговая надпись, тонкий внутренний ободок, герб. Бледно-лиловый отпечаток на яйце был тщательно срезан, после чего мастер-технолог с ашгитом съел яйцо. Он сидел за столом и аккуратно-безличным, женским секретарским почерком заполнял справку. Дана такому-то, фамилия, имя и отчество, в том, что он...

Дана такому-то в том, что он — тот самый, за кого себя выдаёт. Канцелярский бланк дарует его обладателю восхитительную свободу, вы можете стать кем угодно. О, скромная прелесть бумаг, эстетика удостоверений, незримое свечение, исходящее от государственных документов, волшебные свойства штампея, подобные свойствам кроличьих лапок, жемчужин и камней! Подпись...

9. Биография нулевого человека

Кто он? Вопрос уже был задан на этих страницах.

Подобно тому, как мы получаем имя от родителей, фамилию от предков, подпольный псевдоним от сообщников, кликуху от собутыльников, подобно тому, как нам присваивают номера и литеры регистрирующие, контролирующие, распорядительные и карательные инстанции, — мы получаем в готовом виде так называемую идентичность, нечто удостоверяющее, что мы — это мы, социально-государственную упряжь; а что за лошадка в ней бредёт, that's the question, как сказал некий престолонаследник. Итак, не приблизились ли мы к той границе, где искусство быть протеем в мутно-флуоресцирующей стихии, умение скользить и исчезать среди хищных цветов и ветвящихся кораллов бюрократии сопричастно мистике, не имеем ли мы дело с персонажем, чья биография напоминает груды черновиков, чьё прошлое, словно будущее, есть лишь поле возможностей? В сущности говоря, у такого человека два будущих, одно впереди, другое позади, и о нём невозможно сказать: он был тем-то, но придётся сказать — он мог быть им, а мог быть другим, родиться там-то, а может быть, и не там.

Иными словами, нам придётся расстаться с традиционным представлением о биографии как о письменном дубликате человека. Можно сказать, что у Льва Бабкова вовсе не было никакой биографии, или, что то же самое, к его услугам было неопределённое количество биографий, и он вылавливал их по мере надобности, как огурцы из рассола. Повернётся ли язык назвать его правонарушителем? Как уже сказано, случай не столь юридический, сколько мистический. Если же всё-таки необходимо приискать ему место в обществе, определить его классовую принадлежность, то это будет, очевидно, нулевой класс.

Странным образом нулевой класс общества ускользнул от внимания историков. Жизнь есть жизнь и растёт, как трава из расщелин асфальта, между параграфами законодательства и классификационными клетками социологических трудов. Лев Бабков не был ни богатым, ни нищим, ни трудящимся, ни паразитом, ни эксплуататором, ни эксплуатируемым, он не был рабочим, не был земледельцем, не был чиновником, равно не принадлежал ни к начальству, ни к тем, над кем начальствуют, словом, он был никем, но парадокс состоит в том, что быть никем в этом обществе означало быть всем: находясь вне общественного регламента, он, однако, принадлежал к обществу и, может быть, даже был весьма характерным его представителем. Может быть, таких Бабковых было пруд пруди, просто мы этого не знали. Может быть, они толкались вместе с нами в метро и пригородных

поездах, числились на разных работах, значились в списках, в картотеках, что-то делали, куда-то спешили, а на самом деле это была видимость, на самом деле все они были социальным дегритом, все были нулевой класс. Может быть, и мы с вами в конце концов угодили туда же.

Ибо мы с вами отнюдь не враги существующего порядка, не противники власти, упаси Бог. Но и не Бог вещь какие её поклонники. Нас эта власть устраивает, вернее, нам наплевать на неё. Мы — в щелях порядка, в котором так много щелей, что хватает места для всех. Мы — это просто мы: граждане, вывернутые наизнанку. Проект власти, единственный в истории по своим последствиям, состоял в создании нового человека. Нужно признать, что это блестяще удалось. Мы и есть этот проект, осуществлённый с точностью до наоборот. Сказал же Лёва: выпотрошенный человек не то чтобы растерял «веру», он и не ощущает её отсутствие как утрату. Свободный от бремени ценностей, он свободен абсолютно. Вы клялись диалектикой — вот вам диалектика: раб государства, раб начальства — он на самом деле свободен.

Человек этот, в общем-то, безобидный, «безвредный», как выражается народ. С этим человеком ничего невозможно поделывать. К нему не придерёшься, он отнюдь не преступник. Разве что мелкий поддельватель справок, из которых, впрочем, не извлекает больших выгод: ему лень предпринять что-либо серьёзное. Да, «асоциальный элемент», но со всеми внешними признаками социального: приличный костюм, какой-нибудь там академический значок на лацкане. Упаси Бог, не бомж, не люмпен. Но довольно философствовать, вернёмся к нашему другу.

Не имея охоты посвятить себя какому-нибудь «призванию», не обладая конкретными дарованиями, Лев Бабков был наделён редким даром угадывать возраст времени. И можно без больших усилий представить себе, кем и каков был бы на разных стадиях созревания времени человек, способный тонко чувствовать эти стадии. Он был бы организатором в кожаном картузе, засовывал пальцы левой руки под широкий ремень, а правой размахивал кулаком где-нибудь на мокром от дождя помосте, над морем голов. Он напоминал бы кого-то. Да, пожалуй, в этом и состояло его главное свойство, коренная черта, неизменная на всех стадиях: он всегда умел напомнить кого-то. Десять лет спустя, когда пятна старения уже отчётливо проступили на широком рябом лице эпохи, Лев Бабков восходил бы по винтовой лестнице престижной карьеры; не имея охоты усваивать какие-либо науки (за исключением, быть может, интереса к истории, о чём у нас пойдёт речь в свой черёд), посвятил бы себя административной и общественной деятельности, громил идейных врагов, заседал в комитетах, был бы выдвинут в аспирантуру, а там, кто знает, стал бы профессором. Или — какая разница? — замзавотделом в каком-нибудь министерстве оборудования. Или директором универмага на Новом Арбате.

Словом, благополучно старел бы вместе с временем и страной. Но в том-то и дело, что он не хотел никакой карьеры, и необыкновенные способности социальной мимикрии привели к тому, что Лев Бабков стал внесоциальным элементом. Итак, что можно о нём сказать? Он родился в городе Нижний Тагил на Урале — так, по крайней мере, значилось в его в паспорте.

Нижний Тагил, почему бы и нет? Был единственным сыном уборщицы в общежитии медеплавильного комбината, ходившей утиным шагом вследствие двустороннего вывиха бедра, и одного из скольких-то возможных отцов; учился в школе, поступил в ремесленное училище, оказался в компании, подстерегавшей девочку на тёмных улицах, и один раз в каком-то подвале участвовал в коллективном акте ради того, чтобы не отстать от товарищей; нырнул в армию, оказался в Прибалтике, окончил курсы дешифровки вражеских сообщений, был вызван под предлогом болезни матери в Тагил, где его встретил на платформе наряд милиции. Правда, участие в «акте» осталось недоказанным, и Лёву отпустили.

Эта биография, помимо других недостатков, представлялась уже в те времена, о которых идёт речь, устарелой. Биографии могут устаревать. Заметим, что тут имеет место явление, известное психиатрам: бред душевнобольного всегда актуален; сам того не ведая, пациент использует в своих построениях модные мотивы и современные выражения; если не каждый человек есть кузнец своей судьбы, то каждый, во всяком случае, должен уметь смастерить себе биографию; очевидно, что автобиографу полагается быть на высоте своего времени. Прошлое обязано отвечать требованиям современности.

Тут начинается самая уязвимая часть нашего рассказа, но виноват в этом не рассказчик, а герой. Будем по возможности лаконичны; итак: Лёва появился на свет в Петербурге, тогдашнем городе Ленина. Родители, потомственные революционеры-подпольщики, вели своё происхождение от декабристов. Как и полагается, репрессированы в тридцатые годы; посмертно реабилитированы. Мальчик воспитывался у дальних родственников на Урале, где закончил школу. Родился в Белоруссии (Петербург отпадает), родителей не помнил, поэтому можно было считать, что отец погиб не в тюрьме, а на фронте. Был эвакуирован на восток вместе с матерью в суматохе первых военных недель, ехал в товарном вагоне и потерялся, выйдя на случайной остановке. Усыновлён чужими людьми на Урале, в городе Нижний Тагил. Но на самом деле он не мог выпрыгнуть на остановке из вагона, так как родился в вагоне, по прибытии же в Тагил был сдан в детский дом. Мать скрывалась, жила в келье бывшего Святопантелеймоновского монастыря, якобы взорванного после революции, а на самом деле уцелевшего и даже известного тем, что именно в нём триста лет тому назад будто бы окончил в глубокой старости свои дни чудом спасшийся и вторично принявший постриг царь Димитрий I, он же Григорий Отрепьев.

Немаловажная подробность. В эпоху возвращения к началам и корням, когда ностальгия по прошлому охватила общество, ощутилась необходимость в почтенных предках, в предках вообще; до сих пор в них никто не нуждался. Кто говорил, что его дед был губернатором, кто — городским головой; стало почётным происходить от лабазников; из небытия явились дворяне и казаки, пошли в ход лица духовного звания, внебрачные дети и внуки; тут-то и выяснилось окончательно, что Лев Бабков происходит ни больше ни меньше, как от того самого Отрепьева, который, согласно новейшим изысканиям, не был сыном галицкого боярского сына Богдана Отрепьева.

ева, а был подлинным Димитрием, младшим отпрыском царя Иоанна. Убит же в Угличе был мальчик по имени Гришка. На чём и можно пока что поставить точку.

10. Ещё одно сказанье

Впрочем, необходимо объясниться, раз уж зашла об этом речь... Многих занимал вопрос — и притом гораздо больше, чем доводы в пользу высокого происхождения Григория Отрепьева, — верил ли в него сам Гришка. Сам ли он набрёл на эту мысль или ему подсказали другие? Какие, собственно, основания были у него — и у других — для такой уверенности? Невысокий, кряжистый, рыжеватый и голубоглазый, слегка курносый, чисто славянского типа и мало похожий на царя Ивана, у которого нос был ястребинный и внешность скорее татарская, будто бы потомок бояр, а на самом деле холоп князя Бориса Черкасского, молодой человек каких-нибудь двадцати лет от роду скитался по монастырям, был пострижен в монахи, сменил имя Юрий на Григорий, попал в Чудов, где в награду за то, что сочинил похвалу московским чудотворцам, был приближен к патриарху и как-то раз, подстрекаемый дьяволом, признался братии, что имел видение: явилась-де сама Богородица и открыла, что быть ему царём на Москве. Патриарх, должно быть, не решился дать делу законный ход, однако разговор этот дошёл до самого царя Бориса Годунова, который проявил милость и повелел заточить Григория под крепким присмотром в монастырь подальше. Между тем князь тьмы очевидным образом помогал самозванцу, если только он был самозванец, а может, и чьи-то руки берегли его: Гришка удрал, объявился в Борисоглебске, уломал тамошнего игумена дать ему лошадь и прискакал в город своей юности Москву. Где, впрочем, пробыл недолго. В это самое время начали ходить по Москве слухи, что не Димитрий, а другой ребёнок, подставной, был зарезан в Угличе.

Вынырнул Григорий Отрепьев в польских пределах, в чём опять-таки нетрудно было усмотреть руку нечистого (хотя царь Борис был склонен думать, что самозванца изобрели бояре), а именно, оказался в замке князя Адама Вишневецкого, у которого был на службе до того дня, когда под страшным секретом показал князю драгоценный крест, надетый на него крестным отцом, воеводой Иваном Мстиславским, дабы он, Гришка, не забывал о происхождении своём от корня Рюрика. Вишневецкий расхохотался — и поверил. А затем царевича или лжецаревича, это уж как будет угодно, посетило второе видение, на этот раз вполне земное. В Самборе, в доме воеводы Юрия Мнишка, ему явилась старшая дочь хозяина, которую одни источники называют Марианной, а другие Мариной.

Не подлежит сомнению, что, по крайней мере, в это время он уже твердо верил в свою звезду. Отпал и дьявол как объяснение его успехов. Отрепьев принял латинство; Мнишек, человек грязный, обуянный тщеславием и страстью к интригам, добился в Кракове от короля Сигизмунда полномочий раскручивать дело; само собой, включились отцы иезуиты, из Рима кивал головой в трехъярусном венце папа; что касается панны Марины, то

хотя предложение руки восставшего из мёртвых Дмитрия было охотно принято, венчание отложили — до того, как произойдёт главное венчание на царство в Москве. Пока же невесте были обещаны самозванцем во владение Новгород и Псков, бриллианты и столовое серебро из царской казны, папаше Мнишку — миллион польских злотых. Бриллианты, как можно думать, сыграли свою роль в происхождении Льва Бабкова, почему и должны быть здесь упомянуты; уже по дороге на Москву обнаружилось, что будущая царица беременна.

Дальнейшее более или менее известно; вместе с рыцарством, а точнее, разным сбродом, собранным воеводой Мнишком в Речи Посполитой и к которому присоединились людишки всякого рода и звания из московских земель, а также донские казаки числом до 2000, так что вся рать составила четыре тысячи бойцов, Дмитрий или Лжедмитрий, это как угодно, вступил в пределы Московии, было это осенью 1604 года. Города сдавались самозванцу, войско росло, так дошли до Новгорода Северского. Надлежало, наконец, дать Гришке решающий бой. Басманов, увидев с башни стяги самозванца, на предложение сдаться велел ответить полякам: «А, сукины дети, приехали на наши деньги с вором!» Князь Фёдор Мстиславский, надёжный наёмник, что государь выдаст за него дочь свою Ксению, «буде на то Божья воля», исполнился боевого духа и вышел навстречу вору с войском в 50000 ратников, и оно было обращено в бегство войском царевича, у которого было 15000. Князь был ранен, другой воевода, Василий Шуйский, тот, который некогда был наряжен в Углич, хоронил мёртвого царевича или, по крайней мере, свидетельствовал, что видел его в гробу, не мог ничего поделаться, а может, и не хотел; тем временем царь Борис умер; наследника Фёдора умертвили, о дочери будет сказано ниже. Дмитрий въехал в столицу. Народ, хоть и косился на чужеземцев, кричал: «Солнышко ты наше правдное!», а на Лобном месте встречало духовенство с крестами.

Марина, однако, не спешила последовать за женихом, чему виной было нечаянно вскрывшееся обстоятельство, именно, любовная связь лжецаревича с Ксенией. Борисову дочь постригли и сослали в Белозерск, где она разрешилась ребёнком и, возможно, положила начало новому генеалогическому варианту; заметим, однако, что судьба ребёнка темна, и самый факт его рождения оспаривается. Между тем Марина, явно погрузневшая, въехала в ворота Вознесенского монастыря со свитой родичей и слуг, в роскошном рыдване, в первых числах мая; неделю погодя состоялось коронование царевича.

Так что всё говорит о том, что в тестисулах Лжедмитрия заключалась вся будущая родословная героя этих страниц, что же касается материнского лона, то это вопрос второстепенный, хотя, впрочем, царская дочь ничуть не хуже полячки. Всё же отчество Лёвы «Казимирович», дальше эхо Польши, укрепляет в мысли, что это была панна Марина Мнишек. Замечательная наследственная черта, доставшаяся Льву Бабкову, именно, вкус к подделке и привычка выдавать себя за кого-то другого, лишь подтверждает происхождение нашего друга от того, кто сумел убедить себя и других в том, что он последний из дома Рюриковичей. Спрашивается, не была ли эта черта Лже-

димитрия, это чувство стеснённости в собственной шкуре и готовность стряхнуть с себя свою биографию, истинной и самой глубокой причиной его переоплощения.

В самом деле, самозванец представляется загадкой. Откуда взялась в нём его образцованность, его государственный ум, как сумел он вдруг показать себя независимым и от боярской думы, и от поляков? Не бояре и не поляки «изобрели» воскресшего царевича, он изобрёл себя сам. Вся блестящая и, увы, недолгая карьера Лжедимитрия наводит на мысль, что он не только использовал для своих целей старого Мнишка и разудалое «рыцарство», тогда как они мнили его игрушкой в своих руках, но что, может быть, отечество наше потеряло в его лице властителя, который направил бы историю по другому руслу. Дух и традиции Москвы были таковы, что талантливого государя не имел шансов удержаться на троне. Царство Григория Отрепьева просуществовало один год. Род Отрепьева не пресёкся, но ушел в безвестность. Зверски зарубленного Димитрия толпа выволокла из царских палат на Красную площадь. Царица Марина спаслась, а года через два тайно венчалась в Тушине, в стане Яна Сапеги со вторым Лжедимитрием. Или с тем же самым? О, сколько возможностей переиграть партию демонстрирует нам шахматный плац истории, сколько вариантов упущено, сколько мужчин могли бы стать нашими предками, а быть может, и стали, сколько женщин понесли или могли понести наших с вами прародителей! Марина произвела на свет ещё одного сына, по имени Иван, или Ян, но это уже другая история, а мы и без того отвлеклись.

11. История. Утро ветерана

Между тем, как уже сказано, век старел, и вместе с веком неудержимо старело общество. Времена весёлых молодёжных шествий, славных ребят с открытыми лицами и девушек с теннисными ракетками, с бритыми затылками, в просторных белых юбках ниже колен, в парусиновых тапочках, в трусах с резинками, времена хоровых декламаций, физкультурных пирамид, барабанщиков и горнистов, поэтов, певших: «А моя страна — подросток!», времена эти давно миновали, наступила эпоха зрелости, пришёл климактерический период, а там как-то вдруг бросилось в глаза, что повсюду размножились старики, или, лучше сказать, старцы. Изменился ритм жизни. Медленнее струилась кровь в обызвествлённых артериях государства. Медленней двигались поезда. В делах господствовало правило: тише едешь — дальше будешь. Старцы заведовали учреждениями, сидели в президиумах, обедали на банкетках и приветствовали праздничную сволочь с трибун. Как-то вдруг изменился запах времени. Апартаменты власти приобрели неуловимое сходство с урологическими клиниками, аромат мочи, обогащённой сахаром и уратами, пропитал тяжёлые порттеры, ковры и кресла в начальственных кабинетах; будущее стало походить на прошлое, будущее уподобилось зеркалам, в которых видны уходящие вдаль анфилады, — на самом деле

там отражались задние помещения. Тише едешь, дальше будешь. Семь раз отмерь. Необычайно возрос престиж истории. Само собой, заведовали ею старцы. История стала отраслью геронтологии.

Правление старцев, за которыми следующее поколение не признавало никаких заслуг, — но и оно каким-то образом застряло на полдороге, — было на самом деле совсем не бесплодным временем. Выяснился любопытнейший, прежде не известный факт: а именно, что никто не делает историю. Никто не способен творить историю, история творится сама.

Правда, разумели под историей в те времена не совсем то, что понимаем под ней мы, или, лучше сказать, не то, что нам хотелось бы под ней подразумевать.

Потому что история, если позволено будет сказать о ней несколько слов, подобно медицине, обречена на то, чтобы ею вечно были недовольны. Отсюда происходили некоторые заскоки, некоторые крайности, два искушения, два соблазна предстояло преодолеть поколению, которое никак не могло дожидаться, когда, наконец, удастся спровадить на тот свет обсевших все столы стариков.

Один из них можно назвать демонизацией истории. Личина недоброго Бога, который управляет жизнью народов, вот что такое история; смотря по тому, рулит ли он к концу света или замыслил рай на земле — был ведь и такой проект, — небо истории окрашивается в багровые или розовые тона, и в любом случае будущее предопределено. Но на сей раз, говорили те, кто подпал искушению, на сей раз Стрелочник выбрал путь, над которым горит красный сигнал гибели. И ничего с этим не поделаешь, хоть ты тут разбейся в лепёшку. Однако нашлись другие, кто сумел противостоять мрачному соблазну опустить руки, — чтобы поддаться второму, ещё менее плодотворному искушению. Люди эти попросту отрицали историю. С прошлым, говорили они, делать нечего. Прошлое запущено и замутнено, прошлое до такой степени — тут приходилось понизить голос — фальсифицировано, что нет никакой надежды навести в нём порядок. История — это кошмар и призрак. И поэтому её всё равно что не было. Как больной, которому не удалось исцелиться, объявляет всю медицину несостоятельной, как раненый в бою считает проигранным всё сражение, так поколение, увидевшее себя у разбитого корыта, кончило тем, что выкинуло историю на помойку.

Конечно, мы могли бы сказать, что смешно обижаться на историю, которая ведь не есть то, что случилось, а всего лишь то, что написано о случившемся: род литературы. Однако это уже будет научный подход; о науке же речь впереди.

Поколение разбитого корыта, сказали мы. Но ведь были ещё живы современники славных событий, те, кто уцелел и дожил, и кто видел «всё это» собственными глазами! Человек, к которому направлялся наш друг, — герой прошедшего времени, принадлежал к числу таких свидетелей, как ни трудно было представить себе, чтобы он вообще мог что-нибудь видеть и слышать. В темноватом покое с высоким окном, занавешенным гардиной, которую в последний раз стирали накануне свержения Временного правительства, сидела, можно сказать, сама история, величественная и полужи-

вая. История шелестела его бескровными губами. Старый борец плохо провёл ночь и, укрытый до пояса, неуверенно выглядывал из своего кресла, словно спрашивал себя, спит он или бодрствует. Никто, не исключая самого старца, не знал в точности, сколько ему лет, его возраст превосходил его собственное воображение. Его память напоминала тёмный захламлённый коридор, куда лучше было бы не соваться.

Сиплый возглас геронта приветствовал вошедшего:

«Опаздываете, милейший!»

«Как это так, — возмутился Бабков, — на моих часах восемь!»

«А на моих... позвольте, где же мои часы?» Он вытянул из каких-то недр позеленевшую цепочку; некогда, очевидно, существовал и хронометр. «Дуня!» — скомандовал старый борец.

Вошла пожилая женщина с чаем на подносе. Лев Бабков поблагодарил, помещал ложечкой в стакане. Старик сосал сахар. Дуня отодвинула гардину.

«Так, — бормотал секретарь, разворачивая бумаги, — на чём же мы остановились...»

«Вот именно, — строго сказал старец, — на чём мы остановились!»

Он прочистил горло, собираясь с мыслями. По правде сказать, это было не легче, чем дворнику собрать метлой мусор, летевший вдоль узкого переулка. Ветер обещал свежий день. Солнце, ещё затянутое утренней дымкой, едва успело взойти над крышами, тускло блестели окна, огромный город подсыхал и нежился под лучами, в переулках, похожих на ущелья, бежал народ, трамвай вывернул на площадь; всё было как всегда, и всё менялось — просто этого никто не замечал. Патлатая старуха шаркала в шлёпанцах по тротуару, расталкивала людей.

Она появлялась каждое утро, её видели то здесь, то там, иные оглядывались, все её видели, и никто её не узнавал, — мало ли старух шастает по городу, и кому могло придти в голову, что это всё та же, трижды объявленная несуществующей, осенённая авторитетом науки и дискредитированная гадателями Судьба? Солнце заглянуло в пыльный чертог. Бабков листал бумаги.

«Значит, так: мы остановились... На чём же мы...»

«Действительно — на чём?»

«На Пятом съезде...»

«Вот именно! — обрадовался старец. — А я что говорю? Всегда вам надо напоминать.»

«Позвольте, это я напомнил...»

«А вы меня не учите!»

«Итак...»

Краткая вступительная дискуссия привела старого борца в рабочую форму. Секретарь занёс над бумагой автоматическое перо.

«Не спешите, сосредоточьтесь.»

«А вы меня не...»

«Итак?..»

«Яйца курицу учат, — ворчал старик. — Он будет мне указывать, чтобы я не спешил. Как же мне не спешить? Когда нужно ещё столько передать молодому поколению. Ведь они даже понятия не имеют... ведь они... Послушайте, милейший, что я хотел сказать... — Новая мысль пришла ему в голову. — Ведь вас зовут Лев, это правда?»

Услышав утвердительный ответ, он всполошился:

«Постойте, но ведь это еврейское имя! А? Что вы на это скажете?»

«Видите ли, — лепетал Бабков, — вот, например, Лев Толстой...»

«А может, у вас родители были евреи?»

«Или был ещё такой римский папа — Лев Десятый».

«Вы так думаете? Мне кажется, церковники на всё способны. Но почему же Десятый? А где остальные?»

«Я хочу сказать, римский папа не может быть евреем...»

«Это ещё надо доказать, хе-хе...»

«Итак, на чём мы...»

«Евреи играли большую роль в истории нашей партии, — проговорил старик мечтательно. — Помню, во время Циммервальдского съезда...»

«Совещания», — поправил секретарь.

«Не перебивайте меня! Помню, во время Циммервальдского совещания... Или, например, в лагере, если еврей, то его всегда называли Лёва. Что вы на это скажете? Всё-таки у народа есть чутьё. Учитесь прислушиваться к голосу масс. Помню, у нас на лагунке был нарядчик, такой Артамон Сергеич. Суровый был мужик. Утром входит в барак и этой самой, как её... доской, вроде бельевой доски, о нары: бум, бум! На р-работу, бляди! Послушайте: что вы там пишете?»

Секретарь не отвечал, его рука порхала по бумаге.

«Послушайте, как вас там! Это не для записи!»

«Я записываю ваши воспоминания о Пятом съезде».

«О Пятом съезде? О каком Пятом съезде? Ах, да... ну да. Прекрасно помню дискуссию о методологии. Как сейчас вижу вождя нашей партии... гхм, на трибуне. А этот, как его? Тоже ведь фигура немаловажная. Знаете ли, годы проходят, но время... — Он покачал головой, поднял корявый палец. — Время не властно. Бывало, сидим вместе, он и говорит: а ведь будут когда-нибудь о нас вспоминать! Да, да, пишите... Пишите! Никто не забыт, и ничто не забыто. Что такое?»

«Звонят из Дома культуры», — сказала, просунувшись в дверь, Дуня.

«Я работаю с журналистом, а меня прерывают! В чём дело?»

«Насчёт выступления».

«Буду, непременно буду! Скажи: непременно. В котором часу? Да, так вот... На чём мы остановились?»

Секретарь усердно писал.

«Что они понимают? — бормотал старик. — Ты сначала жизнь проживи, людей узнай, горя хлебни. Полным ртом! А потом говори... Потом судить будешь. Судить они все горазды. А вот ты сначала сам горяшка-то отведай. Умники нашлись. Много вас таких! Да я, да мы, коли на то по-

шло!.. Мы верили! — сказал он грозно. — Мы в жизнь входили, как на праздник! Как на эшафот! Будешь мне тут доказывать... Да я тебя знать не хочу!» — загремел он.

Некоторое время пенсионер вперялся в секретаря слезящимся взором, потом спросил:

«А ты кто такой?»

Лев Бабков писал. Старик смотрел в пространство. Что-то шевелилось в пустоте. То, что лепетали его уста, не было детритом распавшейся мысли. Скорее его слова можно было сравнить с обломками мебели, ножками стульев, руками и лицами утопленников. Всё это время от времени поднималось над несущимися водами, тонуло и вновь всплывало. История была подобна наводнению, она неслась, как вздувшаяся река. Старик переживал состояние, которое можно обозначить словами: всё сразу. Времена и лица барахтались в его мозгу, и если он не мог справиться с этим хаосом, то лишь потому, что разладился механизм, который расставлял по местам образы прошлого, — хотя бы эти места и этот порядок вовсе не соответствовали той, навсегда ушедшей, действительности. И получалось, что хаос в голове ветерана был ближе к истине прошлого, чем если бы с хаосом сладил исправно функционирующий мозг, — но что тогда следует называть истиной?

Тот, кто хорошо и складно вспоминает, становится жертвой собственного упорядочивающего механизма, который с одинаковой лёгкостью распоряжается фактами и цементирующим веществом и ремонтирует прошлое, как ремонтируют ветхий дом, заменяя гнилые доски пола и осыпавшуюся кладку новыми материалами. Ибо прошлое, дабы сохраниться, — вот великая истина! — нуждается в периодическом подновлении. Лев Бабков поднял глаза от написанного. Пенсионер спал. Лев Бабков пил холодный чай. Старик поднял голову и устремил на секретаря взор, полный тоски.

«Перепечатаю набело, слегка подредактирую», — быстро сказал Бабков.

Старик молчал и вновь старался понять, видит ли он неизвестного молодого человека во сне или наяву.

«Вы устали, — сказал секретарь, называя старого борца по имени и отчеству; это было замечательное, благородно-архаическое имя и отчество, от которого веяло грозным временем демонстраций, флагов, митингов и баррикад. — На сегодня хватит».

«Вот именно, литературная редакция, — вымолвил, наконец, старик. — Вот так мы и напишем. Я, знаете ли, не писатель и не люблю писателей. Вечно что-то выдумывают... А мы напишем, литературная редакция такого-то...»

12. Институт систематических исследований

Мы в центре столицы, место на удивление тихое. Скамейки, свежескрашенные зелёной краской, уже подсохшие, ещё не изрезанные перочинным ножиком, не исцарапанные осколками стекла, под шеренгою тополей, приглашают вечно спешащего горожанина замедлить шаг. Напротив сидящего, над зеленью кустов и деревьев, белеет в треугольной раме портала окрещённый символами науки алебастровый герб.

Громоздкое приземистое здание, — сколько этих зудящих «з» прилипают к зубам, стоит лишь попытаться его описать. Странноприимный дом, позже преобразованный в приют для сирот благородного происхождения, а ещё сколько-то лет спустя — в казарму конногвардейцев. В годину обновления мира здание это служило, хоть и недолго, пристанищем для правительства, красного или белого, сейчас уже трудно сказать, оно сберегло в своих недрах воспоминания обо всех своих постояльцах, ведь строительные сооружения наделены более долговечной памятью, чем люди. Подчас эта память оказывается до такой степени неуместной, что приходится их сносить.

Судьба была милостива к бывшему дому бедности и двуглавой славы; он пережил всё и всех. Со своим помпезным порталом, с узкими окнами невысоких двухэтажных крыльев, со следами подтёков под крышей, облупившийся дворец являл собой образ трухлявой вечности. У входа висела заржавленная табличка: «Памятник... века, охраняется государством». Надписи, нацарапанные нашими предками, угловое письмо первых пятилеток, ещё можно было разглядеть на поддерживающих портал слоновых колоннах.

Можно было, не напрягая воображение, представить себе, как по ночам, после того как напяливались чехлы на пишущие машинки, запирались несгораемые шкафы с архивами и последние сотрудники покидали здание, — представить себе, что здесь начинается или, лучше сказать, продолжается другая жизнь. Поскрипывали половицы, шныряли мыши. С тихим стоном отворялись двери покоев, и тени вышагивали из-за пыльных портьер. И водил руками дирижёр в съеденном молью фраке перед беззвучным оркестром в зале заседаний, откуда каким-то образом исчезли ряды стульев, трибуна докладчика и стол для президиума. Вместо них кружились, кланялись, приседали друг перед другом силуэты соперниц, врагов и влюбленных, а в приемной, где днем восседала неприступная секретарша, за дверью, запертой на ключ, на диване просителей тень кавалергарда лишала невинности благородную сироту. Между тем в кабинете Директора решались судьбы мира. Вождь революционных масс склонял голый череп, похожий на глобус, над планом осажденного города. Все это мы уже где-то видели, пробормотал Лев Бабков. Потянувшись, он встал со скамейки. Чем чёрт не шутит, сказал он себе, — была, не была!

В вестибюле, в особом рода стеклянном кубе, стоял человек в кителе без погон, невзрачно-значительного вида, но вместо того, чтобы потребовать пропуск, поспешно встал, стащил с головы форменную фуражку и поклонился вошедшему. Счастливого недоразумение, многообещающее начало. Лев Бабков величественно кивнул плюгавому человеку и прошествовал мимо, не имея представления, куда он направляется. В просторном холле висели на стенах мраморные доски с именами ведомственных знаменитостей и павших бойцов, впереди — парадная лестница, каменные вазы с цветами и бюст Директора в академической ермолке. Посетитель остановил свой взгляд на пышных усах под мясистым мраморным носом.

МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ ОБ УСАХ

Задержимся и мы ненадолго на этой подробности: без преувеличения можно сказать, что усы представляют собой культурно-исторический феномен исключительного рода, служат рекламой эпохи не хуже, чем ордена, мундиры и надгробные памятники. При этом усы и нос образуют единство, усы не существует без носа, как нос, в сущности, невозможен без усов. Правда, некоторые эпохи не знали усов. Однако безусие само по себе есть знак, говорящий о многом, точнее, об отсутствии многого. Цивилизация знает несколько сот моделей усов, различаемых по длине, густоте, фасону и цвету.

Новое время породило национально-патриотические образцы; в альбоме усов (если представить себе такое пособие для историков и брадобреев) найдут себе место вислые, цвета гречихи, украинские усы, ржаные великорусские усы, прямолинейные нестигаемые усы Кастилии и Арагона, эфиопские усы с колокольчиками, балканские усы, похожие на крендель. Усы независимости, усы свободы, усы национального возрождения и возвращения к корням; невозможно представить себе полководца, нельзя признать легитимным монарха без растительности на верхней губе, и не случайно некоторые исторические модели носят имена великих людей: таковы военнопольевые усы Карла XII, дуговые, напоминающие печной ухват усы кайзера Вильгельма II и метёлкообразные, длиннейшие в мире, расширяющиеся на концах усы легендарного маршала Будённого. Можно без труда показать, не вдаваясь в причины этого таинственного закона, что бритьё бороды и усов влекло за собой, как правило, падение авторитетов и кризис власти. Вождь партии и народа — без усов? Нонсенс.

Посетитель рассудил, что не стоит подниматься по лестнице, пока привратник не одумался, и свернул наугад в один из двух коридоров, выходящих в вестибюль. Здесь чувствуешь себя уверенней. Длинный, плохо выметенный коридор был освещён тусклыми светильниками, ничто не давало почувствовать, что на дворе весна, времена года исчезли, стояла тишина, за рядами дверей с поблескивающими табличками шла работа. Лев Бабков находился в одном из крыльев бывшего странноприимного дома; внутри здание оказалось обширнее, чем выглядело снаружи. По узкой боковой лестнице он взошёл на второй этаж. Такой же коридор, но почище; опять таблички с перечнем сотрудников, а там и отдельные фамилии с инициалами, буквы крупнее, солидней таблички, да и двери другого качества. Опытному глазу вид двери скажет не меньше, чем завседатаю кладбищ — вид и размер надгробий; одно дело фанерованная дверь, другое дело дубовая, одно дело картонка и совсем другое — вывеска чёрного стекла с должностью, научным чином и фамилией того, кто обитает, словно в склепе, в своём кабинете; если же вход обит дерматином, с золотыми шляпками гвоздей и кожаными жгутами крест-накрест, о, тогда трудно даже вообразить, кто помещается за этой дверью.

Здесь, на втором этаже служебные помещения находились лишь с одной стороны — комнаты младших и старших научных сотрудников, консультантов, экспертов, приёмные и кабинеты начальств, — напротив шла череда окон, как уже сказано, небольших, но всё же дававших достаточно света. Вдали маячила праздная фигура: человек курил, полусидя на подоконнике.

Бабков, в принципе некурящий, точнее, курящий по обстоятельствам, счёл возможным попросить разрешения прикурить.

«Ищете организационную комиссию? — спросил человек. — Они переехали в другое крыло. Прямо и направо через переход. Но сначала, — прибавил он, — надо отметить в секретариате».

Бабков спросил, а где секретариат.

«Как где, — удивился человек, спуская ногу с подоконника, — вы же только что мимо него прошли».

Он поглядел на посетителя и спросил:

«Вы что, только что приехали?»

«Боялся опоздать. Пришлось оставить вещи в камере хранения. Я даже не знаю, где буду ночевать».

«На этот счёт можете не беспокоиться. Они устраивают всех делегатов в прекрасной гостинице. В “Космосе”, — подмигнув, сказал он. — Вам как провинциалу это название ничего не говорит, но будьте спокойны: первый класс».

Лев Бабков поблагодарил за информацию, рассеянно оглядел коридор, невзначай расстегнул макинтош.

«Ух ты», — восхищённо сказал человек на подоконнике, увидев на пиджаке дядины ордена.

«Так, э... в секретариате?...» — проговорил Бабков.

«Постойте, — сказал человек и поглядел по сторонам. — Я вам скажу по секрету... У меня нет мандата, а мне надо до зарезу, понимаете, кровь из носа, быть на торжественном заседании. Вы даже не представляете: будет чёрт знает что. Старику исполняется не то восемьдесят, не то девяносто, даже говорят (это я вам по секрету), ещё больше. Считается, что восемьдесят, а на самом деле... чуете?»

«Да что вы, — вяло возразил Бабков, — не может быть».

«Вот ей-богу! Сам слышал».

«Как же он... в таком возрасте...?»

«Руководит? Ого! Х-ха... Сразу видно, что вы нездешний. Тут такие вопросы, знаете ли, задавать не положено. За такие вопросы могут и из института попереть. Да он ещё сто лет просидит, ему снесу нет! Послушайте... я понимаю, что нехорошо лезть со своими просьбами к незнакомому человеку, но поверьте, сам не знаю — как-то вдруг проникся к вам доверием. Флюиды какие-то! Кораблёв», — сказал он сурово и протянул ладонь.

«Бабков, — неуверенно представился Лёва, решив было сматываться, но вместо этого спросил: — А что, собственно... чем я могу вам помочь?»

«Да очень просто; и ничего от вас не требуется. Вот вы сейчас отметитесь в секретариате, потом пойдёте регистрироваться в оргкомиссию.

Я туда уже заглядывал, уверяю вас, там сидят одни дебилы. У вас такой вид... они вас даже не будут спрашивать. Так вот, будете регистрироваться и скажете: со мной мой личный секретарь. Сигизмунд Петрович моё имя... а тебя как?»

«Лев».

«Ух, ты... а по батюшке? Ладно, Лёвой будем звать. А меня Муня. Так вот, так и скажешь: со мной личный секретарь Кораблёв. Дескать, не будете ли возражать, если я возьму его с собой на торжественное открытие. И всё. А если они скажут, а где же ваш секретарь, скажешь: на вокзале сдаёт вещи в камеру хранения, там очередь большая... Что-нибудь такое в этом роде. А потом проведёшь меня в зал. Мне больше ничего не надо».

«Хорошо, я подумаю».

«Чего тут думать. Иди, а то они на обеденный перерыв уйдут, — сказал Кораблёв, посмотрев на часы, — я тебя тут подожду. Слушай, Лёва. Я умею ценить услугу. Ты не думай, что я так. Отблагодарю».

Лев Бабков сделал неопределённый жест.

«Понимаю, всё понимаю! Сходим в ресторан, ты как? Лады? Я тебе покажу, как тут люди живут. Кого-нибудь прихватим. У меня есть одна знакомая цыпочка, м-м!» — и он поцеловал кончики пальцев.

13. У врат царства

«Приёмные часы окончены», — отчеканила секретарша, слишком занятая делами, чтобы вдаваться в объяснения или хотя бы взглянуть на вошедшего; трубка телефона, утонувшая в её локонах, шептала, требовала, умоляла; другой аппарат дребезжал на столе; свободной рукой она листала что-то, смотрелась в зеркальце, слюнявила пальчик и поправляла бровь. «Нет, — сказала она. Трубка не унималась. — Вам сказано русским языком: нет». Что-то записала, бросила трубку на вилки телефона, приподняла и прочно посадила на место вторую трубку, захлопнула блокнот и сунула зеркало в сумку. И лишь после этого, распрямив утомлённый стан, обратила на посетителя фарфоровые глаза.

В эту минуту на столе раздался шорох, словно кто-то зашевелился под бумагами, голос из недр проскрипел что-то. Девушка вспорхнула и простучала каблучками мимо сидевшего на диване человека без биографии. Несколько минут спустя она вышла из высоких дубовых дверей, поправляя локон, на ней было короткое лёгкое платье со скромным вырезом, тесное в лифе и почти неправдоподобно узкое в талии, с юбкой клёшем, которая колыхалась, по моде тех лет, на пенном кружеве нижних юбок. У неё был вид женщины, которую только что поцеловали.

«Чего вы ждёте, — сказала она, — я же вам объяснила».

«Жду вас», — возразил Бабков.

«Мешаете работать».

Она снова устроилась со своими пышными юбками за столом, сунулась в сумочку, и снова задрезжал телефон.

«Вам русским языком говорят, — промолвила она не то в трубку, не то сидящему на диване, — Директор не принимает».

«Я не к Директору. Я к вам», — сказал Бабков, задавая себе вопрос: если снять платье и юбки, то что бы осталось? Гора кружев на ковре и сидящее за столом полупрозрачное ничто в отливающих янтарём локонах. Задача женского наряда — не столько показать то, что есть, сколько воссоздать то, чего нет.

«Я могу подождать, — добавил он, — у меня есть время».

Зазвонил телефон. «Институт, — сказала она. — Да. Нет. Я вам уже объяснила. — Бабкову: — Мешаете работать!»

В приёмную вступил тучный человек, одетый с иголки, с эмалевым значком на лацкане пиджака, в обширных брюках из дорогого материала, в очках из карельской берёзы. На мгновение, пока дверь открывалась, там мелькнуло лицо Кораблёва с вытянутой шеей. «Людочка!..» — сочным голосом возгласил осанистый человек. Лев Бабков уселся поудобнее на кожаном диване, заложил ногу за ногу в брюках, отутюженных Анной Семёновной, развесил полы макинтоша.

«А я к вам по деликатному делу!»

«Вы всегда... — Зазвонил второй телефон. — Нет», — сказала она брезгливо.

«А я к вам... Как бы это мне на одну минутку», — ворковал человек в берёзовых очках.

Услышав, что к Директору нельзя, он вскричал плаксиво:

«Как же так, вы мне утром обещали!..»

«Директор в Академии».

«Да я сам только что из Академии!»

«Вот и поезжайте туда. Может, там его поймаете».

Толстяк ломал руки, метался по приёмной.

«Ну что вы скажете? — обратился он к сидящему. — Когда я точно знаю, что Директор здесь! Вы, наверное, тоже ждёте? Вы из Свердловска?»

«Да, — сказал Лев Бабков, — я из Свердловска».

«Боже мой, мы вас давно ждём! Послушайте... Бог с ним, я могу заглянуть попозже... А сейчас вы должны идти со мной. В мой отдел... Вы даже не можете себе представить, как мы вам рады!»

«Обязательно, — сказал Бабков. — Непременно. Но не сейчас».

«Понимаю, понимаю... А кстати, как там Феодосий Лукич? Я хочу сказать, как с этой злополучной диссертацией? Вы должны войти в наше положение, — человек понизил голос, — мы были вынуждены. При всём уважении. Феодосий Лукич, можно сказать, глава целой школы, у него десятки учеников... Но целый ряд вопросов, важнейших, принципиальных вопросов — вы понимаете, о чём я говорю, — нуждается в уточнении, в принципиальной оценке...»

«Да, но знаете ли...» — сказал Бабков.

«Разумеется! Разумеется, это не окончательный ответ».

«Вот именно, — сказал Бабков, подняв палец. — Вот именно, не окончательный».

Секретарша говорила, держа трубку. Донеслось: «Я вам объясняю. Русским языком...»

«Ну, не буду вам мешать... Помните: мы вас ждём!»

Из-за гардины неожиданно выставилась человеческая фигура. Кто-то висел в воздухе за окном, рабочий карабкался по приставной лестнице. Там вешали лозунг по случаю юбилея. Секретарша пожалала ватными плечиками.

«Не понимаю, на что вы надеетесь».

Вновь зашуршал невидимый аппарат, загробный голос провещал нечто. Людочка сорвалась с места и исчезла за тяжёлой дверью. Посетитель встал. Он подошёл к столу и бегло ознакомился с бумагами. Кто-то приоткрыл дверь в приёмную, это опять показалась вопросительная физиономия Кораблёва. Лев Бабков молча указал на дубовую дверь. Кораблёв важно кивнул и пропал. Посетитель уселся на диван. Посетителю чудились неясные звуки в кабинете, голоса или, вернее, её голос. Люда выбежала из директорского святилища с пылающим лицом, утирая что-то под глазами, взлетели кружева, она плюхнулась за стол. В приёмной стало сумрачно: половину окна загородила огромная доска лозунга.

Секретарша пудрила щёки и лоб, пристроив зеркала к телефону.

«Не надо огорчаться, — сказал Лев Бабков, — всё бывает».

«А, чтоб тебя...» — пробормотала она, глядя с ненавистью на дребезжащий аппарат. Лев Бабков подошёл к столу и взял трубку.

«Секретариат Института систематических исследований, — сказал он, и его голос приобрёл тот необходимый тембр, который заставляет людей насторожиться. Шёлковая перчатка, в которой держат клинок. — Чрезвычайно сожалею. — Он смотрел на Людмилу. — Директор руководит совещанием и в данный момент не может с вами говорить».

Трубка осведомилась, с кем она разговаривает.

«Зам ответственного секретаря по организационной части. Сожалею».

Трубка не унималась. Людочка открыла рот. Бабков сказал:

«Изложите вашу просьбу в двух словах, она будет передана по инстанции. Сочувствую вам и всемерно готов содействовать. Невозможно. Нет. Да. Председатель Учёного совета тоже на совещании. Можете катиться к чертям собачьим». Последние слова были, очевидно, произнесены а parte. Трубка старинного аппарата с изогнутым раструбом микрофона плюхнулась на вилки.

«Я занята! — крикнула Людочка раздражённо, когда дверь в приёмную вновь приоткрылась. — Не видите — у меня посетитель. Слушайте, — пробормотала она, — как вас, и вообще, кто вы такой... Я же вам сказала. Он вас не примет. И к тому же его, наверное, уже нет. У него там, — сказала она, — есть другой выход».

«Но я не к нему; я к вам».

«Ко мне? — переспросила она, как бы просыпаясь в лёгкой тревоге. — Послушайте... И вообще».

Это «вообще», слово-протей, могло быть знаком неприятия, презрительного удивления, эквивалентом поджатых губ или поднятых бровей, могло означать и уступку, но главным образом указывало на общую темпе-

ратуру разговора. «И вообще!» — сказала Люда, окончательно овладев собой, поднимая на собеседника эмалевые глаза. Крошки чёрной краски висели на ресницах.

И в ту же минуту (мы должны представить себя на её месте) она почувствовала перемену, заработали бесшумные генераторы пола. В тайных глубинах тела яйцники впрыснули в кровь дозу женского гормона. Если можно было уложить в короткий вопрос некоторую общую мысль, проплывшую, как корабль, в её мозгу, то этот вопрос — вполне однозначный при всей своей неопределённости — звучал бы так: а почему бы и нет?

«Директор на совещании, — отчеканила секретарша. — Позвоните позже».

Положила трубку.

Кораблёв просунулся в дверь.

«Муна! — строго сказал Бабков. — Займись своим делом. — Он объяснил: — Это мой человек».

После короткой паузы:

«Так вот. Я бы хотел поступить на работу».

«Да? — сказала она иронически. — Интересно».

«Я бы хотел поступить к вам в Институт».

«Обратитесь в отдел кадров».

«Но меня там никто не знает».

«Я вас тоже не знаю, — заметила она. — Вы хотите подавать на конкурс?»

«Может, вы мне что-нибудь посоветуете?»

«Безобразие, — сказала она. — Совсем загородили окно. Что же я могу посоветовать?»

«Может быть, вы подскажете, на какую должность мне лучше всего подавать. Я могу работать кем угодно. Мне всё равно, кем работать. А если между нами, то я бы хотел просто числиться».

«Просто числиться».

«Ну да».

«И получать зарплату».

«Почему бы и нет?»

«Многого хотите».

«Уверяю вас, совсем немного».

«Почему именно в наш Институт?»

«Потому что, — он улыбнулся, — я хочу быть возле вас».

«Мне кажется, вы чересчур самонадеянны». Эта фраза казалась вычитанной из книжки. Весь диалог напоминал пародию на разговоры в романах. Жизнь гораздо чаще пародирует литературу, чем наоборот. Во всяком случае, было очевидно, что разговор шел не о том, о чём он шел; или, по крайней мере, не только об этом.

Но в конце концов, — такая мысль не могла не придти в голову Лёве, — в конце концов, не была ли вся эта сцена отражением какого-то общего закона, по которому все, что текло на поверхности, делалось

и говорилось, было мнимостью? Настоящая жизнь, как подземные воды, струилась и пробивала свой извилистый путь в неисследимых потёмках.

«Должность... — сказал он, — должность подберите мне сами».

«Вы и на фронте были, когда ж это вы успели?»

Лев Бабков взглянул на свои ордена.

«Я сын полка, — сказал он, — воспитывался под свист пуль и грохот снарядов. Я кандидат исторических наук, то есть, собственно говоря, любых наук...»

«Но позвольте».

«Шучу, конечно. А может, и не совсем шучу. Я литературный секретарь старейшего члена партии, мы работаем над его мемуарами. Вас, вероятно, интересуют мои документы — пожалуйста».

«Да зачем мне ваши документы, я вам и так верю».

«Когда мне придти?»

«Документы сдадите в отдел кадров».

«Я хотел прежде показать вам. Вот если бы вы замолвили за меня словечко перед Директором».

«Знаете что, — сказала она неуверенно, — я не могу так много времени тратить на одного человека. Там другие посетители ждут».

«С посетителями мы в два счёта справимся. А насчёт того, что верю — советую вам быть осторожней. Вы даже не представляете себе, сколько вокруг ходит шарлатанов. Документы могут быть поддельными. Вот видите: диплом. Ведь эту печать ничего не стоит перепечатать. Перенести с одного документа на другой, вот и всё. Подпись замастырить пара пустяков».

«Это вы так говорите, потому что сами никогда не поддельвали... — Она поглядела в окно. — Да что это, в самом деле. Что ж, я так и буду сидеть целый день при электричестве?»

«Одну минуту».

Лёва водил пальцем по списку телефонов, пока не остановился на нужном номере.

«Этот?»

Секретарша пожала плечами.

«Попрошу начальника конторы», — произнёс он голосом, в котором вновь почувствовались бархат и латы. Несомненно, акустика этого голоса заключала в себе больше смысла, чем то, что он собирался сказать. Мягкий и переливчатый, грозно-ласкающий, этот голос производил больше впечатления на женщин, чем на мужчин. Но что он собирался сказать? Лев Бабков пожиллся на вдохновение.

«Попрошу начальника конторы... как его, кстати?.. Товарищ Лукульченко. С вами говорит уполномоченный министерства... я нахожусь в кабинете Директора Института системных исследований».

Последовавший за этим монолог не требует пересказа; раздавались слова: «безответственность», «халатность», «немедленно», «безотлагательно» и под конец совсем уже неуместное выражение «сукин сын, ты у меня заплачешься».

«Людочка, — кладя трубку, сказал Лев Бабков, — я совершенно уверен в том, что меня привела к вам судьба».

14. Загадочные ущелья прошлого

Бабков, сообщивший Анне Семёновне, что он поступает (или уже попустил?) на работу в Институт и даже беседовал с самим Директором, разумеется, прихвастнул: немногим удавалось лицедреть Директора, не говоря уже о том, чтобы получить аудиенцию. Разве только увидеть поутру перед домом с гипсовым гербом и символами науки директорский экипаж, — между тем как «сам» уже допивал у себя наверху в кабинете первую чашку тибетского чая.

Тому же, кто не поленился бы встать пораньше, возможно, посчастливилось бы наблюдать, как длинный чёрный автомобиль выворачивает из переулка и, урча, взбирается задними колёсами на тротуар, к ступеням портала.

Растворились задние дверцы. Старец — снежно-белые усы, мясистый нос и академическая шапочка-ермолка — выехал в кресле спиной вперёд, был подхвачен двумя молодцами, пронесён мимо вахтёра, стоявшего навытяжку, с фуражкой перед грудью, возле стеклянной клетки. Лифт стоял наготове под присмотром специально приставленного для этой цели научного работника в чине кандидата; кресло с усам и ермолкой поехало наверх, там встречали сотрудники и благоухающая, как сама весна, секретарша.

Директор сделал знак остановиться, чтобы поцеловать руку у Людочки, замахал руками, давая понять, что не нуждается в посторонней помощи, сам выбрался из кресла и с удивительной бодростью, с приветственным жестом, словно премьер, удаляющийся за кулисы, проследовал через приёмную в кабинет. Свой рабочий день Директор Института начинал, как уже упомянуто, с тибетского чая, дарующего долголетие. Директор не упускал случая рекомендовать чай своим сотрудникам. Он повторял чаепитие в полдень при прохождении солнца через полюс эклиптики и при восходе верхнего рога луны. По сведениям, которые мало отличались от легенд, он не употреблял мясо и молоко, а также избегал растительных, мучных и иных продуктов, за исключением сухих семян. Директор был сед, сух, мал росточком, что, как известно, тоже способствует долгожительству. Обычно он не покидал рабочий кабинет до позднего вечера; случалось, оставался на ночь и бодрствовал при свечах, в память об одном событии своей жизни; бывало и так, что кабинет вдруг оказывался необитаем, и только голос шефа, столетний замогильный голос, шелестел на столе у Людочки.

Не раз предлагалось переименовать Институт систематических исследований (носивший, естественно, имя Директора) в Академию, а именно, Академию усовершенствованной истории, для чего имелись веские основания. Выше говорилось о старцах, заведующих историей. Директор сам был живым воплощением истории, но вместе с тем и её опровержением. Приводимый в справочниках год его рождения — условная дата; возраст Директора в большой мере зависел от системы ле-

тосчисления. Если в соответствии с григорианским календарём он считался глубоким стариком, то по ламаистскому счёту был мужчиной в расцвете лет. Директор был одновременно дряхл и прочен, казался глубоко погружённым в склеротическое полубоддрствование и при этом удивительно чуял своим крупным губчатым носом перемены ветра, веющего с руководящих высот. Сребровласый и розоволицый, при своём малом росте напоминающий экзотический гриб, он почти составлял единое целое со своим креслом, — и, тем не менее, регулярно, хоть и нечасто, к изумлению персонала, его видели гуляющим по Институту, он заглядывал в кабинеты заведующих отделами, отпускал комплименты молодым лаборанткам и демократически желал доброго утра уборщице. По неписаному закону страны каждую сферу государственной деятельности возглавлял феодальный старец, заслуженный, несменяемый, украшенный орденами и обременённый должностями; таков был в своей вотчине и Директор. Незачем пояснять, что этой вотчиной была история.

Можно ли доверять имеющимся сведениям? Неконгруэнтность календарей — лишь одна из трудностей, с которыми сталкивается биограф. Вообще же следует знать, что исторические сведения достоверны в той мере, в какой они не противоречат легенде. По крайней мере, так обстояло дело с биографией Директора. Будущий реформатор науки появился на свет в прошлом веке. Считалось, что он происходил из дворян Новгородской губернии. Его рождению предшествовал приезд немолодого барина, впервые за много лет, в одно из своих владений, где он познакомился с пятнадцатилетней крестьянкой. Не раз замечено, что подобные встречи приводят к совершенно необычным результатам.

В памятную весну 1874 года (нам придётся всё же держаться общепринятых дат) среди нескольких тысяч молодых людей, замысливших просвещать народ о его бедственном положении, находился будущий Директор; в одежде мастерового, с подложным паспортом он сошёл с поезда на глухом полустанке и на другой день был арестован исправником по доносу хозяина избы, который пустил к себе ночевать юного пропагандиста. Таково было начало революционной карьеры Директора. Выйдя (через три года) на волю, он участвовал в заседании, на котором было постановлено изменить методы борьбы. Отныне кинжал и самодельная бомба должны были сменить слово убеждения. Ходили тёмные слухи, что террорист, заколовший в Петербурге на улице, среди бела дня, начальника жандармского корпуса, был не кто иной, как он, будущий Директор. Это было тем более удивительно, что предполагаемый убийца был мал, как ребёнок, а шеф жандармов — великан трёхаршинного роста. Несколько времени спустя Директор был задержан на курляндской границе с чемоданом литературы. В столице был убит император. Близость будущего реформатора к заговору не вызвала сомнений. Вместе с другими Директор был приговорён к повешенью. В конце марта этого памятного года, спустя четыре недели после того, как взрыв разнёс в щепы государеву карету, разметал лошадей, смертельно ранил бомбометателя и оторвал ноги монарху, одиннадцать террористов, признанных пособниками, были поме-

щены в каменные гробы Алексеевского равелина. Среди них будущий Директор; эшафот был заменён пожизненным одиночным заточением, мгновенная смерть — медленной.

Такова была история его жизни вплоть до порога, за которым осталась молодость. Когда Директор вышел на волю, — ибо он всё же вышел, — он был глубоким стариком. Неизвестно, сколько лет в точности он провёл в каземате; во всяком случае, это была уже другая эпоха, другое столетие стояло на дворе, поколение успело сойти со сцены, род пришёл и ушёл, как сказал Экклезиаст. Важно, однако, отметить, имея в виду наше дальнейшее изложение, что время узника и время за воротами цитадели протекало неодинаково.

Вернёмся к этим десятилетиям: довольно скоро заключённого постигла обычная судьба обитателей равелина; признаки помешательства появились на второй год. Солдат, приставленный для топки печей в трёхметровых, старинной кладки, стенах между кельями арестантов, доложил, что за дверью 10-го номера слышны бессвязные речи, пение; в полутьме узник передвигался от стены к стене на распухших, похожих на брёвна ногах. Когда много позже, после смуты Пятого года, частично были преданы гласности бумаги департамента полиции, в них обнаружился любопытный документ, лекарское свидетельство, поданное по команде на имя коменданта крепости. Тюремный врач докладывал о кончине номера 10 от цинги, скоротечной чахотки и общего истощения. Оставалась, правда, некоторая неясность относительно имени того, кто содержался под № 10. Имена могли быть перепутаны, впоследствии же вовсе потонули в бумагах. Были предприняты, в том числе самим умершим, в более поздние годы попытки опровергнуть факт смерти, но, как уже сказано, это было другое время.

Это был некий знак. Упомянутый документ может служить примером того, что имеют в виду, говоря о достоверности исторических свидетельств. Он наводит на мысль о том, что именно тогда будущий Директор приобрёл навык двойного существования на грани действительности; тогда-то и был заложен фундамент его поистине сенсационного долгожительства.

15. Даниил. Опровержение истории

Смена царствований повлекла за собой известные перемены. Нельзя сказать, что правление императора Александра III носило исключительно ретроградный характер: новые веяния коснулись полицейских и административных сфер. Древний равелин, иначе называемый Секретным домом, был признан негодным за ветхостью. Новая тюрьма была воздвигнута на уединённом острове Ладожского озера за стенами крепости, которую венчал золотой ключ, этот двусмысленный символ открытия и затвора. На четвёртом году заключения террористы, закованные в кандалы, были перевезены на остров. Из одиннадцати осталось в живых четверо, двое из них были безумны. Один узник вскоре был казнён за оскорбление, нанесённое надзирателю; ещё один облил себя в камере керосином и поджёг. После чего на-

чальство нашло возможным допустить некоторые послабления режима. Было разрешено читать книги христианского содержания и пользоваться писчей бумагой.

Один писатель, тот, кто сам был некогда привезён в закрытой карете в крепость Петра и Павла, через мост и ворота с каменным монструозным орлом, тот, кто стоял с завязанными глазами на эшафоте, но в последнюю минуту был помилован и отправлен в каторгу, записал однажды в своих тетрадях: «И Христос родился в яслях, может, и у нас родится Новое Слово». Оно родилось в Шлиссельбурге.

Под честное слово дворянина (какие, однако, были нравы! что такое честное слово?), с обещанием не предпринимать ничего недозволенного, а также учитывая примерное поведение арестанта, ему было разрешено коротать длинные тюремные вечера со свечой. И вот, читая однажды книгу пророка Даниила, как рассказывал много лет спустя Директор, он обратил внимание на рассказ о видениях, в седьмой главе, где говорится о явлении четырёх зверей из моря, и далее в главе 8-й — видение овна и козла. «Помните ли вы: овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него... он делал, что хотел, и величался? — спрашивал Директор благоговейно внимавшую публику. — Какая-то, ещё неясная, мысль мелькала в моём уме... Перед моим мысленным взором возникли старинные изображения созвездий — как удивительно были похожи эти картинки на галлюцинацию пророка!»

Утомленный бдением, он уснул, положив голову на дощатый стол, и во сне эта мысль с необыкновенной чёткостью предстала ему — уже не как смутная догадка, а как научная гипотеза.

Оставалось — но это сейчас мы так говорим, на самом деле путь постижения истины не так лёгок и прям, — оставалось проверить гипотезу, сопоставив её с известными данными. Будущего Директора, по его словам, удивляло, отчего до сих пор никому не пришла в голову идея, лежащая, можно сказать, на ладони. Но такова природа открытий: лишь после того, как они сделаны, кажется, что они были просты и очевидны. Узник нуждался в учёной литературе. Следовало углубить свои — впрочем, уже немалые — исторические и астрономические познания, следовало провести параллели, найти соответствия, привести разнородные факты к общему знаменателю. Назначенный, на его счастье, новый тюремный врач снабдил арестанта, под предлогом переплётной работы, таблицами местонахождения светил на видимой части небесной сферы в определённое время и над определённым местом на Земле.

Гипотеза — давно уже, впрочем, превратившаяся из гипотезы в факт — состояла в том, что видения пророка были не что иное, как расцвеченное фантазией описание созвездий ночного неба. Значит, можно было точно установить, где именно он созерцал их и когда это происходило. Согласно изречению средневекового летописца, природа не повинуется указаниям властей, *natura auctoritate decurrit*; точно так же она не следует догматическим представлениям историков. Считалось, что книга пророка Даниила написана в эпоху гонений Антиоха Епифана, во всяком случае, не позднее 164 г. до

Р.Х., года смерти Епифана. Между тем картина звёздного неба, каким оно предстало созерцателю, никак не совпадает с той, которую можно было наблюдать в 164 году. В тетрадах будущего Директора, вынесенных спустя много лет, как некие скрижали, из ворот крепости Золотого Ключа, находилась звёздная карта — небо, которое видел пророк. Такое небо стояло над Палестиной в IV веке — на шесть столетий позже!

Ergo, датировка книги Даниила, а заодно и вся древняя хронология, нуждалась в пересмотре. А отсюда следовал головокружительный вывод: эпохи между третьим веком до и пятым после Рождества Христова фактически не существовало. Куда же тогда девать Даниила? Куда девать остальных пророков и весь Ветхий Завет? Гениальная фальшивка, позднейшая мистификация христианских теологов, вот единственный ответ.

16. Усовершенствование полным ходом

Всё требует пересмотра. Оставим сказочного Директора на пороге решающего этапа, когда он приступил к радикальному усовершенствованию истории. С некоторых пор и у нас, и за границей вошёл в моду исторический шовинизм. Раньше никто не говорил: милостивый государь, вы отстали от жизни, слава Богу, у нас на дворе XII век. Никто не кичился своей эпохой, не хвастался своим столетием, никому не приходила в голову нелепая мысль, будто двенадцатый век или там шестнадцатый совершенней всех прочих на том основании, что он последний. Совсем иначе звучит: «Милостивый государь, мы живём в двадцатом веке». Тут уж не остаётся сомнений в том, что мы прогрессивней всех и наш век — вершина истории. Между тем и он догорает, и даже эти записки, может статься, не будут доведены до конца, прежде чем придётся штурмовать новый пик.

Так как всего вероятнее то, чего никто никогда не ждёт, — любопытный парадокс теории вероятности, — можно предполагать, что даже сравнительно близкие потомки найдут в катакомбах нашей эпохи нечто такое, о чём мы и слыхом не слыхали. Для этого века будет придумано непостижимое название. Венцом и вершиной истории он, конечно, не будет. Но кто знает, может быть, к нему отнесутся снисходительней. Чего доброго, он станет именоваться добрым временем, станут говорить: как тепло, как уютно тогда жилось! Наш век будет исчерпывающе объяснён с помощью какой-нибудь безумной теории. Его уложат, как в саркофаг, в какую-нибудь недоступную нашему разумению классификацию. Но и этого мало: не исключено, что он будет объявлен, в результате самоновейших исследований, никогда не существовавшим. Отнюдь не исключено!

Нас оуждает двойное небытие. Мало того, что мы умерли, мы никогда и не жили.

Рассказывают, что один профессор философии, наш знаменитый современник, начинал свои лекции об Аристотеле фразой: «Он был рождён, трудился и умер». Вообразите же самочувствие Стагирита, которому объявили, что он никогда не рождался. Что он не жил, не учил, ничего не написал, все его трактаты, и Органон, и Этика, и Политика, и Метафизика сочинены не

им, а какими-то безымянными черноризцами в монастырских кельях, в ненастные ночи Средневековья. Вообразите загробный гнев и отчаяние того, на чьём камне, поверх перечёркнутых дат, стоит: Numquam erat!

Этот пример может дать представление о масштабах переворота, совершённого Директором Института систематических исследований: историю пришлось укоротить, как штаны. Шесть столетий отправились в мусорную корзину, и вместе с ними ухнула в тартарары изрядная доля классической древности. Возвышение Рима, эллинизм, Афины и Александрия, Pax Romana и роскошный закат Империи — ничего этого не было, всё оказалось продуктом гениальной фантазии, античные классики — псевдонимами безвестных монахов, скромно именовавших себя копиистами. Переписчиками никогда не существовавших оригиналов. Собралась в складки вся новозаветная история, евангелия — о чём, впрочем, давно уже подозревали — были сочинены задним числом. Распятый окончательно превратился в легенду, и от первых веков христианства ничего не осталось. Само собой разумеется, что с потерей шести веков подлежало ревизии всё дальнейшее летоисчисление.

Со временем открытие Директора, потрясшее научный мир, нашло продолжателей, примером творческого применения реформы может служить другая отважная попытка укоротить историю, предпринятая на сей раз не в нашей отсталой стране, а на просвещённом Западе. А именно, похерить промежуток от VII до X столетия. Тухлое время, без которого, как выяснилось, можно вполне обойтись. Как стало известно, оно было попросту выдуманно, грамоты и реликвии сфабрикованы задним числом, памятники архитектуры, какая-нибудь аахенская часовня и тому подобные, воздвигнуты позже. Чарующая скандалёзность этой выдумки сделала её неотразимой, если вспомнить, сколько людей, какие могущественные политические силы были заинтересованы в том, чтобы раздуть величие Каролингов и оправдать свои притязания на владычество в западном мире. Но каково несчастному Пипину, Карлу Мартеллу и самому Карлу Великому узнать о том, что они были мифическими персонажами и отныне уволены из истории! Поистине худшее, что может произойти с эпохой, это открытие, что её не существовало.

Но вернёмся к нашему времени, у которого, по крайней мере, есть одно преимущество: никто пока ещё не усомнился в его реальности. А до той поры, когда она будет объявлена мнимой, мы не доживём. Мифология — это кладбище истории. История — ожившая мифология. Если бы, однако, уже теперь мы попробовали подвести итог, обозреть свой век единым оком и вывести всеобъемлющую формулу, нам едва ли оказалась бы по зубам такая задача, и, конечно, не потому, что не хватает исторических материалов, хроник, грамот, архивных справок, надгробных надписей, фальсифицированных фотографий, поцарапанных киноплёнок и тому подобного. Ни одна эпоха не оставила после себя столько мусора, как наша.

Раньше было не так. Раньше можно было, благословясь, расчесав седую бороду, засветить лампаду, сесть за пульт и занести в книгу века ещё одно, последнее сказанье, можно было начертать не спеша заключительную

главу — и захлопнуть книгу. Хватит ли у нас смелости сознаться, что мы утратили вкус и способность к синтезу, что навсегда потеряно доверие к великим историческим повествованиям, к «наррациям»? Можно ли утверждать, что законы истории, уроки истории, опыт прошлого и как там всё это называется — суть не более чем наррация, по-русски говоря, басня о том, что было и чего не было, а точнее, никогда не бывало? Оставим этот вопрос без ответа.

Дело в том, что число достижений, притязающих на роль «решающих факторов», так велико, что невозможно предпочесть одно, не воздав должное другому. Мне скажут: век автомобиля, а я отвечу — век противозачаточных пилюль. Кто-нибудь выкрикнет: расщепление атома, а я ему: тайная полиция, стукачи, концентрационный лагерь. Кто-нибудь шлёпнет об стол козырным тузом — рок-музыка! А мы его другим тузом: газовая печь! — Компьютер! Космические полёты! Генная инженерия! — Ответом будет гробовое молчание. Потом кто-нибудь осторожно вякнет: а терроризм? Кто-нибудь подведёт итог, дабы положить конец всем спорам: окончательная победа общества и государства над человеком. И мы опять ничего не ответим. Мы только подумаем: какой неслыханной виртуозности, какого совершенства достигло искусство маленького человека вести образ жизни улитки, скрываться в щелях, лавировать посреди угёсов бюрократии, ночевать в укромных углах цивилизации, прятаться, увиливать, вовремя ускользать, смаывать удочки, существовать не существуя и, живя, делать вид, что тебя нет.

Наше отступление затянулось, читатель волен его пропустить. Как сказал вагонный сказитель: кому неинтересно, пусть читает газету.

17. Национальная муза

А вот и он — в солдатской пилотке, в шинели без хлястика.

Идти в толпе, смотреть в спину женщинам. Мимо слепых опустевших вагонов влачиться в стуже и шорохе шагов, в неслышном шелесте, электромагнитном поле мыслей. Идти и смотреть на их плечи, удручённые грузом забот, на ноги женщин, на эту, на её чулки, овал её бёдер, пытаться ступить с ней в ногу, слишком мелкие шажки, мечтать и угадывать, кто она, обогнать, взглянуть искоса и разочароваться. Но где же сказитель? Лев Бабков потерял в толчее пассажиров вагонного барда. Толпа редееет. Увидел его далеко впереди; несколько времени шагают рядом.

Человек отверз уста: «Чего надо?»

В ногу, не глядя друг на друга.

«Который раз встречаю тебя в вагонах».

«И я тебя; чего надо?»

«Хотел познакомиться...»

«Мало ли чего ты хотел. Ты кто такой?».

«Трудно сказать», — ответил Бабков, и оба направились через площадь под эстакаду железной дороги, к зданию фабрики «Большевичка».

«Ты кто такой, отзынь», — сказал Георгий Победоносец.

Лев Бабков остановился.

«Слушай, — сказал он. — Чем травить желудок в этой поганой столовой, пошли лучше к тебе, харчи я куплю. Я, — сказал он, — твою балладу слушаю по три раза на неделе».

«Нравится?»

«Ты большой талант».

«Это мы без тебя знаем».

«Но извини меня, публика начинает скучать. Сколько можно? Там ведь народ — почти одни и те же люди. Пора обновить репертуар».

«А ты мне не указ. Репертуар... Да ты кто такой, чтобы мне советы давать?»

Подумав, он спросил:

«Ты что, мне завидуешь? Сам, что ли, хочешь выступать?»

Попутчики остановились в некоторой неуверенности перед продмагом. Сказитель осторожно заглянул в магазин и увидел, что Лев Бабков стоит в очереди перед кассой. Сказитель прогуливался по тротуару. Бабков вышел с бутылками и кулками.

«Ты, едрёна вошь, откуда знаешь, что я тут живу?»

«Что значит — едрёна вошь? — спросил Бабков. — Что это вообще за язык? Прощаю тебе твою грубость из уважения к твоему несравненному дару...»

«А всё ж таки: откуда узнал?»

«Я за тобою шёл как-то раз».

«Выслеживаешь?»

«Хотел познакомиться. Но как-то не решился».

Шли наверх по бесконечной лестнице, солдат открыл дверь тремя ключами. «Пелагея Ивановна! — крикнул он. — Мне никто не звонил?» Пелагея Ивановна выглянула из своей каморки. «Знакомьтесь», — буркнул сказитель. Лев Бабков галантно представился; оба вступили в комнату поэта с большим пыльным окном, неубранным ложем, с иконой над письменным столом.

«Это какой же век?»

«А хрен его знает... У одного алкаша купил».

«Твой портрет, что ли?»

«Мой, а чей же».

«Похож, — сказал Бабков. — Только ты тут слегка помоложе».

«Давно дело было».

«Да и змей... того...»

«Змей как змей. Ну чего, — сказал хозяин, — раздевайся, что ли, раз пришёл. Стихи пишешь? Молодой поэт?..» Он швырнул в угол пилотку, снял шинель, осмотрел её внимательно и повесил на гвоздик.

«Змей, конечно, апокрифический, — продолжал он. — Может, когда-нибудь и жили такие. Зоологи до сих пор спорят. Собственно говоря, моё житие было составлено в Византии, мы все наследники Византии...»

Вошла Пелагея Ивановна, женщина неопределённых лет.

«Подавать, что ли?»

«Подавай, — сказал хозяин. — Нет, погоди. Надо бы Кланю позвать... для симметрии».

Пелагея Ивановна проворчала:

«Далась тебе эта Кланя...». Было слышно, как она говорит в коридоре по телефону.

«Сам понимаешь, необходимо было приблизить сюжет к нашей действительности. Усилить патриотическое звучание. На самом деле... ну, не в этом суть. Егорий — наш национальный святой. Мы его никому не отдадим».

В углу — кривоватое позолоченное копьё.

«Что же было на самом деле?» — спросил рассеянно Бабков, пробуя пальцем остриё.

«На самом деле я сам, самолично, перед тобой!»

«Это мы знаем», — промолвил Бабков и перевёл взгляд с хозяина на икону. Сказитель сказал:

«Если точнее, то Георгий убил дракона, это уже на Руси его переделали в змея... Этот дракон жил в пещере, ему бросали на съедение детей. Ну и так далее. Пока однажды не потребовал, чтобы привели царскую дочь. И тут явился Георгий Победоносец, то есть я... Причём не сразу его убил, а сначала усмирил, сковал цепью и велел царевне вести его на цепи. Сам ехал сзади на коне».

«Мне этот сюжет больше нравится», — заметил Бабков.

«А мне нет. Тут нет главного. Нет идейного замысла. Просто сказка, и всё. Нет мучений. Святой Георгий — великомученик. Хотя и на этот счёт есть разные точки зрения».

«Вот как?».

«Был такой римский папа Геласий, борец с язычеством. Близко к падению Рима. Так вот этот Геласий решил присвоить Георгия, объявил его западным святым».

«Это мы знаем...»

«Знаешь, да не всё. Объявил меня западным святым, хотя всем было известно, что Георгий происходил из Каппадокии. Но он и на этом не успокоился, а заявил, что мученичество Георгия — выдумка еретиков».

Дескать, на самом деле Георгий — это такой святой, чьи дела больше известны Богу, чем людям».

«И какие же это дела?»

«А хрен их знает. На самом деле, ежели хочешь знать, настоящие святые — это никому не известные святые. Они существуют, они живут меж нами, только никто о них не знает. В этом отношении папа Геласий был прав».

«Между прочим, — заметил Бабков, глядя в оконную даль, — и мы не лыком шиты. Я, например... потомок Ивана Грозного».

«Ты-го? «.

«А чего».

«Что-то по тебе не видно. Ага! — воскликнул сказитель. — Вот и бабоньки».

18. Симпозион. Разговоры о жизни

«Прощу знакомиться: мой ученик, молодой поэт. Э, чёрт, запомнил, как тебя...»

«Бабков, Лев Казимирович. Научный сотрудник...»

«Надо бы, наверно, стол передвинуть».

«Разрешите, я помогу».

«Вот что значит настоящий мужчина».

«Только вот с посадочными местами у меня...»

«А мы пододвинем к кровати. Углом, углом заноси. А то тумбочка отвалится. Неси ещё табуретку с кухни».

Компания — два кавалера, две дамы — крест-накрест сидит вокруг селёдочки с селёдкой, дымящейся картошки, а там и сырок, там и колбаска, лещ в маринаде.

«Ну-с. Хо-хо...»

«Предлагаю за здоровье...»

«Со свиданьем».

«Дай Бог не последнюю!»

«Вот такие пироги».

«Где ж твои пироги, ха-ха».

«Вот такая, говорю, петрушка. Иду по перрону, а он меня догоняет. Пелагеюшка, ты чего не пьёшь?»

«Да ну её, шибко в голову ударяет...»

«Для здоровья полезно».

«Вы член Союза?»

«Собственно говоря, ещё нет. Собираюсь вступить».

«Давай, Лёва, я тебе рекомендацию дам».

«Что же вы пишете?»

«У меня задумана большая поэма. Эпическое полотно о нашей современной эпохе».

«Вот я его всё отговариваю. Что это за моду взял, таскаться по вагонам...»

«Я не таскаюсь. Я работаю».

«С разной швалью. С пьянью...»

«Поэт должен быть со своим народом. Поэт, ежели хочешь знать, — это голос народа. И неподкупный голос мой! Был эхо... Знаешь, кто это сказал?»

«Не знаю и знать не хочу».

«Да и жрать тоже надо; на стихах далеко не уедешь».

«А ты вот бери пример с Межирова. Он черножопых переводит».

«Ты, Лёва, действительно, того. Давай вступай. Я тебе помогу. У тебя уже что-нибудь опубликовано? Давай публикуй... А я, Лёва, новую программу задумал — совершенно новый жанр. Конечно, придётся сменить маршрут. Хочешь, будем вместе выступать. Примерно так: ты сначала входишь и объявляешь...»

«А о любви вы тоже пишете?»

«Обязательно. Любовь — главная тема поэзии. Я хочу написать большую поэму о любви, о том, как зарождается любовь, как постепенно два сердца начинают понимать, что они созданы друг для друга. Я хочу написать поэму об одной женщине, с которой я ещё совершенно не знаком. И которая даже не подозревает о том, что она зажгла огонь вдохновения в сердце поэта».

«Дама вашего сердца».

«Дама моего сердца».

«Интересно узнать: кто же она?»

«Я вам уже сказал: я ней не знаком. Почти не знаком».

«Тогда давайте выпьем за неё. За ваши успехи...»

«Нет, верно, Лёва. Давай вступай в Союз. Я тебе рекомендацию напишу».

«Ты лучше расскажи, как ты про Георгия-то сочинил. Надо же, до чего дошёл: по вагонам ходит. Ты бы лучше с Межирова пример брал».

«Пелагея, давай, что ли, с тобой. Ну их всех».

«Вы не договорили...»

«Клань, а Клань...»

«Вы сказали, что пишете поэму о любви».

«Собственно говоря, ещё не приступил. Это пока ещё только замысел».

«Кланя. Клавдия!» — рывкнул победитель дракона.

«Ну чего тебе. Да я знать тебя не хочу. Голь перекатная».

«Я не голь. Я член Союза писателей».

«Я хочу воспеть её всю с головы до ног».

«У меня книжка выходит в Совписе. У меня, если хочешь знать, три корзины. Первая: официальные стихи. Увидишь, я ещё Гертруду схвачу...»

«Какая такая Гертруда?»

«Герой социалистического труда. Вторая — выступления в поездах. На что-то жить надо или как? Представляешь — она меня материально больше не поддерживает...»

«Хватит, кормила паразита три года, хватит».

«Вот. Слыхали? А то, что ты poeta на улицу выгнала, заставила милостыню просить! Совесть не мучает? Я над этой балладой три года работал... Какой сюжет! А язык? Наш, русский, природный... Меня сам Твардовский похвалил! Ты, Лёва, от неё держись подальше. Она из тебя всё высосет, а потом бросит...»

«Ах ты, змей».

«Ты сама змея подколодная. Пелагеюшка, одна ты у меня осталась».

«Всё-таки надо признать. Надо отдать справедливость. Большой талант. Ничего не скажешь».

«Ну его. Вы лучше о себе расскажите».

«Я хочу...»

«Как это вы хотите. Сами говорите: совсем её не знаете».

«И третья корзина — настоящие стихи. О которых ещё никто не знает... Настоящие поэты — это неизвестные поэты. Они живут среди нас, но никто их не знает. Вы ещё обо мне заплачете... Мемуары будете обо мне писать...»

«Я шёл и смотрел на неё. Я ещё не видел её лица. Я шёл следом за ней».

«Как интересно. И что же дальше?»

«Она была невысокого роста. Я смотрел на её фигуру. Я видел, как она отводит в сторону руку при каждом шаге. Это была женская рука. Вы замечали, что женщины совсем иначе отводят руку, что она разгибается в локте совсем не так, как у мужчин. Разогнутая рука повторяет очерк бёдер. Я смотрел на её бёдра. Она шла, едва заметно покачивая станом. Твердо ступали её ноги, её мерцающие ноги в чулках, высоко открытые, зовущие... чтобы в последний момент сказать: нет, я не открою вам свою тайну».

«Ты меня слушай. Я её знаю. Нет, Лёва, правда. Давай подготовим совместный номер, навар пополам. Успех гарантирую».

«Нужен ему твой навар. Он научный работник».

«Чего там, работник. Он со мной за один день заработает больше, чем за месяц в своём этом, как его... запаматовал: ты где работаешь-то?»

«Нет, ты допляшешься. Когда-нибудь на милицию нарвёшься».

«Чего милиция. Чего ты меня милицией-то страшешь. Я с милицией разговаривать умею. Покажу удостоверение, и отвали, я член Союза, не хер собачий. Лев, я серьёзно говорю».

19. Дорожные встречи

Рассматривая жизнь Льва Бабкова, пытаюсь связать её в единый узел, мы встречаемся с той же проблемой, что и в попытках обнять совокупным взглядом нашу огромную хаотическую страну. Поистине существует сходство между человеком без биографии и землёй, на которой ему посчастливилось жить.

В том, что она представляет собой единое целое, характерное целое, согласно, кажется, большинство. То, что её скрепы проржавели, — не новость для многих. То, что она до сих пор не рассыпалась, — не перестаёт быть загадкой для всех. Страна, подобная роману без фабулы, без композиции, без внутреннего развития; читаешь такой роман и недоумеваешь: на чём всё это держится?

Ссылались на географию, на эту везде одинаковую, препоясанную невысокой уральской грядой равнину. Непонятно, однако, почему на такой бескрайней равнине не возникло несколько государств. Указывали на пример гигантских сухопутных империй древности; но они давно погрузились на дно времён. Ничто из того, что считалось залогом единства нашей страны: ни общий язык, ни верховная власть, ни история — их не спасло.

Наконец, существует теория общего врага, опасная, нездоровая теория, живо напоминающая рассуждения о войне — гигиене мира. Смотрите, говорили те, кто всё ещё жил воспоминаниями своей страшной юности, смотрите, какой сплочённостью, с каким сознанием общей судьбы наш народ встретил вражеское нашествие; а что теперь? Нет больше врага —

нет и народа. Без внешней угрозы, пусть даже мнимой, мы не удержимся, роман нашей истории расплзётся, ибо это роман без фабулы, без внутренней логики и композиции.

В толпе спешащих к перронам граждан наш друг задавался историко-софским вопросом, где скрыт тот стержень, который скрепляет всё это целовечество пригородных поездов. Так автор раздумывает над тем, что связывает разрозненные эпизоды его повести. Вот, думал Лев Бабков, наглядный образ народа, здесь каждый может обратиться к каждому на родном языке. Точнее, на том вокзальном жаргоне, который, собственно, и есть их родной язык. Или их держит вместе некая отрицательная сила, гравитация общего страха, общего недоверия, — скрепляет, вместо того, чтобы разъединять, то, что каждый с опаской косится на соседа, ждёт подвоха от ближнего, видит в нём вечного конкурента в борьбе за местечко на скамье в тесном вагоне, и все вместе со страхом и неприязнью смотрят на новые толпы за окнами, готовые втиснуться, едва только остановится поезд? Или просто привычка всем вместе качаться изо дня в день, чувствуя плечо соседа, и сонным взглядом взирать на пролетающие поля?

Но, как однажды, много лет назад писатель земли русской сказал, что маловероятно и не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу, так не может быть, говорил себе Лев Бабков, чтобы расплзлась, как ветхое рубище, тысячелетняя общность, чтобы в душах людей не дремало, время от времени пробуждаясь, мистическое чувство общей судьбы, без которого ничто не сумело бы удержать их вместе: ни география, ни язык, ни угроза завоевания; не может быть, чтобы сверху на нас всех не взирал некий Глаз, подобный глазам романиста над страницами несуразного произведения. Глаз, который закатывается и восходит вновь, и глядит, глядит не отрываясь, и заволакивается слезами.

Лёву занесло в зал, служивший приютом для транзитных пассажиров, многодетных матерей, цыганок, нищих, карманных воров, женщин, ожидающих покупателя, странников, заблудившихся в огромной стране, и людей, о которых невозможно сказать что-либо определённое. И ему показалось, глядя на них, что он нашёл ответ. Только этот ответ невозможно было выразить словами.

Посреди зала возвышалась стела с огромной незрячей головой вождя. У подножья на приступке сидело некое существо, старообразный подросток в зипуне и ушанке, шея обмотана платком, ноги в ватных штанах и огромных растоптанных валенках. Злой птичий взгляд.

Что-то заставило Лёву присесть рядом.

«Ты откуда?»

Он — или, пожалуй, она — не отвечала, смотрела перед собой.

«Чего молчишь-то?»

Никакого ответа; возможно, глухонемая. Наконец, она пробормотала:

«Брата жду».

Брат должен был встретить её, но не пришёл. Бабков спросил, где живёт брат.

«В Москве».

«Москва большая, — возразил он. — И давно ты ждёшь?»

Он встал, чтобы идти по своим делам, но дел, как легко догадаться, никаких не было.

«Ты когда приехала?»

«Утром».

Он поинтересовался, откуда.

«Из Киржача».

«Где это?»

Она пожала плечами. Так прошло в обоюдном выжидании ещё несколько времени.

«Вставай, — сказал Лев Бабков. — Где твой багаж?»

Нет никакого багажа.

«А паспорт у тебя есть?»

Она помотала головой.

«Значит, ты несовершеннолетняя? В детскую комнату тебя сдать, что ли? Послушай, а может, тебе лучше вернуться домой? В этот, как его».

Вышли на вокзальную площадь, отыскивали справочное бюро.

«Как зовут твоего брата?» — спросил он, занеся перо над бланком.

Хитро-испуганные, круглые, насторожённые глаза. Поколебавшись, она ответила:

«Иван».

«Отчество, фамилия? Возраст?..» Постояли на солнышке. Голос из будки ответил: «В Москве не проживает».

«Так, — сказал Бабков. — Подытожим факты. Да ты развяжи платок, совсем взопреешь... Прибыла из Киржача, а может, и не из Киржача, кто тебя знает. В гости к брату, который не то есть, не то его нет. За каким лешим припёрлась в столицу, неизвестно».

Делать было нечего, побрели на перрон и увидели электричку, где сидело на удивление мало пассажиров.

Так дремлет недвижим корабль в недвижимой влаге. Может быть, это был поезд, идущий вне расписания. Или в депо.

Но чу!

Они услышали, как поднялась и ударилась о провод дуга.

«Плывём. Куда ж нам плыть?» — глядя в никуда, изрёк Бабков. Девочка воззрилась на него, очевидно, спрашивая себя, кто он такой. Через минуту она равнодушно смотрела в окно. Поезд пошатывался, переходя с одного пути на другой. Несколько платформ проплыли одна за другой. Затем в вагоне появился некто. К ним подошёл нищий. Девочка обдала его злобно-презрительным взглядом. Нищий был маленький замызганный человек, мычал, показывая пальцем на картонку с воззванием у себя на груди. Неожиданно девочка выпалила: «Отзынь!»

«Ходют тут...» — проворчала она, устраиваясь поудобней у окошка. Нищий не понял, он был не только немой, но и глухонемой. Лев Бабков изучал картонку. Он помуслил химический карандаш и, поманив нищего, который собрался было идти дальше, исправил орфографическую ошибку.

Немой получил положенное и двинулся к выходу. Не дойдя до дверей, он обернулся и сказал:

«С-сучка! Попадёшься мне...»

«Вали, пока по шее не заработал», — отвечала девочка скороговоркой, точно читала стихи. Таковы были маленькие попутные развлечения, скрасившие дорожную скуку. Поезд остановился, и оба вышли.

20. Старинный романс

В буфете на станции Одинцово официант в белом переднике встретил гостей радостно-презрительным возгласом:

«Маманя! Кто к нам пришёл!»

Никто не отозвался.

«Мамань, да брось ты там...»

Из-за перегородки появилась маманя, грузная женщина, пропела басом: «Ба-атюшки, сколько зим, сколько лет!»

«Давненько не виделись, — говорила она, выгирая ладони о крутые бока, — дай-ка я тебя поцелую. А мы-то думаем, куда подевался наш Лев Казимирыч. В Москву, небось, переехал?»

«В этом роде, — отвечал Бабков. — Ты бы нас покормила».

«А это кто ж такой будет?» — спросил официант, оглядывая подростка в валенках.

«Это моя племянница. Издалека приехала».

«Вижу, что издалека. Племянница. Ну что ж. Пуцай будет племянница».

Буфет, как водится, был разделён на две половины, в зале для нечистых складывали заляпанные мазутом телогрейки в угол, усаживались за столы, лоснящиеся жиром после того, как по ним прогулялась тряпка уборщицы, в зале для чистых столы были покрыты грязноватыми скатертями, и к гостям подходил вихляющей походочкой официант с переброшенным через руку полотенцем.

«Пальтишко ваше попрошу на вешалку. Что пить будем?»

«Не будем, — сказал Бабков. — А ты нам лучше принеси этого, того...»

«Есть биточки со сложным гарниром».

«Тащи биточки».

Выбравшись из зипуна, предусмотрительно запихнув платок и шапку в рукав, она оказалась в помятом школьном платье. Первый голод был утолён с необычайным проворством. Выяснилось, что девчонка ничего не ела со вчерашнего дня.

Бабков сказал:

«Продолжим нашу беседу, на чём мы остановились? Сбежала из domu... Ты имей в виду, я могу проверить. Возьму и позвоню в Киржач. Алё, шеф. Ещё порцию... Значит, — спросил он, — Киржач тоже выдуман?»

Она кивнула и одновременно замотала головой.

«Не понял, — сказал Бабков. — Боишься, что родители узнают?»

«Какие родители», — сказала она презрительно.

«А может, они сами рады, что от тебя избавились, а?»

«Тебя как звать? — спросила, подходя к столу животом вперёд, маманя. — Я спрашиваю. Язык съела? Знаем мы таких племянниц. Много их тут таскается. Добавки хочешь? Серёжа!» — крикнула маманя.

«Она уже две порции съела», — сказал Лев Бабков.

«Сергей. Этому народу сто раз надо напоминать».

«Ты давай вот что, — сказал Бабков. — Давай договоримся: говорить правду».

Официант принёс десерт.

«Хочешь ты домой возвращаться или не хочешь?»

Она озирается, поджав губы.

«Ну что ж; поели, посидели. Скажем спасибо этому дому». Лев Бабков лезет в задний карман брюк, обхлопывает себя.

«Чуть не забыла, — сказала маманя, — дело есть к тебе... Да ладно... в другой раз заплатишь. В кои веки увиделись... Приедешь и заплатишь... Она пока тут пуцай посидит... А ты, — она погрозила девочке пальцем, — смотри у меня!»

В комнатке за перегородкой маманя втиснулась между столом и стулом, грузно опустилась. Он присел напротив.

«Спешишь, али как. Куда ты её тащишь?»

Лев Бабков пожал плечами.

«Как живёшь-то?»

«Живу».

Далее было задано ещё несколько вопросов, на которые Лев Бабков отвечал неопределёнными междометиями; впрочем, другого ответа от него и не ждали.

«Совсем», — сказала маманя.

«Что совсем?»

«Совсем, говорю, забыл меня».

Она разбирала бумажки на столе, накальывала на спицу квитанции и разнарядки.

«У тебя что, — спросила она, — кошелёк спёрли? А был ли он, кошелёк-то?.. Лёва. Чего молчишь. Ведь тебе же хорошо со мной жилось, а? Ведь хорошо жилось, признайся».

«Хорошо».

«Ну так чего? Пропал и глаз не кажешь. Хоть бы позвонил когда».

«Дела, Степанида Власьевна».

«Эва, я уж теперь Степанида; а ведь когда-то меня Стёшей звал».

«Да, Стёша», — сказал Бабков.

«Я вот смотрю на тебя...» — сказала она и остановилась.

Бабков ждал.

«Я вот что думаю, — она вздохнула. — Только ты молчи, не перебивай... Ты тут посидишь, я пойду распоряджусь. Девчонку твою мы посадим, пуцай назад к себе едет, откуда она там... Ты где её подцепил-то?»

«Нигде я её не подцепил, на вокзале сидела. Говорит, из Киржача».

«Ну вот: купим ей билет до Киржача. Я ей денег дам на дорогу... Ты пока тут сиди. А потом ко мне. У меня жильцов никого нет, цельный дом пустой. У меня вообще никого нет. Один ты у меня и остался... И заживем с тобой, как бывало. Возьму отпуск за свой счёт, а то вовсе уволюсь...»

«Стёша...»

«Что Стёша? Стёша была, Стёша и будет. Разве нам было плохо вместе? А то хочешь, поедem куда-нибудь. В Крым поедem.»

Она что-то переставляла и перекладывала на столе, достала платок и гулко высморкалась. «Ты сиди, сиди...» — пробормотала она, поднимаясь. Когда Лев Бабков вышел следом за ней в зал, девочки не оказалось. На её месте сидел некто. Мамазя колыхалась между столами.

«Ты чего тут расселся?» — сказала она сурово.

«А чего. Я ничего», — пролепетал человек.

«Ничего, так и ступай. С утра нализался. Сергей! — крикнула мамазя. — Ну-ка проводи.»

«Куда, куда?» — бормотал человек, с трудом переставляя ноги.

«А вот туда», — отвечал официант.

21. Приключение

«Это уже что-то такое, — сказал Лев Бабков, — прямо из букваря. Луша мыла раму. Мама мыла Лушу».

Луша сидела на платформе.

«Между прочим, это имя... ведь это то же самое, что Гликерия».

Она не отвечала.

«А если бы я не пришёл?» — спросил Бабков. Он рылся в карманах.

Девочка криво усмехнулась и протянула ему кошелёк. Он хотел взять кошелёк, она отдёрнула руку; эта игра повторилась несколько раз.

«Слушай-ка, мне эти фокусы надоели. Катись куда хочешь. Можешь взять себе кошелёк на память».

«А немой-то, — сказала девочка. — Видал?»

«Разве это он?»

«А кто же. Он ко мне ещё в Москве приставал. Я его ка-ак двину!»

«Н-да. Ну, ну».

«О чём это вы там говорили?»

«Я остаюсь здесь».

«А я?»

«Лапонька моя, — сказал Бабков. — Поезжай, откуда приехала».

«Она старая и толстая. Таких е...ть одно мучение!» — изрекла Луша.

«Ого — а ты, собственно, откуда знаешь?»

Он сунул кошелёк в карман. «Иди купи билеты, живо», — сказал он, протягивая ей бумажку.

«Куда?»

«До Москвы, куда же».

«А мне не нужен билет». Рельсы уже слегка подрагивали, задрожали провода, и вдалеке из-за поворота вспыхнуло на солнце лобовое стекло идущего поезда.

Соблюдая молчание, оба, мужчина и девочка, отец и дочь, подросток, похожий на взъерошенную птицу с подрезанными крыльями, и тот, кому скорее подходит сравнение с обитателем мутных вод, следили из окошка за несущимися навстречу перелесками, дачными посёлками, пролетающими со стуком железнодорожными переездами.

«Ты ворожить умеешь? У тебя дурной глаз?»

«Хочешь, поезд остановлю? — сказала она вдруг. — Хочешь?» Она прищурилась, втянула голову и как будто вся ушла в себя. Раздался слабый визг колёс. Электричка вдруг стала, как будто нагнулась на что-то. Пассажиры тянули головы из оконных фрамуг. Кто-то спросил, в чём дело, и другой голос ответил: человек попал под поезд. Быстро прошёл проводник. «Хвалю», — сказал Лев Бабков. Поезд двинулся. Поезд снова нёсся вперёд, минуя полустанки.

«Тётка решила, что ты её сглазила, и прогнала тебя из дому. Верно?»

«Не её, а его, поправила девочка.»

«Кого прогнала, твоего дядю?»

«Какой он мне дядя».

«Её муж. Но ведь это значит — твой дядя».

«Какой муж».

«Ну кто он там. Я что-то не могу понять. Кого выгнали: его или тебя?».

«Она с ним живёт, — сказала девочка. — А он со мной хочет. Она думает, что я его сглазила».

«Я же говорю, вот видишь». Он спросил: кто такая её тётка?

В бакалее торгует, был ответ.

«А он?»

Луша пожала плечами. «Так, — сказал Бабков. — Значит, ты его сглазила, он плюнул на тетку и начал клеиться к тебе, правильно?»

«Никого я не сглазила. Он у нас в школе не знаю кто. То завхозом был, а теперь военрук».

«Прости, я всё позабыл: это кто ж такой будет? Это раньше было в школе военное дело, а сейчас-то зачем?»

«А если враги нападут!»

«Угу; н-да. Ну, если уж нападут». Он спросил, что же было дальше.

«Ничего. Шла по коридору. Коридор такой в школе бывает, знаешь?»

«Конечно».

«Мне сойти надо», — сказала она.

«Сойти, зачем?»

«Мне посрать надо, не могу больше терпеть».

«Чего же ты молчала?» Она вышла в тамбур и переминалась там с ноги на ногу. «Далеко ещё?» Поезд нёсся вперёд. «Далеко?» — простонала она. «Я думаю, минут десять; дотерпишь? Ладно, — пробормотал он, оглядываясь, — стань в угол, только быстро, я не смотрю. А может, ты снова остановишь поезд?..» Но тут на счастье электричка замедлила ход, это был

лесной безлюдный полустанок. Девочка побежала к концу платформы и прыгнула. Лев Бабков солидно прогуливался взад и вперёд. Двери вагонов закрылись, поезд тронулся.

Погас зелёный огонь светофора, вспыхнул оскаленный красный глаз. С удивлением заметил Бабков, что не только остановка не была предусмотрена расписанием, но, по всему судя, они свернули на другую ветку. Несколько времени спустя вновь мигнуло и передвинулось око светофора. Затрепетали провода. Дальний гром прокатился по рельсам, и медленно, пыхтя, стуча, надвинулся тепловоз, потащились цистерны, платформы, погромыхивали на стыках товарные вагоны с чёрными буквами, с надписями мелом. Девочка стояла поодаль и пальцем считала вагоны. Потом сидели в пустом зале ожидания. Лев Бабков чертил прутиком по каменному полу, Луша болтала валенками. До следующего поезда было добрых полтора часа. Она даже как-то повеселела. Это был день прививок, уроки были отменены.

«Зачем же ты осталась в школе?»

Она передёрнула плечами: осталась, и всё. Хотела тётку подразнить. Прошла мимо его кабинета, прошла второй раз, он выходит.

«Кто — он?»

«Ну он, ейный. Я иду, а он говорит... Может, походим?»

«Это он так сказал?»

«Да нет же. Может, погуляем, чего сидеть-то».

«У тебя валенки прохудились, куда ты пойдёшь».

«Я говорю, здарсьте, Игорь Степаныч. Зайди, говорит, ко мне, Луша...»

Они шагали вдоль железнодорожного полотна, по другую сторону находился посёлок, поддожины домишек, переезд, трансформаторная будка. Тропинка свернула в рощицу.

«Что он от тебя хотел?»

«Известно что. Чего мужики хотят? Можно, говорит, я дверь запру, а то ещё кто войдёт. Ну и вот».

«Что — вот?»

«Запер дверь, вот и всё».

«Зачем же ты согласилась?»

«Ничего я не согласилась».

«Я говорю — зачем ты вошла в кабинет?»

«Зачем, зачем. Вошла, и всё».

Роща превратилась в лес. Куда же мы идём, думал Бабков.

«Я говорю, только попробуйте».

«А он?»

«Левольвер вытащил. Я говорю: сейчас закричу. Кричи, говорит, сколько хочешь, в школе никого нет. Зачем кричать, мы по-хорошему. Я говорю: а тётя Валя? А мне насрать на тётю Валью, я, говорит, тебя люблю».

«До этого он ничего не говорил?»

«Так, шутил иногда. То ущипнёт, то... Я говорю: левольвер-то, говорю, учебный. Всё равно, говорит, стрелять можно. Не бойся, это я пошутил. Я, говорит, тебя пальцем не трону. Ты раздёнся, я хочу посмотреть, какая ты».

«Луша, — сказал Бабков, — почему же ты не воспользовалась своими способностями? Вот как ты поезд остановила».

«Поезд — это другое дело. Да я тогда, может, ещё не умела».

«Значит, он тебя изнасиловал?»

«Ну да».

«Заставил раздеться?»

«Ну да; я же говорю».

«Раздеться, и больше ничего».

«А что, — сказала она, — мало, что ли?»

Он выбирал место, куда шагнуть на топкой дороге. Девочка шлёпала следом за ним. Пора бы уже возвращаться, думал Лев Бабков, куда же это нас занесло? Власть подробностей. Любая история становится правдоподобной, если её обставить бытовыми деталями, он знал это из собственной практики. Сюжет можно выдумать. Но обстановка, детали — всё должно быть подлинным.

Как-то раз тётя завела с ней разговор.

«Я, говорит, всё знаю. Он честный человек, он сам мне признался. Это ты его завлекла. Ты развратная — и разными другими словами, я тебя в колонию отправлю! А я говорю, попробуйте только, за растление малолетних знает что бывает? Ну, она и заткнулась. Я, говорю, могу и похуже сделать. — Ты уже сделала, ты нашу жизнь разбила. — Я говорю: могу сделать так, что он вовсе неспособный будет».

«Навести порчу? — спросил Бабков. — Или как это там называется. Что значит неспособный?»

«Да ты что, меня за дуручку считаешь?»

«И ты так и сделала?»

«Нет, — сказала девочка. — Не сделала».

Почему, спросил он.

«Почему, почему... Потому что я его возненавидела!»

«Ты хочешь сказать, ты его полюбила?»

«Я вас всех ненавижу», — сказала она, глядя сбоку на Лёву злым птичьим глазом.

22. Дом (1)

Довести опыт до критической точки и в последний момент остановиться. Устоять, удержаться на цыпочках. Испытать силу воли — так, кажется, это называется. Во всём этом есть огромное искушение, соблазн, похожий на соблазн подойти к краю крыши и заглянуть вниз. И представить себе, что летишь вниз, — и отшатнуться. Она забыла сказать, думал Лев Бабков — или нарочно утаила, — что преподаватель военного дела сам подал пример: хочешь, сказал он, я тоже разденусь. Потому что и он поставил перед собой эту задачу (не очень-то сознавая её): успеть остановиться в последний момент. В удобнейший момент, когда все препоны отпали, кроме одной — запрета овладеть девчонкой. Но в том-то и дело, что

это пари, заключаемое с самим собой, точнее, с вожделением, было двойным предательством. И по отношению к вожделению, и по отношению к девочке.

И сама она, за минуту до этого взрывавшая на «дядю» со страхом и отвращением, почувствовала себя преданной. Само собой, никакого чувственного позыва она не ощущала. Но страх, любопытство, соблазн приблизиться к границе сходны с желанием: как и оно, они стремятся к завершению. Если бы военрук приступил к делу, она стала бы биться, царапаться, заорала благим матом. Но когда он сказал ей: одевайся, и можешь идти, — она рассвирепела. Она была разочарована больше, чем могла об этом сказать; вместо того, чтобы вкусить радость освобождения, она чувствовала себя униженной. Тогда-то она и сказала себе, что может сделать дядю «неспособным», — только такое объяснение случившемуся могло ей прийти в голову.

Что-то забрезжило невдалеке, завиднелось между деревьями, и лес расступился. Это был старый дом или, вернее, дача. Они обошли её кругом. Гнилые ступеньки вели на террасу, стёкла были кое-где выбиты, заменены фанерой, ключьями свисал разбухший картон. Дверь на террасу заперта. За домом находились хибарка сторожа и хозяйственная площадка, дощатый стол, печка с плитой для стряпанья, труба водопровода с краном, всё старое, ржавое. Девочка дёрнула дверь заднего хода, пока не оторвала ручку. Лев Бабков покачивался на перекладине качелей. Вдруг затрещала рама, отскочила доска, приколоченная косо к наличнику. Луша высунулась из окна. Как она забралась в дом?

Внутри был полный разор; видимо, дачу основательно почистили. Унесено всё, что можно было унести. Лев Бабков уселся перед разбитым пианино. Луша сидела на железной кровати и стаскивала разбухшие валенки, под ними оказались мокрые чулки. Платок, зипун, ватные штаны валялись на полу возле кровати. Она стянула с себя чулки и, голоногая, в школьном платье, прошла по полу. Бабков что-то подбирал одним пальцем.

Медленно поводя плечами, виляя худыми бёдрами, она прогулялась по половине. Она шла с закрытыми глазами, высоко поднимая колени, вытянув руки перед собой. Наткнулась на что-то, повернула назад, шла, покачиваясь, мотая головой. Человек, сидящий за пианино, услышал её мурлыканье. Она пела что-то сквозь зубы. Пение сменилось бормотаньем, время от времени заклинания, вздохи и всхлипы вырывались из её уст. Девочка открыла глаза. Теперь она изображала балерину, взмахнув тонкими руками, взлетела, неловко упала на носок, с трудом удержалась, снова взлетела. Лев Бабков играл на разбитом инструменте танец Маленьких лебедей. Плясунья вся тряслась, махала кистями рук. Закружилась, упала на пол, мотала в воздухе узенькими, чёрными от грязи ступнями голых ног, показывая серые трусики. Гордо вышагивала вокруг под дребезжащие звуки марша и под конец, шатаясь от изнеможения, низко и церемонно раскланялась перед пятном, оставшимся от портрета на рваных засаленных обоях.

23. Что есть истина?

Лев Бабков взошёл по ступенькам двухэтажного, снизу каменного, наверху деревянного дома, каких немало ещё осталось в переулках и вдоль набережных старого Замоскворечья. Хотел позвонить, но вспомнил, что в таких случаях входят, не оповещая о себе. Лев Бабков был одет как положено: чёрный костюм, тёмный галстук. Подобающая мина. Он вступил в коридор: тишина. Громко скрипнула дверь. В комнате всё место занимал раздвинутый и накрытый стол. Люда-секретарша подняла на гостя траурный взор. Молча, кивками налево и направо он приветствовал компанию, кто-то протянул ему крепкую ладонь, большинство взглянуло на него с любопытством, не зная, к какому рангу присутствующих принадлежит гость, вошедший последним. Народ потеснился. Лев Бабков оказался рядом с Людой, которая молча, с обиженно-скорбным выражением смотрела перед собой. Наступила пауза, напоминающая тот миг напряжённой тишины, когда танцевальный ансамбль, взявшись за руки, в застывших позах, ждёт, когда грянет музыка, чтобы вылететь из-за кулис. Миг ритуального ожидания перед накрытым столом, когда положено фотографироваться. И кто-то уже воздвигся в углу с аппаратом, примеряясь так и сяк.

Гость скосил глаза на Люду, её лицо было густо напудрено, на ресницах висели крошки чёрной краски, она была в чёрном полупрозрачном шелковом платье, под которым на чёрных бретельках лифчика покоилась и дышала, как в глубоком сне, её грудь. Заметив нацеленный на неё объектив, Людочка инстинктивно выпрямилась. Дремлющие соски услышали позывные соседа. Мы находимся в силовом поле, мы сами генераторы этого поля, которое шелестит и струится вокруг нас, и его законы можно было бы описать при помощи уравнений, сходных с уравнениями Максвелла. Некогда Лев Бабков проучился два года в техническом училище, но философское образование дала ему жизнь.

Глядя в тарелку, он погрузился в размышления об этой груди, которая заметно выиграла от чёрного одеяния, подчеркнувшего природную Людочкину худобу. Поистине многое меняется от того, скажем ли мы «молочные железы», «груды» или просто грудь: от чисто функционального, служебного обозначения мы переходим к представлению о самодостаточности и тайне этих дразнящих воображение возвышений. Груды Людочки, неслиянные и нераздельные, жили независимо от той, кому они принадлежали, вернее, та, кому они принадлежали, была всего лишь их обладательницей, — по крайней мере в эту минуту, когда они дышали в нескольких верхках от его плеча. Всё, чем была Людочка, определялось тем, что у неё такая грудь.

В этих отнюдь не оригинальных мыслях Льва Бабкова проявилась присущая людям такого сорта диалектика двусмысленности. Как бы это поточнее выразиться? В них присутствовал эротический гамлетизм, который побуждает думать о женщине, по возможности держась от неё на некотором расстоянии. Нельзя постигнуть истину, приблизившись к ней вплотную. Лёва предпочёл бы сидеть напротив.

Женщина, размышлял он, это открытая закрытость: в своём платье она как бы без платья. То, что она скрывает, очевидно лишь до тех пор, пока остаётся сокрытым. Мужчине нечего скрывать, ибо всё известно заранее; о том, что «имеется» у женщины, ничего не известно, хотя бы вы тысячу раз видели всё это у других. Женщина оттого всякий раз другая, что она всегда одна и та же. Всякий раз все другие не в счёт — но до тех пор, пока занавес не поднялся. Если бы удалось раздеть её донага, вас постигло бы разочарование. Оказалось бы, что там нет ничего особенного! Оказалось бы, что там есть только то, что есть, и ничего более; оказалось бы, что разоблачённая истина уже не истина, и вы стали жертвой обмана. Потому что вам было обещано нечто иное, — что же именно? Очевидно, что его можно узреть только внутренним, но не внешним оком, и достаточно отвернуться, чтобы тайна вновь засияла в своей непостижимой очевидности. Лживое откровение, думал он. Её неправда и есть её истинная правда. Её неуловимость есть не что иное, как её истина.

Вспыхнула молния, и на плёнке отпечатались испуганные, как лица заговорщиков, лица участников тризны. Гости переговаривались вполголоса, ансамбль всё ещё изнывал за кулисами, пиршественный корабль медлил сняться с якоря, никто не смел взять на себя инициативу. В русском застолье лиха беда начало. То было не столько уважение к памяти покойника, сколько благоговение перед столом. Запахи блюд поднимались к потолку, как курения над алтарём. В графинчиках мерцала жидким янтарём, алела и розовела водка, настоящая на лимонных корочках, на рябине, на тёмном, как кровь, перечном стручке. Мать Люды, рыхлая женщина в тёплом белом платке на плечах, с брошью в кольце мелких дешёвых брильянтов в вырезе тёмного шерстяного платья, подняла заплаканные глаза на нового гостя. Всякое пиршество создаёт иерархию, пир, собственно, и есть иерархия; сам того не желая, Лев Бабков вступил в неё. Что бы ни думали о нём присутствующие, своему рангу он был обязан тем, что занял место возле дочери усопшего. Стало быть, думали гости, начальник или жених. Центром стола и верховной инстанцией оставалась вдова, но это была инстанция, потерявшая реальное значение. Быть может, многие видели её впервые. Вообще на поминках чаще всего собираются незнакомые люди. Это облегчило Лёве победу, к которой он вовсе не стремился.

Истинным средоточием траурного пиршества была, разумеется, Людочка, вернее, Людочкина неожиданно возмужавшая, одетая в чёрный шёлк, загадочно-скромная грудь — словно распутившийся на могиле цветок. Мужчины косились в её сторону, женщины испытывали лёгкое возбуждение. Но о ней сказано уже достаточно. Все смотрели на Льва Бабкова, молча стоявшего с бокалом в руке. Положение обязывает. Академический значок ярко выделялся на лацкане его пиджака. Значок стеснял гостей, в то же время им было лестно, что среди них находится человек из другого и, очевидно, высшего мира. Кое-кто, замешкавшись, продолжал накладывать на тарелку себе и соседке, руки робко тянулись к винегрету, к грибочкам, вдова вполголоса кисло потчевала гостей, затем всё смолкло. Все схватились

за свои рюмки. Лев Бабков обвёл глазами присутствующих, повернув голову, устремил взгляд на вдову, скорбно кивнул. В глубоком молчании был выпит первый бокал.

И тотчас наступило общее облегчение, словно груз свалился с плеч, загремели вилки, раздались голоса, на другом конце стола громко хвалили умершего. Мать Люды не принимала участия в общем разговоре, ничего не ела, ничего не пила. Она сидела подле дочери, напротив них помещался кто-то, должно быть, тоже из Института усовершенствования истории, из того же высшего мира, о котором мать имела очень смутное представление, — выпивал, говорил и опять наливал, но она его уже не видела, напротив неё, за внезапной густой пеленой слез, сидел её муж, как живой, как он всегда сидел, не обращая внимания на неё. И она чуть было не засмеялась от счастья и боли. Открыв рот, с остановившимся взглядом, она прижимала к груди свою брошку, Бог знает сколько лет пролежавшую без употребления. В том-то и был весь ужас и весь восторг, что она доподлинно знала, что его нет больше, нет нигде, а есть только страшная урна из фаянса с горстью тёмно-коричневого, как кофе, порошка, — и доподлинно знала, что он здесь, точно такой, как всегда, разве что приодетый по случаю праздника («как бы не перепил», мелькнуло в голове), усмехался, подливал себе и ни на кого не обращал внимания. В это время кто-то там возгласил в который раз: «Что ж... помянуть так помянуть!», и траурный пир, словно поезд, надал, застучали колёса, покатались платформы, вагоны.

Вокруг порхал разноголосый говор, скромно хихикали женщины, по большей части ей незнакомые, за столом как будто начали забывать, что случилось, по какому случаю собрались, но ей было всё равно. Дочь спросила её о чём-то, она не ответила, может быть, не расслышала вопрос в общем шуме. Она смотрела на мужа. Тот повернул голову, с кривой усмешкой следил, как на другом конце стола некто уже немолодой, с постным лицом, с остатками бесцветных волос, в пиджачке и криво повязанном галстуке стоял с бокалом, дожидаясь, когда стихнет базар: это был сослуживец покойного, плановик с базы, стучал вилкой о тарелку и несколько раз принимался говорить: «Дорогие друзья...»

Чинный порядок был восстановлен — ненадолго, скорбное благообразие изобразилось на лицах, женщины ждали, поднося скомканные платочки к носу и рту. Плановик говорил свою речь так, что почти не было слышно. «А чего, — громко сказал чей-то голос, — всё бывает. Вот я скажу о себе...» Другой возразил: «Да ты молчи, лучше закусьвай...» Голос продолжал: «Все там будем». — «Сальцом, сальцом закуси». Тонкий бабий голос затынул песню.

Человек из Института, сидевший напротив вдовы, со скрежетом отодвинул стул, вышел, слегка пошатываясь, очевидно, в уборную или покурить, и почти сразу же вышел в коридор следом за ним Лев Бабков; из комнаты раздавался шумный говор. «Прикрой дверь, — сказал Бабков, — ты как сюда попал?» — «Вот так и попал», — отвечал Кораблёв. «Она что, тебя приглашала?» — «Да не то чтобы...» — пожал плечами Кораблёв. «Ясно», — сказал Бабков. «Как тебе сказать, — продолжал Кораблёв, —

приглашать не приглашала, а с другой стороны... А чего, — спросил он, — надо, чтоб приглашали?» — «Слушай, Муня... Только ты не того, ясно?» — «А чего, — сказал Муня, — я ничего». — «Слушай», — пробормотал Бабков. В голове поворачивалась какая-то неопределённая мысль, за минуту до этого он ни о чём таком не думал. Ему казалось, что его губы сами произнесли слова, не спрашивая разрешения: «Докуришь, позови её». — «Её?» — спросил Кораблёв.

Он вернулся. «Не хочет идти». — «А ты попроси. Скажи, я хочу попроситься». Кораблёв вернулся в комнату, оставив дверь открытой, и больше не выходил. Несколько минут спустя в коридор вывалилась толпа мужчин, один спросил, где тут можно отлить. Другой сказал: «Пошли, я покажу». — «Постой, — сказал первый, — я чего спросить хотел. Я смотрю, вы человек образованный. А вы кто же будете?» Бабков развёл руками. «Я-асно», — протянул человек. В эту минуту в дверях комнаты появилось чёрное платье. Бабков сказал, что хочет попроситься. «Тебя разве не интересует? — спросила Людочка. — Ты зачислен». — «Куда?» — спросил он почти с испугом. Она ответила: «Ты зачислен в штат. Эмэнэсом». Бабков извинился, сказав, что он немного подвыпил. Кем зачислен? Куда? Она смотрела на него с укоризной, и грудь её в чёрном лифчике медленно, ровно дышала под шёлковым полупрозрачным платьем. «Подвыпил... — сказала она. — Не подвыпил, а выпил. И всё забыл». — «Зато тебя не забыл», — заметил Бабков. Людочка сделала вид, что не расслышала. «Младшим научным сотрудником, — повторила она. — В отдел... в общем, пока ещё не решено, в какой отдел».

«Гм», — сказал Бабков.

«Сперва тебе надо представиться».

«Кому?»

«Кому, кому. Директору, кому же ещё. Это такой порядок. В общем, формальность: он на тебя посмотрит, и всё. А там уж решат, в какой отдел. — Она взглянула на Лёву. — Ты что, не рад, что ли? Хоть бы спасибо сказал».

«Шумно здесь, — сказала она, помолчав. — Я сейчас предупрежу мать; только недолго, а то она там совсем одна сидит...»

«Слушай, — проговорил Бабков, когда вышли на крыльцо, и снова почувствовал, что за него как будто говорит кто-то другой. — Я хотел спросить...» — сказал он и обнял женщину. На одно незаметное мгновение Людочка подалась к нему всем телом, так что он почувствовал её живот, и тотчас высвободилась. «К вашему сведению, — сказала она. — Сегодня не такой день».

«Людочка, — сказал Бабков, — поедем ко мне».

«Куда это, к тебе?» — спросила она насмешливо.

«Я живу за городом... временно. Снимаю дачу. Хозяйки всё равно нет. Поедем на дачу!»

«Куда это я поеду на ночь глядя, никуда я не поеду. Ещё чего выдумал. — Её соски стояли под платьем. — А гости, а мама? Сегодня не такой день».

Ей хочется, чтобы её уговаривали. Ей хочется, чтобы её потащили силой, подумал Лев Бабков. Вслух он сказал:

«Я всё хотел спросить: ты с ним... Ты его любовница?»

«Ты что? Ты о ком?» — спросила она удивлённо.

«Извини, я выпил».

«Ты о Директоре, что ли?.. А ты знаешь, сколько ему лет?»

«Я думаю, он сам не знает».

Людочка мельком оглядела его. «Где же твои ордена?»

«Я их вернул».

«Кому?»

«Вернул владельцу... дяде. У меня дядя коллекционер».

«Ну, я так и думала. Я сразу поняла, что ордена поддельные. Между прочим, — сказала она, — и документы поддельные».

«Как это, поддельные», — пробормотал Лёва.

«Не такие уж все кругом дураки», — сказала Людочка сентенциозно.

Она смотрела на парапет набережной, на другой берег, где зажигались огни. — «Он хочет, чтобы все так думали», — проговорила она. Лев Бабков хотел спросить, имеет ли она в виду Директора, но тут оказалось, что кто-то сзади подошёл и слушает их разговор.

«Вот, — сказал человек, — я принёс тебе шаль. У матери попросил. А то ещё простынешь. Схватишь воспаление лёгких. Как я».

«Ты бы лучше с ней посидел...» — пробормотала Людочка, кутаясь в пуховый платок.

«Успеется. Красивая у меня дочка, а?»

«Не дочка, а падчерица», — поправила Люда.

«Какая разница?» — сказал человек грустно.

«Большая, — отрезала она. — Если бы ты был отцом, а не отчимом, ты бы не посмел. Он меня... как это называется. Хотел лишиться девственности».

«Послушай. Это ты сама с собой говоришь? Или я уж совсем окосел?» — пробормотал Бабков.

«Неправда, Люда, — сказал мертвец. — Всё совсем не так, сама знаешь».

«И ты ещё будешь спорить. Мне было шестнадцать лет».

«Да, шестнадцать. А теперь — сколько тебе теперь?.. Я, Люда, тебя любил. Так любил, как никакой отец любить не сможет. Я боялся к тебе притронуться. А ты садила ко мне на колени. Что же я, по-твоему, деревянный, что мне было делать?.. Но только то, что ты говоришь, насчёт этой... девственности, это неправда, Люда. Я твою девственность чтил...»

Было уже темно, и огни другого берега отражались в реке.

«Ладно, отец, иди. Хотя в эти последние минуты не бросай маму».

«Я её не бросаю, сама видишь... А надо было бросить. И с тобой уехать... Может, я и не пил бы, и жив бы остался. А чего это он к тебе клеится. Ты кто такой будешь?»

«Я не прочь с вами поговорить», — сказал Бабков.

«О чём же это?»

«Я бы хотел поговорить с вами о брэнности. О смерти».

«А чего о ней говорить-то», — возразил отчим Люды и так же незаметно, как появился, растаял в вечерней тьме.

24. *Вместо любви*

Тот, кто спал, слышал отдалённый рокот, те, кто бодрствовал, думали, что им снится сон. Есть истина дня, и есть истина ночи, думал Лев Бабков, обе половины земного бытия лгут по-своему. Дело происходило ночью. На пустынных перекрёстках сияли зелёные огни светофоров. Город спал, лиловые тучи накрыли его, как одеяло. Может быть, это была особенно глубокая, провальная, бездыханная ночь.

Он сидел в темноте на краю постели, там пошевелились; заспанный голос спросил: «Ты чего?» — «Спи», — сказал он. «А ты? Почему не спишь». — «Посижу немного и лягу». Рокот приближался. «Тебе нехорошо?» — «Всё в порядке», — заверил её Бабков.

Она приподнялась. От неё шёл запах женщины, тепло брачной постели, она спит без рубашки.

«Я знаю, отчего ты не спишь, ты думаешь о нас с тобой».

Он пожал плечами.

«Я тебе надоела, да? Скажи прямо». Молчание. Лев Бабков подошёл к окну и увидел мёртвую рябь воды и силуэт набережной. «Иди ко мне, — сказала Люда, — я тебе что-то скажу».

Гром с окраин.

С дальних излучин реки доносится этот грозный натиск, ничто уже не мешает вторжению, город не в состоянии заслониться от рокота, он уже близок.

«Не пойму я, что ты за человек...»

«Пора бы уже понять», — вяло отозвался Лёва. Оба, замороженные, стоят у окна. Лев Бабков обнял её плечи, Людочка, дрожа от холода, босиком, прижимает к груди скомканную рубашку.

Фургоны с брезентовым верхом, с погашенными фарами друг за другом выехали на тусклую набережную, рёв моторов, усиленный близостью воды, ударил в стёкла домов. Странно, что люди не повскакали с постелей, не высыпали на улицу взглянуть, что случилось. Вероятно, думали, что это им снится. Грузовики с рядами круглых шлемов, с неподвижно-мертвенными лицами солдат протарахтели вслед за фургонами с амуницией, а там уже выворачивают из-за поворота, выстраиваются в колонну, длинной вереницей растянулись по всей набережной покрытые проволочной сеткой машины с арестантами. Поднимайтесь, смотрите на них, каждый из вас может завтра очутиться на их месте. Головы опущены, рук не видно, руки засунуты в рукава бушлатов, конвоиры, с автоматами перед грудью, покачиваются, прислоняя спинами к кабине шофёра, по двое в каждом кузове, — рискованная ситуация! Нарушение инструкции. Что если эта масса сидящих, без наручников, без ничего, в опасной близости от охраны, завладеет оружием, выпрыгнет, и поминай как звали? Ничего, не вы-

прыгнет. Сидят, опустив головы в уродливых арестантских бескозырках. Соблюдая короткую дистанцию, как требуют правила уличного движения, за грузовиками в клетке-колымаге едут смирно, в проволочных намордниках сторожевые овчарки.

О Господи, а это ещё что? Привыкнув видеть на домашнем экране ужасов всё, что только можно придумать, вы не готовы к мысли о том, что нечто подобное происходит в действительности. Но что такое действительность? Вослед живым, в грузовике с прицепом, замыкают колонну люди-скелеты. Мирно едут, кивая белыми черепами, словно партия готовых изделий с фабрики медицинских экспонатов.

«Замёрзла?» — пробормотал Бабков. Стояние у окна вновь сблизило любовников. Стыдно сказать, ночной парад разбудил желание. Невозможно объяснить, отчего созерцание ужасных картин подчас производит на женскую душу эффект, подобный действию скабрёзных фотографий.

Словно по обязанности человек без биографии двинулся следом за ней к остывшему ложу, да, приходится признать, что это был род службы. Увы, оба это сознавали, словно следуя указаниям режиссёра («вначале поцелуй, руки женщины на затылке партнёра... колени по сторонам, чёрт возьми, не так, вы же сами знаете, как это бывает»). Лев Бабков открыл глаза. Оба лежали на спине, не касаясь друг друга. Мёртвая ночь, призрачный прямоугольник окна. Заснуть, заспать? Но нет хуже разочарования, когда сцена не удалась.

«Если бы ты меня любил... — бормочет Людочка. — Если бы ты...».

Она рассчитывает на опровержение.

Им казалось, что они вновь слышат рокот. Как это всё заучено, думал он, сейчас она скажет, что у меня есть другая. Иное объяснение ей не могло придти в голову, если не получается, значит, вклинилась другая женщина.

Рокот приближался.

«Кто она такая?» — спросила Люда.

Ей хотелось встать и сказать: посмотри на меня. Разве я так уж плоха?

«Челуха, — сказал он вяло. — Нет у меня никого, что ты привязалась...»

«Ты думаешь, я на тебя обижена из-за того, что иногда...».

«Иногда».

«Ты думаешь, я из-за этого».

«Кто тебя знает, — сказал Лёва. — А как насчёт старичка?»

«Дурак. Ты что, действительно поверил, что у меня с ним... — Ей стало легче, всё-таки это было какое-то подобие ревности. — По крайней мере, — проговорила она, невольно прислушиваясь к тому, что, по-видимому, приближалось на самом деле, — он уважает во мне женщину. Никогда не позволяет себе грубостей. А ты...»

Она добавила:

«Думаешь, это для меня главное?»

«Что же для тебя главное?» — спросил Бабков, которому было скучно.

«Для меня... — сказала Люда, надевая через голову рубашку, занавесив лицо и запутавшись в рубашке, и думая о том, что он видит её, но как бы без

её ведома, — для меня главное... — она просунула, наконец, голову в вырез, тряхнула волной волос и опустила рубашку на живот и бёдра, — чтобы это было не просто так, сделал, что положено, и прочь».

Вечно одно и то же, думал он.

«Конечно, когда бывает вместе, это большое счастье».

«Помолчи».

«Но ты меня никогда не хочешь выслушать...»

Другими словами, не желаешь взглянуть. Если бы он хоть раз как следует меня разглядел, думала Люда. Он смотрел в окно.

«Снова едут», — сказал Бабков, прислушиваясь к медленно нарастающему дрожанию стёкол. «Кто, кто едет?» — спросила она. Её охватило негодование. Какое значение имело всё это по сравнению с тем, что происходит здесь, в её комнате!

На что она жаловалась? Скоро, очень скоро, может быть, уже в следующем году ей должно было исполниться тридцать. Ей можно было дать двадцать. Формально её опыт общения с мужчинами насчитывал полтора десятка лет или даже чуть больше. Правда, следует уточнить, что в данном случае подразумевалось под опытом. В тринадцать лет она постигла отраву и сладость первого поцелуя. Возможно, это событие было самым важным в её жизни, она помнила его до малейших подробностей. Повторение уже не было таким упоительным. Может показаться странным, что попытка дальнейшего сближения, вероятно, уже с другим мальчиком, неизвестно откуда взявшимся, где-то во дворе, точнее, на грязных задворках, вовсе не была событием. Она даже не помнила, как его звали. Помнила только, что это была какая-то бесплодная возня; любопытство, которое неодолимо влекло её, парализовало её волю, сделало её зрительницей своего падения, отчего и падения никакого не произошло; любопытство так и не было удовлетворено, и позже, когда она догадалась о чувствах отчима, она была скорее разочарована его нерешительностью, не подозревая о том, что слишком преданная любовь может оказаться преградой для чувственности.

Такие истории могут привести к неблагоприятным последствиям. То, что выше было названо «опытом», лучше было бы назвать хронической неопытностью. Давно уже было забыто приключение с отчимом, но его тень стояла между ней и другими мужчинами. В двадцать с чем-то лет Люда твердо знала, как знают о том, что вслед за днём наступает ночь, что в жизни нет ничего важнее любви, но чувствовала, что в ней самой есть что-то торозящее предпримчивость кавалера. Не то чтобы ей не хватало привлекательности, да ведь и всё, что здесь рассказано, свидетельствует о противоположном. Но в нужный момент она как будто не догадывалась, что должна сделать встречный шаг, пусть ничтожный; эта неумелость, обворожительная у юной девушки, смущает и расхолаживает, когда вы имеете дело со взрослой. Мы сказали: застарелая неопытность. Это не означает, что Люда вела вполне добродетельную жизнь. Чтобы стать подлинным оружием женщины, неопытность сама по себе нуждается в опыте. Неопытность,

если можно так выразиться, есть часть женского опыта. Вот этого как раз и не произошло. Утратив анатомическую невинность, Людочка всё ещё в каком-то смысле оставалась подростком.

На что же она сетовала? На то, что Лёва не мог убогатворить её наконец-то проснувшуюся чувственность? Или на то, что он, по-видимому, не придавал этому большого значения? Неумение «удовлетворить» было для Люды знаком того, что её не любят. Порой она корила сама себя, чувствовала, что она слишком пассивна, мифологически пассивна, как поле, которое пашут в поте лица, наталкиваясь на камни. Мы видели, что, пытаясь реанимировать чувственность любовника, Люда отчасти противоречила себе: ведь главное, по её словам, заключалось не «в этом».

Не думая ни о чём, кроме собственной участи, не интересуясь ни историей, ни психологией, Люда выразила настроение эпохи, уловила эту особую близость времени, которую следует назвать истощением жилы, веками питавшей жизнь и литературу: исчезновением страсти. Девушка, вооружённая чувством, как рыцарь копьём и щитом, в блеске и великолепии своей женственности, бессильна против пошлости и пустоты жизни, как всадник в доспехах бессилён против огнестрельного оружия рядовых неволи, воюющих неизвестно за что: в этой жизни чувству нечего делать. Девушка, которой открылось, что в мире иссякла любовь, что вся долгая история страсти, упоительный сценарий встреч, сомнений, свиданий, разлук и сближений обесценился, что без всего этого можно прекрасно обойтись, — оказывается в таком же положении, как и мужчина, осознавший, что ему нечего делать в мире, лишённом смысла и ценностей; оба становятся людьми без биографии. Но жить-то надо! И они уподобляются игроку, который продолжает делать ходы, не заметив, что у него слопали короля. Люда встала с постели. Босиком, обняв нашего героя, она стоит у окна, мучительно вслушиваясь во что-то, что постепенно умирает в ушах. Блестят мостовые, мертвоно поблескивает река. Светлеет оловянное небо. Она прижимается к Лёве всём телом.

Вот она, истина, все её переливы, изгибы и возвышения, тепло рук, прохлады бёдер. Рубашка лежит на полу.

25. Каникулы

Лето в разгаре. Куда пропал Лев Бабков? Можно ли вообще пропасть в стране, где каждый гражданин на учёте, каждый числится в списках и картотеках, зарегистрирован по месту жительства, по месту работы, по месту временной прописки, в паспортном столе, в военкомате, в книге записи актов гражданского состояния, наконец, в Книге человеческих судеб, куда глазам смертного не дано заглянуть, как, впрочем, не дано ему знать, что записано в его личном деле. И всё же: куда он делся? Не умер — хотя бы потому, что лучший способ быть обнаруженным — умереть.

Представим себе некое учреждение, новейшее справочное бюро или что-нибудь такое: барышня набирает на пульте шесть букв, и перед ней

скользит на экране список однофамильцев нашего друга. Аппарат находит имя, отсекает тёзок, загорается лампочка, зелёный глазок, что-нибудь такое, по огромной карте бежит сигнал, словно огонёк по бикфордову шнуру: Москва, знакомый вокзал, и старейшая русская железная дорога, соединившая обе столицы, и то место, где карандаш императора, скользя по линейке, споткнулся на выбоинке, отчего будущая, прямая, как стрела, дорога как бы слегка надломилась. Но тут как раз на месте выбоинки бегучий огонёк покидает железнодорожную линию, уходит вбок, в просторы северных губерний — Лев Бабков едет в грузовике по просёлочной дороге. Солнце пылает в небе, и пыль клубится на полкилометра.

Где начало, где конец похождениям Лёвы, личности, пожалуй, даже симпатичной, не лишённой — с этим нельзя не согласиться — известного шарма, и всё же слишком неуправляемой, чтобы стать героем связного повествования? Ибо вымышленные истории, для того чтобы их приняли за подлинные, должны следовать определённой сюжету. Всякая повесть, это знали рассказчики всех времён, с чего-то начинается и чем-то кончается. Между тем как прозу жизни не втиснешь ни в какой литературный сюжет.

Скорее летопись жизни Льва Бабкова может напомнить — со всеми необходимыми оговорками — Большую Историю, ту Историю, над которой, как герб, красуется мраморный нос Клеопатры. Будь этот нос, сказал один мудрец, на вершок короче, история пошла бы иначе. Что такое хроника жизни Бабкова, как не та же история равно возможных возможностей, из которых каждая могла бы осуществиться с такой же вероятностью, как и другая, — другими словами, история торжествующей случайности? Вот она, разница между подлинной историей и романным сюжетом. В романе нет места произволу случая; то, что там совершается, могло совершиться только так и никак иначе. Словно Провидение, роман непрерываема.

Лев Бабков трясётся в грузовике; рядом друг и соратник Кораблёв, издалека видно, как вспыхивают огнём стёкла кабины, приходится держать кабину закрытой из-за густой жёлтой пыли. Машина подпрыгивает в окаменевших колеях, трясутся фанерные транспаранты в кузове. Деревня как будто вымерла. Разумеется, их никто не ждал. Сигизмунд стоит перед высокой завалинкой, три тёмных окошка, ветхие ставни висят на расхлябанных щеколдах, за стёклами паучьи цветы. «Мамаша! Жива?..» Он стучится в окно.

Показывается сморщенное личико с кулачок. «Батюшки, да неужли ты». Мамаша не мамаша, а что-нибудь вроде двоюродной седьмой воды на киселе. Взошли на крылечко, из тёмных сеней, наклонив головы, чтоб не разбить лоб, шагнули в избу.

«А это вот мой лучший друг Лев Казимирович, научный сотрудник...»

«Батюшки, да как же это, да неужли».

«Прошу любить и жаловать. Мы ненадолго».

«Чего ж. Живите...»

«Мы, мамаша, по делу приехали».

«Каки-таки дела. Да что ж я, дура, сажу».

«Ты только, мамаша, не волнуйся».

«В сельпо бы сбежать. Водочки выпьете, аль как?»

«Не помешает. Мы с собой привезли. Главное, не беспокойся».

«А чего мне беспокоиться. Меня, чай, все знают».

«Вот и хорошо. Хорошо, что все знают. А ежели кто спросит, мол, кто такие, то ты будь спокойна. У нас всё чин-чинарём».

«Это как же понять?»

«А очень просто. У нас патент».

«Это, значит, ты теперь по новой специальности будешь, аль как?»

«По новой, мамаша. Мастер фоторабот. Лев Казимирыч мне помогает».

«Эва. Это что ж такое?»

«Снимаем. По деревням ездим и снимаем. Хочешь, тебя тоже снимем».

«И как же... так всё лето и мотаешься?»

«Волка ноги кормят, мамаша. Ты-то как?»

«Да как; никак. Так вот и живу. День да ночь — сутки прочь».

«Молодцом, мамаша, так держать».

«Чего?»

«Так держать, говорю! Ладно, будем здоровы», — сказал Муња Кораблёв и вознёс гранёный стакан.

«Мы, мамаша, — продолжал он, жуя, — не просто так деньги собираем. Мы большую работу делаем, людям пользу-радость приносим. Чего не пьёшь-то?»

«О-ох, гадость какая; и чегой-то в ней находят. А это чего?»

«Рыба такая. Да, так вот, я говорю... Может, лучше пусть Казимирыч объяснит. Ты, Лёва, подходчивей».

Лев Бабков сказал:

«Культурный уровень нашего народа заметно вырос. Наши люди уже не довольствуются обыкновенной фотографией».

«Может, лучше, — прервал Кораблёв, обозревая скудный стол, — мы тебе завтра всё объясним. Это дело такое... сложное дело. У тебя чего там в сарае?»

«Да чего. Ничего. Пашка Рыжий ночует».

«Угу. А нельзя ли так сделать, чтоб он на время освободил помещение? Что это за Пашка такой?»

«Бог его знает. Говорит, погорелец; а может, жена выгнала. Прибился к нам».

«Что ж, он тебе платит, что ли?»

«Да какое там; у него и денег нет».

«На что ж он живёт? Работает?»

«Какая работа. Бабы кормят».

«Тэк-с. Ясненько. Сарай нам подходит, а Пашку этого мы, того, попросим. Временно. Ты не волнуйся. Мы всё мирно. Мы вот что. Мы тут поживём недельки три-четыре, ежели не возражаешь, смотря как дело пойдёт».

«А куды ж его?»

«Кого, Пашку? Ну, у кого-нибудь пока поживёт, — может, у тебя? Изба у тебя просторная, а если погода продержится, так и в сених можно спать. Ты не беспокойся, мы тебе заплатим».

«Эх... ох».

«Да в чём дело-то? Чего заохала? Есть возражения?»

«Да я-то что. Бабы не захотят».

«Ага, — промолвил Муня Кораблёв, — ну пошли, поглядим на твоего Пашку».

26. Специалист по известному делу

«Паш, а Паш... Отдыхает, должно».

«Может, его там нет?»

«Куды он денется. Паша! Вот тут гости у меня. Из Москвы; тебя спрашивают».

Из сарая послышался неопределённый звук, похожий на тот, что раздавался из пещеры дракона Фафнера, когда его разбудил Зигфрид. На пороге выставился босой, в рубаше навыпуск и вельветовых брюках, полнотелый, заспанный, розоволицый и рыжебородый мужик.

«Ладно, мамаша, — процедил Кораблёв, — ты ступай. Мы тут сами договоримся...»

Несколько времени оглядывали друг дружку, собирались с мыслями. «Павел», — угрюмо представился хозяин сарая, протягивая огромную, как лопата, ладонь.

«Павел, а дальше?»

«По бате, что ль? Игнатъевич».

«Вот, Паша... хотели познакомиться».

«Угу. Заходи. Ты кто будешь?»

«Я, как бы это сказать. Он научный сотрудник, а я его ассистент. Лев Казимирыч!» Муня высунулся из сарая. Лев Казимирович в это время обзрел деревню, где не слышно было ни единой живой души.

«Только вот посадить некуда. Вон табуретка, только не советую».

«Ничего, мы постоим».

Лев Казимирович вошёл в сарай.

«Или сюда», — сказал хозяин, кивнув на широкое ложе — матрац на четырёх кирпичках, поверх которого было наброшено стёганое одеяло розоватого, изрядно выцветшего и потёртого шёлка. Подушка в цветастой наволочке хранила вмятину от головы Павла Игнатъевича.

«Сломались», — пояснил он.

«Кто сломался?»

«Да козлы, говорю, сломались. Он у меня на козлах стоял. Всё руки не доходят починить... Какими же науками, так сказать, это самое, занимаетесь?»

«Я историк, — сказал Лев Бабков. — А также искусствовед».

«Он учёный универсальный. Ты не смотри, что он такой скромный. Он как Леонардо да Винчи, слышал такого? Вот он тоже».

Муня приблизил рот к уху хозяина и — вполголоса:

«Имей в виду, он дворянин царской крови».

«Какой такой крови?» — спросил Павел Игнатьевич, воззрившись на Лёву, на что Кораблёв отвечал неопределённо-значительным жестом, кивнул и прищурил один глаз.

«А ты по специальности кто будешь?»

«Кто буду? У меня, как бы это сказать, специальность особая, — промолвил Паша. — Курите?»

«Бросил. Здоровье не позволяет».

Лев Бабков сказал, что и он не курит.

«Смотря что курить. Я, к примеру, только самосад. Папиросу в рот не вожу, в папиросах весь яд. Народ отравляют...»

Паша взял с колченогого стола, стоявшего у стены под узким продолговатым окошком, том произведений Ленина издания двадцатых годов, с профилем вождя на красном сафьяновом переплёте.

«Опять же надо учесть, — сказал он, — какой бумагой пользоваться».

«Это сатинированная. Слишком плотная, — заметил Бабков. — Да и печать...»

«Что печать? Чем тебе печать не угодила?»

«Печать дореволюционная, очень много свинца».

«Да, — сказал Паша. — Сразу видно — историк. А вот в самокрутках, я вижу, ты не разбираешься. Свинец, он что? Свинец весь выгорает. А вот важно, о чём сама книга».

Паша вырвал листок, сложил вдвое, аккуратно разорвал, отложил половинку; из вельветовых штанов явился кисет, Паша добыл горстку табака, насыпал и распределил вдоль бумажки, свернул, послунил, пригладил, отогнул конец в виде раструба.

«Можешь думать, как хочешь, а я так считаю, что книга, она свою роль играет. С этим самым дымом... — пыхнув огнем, прохрипел он, — в человека знание входит. Вот о чём там пропечатано, то и входит. По себе чувствую».

«Наука так не считает», — сказал Кораблёв.

«Не дошла ещё твоя наука».

«А вот мы сейчас Льва Казимирыча спросим. Ты как, Лёва, полагаешь?»

Лев Бабков пожал плечами.

«Что, сомневаешься?»

«Да нет, может быть, он и прав», — сказал Бабков, подошёл к столу и раскрыл то, что там лежало.

Хозяин улёгся на своё ложе, бородой кверху, с козьей ножкой в зубах, сложил ручки на большом животе.

«Так вот, значит, того самого. Какая моя специальность, спрашиваешь. Моя специальность редкая. То есть вообще-то и не такая уж редкая, но здесь у нас — очень редкая».

«Ага — что же это за такая специальность?»

«Как тебе объяснить, — промолвил Паша, выпуская дым. — Вроде бы дело простое. Вроде бы каждый может. Да только здесь мужиков почти что

нет никого. А главное, не у каждого есть дарование. Каждый работает по своим, так сказать, возможностям. Как наши великие классики говорили? От каждого по возможности, каждому по труду».

«Ошибаешься, — промолвил мрачно Кораблёв. — Искажаешь. Карла Марла не так говорил. От каждого по способностям!»

«Ну, мы, как бы это сказать, высшего образования не кончали. А тоже кое-что умеем. Я из своей профессии секрета не делаю. Вот мои дипломы».

В сарае было довольно чисто. Свет проникал через два окошка с кружевными занавесками. Дощатый пол устлан половиками. В углу, под одним из окон, стоял стол, о нём мы уже упоминали, рядом помещалась газовая плита с двумя конфорками, была и кое-какая утварь. На стене, над ложем, в виде веера на фанерном щите были приклеены женские фотографии. «Вот они дипломы», — повторил обитатель сарая.

«А по-моему, — проговорил Кораблёв, — тут ещё кое-что есть. Ты чего там разглядываешь?»

«Эге!» — сказал он, подойдя к столу

«Ракурс не убеждает. Ситуационная неконгруэнтность тела и камеры, в результате которой тело лишилось своей пространственной выразительности... Одним словом, — вздохнув, сказал Лев Бабков, — недостаточно глубокая проработка имиджа!»

Он захлопнул альбом.

«Слышал? А ты говоришь», — торжествуя сказал Кораблёв.

«Чего я говорю: ничего я не говорю», — возразил Паша.

«А между прочим, — заметил Кораблёв, — за такие фотографии можно и срок склопотать... Это, брат, такие картиночки, если кто-нибудь стукнет... а? Это я так, между прочим».

«А ты меня не пужай. Я такой человек, что думаю, то и говорю. Какого хрена вы сюда припёрлись, выгнать меня хотите? К твоему сведению: никуда я отсюда не уйду. В гости ко мне пожалуйста, а квартиру мою занять — это уж извини-подвинься. Не пройдёт».

«Да не о квартире речь, на кой нам хер твоя квартира. Может, мы всё-таки договоримся. Мы ведь только на время».

«Не о чем договариваться. И силой меня никто не выгонит. Потому на моей стороне общественное мнение. Только попробуй меня тронь. Тебе бабы яйца вырежут».

«Зачем же силой? Товарищ дорогой. Мы прекрасно можем всё решить. Ты ведь даже не спросил, что мы тут собираемся делать».

«А это меня не касается».

«Н-да, — сказал Кораблёв, — картиночки у тебя того...»

«Чего картиночки? Ничего там такого нет».

«А главное, снято всё так примитивно. Никакой романтики. Или вот эти, — Муня показал на стену. — Ведь правду я говорю?» — отнёсся он к Бабкову.

«Никакой конгруэнтности», — сказал Лев Бабков.

«Вот и специалист подтверждает. Да ты послушай, дура, что тебе говорят! В твоих же интересах... Нет, — сказал Кораблёв, — совершенно очевидно, что без пол-литра тут не разберёшься, хватит ругаться, пора садиться за стол переговоров».

27. Диалектика образа и подобия

Сели за стол переговоров. Впрочем, не сразу.

«Мне очень неудобно, что мы так к вам нагрянули, — проговорил Лев Бабков, воспользовавшись отсутствием Муни, чтобы загладить возникшую неловкость, — не думайте, пожалуйста, что мы... Но знаете, что я подумал: вас тут все знают, и особенно, если я правильно понял, женский пол...»

«Правильно», — сказал Паша.

«Вот эти дамы — кто они, собственно, такие?»

«Кто такие? А вот такие, как бы это сказать, обыкновенные».

«Знакомые ваши?»

«Знамо дело, знакомые... и даже больше».

«Вот я и подумал... Вы могли бы работать вместе с нами!»

«А я, между прочим, без дела не сижу», — сопя, заметил Павел Игнатьевич.

«Вот, вот — я это как раз имел в виду. Не хотели бы ваши знакомые, к примеру, сфотографироваться первыми?..»

Он добавил:

«По новому методу».

Павел Игнатьевич солидно осведомился, что это за метод. «Видите ли, в чём дело...» — проговорил Лев Бабков.

ТРАКТАТ О ДРУГОМ

Кому, как не человеку без биографии, человеку-протею, могла придти в голову такая идея, вообще говоря, не новая, — говорят, это изобретение практиковалось на ярмарках ещё в самом начале столетия; кто, как не он, мог понять эту извечную тягу человеческой души вселиться в другой образ? Оставляя в полной неприкосновенности вашу личность — не столько в обычном смысле, сколько в том значении, которое имеет это слово в народном языке, то есть оставляя вам лицо, — фотография меняла всё остальное, вашу судьбу, эпоху, ваш социальный статус. Вы могли стать кем угодно. Если вы в этой жизни, что чаще всего и бывает, сидели в дерьме, то виноваты были не вы, а судьба, случай, гнусное время и несчастные обстоятельства. Всё условно, всё относительно. Кто ты такой или кто ты такая? Не тот и не та, а совсем другая.

И больше того. Изобретение, а лучше сказать, идея, которую друзья везли в грузовике, которая была воплощена в фанерных щитах, немного спустя перекочевавших из кузова в сарай, утоляла глубоко заложенное в нас вожделение к себе как к Другому; или — почему бы и нет? — как к

Другой. Если верно, что в каждом из нас существуют задатки и рудименты другого пола, то не менее верно и то, что в душе каждого дремлет грёза о себе как о существе противоположного пола. Может быть, это не что иное, как вечная тоска по утраченной целокупности, та самая сущность Эроса, о которой толкует Аристофан у Платона. Понимаем, что отвлеклись, так как подобных соображений, возможно, не было у Льва Бабкова (не говоря уже о ярмарочных зазывалах в Нижнем Новгороде начала века). Но почему не сказать об этом? Речь идёт не только о том, чтобы в одно мгновение, равное вспышке фотоаппарата, перенестись в иную жизнь, в немыслимый век, и предстать витязем, ковбоем, кавалером, командармом, не только о том, чтобы из деревенской бабы превратиться в царевну, в русскую морозно-серебряную боярышню, выпрыгнуть, словно по волшебству, из своего нищего тела в роскошные тела Семирамиды, Елены, Клеопатры; нет, идея обещала не только такие метаморфозы, но предоставляла вам возможность переменить пол; и, разглядывая ещё влажную фотографию, вы с тайным волнением созерцали себя в облике мужчины, оставаясь женщиной или ласкали глазами мужчины свои женские формы. И вы начинали догадываться, что в самом деле должны были родиться в другие времена, в другом состоянии и другом естестве; может быть, так оно и было, такими вы были в некоторой высшей реальности. Изобретение возвращало вам ваше истинное «я» взамен ложного и навязанного вам. И не об этом ли, кстати, поведал публике в трогательных стихах великомученик и победоносец, святой Георгий из Каппадокии, рассказав, как он «снялся на память»; это и был истинный облик змееборца, его исконное «я», между тем как народ пригородных поездов, лишённый воображения, принимал его за обычного попрошайку. Помнится, поэт предлагал Лёве творческое сотрудничество. Неизвестно, довелось ли нашему другу воспользоваться этим предложением, но можно предположить, что встреча с Георгием подсказала ему проект разъездной артели.

«Но я вас перебил, — сказал Бабков. — Вы хотели рассказать о вашей работе...»

«Вот мы сейчас и послушаем, — сказал Кораблёв, вваливаясь в сарай с бутылками и снедью. — Мамаша провалилась куда-то. Пришлось самому бегать... Ну-ка ты... помогай».

«Ну уж разве что... — забормотал Паша. — По такому случаю... Только я предупреждаю: я непьющий».

«Давай, давай. Непьющий... Все мы непьющие. С чего это ты непьющий?»

«Мне моя специальность не позволяет».

«А говорят, наоборот, алкоголь способствует. Тут у тебя и сесть негде, — заметил Кораблёв. — Как ты баб-то своих принимаешь?»

«Можешь меня не учить. Как принимаю, так и принимаю; зачем им сидеть».

«Давай-ка лучше помогай. Берись...» Стол был придвинут к матрацно-му ложу, розовое одеяло откинута.

«Это кто ж тебе такое одеяло подарил? — спросил Муня Кораблёв, разливая по рюмкам. — Только плохо они за тобой смотрят... вон, совсем истрепалось. Ну, давай, что ли, со свиданьцем».

«У меня специальность особая, хотите, могу рассказать. Я секрета не делаю. Ты меня спроси, я отвечу, — говорил, жуя, Павел Игнатьевич. — У меня особенное устройство, как бы это сказать».

«Что, длинней обычного, что ли?» — хохотнул Муня.

Лев Бабков погрузился в раздумье, рассеянно подставлял Муне пустую рюмку, фиал забвения. Рюмки были разные, как люди: вместительная, из толстого народного стекла у хозяина, высокий, на тонкой ножке, надменного фасона бокал у Бабкова, а у друга Кораблёва вместо рюмки надтреснутый стакан. Равно как и выпивание выпиванию рознь, размышлял Лев Бабков, одно дело патриотическая, братская, соборная пьянка, другое — подстрекательское, с подрывными целями потчеванье вином доверчиво-распахнутого, как сама душа России, собутыльника. И уж совсем другой колленкор — случайное застолье неприкаянных, без цели и смысла скитающихся по осиротелой земле пропойц.

«Может, и длинней, да не в этом дело, — возразил серьёзно, даже меланхолично хозяин сарая. — Я так скажу, — продолжал он, — я человек прямой. Ежли вы надо мной смеяться пришли, то я вам не товарищ. Дело совсем не смешное. И не надо из меня эдакого-такого делать. Я к своей профессии отношусь серьёзно, и меня за это ценят. Особенно женщины, потому женщина к этому делу тоже относится серьёзно. Попрошу меня уважать, — сказал Паша, — вот так».

Кораблёв развёл руками.

«Товарищ дорогой... да кто ж над тобой смеётся. Наоборот, тебе позазавидовать можно».

«Завидовать тоже особо нечему, — грустно сказал Паша, — чего уж тут завидовать. Ни семьи, ни...»

На некоторое время воцарилось молчание.

«Ничего себе колбаска, — промолвил хозяин, — где это ты достал... У нас такой нет».

«Всё надо умеючи: для кого есть, для кого нет. Ты, Паша, не тяни резину, начал, так уж продолжай. Мы тебе тоже кое-что расскажем».

«Мне Лев Казимирыч уже говорил...»

«Что он тебе говорил? Ты что ему сказал? — всполохился Кораблёв. — Ты ему идею раскрыл?»

Лев Бабков ответил, что пока ещё нет.

«Мы от тебя, Паша, скрывать не собираемся, только надо сначала договориться. Ты можешь здесь оставаться, то есть я хочу сказать, ночевать тут. А днём мы будем работать. Ты нам будешь поставлять клиентуру. Идея, надо сказать, богатейшая; войдёшь с нами в долю... Ну, короче, десять процентов дохода твои. Человек ты, как я понял, авторитетный, женщины тебя знают. А женщина — наш главный клиент. Верно я говорю, Лёва?»

«Меня заинтересовали ваши слова, — проговорил Бабков. — Вы сказали: дело не только в анатомии...»

«Чего?» — проснулся Паша, которому загадочные слова Кораблёва начали навевать какие-то смутные сладостные сны.

«Я говорю...»

«А ты слушай, что я скажу, — окрепшим голосом заговорил хозяин сарая. — Слушай, а потом будешь говорить... Женщине нужна ласка. А не то что... То есть тоже нужно; без этого как же. Но прежде ласка, обхождение. Ты за моей мыслью следишь?»

«Я весь внимание», — отозвался Бабков.

«У нас как? У нас народ грубый. Жестокая у нас страна, вот что я тебе скажу. У нас мужик придёт домой пьяный, ну ты, давай ложись! Нет чтобы по-хорошему. Да она ещё рада, другие вовсе без мужиков. Сначала на войне побили, а потом, кто был, разбежались. А я, — сказал Паша, — женщин люблю».

«Всех?» — спросил Кораблёв.

«Всех люблю. А кого не люблю, всё равно жалею. Ты не думай, — продолжал он, — что я тут пашу ради денег. Да и какие там деньги... Которая принесёт, а у которой вовсе ничего нет; она пожрать тащит. Знает, что не откажу. Потому я женщин уважаю. Я в женщине человека вижу. И вообще считаю, что бабы важнее мужиков. Опять же взять Россию: кабы не бабы, давно бы всё провалилось к едрёной матери. И помнить никто бы не помнил, что за Россия такая была. На бабах всё держится. И вообще... — Паша сладко зажмурился. — Женщина, я тебе скажу, это самое... Женщина, она лучше скроена, чем мужик. И в Библии сказано...»

«А ты разве Библию читал, Паша?»

«Читал — не читал, а знаю. Там как сказано? Сначала Бог сотворил Адама. Ну и ясное дело — первый блин комом. А уж потом учёл все ошибки и создал Еву».

«Выпьем, Паша».

«Ты пей. Я воздержусь».

«Чего ж так. Обижает!»

«Мне врачи запретили. Мне один врач так и сказал: пить будешь, мужскую силу потеряешь; а я ещё молодой. Это всё равно как у спортсменов. Ладно уж, ради такого случая. Исключительно из уважения».

«На-ка вот закуси».

«А это чего?»

«Ты попробуй, а потом скажешь».

«Ничего, — сказал Паша. — Приемлемо. Есть можно. Где это люди достают...»

«Ты вот своим бабам закажи. А то они у тебя мышшей не ловят...»

«Я что хотел сказать. Мужики, они на обезьян похожи. Ручищи, волосье... И в Библии сказано: человек произошёл от обезьяны».

«А вот это ты врешь, — возразил Кораблёв. — В Библии не говорится. Вот мы сейчас Льва Казимиргча спросим».

Но Лев Казимирович в свою очередь успел к этому времени переселиться из царства философии в гостеприимное царство сна.

28. Сор жизни

Стрекочущий звук, похожий на пулемётную очередь, тревожит идиллический сон деревни, двурогий зверь опорожняет перегруженный газом кишечник. Человек в шлеме и сапогах слез с мотоцикла. Перед домом мамаши на двух жердях был укреплён фанерный щит с нарисованной стрелой, указующей в сторону сарая. Мотоциклист усталился на вывеску. «Росгособлпромкооперация», — с усилием прочёл он длинный заголовок, как бы спускаясь по ведомственным ступеням, и далее: «Артель фоторабот». Перечислялись и работы, выполняемые по особому заказу, как, например, «портрет в стиле ампира», «художественно-исторический», «три богатыря», «древнегреческая богиня в хитоне и без» и другие.

«Тэ-эк-с, — вымолвил милиционер, дочитав до конца. — А куды ж Пашку-то дели?»

Вокруг никого не оказалось. Сморщенное мамино личико мелькнуло в окошке из-за цветов и закатилось. Милиционер вступил в сарай.

«Стало быть, так, — сказал он, оглядывая интерьер, — попрошу присутствующих предъявить документы».

«Товарищ старший сержант... какая приятная неожиданность!» — запел было Муня Кораблёв.

«Ваши документы», — повторил старший сержант, передвигая на плече планшетку.

«Какие документы?» — удивился Кораблёв.

«Обыкновенные. А, и ты здесь... жив курилка».

«Так ведь сами знаете, Павел Лукич...» — сказал Паша, поднимаясь из-за стола.

«Я тебе не Павел Лукич. Мы с тобой свиней не пасли... Тебе сколько раз было сказано. Работать надо! А не тунеядствовать. За тунеядство у нас знаешь что бывает?»

«Вы с ним, оказывается, тёзки, товарищ старший сержант», — сказал радостно Кораблёв.

«Гусь свинье не товарищ», — отрезал милиционер.

«Я работаю... вот с ними», — упавшим голосом сказал Паша и обвёл рукой своё бывшее жилище. Ателье рос, гос и так далее кооперации было перегороджено ситцевым пестрядинным занавесом на две половины, над рабочим столом висел стенд с образцами фоторабот, стояла газовая плита, кое-что из Пашиной утвари, а за ситцевой занавеской... — «ну-ка что там у вас», — скомандовал старший сержант.

Открылся помост, на помосте рама, электрическая подсветка на рейках с боков и сверху, арматура неясного назначения, «чего ж тут особенного, вот и всё», сказал Муня Кораблёв и добавил что-то насчёт патента, но старший сержант не дослушал, спрыгнул с помоста, подошёл к столу и углубился в разглядывание стенда. «А ты, стало быть, у них, — отнёсся он к Паше, — вроде кассира или как?»

«Вы садитесь, Павел Лукич... говорят, в ногах правды нет», — проворковал Кораблёв.

«Сесть-то я сяду... Картиночки у вас, н-да... ничего себе. И что же, есть желающие?»

«Древнегреческая богиня в хитоне. Мы, Павел Лукич...»

«Да какой я тебе Павел Лукич».

«Мы, товарищ старший сержант, не просто снимаем, мы несём свет в массы. Знакомим людей с искусством, с деятелями отечественной и мировой истории».

«Вижу, что знакомите. Так как же, документов нет, разрешения нет. Будем протокол составлять или как?»

«Патент», — сказал Кораблёв.

«Это чего такое?»

«Патент на право заниматься...»

«А это мы не знаем, какое такое у вас право...»

«Вот мои документы», — сказал Лев Бабков.

«А ты кто такой будешь?»

« Попрошу прежде всего не тыкать, — сказал Лев Бабков. — Я кандидат исторических наук. Директор и научный руководитель ателье».

«Угм. А как насчёт разрешения?»

«Разрешение есть, товарищ сержант...» — вмешался Кораблёв.

«Старший», — поправил сержант.

«Разрешение выписано, — сказал Бабков, — и находится на подписи у председателя облисполкома товарища Потрошкова. Можно позвонить в секретариат, хоть сейчас... и, кстати... как ваша фамилия?»

«Порядок есть порядок», — заметил милиционер

«Это вы правы. Но пожалуй, я всё-таки свяжусь с Потрошковым».

«Ладно. Я вам верю», — сказал старший сержант, приосанившись.

«А может, всё-таки... И у вас совесть будет чиста».

«Не стоит».

Муня всполошился.

«Да что ж мы все стоим-то — в ногах правды... Паша! Как бы нам, это самое, насчёт...»

«Это, конечно, дело важное, отрицать не буду, — продолжал старший сержант. — Народ у нас тёмный, тем более, одни женщины».

«Современная фотография — это прежде всего искусство, — сказал Лев Бабков. — И перед нами, фотохудожниками, стоит важнейшая задача. Достоинно отобразить нашего человека, труженика полей, отобразить его во весь рост, во всё величие его исторического подвига, не с позиций мелкой правды факта, а с позиций социалистического реализма».

«Не могу, — строго сказал старший сержант, — я при исполнении служебных обязанностей».

«Чем богаты, тем и рады», — возразил Кораблёв. Колченогий стол был накрыт скатертью, питьё и закуска стояли наготове.

«А вот что я хотел спросить. Есть, что называется, желающие? Или как там?»

«У нас финансовый план. Само собой, отчётность, всё как полагается. Заказов много... Сами говорите — женщины. А женщины любят фотографироваться, причём, знаете, в разных костюмах. Хотя некоторые и без костюма».

«Греческие богини, что ль?»

«Античное искусство завещало нам культ здорового человеческого тела. Древние греки смотрели на это иначе».

«Древние греки? Ну, это другое дело. А нельзя ли... Ладно, раз уж такое дело... — сказал старший сержант, снимая фуражку. — Но только по одной. Я за рулём».

«Конечно, не поймите нас так, что они тут нагишом... На панно изображена Афродита. Достаточно просто вставить лицо в отверстие».

«Так вот, я говорю, это самое, нельзя ли...?»

«Ознакомиться?»

Милиционер крикнул, закусил бутербродом с городской колбасой и важно кивнул.

«Паша, — сказал Бабков бархатным баритоном. — Где там у нас альбом?..»

«Н-да, — размышлял милиционер. — Мне, что ль, попробовать...»

«Прекрасная мысль. — Паша!..»

«Вот только не знаю. В форме вроде бы неудобно».

«Форма не мешает. Я бы рекомендовал вот этот вариант...»

«Н-да... а сколько это будет стоить?»

«Что вы, Павел Лукич, — вмешался Муня. — Обижаете. Никаких денег, вы наш почётный клиент».

Паше было отдано распоряжение включить подсветку. Старший сержант, поддерживаемый Муней, поднялся на помост с рамой и фанерным щитом, на котором представлен был герой гражданской войны на боевом коне, в бурке и папахе. Из круглого окошка под папахой выставилось порозовевшее от выпивки и волнения лицо старшего сержанта. Кораблёр спрыгнул с помоста и занял пост перед камерой на треноге.

Лев Бабков отступил на шаг и прищурился.

«Нет», — сказал он.

«Что — нет?» — спросило лицо в фанерной дыре.

«Нет необходимой экспрессии. Образ внутренне неубедителен. Я вижу вас в другой перспективе... Паша, — сказал Лев Бабков. — Давай-ка лучше... Или, может, Павел Лукич сам выберет».

«Вы уж сами решайте. Я вам доверяю».

«Вариант Ричард Львиное Сердце, — сказал Бабков. — Мне кажется, самый подходящий типаж».

«А это кто же это такой?»

«Это был такой король».

«Король?» — спросил недоверчиво старший сержант. Паша выволочит. «Мать честная!» — присвистнул старший сержант.

«Ну как вам?»

«Ну как?» — в свою очередь спросил из дыры старший сержант. «Никто из нас, — изрёк Лев Бабков, — не знает, кто он на самом деле...» — «Чуть не забыл, — сказал старший сержант, сидя в седле мотоцикла, — там вас одна барышня дожидается. Дочка, говорит». — «Моя дочка?» — переспросил Бабков. «А чья же».

29. *Фабула жизни*

Некоторые особенности нашего рассказа, возможно, вызовут раздражение у читателя, привыкшего к тому, что роман, как шахматная партия, разыгрывается по определённым правилам. Подобно игре в шахматы, литература основана на некоторой абсолютной системе ценностей, и совершенно так же, как, начав партию, нельзя менять правила, так нельзя лишать повествование его стержня, на который, как дичь на вертел, насажены действующие лица. Коротко говоря, композиция романа — это и есть его мораль; а какая же может быть мораль в рассказе о человеке, которого даже нельзя осудить за то, что он утратил представление о ценностях: он их не отверг, он никогда на них не покушался; у него их просто нет. Он ни к чему не стремится, ничего не добивается, у него нет цели. Поистине такой человек подобен игроку, которому невозможно поставить мат. Он преспокойно продолжает игру. Его жизнь лишена фабулы. Но таково же и его окружение. Поистине страна, в которой он живёт, совершила великое историческое открытие. Ибо она доказала, что можно существовать вовсе без ценностей и продолжать игру после того, как у тебя съели короля. Съели — и хрен с ним; нельзя же в конце концов всему народу покончить жизнь самоубийством.

Чтобы сделать яснее нашу мысль, скажем совсем кратко, что «ценностей незбылемая скála», по красивому выражению поэта, есть нечто равно присущее шахматной игре, повествовательному искусству и человеческой жизни. Точнее, то, что должно быть им присуще. Вот в чём соль — в этой вере, будто играть надо по правилам. Хорошо построенный роман выражал уверенность автора в том, что мир покоится на незбылемых устоях морали. Между тем оказалось, что абсолютную мораль можно заменить ситуационной; что правила можно менять как вздумается. Продолжая сравнение литературы с шахматами, отважился спросить: не в этом ли скрыта разгадка того, почему романисты в нашем отечестве так и не научились сюжетосложению, не научились уважать сюжет (автор данного произведения — наглядный пример), и не в этом ли заключается ответ на вопрос, почему история под пером романистов в стране, которой Игрок поставил мат, разлезается, как гнилая ткань. С исчезновением ценностей роман, словно шахматы без цели поставить противнику мат, попросту теряет смысл. Его герой случайно, точно занесённый каким-то ветром, появился на этих страницах и, должно быть, так же случайно исчезнет.

Был ли он патриотом? Вопрос задан не совсем кстати. И всё-таки: заслужил ли он это почётное звание? Другими словами: какую пользу могли принести своей стране люди, подобные Льву Бабкову, какой толк от этих людей? На первый взгляд, никакого.

Этот человек был уверен: великое открытие, совершённое Россией в нашем столетии, есть, в самом деле, великое открытие; игра проиграна, но играть можно. Да, можно играть и дальше, хотя какая же это игра — без короля? Человек, который так думает, какой он, к чёрту, патриот. Патриот не верит в действительность, а верит в свою страну.

А с другой стороны, мы решаемся утверждать, что герой этих страниц был нечто большее, чем патриот. Такие люди, как он, вообще избегают говорить о патриотизме — по той простой причине, что понятия любви или ненависти, верности или презрения теряют смысл, когда имеешь в виду самого себя. Разумеется, можно и презирать себя, и быть влюблённым в себя без памяти, но это совсем не то, что любить или презирать другого; и уж во всяком смысле невозможно быть патриотом самого себя; между тем как Бабков имел веские основания сказать о себе, слегка переиначив слова Короля-Солнце: *le pays, c'est moi!* Да, дорогие соотечественники, никуда не денешься, Россия — это и есть Лев Бабков; возможно, он возразил бы, скромность не позволила бы ему так себя аттестовать, придётся сделать это за него.

30. Идея, заслуживающая рассмотрения

«Ты как сюда попала?»

Молчание. Она уставилась в пол.

«Откуда ты знаешь, что я здесь?»

«Это правда?» — спросил старший сержант.

«Что правда?»

«Это правда — что она говорит?»

«Что ты ему сказала?» — спросил Лев Бабков.

«Она говорит, что она твоя дочь».

«Ах да, — сказал Бабков. — Ну, конечно. Вечная история, опять от тётки сбежала».

«Чего ж мне с вами делать. Протокол, что ли, будем составлять. Ладно, забирай её, на хрена она нам тут сдалась».

«Куда я её заберу. Мне в ателье надо возвращаться, коллеги ждут».

«Ну и бери её с собой».

Разговор происходил в детской комнате районного отделения, больше напоминавшей тюремную камеру. Окно забрано решёткой. Железная койка привинчена к полу, дверь снабжена оптическим приспособлением, которое в классические времена именовалось волчком, а в наши дни называется глазком. В комнате находился стол, весь исцарапанный, покрытый следами канцелярского труда, за столом восседал, заложив сапог за сапог, старший сержант Павел Лукнич.

Луша сидела на кровати, составив колени в дырявых чулках, на ногах — разбитые ботинки.

Она подняла голову.

«Врёт он — никакая я ему не дочь».

«Позволь, позволь. Ты же сама сказала».

«Мало ли что сказала... это я чтобы его найти. И призвать к ответу».

«Что-то я не понимаю», — сказал Павел Лукич.

«Чего ж тут понимать, — сказала она. — Он меня изнасиловал. Я в Москву приехала. Он меня на вокзале увидел, заманил к себе, а теперь от меня скрывается. Я от него беременна».

«Всё по порядку, — сказал Павел Лукич. — Значит, ты не отрицаешь, что эта барышня твоя дочь?»

«Такая же, как твоя».

«Позволь... а чья же?»

«Чья-нибудь, — сказал Бабков. — Я её знать не знаю. Вяжется ко мне, а зачем, сама не знает. Всё, что она рассказывает, враньё. Она и мне наврала с три короба. Сама не знает, чего она хочет; теперь вот зачем-то сюда припёрлась».

«Ты не знаешь, она не знает. Кто же знает?»

«Я требую, — сказала девочка, — экспертизы».

«Какой ещё экспертизы?»

«Медицинской».

«Чего ты болтаешь, зачем тебе экспертиза?»

«Чтобы подтвердить, что он меня изнасиловал. Он меня заманил. Я на вокзале сидела, а он подходит и таким развратным тоном, чего, мол, ты тут сидишь? А я говорю...»

«Ты постой, ты по порядку. Когда это было?»

«Когда было — после экзаменов. Я приехала, сижу, жду, что меня брат встретит».

«Это в каком же месяце?.. Так, — сказал старший сержант, — в мае, стало быть. А сейчас у нас август. Какая же может быть экспертиза?»

«А следы спермы? — возразила она. — Следы остаются».

Милиционер сдвинул фуражку на лоб и энергично почесал в затылке.

«Следы, говоришь. Ты, я смотрю, учёная. Вот что, дорогая: подымайся».

Она не двигалась, болтала ногами.

«Встать!» — гаркнул старший сержант.

Девочка вскочила с кровати и вытянулась в струнку, как игрушечный солдат.

«И чтоб твоего духу здесь больше не было Где твои манатки? Нет манаток? И ты... и вы тоже», — бросил он Лёве.

«Луша», — сказал Бабков. Несколько времени спустя они добрались до вокзала, это была та самая станция, где карандаш императора наткнулся на выбоинку в линейке. Перешли по трапу на противоположную платформу и уселись в пустом, замусоренном зале ожидания.

«Где ты была всё это время? В Киржаче?»

«Может, и в Киржаче», — отвечала девочка. Она разгуливала по залу, пела песни, мурлыкала, прыгала на одной ноге, поддевая носком что-то.

«Какое-то наваждение, помешались вы все, что ли... У меня есть одна знакомая, она рассказывает о том, как её изнасиловал отчим. Ты мне тоже плела что-то про твоего дядю... как он, кстати, поживает?»

«А что, неправда, что ли?»

«Что неправда?»

«Что ты меня — это самое». Она разбежалась и ударила по крышке от банки, как футболист по мячу. Лев Бабков спасовал крышку в угол. Вдали шёл поезд. На платформе ожидали пассажиры, их было немного: женщины в сапогах, в платках и плюшевых кофтах, схватив за руку оробевших детей, парень в солдатской шинели без хлястика, похожий на сказителя. Все торопливо полезли в вагоны. Девочка бросилась на пустую скамью у окна.

«Тебе что, — спросил Бабков, садясь напротив, — этого так хочется?»

Она вонзилась в него птичьими глазами без блеска.

«Я спрашиваю, тебе непременно хочется, чтобы тебя кто-нибудь — как это называется — употребил? Дело этим кончится. Найдётся кто-нибудь. Может, это уже и произошло? Что ты делала всё это время?»

«Ты не увидишь. Забыл, что на даче было?»

«Лапочка. Это тебе приснилось».

«Сначала девушку соблазняют, а потом говорят: приснилось! — сказала она сварливо. — Кому приснилось, а кому... Вот возьму, и...»

«Что — и?»

«Вот возьму и остановлю поезд».

«Не выйдет. Мы эти номера знаем. Второй раз не пройдёт».

«Вот сейчас закричу, чтоб все слышали. Вот сейчас пойду и буду мило-стыню просить, скажу, мне на аборт надо».

«А я, — сказал Лев Бабков, — выкину тебя сейчас из вагона. Слушай, Лукерья, — проговорил он после некоторого молчания, глядя на без устали болтающиеся тонкие ноги девочки в рваных чулках, на её руки с грязными ногтями. — Нам ещё ехать долго. Надо сообразить. Куда нам с тобой деваться?»

«Куда хочешь, туда и девайся», — сказала она.

«Чем ты занималась это время? Воровала?»

Она передёрнула плечами.

«А может, действительно побиралась?»

В ответ Луша запела тонким визгливым голосом:

«А поутру они проснулись! Кругом помятая трава!» В самом деле, подумал он, почему бы и нет?

31. Конец — или ещё не конец?

Пруст говорит, что смерть не одна для всех, но сколько людей, столько же и смертей; мысль, достойная обсуждения, в которое мы, однако, не станем вдаваться. До сих пор наш рассказ был основан на более или менее дос-

товерных известиях, теперь остается только гадать, остаётся область гипотез: представим себе, какой смертью мог умереть Лев Бабков. В том, что он умер, не остаётся сомнений; во всяком случае, исчез бесследно, а другими сведениями автор этих заметок не располагает. Само собой разумеется, смерть была случайной, — если он, в самом деле, умер, — случайной в том смысле, что она не могла быть логическим итогом биографии человека, у которого нет биографии. Смерть — логический итог? О войне, которому шальная пуля угодила в сердце, не говорят, что он умер случайной смертью; в то же время человек, упавший на пороге своего дома, считается умершим случайно, несмотря на то, что тромбоз венечных артерий сердца был логическим следствием длительного, хотя и незаметного, процесса.

Смерть могла настичь нашего друга, когда он перебежал через трап, чтобы успеть нырнуть в электричку, поскользнулся и был раздавлен идущим навстречу товарным составом; примем это за одну из возможностей, хотя Лёве, как всегда, некуда было торопиться. Смерть караулила в подъезде старого дома возле фабрики «Большевичка», внизу, когда Лев Бабков выходил под руку с бывшей подругой сказителя, о которой мы ничего не знаем, кроме её имени, — смерть выглядела непрезентабельно, на голове имела кепчонку, на ногах стоптанные прохоря и в первую минуту повела себя крайне скромно, попросив разрешения прикурить, потом спросила, сколько сейчас времени, потом попросила займы ручные часы; слово за слово, и кончилось тем, что, к своему удивлению (в таких случаях всегда испытываешь удивление), Лев Бабков обнаружил, что лежит на полу, прижимая к животу окровавленные ладони, спутница улетучилась, сам же он, привязанный к каталке, мотался и подскакивал в машине Скорой помощи, или ему снилось, что он лежит на каталке, потому что к тому времени, когда автомобиль с красными крестами, с тшцетно воющей сиреной застрял окончательно в пробке при выезде на Садовую, Лев Бабков уже не существовал.

Смерть могла случиться при совершенно экстраординарных обстоятельствах, и на сей раз мы могли бы её опознать, на ней было школьное платье и чулки с дырками. Опознать могла бы и баба-сторожиха. Против ожидания, грузная старуха в валенках, которые она не снимала со времени победного окончания Отечественной войны, оказалась на своём посту, но в конце концов пустила их, вероятно, небезвозмездно, и кое-что произошло в одной из опустошённых комнат старой дачи, именно, в той, где стояло разбитое пианино; о случившемся следователь мог судить по невнятному рассказу сторожихи, слышавшей музыку, а судебно-медицинский эксперт — по лиловым пятнам и следам ногтей на шее трупа, лежавшего на полу, лицом вниз: очевидно, — и скорее всего это случилось сразу же после кульминации, в тот единственный короткий момент, когда два существа перестают чувствовать себя отдельными существами, в тот последний момент, о котором девочка-смерть грезилась чуть ли не с детсадовского возраста, — очевидно, она поступила так, как в мире насекомых поступают самки некоторых видов, уничтожая партнёра после копуляции, и, выбравшись из-под обмякшего тела, неслышно выскользнула через заднее крыльцо.

32. Дом (2)

Близится вечер, похожий на вечер жизни, недалёк и конец эпохи, а если вернуться к будням — наступает конец рабочего дня. Осенью об эту пору начинает темнеть. Компания, с сетками и кошёлками, запасом еды и питья, высадилась на глухом полустанке. Место не столь далёкое, в пределах пригородного сообщения, но почти необитаемое, у которого нет даже названия — «пост номер такой-то», «платформа такой-то километр», что-нибудь в этом роде. Мокрые и иззябшие, добрались до обители призраков. «Ба, — да вас тут целый шалман». Это вышла навстречу сторожиха.

Не шалман, а приличное общество, или, лучше сказать, все знакомые лица.

Попытка прикинуть, сколько может выручить за день человек, путешествующий по вагонам, в лучшем случае может дать лишь весьма приблизительные результаты: слишком много разнообразных факторов влияют на заработок. Существуют люди, рождённые собирать подаяние, артисты своего дела, которых не надо учить, как подать себя, как одеться, хорошо знакомые с конъюнктурой, с современной модой, не скованные рутинной, не эксплуатирующие заезженных ролей, но и не эпатажирующие публику слишком смелым репертуаром, следуя наказу Вольтера: быть новым, но не быть экстравагантным. Нищенство есть в такой же мере искусство, как и ремесло; подобно искусству, оно сочетает новаторство с традицией. Подобно всякому ремеслу, оно знает профессиональную конкуренцию и цеховое братство.

Сторожиха, по имени тётя Стёпа, встретила нашего друга, как правитель острова встречает представителя короны. Обнялись и расцеловались. Лев Бабков рекомендующим жестом указал на спутников. Сторожиха была пожилая дама, казавшаяся очень дородной в древней шубе, двух платках и циклопических валенках с галошами. Наскучив ковчаться длинным ржавым ключом, она вручила ключ Лёве, которому не понадобилось больших усилий, чтобы сорвать замок вместе с петлями. Общество вступило в дом.

Вопрос о том, кому принадлежала заброшенная дача, следует отложить в сторону, отчасти потому, что в этой повести мы всё ещё не расстались с исторической эпохой, когда собственность представляла собой нечто предосудительное, полузаконное и, в сущности, недоказуемое. Собственность — это кража! — возвестил некий утопист-мечтатель. Можно считать и так; в том смысле, что её всегда можно украсть. Во всяком случае, никто никогда не видел владельцев. Никто, не исключая привратницы, не был уверен в том, что они существуют. Дача могла служить примером общенародной собственности. Дача, как уже рассказывалось, была обнаружена Лёвой несколько месяцев тому назад, наподобие того, как мореплаватели открывали новые земли и называли их в память о святителе, чей день совпал с днём вступления на берег, в честь короля или адмирала. Дача по праву должна была называться именем Льва Бабкова.

33. *Помни о том, что завтра*

Призрачный свет теплится в окнах необитаемой дачи, словно в самом деле там заседает штаб привидений. В печке трещат дрова. На большом столе посреди комнаты, где некогда девочка Луша исполняла свой загадочный танец, под пятном на обоях, оставшимся от чьего-то портрета, и где теперь висит портрет-парсуна государя Дмитрия Иоанновича со скипетром и державой, в расшитой ферязи, в бармах и в шапке Мономаха, удивительно похожий на Лёву, — на столе возвышается старинная, зелёного стекла керо-синовая лампа, поблескивают бутылки, лилово-красный холм винегрета в оловянном тазу ослепляет величием, тарелки со снедью ласкают глаз. Вдумчивое криканье, вдохновенное потирание ладонями, отрывочные междометия.

«М-да... Ну-ну. Недурственно... Ничего себе... Оно, как бы это сказать. Хорошо сидим. Н-ну-с...»

П о э т (со стаканом в руке). Дорогие граждане!

Шум, суета, кому-то не успели налить.

П о э т. Братья и сестры... Искусство принадлежит народу. Выпьем за наш народ. За наш чудесный, добрый, терпеливый народ, умеющий ценить истинную поэзию. За народ пригородных поездов, за то, чтобы он и впредь оставался таким же внимательным, таким же щедрым, чтобы и впредь подавал, как подавал нам сегодня!

К т о-т о (со стаканом). За женщин! За наших дорогих женщин, которые нам, того, дарят... За тебя, Клава. И ты, как тебя: Лукерья, что ль. Привыкай. Небось уже с кавалерами ходишь.

Л у ш а. Пошёл ты знаешь куда.

Д я д я-к о л л е к ц и о н е р (с вилкой, хищно оглядывая стол). Я, друзья мои... Я, может быть, человек посторонний, но позвольте и мне. На правах, так сказать, гостя. Я всегда относился, так сказать, с известным недоверием к сбору, если можно так выразиться, денежных средств в вагонах. Мы, люди старшего поколения, сохранили идеалы. Я, например, могу сказать о себе так. Впрочем, деньги тоже не помешают. А как бы это мне... вот там колбаска, кажется. Будьте добры, не в службу, а в дружбу. Друзья мои... Сегодняшний день убедил меня в том, да, убедил, позвольте мне называть вещи своими именами, что это дело, я имею в виду, хе-хе... весьма и весьма доходный промысел. Позвольте выпить.

К т о-т о. И закусить! Закругляйся, папаша.

Х о р (половина стола). Оно, как бы это сказать, ничего. Пить можно.

Х о р (другая половина). Из дерева, говорят. Из нефти. На вкус вроде ничего. На вкус-то, может, и согдится, а мужскую силу отбивает — это точно.

К т о-т о. А это мы лучше наших девочек спросим. Им виднее... Тётя Стёпа, а ты чего не пьёшь?

С т о р о ж и х а (*неожиданно похудевшая, помолодевшая, в кофте, благодарит, тыльной стороной ладони утирает уста, подтягивает концы белого платочка под подбородком*).

С и г и з м у н д К о р а б л ё в. А я хочу поднять этот бокал за моего самого близкого друга Льва Казимирыча. Если бы не он, не видать мне ни института, ни хера.

П о э т. Чего ж ты тогда по вагонам ходишь.

М у н я. А ты не перебивай. Одно другому не мешает. Одно дело наука, а другое — хлеб насущный. Сам-то небось... И вообще: ишь ты какой нашёлся... Я что хотел сказать. Выпьем за наше великое время. За нашу великую... нет, лучше ты, Лёва, скажи.

Д я д я. В самом деле. Все ждут. Лёва! На тебя, можно сказать, народ смотрит. Несмотря на то, что между нами есть известные расхождения...

Х о р. На вкус вроде бы ничего. С пивом только не надо мешать.

К т о-т о. Какие могут быть расхождения. У нас никаких расхождений нет. А ты, Стёпа, чего не пьёшь.

Л е в Б а б к о в (*после некоторого раздумья, не замечая, что его уже мало кто слушает*). Насчёт института... да. По правде сказать, я уже забыл, когда там был в последний раз... Но, пожалуй, стоит об этом сказать несколько слов. Тут произносились разные тосты. Кораблёв хотел сказать о нашем времени. Я, знаете ли, всегда интересовался историей... Причём должен заметить, что это ведь не просто институт истории, это, к нашему сведению, Институт усовершенствования истории, большая разница.

К л а в а (*соседу*). Ты не очень-то забывайся. Ну-ка отзынь.

К т о-т о. Ты моя мечта. Рядом с такой женщиной трудно сохранить равновесие. Позвольте вас... того. Нет, я просто не знаю. Какими словами передать...

К л а в а. Языком болтай, а рукам воли не давай.

Л е в Б а б к о в. И, мне кажется, я пришёл к некоторым результатам.

С. К о р а б л е в. Я всегда говорил: талант! Гений! Переворот в науке.

Д я д я. Любопытно, хе-хе. Что же это за переворот. Там, кажется, что-то интересное: селёдочка или что это... будьте добры.

П р и з р а к Д и р е к т о р а (*саясь за пианино*). Такова природа великих открытий. Лишь после того, как они были сделаны, кажется, что они были очевидны. Эта лампа напоминает мне долгие бдения со свечой в камере Шлиссельбурга. (*Исполняет Шествие гномов из сюиты Грига «Пер-Гюнт»*).

Л е в Б а б к о в. Так вот, если вернуться к тосту моего коллеги... Ты говоришь, Муня, великая эпоха. Может быть. Все эпохи считали себя великими. Только вот в чём дело. Мои исследования показали... даже не столько исследования, сколько моя интуиция... Друзья! (*Стучит вилкой*.) Они меня не слышат. И к лучшему.

П р и з р а к (*захлопывает крышку пианино*). Я, я тебя слушаю. На следующем заседании президиума ты будешь рекомендован в члены-корреспонденты Академии наук.

С. К о р а б л е в. Кого я уже давно не вижу... Лёва! А где ж твоя... Вот, скажу вам, девочка. Одни титечки чего стоят.

Л е в Б а б к о в. Овен бодал к западу, и никакой зверь не мог устоять против него. Не было никакой эпохи.

М у н я. Чего?

Л е в Б а б к о в. Не было, говорю.

К т о - т о. Как это не было. А мы?

Д я д я. Он пьян.

С h o g u s m y s t i c u s. Всё преходящее есть лишь подобие.

Г р и г о р и й О т р е п ь е в (*он же царь Димитрий Иоаннович; из портретной рамы*). Могу подтвердить.

К т о - т о. Нет, это уже оскорбление. Как это так — не было?

Л е в Б а б к о в. А вот так. Через сто лет люди спросят: а что тогда происходило? И услышат в ответ — ничего не происходило. Потому что эта эпоха была изобретением пропагандистов. Совершенно так же, как классическая древность была изобретением средневековых монахов. На самом деле ничего не было. Нашей эпохи не существовало, понятно? И нас с тобой, Муня, всё равно что не было. (*Пьёт.*) Ты думаешь, что вот он (*показывает на Директора*) привидение, в этом доме должны быть привидения. А на самом деле это мы все — привидения.

Д я д я. О ком это он говорит? Он не пьян, он свихнулся!

К л а в а. Лёвушка, ты бы отдохнул.

Л е в Б а б к о в. Э, о чём там говорить. (*Выходит из-за стола и усаживается за пианино.*)

З а п е в а л а. Из-за острова на стрежень!

С м е ш а н н ы й х о р. На простор речной волны.

Л е в Б а б к о в. Луша. Ты бы нам станцевала, что ли...

Несколько времени спустя, — это выражение мы уже употребили, и в самом деле, можно ли обойтись без отсылок подобного рода в эпическом повествовании, которое как-никак основано на доверии к времени, на вере в его ничем не прерываемое течение, а значит, и на доверии к эпохе, — несколько времени спустя глазам стороннего наблюдателя могла бы предстать таинственная картина: ещё кто-то сидит в полутьме за столом, но уже тарелки сдвинуты в сторону, пение смолкло, народ разбрёлся по углам; бывшая подруга сказителя покоится в объятьях кого-то; иных сморил сон. Лампада — теперь она стоит на пианино — озаряет лицо музыканта тёплым, тусклым сиянием. Девочка Луша перешагнула со стула на стол. Несколько мгновений перед танцем она стоит, босая, в коротком платье, опустив тонкие руки.

Кто сказал, что наше время — выдумка? Вот оно, наше время.

Finis

Борис Хазанов

Истинная история минувших времен

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел. / факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»:
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин издательства «Совпадение».
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 08.09.2009. Формат 60x88 1/16.
Усл. печ. л. 28. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ООО «Типография «Береста»,
196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28
Заказ № 1686



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, Русская премия (Москва). Живёт в Мюнхене.

Искусство – дело долгое, а жизнь коротка. Век закончился, мы, его свидетели, слишком близоруки, чтобы суметь окинуть его единым взглядом. Никто так плохо не разбирается в своём времени, как тот, кто в нём очутился. Над нашими суждениями будут посмеиваться. Нужно, чтобы пришли другие поколения; нужна дистанция.

Но мы последние, кто прожил жизнь в этом веке, видел то, чего никто больше не увидит. Мы – те, кто выжил, кого не убила война, кто не умер от истощения, не погиб под руинами городов, кого не сожгли в печах, не вывезла на лагерные поля захоронения бригада труповозов. Век истёк, догорел, догнил, – не время ли подвести черту, подбить итог?

«Реквием по ненаписанному роману»